

ДЕТСКАЯ КНИГА

ЭТА КНИГА — ЛИТЕРАТУРНОЕ ПИРШЕСТВО...
USA TODAY

АНТОНИЯ С. БАЙЕТТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Детская книга
Антония Байетт

Аннотация
Антония С. Байетт. Детская книга
I. Начала
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II. Золотой век
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
III. Серебряный век
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
49
IV. Свинцовый век
50
51
52
Из «Поэмы призыва». и других стихотворений Джулиана Кейна
ЛЕС
ПЕРЕКЛИЧКА
ОКОПЫ
53
54
55
Благодарности

Аннотация

Антония Байетт — известная английская писательница, лауреат множества литературных премий, в том числе Букеровской. С 1999 года Байетт является дамой-командором Ордена Британской империи. Ее роман «Обладать» переведен на 26 языков и включен в университетские программы во многих странах мира.

Романы Антонии Байетт возрождают лучшие традиции мировой классической литературы. Она умеет создать на страницах книги целый мир, показать человека на фоне исторических реалий его времени и при этом сочетать увлекательный сюжет с глубоким психологизмом, интереснейшими размышлениями.

«Детская книга» — многослойный роман, в котором прослеживается история нескольких семей с конца девятнадцатого века и до Первой мировой войны.

Антония С. Байетт
Детская книга

Посвящается Дженни Аглоу

I
Начала

1

В Галерее принца-консорта стояли два мальчика и смотрели сверху вниз на третьего. Было 19 июня 1895 года. Принц-консорт умер в 1861 году. Он успел увидеть лишь начало задуманного им огромного проекта по созданию группы музеев, в которых британские мастера могли бы изучать лучшие образцы декоративно-прикладного искусства. Мозаичный портрет принца — скромного, увешанного медалями — красовался на тимпане декоративной арки в одном конце узкой галереи, висящей над Южным двориком. В самом Южном дворике было еще больше мозаик — портреты художников, скульпторов, гончаров, «Кенсингтонская Валгалла». Третий мальчик сидел на корточках у одной из внушительных стеклянных витрин с золотыми и серебряными сокровищами. Том, младший из двух наблюдателей, подумал про Спящую красавицу в стеклянном гробу. Он поднял взгляд на портрет Альберта и подумал, что сосуды, ложки, ларцы, сверкающие в жидком свете под стеклом, — словно клад, найденный в царской гробнице. (Действительно, некоторые из них оттуда и взялись.) Третьего

мальчика было нелегко разглядеть, потому что он был по другую сторону витрины. Кажется, он рисовал ее содержимое.

Джулиан Кейн чувствовал себя в Южно-Кенсингтонском Музее как дома. Отец Джулиана, майор Проспер Кейн, занимал в музее должность особого хранителя драгоценных металлов. Джулиану только что исполнилось пятнадцать лет. Он, пансионер школы Марло, сейчас жил дома, оправляясь после тяжелой болезни, — он только что переболел желтухой. Он был среднего роста, хрупкого сложения, с резкими чертами лица и (даже до болезни) желтоватым оттенком кожи. Прямые черные волосы он разделял на прямой пробор. Одет он был в школьный форменный костюм. Том Уэллвуд, двумя годами моложе Джулиана, в куртке с поясом и бриджах смотрелся совсем мальчиком. У него были большие темные глаза, мягкий рот и гладкие темно-золотые волосы. Мальчики только что познакомились. Мать Тома приехала с визитом к отцу Джулиана — ей нужна была помощь, кое-какие сведения для ее работы: она писала сказки, которые пользовались успехом у читателей. Джулиана отрядили показать Тому сокровища. Но, кажется, Джулиану гораздо сильнее хотелось продемонстрировать

сидящего на корточках мальчика.

— Я же говорил, что покажу тебе загадку.

— А я думал, ты имел в виду что-то из сокровищ.

— Нет, я про него говорил. С ним что-то нечисто. Я за ним давно приглядываю. Он что-то затевает.

Том подумал, не фантазии ли это сродни тем, какими увлекались и в его семье, — его родные иногда принимались следить за совершенно незнакомыми людьми и сочинять про них всякие истории. Он подумал: может, Джулиан решил, если можно так выразиться, поиграть в зорких стражей.

— А что он делает?

— Фокус индийского факира. Он исчезает. Вот он есть, а вот его нет. Он появляется каждый день. Сам по себе. Но куда и когда он исчезает — увидеть невозможно.

Они крались по галерее, увешанной бордовыми бархатными занавесями. Здесь были выставлены разные вещи из кованого железа. Третий мальчик не двигался с места и продолжал упорно рисовать. Потом немного передвинулся, чтобы смотреть под другим углом. Мальчик был оборванный и грязный, с копной соломенных волос, в брюках, словно снятых с заводского рабочего,

на подтяжках, с обрезанными штанинами, и фланелевой рубашке цвета дыма, покрытой пятнами сажи. Джулиан сказал:

— Давай пойдем туда и выследим его. С ним точно что-то нечисто. Он с виду совсем из простых. И еще он, кажется, никуда отсюда не уходит. Я ждал у выхода, чтобы пойти за ним следом и посмотреть, куда он пойдет, но он как будто и не уходил вовсе. Можно подумать, он тут живет.

Мальчик на миг поднял чумазое, наморщенное, хмурое лицо.

— Он сосредотачивается, — сказал Том.

— Я никогда не видел, чтоб он с кем-нибудь говорил. Студентки из Школы искусств иногда с ним заговаривают, но я ни разу не видел, чтобы он с ними болтал. Он только прячется по углам. Что-то в нем есть такое зловещее.

— Вас часто обкрадывают?

— Отец все время говорит, что смотрители музея преступно неосторожны с ключами. А ведь тут всюду кучи, горы вещей лежат просто так — ждут, пока их занесут в каталоги или отправят в Бетнал-Грин. Ничего не стоит сунуть что-нибудь в карман и улизнуть. Я даже не знаю, заметит ли кто-нибудь. Смотря что взять, конечно, — если кто-нибудь стащит Глостерский канделябр, ду-

маю, это быстро заметят.

— Канделябр?

— Да, Глостерский канделябр. То, что этот мальчишка все время рисует. Вон та здоровая золотая штуковина посреди витрины. Он древний, и другого такого нет. Я тебе покажу. Мы можем спуститься вниз, подойти в тот зал и пугнуть мальчишку.

Тома мучили сомнения. В третьем мальчике было какое-то напряжение, непонятная упрямая энергия, готовность ко всему — Том даже не отдавал себе отчета, что он это почувствовал. Но он согласился. Он обычно на все соглашался. Они двинулись в путь, крадучись подобно сыщикам короткими перебежками под прикрытием бордовых бархатных занавесей. Мальчики прошли под портретом Альберта, по лестнице, сворачивающей под углом, вниз, в Южный дворик. Но когда они дошли до Глостерского канделябра, чумазого мальчишки там уже не было.

— Он не проходил по лестнице, — произнес Джулиан, охваченный азартом.

Том остановился, не в силах оторвать глаз от подсвечника. Подсвечник был тускло-золотой, тяжелый с виду. Он стоял на трех ногах, каждая в виде длинноухого дракона, зажавшего свирепы-

ми когтями кость и грызущего ее острыми зубами. Край шипастой чаши, куда вставлялась свеча, тоже поддерживали драконы с разверстой пастью, с крыльями, со змеящимися хвостами. Толстый центральный стержень образовали сплетенные фантастические листья и ветви, в которых люди и монстры, кентавры и мартышки извивались, ухмылялись, гримасничали, хватали и разили друг друга. Гномообразное существо в шлеме, с огромными глазами, цеплялось за извилистый хвост рептилии. Были тут и другие люди или кобольды; особенно выделялся один, с длинными вислыми волосами и скорбным взглядом. Том немедленно решил, что нужно показать подсвечник матери. Он попытался запомнить фигуры, но не преуспел. Джулиан принялся читать лекцию. Он сказал, что у подсвечника интересная история. Никто не знает точно, из чего он. Какой-то золотой сплав. Вероятно, место изготовления — Кентербери, там сделали форму из воска, а потом отливку, но за исключением символов евангелистов на центральном утолщении, по-видимому, подсвечник не задумывался как религиозная утварь. Потом он оказался в Ле-Манском соборе, откуда пропал во время Французской революции. Французский антиквар продал его русскому — князю Салтыко-

ву. Из коллекции Салтыкова подсвечник и попал в Музей Южного Кенсингтона. Он уникальный, других таких не существует.

Том не знал, что такое символы евангелистов. Но он видел, что эта вещь — целый мир тайных сказок. Том сказал, что надо показать подсвечник его матери. Может быть, это именно то, что она ищет. Ему хотелось потрогать головы драконов.

Джулиан беспокойно озирался. За алебастровым рыцарем-часовым, стоящим на мраморной плите, была скрытая дверь. Сейчас она стояла слегка приотворенной, чего Джулиан никогда раньше не видел. Он частенько дергал ручку, но дверь всегда была заперта — этого и следовало ожидать, так как она вела вниз, в подвальные хранилища и мастерские.

— Бьюсь об заклад, он пошел туда, вниз.

— А что там, внизу?

— Много миль коридоров, стеллажей, подвалов… разные вещи, с которых снимают слепки, или чистят, или просто так хранят. Давай его выследим.

В проходе было темно — единственный луч света падал на верхние ступеньки из приоткрытой двери. Том не любил темноты. Не любил нарушать правила. Он сказал:

— Мы там ничего не увидим в темноте.
— Оставим дверь приоткрытой.
— Кто-нибудь придет и запрет ее. Нам влетит.
— Не влетит. Я здесь живу.

* * *

Они на цыпочках спустились по неровным каменным ступеням, держась за тонкие железные перила. У подножия лестницы путь преградила железная решетка, за которой простирался длинный коридор, смутно видный, словно на другом конце его был источник света. Потолки были готические, сводчатые, как в подземельях церкви, но облицованные белым глазурованным кирпичом фабричного производства. Джулиан раздраженно тряхнул решетку, и она распахнулась. Он подумал, что и решетку тоже напрасно оставили незапертой. Кого-то ждут неприятности.

Коридор привел в пыльный запасник, заполненный толпой белых истуканов — мужчин, женщин, детей с невидящими глазами. Тому показалось, что это пленники подземного мира, а может, и погибшие души. Статуи стояли очень тесно; мальчикам пришлось протискиваться меж них. За этим склепом коридор разветвлялся.

В левом проходе было светлее, так что они пошли туда, проникли за очередную незапертую решетку и оказались в сокровищнице, полной больших золотых и серебряных сосудов, епископских посохов, аналоев с орлиными крыльями, чаш для святой воды, реющих ангелов и ухмыляющихся херувимов.

— Гальванические копии, — шепнул образованный Джулиан.

Металл слабо, но отчетливо переливался в свете, проникавшем через небольшие круглые застекленные окошки в кирпичных стенах. Джулиан прижал палец к губам и зашипел на Тома, чтобы тот не шумел. Том, чтобы сохранить равновесие, оперся о серебряный галеон. Галеон звякнул. Том чихнул.

— Тихо ты!

— Я не виноват. Это все пыль.

Они крадучись пошли дальше, повернули налево, потом направо, потом им пришлось пробиваться сквозь завалы каких-то штук, которые Том счел могильными оградками. Они были усажены бюстами улыбающихся женоподобных ангелов с крыльями и остроконечными грудями. Джулиан сказал, что это чугунные решетки батарей отопления, заказанные у литейщика в

Шеффилде.

— Стоили кучу денег, а потом оказались тут — кто-то решил, что они «слишком броские», — шепнул он. — Куда теперь?

Том сказал, что понятия не имеет. Джулиан сказал, что они заблудились, их никто не найдет, и крысы обглодают их косточки. Послышалось чихание.

— Я же сказал, тихо.

— Это не я. Должно быть, это он.

Тома беспокоило, что они выслеживают, вероятно, невинного и безвредного мальчика. В то же время он боялся наткнуться на дикого и опасного мальчишку.

— Мы знаем, что ты тут! — закричал Джулиан. — Выходи, сдавайся!

Том видел, что Джулиан весь собран и улыбается, как победитель — загонщик или ловец в игре, где положено гнать и преследовать.

Воцарилась тишина. Потом кто-то снова чихнул. Послышалась легкая возня. Джулиан и Том повернулись и посмотрели в другой проход, загроможденный лесом колонн из фальшивого мрамора — постаментов для бюстов и ваз. На уровне колен, между фальшивым базальтом и фальшивым обсидианом, возникло дикое лицо,

увенчанное копной волос.

— Ну-ка выходи и рассказывай, — веско приказал Джулиан. — Сюда нельзя посторонним. По-хорошему, я бы должен полицию вызвать.

Мальчик вылез на четвереньках, встряхнулся, как зверь, и встал, мимоходом опершись о колонны. Он был примерно одного роста с Джулианом. Он дрожал — Том не знал, от гнева или от страха. Мальчик провел грязной рукой по лицу, потирая глаза, — даже в темноте видно было, что они покраснели. Он опустил голову и напрягся. Том понял, что у мальчика в голове пронеслась мысль — броситься на этих двоих, сбить их с ног и скрыться в глубине коридоров. Мальчик не двигался и ничего не отвечал.

— Что ты тут делаешь? — не отставал Джулиан.

— Я ныкался.

— Почему? От кого ты прятался?

— Просто ныкался. Я ничо не делал. Я очень осторожно хожу. Ничо не трогаю.

— Как тебя зовут? Где ты живешь?

— Меня звать Филип. Филип Уоррен. Живу я, стал быть, тут. Пока что.

Он говорил с явным северным акцентом. Том заметил акцент, но не смог бы сказать, откуда

мальчик родом. Тот смотрел на них двоих почти так же, как они смотрели на него, — словно не мог взять в толк, что они и вправду настоящие. Он хлопнул глазами и вздрогнул всем телом. Том спросил:

— Ты рисовал подсвечник. Ты для этого пришел?

— Угу.

Мальчик прижимал к груди холщовую сумку, в которой, видимо, хранились его рисовальные принадлежности. Том сказал:

— Это удивительная вещь, правда? Я его никогда раньше не видел.

Мальчик посмотрел ему в глаза и отозвался с едва заметной тенью улыбки:

— Угу. Удивительная, верно.

— Ты должен пойти и объясниться с моим отцом, — сурово сказал Джулиан.

— С твоим отцо-ом? А он кто такой?

— Он — особый хранитель драгоценных металлов.

— А. Понятно.

— Ты должен идти с нами.

— Да уж, видать, должен. Можно я вещи заберу?

— Вещи? — Джулиан впервые заколебался. —

Ты хочешь сказать, что ты тут живешь?

— Я ж так и сказал сразу. Мне ж больше некуда пойти. Неохота ночевать на улице. Я пришел сюда рисовать. Я знаю, Музей — для рабочего люда, чтоб глядеть на хорошо сделанные вещи. Я собирался искать работу, по правде, и мне ж нужны рисунки, чтоб показывать… Мне ж эти штуки по душе.

— А можно посмотреть твои рисунки? — спросил Том.

— Токо не тут, темно слишком. Наверху, коли хотите. Я токо заберу вещи, как сказал.

Он скрючился и полез обратно, ловко лавируя среди колонн. Тому представились гномы в копях, а затем, поскольку родители воспитывали в нем сочувствие к беднякам, — дети в шахтах, как они ползут на четвереньках и тянут за собой вагонетки. Джулиан не отставал, следуя за Филипом по пятам. Том отправился за ними.

— Заходите, — сказал грязный мальчик у входа в небольшую комнату и сделал приглашающий жест рукой — возможно, в насмешку.

В комнатке стояло некое подобие каменного домика, покрытое резным орнаментом — херувимами, серафимами, орлами и голубками, аканфом и виноградными лозами. У домика были

собственные небольшие железные воротца — на ржавчине кое-где виднелись следы позолоты.

— Удобно, — сказал Филип. — Там унутри каменная кровать. Я взял взаймы пару мешков. Я, ясное дело, верну их на место, где нашел.

— Это гробница или склеп, — сказал Джулиан. — Судя по виду, из России. На этом столе, видно, лежал святой, в стеклянной раке или реликварии. Может быть, он до сих пор там, то есть его кости, если он не оказался нетленным.

— Я его не видал, — кратко ответил Филип. — Он меня не трогал.

— Ты голодный? — спросил Том. — Что ты тут ешь?

— Раза два я помогал в кафе, собирал и мыл посуду. Люди кучу всего оставляют на тарелках, даже удивительно. А девушки из Школы искусств смотрят на мои рисунки и иногда дают мне сэндвичи. Я не клянчу. Однажды, один раз токо, я украл сэндвич, када совсем изголодался. С яйцом и кресс-салатом. Я знал, та девушка его есть не будет.

Он помолчал.

— Не сказать, чтоб этого хватало. Да, я голодный.

Он порылся за ракой и вылез оттуда с еще од-

ной холщовой сумкой, альбомом для рисования, огарком свечи и каким-то свертком, перевязанным веревкой, — видимо, одежды.

— Как ты сюда попал? — не отставал Джулиан.

— Зашел за лошадьми и телегами. Ну знаешь, они въезжают вниз по скату в подвал. И разгружаются, и нагружаются, и там всегда такая толкотня, ничо не стоит затесаться в толпу, меж конюхов и грузчиков, и пробраться вовнутрь.

— А дверь наверху? — спросил Джулиан. — Она должна быть все время заперта.

— Я нашел махонький ключик.

— *Нашел?*

— Угу. Нашел. Я его верну. Вот, возьмите.

Том сказал:

— Должно быть, по ночам тут очень страшно в одиночку.

— Не так страшно, как на улицах в Ист-Энде. И близко нет.

— А теперь идем, — вмешался Джулиан. — Ты должен все рассказать моему отцу. Он сейчас разговаривает с матерью Тома. Это — Том. Том Уэллвуд. А меня зовут Джулиан Кейн.

* * *

Майор инженерных войск Проспер Кейн, сотрудник Управления науки и искусства, владел елизаветинской усадьбой в Кенте под названием Айуэйд-хауз. Кроме этого, майор занимал небольшой жилой домик из тех, что выросли в Южном Кенсингтоне вокруг чудовищных «паровых котлов» из стекла и стали. (Утилитарное здание из чугуна, спроектированное военным инженером, было увенчано тремя непоправимо безобразными длинными округлыми крышами, за что и получило насмешливое прозвище «Бромптонские паровые котлы».) Эти жилые домики населяли в основном потомки саперов, строивших когда-то «Бромптонские котлы» после Всемирной выставки 1851 года. Майор Кейн занимал жилье, которое трудно было назвать официальной резиденцией — подчиненные майора жили в таких же, разве что чуть поменьше. Уже давно выдвигались амбициозные проекты расширения музейных площадей, а кое-кто роптал против засилья военных в музее. Был проведен конкурс. Точные видения дворцов, атриумов, башен, фонтанов и декора подверглись скрупулезному рассмотрению и сравнению.

Победителем был провозглашен проект Астона Уэбба, но работы не начались. Новый директор музея, Джон Генри Миддлтон, назначенный на этот пост в 1894 году, был не военным, а замкнутым, аскетичным ученым, ранее работавшим в Кингз-колледже и музее Фитцуильяма в Кембридже. Миддлтон не ладил с генерал-майором сэром Джоном Доннелли, секретарем Управления науки и искусства. Хранители музея и ученые-исследователи подавали петиции о сносе жилых домиков по причине пожарной опасности и неисправных дымоходов. По подсчетам, обнаружилось двадцать семь открытых очагов с дымовыми трубами. Студентки Школы искусств жаловались на то, что к ним в студии проникают сажа и дым. Военные в ответ указывали на тот факт, что пожарная команда Музея состоит из саперов, населяющих эти самые дома. Споры длились, и никто ничего не делал.

Узкий домик Проспера Кейна — комнаты первого этажа и гостиную на втором — украшали элегантные камины. Камины были отделаны роскошной плиткой работы Уильяма де Моргана. Майор предложил Олив Уэллвуд позолоченный французский стул, покрытый затейливой резьбой в стиле, равно ненавистном как пред-

ставителям Движения искусств и ремесел, так и хранителям Музея. У майора был эклектический вкус и слабость, если это можно назвать слабостью, к экстравагантному. Майору было приятно смотреть на гостью, одетую в грогроновое платье темного грифельного цвета, отделанное тесьмой, с высоким кружевным воротником и рукавами, которые над локтем клубились модными фонариками. Шляпа была отделана черными перьями, а на полях теснились алые шелковые маки. У гостьи было приятное, уверенное лицо, энергичное, румяное, с твердой линией рта и широко расставленными огромными темными глазами, похожими на сердцевинки маков. Майор решил, что ей лет тридцать пять — возможно, чуть больше. Он заключил, что она не привыкла к тугим корсетам, лайковым ботинкам и перчаткам. Она двигалась чуть-чуть слишком свободно, чересчур импульсивно. У нее было хорошее тело, тонкие щиколотки. Дома она, видимо, ходила в платьях фасона «либерти» или в чем-то другом столь же удобном. Майор сидел напротив — собранный, с четкими чертами лица, как и у его сына. Волосы все еще такие же темные, как у Джулиана, аккуратные усики — серебряные. Жена майора, итальянка, умерла в 1883 году во Флоренции — в

городе, который они оба любили, где родилась их дочь и была крещена Флоренцией, прежде чем пришла болезнь и город стал местом трагедии.

Олив Уэллвуд была замужем за Хамфри Уэллвудом, служащим Английского банка и активным членом Фабианского общества. Олив написала множество сказок для детей и взрослых и слыла специалистом по британским народным сказкам. Она пришла повидаться с Кейном, потому что задумала написать сказку о чудесном древнем сокровище. Проспер Кейн галантно выразил восторг по поводу того, что гостья подумала о нем. Она улыбнулась и сказала: скромный успех ее книг больше всего радует ее тем, что позволяет беспокоить таких важных и занятых людей, как майор. Она никогда и не ожидала подобного. Она сказала, что его комната похожа на пещеру из арабских сказок и что ей безумно хочется встать с места и полюбоваться всеми-всеми собранными им удивительными сокровищами.

— На самом деле, — сказал Проспер, — тут не так уж много арабского. Это не моя область. Я служил на Востоке, но меня больше интересует европейское искусство. Боюсь, вы не найдете научного порядка в моих личных вещах. Я не думаю, что при украшении комнаты нужно рабски

следовать определенному стилю — особенно если эта комната, так сказать, стоит в ряду разнообразнейших зал музея, как крохотное яичко может оказаться в гнезде Фаберже. Можно прекрасно поставить изникский кувшин рядом с венецианским кубком и покрытой люстром вазой работы де Моргана — все три от такого соседства только выиграют. На стенах у меня средневековые фламандские вышивки соседствуют с небольшим гобеленом, который мой друг Моррис соткал для меня в Мертон-Эбби, — птицы-обжоры и алые ягоды. Посмотрите, какая мощь в изгибах листьев. Моррис всегда полон энергии.

— А эти? — спросила миссис Уэллвуд.

Она порывисто встала и провела пальцем, затянутым в серую лайку, вдоль полки с разнородными предметами, которые никак не складывались в целое ни с эстетической, ни с исторической точек зрения.

— А это, дорогая, моя коллекция гениальных подделок. Эти ложки — не средневековые, хотя их пытались продать мне за таковые. Этот кубок-наутилус вовсе не работы Челлини, хотя Уильяма Бекфорда убедили в противном, и он заплатил за него небольшое состояние. Эти безделушки — вовсе не драгоценности британской короны, а

искусно сделанные стеклянные копии, которые выставлялись в Хрустальном дворце в пятьдесят первом году.

— А это?

Миссис Уэллвуд, едва касаясь, провела пальцем по керамическому блюду с изображениями, которые казались живыми, — небольшая жаба, свивающаяся кольцами змея, несколько жуков, мох, папоротники, черный рак.

— Я никогда не видела такого точного подобия. Каждая бородавочка, каждая морщинка.

— Как вам известно — а может быть, и неизвестно, — Музей попал в неприятную историю, приобретя чрезвычайно дорогое блюдо — не это — работы Бернара Палисси, который увековечен мозаичным портретом в «Кенсингтонской Валгалле». Впоследствии, к нашему посрамлению, оказалось, что и то блюдо, и это тоже — честные современные фабричные копии. Они продаются как сувениры. Это факт, что при отсутствии неоспоримой метки художника невероятно трудно отличить фальшивого Палисси — или копию, следует сказать, — от подлинника XVII века.

— И все же, — произнесла наблюдательная миссис Уэллвуд, — какая точность деталей! Кажется, что такая работа требует необыкновенных

усилий.

— Говорят, и я этому верю, что керамические твари сделаны на основе настоящих жаб, угрей, жуков.

— Надеюсь, мертвых?

— Хотелось бы верить, что мумифицированных. Но мы точно не знаем. Может быть, в этом кроется сказка?

— Принца превратили в жабу и заточили в блюдо? О, как ему ненавистно было бы наблюдать за пирующими. В «Тысяча и одной ночи» есть история про принца, который окаменел до пояса. Эта сказка всегда меня тревожила. Мне нужно подумать.

Она улыбнулась довольной кошачьей улыбкой.

— Но вы хотели узнать про серебряные и золотые клады?

Хамфри Уэллвуд сказал ей: «Поезжай и спроси Старого пирата. Он точно знает. Он все знает про тайники и тайные сделки. Он прочесывает рынки и лавки древностей и за гроши, так мне рассказывали, скупает родовые сокровища, попавшие на лотки уличных торговцев после всех революций».

— Мне нужно что-то такое, что *всегда числилось*

пропавшим — конечно, с соответствующей историей, — и чтобы я могла приписать этой вещи магические свойства: какой-нибудь талисман, зеркало, которое показывает прошлое и будущее, что-то в этом роде. Как видите, мое воображение порождает только банальности. Мне нужны ваши точные познания.

— Как ни странно, — сказал Проспер Кейн, — очень древних золотых и серебряных сокровищ не так много, и тому есть веская причина. Представьте себе, что вы — ярл викингов, или вождь татарского племени, или даже император Священной Римской империи. Серебряные и золотые вещи составляют часть вашей казны, и им постоянно — с точки зрения художника и рассказчика — грозит опасность попасть в переплавку для мены, на жалованье солдатам, или чтоб можно было быстро увезти и спрятать. У церкви есть священные сосуды…

— Нет, я не хочу ни Граалей, ни дароносиц, ничего такого.

— Нет, вы ищете что-то обладающее неповторимой *маной.* Я понимаю, что вам нужно.

— Только не кольцо. Про кольца уже столько сказок!

Проспер Кейн засмеялся громким лающим

смехом.

— Вы требовательны. А как насчет клада из Стоук-Прайор — это серебряные сосуды, их закопали для сохранности во время Гражданской войны, а нашел уже в наши дни какой-то мальчишка во время охоты на кроликов? А еще была романтическая история с эльтенбергским реликварием, который приобрел для Музея Джон Чарльз Робинсон в шестьдесят первом году. Реликварий происходит из коллекции князя Салтыкова, который купил его и еще тысячи четыре средневековых предметов у одного француза после революции сорок восьмого года. После вторжения Наполеона реликварий спрятала в печной трубе канонисса Эльтенбергская, княгиня Сальм-Райфенштадтская. Из трубы реликварий каким-то образом попал к канонику в Эммерихе, который продал его в Аахене торговцу, некоему Якобу Коэну из Ангальта. Этот Якоб в один прекрасный день явился к князю Флорентину Сальм-Сальмскому и предложил ему одну фигурку из моржовой кости. Когда князь Флорентин ее купил, Коэн вернулся с другой фигуркой, потом еще, и еще, и наконец принес сам ларец-реликварий, закопченный и пропахший табаком. Затем сын князя Флорентина, князь Феликс, уговорил

отца продать фигурки кельнскому торговцу — и вот тут, как мы полагаем, некоторые были подменены искусными современными подделками: путешествие волхвов, Дева и Младенец со святым Иосифом, некоторые из пророков. Очень умелые подделки. Они у нас есть. Это реальная история, и мы убеждены, что подлинники фигурок где-то до сих пор спрятаны. Разве из этого не выйдет замечательный сюжет? Поиски пропавших частей клада, восстановление его целостности? Ваши герои могли бы отправиться по следу ремесленника, изготовившего подделки…

Олив Уэллвуд ощутила то, что часто чувствуют писатели, которым предлагают для сюжета замечательные истории: тут слишком много фактов, слишком мало простора для вставки необходимого вымысла, который на этом фоне будет казаться ложью.

— Мне придется очень многое поменять.

На лице ученого специалиста по подделкам отразилось мимолетное недовольство.

— Это и так уже очень сильная история, — объяснила Олив. — Она не нуждается в моем воображении.

— Я бы сказал, что она всех нас заставляет напрячь воображение, чтобы восстановить судьбу

пропавших произведений искусства…

— Меня заинтриговали ваши жабы и змеи.

— Для сказки о колдовстве? В качестве фамильяров?

Тут открылась дверь, и Джулиан ввел Филипа Уоррена. Шествие замыкал Том, он же и закрыл дверь.

— Извини, отец. Мы решили, что тебя следует поставить в известность. Мы нашли вот его — он прятался в запасниках Музея. В гробнице. Я за ним давно следил, а сегодня мы его поймали. Он там внизу жил.

Все посмотрели на грязного мальчишку так (подумала Олив), словно он восстал из-под земли. От его башмаков остались следы на ковре.

— Что ты делал? — спросил Проспер Кейн.

Мальчик не ответил. Том подошел к матери, она взъерошила ему волосы. Он преподнес ей историю:

— Он рисует вещи, выставленные в витринах. А ночью спит совсем один в гробнице древнего святого, где раньше были кости. Среди горгулий и ангелов. В темноте.

— Это очень храбро, — сказала Олив, обращая взгляд темных глаз на Филипа. — Ты, наверное, боялся.

— Нисколечко, — бесстрастно ответил Филип.

Он не собирался говорить, что думал на самом деле. Если ты спал с пятью другими детьми бок о бок на одном матрасе, и более того, на матрасе, где умерли еще двое братьев и сестра, не безболезненно и не мирно, и тела даже некуда было убрать — горстка старых костей тебя не испугает. Всю жизнь Филипа не покидала жажда уединения — он бы даже не смог назвать это чувство, но оно никогда не ослабевало. Он понятия не имел, бывает ли такое у других людей. Похоже, что нет. В музейной гробнице, в темноте и прахе, это желание на краткий миг осуществилось. Филип был на взводе — опасный, готовый в любую минуту взорваться.

— Откуда ты, парень? — спросил Проспер Кейн. — Ну-ка, выкладывай все как есть. Почему ты здесь и как попал туда, где заперто?

— Я из Берслема. Там работал на гончарной фабрике. — Длинная пауза. — Я сбежал оттуда, вот чего, убежал.

Лицо его было непроницаемо.

— Твои родители работают там, на фабрике?

— Папка помер. Он капсели делал. Мамка расписчица в мастерской. Мы все там работали, кто кем. Я загружал печи для обжига.

— Ты был несчастен, — сказала Олив.

Филип обдумал свои ощущения. Он сказал:

— Угу.

— С тобой плохо обращались.

— Им по-другому нельзя было. Дело не в том. Я хотел. Я хотел чего-нибудь делать…

— Ты хотел что-то изменить в своей жизни, чего-то добиться, — подсказала Олив. — Это естественно.

Может, это и было естественно, но Филип совсем не то имел в виду.

— Я хотел чего-нибудь сделать…

Его внутреннему взору предстала бесформенная масса разжижающейся глины. Он огляделся, как затравленный медведь, и увидел пылающую люстром чашу де Моргана на каминной полке. Он открыл рот, чтобы сказать что-нибудь про эту глазурь, но передумал.

— Может, ты нам покажешь свои рисунки? — спросил Том. Он обратился к матери: — Он показывал свои рисунки студенткам из Школы искусств, и они им понравились, они давали ему хлеб…

Филип развязал сумку и вытащил альбом с рисунками. Там был Глостерский подсвечник с извивающимися драконами и горделивыми,

круглоглазыми человечками. Наброски за набросками — извивающиеся, кусающие, разящие существа в тончайших деталях.

Том сказал:

— Вот этот человечек мне понравился, старичок с редкими волосами и печальным взглядом.

Проспер Кейн переворачивал страницы. Каменные ангелы, корейские золотые украшения для короны, блюдо Палисси во всей своей грубости — один из двух неоспоримо подлинных экземпляров.

— А это что? — спросил он, листая дальше.

— Это я уже сам придумал.

— Для чего?

— Ну, я думал, соляная глазурь. А мож, обливная керамика, вот на этой странице. Я рисовал металл, чтоб его почувствовать. Я металла совсем не знаю. Я знаю глину. Кое-что знаю про нее.

— У тебя хороший глаз, — сказал Проспер Кейн. — Очень хороший глаз. Ты использовал коллекцию Музея по назначению — чтобы изучать лучшие образцы ремесла.

Том перевел дух. Все-таки у этой сказки будет хороший конец.

— Ты бы хотел учиться в Школе искусств?

— Не знаю. Я хочу чего-нибудь делать…

Тут у него совсем кончились силы, и он пошатнулся. Проспер Кейн, не поднимая глаз от рисунков, сказал:

— Ты, должно быть, голоден. Джулиан, вызови Рози, вели ей принести свежего чаю.

— Я всегда голодный, — сказал вдруг Филип неожиданно громко, вдвое громче прежнего.

Он не собирался никого смешить, но, поскольку его действительно собирались накормить, все остальные восприняли это как шутку и весело засмеялись.

— Садись, мальчик. Ты не на допросе.

Филип нерешительно глянул на шелковые подушки с павлинами и языками пламени.

— Они отчистятся. Ты совсем без сил. Садись.

Рози, горничная, несколько раз поднималась по узкой лестнице, таская подносы с фарфоровыми чашками и блюдцами, солидный кусок фруктового кекса на подставке, блюдо с сэндвичами, хитроумно рассчитанными так, чтобы угодить дамскому вкусу и при этом накормить растущих мальчиков (в одних сэндвичах — ломтики огурцов, в других — треугольники холодного тушеного мяса). Потом Рози принесла блюдо пирожных-корзиночек, заварочный чайник, чайник с кипятком, кувшинчик со сливками. Рози

была маленькая, поджарая, в накрахмаленном чепце и фартуке, примерно ровесница Филипа и Джулиана. Она расставила припасы по первым попавшимся столикам, водрузила чайник на огонь, нырнула в реверансе перед майором Кейном и снова побежала вниз. Проспер Кейн попросил миссис Уэллвуд разливать чай. Филип позабавил майора тем, что поднял чашку на уровень глаз, разглядывая резвящихся пастушек на цветущем лугу.

— Минтонский фарфор, стилизация под севрский, — сказал Проспер. — Для Уильяма Морриса — страшное кощунство, но у меня слабость к орнаментам…

Филип поставил чашку на стол рядом с собой и ничего не ответил. Рот у него был набит сэндвичем. Филип пытался есть деликатно, но был страшно голоден и потому набрасывался на еду. Он пытался жевать медленно. Он глотал огромные куски. Все благосклонно наблюдали за ним. Он жевал и краснел под слоем грязи. Он был готов расплакаться. Его окружили чужаки. Его мать раскрашивала каемки таких же чашек тонкими кисточками, день за днем, и гордилась неизменной безупречностью своей работы. Олив Уэллвуд, пахнущая розами, стояла над Филипом,

накладывая ему ломти кекса. Он съел два, хоть и подумал, что это, наверное, неприлично. Но сладкое и мучное сделали свое дело. Неестественная напряженность, настороженность сменились чистой усталостью.

— А что теперь? — спросил Проспер Кейн. — Что нам делать с этим юношей? Где он будет спать сегодня ночью и куда пойдет после этого?

Тому вспомнилась сцена прибытия Дэвида Копперфильда в дом Бетси Тротвуд. Вот мальчик. Он жил в грязи и опасности, а теперь попал в настоящий дом. Том собирался воскликнуть словами мистера Дика: «Я вымыл бы его!», но удержался. Это было бы оскорбительно.

Олив Уэллвуд обратила вопрос к Филипу.

— Что ты хочешь делать?

— Работать, — ответил Филип.

Этот ответ был проще всего и в общих чертах близок к истине.

— А вернуться обратно не хочешь?

— Нет.

— Я думаю — если майор Кейн согласится — ты можешь поехать домой с нами, со мной и с Томом, на выходные. Я полагаю, майор не собирается заявлять на тебя в полицию. В эти выходные — день летнего солнцестояния, мы устраиваем

праздник у себя дома, за городом. У нас большая семья, очень гостеприимная, один лишний человек нас не стеснит.

Она посмотрела на Проспера Кейна.

— Я надеюсь, что и вы приедете в Андреден из Айуэйда, ради магии Летней ночи. Возьмите с собой Джулиана и Флоренцию, они пообщаются с молодежью.

Проспер Кейн склонился над ее рукой, мысленно отменил назначенную карточную игру и сказал, что он, что все они будут счастливы приехать. Том посмотрел на пленника — радуется ли тот? Но тот смотрел себе на ноги. Том не знал, рад ли он сам, что Джулиан приедет к ним на праздник. Том побаивался Джулиана. Вот Филип — это хорошо, если он снизойдет до того, чтобы получать удовольствие от праздника. Том подумал, не присоединиться ли к уговорам матери, но застеснялся и промолчал.

2

Они доехали на поезде до станции Андреден в Кентском Уилде, а на станции сели в пролетку. Филип сидел напротив Тома с матерью, склонившихся друг к другу. У Филипа сами собой закрывались глаза, но Олив ему все время что-то рассказывала, и он знал, что нужно слушать. Андред — старое британское название леса. Слово «андреден» означает лесное пастбище для свиней. Усадьба Уэллвудов называется «Жабья просека». По правде сказать, они изменили это название — раньше она называлась «Квакшин прогал», но эта замена оправдана с этимологической точки зрения. Слово «прогал» в местном говоре означает расчищенное место в лесу, просеку. А квакша, надо полагать, — это жаба.

— Так что, там водятся жабы? — невозмутимо спросил Филип.

— О, кучи, — ответил Том. — Большие, жирные. Они мечут икру в утином пруду. И лягушки тоже есть, и тритоны, и колюшка.

Они ехали между живыми изгородями из боярышника и лещины, по извилистым проселочным дорогам, через лес, под нависающими

ветвями вязов, берез, тиса. Филип почувствовал, как изменился воздух, когда поезд вырвался из-под траурной завесы лондонского неба. Можно было увидеть, где она кончается. Впрочем, густой темный воздух Берслема, полный горячей колючей пыли и расплавленных химикалий, извергаемых высокими трубами и сужающимися кверху печами для обжига, был гораздо хуже. Филип дышал с опаской — ему казалось, что его легкие слишком сильно расширяются. Олив и Том отнюдь не принимали свежий воздух как должное. Они, словно повинуясь ритуалу, восклицали, как хорошо наконец выбраться из городской грязи. Филипу казалось, что грязь въелась в него навсегда.

Усадьба «Жабья просека» представляла собой старый дом кентского фермера, построенный из дерева и камня. Перед домом расстилались луга и текла река, за домом по склону холма поднимался лес. Архитектор Летаби со вкусом расширил дом и перестроил его в стиле Движения искусств и ремесел, старательно сохраняя (а также создавая) окошки и стрехи причудливой формы, изогнутые лестницы, уголки, закоулки и оголенные балки потолка. Парадная дверь из цельного дуба открывалась в современное подобие главного зала

средневекового замка — с деревянными диванами-ларями, альковами, большим обеденным столом ручной работы и длинным буфетом, в котором сверкала люстром посуда. Дальше шла отделанная деревянными панелями библиотека (небольшая), по совместительству служившая Олив рабочим кабинетом, и бильярдная, где воцарялся Хамфри, когда бывал дома. В усадьбе было множество подсобных помещений: кухни, буфетные, домики для гостей, конюшни с сеновалами, где рылись куры и вили гнезда ласточки. Широкая лестница с поворотами вела из зала на верхние этажи.

Встречать Олив и Тома сбежалась куча народу — детей и взрослых. Филип принялся их разглядывать. Невысокая темноволосая женщина в просторном платье цвета шелковицы с рисунком из ослепительно-ярких настурций держала младенца, примерно годовалого, которого и вручила Олив для объятий и поцелуев, не успела та даже пальто снять. Две служанки — матрона и юная девушка — стояли рядом, готовые принять на руки хозяйские пальто. Две юные леди в одинаковых темно-синих фартуках, с длинными спадающими на плечи волосами, у одной темными, у другой рыжеватыми — моложе Филипа, моложе и Тома,

но ненамного. Маленькая девочка в фартуке, ярком, как грудка снегиря, пролезла у всех под ногами и вцепилась в юбки Олив. Маленький мальчик со светлыми кудряшками, в кружевном воротничке фасона «лорд Фаунтлерой», не отходил от дамы в платье цвета шелковицы, пряча лицо в ее юбку. Олив зарылась носом в шейку младенца Робина, который тянулся к макам на ее шляпке.

— Я как дерево, на котором гнездятся птицы. Это Филип, он у нас погостит немного. Филип, эти две большие девочки — Дороти и Филлис. Это моя сестра Виолетта Гримуит, на ней держится весь дом — все, что в этом доме хоть как-то держится. Этот чертенок — моя умница Гедда, она не умеет стоять смирно. Стеснительный — Флориан, ему три года. Флориан, выгляни, поздоровайся с Филипом.

Флориан, не отпуская Виолетту Гримуит, отчетливо сказал прямо в ее юбки, что от Филипа плохо пахнет. Виолетта подняла малыша на руки, потрясла и поцеловала. Он лягался, пиная ее по бедрам. Олив сказала:

— Филип ушел из дома и много скитался. Ему нужна ванна и чистая одежда, и постелите ему в Березовом коттедже. Кейти, приготовь там все,

что нужно. Ада, наполни ему ванну, пожалуйста. Филип, иди с Адой, начнем с главного, а когда ты освежишься, мы разберемся с ужином и будем строить дальнейшие планы.

Виолетта Гримуит сказала, что поищет Филипу какую-нибудь подходящую одежду. Похоже, он слишком большой, и вещи Тома ему будут малы. Но в ящике с воскресной одеждой Хамфри, наверное, найдется подходящая рубашка, а может быть, даже и штаны…

Филип безропотно пошел за Адой, кухаркой, через ту часть дома, где жили слуги, в заднюю дверь, через конный двор и наискосок в домик для гостей, состоявший из комнаты внизу, с краном, насосом для воды и раковиной, и чердака наверху, куда можно было попасть по лестнице — слышно было, как там возится Кейти, перетряхивая постель. Филип стоял столбом. Ада притащила жестяную ванну, два кувшина горячей воды, кувшин холодной, мыло и полотенце. Затем она ушла. Филип снял верхнюю одежду, робко налил в ванну немного холодной воды и добавил горячей. Затем он снял последнюю защиту — подштанники и нательную фуфайку. Ванна была для него в диковинку. Он привык быстренько ополаскиваться холодной водой у

общественной колонки. Он занес ногу, чтобы встать в ванну. Без стука вошла Виолетта Гримуит. Филип схватил полотенце, чтобы прикрыться, и плюхнулся в воду, ободрав щиколотку о край ванны. Он сдавленно крикнул — почти взвыл.

— Нечего меня стесняться, — сказала мисс Гримуит. — Дай-ка посмотрю на твою ссадину. Ничего нового я у тебя не увижу. Я всех их нянчила, лечила их ранки, с самого рождения, это ко мне они бегут, когда им что-то нужно, и я надеюсь, что и ты, молодой человек, будешь делать то же самое.

Она приступила к перепуганному Филипу с мылом и кружкой теплой воды, которую без предупреждения вылила на его шевелюру, так что струи потекли в глаза и по плечам.

— Закрой глаза, — велела она. — И не открывай, я до корней доберусь, уж я доберусь.

С этими словами она принялась за работу, добавляя мыла и воды, меся и крутя волосы, потом стала массировать кожу головы, трогая тонкими пальцами напряженные мускулы плеч и шеи.

— Не сжимайся, — сказала эта удивительная женщина. — Сейчас мы тебя отмоем на славу, каждая щелочка заиграет, вот увидишь.

Она с ним говорила так, словно он несмыш-

леный младенец — или взрослый мужчина, сознающий, что с ним делают, и согласный на это. Филип решил, что будет держать глаза закрытыми — во всех смыслах. Он скрючился как мог, закрывая чувствительные места, прижал подбородок к груди и отдался рукам, что безжалостно терли и трепали его. Руки нырнули под воду и на краткий миг нашли ту часть тела, которую Филип мысленно называл «свистком».

— Грязь веков, — сказал пронзительный голос. — Удивительно, как она, грязь, накапливается. Вот теперь ты хорошенький розовенький поросеночек, а не серый слон с загрубелой шкурой. У тебя густые, красивые волосы, теперь, когда я из них вымыла пыль и все прочее. Можешь открыть глаза. Я стерла мыло, щипать не будет.

Глаза открывать не хотелось.

Виолетта приказала ему вытираться, а сама стала прикладывать к нему разные одежды для примерки. Он, еще мокрый, неловко влез в какие-то заплатанные кальсоны и выбрал из трех предложенных рубашек однотонную темно-синюю саржевую. Штаны Тома оказались малы.

— Я так и знала, — сказала Виолетта.

Другие штаны — видимо, принадлежавшие хозяину дома, — были великоваты, но Виолетта

сказала, что с ремнем они будут хорошо держаться. Она извлекла откуда-то целую гору игл и катушек с нитками, велела Филипу стоять неподвижно и ушила брюки с двух сторон на бедрах. Она шила быстро и точно.

— Я знаю молодых людей, они всегда стесняются, если что-то с виду не так, и терпеть не могут, когда одежда плохо сидит. Я тут зашила на скорую руку, но пока подержится. Так тебе не придется беспокоиться, что они велики. Одной заботой меньше.

Она положила руки ему на бедра и повернула его, как манекен. Она дала ему пару крепких новых носков, но из принесенной ею обуви ни одна пара не подошла, и ему пришлось надеть свои старые ботинки, после того, как Виолетта их почистила. Твидовая куртка с кожаной отделкой завершила его туалет. Филип получил даже чистый носовой платок. И карманную расческу из белой кости: Виолетта сначала долго дергала этой расческой волосы Филипа, а потом положила ее в карман его куртки. Зеркала в Березовом коттедже не было, так что Филип не мог полюбоваться на плоды ее трудов. Он поеживался: в этом нижнем белье ему было неудобно. Виолетта провела пальцами по поясу брюк изнутри и расправила

Филипу плечи. Она скатала его старую одежду в сверток.

— Я не украду твои тряпки, юноша, они к тебе вернутся стираными и штопаными.

— Благодарю вас, мэм, — ответил Филип.

— Если тебе что-нибудь понадобится, что угодно, иди ко мне. Смотри, не забудь. Ночная рубашка у тебя на кровати, горшок под кроватью, зубная щетка лежит у раковины. Когда пойдешь обратно, я дам тебе спички и свечу. Ты будешь сладко спать, в Кенте воздух хороший.

В обеденной зале уже накрыли ужин. На столе стояли хорошенькие обливные тарелки и кружки, покрытые желтой глазурью, с каймой из «черноглазых Сюзанн». Робина и Флориана уже уложили в постель, но пятилетняя Гедда была за столом вместе со всеми, так как семья ужинала рано. Олив пригласила Филипа сесть рядом с ней и сказала, что он красавец. Хамфри Уэллвуд кивнул Филипу с другого конца стола. Хамфри оказался высоким худым мужчиной с рыжей, лисьего цвета, аккуратно подстриженной бородой, с бледно-голубыми глазами. Он был одет в темно-коричневую бархатную куртку.

На ужин подали суп из цветной капусты, затем рагу из баранины и пирог с тыквой и овощами для

тех, кто не ел мяса (для Олив, Виолетты, Филлис и Гедды). Филип съел две тарелки супа. Он думал, что мистер Уэллвуд, раз он работает в Английском банке, будет как владельцы гончарной фабрики — такой же чопорный, напыщенный, высокомерный. Но Хамфри принялся рассказывать детям, судя по всему, очередную серию историй про тайные шалости банковских служащих: они держали в банке бультерьеров, привязывая их к ножкам своих столов, и делили между собой мясные полутуши со Смитфилдского рынка, прежде чем отправиться домой на выходные. Филлис и Гедда картинно поежились. Хамфри поведал им, как один юнец подшутил над другим: привязал его шнурки к ножкам высокого табурета, на котором тот сидел за конторкой. Дороти сказала, что это совсем не смешно, и Хамфри немедленно согласился, сказав с полушутовской печалью, что бедные молодые люди заточены в полумраке, и их животная энергия не может найти выхода. Они словно нибелунги, сказал Хамфри: отправляются в подвальные хранилища, чтобы поглазеть на машины, взвешивающие золотые соверены, — почти очеловеченные создания, которые глотают полновесные золотые монеты и выплевывают фальшивые в медные сосуды. Том сказал, что они

сегодня видели совершенно удивительный подсвечник, а майор Кейн говорит, что, может быть, его сделали из переплавленных золотых монет. С драконами, и человечками, и обезьянами. Филип совершенно замечательно нарисовал этот подсвечник. Все посмотрели на Филипа, который упорно пялился себе в тарелку. Хамфри сказал, что хотел бы посмотреть эти рисунки, — таким тоном, словно на самом деле хотел. «Не смущай бедного мальчика», — сказала Виолетта, отчего бедный мальчик немедленно засмущался.

На протяжении всего ужина Олив время от времени грациозно, порывисто поворачивалась к Филипу и просила его рассказать о себе. Она мало-помалу вытянула из него, что его папка погиб от несчастного случая с печью для обжига, а мамка расписывает фарфор. Сам Филип тоже работал — подносил загруженные капсели к печам. Да, у него есть сестры, четыре штуки. Филлис спросила о братьях. Двое, ответил Филип, оба умерли. И еще одна сестра тоже умерла.

— И тебе хотелось оттуда уйти? — спросила Олив. — Должно быть, ты был несчастен. Работа была тяжелая, и, наверное, с тобой плохо обращались…

Филипу вспомнилась мать, и, к своему ужа-

су, он почувствовал, что глазам стало горячо и мокро.

Олив сказала, что не надо ничего говорить, они все понимают. Все уставились на него с любовью и сочувствием.

— Не то чтобы… — сказал он. — Не то чтобы…

Голос дрожал.

— Мы найдем тебе и жилье, и работу, — сказала Олив. В голосе ее звенело золото.

Дороти неожиданно спросила, умеет ли Филип ездить на велосипеде.

Он сказал, что нет, но он видел велосипеды, думает, что на них кататься здорово, и хочет попробовать.

— Мы тебя завтра научим, — сказала Дороти. — У нас новые велосипеды. Мы успеем тебя научить до начала праздника, времени хватит. У нас можно кататься в лесу.

Ее личико нельзя было назвать хорошеньким. Оно было почти постоянно сердитым, если не свирепым. Филип не стал раздумывать, почему. Его одолевала усталость. Олив задала еще пару вопросов о жестоком обращении, которое, как она была уверена, ему пришлось пережить. Он отвечал односложно, полными ложками отправляя в рот бланманже. На этот раз его спасла

Виолетта, которая сказала, что мальчик умирает от усталости, вызвалась найти ему свечу и проводить в постель.

* * *

— Моя сестра такая, не бери в голову, — сказала Виолетта. — Она рассказчица. Она сочиняет для тебя истории. Не врет, а сочиняет. Такая уж у нее манера. Она встраивает тебя в окружающий мир.

Филип сказал:

— Она… она очень добра ко мне. Вы все очень добрые.

— У всякого свои взгляды, — сказала Виолетта. — На то, как должен быть устроен мир. А некоторые прошли… вот как ты… через то, чего в мире не должно быть.

Луна запуталась в ветвях дерева, обнимающего коттедж. Филип принялся изучать узор, в который сплетались ветви, — размеренный и хаотичный одновременно — и его это утешило. Он не стал говорить об этом Виолетте, но поблагодарил ее еще раз, взял свечу и вошел в домик. Филип боялся, что Виолетта зайдет поцеловать его на ночь — с этих людей станется, — но она лишь посмотрела снизу, как он со свечой подни-

мается по лестнице.

— Спокойной ночи, — окликнула она.

— Спасибо, — еще раз повторил он.

И вот он остался один в домике, с храброй свечой, бросающей вызов тьме. Исполнились его желания — по крайней мере одно. На временно принадлежащей ему деревянной кровати, застеленной чистым бельем, лежала ночная рубашка. Филип выглянул из окна и увидел все те же ветви, залитые лунным светом на фоне темно-синего безоблачного неба. Листья в форме рыбок, перекрывающие друг друга, едва трепетали. Филип перевел этот узор на горшечную глазурь и ненадолго задумался над ним. Всего было слишком много. Филипу хотелось закричать, или зарыдать, или (он только что понял) потрогать свое тело — чисто отмытое, — как раньше он мог делать только украдкой, в грязных местах. Но нельзя оставлять следов, это будет позор. В конце концов Филип соорудил подобие защиты из носового платка, подаренного или одолженного. Потом можно будет выполоскать его под краном.

Он откинулся на подушку, взял себя рукой и нашел сладостный ритм, приводящий к мокрому, возносящему ввысь экстазу.

И замер, прислушиваясь к звукам в тишине.

Крикнула сова. Ей ответила другая. Скрипнул сук. Что-то шелестело. Из крана внизу капала вода в каменную раковину. Разве можно спать в такой оглушительной тишине, разве можно пренебречь хоть секундой осознания блаженного одиночества? Он раскинул в стороны руки и ноги и почти мгновенно уснул. Он просыпался и засыпал, просыпался и засыпал, раз за разом, до самого рассвета, каждый раз заново вступая во владение тьмой и тишиной.

На следующий день они стали готовиться к празднику. На завтрак Виолетта дала Филипу яичницу, тосты и чай и сообщила, что его отрядили делать фонарики. Весь сад будет увешан фонариками. Филипу следует явиться в классную комнату, где их будут делать.

Поднимаясь по внушительной лестнице, Филип обнаружил кое-что интересное. В нише лестничной площадки на резном табурете стоял кувшин. Он был большой, из обливной керамики, внизу круглился толстым животом, а кверху сужался в высокое горло и снова расширялся, заканчиваясь тонким краем. Глазурь была серебряно-золотая, с аквамариновым вуалированием. Свет плыл по бокам кувшина, словно облака отражались в воде. Кувшин был водный, водяной.

В нем был вертикальный ритм вздымающихся стеблей, водорослей и прерывистый горизонтальный ритм неравномерно разбросанных облаков из черно-бурых извивающихся запятых, которые при ближайшем рассмотрении оказались очень реалистично изображенными головастиками с полупрозрачными хвостами. У кувшина было несколько асимметричных ручек, которые, казалось, росли из него, как растут корни в воде, но потом оказывалось, что у этих корней хитрые морды и быстро мелькающие хвосты водяных змей, зеленые в золотую крапинку. Кувшин опирался на четыре темно-зеленых ноги — четырех свившихся кольцами чешуйчатых ящериц. Или крохотных драконов. Они лежали с закрытыми глазами, положив морды на плоскость.

Именно это и искал Филип. Пальцы задвигались внутри кувшина, повторяя его контуры, словно тот вращался на воображаемом гончарном круге. Филип воспринимал форму кувшина через формы собственного тела. Он замер, созерцая кувшин.

Сзади подошла Олив Уэллвуд и положила руку на плечо Филипа. От нее пахло розами. Филип удержался от того, чтобы дернуть плечом. Он не любил, чтобы его трогали. Особенно в интимные

моменты.

— Этот кувшин просто удивительный, правда? Мы его выбрали из-за хорошеньких головастиков — они подходят к названию усадьбы, «Жабья просека». Малыши обожают их гладить.

Филип утратил дар речи.

— Его сделал Бенедикт Фладд. У него мастерская в Данджененссе. Мы его пригласили на праздник, но он, наверное, не придет. Его жена придет. Ее зовут Серафита, хотя от рождения она Сара-Джейн. Ее сына зовут Герант, а девочек — Имогена, она примерно твоего возраста, и Помона. Помона — ровесница Тома, и ей повезло, она такая же хорошенькая, как ее имя. Правда, это очень опасно — давать детям романтические имена, малыши ведь могут вырасти и стать некрасивыми. Помона не очень похожа на яблоко, вот увидишь, скорее на бледный нарцисс.

Филипа интересовал только горшечник. Мальчик кое-как выговорил, что кувшин просто невероятный.

— Мне рассказывали, что у него бывают религиозные припадки. Тогда домашним приходится прятать горшки, чтобы он их не разбил. И антирелигиозные припадки у него тоже бывают.

Филип издал приглушенный, ничего не знача-

щий звук. Олив взъерошила ему волосы. Он не отстранился. Она отвела его в классную комнату.

Для Филипа слова «классная комната» означали полутемный придел часовни, где над длинными скамьями висит тяжелая атмосфера немытых тел, мучительных попыток думать и щекочущего страха перед розгой. Здесь, в этой комнате, полной света, с алым чинцем на окнах, каждый работал отдельно, в своем отдельном пространстве. Девочки в ярких фартуках походили на разноцветных бабочек: Дороти в кубово-синем, Филлис — в темно-розовом, Гедда — в алом. На Флориане был халат цвета болотных калужниц. На длинном чисто выскобленном столе громоздились цветная бумага, баночки клея, кисти, коробки красок, банки с водой. Корзины для бумаг были переполнены скомканными забракованными творениями. Над столом царила Виолетта — там помогала вырезать ножницами по нужному контуру, здесь держала узел, пока его затягивают.

Том подвинулся, освобождая место для Филипа.

— Нет! — воскликнула Филлис. — Садись со мной!

У Филлис были волосы цвета сливочного масла,

гладкие и блестящие. Филип сел рядом с ней. Она погладила его по руке, как гладят совсем маленького ребенка. Или собаку, несправедливо подумал Филип. Он вспомнил свою сестру Элси — у той никогда не было своего места ни в одной комнате на свете, и ей постоянно приходилось травить гнид, которые то и дело заводились в светлых волосах.

Дети показали ему свои фонарики. У Тома на огненном фоне сидели нахохленные вороны. У Филлис — простые цветы, маргаритки и колокольчики, на травянисто-зеленом. Дороти сделала узор из костяных рук, как у скелетов (это не человеческие руки, подумал Филип — может, кроличьи лапки), на фиолетовом. Гедда медленно вырезала силуэт ведьмы на метле. Филлис сказала:

— Мы ей говорили, что ведьмы — это для Хэллоуина, а не для Летней ночи. Но хэллоуинские ведьмы у нее хорошо получаются, она навострилась вырезать шляпу и лохмы…

— Ведьмы же и летом никуда не деваются, — сказала Гедда. — Я люблю ведьм.

— Филип, бери бумагу и ножницы, — сказала Виолетта, — и клейстер, и краску. Нам всем охота посмотреть, что ты сделаешь.

Дорвавшись до материалов, Филип сразу почувствовал себя лучше. Он взял большой лист бумаги и покрыл его узором из головастиков, подсмотренным на большом кувшине, который ему нужно было запомнить. Потом пустил по другому листу извилистую, большую, хитрую змею, травянисто-зеленую, и золотую — на синем фоне. Виолетта забрала оба листа, чтобы сделать из них фонарики. Тут у Филипа возникла еще одна идея. Он нарисовал тускло-красный горизонт, над которым высоко вздымались серые призрачные фигуры. Приплюснутые цилиндрические и высокие, сужающиеся кверху, в форме ульев и в форме касок. С верхушек фигур срывались фестоны пламени и свинцовые языки дыма — небо Берслема, превращенное в элегантный фонарь для праздника.

— Что это, что это? — громко спросила Гедда.

— Это место, где я жил. Трубы и печи для обжига, и огонь из печей, и дым.

— Очень красиво, — сказала Гедда.

— На фонарике — да, — ответил Филип. — В каком-то смысле оно и в жизни красиво. Но и ужасно. Там нельзя дышать по-человечески.

Дороти забрала фонарики и положила их вместе с другими, уже законченными. Филлис

попросила:

— Расскажи нам про это место. Расскажи про своих сестер. Как их зовут?

Она примостилась поближе к нему, так что он чувствовал тепло и тяжесть ее тела: она почти что облокотилась на него, почти обняла.

— Их звать Элси, Нелли, Амелия и Хоуп, — неохотно ответил Филип.

— А покойники? Наши — Питер, он умер как раз перед тем, как Том родился, так что ему пятнадцать лет, и Рози, она была такая милая малютка.

— Хватит, Филлис, — сказал Том. — Его это совершенно не интересует.

Филлис не уступала и придвинулась к Филипу еще ближе.

— А твои покойники? Как их зовут?

— Нед, — кратко сказал Филип. — И Роберт Оуэн. И Рози. Ну, Мэри-Роз.

Он изо всех сил старался не вспоминать их лиц и тел.

— После обеда мы возьмем Филипа с собой и будем учить его кататься на безопасном велосипеде, — сказала Дороти.

— У нас у каждого свой велосипед, — сообщила она Филипу. — У них есть имена, как у пони. Мой

называется Старый Ворчун, потому что он все время скрипит. У Тома — просто Конь.

— А мой — На-Цыпочках, — сказала Филлис. — Потому что я едва достаю ногами до педалей.

— Это совершенно замечательное ощущение, — сказала Дороти. — Особенно когда едешь вниз, под горку. Возьми еще бумаги, сделай еще один фонарик, нам нужно развесить их на деревьях и кустах по всему саду.

«В Южном Кенсингтоне я выпрашивал обрывки бумаги, — подумал Филип. — А здесь выкидывают целые листы, если в одном углу птица не очень хорошо вышла».

Он поднял взгляд, и у него появилось неприятное ощущение, что Дороти читает его мысли.

Дороти в самом деле приблизительно отгадала его мысли. Она не знала, как ей это удалось. Она была умная, внимательная девочка, и ей нравилось думать, что она несчастна. Но она воспитывалась в фабианской атмосфере рациональной социальной справедливости и потому, столкнувшись с Филипом, его голодом, его умолчаниями, была вынуждена признать, что «не имеет права» быть несчастной, ведь она занимает чрезвычайно привилегированное положение по сравнению с другими людьми. Она сказала себе,

что считает себя несчастной по совершенно несерьезным причинам. Потому что ее, как старшую из девочек, используют в качестве бесплатной помощницы няньки. Потому что она не мальчик, и к ней не приглашают учителя математики и языков, как к Тому. Потому что Филлис, хорошенькую и балованную, любят больше, чем ее. Потому что Тома любят *намного* больше. Потому что она чего-то хочет и сама не знает, чего.

Ей только что исполнилось одиннадцать лет — она родилась в 1884 году, «ровесница Фабианского общества», как заметила Виолетта. В те дни они называли себя Братством новой жизни, а Дороти и была новой жизнью, впитывала в себя социалистические идеи с молоком матери. Взрослые часто шутили про нее, даже более пикантно и рискованно, и это ее раздражало. Она не любила, когда о ней говорили. В равной степени она не любила, когда о ней не говорили, когда взрослые болтали на свои возвышенные темы, как будто ее тут и не было. В общем, на нее невозможно было угодить. Даже в одиннадцать лет ей хватало ума понять, что на нее невозможно угодить. Она много думала о чувствах других людей и анализировала их, и только недавно начала понимать, что другие люди, как правило, этого не делают и

не отвечают ей тем же.

Сейчас она была занята мыслями о Филипе. «Он думает, что мы к нему добры из снисходительности, но это на самом деле не так, мы просто дружелюбны, мы всегда такие, но ему это кажется подозрительным. Он не хочет, чтобы мы знали по правде, откуда он взялся. Мама думает, что он был несчастен дома и у него злые родители, это один из ее любимых сюжетов. Она должна была бы понимать, как я понимаю, что ему это не нравится. Я думаю, он чувствует себя виноватым, потому что его родные не знают, где он и что с ним. И теперь, когда мы подняли вокруг него такую суматоху, чувство вины у него стало сильней, чем раньше, когда он прятался в подвалах Музея».

«Интересно, чего ему хочется?» — спросила она себя и не нашла ответа, потому что Филип об этом молчал — как и почти обо всем остальном.

Урок езды на безопасном велосипеде состоялся во второй половине дня, как и было обещано. Филипу одолжили велосипед Виолетты Гримуит, солидную машину синего цвета. Виолетта прозвала свой велосипед Колокольчиком. В лесу на склоне холма было полно колокольчиков. Но Том и Дороти считали, что это имя какое-то слюнявое.

Том на своем Коне ездил кругами по травянистой поляне между задней дверью дома и лесом, показывая, как надо держать равновесие. Дороти придержала седло, помогая Филипу забраться на велосипед, а Филип изо всех сил пытался не упасть.

— Это гораздо проще, когда едешь, — сказала она. — На стоящем велосипеде никто не удержится.

Филип поехал и упал, и снова поехал, и снова упал, и опять поехал, и, крутя педали, доехал до середины поляны, опять упал и опять поехал, и объехал, хоть и слегка виляя, вокруг всей поляны. Впервые со своего приезда в «Жабью просеку» он громко засмеялся. Том выписывал восьмерки. Появилась Филлис и сделала несколько аккуратных кругов. Том сказал, что Филип уже достаточно научился, можно ехать по дороге, и они поехали, Том впереди, потом Филип, потом Дороти, за ней Филлис. Они поехали по Френчес-лейн, ровной, зажатой меж двух изгородей из боярышника, а потом свернули вверх по лесистому склону, по Скарп-лейн, под нависающими ветвями деревьев, под которыми лежали колодцы густой тени, перемежаясь ослепительными пятнами солнца. Филипу пришла в голову идея темного-темного

горшка, вроде ведьмина котла, с блестящими потеками на матовой поверхности. Стоило ему подумать о воображаемом горшке, а не о металлической конструкции, на которой сидел, он стал лучше держать равновесие и прибавил скорость.

Дороти, ехавшая за ним, тоже прибавила ходу. У нее было пристрастие к скорости, которое сильнее всего в девочках одиннадцати-двенадцати лет. Во снах она неслась на скаковой лошади по берегу моря, меж песком и водой. С тех пор, как у нее появился велосипед, ей часто снилось, что она летает, совсем низко, у самой земли, задевая цветы на клумбах, сидя, как факир, на невидимом ковре.

Они въехали вверх по склону и помчались по ровной поляне. Том спросил:

— Может, рванем вниз по склону Боск-хилл?

— Он довольно крутой, — ответила Дороти. — Думаешь, Филип справится?

— Справлюсь, — ухмыльнулся Филип.

И они свернули на Боск-хилл-лейн, которая действительно шла круто вниз и местами резко поворачивала. Теперь Дороти ехала перед Филипом и позади Тома, который прибавил скорость и удалялся от них. Дороти ощутила знакомое упоительное стеснение в груди. Она оглянулась,

чтобы посмотреть, в порядке ли Филип. Он был ближе, чем она думала, велосипед вильнул, и она оказалась у Филипа на дороге. Он дрогнул, перевернулся и пролетел по воздуху, более или менее над Дороти. Она свалилась на дорогу, ободрав себе щиколотки. Колеса и педали велосипеда продолжали крутиться. Мимо проплыла Филлис, крепко держась за руль и чопорно выпрямив спину.

Дороти подняла Старого Ворчуна и пошла смотреть на Филипа. Он распростерся на спине под дубом, утопая в зарослях дикого чеснока, смятых при падении и оттого невероятно резко пахнущих. Филип лежал неподвижно, глядя в небо сквозь крону дерева.

— Это я виновата, — сказала Дороти. — Я во всем виновата. Тебе больно?

— Нет, кажется, ничего. Только дух отшибло.

Он расхохотался.

— Что такого смешного?

— Оказывается, за городом есть вещи, которые воняют не хуже городских. Только травяной вонью, а не дымной. Я в жизни ничего подобного не нюхал.

— Это дикий чеснок. Да, он не очень приятно пахнет.

Филип все смеялся и никак не мог перестать.

— Ужасно разит. Но это для меня новое, понимаешь.

Дороти села на корточках рядом с ним.

— Ты можешь встать?

— Да, встану через минутку. Дай чуток полежать. У меня дух отшибло, как говорится. Велосипед поломался?

Дороти проверила велосипед. Он был невредим.

Филип лежал в омерзительном и притягательном запахе, расслабляя мышцы, одну за другой, так что земля удерживала его обмякшее тело, а он чувствовал все неровности, раздавленные стебли, узловатые корни деревьев, камушки, холодную плесень в самом низу. Он закрыл глаза и задремал на секунду.

Он очнулся оттого, что его трясла Дороти.

— С тобой точно все в порядке? Я тебя чуть не убила. У тебя нет сотрясения мозга или чего-нибудь вроде?

— Нет, я совершенно счастлив, — сказал Филип. — Здесь.

Дороти медленно произнесла, обдумывая каждое слово:

— Я тебя чуть не убила.

— Но ведь не убила же.

— Если хочешь, — предложила Дороти, выпуская на волю мысль, которая крутилась у нее в голове уже несколько часов, — можешь послать открытку своей маме, просто написать, что с тобой все в порядке и чтобы она не беспокоилась, понимаешь… Я могу достать тебе открытку и потом ее отправить.

Филип молчал. Мысли шевелились у него в уме. Он нахмурился.

— Извини, — сказала Дороти. — Я не хотела тебя расстроить. Я хотела помочь.

Она сгорбилась, обхватив руками колени.

— Да нет. Ты меня не расстроила. И ты права. Надо написать мамке. Если ты мне достанешь открытку, я напишу. Спасибо.

Назад они доехали в более серьезном настроении. Дороти достала из письменного стола Олив почтовую открытку и марку. Филип неловко взял в руку перо и уставился на пустой прямоугольник. Дороти, не желая стоять у него над душой, отошла к окну. Раз или два Филип вроде бы принимался писать, но так и не начал. Дороти решила, что у него получится, если она уйдет. Стоило ей положить руку на дверную задвижку, Филип вдруг сказал:

— Дай слово, что ты не станешь это читать.

— Обещаю. Письма — это частное дело. Даже открытки. Я могу дать тебе конверт, тогда то, что ты напишешь, будет твоей личной тайной. Хочешь?

— Угу, — ответил Филип. И добавил: — Это еще и потому, что я пишу с ошибками.

Он написал:

Дарагия Мама и фсе
Я фпорядке и скора апять напешу. Надеюс вы здаровы. Филип.

Дороти принесла конверт, и Филип надписал адрес. Он был благодарен Дороти за то, что она поняла его желание и его долг, и в то же время сердился на нее за это.

3

Уэллвуды устраивали праздник Летней ночи уже в третий раз. Они приглашали социалистов, анархистов, квакеров, фабианцев, художников, издателей, свободных мыслителей и писателей, которые жили, все время или на выходных, в перестроенных коттеджах и фермерских усадьбах, домах в стиле Движения искусств и ремесел, таунхаусах, построенных когда-то для рабочих, в деревнях, лесах и на полях Кентского Уилда, Северного и Южного Даунса. Все эти люди сбежали от городского дыма и чаяли наступления утопии, в которой никакого дыма больше не будет. Праздники Уэллвудов не были замороженными фабианскими чаепитиями с практичными чашками и блюдцами, без малейшего оттенка веселья. Не были они и политическими митингами с дебатами по поводу Совета Лондонского графства, «Свободной России» и голода в Российской империи. Это были веселые, несерьезные сборища при свете фонариков, карнавалы с костюмами из шелка и бархата, маскарады, танцы под флейту и скрипку.

Дети смешивались со взрослыми, заговарива-

ли с ними первые, и взрослые тоже говорили с детьми. Дети в этих семьях конца XIX века отличались от детей предшествующих и последующих поколений. Они не были ни куклами, ни миниатюрными взрослыми. Их не упрятывали с глаз долой в детские, их допускали на семейные трапезы, их зарождающиеся характеры воспринимались всерьез и обсуждались с рациональной точки зрения за столом или во время долгих прогулок по окрестностям. И в то же время дети этого мира жили своей отдельной, во многом независимой детской жизнью. Они носились по лесам и полям, строили укрытия, лазили по деревьям, охотились, ловили рыбу, катались на пони и на велосипедах в обществе только других детей. А других детей было много. Семьи были большие, и по мере того, как члены семьи рождались — или умирали, — баланс семейных отношений едва заметно смещался. Еще в этих семьях ребенок принадлежал к какой-либо группе: он был «один из старших» или «один из младших». Старшие часто игнорировали или порабощали младших, и младшие вечно бунтовали. Старшие же были недовольны, что их заставляют всюду таскать с собой младших братьев и сестер, которые только мешают устраивать опасные вылазки.

Родителям — Уэллвудам в том числе — было трудно придерживаться на практике того, во что они верили в теории: любить всех детей одинаково. Когда у мужчины и женщины восемь, десять, двенадцать детей, любовь распределяется совершенно по-другому, чем в семьях с одним-двумя детьми. Любовь зависела и от интервала между детьми, и от здоровья родителей, и от смертей, и от случайности, по которой один ребенок выживал в эпидемии или после несчастного случая, а другой погибал. В некоторых семьях самый любимый ребенок умирал и по-прежнему оставался самым любимым. В других семьях покойники, судя по всему, исчезали без следа и больше не упоминались в разговорах, словно никогда не существовали. В иных семьях очередного рождения страшились и всячески избегали, только для того, чтобы позднее, явившись на свет среди крови и опасности, этот ребенок стал самым любимым.

Родителям этих лелеемых детей в большинстве далеко не так повезло. Если они и пользовались в детстве свободой, то лишь потому, что о них вообще не заботились или хотели закалить трудностями, а не потому, что свобода была им полезна.

Свобода как этих детей, так и этих родителей во

многом зависела от самоотверженного труда слуг и преданных тетушек, которые в дни более строгого воспитания были старомодными сестрами.

Уэллвуды казались одной из типичных открытых и приятно многочисленных семей. Хамфри Уэллвуд был вторым сыном квакера — торговца шерстью, который, в свою очередь, приходился младшим братом квакеру-банкиру. Семья происходила с севера Англии, из мест, где Йоркшир встречается с Ланкаширом, к югу от Кумбрии. Хамфри родился в 1856 году, а его брат Бэзил — двумя годами раньше. В 1873 году Бэзила отдали в дядин брокерский бизнес, работать клерком у биржевого брокера. Он преуспел в Сити, перешел на работу в англо-немецкий банк «Вильдфогель и Квик» и в 1879 году женился на дочери Вильдфогеля Катарине. Ему в это время было двадцать пять лет, а ей двадцать семь.

Хамфри проявил большие способности во время обучения в школе, и его квакерские учителя уговорили Джорджа Уэллвуда послать сына в Оксфорд. В 1874 году он начал учебу в колледже Бэллиол, где попал под влияние Бенджамина Джоуэтта и Т. Х. Грина, которые верили, что обучают будущих вождей человечества, но также в значительной степени ощущали то, что Беат-

риса Вебб в молодости описывала как растущее «классовое сознание греха» или чувство вины. Движимое этим сознанием греха, поколение молодежи, о котором идет речь, решило лично идти к беднякам и творить добро. Эти юноши и девушки переселялись в Ист-Энд и управляли многоквартирными домами для бедных. Они проводили занятия по университетской программе для рабочих. Г. М. Хиндман, основавший в 1882 году Социал-демократическую федерацию, скептически смотрел на мотивы этих прекраснодушных людей. Они плывут по течению модного сочувствия, говорил он; они открыли, что за стеной Английского банка стоят кирпичные дома, в которых живут два или три миллиона человек, многие — в прискорбной нищете. Хиндман был циник. Он как-то сказал, что «множество браков среди высших классов стало результатом этих будоражащих экскурсий в неизведанные места обитания бедняков».

Хамфри окончил университет в 1877 году, двумя годами позже христианского деятеля Арнольда Тойнби, чью преданность беднякам и раннюю смерть каноник Барнетт увековечил основанием Тойнби-Холла. Тойнби-Холл был задуман как сообщество выпускников университета, желающих

жить среди бедняков и просвещать их. Хамфри, пылающий энтузиазмом, вполне предсказуемо переехал в Ист-Энд и снял две комнатушки в Колледж-Билдингс, образцовом многоквартирном доме для бедных. Хамфри читал лекции в самых разных местах и на любые темы: английский язык, идеалы демократии, санитария и гигиена, Генрих V, золотой стандарт, английская литература. В Оксфорде он, как все, изучал древние языки и математику. Литература приводила его в восторг. Он рассказывал ученикам про Шекспира и Раскина, Чосера и Джонатана Свифта, Вордсворта, Кольриджа и Китса. У него хорошо получалось; он обзавелся свитой преданных учеников самого разного возраста. Он читал им вслух: с жаром, точно выражая мысли, охотно разъясняя непонятные места увлеченным слушательницам после окончания лекции.

В 1879 году он ставил «Сон в летнюю ночь» в зале при церкви в Уайтчепеле. Труппа представляла собой смелое сочетание настоящих рабочих и захожих идеалистов. И столь же смелое сочетание мужчин и женщин. О чем бы ни думал Хамфри, он почти постоянно думал о женщинах. Ему грезились талии и щиколотки, распущенные волосы и ляжки, ходящие ходуном под скромны-

ми юбками. В пьесе «Сон в летнюю ночь» много хороших женских ролей, но Хамфри знал, что этот проект полностью держится на двух молодых женщинах, которые посещали все его лекции, садились на первом ряду и задавали умные вопросы. Эти девушки бросались в глаза среди кокни, ирландцев, поляков и немецких евреев. Они говорили на протяжном йоркширском диалекте. Хамфри и сам говорил как образованный, но йоркширец, укорачивая гласные. Девушки носили простые, хорошо скроенные темные платья и очень хорошенькие шляпки, украшенные веселенькими шелковыми цветочками — анемонами, анютиными глазками, маками, фиалками. Старшая была поразительно красива — огромные карие глаза и узел волос цвета красного дерева. У младшей глаза тоже были карие, но не такие большие, обычно опущенные долу, и каштановые волосы затянуты в узел чуть потуже. Девушки были явно не из породы захожих дам-благотворительниц. Нет, они были из достойных бедняков — перчатки изношены до дыр, ботинки состарились и потрескались, — но все же в этих девушках под слоем респектабельности было что-то дикое, свободное, импонирующее вольной жилке в натуре Хамфри.

Он подружился с молодым кембриджцем Тоби Юлгривом, который писал диссертацию по Овидию в надежде получить место в Питерхаузе и читал жителям Ист-Энда лекции о британских волшебных сказках и мифах — это было его истинное и страстное увлечение. Христианские убеждения Тоби мало-помалу испарялись, но он верил, что и в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится большинству людей.[1] Однажды за пивом он серьезно сказал Хамфри, что видит непостижимых тварей — не только в лесах вокруг Кембриджа: они шныряют меж ларьков на рынке и выглядывают из окон на Майл-Энд-роуд. «Наш мир *взаимопроникаем,* — сказал он. — Раньше мы это знали. Но утратили знание». Он был широкоплечий, среднего роста, с мускулистыми ягодицами и икрами, с густой кудрявой шевелюрой львиной масти. Глаза у него были голубые, как у гаммельнского крысолова, или как пламя свечи, если сыпануть на него соль. Люди ходили на лекции Тоби по разным причинам. Ювелиры и скульпторы — за идеями для брошек и сюжетами резных поделок с «маленьким народцем» или призраками. Верующие, не удовлетворенные

[1] Примечания: 1

Ср.: «И в небе, и в земле сокрыто больше, / Чем снится вашей мудрости, Горацио». (*У. Шекспир.* Гамлет. Акт 1, сц. 5. Перевод М. Лозинского.)

своей религией, приходили в попытках восполнить утраченную духовную жизнь. Матери — за сказками, чтобы потом рассказывать их детям. Учителя — за знаниями. А потом люди стали приходить, потому что прошел слух: никогда заранее не знаешь, что скажет мистер Юлгрив или на какое сокровенное знание заявит права.

Друзья с некоторым опозданием заметили, что две барышни Гримуит сидят в первом ряду и на литературе, и на британском фольклоре. И еще поняли, что оба влюблены в старшую мисс Гримуит.

— Ты ей больше нравишься, — сказал Тоби. — У тебя есть *gravitas.*[2] *Ты производишь на нее впечатление. А я просто клоун.*

Хамфри не стал спорить; он и сам так думал. Он сказал:

— Мы можем поставить «Сон в летнюю ночь», а она будет Титанией. Я уверен, она справится. Задействуем обе группы, мою и твою.

Разумеется, режиссером стал Хамфри. В конце концов он понял, что и роль Оберона не в силах никому отдать. Он предложил Тоби роль Пэка, но Тоби сказал, что всегда хотел сыграть

---

[2] Примечания: 2
Серьезность *(лат.).*

Основу — к тому же это хотя бы дает шанс полежать в объятиях мисс Гримуит. Они выпросили право использовать зал при церкви в Уайтчепеле и попробовали мисс Гримуит на роль — ее звучный легкий голос подошел идеально. Мисс Виолетте Гримуит предложили играть Гермию или Ипполиту, но она сказала, что не хочет выступать, а лучше займется костюмами, так как она портниха. На роль Пэка нашли идеальную кандидатуру — жилистого мальчика-кокни, уличного торговца, а на роль Елены взяли высокую светловолосую библиотекаршу. Афиняне представляли собой приятную для глаза пеструю смесь гостей-джентльменов и туземцев-рабочих. Все единодушно сочли костюмы гениальными. Олив Гримуит была в невесомом платье цвета лунного серебра с павлиньими перьями и шелковыми цветами, и босиком. Хамфри хотелось пасть ниц и целовать эти ступни. Он истязал себя, подробно перечисляя в уме прочие деяния, которые хотел бы совершить. В конце волшебной пляски, завершающей пьесу, он закружил Олив, увлек ее за кулисы и заключил в объятия.

В 1880 году они расписались в уайтчепельском регистрационном бюро. Свидетелями были Виолетта и Тоби Юлгрив.

Хамфри не сразу сообщил родителям, что он теперь женат. Отец присылал ему из Йоркшира содержание, так как верил, что Хамфри готовится к карьере университетского преподавателя, и не возражал против его благотворительных трудов, а даже одобрял их. Сын, Питер, родился через два месяца после свадьбы. Через несколько месяцев Хамфри представил молодую жену с младенцем своему старшему брату. Катарина Уэллвуд к тому времени тоже ожидала ребенка (Чарльза, который родился в 1881 году). Младенец Питер был неотразим, как раз в возрасте уверенности в себе и улыбок, Олив — элегантна и держалась, как истинная леди. Бэзил прочитал Хамфри лекцию о непредусмотрительности, об ответственности и нашел ему постоянную работу — клерком в Английском банке. Не о такой работе мечтал Хамфри, но эта давала постоянный, хотя и скромный, доход. Хамфри, Олив, Виолетта и Питер въехали в небольшой домик в Бетнал Грин. Хамфри обратил свой острый ум на банковское дело. Денежная система должна базироваться на серебре и золоте, на обоих металлах, к очевидной выгоде для нашей Империи и торговли с Индией. Бэзил, как и большая часть Сити, поддерживал золотой стандарт. Бэзил почувствовал, но вслух не сказал,

что Хамфри не только безответственный человек, но еще и неблагодарный перебежчик.

1881 год был годом начинаний. Он положил начало нескольким идеалистическим проектам и группам, основатели которых верили, что мир скоро перевернется к лучшему. Демократическая федерация, Общество изучения паранормальных явлений, Теософское общество, движение против вивисекции. Все они ставили своей целью изменение, полную перестройку человеческой природы. Молодые Уэллвуды ознакомились с этими обществами и вступили в некоторые из них. Тоби Юлгрив, ставший почти членом маленькой семьи, немедленно присоединился к теософам и друзей увлек за собой. Все трое также посещали первые собрания Демократической федерации, куда ходили по большей части немецкие и австрийские социалисты и анархисты, несколько недовольных рабочих-англичан и горстка университетских идеалистов. Уильям Моррис защищал австрийского диссидента Иоганна Моста, написавшего «торжествующий гимн» (по выражению Морриса) в честь убийства царя Александра II. Моста отправили в британскую тюрьму, и Хиндман устроил публичную демонстрацию. Бэзил умолял Хамфри ни во что

не ввязываться.

В октябре 1882 года Эдвард Пиз основал «Братство новой жизни», и молодые Уэллвуды стали ходить на встречи. И там, и в Демократической федерации они обсуждали организацию безработных, питание детей в пансионах, национализацию шахт и железных дорог, государственное строительство домов, пригодных для народа.

Зимой 1882 года, на рождественской неделе, Питер заболел крупом и умер. В ту же неделю родился Томас Уэллвуд.

В 1883 году Олив Уэллвуд сильно болела. Ведение хозяйства в домике взяла на себя Виолетта. Умер Карл Маркс. Террористы предприняли попытки взорвать местные отделения государственных служб, редакцию газеты «Таймс», битком набитые поезда метро, в которых люди возвращались с выставок в Южном Кенсингтоне. Бэзил повел Хамфри к себе в клуб и там очень твердо заявил ему, что анархизм — это никуда не годится. Не пристало служащему Английского банка открыто якшаться с анархистами.

Хамфри в ответ повез жену — чтобы сменить ей обстановку, как он сказал Катарине, — в Мюнхен, где они несколько раз тайно встречались с вольнодумцами и социалистами. Они ходили

в «Старую пинакотеку» и присутствовали на открытии пивного погребка «Левенбройкеллер», где все было как положено — салфетки, скатерти, четыре военных оркестра. Олив оправилась настолько, что плясала на Фашинге. Том остался дома с Виолеттой — в первый раз, но не в последний.

В 1884 году от «Братства новой жизни» отпочковалось Фабианское общество. Хамфри и Олив, к которой вернулась бледная красота, вступили в него. Вступил и Тоби, хотя посещал собрания нерегулярно. Олив на всех собраниях вязала, не подымая головы, щелкая спицами.

Поздней осенью 1884 года родилась Дороти. Весной 1886-го — Филлис. В 1888-м — мертвая девочка.

В 1887 году Олив написала несколько рассказов для детей и продала в разные журналы. Сюжеты были самые обычные, о детях в трудном положении — богач подбирает сиротку, дети шахтеров пытаются спасти семью от голода, больного ребенка возвращает к жизни говорящий попугай.

В 1890 году родилась Гедда, в 1892-м — Флориан.

В 1889 году вышла в свет «Синяя книга фей» Эндрю Ланга. В детские сказки вдруг ворвалась

настоящая магия, мифы, выдуманные создания и миры. Ранние рассказы Олив были мрачно-сентиментальными и непритязательными. Приход — или возвращение — волшебной сказки словно открыл потайную дверь в воображении Олив. Она стала писать неудержимо, ясно и смело. Идеи она брала из книжек Тоби о фольклоре. Она изобретала свирепые, прячущиеся от людей эльфийские и гномьи племена. Она написала «Эльфинию и лесных зверей», «Сандалии саламандры», «Королеву ледяных пещер», «Потаенный народец из пенала», «Скучную скважину» и «Историю пропавшего мальчика, или Кустарник». Они создали ей имя и принесли неплохие деньги. Сейчас Олив, кроме журнальных рассказов, писала небольшие книжки и книги побольше.

Молодая семья Уэллвуд решила переехать за город, купила пришедшую в упадок усадьбу «Жабья просека», восстановила ее и устроилась там ко времени рождения Флориана (в середине лета 1882 года). В 1893 году родилась еще одна девочка и прожила неделю.

В том году и Хамфри Уэллвуд начал писать для журналов и газет. Он написал несколько статей для «Экономиста» под собственным именем. А еще он начал публиковать в сатирическом ежене-

дельнике «Мидас» серию анонимных репортажей о сомнительных финансовых сделках. Хамфри писал под псевдонимом «Мартовский заяц». Он писал о «кафрском цирке» и о деятельности «лордов Рэнда», торговавших южноафриканским золотом. Он интересовался новыми австралийскими шахтами (иные из них были столь же вымышленными, как «Скучная скважина» из сказки Олив). Дети Уэллвудов играли в охоту на гномов и гигантских червей — погоня шла через «Шахту прыгунов», «Норвежскую», «Гленов рудник», «Розовый рудник», «Деревенский», «Рудник Гольденхюйз» или через «Награду Бейли», «Синицу в руке», «Императрицу Кулгарди», «Веру», «Пан или пропал», «Вовремя», «Копи царя Соломона», «Nil Desperandum»[3] и «Сокровища мира». Многие из них Том представлял себе очень ясно. «Розовый рудник» был цепью сверкающих пещер из розового кварца, из которой по склонам гор струились извилистые реки. В «Nil Desperandum» было черно и скользко, мрачные огни пылали в потайных трещинах, воронки открывались к небу. Том знал, что из глубины шахты даже днем видны звезды, и пытался вообразить, как это

[3] Примечания: 3
«Не отчаиваться» *(лат.)*.

выглядит на деле. Небо, на котором виднеются звезды, — оно синее или черное? А почему?

Бэзил Уэллвуд делал деньги на «кафрском цирке». Он и Хамфри давал советы по вложениям небольших сумм, но Хамфри вместо этого почти сразу вложил деньги из принципа — в акции велосипедной фабрики. Дела компании по производству велосипедных шин «Данлоп» пошли в гору, и Хамфри вдруг обнаружил, что его финансовые дела более чем хороши. Хамфри нанял учителя математики с дальним прицелом — подготовить Тома в Итон. Тоби помогал с изучением классиков.

На празднике Летней ночи 1895 года пили шампанское.

4

Дата праздника Летней ночи могла слегка меняться. Хамфри объяснил Филипу, что день летнего солнцестояния, то есть самый длинный день солнечного года, на самом деле выпадает на 21 июня. Но европейский праздник св. Иоанна справляют вечером 23 июня, предшествующим Иванову дню 24 июня, который также называется «Серединой лета».

— На практике, — сказал Хамфри, который считал, что с молодежью надо говорить как с равными, — на практике мы со своим праздником поступали то так, то этак — выбирали то истинный день солнцестояния, то Иванов день, смотря по тому, на какой день недели они выпадали, чтобы удобнее было праздновать. Сегодня пятница, двадцать первое — истинная середина лета, хотя канун середины лета был вчера, и с рассвета субботы дни начнут убывать, несколько раньше европейской даты праздника… В субботу полнолуние, так что мы будем праздновать, если повезет с погодой, при свете растущей выпуклой луны. «Выпуклый» — хорошее слово.

Хамфри любил смаковать слова. Филипа встре-

вожил поток речи, летевший с той стороны стола. Обычно слова не обрушивались на Филипа в таких количествах. Но теперь он смог представить себе растущий выпуклый диск, и его неуемное воображение принялось расписывать большую чашу убывающими выпуклыми, растущими выпуклыми и истинно круглыми лунными дисками. Может получиться интересно. Серебро и золото на темном кобальте.

— Пятница — удобный день для наших друзей, — сказала Олив. — Они все соберутся здесь на выходные, подальше от города. Филип, мы тебя совсем загоняем приготовлениями.

— Это хорошо, — сказал Филип.

Все семейство — чада, домочадцы, прислуга и Филип — самозабвенно трудилось. Олив и Хамфри оба закончили свою писанину — уже почти на рассвете, до завтрака. Кухня полнилась запахами готовки, и на обед всем дали только хлеб и сыр, потому что печь и большая часть посуды были уже заняты. Филипа отрядили украшать сады — декоративный и плодовый. Он помогал расставлять складные столы на газоне возле дома, а потом, в особо живописных местах, разместил стулья небольшими уютными группами, словно для заговорщиков. В ход пошли все стулья — пле-

теные, конторские, школьные, кресло-качалка из детской, железные садовые. Их расставляли под увитыми зеленью сводами беседок, на прогалине посреди кустарника, даже в саду под яблонями. Потом фонарики — их развесили на ветках, скрыли в купах густой травы и декоративного чертополоха цветочных бордюров. Филипа вместе с Филлис послали вешать фонарики в плодовый сад. Это было запущенное, унылое место. С искривленных ветвей старых плодовых деревьев свисали мох и лишайники, с воли в сад проникли колючие плети ежевики и местами задушили все остальное. На некоторых деревьях были какие-то странные надстройки из досок, с кусками свисающих веревок. Филлис сказала, что они хорошо подойдут для иллюминации. Она привязала фонарики к веревкам и велела Филипу залезать наверх.

— Это старые дома на деревьях, — сказала Филлис. — С тех пор, когда мы были еще маленькие. В эти даже Гедда может залезть. У нас теперь есть другой дом на дереве, гораздо лучше — далеко в лесу. Но это секрет, — неуверенно добавила она.

Филип в это время подбирал жесткую падалицу. Филлис предупредила, чтобы он остерегался ос.

— В яблочках бывают всякие червячки — вдруг

возьмет да и высунет черненькую головку. Ужасно противно, только подумать — вонзаешь зубы, а там что-то извивается…

Они побрели в глубь сада. Филлис показала пальцем:

— Эти два дерева — волшебные, из сказки. Золотая яблоня и серебряная груша. Золото и серебро можно увидеть только при определенном свете, а так приходится верить. Эти два дерева — в самой середине. Их ветви касаются земли, а вершины — неба. А все это… переступень, шиповник… растет вокруг, чтобы их украсить.

Деревья были старые, запущенные, прекрасные. Филип смотрел на сплетения узловатых ветвей и жалел, что у него нет карандаша. Филлис взяла его за руку и потянула вперед.

— А вот тут лежит Рози. Видишь, вон круг из белых камешков. Она под ними, и под яблоней, и под грушей.

Котенок? Птичка?

— На день ее рождения мы приносим ей цветы. И делаем возлияния яблочного сока. Мы ее не забываем. Мы ее никогда не забудем.

Голос у нее был торжественный и густой от избытка чувств.

— Она прожила на свете неделю, всего одну

недельку, и ее не стало. У нее были совершенно дивные, изумительные пальчики на ручках и ножках. А теперь она спит здесь.

Филлис почтительно склонила голову. Филип почуял актерскую игру, но не облек свою мысль в слова. Он спросил себя, задумывалась ли Филлис хоть раз, что там лежит на самом деле — под белыми камнями, меж корней. Он сказал туманно и фальшиво:

— Это хорошо.

Он швырнул горсть жестких мелких яблочек в заросли ежевики. Повесил фонарь с полумесяцем и темной тенью птицы на ветви груши, над белыми камнями.

Филлис взяла его за руку. Прижалась всем тельцем к его боку. Филип почувствовал, что ее плоть всегда была чистой и приятной, а его собственная, по контрасту — никогда. Это снова было только ощущение, не облеченное в слова. Он отстранился.

Когда сад был украшен, а обед из хлеба с сыром съеден, все начали облачаться в костюмы. Виолетта одевала детей, в том числе Филипа, в классной комнате, а Хамфри и Олив пошли надевать собственные наряды, напоминавшие об «их» пьесе — «Сне в летнюю ночь», не строго ели-

заветинские и не афинские, но летящие шелка и льны в духе Движения искусств и ремесел, серебристые и золотистые, цветастые и струящиеся.

В классной комнате стоял большой раскрашенный сундук, имитация ренессансного сундука для приданого. На нем были нарисованы лесные пейзажи, темные поляны, бледные дамы, гончие и белый олень. Это был костюмерный сундук. В нем хранилась необычайно богатая коллекция шелковых сорочек, рубашек с оборочками, вышитых шалей, обручей с вуалями и корон для принцев.

— Очень удобно, когда тетушка — портниха, — сказала Виолетта, обращаясь к Филипу. — Я могу превратить тогу в бальное платье или наоборот и сделать волшебные шелковые цветы из старого чулка. Я думаю, Гедду стоит одеть Душистым Горошком. Вот дивная розово-сиреневая сорочка.

Гедда рылась в ворохах шелка, запустив в сундук обе руки.

— Я хочу быть ведьмой, — сказала она.

— Милая, я же тебе сказала, — произнесла Виолетта. — Ведьмы бывают на Хэллоуин. А в Летнюю ночь должны быть феи. С хорошенькими крылышками из органзы. Вот погляди.

Пришла Олив со сверкающей пряжкой — по-

просить Виолетту пришить ее к шарфу. Олив взъерошила волосы Гедды.

— Ну пусть будет ведьмой, если хочет, — небрежно сказала она. — Мы же хотим, чтобы они были довольны, правда? Чтобы могли бегать и веселиться. Милая, ты нашла ведьминский костюм? Вот моя старая черная шаль с прекрасной бахромой. Видишь, на ней вышит огнедышащий дракон. А вот старая танцевальная туника Филлис… Ви, ты только прихвати в паре мест, чтобы она не распахивалась. А вот брошка, стеклянный жук, то, что надо. А Филип сделает тебе шляпу из черной бумаги. Филип, только не слишком большую, чтобы она не сваливалась.

— И метлу, — сказала Гедда.

— Тогда сходи на кухню и попроси там веник.

У Виолетты было такое лицо, словно она вот-вот взорвется — похожее выражение бывало и у Гедды, — но она повиновалась, и скоро малышка уже кружилась в вихре черных крыльев летучих мышей и летящей по воздуху бахромы. Виолетта одела покорного Флориана в желтое и зеленое, в куртку с фестонами — он изображал Горчичное Зернышко. На голову ему водрузили остроконечную фетровую шапочку, которую он все время растерянно трогал. Филлис приняла

отвергнутую роль Душистого Горошка, и ее любовно задрапировали маркизетом — сиреневым, розовым, цвета слоновой кости. Надели на нее серебристый плащ, напоминающий сложенные крылья стрекозы, а на голову — венок из шелковых цветов.

Дороти изображала Мотылька — в серой бархатной тунике, в плаще, на котором были нарисованы глаза. Виолетта пыталась уговорить ее надеть проволочные усики, но тщетно.

Тому выпала роль Пэка. Он был босиком, в обтягивающих коричневых лосинах и куртке цвета листьев. Он тоже отверг головной убор и сказал, что вплетет в волосы веточки. Филлис сказала, что Пэк не носил очков. «Этот носит, — ответил Том, — иначе свалится в пруд или запутается в колючках».

Возник вопрос: что делать с Филипом. Он сказал, что не наденет костюм, потому что будет чувствовать себя по-дурацки. Никто не хотел предложить ему должность рабочего сцены. Это было бы грубо. Том спросил:

— Может, ты наденешь тогу и будешь афинянином?

Филип не знал сюжета «Сна в летнюю ночь», и выбор костюмов привел его в полнейшее недо-

умение. Он сказал, что, наверное, не сможет ходить в тоге. По правде сказать, он не представлял себе, что это вообще такое.

— Я не люблю, чтоб на меня глядели, — сдавленно сказал он. Все дети, даже те, что прыгали кругом, хвалясь нарядами, прекрасно понимали, что значит, когда человеку не хочется, чтобы на него смотрели. Тут Дороти осенило. Она сняла со стены кубово-синий халат, который Том надевал на уроки рисования.

— Ты можешь нарядиться художником. Кстати, ты и по правде мог бы в нем ходить, когда делаешь горшки и все такое.

У халата было высокое горло, широкие рукава, глубокие карманы. Он надевался сверху на одежду. Во многих отношениях это был меньший маскарад, чем теперешняя заемная одежда Филипа. Он посмотрел на свои ноги.

— Ты можешь пойти босиком, — сказала Дороти. — Мы ходим босиком.

— Ты можешь пойти как есть, — сказал Том.

Филип надел халат. Он был удобный. Филип позволил Виолетте переменить ему ботинки на сандалии. Все, кто не ходил босиком, были в сандалиях.

— Теперь ты можешь бегать и прыгать, — ска-

зала Дороти.

Ноги Филипа под ремешками сандалий были бледные, но не белые. Мысль о том, что можно бегать и прыгать, доставила ему мимолетное удовольствие.

В середине дня начали прибывать гости. Не все сразу, а одни за другими, из близких и далеких краев, в экипажах, двуколках, запряженных пони, пролетках, взятых на железнодорожной станции, пешком, а в одном случае даже на трехколесном тандеме-велосипеде.

Хамфри и Олив стояли на ступенях и встречали гостей. Супруги оделись Обероном и Титанией. На Хамфри была шелковая куртка, расшитая флорентийскими арабесками, черные бриджи и объемистый бархатный плащ, державшийся под невероятным углом на шелковом шнуре, перехватившем плечо. Хамфри выглядел нелепо и прекрасно. Эта роль его забавляла. На Олив был плиссированный оливковый шелк поверх плиссированного белого льна, а сверху батистовый плащ с прожилками — словно крылья стрекозы. Волосы увиты жимолостью и розами. Рядом стояла Виолетта в платье, расшитом ивовыми листьями по атласу, по-девичьи склонив голову, тяжелую от шелкового плюща и белых перьев.

Вокруг носились дети. Их призовут к порядку, когда появятся другие дети.

Первыми — им надо было только перейти лужайку — явились из фермерского домика русские анархисты. Василий Татаринов бежал из Санкт-Петербурга в 1885 году. Он читал лекции о русском обществе и получал щедрое вспомоществование (в том числе право пользования тем самым домиком) от английских социалистов. У Василия было две смены одежды: рабочий халат и парадный костюм для лекций. Сегодня Василий пришел в костюме. Он бросался в глаза — необыкновенно высокий, тощий, с длинной остроконечной белой бородой, похожий на волшебника. Его жена Елена пришла в лучшем из своих двух платьев — коричневом поплиновом, отделанном черной тесьмой и черными пуговицами. Волосы гладко зачесаны назад. До карнавальных костюмов Татариновы не снизошли. Их дети, Андрей и Дмитрий, примерно ровесники Филлис, были в повседневных фартуках — красном и синем. Они по большей части притворялись, что не говорят по-английски.

На трехколесном велосипеде, крутя педали, прикатили Лесли и Этта Скиннеры, собратья-фабианцы. Скиннер занимался антропологической

статистикой и наследственностью в лондонском Юниверсити-колледже. У Лесли были прилизанные черные волосы, белая кожа и синие глаза. Этта была старше мужа. Они познакомились в 1880 году, в «Клубе мужчин и женщин» при колледже. Там обсуждали женский вопрос, противозачаточные средства, животные страсти и сексуальные инстинкты. Скиннер был очень серьезный, с чарующим голосом. Он возбуждал немалые животные страсти в коллегах и студентках. Уэллвуды согласились между собой, что он женился на Этте, чтобы защитить себя от безумных менад. Этта была пламенной теософкой, посещала собрания на Албемарл-стрит, посвященные эзотерическим и астральным материям, читала лекции о вегетарианстве, а также учила грамоте и арифметике лондонских бедняков. У Этты было круглое лицо, плотно сжатый рот и волосы цвета перца с солью, пушащиеся посеченными концами. Казалось, она когда-то была жадной и нетерпеливой, но перевоспиталась. Она приходилась дальней родней Дарвинам, Веджвудам и Гальтонам; это не могло не заинтересовать специалиста по наследственности, как заметил Хамфри. Но Скиннеры, женатые уже десять лет, были бездетны. Странно, сказал Хамфри, что

люди, изучающие наследственность, часто сами не имеют наследников. Олив ответила, что ей не нравится, как одевается Этта: она сама красит материю для своих платьев, и все они похожи на мешки. Этта сняла велосипедную юбку и вуаль, и стало видно повседневное платье неровного сливового цвета.

Вслед за Скиннерами прибыл Тоби Юлгрив, тоже на велосипеде. Тоби владел крохотным коттеджем в лесу и приезжал туда на выходные. Тоби с Эттой тут же принялись обсуждать народные обычаи, связанные с Летней ночью.

Проспер Кейн приехал из Айуэйд-хауза в экипаже с Джулианом и дочерью Флоренцией. Они все были в костюмах. Проспер — в костюме Просперо: обширных одеждах черного бархата, расшитых знаками Зодиака. В руке он держал длинный посох из бивня нарвала. Навершие посоха было усажено «лунными камнями» и оливинами. Джулиан оделся в театральный костюм принца Фердинанда, черный с серебром. Двенадцатилетняя Флоренция была в очень красивом костюме Миранды, в струящейся рубашке цвета морской волны, с развевающимися темными волосами, в жемчужном ожерелье. Джулиан и Том осторожно поглядывали друг на друга. Они пережили

совместное приключение, но оба не были уверены, что хотят дружить. Подошла улыбающаяся Олив, и Проспер поцеловал ей руку. Он шепнул ей на ухо:

— Дорогая, я позаимствовал из музея одну совершенно фантастическую вещь, только не говорите никому.

— Даже не знаю, верить ли вам.

Он так и не выпустил ее руки.

— Никто мне никогда не верит. Я излучаю неопределенность.

Джулиан заметил Филипа в халате:

— А я тебя не узнал.

Филип переминался с ноги на ногу. Том сказал:

— Он сделал совершенно потрясные фонари. Пойдем посмотрим.

Они пошли прочь, и Флоренция последовала за ними.

Приехала бричка, а в ней компания из Данджонесса; дамы везли маскарадные наряды в плетеных корзинках, поскольку ехали издалека. Бенедикт Фладд, как и предсказывала Олив, не явился. Серафита в те дни, когда еще была Сарой-Джейн Стаббс, прерафаэлитской красавицей из Маргейта, служила моделью Берн-Джонсу и Россетти. Сейчас ей было уже за сорок; она сохранила

все черты, запечатленные на картинах, — тонкую кость, узел черных волос, огромный лоб, широко расставленные зеленые глаза и спокойную линию рта, но тело ее отяжелело, и кроткой благости в лице поубавилось. Она путешествовала в свободном платье фасона «либерти», но привезла с собой другой наряд, более роскошный, с вуалью, которую собиралась набросить на голову и плечи. Детей звали Имогена — девочка шестнадцати лет, стесняющаяся своих грудей, Герант — чуть старше Тома, с глазами и волосами как у матери, и Помона — ровесница Тома, с волной каштановых кудрей. Обе девочки привезли вышитые бисерные «шапочки Джульетты», а Помона еще и домотканое платье, расшитое крокусами, нарциссами и колокольчиками. Герант был одет в какой-то домотканый халат, очень похожий на халат Филипа.

Фладдов сопровождал серьезный юноша по имени Артур Доббин. Он считал себя подмастерьем Бенедикта Фладда. Доббин надеялся основать в соляных болотах вокруг реки Рай коммуну художников. Он был низенький, пухлый, с зализанными волосами и настойчивым, рыскающим взглядом. Он хотел бы явиться на праздник в костюме Оберона или сэра Галахада, но знал,

что это не пойдет. На нем были шерстяные вязаные одежды от Егера, так разрекламированные Бернардом Шоу. Для жаркого июня он оделся чересчур тепло.

Дороти ждала следующего экипажа. Хамфри тоже ждал — он судорожно вдохнул, когда к дому подкатила элегантная коляска. Это были другие Уэллвуды. Они приехали из «Повилики», своей загородной усадьбы. На них были скромные дорожные костюмы, а в руках — коробки от модисток. Бэзил и Катарина смотрели по направлению движения; дети, Чарльз и Гризельда, сидели за спиной кучера, глядя назад.

Дороти ждала кузину Гризельду. Именно кузина Гризельда приходила на ум Дороти, когда та мысленно произносила слово «любовь» (которым обычно не разбрасывалась). Гризельда была одного возраста с Дороти и ближе ей, чем родная сестра, Филлис. Дороти была реалисткой и понимала, что не любит Филлис, хоть и знала, что должна любить. Может быть, именно поэтому Дороти чуть более подчеркнуто любила Гризельду, которую видела не слишком часто. Дороти иногда опасалась, что от рождения обделена способностью любить по сравнению с другими людьми. Филлис любила всех и вся — маму, папу,

тетю Виолетту, Гедду, Флориана и Робина, Аду и Кейти, пони, пушистого котенка, мертвенькую Рози в саду, живущих в «Жабьей просеке» жаб. Дороти ко всем ним питала различные чувства. Кое-кого она любила. Но Гризельду она любила на самом деле, она выбрала Гризельду, чтобы ее любить.

Фрида, горничная Катарины, сидела рядом с кучером. Она слезла, чтобы руководить разгрузкой шляпных и одежных коробок.

Бэзил Уэллвуд был ниже и мускулистее младшего брата. Он носил хорошо скроенный светло-серый костюм, который не собирался менять на маскарадный, кольцо с бриллиантом и сложную часовую цепочку из множества переплетенных колец. Увидев яркие одежды Хамфри, Бэзил счел их нелепыми, нахмурился и не очень старательно скрыл это. Он поздравил Хамфри с солнечным днем, словно Хамфри кого-то нанял для получения нужной погоды, и Хамфри, в свою очередь, счел это нелепым.

Четырнадцатилетний Чарльз, который как раз готовился к экзаменам в Итон, был похож на обоих братьев — у него были рыжевато-золотистые волосы, песочного цвета ресницы и сильные черты лица. Он тоже был в костюме, с шейным

платком, заколотым жемчужной булавкой для галстука.

Катарина была худа и бледна; голова на стройной шее казалась маленькой по сравнению со шляпой, украшенной крыльями голубки и плотно прилегающей вуалью с мушками. Волосы у Катарины были какого-то промежуточного цвета между выцветшим серым и мышиным блондинистым. Глаза — большие, тоже какого-то неопределенного цвета, в слегка пострадавших от времени, обведенных темными кругами орбитах, среди складок и тонких морщинок.

Гризельда была очень худая, с тонкими светло-серебристыми волосами, заплетенными в косу и уложенными короной вокруг головы (как у настоящей *Mädchen,*[4] подумал Хамфри). Одета она была в серо-бежевый дорожный костюм. Тонкий рот не улыбался. Гризельда была высокая и с виду не очень крепкая. Дороти побежала с ней здороваться.

Они пошли в дом, переодеваться. Филлис, пристраиваясь хвостом за Дороти и Гризельдой, спросила:

— Кузина Гризель, а ты привезла красивый

---

[4] Примечания: 4
Девушка *(нем.).*

костюм?

— Вы все в маскарадных нарядах.

— Сегодня праздник Летней ночи, — сказала Дороти. — Мы его всегда справляем в костюмах. А ты?

— А я нет. Я привезла новое бальное платье. Увидите.

Одевание было делом небыстрым. Шнурки и пуговицы отняли целую вечность. Возникшие наконец из спальни Олив мать и дочь были совершенно очаровательны и абсолютно неуместны. На Катарине было платье из бело-сиреневого шанжана и валансьенского кружева с огромными буфами выше локтя. Туалет довершали лайковые перчатки и головной убор из кружев и свежих розовых бутонов, похожий на огромную подушечку для булавок. Гризельда была в платье светло-розового атласа с кружевной кокеткой. Платье украшали розовые бантики чуть более темного оттенка — на рукавах-буфах, по подолу. Филлис сказала, что платье очень красивое. Дороти воскликнула:

— Оно может запачкаться, если мы пойдем в сад.

— Оно тут совершенно не к месту, — ответила Гризельда. — Чарльз называет его «малютка

Бо-Пип».

— Ты похожа на фарфоровую куклу, — заметила Дороти, — на куклу из сказки, которая стоит на полке, и в нее безнадежно влюблен оловянный солдатик или нахальный мышонок.

— На Портман-сквер это платье смотрелось бы абсолютно уместно, — безо всякого выражения произнесла Гризельда. — Думаю, мне придется потерпеть.

Явилась двуколка, запряженная пони. Сперва показалось, что в ней сидит труппа вампиров и привидений с белыми, застывшими лицами. Двуколкой правил Августус Штейнинг, обитатель коттеджа «Орешек», стоявшего на краю Даунса. Штейнинг слез с двуколки и встал на длинные-длинные ноги с элегантно развернутыми, как у танцора, носками. У него была серебристая бородка, элегантные усы, густые, хорошо подстриженные серебристые волосы. Он приехал в костюме для сельской местности, но, переодевшись, стал еще одним Просперо, так как привез с собой каббалистический плащ с капюшоном и узловатый посох из древесины грецкого ореха. Штейнинг был театральным режиссером, иногда и сам писал пьесы; больше всего прославились его постановки «Пер Гюнта» и «Бури», хотя, по-

мимо этого, он написал еще историческую пьесу о Кромвеле и Карле I. У него были передовые идеи. Он интересовался новой немецкой драмой, немецкими сказками и фантазиями. (Коттедж «Орешек» назывался так не из-за ореховых деревьев, растущих в саду, а по зловещей сказке Гофмана про Щелкунчика и мышиного короля.) В повозке лежали кучей большие театральные маски.

— Дорогие, я привез вам ослиную голову, без нее Летняя ночь не обходится, а это не простая голова, ее носил сам Бирбом Три. Мы можем надевать ее по очереди и преображаться. А еще я привез восхитительные венецианские маски, вот Пьеро и Коломбина, вот гриф-стервятник — на самом деле он доктор-шарлатан, сторонящийся чумных бубонов… Вот черная колдунья, расшитая блестками. Вот Солнце в пылающей короне, вот Луна с облачными горами и серебряными слезами…

Он обратился к Олив:

— Я взял на себя вольность пригласить одного гостя. Он едет отдельно, так как ему нужно много места. Он следовал прямо за мной…

Тень раздражения пробежала по лицу Олив. Это ее праздник. Здесь она раздает дары. Тут

прибыла еще одна двуколка с единственным человеком в неодушевленной компании, которая в данном случае была спрятана в черных коробках и сундуках с медными застежками.

— Кажется, вы давно знакомы, — сказал Август Штейнинг. (Он любил называть себя Августом в честь клоунов.) — Надеюсь, я не совершил оплошности.

Он заметил гримаску Олив.

Олив посмотрела на нового гостя, помедлила и бросилась к нему с распростертыми руками.

— Добро пожаловать. Какая неожиданная радость…

Незнакомец вылез из двуколки. Он был маленький, худой, темноволосый, в черных брюках в обтяжку, длинной черной куртке, черной фетровой шляпе, за ленту которой были заткнуты перья сойки. У него была остроконечная театральная бородка и ухоженные усы. Гравий не хрустел у него под ногами. Он на миг склонился над рукой Олив.

— Это и вправду наш старинный друг, мы встречались в Мюнхене. Майор Кейн, позвольте представить вам — герр Ансельм Штерн, человек искусства, весьма необычного. Герр Штерн, это мистер Уэллвуд, мой деверь, и Катарина Уэлл-

вуд…

Детей она не представила.

Кейти получила приказ — помочь герру Штерну с коробками. Гедда потрогала коробки и спросила, что в них.

— Увидишь во благовремении, — сказал Август Штейнинг. — Мы надеемся, что твоя мама разрешит нам это показать.

Герр Штерн, наблюдая за разгрузкой коробок, вдруг обрел голос и, запинаясь, сказал по-английски:

— Я привез подарок для маленьких девочек.

Он неуверенно переводил взгляд с Дороти на разнаряженную Гризельду, на хорошенькую Филлис, на маленькую черную ведьму с жукомброшкой.

— Коробка с красной лентой, — сказал герр Штерн, обращаясь к Кейти. — Пожалуйста.

— Что это может быть? — спросила Филлис.

— Откройте, пожалуйста, — сказал Ансельм Штерн.

Коробка была размером с обувную и завернута в бумагу, похожую на пергамент. Виолетта разрезала бечевку, Филлис развернула бумагу. Гедда выскочила вперед и сняла крышку с оказавшейся внутри коробки — очень похожей на обувную,

а может, и вправду обувной. Гедда заглянула в коробку.

— Там башмак, — сказала она.

Виолетта вытащила то, что лежало в коробке.

Это был очень большой башмак из прошитой кожи, темной, красновато-коричневой, с большим языком и большой стальной пряжкой с острой булавкой в середине.

Дороти сперва показалось, что в башмаке мыши. Она отступила на шаг.

— Это дети, — неуверенно сказала Филлис.

Башмак был битком набит тряпичными куколками, круглоголовыми, с немигающими глазами-бусинками.

Куклы были одетые — кто в кожаных шортах, кто в фартуках, оборачивающих все тело. Филлис неловко засмеялась. Куклы смотрели не мигая. Гедда сказала:

— Это старушка, которая жила в башмаке. Только старушки нету, дети сами по себе.[5]

Она схватила башмак и прижала его к сердцу. Другие девочки вздохнули с облегчением.

— Какая оригинальная игрушка, — произнесла

---

[5] Примечания: 5

Имеется в виду английская детская песенка: «Жила-была старушка в дырявом башмаке, / У ней детишек было, что зерен в колоске...» Перевод Г. Кружкова.

Виолетта.

— Тебе нравится? — спросил герр Штерн у Гедды.

— Она немножко страшная. Я люблю все страшное.

Август Штейнинг объяснил, что Ансельм Штерн — кукольник. Он творит чудеса с перчаточными куклами и марионетками. Они надеются преподнести подарок королеве фей, сказал он, кланяясь в сторону Олив. Представить для гостей сказку о Золушке. Куклы для постановки были надежно запрятаны в тех самых черных лакированных ящичках, уже виденных присутствующими. И он надеется, что, если пьеса понравится зрителям, то назавтра они посетят «Орешек», чтобы увидеть более искусную постановку.

— Я говорю «мы надеемся представить», — объяснил он, — потому что Ансельм учит меня тайнам марионеточного театра. Я буду учеником волшебника. Я буду управлять злыми сестрами Золушки.

Олив улыбнулась. Хамфри пригласил всех к столу.

— Сначала мы будем есть и пить. Потом — представление. Потом другая перемена блюд и танцы. У нас есть талантливые музыканты — Ге-

рант играет на флейте, Чарльз на скрипке, а Том управляется как может с жестяной дудочкой.

Они собрались на лужайке. Штейнинг только что вернулся из Лондона, где встречал Ансельма Штерна, и привез ошеломительные новости. Рутинное голосование по поводу ассигнований на армию, трат на стрелковое оружие вдруг переросло в вотум недоверия. Лорд Розбери подал в отставку, и премьер-министром стал лорд Солсбери — временно, до осенних выборов.

Проспер Кейн сказал, что эти перемены могут пойти во вред Музею. Он все еще ждал осязаемого воплощения проектов сэра Астона Уэбба — нового фасада и внутреннего дворика.

— Музей превратился в склад стройматериалов, — пожаловался майор. — А все это в лучшем случае задержит работы.

Бэзил Уэллвуд не нашел среди собравшихся ни одного человека, с которым можно было бы обсудить влияние этих событий на фондовую биржу. Он подумал, что попал в необычное племя — сплошная мишура и фальшивая позолота.

Вполголоса заговорил Лесли Скиннер. Насколько он помнит, имя лорда Розбери упоминалось в связи с прискорбными событиями, вызвавшими недавний судебный процесс. Ведь правда ходили

слухи, что прискорбная кончина старшего сына лорда Куинсберри — не лорда Альфреда Дугласа, а лорда Друмланрига — была вовсе не несчастной случайностью, но актом самоуничтожения, направленным, как говорили, на защиту доброго имени лорда Розбери? И по этому поводу задавались вопросы во время рассмотрения проигранного дела мистера Уайльда против лорда Куинсберри — иска за клевету? Скиннер говорил с таким видом, словно его интерес был чисто научным. На серьезном лице не отражалось ничего, кроме стремления к точным знаниям.

Виолетта Гримуит неодобрительно цокнула языком, согнала в кучку детей, которые стояли поблизости и слушали, и повела их есть фруктовый салат. Джулиан и Том не пошли. Джулиан поманил Тома, и они встали так, чтобы все слышать, — по ту сторону складного стола, пробуя тарталетки по одной. Прошло меньше месяца с того дня, как Оскар Уайльд в третий раз предстал перед судом — это был второй суд над ним за «нарушение общественных приличий», так как на первом судебном процессе присяжные не пришли к согласию. Все только об этом и говорили и никак не могли перестать. Джулиан, как и его товарищи по школе, читал газетные отчеты. Он

хотел послушать. Лесли Скиннер спросил у Августа Штейнинга:

— Я не ошибаюсь, вы присутствовали в суде?

— Да, — ответил Штейнинг. — Действительно так. Бедняга нуждался в дружественно настроенных зрителях. Я не мог не выступить свидетелем. Это было поистине трагическое падение. Некоторые аспекты его необъяснимы. Вы слыхали о предсказаниях гадалки?

Все сказали, что нет, хотя по крайней мере Хамфри прекрасно знал эту историю.

Штейнинг рассказал, вытягивая вперед в качестве иллюстрации сначала одну, потом другую длинную, бледную, изящную ладонь.

— Это было за ужином у Бланш Рузвельт. Хиромантка пряталась за ширмой, и гости по очереди просовывали туда руки, оставаясь неизвестными. Оказывается, левая ладонь показывает судьбу, начертанную в звездах, а правая — то, что ее владелец сделает с этой судьбой. Левая рука Оскара — у него ладони гораздо пухлее моих — сулила ему огромные, невероятные достижения, успех. Правая предвещала гибель — причем в точно указанный срок. Левая — рука короля, правая — рука короля, который отправит себя в изгнание. Оскар спросил о точной дате, получил ответ

и немедленно покинул собрание. По-видимому, пророчество сбылось.

Скиннер спросил Штейнинга о его впечатлениях от суда.

— Он держался с достоинством и стоял как агнец, предназначенный на заклание. Он позволил загнать себя в положение, когда вынужден был острить. Он храбро говорил о любви, не смеющей назвать себя. Ему хлопали. Но это не было триумфом. А его теперешнее состояние ужасно. Его имя убрали с афиш театров, где идут его пьесы, — боюсь, недолго им еще идти. Говорят, тюрьма его убивает. Он хотел отнестись к ней как к монашескому затвору, келье Просперо — но он спит на досках, у него нет ни книг, ни чернил, ни перьев, его заставляют крутить ступальное колесо. Он исхудал, плоть висит складками. Он не может спать.

Хамфри, свой человек в мире газетных сплетен, небрежно заметил, что лорд Розбери был болен — очень болен — несколько месяцев и внезапно оправился в конце мая. Но, по-видимому, лишь для того, чтобы дождаться падения своего правительства. Хамфри переглянулся со Штейнингом и вдруг заметил Тома с Джулианом.

— Нечего вам тут стоять и слушать про поли-

тику. Идите расставьте стулья для кукольного представления.

Том и Джулиан побрели прочь по траве.

— Вот всегда они говорят, что нечего слушать, как раз когда хочешь послушать, — заметил Джулиан.

— А ты хочешь? — спросил Том.

— Они думают, мы про это ничего не знаем. Они должны были бы понимать, что мы про все узнаем в школе просто потому, что мы мальчики. Между уроками греческого и крикетом, греблей и рисованием. Хихиканье, тычки, записочки. Они должны бы знать, что мы знаем. Они ведь сами не могли не знать.

Том не знал. Он жил дома и учился дома, хотя Бэзил и Хамфри планировали следующей весной отправить его на приемные экзамены в школу Марло. Когда Хамфри заговорил о том, чтобы отправить Тома в новомодную, только что открытую школу Бедейлз, где мальчики купаются нагишом и выгребают навоз из-под скота, вмешался Бэзил. Он сказал, что поможет с платой за обучение. Том был очень способный, ему давалась математика, языки. Латыни и греческому его учили анархисты, они любили учить и были рады лишнему источнику дохода. Математикой

Том занимался с преподавателем. Осенью математики должно было прибавиться. Том ходил на уроки через поля и луга. Большую часть времени он жил привольно. Он не мог решить, хочется ли ему знать про то, о чем говорит Джулиан. Он не мог решить, хочется ли ему дружить с Джулианом. Том часто не мог понять, чего хочет, и при этом был общителен и дружелюбен; в результате у него было много приятелей и ни одного близкого друга. Ему было тринадцать, и он все еще был мальчиком, а Джулиану — пятнадцать, и он по временам мог быть серьезным молодым человеком.

Очки придавали Тому сходство с совой. Тонкие светлые волосы торчали во все стороны, словно напрашиваясь, чтобы их кто-нибудь взъерошил. Юную кожу, смугло-золотую от жизни на открытом воздухе, еще не испортили прыщи. У Тома были глаза матери и длинные ресницы. Высокие и широкие скулы, нежный рот. Именно таких мальчиков, красивых, но не сознающих своей красоты, много обсуждали и старались добиться их благосклонности, как в подготовительной школе, где Джулиан учился сейчас, так и в Марло. Джулиан спросил себя, хорошенький ли Том, может ли он быть объектом страсти, и понял,

что теоретически — несомненно, да. В школе хорошенькие мальчики быстро становились настороженными и застенчивыми. Том держался небрежно, это создавало дистанцию и придавало ему шарм. Джулиан ждал наплыва любви и похоти, которые, соответственно, как правило, не заставляли себя ждать. У него была неудобная привычка наблюдать за собой со стороны и задаваться вопросом — не фальшивые ли, не натужные ли его любовь и похоть. Он боялся стать изгоем-одиночкой и опасался, что именно это его и ждет. Сам он точно не был объектом влечения других мальчиков, насколько он знал, а он разбирался в таких вещах. Кроме того, ему докучали гнойные прыщи и оставленные ими кратеры. Он не знал — может быть, Том, кроме того, что хорошенький, еще и слишком простой, а потому скучный.

Том же оценивал Джулиана по своим привычным критериям. Можно ли его пригласить в «дом на дереве»? Станет ли он когда-нибудь человеком, которого можно туда пригласить? Пока еще трудно было сказать с уверенностью, но Том склонялся к тому мнению, что нельзя. Он произнес дружелюбную бессмыслицу:

— Взрослые всегда думают, что мы не знаем

того, что они на нашем месте знали. Я думаю, им просто нужно помнить неправильно.

Зрители, словно куры, сбежались на кукольное представление. Они расселись полумесяцем в голубом дневном свете — на стульях, табуретах, на траве. Гризельда и Дороти сели рядом на вышитые табуреточки, охраняя Гризельдину юбку. Обе думали, что уже слишком взрослые для кукольных спектаклей.

Август Штейнинг выступил из-за будки, которую воздвигли они с герром Штерном. Будка была завешана занавесками цвета полночного неба в звездах-блестках. Он низко поклонился и провозгласил:

— Добро пожаловать на представление пьесы *«Aschenputtel»,* или «Золушка»!

Он снова ушел за темную будку.

Прозвучала труба, забил барабан. Занавес распахнулся.

Сцену под медленный бой барабана пересекал траурный кортеж: одетые в черное плакальщики, несущие гроб, скорбный вдовец, чинная дочь в черном плаще, с затененным лицом. Гроб под мрачный барабанный бой опустили в яму. Из земли поднялся зеленый холмик, на нем воздвиглось надгробие. Отец и дочь обнялись.

Следующая сцена была в доме. Под торжественные звуки скрипки появились мачеха и сестры. Марионетки были тонкой работы, с изящными фарфоровыми лицами, с настоящими человеческими волосами, затейливо убранными — заплетенными или скрученными, в шуршащих юбках тонкой работы — алых, сиреневых, янтарных. Сестры были не уродки, а модные красавицы — в жемчужных ожерельях, с высокомерными личиками, презрительно искривленными ртами, нарисованными выщипанными бровями. Мать и дочери были похожи, как горошины в стручке — сделаны по одной и той же форме. Золушка с длинными золотыми косами была одета в простое небесно-голубое платье. Мачеха и сестры повелительно указывали ей на стулья, которые следовало протереть и переставить, на серебряные супницы, которые надо было отнести на кухню, на очаг, который нужно было подмести, на огонь, за которым она должна была следить. Она двигалась, повинуясь их командам. Из камина вылетел клуб настоящего дыма.

Золушка вздрогнула, села на табурет, закрыла милое фарфоровое личико тонкими фарфоровыми руками. Дрожь была совсем человеческая и пугала; маленькие ручки качались в такт и

складывались вместе.

Пришел отец в дорожных сапогах и плаще. Он поцеловал руки дочерям и спросил, что им привезти в подарок.

Куклы в спектакле почти не говорили, но этот ритуальный вопрос был произнесен голосом Августа Штейнинга — высоким, легким, тонким, словно тростинка. Голос казался соразмерным миниатюрному артисту. Тон голоса поднялся, переходя в контртенор. «Шелку и бархату», — сказала алая сестра. «Рубинов и жемчугу», — сказала сиреневая. «Веточку, что зацепит твою шляпу», — ответила Золушка.

Вслед за этим зрители увидели ее на коленях у зеленого холмика и серого камня — она разглаживала траву и сажала веточку. Медленно, чудесно из-за сцены стало подниматься дерево, гибкий ствол распустился ветвями, завесился дымкой листьев. Прилетели две белые голубки, порхающие, пикирующие, сшитые из перьев и шелка, с черными бисеринками вместо глаз, розовыми лапками и перламутровыми шейками. Защебетала скрипка. Голубки слетели на руки Золушке. Она легла и обняла могильный холмик, а голубки стали прихорашиваться и ворковать у нее в волосах.

Дороти захлопала глазами. Крохотные создания странно и страшно ожили. Дороти крепилась, стараясь не поддаваться иллюзии. Рядом Гризельда, завороженная, смотрела не отрываясь.

Мачеха велела Золушке выбирать чечевицу из золы. Голубки просеяли золу и ловко побросали зерна в кастрюлю — послышался дробный мелкий стук.

Сестры наряжались на бал — им помогала новая марионетка, послушная портниха с нарисованным ртом, полным булавок. У одной сестры были пюсовые банты. У другой — фиолетовые помпоны. Золушка сидела у очага, уронив голову на руки.

Рыдающая дочь стояла у могильного холмика — распущенные волосы падали массой золотых нитей — под танцующим деревом, которое замахало ветвями и, словно сходящий с небес ангел, снабдило Золушку роскошным золотым платьем, диадемой и парой золотых туфелек.

Бал происходил за кисейной занавеской — вихрем кружились фигуры, танцевальная музыка слышалась из музыкальной шкатулки: бренчащие вальсы, скачущие польки. У принца были сверкающие белые волосы, связанные лентой, длинный темный фрак и панталоны до колен.

Он танцевал с золотой девушкой. Пробили часы. Она бежала. Дерево и птицы соткали из воздуха другое платье, серебряное, как луна. И третье — словно звездное небо, запутавшееся в острых ветках. Контртенор пропел:

Ты качнись, отряхнись, деревцо,
Одень меня в злато-серебро.[6]

Явился принц с горшком смолы и коварно намазал ступени дворца. Он танцевал с Золушкой, пробили часы, она бежала, и золотой башмачок остался блестеть на смоле.

Финальные сцены были отвратительно кровавы. Одна высокомерная сестра, все с тем же гордым лицом, по наущению матери взяла кухонный тесак, и хрясь! — отрубила себе большой палец. «Когда станешь королевой, все равно пешком ходить тебе не придется», — сказала мать фальцетом. Жених и невеста поехали верхом на лошади, сделанной из настоящей кожи, в красивой сбруе. Золотой башмачок переполнялся кровью. Многие дети потом долгие годы будут вспоминать, как капало красное из башмачка.

---

[6] Примечания: 6

Здесь и далее стихи из сказки «Золушка» цитируются по изданию: *Гримм Якоб, Гримм Вильгельм.* Сказки. Переводе немецкого Г. Петникова. М.: Худ. лит., 1978.

Дороти хлопнула глазами и запретила себе что-либо воображать.

Кружащиеся голубки воззвали к принцу:

Погляди-ка, посмотри,
А башмак-то весь в крови,
Башмачок, как видно, тесный,
Плохо выбрал ты невесту!

Пришлось им поворачивать назад. Но мачеху это ничему не научило: она снова взяла тесак, хрясь! — и отлетела пятка у второй сестры, и та принялась всовывать фарфоровые пальчики в золотую скорлупку.

— Какой ужас, — сказала Гедда вслух. — И так уже все в крови.

Пропели голубки, и принц повернул обратно.

Отец вызвал Золушку, которая в это время сидела в лохмотьях на золе. Золушка явилась, вдела тонкую ступню в башмачок, и принц схватил ее в объятия. Она выбежала и вбежала снова в сияющем звездном платье. Кукольные отец и дочь обнялись посреди сцены, ее фарфоровая щека лежала у него на плече, он гладил ее золотые волосы.

Задник сцены превратился в освещенный свечами хор. Свадебная процессия шла от алтаря.

Голубки слетели на паперть воркуя и напали на злых сестер, колотя их белыми крылышками по головам — головные уборы слетели, лица исчезли за мельтешением крыльев и вновь появились уже с кровавыми ямами вместо глаз.

Гризельда сжала губы. Дороти сердито вздрогнула. Филлис заявила, что сказка совсем неправильная — ни феи-крестной, ни тыквы, ни стеклянной кареты. «И ни крыс и мышей, ни ящерицы», — закричала Гедда, перевозбужденная и напуганная кровожадными голубками.

«Еще!» — сказал Флориан: он ничего не понял, но его заворожил движущийся миниатюрный мир.

— Интересно, почему так отличается сюжет, — сказала Гризельда, обращаясь к Дороти. Дороти ответила, что лично ей это не очень интересно, но если Гризельда интересуется такими вещами, то ей лучше спросить Тоби Юлгрива, он вечно распространяется насчет волшебных сказок.

Гризельда, похожая на потерянную фарфоровую пастушку в толпе разномастных феечек, робко потянула Тоби за рукав. Она сказала, что ей очень хочется знать, почему сказка совсем другая.

— Дороти сказала, что вы можете объяснить.

Тоби уселся рядом на садовую скамью. Он сказал, что Гризельда привыкла к французской версии сказки, которую создал Шарль Перро. Он писал сказки специально для юных девиц и, как правило, вставлял туда фей-крестных. Штерн же использовал немецкую версию, из сказок братьев Гримм. Гризельда сказала, что она сама наполовину немка, но дома у них нет немецких волшебных сказок, а жаль. Тоби ответил, что это лишь две вариации из бесконечного числа — в каждой стране, от Финляндии и Шотландии до России, своя версия «Золушки», где повторяются одни детали и меняются другие — злая мачеха, жадные сестры, животные-помощники, волшебные платья, туфельки с кровью или без крови. Братья Гримм считали, что собираемые ими сказки — часть древних мифов и верований германского народа. Тоби заметил, что существуют и английские волшебные сказки. Миссис Олив Уэллвуд умело использует их в своих книгах.

Гризельда ответила, что тетины сказки ее пугают. И сказки Андерсена тоже, она от них плачет. А от этой сказки — нет. Неизвестно, почему. Эта сказка должна бы пугать, столько в ней крови. Тоби объяснил, что эта сказка хранит воспоминания о других, давних временах, и согласился, что

она не страшная.

— Она просто *такая,* — сказала Гризельда, пытаясь нащупать то, что ее заинтриговало, но безуспешно.

Тоби взглянул в серьезное тонкое личико. Он пообещал прислать Гризельде книгу братьев Гримм, если родители разрешат. Гризельда сказала: она не думает, что ее родители против братьев Гримм. Они про них просто ничего не знают. Тоби захотелось погладить девочку по голове и сказать: «Не беспокойся», но он решил, что лучше не надо.

К этому времени все, и стар, и млад, собрались на изобильный пикник. Людей, жизнь которых уже вошла в определенное русло, окружали, к счастью или к несчастью, те, у кого еще все было впереди, и, как часто бывает на таких сборищах, старшие начали спрашивать молодежь о ее устремлениях и планировать ее будущее.

Начали, естественно, со старших мальчиков. Проспер Кейн сказал, что у Джулиана хороший глаз на антиквариат, что он отличает подлинник от подделки. Он собрал коллекцию ценных вещей, найденных на блошиных рынках, — средневековая ложка, очень старый стаффордширский кубок с ангобной росписью. Джулиан небрежно

согласился, что после Кембриджа действительно надеется устроиться на работу в музей или галерею. Серафита Фладд выразила надежду, что Герант пойдет в отца, художника, и будет творить прекрасные вещи. Герант заметил, что мать прекрасно знает: он на самом деле для этого не годится. Ему легко даются цифры. «Звездочет!» — вскричала Виолетта. Герант сказал, что хотел бы зарабатывать на комфортабельную жизнь. Он дружелюбно улыбнулся. Бэзил заметил, что в таком случае Геранту нужно идти в бизнес. «Как Уильям Моррис, который старался привить деловой подход в художественных мастерских в Лидде», — вставил Артур Доббин. Герант продолжал улыбаться и есть формованную ветчину в желе. Бэзил Уэллвуд пригласил Геранта войти вместе с Чарльзом в семейное дело Уэллвудов. Чарльз покраснел, издал полузадушенный звук и сказал, что это еще не решено. Этта Скиннер заметила: странно, что в такой прогрессивной компании никто до сих пор не спросил девочек, кем они хотят быть. Она выразила надежду, что хотя бы некоторые из них стремятся чего-то достичь. В это же время Проспер Кейн спросил у Тома, чего он хочет добиться в жизни. Том понятия не имел. Он так и сказал.

— Я не хочу отсюда уезжать. Хочу все так же быть в лесах… на равнинах… вообще здесь…

— И остаться вечным мальчиком, — вставил Август Штейнинг — конечно, театральным голосом. Олив сказала, что Тому совершенно некуда торопиться.

Лесли Скиннер подхватил слова Этты. Он почти агрессивно обратился к Дороти:

— Вот вы, юная дама. Кем вы собираетесь стать?

— Я буду доктором, — ответила Дороти.

Виолетта сказала, что слышит об этом первый раз. И действительно, эта идея впервые оформилась в голове у Дороти, и высказала она ее непроизвольно. Дети никогда не играли в докторов и сиделок. Но Дороти услышала собственные слова, и вдруг у нее в голове возникла картинка: взрослая Дороти, врач. Не милая и покладистая, но вооруженная скальпелем. Скиннер ответил, что это весьма похвальная цель, хотя путь к ней тяжел, и выразил надежду, что Дороти поступит в Юниверсити-колледж.

— Но, Йожыг, разве ты не хочешь замуж? — спросила Филлис, назвав сестру детским прозвищем, которое та не любила. — Я вот хочу. Я хочу, чтобы у меня была красивая свадьба, и вот

как раз такой дом, с розами в саду, и я буду печь хлеб, носить прекрасные платья и рожу семерых детей…

Филлис знала, что она хорошенькая. Ей все об этом говорили. Девиц Фладд, Имогену и Помону, можно было назвать красивыми, но их красота была боязливой, неуверенной в себе — они не тянули на прерафаэлитских моделей. Они были грациозны и неловки в домотканых платьях и раскрашенных вручную эмалевых браслетах. У Имогены были полные груди, и она не носила поддерживающего нижнего белья. Она казалась пухленькой. Она сказала, что подумывает об изучении вышивки в Королевском колледже искусств. Помона сказала, что, может быть, тоже туда пойдет или останется в Данденессе и будет делать изразцы. Гедда заявила, что хочет стать ведьмой. Виолетта хлопнула ее по руке.

Дошла очередь до Флоренции Кейн. У Флоренции была гувернантка, внушившая девочке, что она стала причиной смерти матери, а потому должна посвятить свою жизнь заботам об отце. Флоренция ничего не говорила отцу об этих наставлениях, и он о них понятия не имел, а кроме того, о нем неплохо заботились экономки и саперы. Он любил играть с обоими детьми в осо-

бенную игру: клал на поднос разные пуговицы, бусы, бутылочки, табакерки и прочее и просил детей запомнить все предметы, описать и опознать. Наблюдательность Флоренции радовала его так же, как и наблюдательность Джулиана. Флоренция действительно напоминала утраченную Джулию, но когда Проспер думал об этом сходстве, ему вспоминались ван Эйковы ангелы, безмятежное спокойствие в потоке гофрированных волос.

— Ну так что же, Флоренция? — спросил он. — Чем ты хочешь заниматься?

— Я буду вести для тебя хозяйство, — ответила Флоренция, которой казалось, что это уже решено между ними.

— Надеюсь, что нет. Надеюсь, у тебя будет свой дом, а прежде того — образование. Я надеюсь, что Джулиан пойдет в Кембридж, и ты, надеюсь, тоже. Ньюнэмский колледж дает хорошее образование. Надеюсь, ты решишь пойти туда.

Флоренция растерялась. Эта тема никогда не обсуждалась в семье, и вдруг посреди многолюдного сборища делаются такие определенные заявления. Флоренция ничего не знала о Ньюнэм-колледже — это название было для нее пустым звуком.

— Она не хочет быть старой девой, — заметил Джулиан. — Синим чулком.

Это рассердило Флоренцию. Почему бы мне и не пойти чему-нибудь поучиться, сказала она. Джулиан ведь собирается учиться. Вот и она тоже. Она споткнулась об эти слова и замолчала. Ей никак не приходило в голову, чему же такому она могла бы учиться.

Осталась Гризельда. Бэзил и Катарина не сомневались в ее будущем. Ее представят ко двору, она будет выезжать в свет и найдет себе хорошую партию. Катарина выразила надежду, что брак Гризельды будет таким же счастливым, как и у ее родителей.

Гризельда ритмично, не переставая, крутила пюсовый бант. Мать легонько шлепнула ее по пальцам. Гризельду потрясли — по-настоящему потрясли — слова Дороти о намерении стать врачом. Желания самой Гризельды не шли дальше освобождения от пюсовых бантов. Она жила богатой внутренней жизнью, которая состояла в чтении романов о женщинах, вынужденных играть роль молчаливых наблюдательниц, но в душе исполненных мятежа или усилием принуждающих себя к покорности: Джейн Эйр, Элизабет Беннет, Фанни Прайс, Мегги Талливер. Но все

они на самом деле стремились к любви и браку. Ни одна из них не хотела ничего такого… такого разрушительного, как докторская карьера. Почему Дороти никогда ничего об этом не говорила? Гризельда любила Дороти так же, как та Гризельду. Она любила и «Жабью просеку» со страстью, в которой не осмеливалась признаться даже в «Жабьей просеке». Когда она приезжала сюда, ее немедленно освобождали от парадных одежд и разрешали вволю бегать по лесу. Здесь повсюду были книги. Гризельда вбила себе в светловолосую головку, что они с Дороти могут навсегда поселиться за городом и никогда больше не мучить себя корсетами, шляпными булавками, крючками и застежками. Больше Гризельда ни о чем не думала. И вдруг оказалось, что мир Дороти — черные саквояжи, кровь, больничные койки, горе, превратности, а Гризельды в этом мире нет. У Дороти обнаружилась тайна. Гризельда, побелев, сказала:

— Я хочу учиться. Как Флоренция. Я учу немецкий и французский. Я собираюсь изучать языки.

Катарина ввернула, что к Гризельде ходят самые лучшие учителя, и она делает просто невероятные успехи.

Бэзил заметил, обращаясь к окружающим ку-

стам, что образование несет женщинам только неудовлетворенность. Чем именно неудовлетворенность — он не объяснил.

Гризельда принялась крутить другой бант, и мать хлопнула ее по руке. Взгляд Хамфри Уэллвуда упал на Флориана.

— Флориан, а ты кем хочешь быть?

— Лисой, — ответил Флориан, нимало не колеблясь. — Лисой и жить в норе, в лесу.

5

Олив считала себя хорошей хозяйкой, а свои приемы — идеальными. Ее уверенность была заразительна, хотя и не очень обоснованна. Успех ее приемов был вызван магнетизмом ее присутствия, и где была она, там ее праздники были оживленными. Она любила быть в центре всего. Она любила обольщать, причем обольщать людей, которых ей было лестно принимать у себя: в данном случае деятелей культуры — Проспера Кейна и Августа Штейнинга, которые сейчас стояли с бокалами шампанского в руках, смеясь над шутками Олив, предметом которых была она сама. В организации праздника Олив полагалась на помощников — представить людей друг другу, накормить их, вовремя перетасовать сложившиеся группы. В какой-то мере это могла делать Виолетта — она обеспечивала физический уют, но мастерицей светской беседы не была. Хамфри обычно заводил беседу, развлекающую и мужчин, и женщин, но сейчас он увяз в споре с братом, и это не сулило ничего хорошего. Дети мелькали и порхали вдоль клумб с цветами, выскакивали из кустов и снова исчезали в кустах, а

сумерки сгущались.

Василий Татаринов в это время исполнял свой коронный номер для Скиннеров и молодежи — Тома, Джулиана, Филипа, Геранта, Флоренции и Чарльза. Этот коронный номер, входивший также в лондонские лекции Татаринова, представлял собой рассказ о лошади. Лошади интересовали англичан. Это был верный способ привлечь их внимание. Лошадь, о которой шла речь, — благородный вороной жеребец по кличке Варвар — сыграла важную роль в нескольких побегах из российских тюрем и из-под надзора российской охранки, в том числе в побеге самого Татаринова. Варвар поджидал князя Кропоткина, когда тот, отработанным за недели движением сбросив тяжелый зеленый халат заключенного, попросту выбежал из тюремной больницы и прыгнул в ожидавшую его карету с одним из заговорщиков — другой заговорщик в это время отвлекал охранников, показывая им паразитов под микроскопом. Варвар же унес вдаль Сергея Михайловича Кравчинского, известного всем под кличкой Степняк и ныне ставшего любимчиком английских социалистов и анархистов. Он консультировал переводчиков русской классики; густая борода придавала ему сходство с друже-

любным медведем. Что же до Татаринова, он как раз вышел из квартиры с небольшим узелком самых нужных вещей, чтобы ускакать на Варваре, и на лестнице столкнулся с отрядом тайной полиции.

— Я замаскировался, — высоким голосом рассказывал Татаринов. — Я сказал им: «Мы опоздали, я послан по тому же делу, птичка у-у-у-улетела». И след простыл, так я выразился. Мы все вместе спустились по лестнице, я сел в карету, и мы шагом доехали до угла, и тут великий Варвар помчался прочь, как ветер. Он отвез меня в усадьбу Черкасова, где он жил, и я переоделся моряком и нанялся на судно, чтобы отработать проезд через Швецию и Голландию сюда, где я нашел убежище. Другим повезло меньше.

Он промокнул глаза носовым платком.

Английские социалисты не решались задавать слишком прямые вопросы. Три года назад в журнале «Новое обозрение» было опубликовано анонимное описание хладнокровного убийства некоего генерала Мезенцева. Его зарезали — кухонным ножом, завернутым в газету: именно таким методом позже, не далее как в прошлом году, убили французского президента Карно. В статье намекалось, что убийца — Степняк. Его

рассказы о пытках, заключении и казнях российских нигилистов и инакомыслящих глубоко трогали английских друзей. Но англичанам становилось не по себе, когда они представляли с ножом и газетой человека, с которым только что пили чай за столиком на открытом воздухе. Акты насилия, направленные на случайную цель, все больше пугали англичан. В прошлом году неизвестный человек по неизвестной причине взорвал себя, разлетевшись на куски у Королевской обсерватории в Гринвиче. Взрослые помнили серию террористических актов десятилетней давности — в правительственных конторах, редакции газеты «Таймс», на станциях метро, на вокзалах, в Скотленд-Ярде, у колонны Нельсона, на Лондонском мосту, в Палате общин, в самом Тауэре. Они понимали, что страдания ведут к мятежу. Они пытались понять смысл анонимных, не связанных друг с другом нападений на обычных людей. Они пытались постичь ход мыслей бомбиста. Это было тяжело.

— Скажите, мистер Татаринов, — спросила Этта Скиннер, квакерша и пацифистка, — а вы бы прибегли к взрывам — в том числе направленным против людей, — если бы это могло помочь вашему делу? Вот вы, вы лично, на такое способны?

— Мы должны быть готовы. Мы взорвем что угодно, если оно стоит на нашем пути. Мы должны, не сводя глаз с конечной цели, выбирать соответствующие средства. Не колеблясь.

Этта потуже запахнула шаль.

— А вы сами? Вы бы смогли хладнокровно убить кого-нибудь?

— Не знаю. Я никогда не сталкивался с такой необходимостью. Никто не знает, на что способен, пока его не призовут к делу.

К разговору присоединился Август Штейнинг, желающий представить Ансельма Штерна, принесшего приветствие от социалистов Германии, иные из которых были в тюрьме за *lèse-majesté,*[7] как это часто случалось с немецкими социалистами, которых ненавидел кайзер.

Мальчики, естественно, спрашивали себя, могут ли они убить человека. Геранта взрастили на сказках о рыцарях с мечами и исландских воинах, но крови он себе не представлял. Чарльзу не доставляли удовольствия ни стрельба по дичи, ни охота на лис — большое разочарование для его отца. Мальчик склонялся к мысли, что убить не сможет. Филип не особенно вслушивался в

---

[7] Примечания: 7
Оскорбление величества *(фр.).*

разговор. Он смотрел на сочетания текстур травы, цветов, шелков и на стремительное изменение красок по мере того, как темнело небо. Красный выцветал и коричневел, синий словно выпадал кристаллами, углублялся. Том представлял себе глухой удар, тягу взрыва, летящие обломки камня и штукатурки, но не мог как следует представить раздавленную, горящую плоть. Он подумал про свой собственный череп, собственные ребра. Кости под кожей и сухожилиями. Безопасность не была гарантирована никому.

Бэзил и Хамфри Уэллвуды заспорили о биметаллизме и золотом стандарте. Они шли по траве, выдыхая гнев и риторику, решительно тыча пальцами в вечерний воздух. Бэзил был членом Ассоциации зашиты золотого стандарта. Хамфри поддерживал Лигу биметаллизма.

На лето 1895 года пришелся бум «кафрского цирка». На бирже лихорадочно торговали акциями реальных и выдуманных золотых жил. Бэзил ужинал с «лордами Рэнда» и сделал состояние, как в золоте, так и в акциях. Хамфри во всеуслышание шутил, что шахта — это дырка в земле, принадлежащая лгуну. Он также заявлял публично, что финансовая пресса рекламирует или, наоборот, порочит месторождения в обмен на

тайные *douceurs.* Бэзил подозревал, что именно Хамфри — автор статей, опубликованных под псевдонимами в юмористических журналах и высмеивающих Креза, Мидаса, золотого тельца.

Бэзил также подозревал, что Хамфри использует конфиденциальную информацию, полученную на службе в Английском банке, для нападок на это учреждение. В 1893 году прошли слухи, что Фрэнк Мэй, главный кассир банка, выдал огромные несанкционированные займы своему сыну, который занимался спекуляциями на бирже. Хуже того, Фрэнк Мэй выдавал займы и себе самому. На протяжении 1893 и 1894 годов слухи вздувались и лопались, как пузыри. Мэй выдавал займы редактору финансового отдела «Таймс». Совет директоров банка состоял из джентльменов-любителей, неспособных даже балансовый отчет составить, и не приглашал независимых аудиторов. Бэзилу почудился в некоторых разоблачительных статьях стиль Хамфри. Бэзил и сам был не очень доволен положением дел. Но он считал, что «Старая дама» должна приводить свои дела в порядок без посторонних глаз. То же, чем занимался Хамфри, если это действительно он, было предательством по отношению к банку и к самому Бэзилу, который его туда устроил.

Более того, эти писания угрожали деятельности самого Бэзила и даже его репутации.

Братья подошли к беседующим как раз в тот момент, когда Татаринов выразил готовность взорвать что угодно. Бэзил вполголоса заметил, что для человека, занимающего ответственный пост, Хамфри водит довольно странные знакомства. Хамфри ответил ровным голосом, в котором слышалась злоба, что его убеждения — его личное дело.

— Отнюдь, если они оправдывают взрывы и выступления под чужой личиной. Ты занят не лицедейством, так убийством.

— А грести золото и платить рабочим гроши — это не убийство? Ты знаешь, как живут шахтеры на золотых рудниках? Или те бедняжки, что шили твою тонкую сорочку, окропляя ее своей кровью?

— И ты думаешь, что сильно им поможешь, разгуливая по Стрэнду во фраке и цилиндре и раздавая листовки.

Хамфри начал произносить речь, которую обычно говорил на митингах. Он описал участь трех миллионов людей, которые кишат в зловонных диких трущобах, простирающихся за Банком. Эти люди хворают от голода и холода,

не имея постели, чтобы приклонить голову. Социал-демократы в своих всеми презираемых листовках заявляли: 25 процентов рабочих зарабатывают так мало, что все равно живут в голоде и болезнях. Мистер Чарльз Бут оспорил эти цифры и провел свое собственное скрупулезное исследование бедности. И пересмотрел цифры — в сторону увеличения, Бэзил. Не 25, а 30 процентов рабочих семей пытаются выжить на сумму менее 12 шиллингов в месяц.

— Подумай, — многозначительно сказал Хамфри, агрессивно тыча бокалом шампанского в сторону брата, — подумай, сколько вещей, которые лично ты считаешь для себя необходимыми, можно купить на двенадцать шиллингов.

У Бэзила язык не повернулся назвать крупные суммы, которые он жертвовал на благотворительность.

Хамфри продолжал свою речь. Он описал стремительное падение изувеченного рабочего, у которого раздавило руку или ногу, или выбило глаз щепкой. Всего через несколько дней такой человек лишается дома, у него нет еды, его дети голодают, их одежда отправляется в заклад, они спят в работном доме или на улице, а жена рабочего продает себя ради куска хлеба. Мистер

Бут и мистер Роунтри изучали и школы. Они обнаружили, что *в периоды относительного благополучия* только в лондонских школах 55 тысяч детей столь слабы от голода, что не могут учиться.

— Пятьдесят пять тысяч — это очень много. А теперь представь себе их по отдельности, одного ребенка за другим…

Бэзил сказал, что он не на митинге и нечего его заводить. Он хотел бы найти практическое решение проблемы бедности. Но он не считает, что ее можно решить, подстрекательством к революции или взрывами публичных зданий и убийством неповинных прохожих.

Хамфри сказал то, что уже много раз говорил на митингах:

— Однажды в Попларе я увидел двух оборванцев. Они шли впереди меня и постоянно наклонялись к мостовой, подбирая апельсиновые шкурки и яблочные огрызки, черенки винограда и крошки хлеба. Разгрызали сливовые косточки ради ядрышек. Выбирали отдельные непереваренные зерна овса из конского навоза. Вы можете себе это представить?

Флоренция Кейн, подносившая ко рту крабовую котлетку, уронила ее на траву.

Виолетта сказала:

— Право же, Хамфри, незачем расстраивать детей такими гадостями.

— В самом деле? — отозвался Хамфри. — А я надеюсь, что они это запомнят и вспомнят снова, когда будут выбирать дорогу в жизни.

Мальчики и девочки слушали. Том ощущал пересохшим языком вкус сливовых ядрышек и овса. Он знал, что будет плохо спать. Филип сморщил лоб и попятился. Эти жизни, которые вздымались на щит в качестве жупела, были его жизнью. Он был одним из многих бедняков. Он бросил мать, сделав сестер еще беднее. Его охватил глухой гнев — не на богача Бэзила, а на Хамфри, который превратил Филипа в предмет, присвоил его голод.

На Чарльза Уэллвуда этот рассказ подействовал по-настоящему. Чарльз имел логический склад ума и получил христианское воспитание. В школьных часовнях и на воскресных службах капелланы и пасторы в незапятнанных стихарях повторяли наставление Христа: «Продай все, что имеешь, и раздай бедным». Чарльзу эти слова были совершенно ясны, а его наставники и родители не понимали их по своей глупости либо греховности. Основная весть христианства

была уравнивающей, анархичной. Ее как будто никто не слышал. Кроме, кажется, дяди Хамфри, который, может быть, тоже внутренне корчился от стыда за окружающие его мелкие животные удовольствия. Чарльз подумал: надо как-нибудь спросить у Хамфри, что делать. Только чтобы родители не слышали. Мать Чарльза была доброй, богобоязненной лютеранкой, она жертвовала и время, и деньги, посещая больницы для бедных, организуя благотворительные базары и собирая одежду. Но она ела серебряными ложками с мейсенского фарфора. Эти противоречия были омерзительны.

Дороти сказала Гризельде:

— Давай уйдем и поглядим на фонарики в саду. Только осторожно, не испачкай свои красивые туфли.

— Дурацкие туфли, — отозвалась Гризельда, идя за кузиной.

Герант автоматически сочувствовал любому, кто не кричал. Его восхищало самообладание Бэзила. Геранту страшно нравился лоск Бэзилова жилета и сверкание запонок. В умении правильно одеваться была тайна. В деньгах была тайна. Геранту до смерти надоело все домотканое и самодельное. Он втайне, под прикрытием чер-

ных лакированных коробок с марионетками, перехватил бокал шампанского и нашел его восхитительным и сложным — холодные пузырьки лопаются на языке, запотевшее стекло, прозрачная золотая жидкость. Есть люди, которые пьют такое каждый день. Есть люди, которым не приходится спать под протекающей крышей в старом щелястом доме, продуваемом холодными ветрами, ради куч глины и воображаемых обливных горшков. Деньги — вот где свобода. Деньги — вот где красота. Деньги — это арабские жеребцы вместо тягловых лошадей. Деньги — это значит, что на тебя никто не кричит. (Неважно, что Хамфри кричал на Бэзила.) Деньги — это свобода. Деньги — это жизнь. Что-то такое думал Герант. Братья никогда не ссорились бесповоротно, всегда в последний момент отступали от края пропасти. Они сцеплялись, потом ворчали друг на друга, потом меняли тему разговора. И никто не предполагал, что на этот раз будет по-иному, когда Хамфри, чтобы уколоть собеседника, назвал имя Барни Барнато.

Барнато, общительный, красноречивый уроженец Ист-Энда, сделал себе состояние на алмазных приисках Кимберли. Он был одним из основателей клуба на Ангел-Корт, рядом с Трог-

мортон-стрит, шутливо прозванного «Воровская кухня». Барнато переключился с алмазов на золото и сейчас как раз занимался основанием собственного банка. Он заражал лихорадочной жадностью, возбуждением, готовностью рисковать. Бэзил вложил деньги в предприятия Барнато и тревожился из-за этого. В сатирической газете «Домино» вышла статья под псевдонимом Мартовский заяц. В ней «Воровская кухня» изображалась адом, где играют в азартные игры. Вполне узнаваемый Барнато фигурировал в роли демона-крупье, сгребавшего ставки в огненную яму. Кроме того, автор статьи сравнивал его с «Демасом (человеком благородного вида)», который «стоял невдалеке от дороги над холмом, называемым Выгода, и зазывал паломников: „Эй! Сворoтите с пути, и я покажу вам нечто. Вот серебряный рудник и люди, ищущие в нем богатства. Придя сюда, вы немногими усилиями обретете безбедную жизнь“. Христианин спросил Демаса: „Разве не опасно это место? Разве не помешало оно многим совершить паломничество?“ Демас ответил: „Не очень опасно, разве для неосторожных“. Но при сих словах покраснел».[8]

[8] Примечания: 8

Здесь и далее цитируется «Путь паломника» баптистского проповедника Джона Беньяна (1628–1688).

Мартовский заяц очень элегантно обыграл этот предательский румянец. Хамфри неосторожно процитировал Беньяна в споре с Бэзилом. Это напомнило обоим про обвинения Мартовского зайца. Но Хамфри продолжил цитировать «Путь паломника» — другие отрывки, которых не было в обличительной статье из «Домино».

— Барнато заманивает людей — они совершают безрассудства и теряют деньги. «Не знаю доподлинно, свалились ли они в пропасть, заглянув через край, или спустились вниз, чтобы копать, или же задохнулись на дне от испарений…» Так и погибают люди, подобно мистеру Извыгод, — сказал Хамфри.

— Как ты хорошо помнишь текст, — заметил Бэзил.

— «Путь паломника» все знают с детства. Согласись, что он в этом случае уместен.

— Но не все его так ловко цитируют, тем более в клеветнических статьях, которые не смеют подписать своим именем.

Обвинение прозвучало. Хамфри не мог ни мяться, ни отрицать.

— Но ты же не будешь спорить, что это весомый аргумент? Что к этим предупреждениям нужно прислушаться?

— Нельзя днем делать одну работу, а ночью мутить грязь, чтобы пачкать ею своих коллег. И вредить своим родным, — добавил Бэзил.

Хамфри презрительно усмехнулся. Ему не очень-то хотелось усмехаться — он чувствовал, что сам стоит на краю ямы. Но поскольку они ссорились, он счел необходимым усмехнуться:

— Неужели ты был так глуп, что впутался — или впутал своих родных — в аферу Барнато?

— Ты сам не знаешь, что говоришь. Ты поставляешь злокозненные сплетни, которые могут принести настоящий вред…

— Я следую за своей совестью.

— Твоя совесть — болотный огонек, заводящий в трясину, — вполне находчиво сказал Бэзил, удачно подобрав метафору.

Вмешалась Виолетта:

— Давайте переменим тему. Давайте помиримся.

— Я больше не могу оставаться на этом сборище, — заявил Бэзил. — Иди сюда, Катарина. Мы уходим.

— Хорошо, — ответила Катарина. Она понимала, что трудно театрально повернуться и выйти, если твоя запасная одежда лежит в спальне хозяйки дома. Она приказала Чарльзу:

— Позови Гризельду.

— Ей это не понравится, — *sotto voce* сказал Чарльз.

Дороти и Гризельду вернули из сада. Катарина сказала Гризельде, что они уезжают.

— Почему?

— Неважно. Мы едем домой. Надень плащ.

Гризельда стояла в бальном платье, белая, как соляной столп. Она не была по натуре строптивой. Но и покладистой она тоже не была. К глазам подступили слезы. Она пошатнулась. Дороти сказала:

— Мы так долго ждали этого праздника. У нас так давно не было костра, музыки, танцев. Как мы теперь будем праздновать без Гризельды и Чарльза? Какая музыка без Чарльза? Мы и постели для них приготовили…

— Но я в самом деле не могу здесь оставаться, — сказал Бэзил, обращаясь к жене.

— Может быть, оставим детей с кузенами? Они так ждали этого праздника…

— Как хочешь. Я просто не хочу здесь оставаться.

— Тогда поедем, — ответила Катарина, жестом подзывая горничную и протягивая обе руки к Олив, которая подошла посмотреть, что творится.

Катарина не считала, что должна извиняться за Бэзила, — по ее мнению, он поступал правильно, но она также не хотела портить праздник. Карету подали, вещи погрузили. Никто не пришел помахать на прощание. Хамфри налил полный бокал, осушил залпом и налил снова. Его, словно электричеством, пронизывало ощущением, что все стоит на краю пропасти. Но сейчас надо было заниматься праздником. Хамфри велел музыкантам, чтобы начинали играть.

Дороти сказала Гризельде:

— Первым делом давай найдем тебе костюм, как у нас.

Гризельда все еще не оправилась от потрясения и была бледна. Виолетта взяла ее за руку и повела в детскую. Виолетта приказала Филипу и Филлис зажигать фонарики.

Гризельда стояла в детской, расстегивая пуговицы розового платья. Она шагнула из платья, и оно мягко опустилось на пол, словно мисс Бумби,

которая вдруг превратилась в тумбу.[9] Платье надо было повесить на плечики. Гризельда оставила его на полу.

Виолетта сказала, что у них есть платье рейнской девы — то, что надо. Гризельде оно очень пойдет.

Это было старое вечернее платье Олив: Виолетта его укоротила и ушила крепкими стежками, так что получился карнавальный костюм размером на девочку. Платье было из плиссированного шелка — зеленого, под цвет морской волны, с травянисто-зеленой нижней юбкой и золотым поясом. Виолетта подогнала платье по размеру. Гризельда подняла руки и распустила тугие кольца волос. Виолетта расчесала волосы, уложив их по плечам девочки. Считалось, что глаза у Гризельды серые или карие, но стоило одеть ее в зеленое платье, и они вдруг стали изумрудными.

— Какая ты красивая, — сказала Дороти.

Гризельда пошевелила плечами.

---

[9] Примечания: 9

Имеется в виду английская детская песенка в переводе О. Седаковой:

Малютка мисс Бумби
Сидела на тумбе,
Хлебала свою простоквашку.
Но выглянул вдруг Свирепый паук
И спугнул нашу Бумби, бедняжку.

— Теперь я хоть двигаться могу.

Когда она снова присоединилась к компании, все захлопали. Хамфри налил себе еще бокал шампанского и провозгласил тост за «Зеленые рукава». Виолетта сказала, что это костюм рейнской девы, и Ансельм Штерн вдруг запел мотив из увертюры к «Золоту Рейна» и склонился над рукой Гризельды. У него был чистый, высокий голос.

Начались танцы. Они проходили под аккомпанемент трио: Чарльз играл на скрипке, Герант на флейте, а Том попеременно — на маленьком барабане и жестяной дудке. Они сыграли «Зеленые рукава» для Гризельды и «Ах, мой милый Августин» для Августа Штейнинга и Ансельма Штерна. По зарождающейся традиции старшие танцевали с молодежью. Хамфри завертел Дороти, которая изо всех сил перебирала маленькими ножками в тупоносых туфлях, чтобы поспеть в такт, а Проспер Кейн спокойно кружился с Флоренцией. Олив танцевала с Джулианом — он был точен в движениях и грациозен. Август Штейнинг сначала пригласил Имогену Фладд, а потом — ее статную мать. Хамфри отпустил запыхавшуюся Дороти по требованию Лесли Скиннера, который обращался с девочкой так осторожно, словно она

была стеклянная, и забавно перепрыгивал через кочки. Ансельм Штерн танцевал с Гризельдой, мурлыча мелодию себе под нос и выделывая коленца, как его собственный принц-марионетка. Татариновы танцевали все вместе, крутясь, как карусель. Ансельм Штерн поклонился Дороти, но она попятилась и сказала, что больше не хочет танцевать.

Виолетта Гримуит заставила Филипа танцевать с ней. Он, заливаясь краской в свете фонарей, переминался взад-вперед, глядя на свои ноги, пока Виолетта его не отпустила и не переключилась на Хамфри. Филип отступил в кусты, где обнаружил Дороти — она в почти полной темноте сидела на скамье там, где в кустах было что-то вроде алькова. Оба искали одиночества, и оба чувствовали, что обязаны быть вежливыми. Дороти с фабианской прямотой сказала, что столько танцевать — неполезно для человека. Филип невнятно хрюкнул в знак согласия.

Они посидели в молчании. Дороти заметила:

— А тебя никто не спросил, кем ты хочешь быть.

— Может, оно и к лучшему.

— Я сказала, что хочу быть доктором. Пока я не сказала, я и сама этого не знала, вот что странно.

Потому что я по правде хочу.

Дороти считала, что, если говоришь человеку правду искренне и честно, это значит, что ты преподносишь ему своего рода подарок, выражаешь уважение. Филип спросил:

— А женщины бывают докторами?

— Бывают. Я думаю, им трудно поступить на учебу. — Она помолчала. — Считается, что женщины не должны работать.

Филип хотел сказать: «Моя мать работает, чтоб не помереть с голоду». Он чувствовал, что это неуместно. И все же сказал:

— Моя мать работает, чтоб не помереть с голоду.

Дороти устремила внимание на него.

— А ты? Чего ты хочешь? Почему ты сбежал?

Филип был в отчаянии, и потому его слова прозвучали сердито:

— Я хотел что-то сделать. Настоящий горшок. — Он всегда видел этот горшок в единственном числе. — Наверно, это странно звучит — сбежал с гончарной фабрики, чтобы сделать горшок. Но я не мог иначе.

— Я думаю, ты найдешь путь, — серьезно сказала Дороти в темноте. — Надеюсь, мы сможем тебе помочь.

— Вы все очень добрые.

— Я не про то.

Воцарилось молчание. Каждый чувствовал невысказанные мысли другого — тревогу Дороти из-за неожиданно открывшихся устремлений и неизвестного будущего, к которому они вели; желание Филипа, не облеченное в слова. Уже совсем стемнело. Они одновременно встали, вышли из кустов и вернулись к танцующим.

Август Штейнинг и Ансельм Штерн сменили музыкантов, чтобы те могли потанцевать. Штейнинг взял флейту, а Штерн скрипку. Они импровизировали на темы вальсов и баварских народных танцев. Герант храбро пригласил Флоренцию Кейн, и они сделали несколько неуверенных шагов, но тут Хамфри выхватил Флоренцию, закружил ее и сделал музыкантам знак, чтобы играли быстрее. Он держал Флоренцию очень близко к себе — сухая горячая ладонь сильно давила ей пониже спины. Флоренция прижималась лицом к его вышитой куртке и чувствовала, как он направляет ее тело, учит его колеблющимся, сложным ритмам, которые она неведомо для себя уже знала. Ноги вдруг затанцевали искусно, словно она была одной из марионеток герра Штерна. Она перевела дух. Виолетта принялась

аплодировать. Мимо, кружась, пролетела Олив — она танцевала с Томом, как они танцевали, когда он был еще совсем маленький, держа друг друга за вытянутые руки, вращаясь без устали, и ноги Тома стремительно неслись по внешней окружности, а Олив, улыбаясь, вертелась в центре. И когда они остановились, само небо, шипя, понеслось мимо них по кругу — планеты и созвездия, огромная Луна колесом, хлещущие ветки деревьев, размытое пламя всех фонарей.

Когда все натанцевались и запыхались, настал черед уже почти вошедшей в традицию живой картины из «Сна в летнюю ночь». Август Штейнинг принес ослиную голову, которую, по его словам, надевал сам Бирбом Три, и Тоби Юлгрив представил ткача Основу, который пробуждается от волшебного сна: он лежал на склоне, ведущем к кустарнику, а Дороти, Филлис и Флориан — Душистый Горошек, Мотылек и Горчичное Зернышко — порхали вокруг. Тоби был не в костюме, если не считать надетой на нем ослиной головы из папье-маше и конского волоса. Он положил голову на колени Олив. Его современные ноги во фланелевых брюках казались одновременно толстыми и беззащитными. Олив гладила маску. Тоби чувствовал биение сердца Олив, отдающе-

еся где-то внизу ее тела. Он прижался потеснее, как ребенок к матери, пользуясь моментом по ходу пьесы, и с сожалением вспоминал былые представления, когда его мучили эротические покалывания и пульсации. Вот оно, заветное место — совсем близко, под юбкой. Тоби прижимался к нему горячими щеками. Или не к нему, а к гладкой внутренней поверхности сапога с ушами, скрывающего голову. Тоби запел внутри, чувствуя, как в маске становится влажно: «Щегленок, зяблик, воробей, кукушка с песнею своей…»[10] Олив чуть дрожала. Она гладила маску Тоби. Она гладила живую плоть его плеч. На них надвинулся Хамфри в плаще, выжал волшебный сок на глаза Олив, и она театрально отпрянула. Волшебство кончилось. Оберон одержал победу и забрал мальчика-подменыша.

Другой отрывок, который они всегда разыгрывали, был из конца пьесы — сцена благословления дома. Том встал у входа в кустарник и начал:

Вот голодный лев рычит,
И на месяц воет волк.

Он говорил легко, четко, ритмично. Все за-

[10] Примечания: 10

Здесь и далее пьеса У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» цитируется по переводу Т. Щепкиной-Куперник.

мерли.

Мы ж Гекате вслед летим,
И, как сны во тьме, мы таем;
Но пока везде чудим,
Дом счастливый облетаем.
Не мешай ничто покою,
Даже мышь, не смей скрести.
Послан я вперед с метлою
Сор за двери весь смести.

Филипа захватила общая неподвижность. В его непривычной голове рычал лев и выл волк. Волшебство окутало людей и кусты, и Филип впервые увидел дом и сад глазами их создателей — с любовью. Любовь была одновременно ручной и неукротимой. Магия мерцала в волшебном кругу под защитой изгороди и стен. Бэзил и Олив, царь и царица волшебной страны, произносили золотые речи — призывали благословение на мужей и жен, на детей родившихся и неродившихся. (Олив как раз заподозрила, что опять беременна.) Остальные смотрели, довольные.

Прибежала Гедда в костюме ведьмы. Она зловеще и радостно кричала: «Пожар! Пожар!» Зрители

устремились назад, по направлению к газону.

Фонарик работы Филипа — с нарисованными языками пламени и элегантными, зловещими силуэтами — получил почетное место на цветочном бордюре: его поставили на терракотовую колонну с неровным верхом. Догоревшая свеча вспыхнула в последний раз и подожгла сам фонарик. Он свалился на бордюр, засаженный папоротниками, орляками, фенхелем и маками — и большими шелковистыми декоративными, и дикими самосевками. Это был очень английский кусок полудикой природы, а в центре его располагалась огромная, совершенно инопланетного вида кочка пампасной травы: свежей вперемешку с прошлогодней, высохшей, которая яростно, с треском, запылала. Маки съеживались. Пахло жареным фенхелем. На фоне занавеса тьмы в воздух взлетали искры и крохотные невесомые частицы сгоревших листьев и семян. Виолетта сказала, что сходит за водой, но Олив ответила: «Не надо, огонь не пойдет дальше, это волшебный костер Летней ночи, такие костры жгли на равнинах первобытные люди и средневековые ведьмы. Когда он догорит, мы будем прыгать через угли. Это настоящий праздничный костер Летней ночи, благоприятный знак. Влюбленные пары должны

прыгать через костер вместе. А сгоревшие ветви или стебли надо сохранить. Тоби Юлгрив нам все расскажет про праздничные костры».

Они стояли вокруг, смотря, как занимается трава, и слушая шипение сока в стеблях. Олив беспечно улыбалась Просперу Кейну, Августу Штейнингу, Лесли Скиннеру, Татаринову. «Смотри, — сказала она Тоби, — даже папоротниково семя есть».

Тоби объяснил, что семена у папоротника крохотные, едва заметные. Папоротниково семя, собранное в Летнюю ночь, делает человека невидимым. Семена собирают раздвоенным ореховым прутиком на оловянную тарелку. Говорят, что оно огненного цвета, и специалисты по фольклору думают, что это — семена жгучего солнечного света. Есть немецкая сказка про охотника, который выстрелил в солнце в день летнего солнцестояния, собрал три горячие капли крови на белый платок, и они превратились в папоротниково семя. Говорят, если подбросить его в воздух, оно поможет найти клад. Это одно из самых сильных волшебных зелий.

Огонь почти догорел, лишь угли светились среди плавающего в воздухе серого пепла от листьев.

— Надо прыгать, — чарующе-маняще сказала Олив. Она взяла Тома за руку, потащила, разбежалась и прыгнула вместе с ним, хохоча, стряхивая с юбок умирающие искры. Хамфри взял за руку Гризельду, и они прыгнули вместе. Скоро уже все начали разбегаться и прыгать — итонцы и анархисты, высокий драматург схватил маленькую Гедду за талию и прыгнул вместе с ней.

Кто-то запел. Это был Ансельм Штерн. Он стоял у куста бузины и пел ясным, тонким голосом арию Логе:

Die goldene Äpfel,
In ihrem Garten…[11]

Это было волшебство. Все согласились, что это было волшебство.

Уэллвуды раздевались в спальне при свете лампы. Меж раздвинутых занавесок виднелись луна и звездное небо. Муж и жена привычно препирались. Хамфри стоял в вельветовых бриджах и вышитой куртке, облокотившись на кроватный столбик, и глядел на жену, которая стояла уже без крыльев и одежд, в корсете и панталонах, но все еще с розами и жимолостью в волосах.

---

[11] Примечания: 11
Золотые яблоки в ее саду… *(нем.).*

— Я видел, как ты обольщала этих мужчин. Ты просто ничего не можешь с собой поделать. Немца, профессора, драматурга, этого солдафона из Музея. Ты на них на всех так смотрела…

— В этом нет ничего такого. А вот чего действительно не стоило делать, так это говорить маленьким девочкам вроде Гризельды, что зеленые платья носили проститутки, потому что их вечно валяли по траве.

— Я такое говорил? Значит, я правда перебрал. Думаю, Гризельда все равно не знает, что такое проститутка. Она ведь не живет среди реформаторов.

— Дороти, во всяком случае, знает, не может не знать. Так что, я думаю, и Гризельда тоже знает.

— Этта Скиннер завербует их раздавать листовки о борьбе за права проституток.

— Ты и правда слишком много выпил.

Она выбирала из волос насаженные на проволоку увядшие цветы, один за другим. Хамфри перешагнул через сброшенную одежду и голый, слегка возбужденный, потянулся за ночной рубашкой. Рубашка была белая, батистовая, Виолетта расшила ее камышами и каллами. Она и ночной колпак ему сделала, с золотыми хризантемами. Хамфри его никогда не надевал,

но повесил на столбик кровати, и, может быть, Виолетта думала, что он его все-таки носит.

— Я слишком много выпил из-за Бэзила. Он теперь знает. Мне кажется, он всегда знал, но теперь узнали все. Он считает, что мои статьи бесчестны.

— Ты поступал так, как считал правильным, — легко произнесла Олив.

— Не знаю. Я делал то, что подсказывала совесть. Ты знаешь, теперь я думаю, что мне надо уволиться из банка. И по благородным, и по неблагородным причинам. Мне кажется, иначе нельзя. Не знаю, как мы будем платить за школу Тома.

— А что же ты будешь делать? — спросила Олив, на мгновение отрываясь от расстегивания пуговиц.

— Писать. Работать пером. Статьи для журналов. И книги. Я могу что-то изменить в мире.

Олив вернулась к пуговицам. Расстегнутое белье упало на пол, и она переступила через него.

— Я буду писать больше обычного. Я сейчас неплохо справляюсь. Буду работать больше.

— Тебе нравится эта идея. Женщина-добытчица.

— Да, нравится. Думаю, нам обоим нравится.

— У нас с тобой вышел хороший союз. К счастью.

Олив надела ночную рубашку, белую, не украшенную вышивкой Виолетты.

— Может быть, слишком хороший. Сейчас не ко времени, но я должна тебе сказать. Скоро нам придется кормить еще один разинутый клювик. Я почти уверена.

Хамфри задрал бороду, рассмеялся и обнял жену. Уперся в нее твердым под камышами ночной рубашки.

— Умница девочка. Умник Хамфри. Как у нас с тобой все хорошо получается, правда же, кремовая ты моя Олив?

— Не заносись. Ты же знаешь, это может быть опасно. И новые расходы. Мне будет труднее зарабатывать.

— У нас хватит любви на еще одного ребенка. Мы что-нибудь придумаем, мы всегда что-нибудь придумывали.

Он, улыбаясь, гладил ее бока.

— Надо полагать, ты так доволен, потому что до сих пор пьян. Как мы справимся?

— Виолетта все возьмет на себя. Ты будешь только отдыхать и писать. А я в один прекрасный день изменю мир.

Филип облокотился на подоконник в своей комнате, залитой лунным светом, и наблюдал за скольжением теней на стекле — грациозных, занятых чем-то своим, непонятным. Он их не узнавал. Он был снаружи и заглядывал внутрь. Его это вполне устраивало. Он дождался, пока они погасят лампу, и постоял какое-то время неподвижно, глядя на луну. Потом взял полотенце, лег и снова доставил себе удовольствие, вздрагивая от мимолетного восторга одиночества. Потом обмяк и уплыл в сон.

6

Коттедж «Орешек», как и многие другие вещи в Англии, на первый взгляд казался чистой причудой, но на деле скрывал в себе нечто большее. Это был перестроенный домик рабочего, крытый свежей соломой, с окошечками, утопленными в толстых белых стенах. В садике перед домом вдоль мощенной каменными плитками дорожки протянулись цветочные бордюры — шток-розы, дельфиниумы, наперстянки, гвоздики, флоксы, васильки, окруженные дымкой незабудок-самосевок. Парадная дверь открывалась прямо в гостиную, где стены были покрыты, как выражался Уильям Моррис, «честной побелкой, на которой так приятно играют солнечный свет и тени». Чтобы сделать гостиную, снесли разделяющую две комнаты стену. В одном конце был альков-кабинет, оклеенный моррисовскими обоями с розовой и золотой жимолостью; там стоял простой стол. Мебели было мало: тяжелый обеденный стол, несколько тяжелых, средневекового вида стульев, современное «квадратное» пианино. С этой простотой до некоторой степени контрастировало изобилие керамики — на

каминной полке, в очаге, на подоконнике, — которая казалась неуместной в таком интерьере. Здесь были безумные чашки с улыбающимися лицами, отличный образец итальянской майолики, золотой с голубым, украшенный арабесками и менадами, внушительная овальная декоративная тарелка — «минтон» в севрском стиле, яростного ярко-розового, почти малинового цвета, с Пьеро и Коломбиной в рамке из роз и клематиса. В углу стоял предмет четырех футов высотой, повергший Филипа в изумление и немедленно опознанный Проспером Кейном как вариант «Прометеевой вазы», которую демонстрировала фабрика «Минтон» на парижской выставке 1867 года. Прометей из глины телесного цвета распростерся на сверкающей бирюзовой выпуклости крышки. Огромный зелено-золотой орел сидел у него на бедре и животе, разрывая клювом алую печень. Высокие ручки были телами светлобородых титанов в кольчугах. Роспись самой вазы была исполнена ярости — там вихрем неслись конные охотники в тюрбанах и их гончие, там пронзали копьем загнанного гиппопотама, который широко разевал нарисованную пасть, показывая клыки, коренные зубы, коралловый язык и горло. У подножия вазы клубились змеи,

переплетаясь с листьями аканфа. Филип во все глаза смотрел на вазу. Он даже приблизительно не представлял, как сделаны эти глазури, не говоря уже о том, чтобы понять сюжет.

На обеденном столе, сдвинутом, чтобы освободить место для зрителей, уже стояла будка кукольного театра. Это был большой черный лаковый ящик, занавешенный черным бархатом, с фальшивыми ониксовыми колоннами и позолоченным архитравом. Сам стол был закрыт бархатным покровом, а под ним были сложены коробки с марионетками.

Август Штейнинг предложил гостям чай в саду. Его экономка миссис Беттс подала сэндвичи и высокий металлический сосуд с кипятком на круглый каменный столик, стоявший на траве. Сад был окружен деревьями — грецкий орех, ясень, кусты боярышника и терна — и обнесен изгородью; калитка вела на природу, в небольшой лесок на склоне холма, где, как сказал Штейнинг, он припрятал сюрпризы для детей, которым будет скучен взрослый разговор.

На Штерне были темные узкие брюки и не очень английская куртка цвета сажи, с поясом и двумя нагрудными карманами. Штерн стоял с чайной чашкой в руке («минтон» в дрезденском

стиле, узор из анютиных глазок) и беседовал по-немецки с Татариновым. По-английски Штерн запинался, но, перейдя на немецкий, начинал говорить стремительно и страстно. Татаринов, одетый в рабочий халат и намного превосходивший ростом собеседника, склонялся к нему с настойчивой тихой речью. У англичан создалось впечатление, что это заговорщики делятся тайнами — возможно, потому, что из всей беседы им удавалось разобрать только имена недавно убитого французского президента Карно и гильотинированного анархиста Вайяна, бросившего самодельную бомбу из динамита и гвоздей во французской Палате депутатов. Однако через несколько секунд Татаринов уверенно, со знанием дела присоединился к разговору Олив Уэллвуд и Проспера Кейна о королевских сокровищах. Он поделился меткими наблюдениями о золотых и серебряных ценных предметах из собрания русского царя. Этта Скиннер, одетая в бесформенный, развевающийся яблочно-зеленый балахон, осторожно взяла свою чашку и неодобрительно уставилась на блюдо с сэндвичами: там в ярко-розовом овале на цветочной лужайке резвились три грации. Август Штейнинг улыбнулся Этте. Он сказал: она, наверное, считает, что ему следовало

бы есть с глиняных тарелок со вмятинами от пальцев гончара. Разве не к этому призывал Уильям Моррис? Этта ответила, что ее предпочтение действительно таково, но каждый решает сам за себя. Август заявил, что ему нравятся абсурдные и хрупкие вещи и что искусство расписчика и позолотчика так же имеет право на существование, как искусство формовщика. Филип стоял с мрачным видом, слушая спор и думая о матери. Проспер Кейн сказал, что испытывает слабость к «минтону» — фабрика «Минтон» сделала для Музея несколько поразительных вещей, в том числе керамические колонны. Олив Уэллвуд рассказала, как еще девочкой сочиняла сказки про людей, нарисованных на фарфоровых чашках.

— У нас были драгоценные чашки, только для воскресений и праздников, с девочками в развевающихся розовых юбках — они карабкались по скалистым уступам и цеплялись за кусты с почти выдранными корнями. Я всем девочкам придумала имена и сочиняла истории про то, как они оказались в горах, на скалах, и как их спасли орлы, как раз когда Северный Ветер собирался сдуть их в пропасть…

Когда Олив говорила, вокруг воцарялось наэлектризованное молчание. Она была прелестна

в чайном платье из кремового набивного батиста с рисунком из полевых цветов — васильков, маков, маргариток. На ней была соломенная шляпа с алой лентой. Когда Олив поняла, что все ее слушают, она засмеялась и сказала:

— Я этим до сих пор увлекаюсь. Люди на тарелках подносят ко рту стаканы, которые никогда не опустеют, срывают розы, которые им никогда не вплести в волосы. Я представляю себе, как они сбегают из этого плоского круга. У меня была идея сюжета о двумерных созданиях, которые пытаются найти свое место в трехмерном мире. А потом трехмерные создания точно так же попытаются войти в мир, где измерений больше. Уловить очертания других форм жизни…

Ансельм Штерн сказал Татаринову что-то насчет Porzellan-socialismus.[12]

— А, да, — отозвался Татаринов. — М-м-м… определение утопического социализма по Достоевскому, м-м-м… красивый и хрупкий пейзаж на чайной чашке. Фарфоровый социализм.

— Может быть, это выражает нашу суть, — горестно сказал Хамфри. — Фарфоровые социалисты. Или, в случае Этты, глиняные социалисты.

---

[12] Примечания: 12
Фарфоровый социализм *(нем.).*

Когда будет установлено царство справедливости, наши представления о красоте станут совсем другими. Я согласен с Моррисом, севрский фарфор — это отвратительно. Август, вы меня поражаете.

— Человеку свойственно быть легкомысленным, — ответил Август. — Как я это вижу, человеку свойственно также стремиться к мастерству, не имеющему практического смысла. Надеюсь, вы не собираетесь принимать законы, которые запретят мне владеть севрскими сосудами.

Хамфри нахмурился.

— Будем надеяться, что в обществе, которое мы построим, никому не придет в голову хотеть такой бессмыслицы.

Этта яростно закивала. Лесли Скиннер сказал, что новое общество произведет новые узоры, немыслимые сегодня. Их будут создавать мастера, а не наемные рабы. Хамфри огляделся в поисках Филипа, но тот незаметно ускользнул, чтобы вернуться и еще раз посмотреть на вазу с Прометеем.

Почти все дети побрели в лес, как им было велено. Там они обнаружили удивительных тварей, притаившихся в ложбинах, взобравшихся на ветви: бородавчатых жаб, чешуйчатых ящериц, сову

со слипшимися глиняными перьями и желтыми стеклянными глазами, пару злобных ворон. К шеям и когтям их были привязаны блестящие алые коробочки с сахарными цветами и тянучками из жженого сахара. Дети бродили вдоль быстрого ручейка, по деревянному мостику, грызя сладости. Гедда принесла башмак с человечками, с которым не желала расставаться.

Филип не пошел с другими. Он хотел остаться в доме и хорошенько рассмотреть вазу, но вышел, чтобы получить чай с тортом, и обнаружил нечто столь же интересное. Это был фонтан; его, как и двуликие кувшины и кружки в доме, и причудливых тварей в лесу, сделали братья Мартин — их работы импонировали театральному воображению Августа Штейнинга. Фонтан состоял из нескольких толстых блюд, покрытых грязно-зеленой и бурой глазурью, а местами — ярко-изумрудной керамической ряской. Центральную колонну фонтана образовали сплетенные корни, змеи, черви и ползучий плющ. Блюда были обитаемые: на них сидели, за них цеплялись жабы, тритоны и рыбы с ногами.

За колонной, сливаясь с ней, стоял Пан — бородатый, с шишковатыми рогами, он щурился и ухмылялся, а вода низвергалась по гладкому

торсу на косматую шерсть бедер и раздвоенные копыта. Пан потрясал цевницей, через трубы которой медленно сочилась вода и зеленые нити водорослей.

Филип притворился, что фонтан его очень занимает, а потом и вправду погрузился в созерцание.

Кто-то положил ему руку на плечо.

— Мне сказали, что ты специалист по горшкам.

Это был Артур Доббин, приехавший с дамами Фладд. Филип пожал плечами и помотал головой. Он пробормотал, что просто приехал из Пяти городов, вот и все.

— А что ты думаешь об этом чудовищном творении?

Филип сказал, что это очень хитро сделано. Интересно. И, надо полагать, непросто. Доббин прочитал ему небольшую лекцию о братьях Мартин и их странных творениях. Он сказал, что до него дошел слух: Филип хочет делать горшки. Это правда? Потому он и интересуется фонтаном?

Филип осторожно ответил, что действительно хочет делать горшки.

— Только не совсем такие. Это… живое, очень хитро сделанное… но я хочу… я хочу…

Он вспомнил, что Доббин связан с водяным кувшином из «Жабьей просеки».

— Я работаю с горшечником, — сообщил Доббин. — С Бенедиктом Фладдом, мужем вон той дамы. Я пытаюсь ему помогать, но он считает меня неуклюжим. Я верю в будущее прикладных искусств, но мой талант, он… не к гончарному делу. Мистер Фладд не очень терпелив. Я считаю, что он гений. Я хочу создать сообщество художников — это мечта всей моей жизни, и мне было бы проще, если бы я умел работать руками.

В его тоне странно мешались бодрый энтузиазм и беспросветное уныние. Он сжал плечо Филипа. Тот сказал:

— Я хотел бы посмотреть на работу мистера Фладда. Я видел кувшин… там, в усадьбе… я видел… я сроду не видал ничего лучше…

Доббин снова сжал его плечо и расслабился.

— Куда ты пойдешь отсюда?

— Не знаю. Они обещали подумать.

— Может быть, я смогу тебе помочь.

* * *

Август Штейнинг вышел из дома с большим барабаном, выбил дробь и провозгласил чистым, высоким голосом, что представление сейчас

начнется.

Когда все вошли и уселись, он встал перед занавешенной будкой театра и обратился к зрителям.

Сейчас они увидят пьесу по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек», представленную марионетками Штерна из Мюнхена. Август выразил желание сказать несколько слов о марионетках. Многим из присутствующих, возможно, известны Панч и Джуди. У него в коллекции тоже есть Панч и Джуди. Они и их немецкий кузен Касперль — честные артисты с древними традициями. Они — перчаточные куклы, а перчаточные куклы — от земли, сама их природа — земная. Они поднимаются снизу, как подземные жители, гномы и кобольды, они молотят друг друга дубинками и возвращаются обратно в глубины — театральных кулис или нашего сознания. Марионетки же в противовес перчаточным куклам — создания воздушные, как эльфы, как сильфиды, которые едва касаются земли. Они танцуют свой геометрически совершенный танец в мире более насыщенном, не таком юном и неуклюжем, как наш. Генрих фон Клейст в своей загадочной статье, будоражащей мысль, делает смелое утверждение: марионетки

исполняют роли более совершенным образом, чем живые актеры. Они демонстрируют законы движения; их конечности поднимаются и падают по идеальной дуге, согласно законам физики. Марионеткам в отличие от живых актеров незачем пленять зрителей или вызывать у них жалость. Клейст заходит настолько далеко, что утверждает, будто бы марионетка и Бог представляют собой две точки на окружности. Самые ранние марионетки — театр теней — по сути, и были богами, символизировали присутствие богов.

— В Амстердаме я нашел несколько образчиков восточных кукол из театра теней, ваянг-голек. Этими куклами управляли специально обученные жрецы. Мы с герром Штерном изучили эти удивительные создания и внесли некоторые усовершенствования в его немецкие фигуры.

Он поклонился. Светлые волосы упали налицо. Он шагнул за ширму.

Иллюзия — непростая вещь, и толпа зрителей — непростая вещь. И ту, и другую нужно собирать из непослушных частей в однородное, единое целое. Мир внутри ящика, сделанный из шелка, атласа, фарфоровых отливок, проволоки, петель, раскрашенных задников, движущихся прожекторов и музыкальных нот, должен ожить,

обзавестись собственными законами движения, собственными правилами, по которым развивается сюжет. А зрители с круглыми жадными глазами, рассеянные и надменные, поглощенные мыслями о чем-то другом, ерзающие, зажатые — должны слиться воедино, как косяк пучеглазых рыб должен, мелькая плавниками, слиться воедино, бросаться туда или сюда, повинуясь голоду, страху или радости. Послышалась флейта Августа. Кто-то был готов слушать, кто-то нет. Открылся занавес, и зрители увидели детскую спальню. Мальчик сидел среди подушек. Няня в практичном сером платье суетилась вокруг него, и ее тень нависала над ним на белой стене.

Она рассказывала маленькому Натанаэлю про Песочного человека.

— Он крадет глаза у детей, которые себя плохо ведут, — безмятежно говорила она, — и скармливает своим собственным детям, которые живут в гнезде на луне и открывают рты, как совята.

На лестнице послышались тяжелые медленные шаги. На задник падала тень перил в том месте, где они изгибаются под углом, и над перилами вдруг появилась и стала медленно подниматься тень головы и плеч старика, крючконосого, горбатого, с крючковатыми пальцами, топ-топ,

раскачиваются полы сюртука.

Марионетка-мальчик натянул одеяло на голову, и свет погас.

В следующей сцене отец Натанаэля, алхимик, и его ужасный гость доктор Коппелиус склонились над котлом, в котором проводили какой-то секретный опыт. Сцена наполнилась мерцающими отблесками огня. Натанаэль спрятался, его нашли. Коппелиус замахал палкой черного дерева. Отец упал замертво в огонь. Поднялся дым.

Дальнейшие сцены были повеселее. Выросший Натанаэль, его друг Лотарь и сестра Лотаря Клара встретились в саду и обнялись. У Клары были волосы, как золотые нити, и голубое шелковое платье. Сад, пронизанный голубым светом, был полон роз и лилий. Друзья танцевали под музыку флейты.

Потом показали Натанаэля в его кабинете в Риме — в окружении крохотных книг, глобуса, астролябии, одушевленных скелетов крохотных тварей, которые принимались яростно танцевать, когда в комнате никого не было. Змеи, крысы, ящерицы, кошки. При взгляде на них зрители испытывали то же удовольствие, какое бывает, когда разглядываешь миниатюру — крохотные, идеально верные слепки, вызывающие

необъяснимый восторг. В этом приятном месте Натанаэля навестил переодетый марионетка Коппелиус — в плаще, широкополой шляпе, козырьке над глазами. В руках у Коппелиуса был лоток уличного торговца, полный блестящих стеклянных глаз и крохотных трубочек — подзорных труб. Натанаэль купил подзорную трубу. Когда он заглядывал в нее, сжимая в белом фарфоровом кулачке и поднося к глазу, появлялся круг розового света и двигался по мере того, как Натанаэль поворачивал голову.

А потом на одной стороне сцены появилась женская фигура в окне, в круге розового света, а на другой — Натанаэль, вглядывающийся в подзорную трубу. Девушка была в простом белом платье, которое розовый свет наполнил розовыми вспышками, окрасив складки в кроваво-красный цвет. Она двигалась мало — подняла ручку к спокойному круглому ротику, прикрывая зевок, и скромно опустила голову.

Затем последовала сцена бала, имевшая огромный успех. Заиграла невидимая музыкальная шкатулка. Пары вихрем пролетали по сцене, скользя в вальсе, выкидывая коленца в польке и хорнпайпе, приседая и кланяясь. Натанаэль танцевал с Олимпией. Кукольник искуснейшим

образом передавал и порывистые движения Натанаэля, и механическую ровную поступь его возлюбленной. Мужская марионетка оживленно суетилась вокруг женской, сопровождая, поддерживая, допрашивая, склоняясь над ее рукой, дрожа от избытка чувств. Она же двигалась, повторяя серию одних и тех же не слишком размашистых движений, грациозно склонив голову, поднимая изящную руку к круглому розовому ротику.

Занавес закрылся и снова открылся. Натанаэль ворвался в комнату, где князь — отец Олимпии — ссорился с доктором Коппелиусом. Они угрожали друг другу тростями черного дерева. Коппелиус подпрыгивал, как разгневанная лягушка. Они бросились на Олимпию, которая лежала неподвижно, откинувшись на спинку кресла. Один схватил девушку за шею, другой за ноги. Каждый тянул в свою сторону. Олимпия дрожала, но не боролась: кукольник очень хорошо передавал ее почти полную неподвижность. Вдруг случилось ужасное: она разорвалась на куски у них в руках, и куски разлетелись по всей сцене — голова с развевающимися волосами взмыла вверх, тело, ощетинившись пружинами, отскочило вбок. Князь и доктор угрожающе махали друг на

друга рукой и ногой. Гедда захлопала в ладоши, а младенец-анархист заревел, и его пришлось успокаивать. Натанаэль от горя лишился чувств.

Снова появились Лотарь и Клара, подняли его, привели в сознание. Они пошли гулять вокруг колокольни, у крепостных стен. Натанаэль обнимал Клару за голубую талию. А потом тень Натанаэля поднялась, огромная в свете рампы на меркнущем синем небе, оторвалась от своего хозяина и угрожающе нависла над ним. Он повернулся к ней лицом и начал бой с тенью — качаясь, двигаясь рывками, словно повешенный, танцующий на веревке. Лотарь взял Клару под руку и увел ее от этого безумного вихря. Движения Натанаэля становились все более дикими, порывистыми, все менее человеческими, а тень разила его когтями с задника сцены. Натанаэль взмыл вверх, крутя ногами, будто на невидимом велосипеде… на миг взлетел, став невесомым… а затем рухнул через парапет навстречу гибели.

Все захлопали. Том переводил дух — словно сам участвовал в схватке и проиграл. Он исподтишка поглядывал на Джулиана, Чарльза и Геранта, чтобы понять, как на них подействовал спектакль, и увидел, что все они улыбаются и изо всех сил аплодируют, так что он тоже стал апло-

дировать. Филип тоже хлопал. Его больше всего заинтересовали фарфоровые лица кукол. Когда герой на протяжении спектакля претерпевает столько изменений, но у него может быть только одно выражение лица, какое из них выбрать? Он понимал, почему доктору Коппелиусу подходит рот, который одновременно улыбается и презрительно ухмыляется, но самое удачное лицо было у Натанаэля — серьезное и слабое, деликатно-худое, с полуулыбкой. Во время безумной финальной пляски лица куклы было почти не видно — только тень. Хитро придумано. И разница между «живой» марионеткой и Олимпией — марионеткой-автоматом — передавалась просто блестяще. Плавными движениями Олимпия передразнивала плавные движения всех марионеток. Вот это здорово. Он продолжал хлопать.

Дороти не понравился ни спектакль про Золушку, ни этот. В голове крутились мысли о пауках, нитях, жалах. Она думала о ловких пальцах, управляющих сюжетом и героями, и решила, лишь наполовину осознавая эту мысль, что любой контроль такого рода опасен, и ему следует противиться. Ей было приятно смотреть, как Олимпия разлетелась на куски. Дороти сказала себе, что не видит смысла в таком зрелище,

хотя на самом деле видела, и он ей совсем не нравился.

Гризельде представление понравилось. Она ощущала, что в ином мире, внутри ящика, есть свобода, там все живее, красивее и ужаснее, чем в обыденной повседневности. Голубое шелковое платье Клары с крохотными складочками плиссировки было прекрасно, а собственное платье Гризельды, напомнившее ей про мисс Маффет, — отвратительно. Олимпия была замечательной пародией на мир визитных карточек и чайных чашек, комментарием к нему. На свете есть вещи получше того, что сулят Гризельде. И кукольник об этом знает.

Кукольник, Ансельм Штерн, вместе со Штейнингом вышел из-за ящика с бархатными занавесями, теперь скрывающими его творения, и поклонился зрителям — робко, пряча глаза. Миссис Беттс принесла новую порцию угощений. Ансельм Штерн опять исчез. Гризельда посмотрела на Дороти, которая стояла с сердитым видом.

— Мне хочется посмотреть на марионеток. Пойдем?

— Ты иди, он будет рад. Мне не хочется.

Гризельда поколебалась.

— Иди-иди, — сказала Дороти. — Ему будет

приятно.

Гризельда подошла и встала рядом со Штерном, который распутывал нити, сматывал их в клубки и укладывал уже неодушевленные фигурки в коробки-постельки. Бледные лица пристально смотрели черными глазами в пустоту. Гризельда сказала:

— *Ich danke Ihnen, Herr Stern, ich danke Ihnen für eine grosse Freude. Das war ausgezeichnet.*

Кукольник посмотрел на нее и улыбнулся.

— *Du sprichst Deutsch?*

— *Meine Mutter ist aus Deutschland. Ich lerne nur, ich kann nicht gut sprechen. Aber die Sprache gefällt mir. Und die Märchen. Ist es möglich, den Sandmann zu lesen?*

—

Natürlich. Es is ein Meisterwerk von E. T. A. Hoffmann. Ich schicke dir das Buch, sobald ich nach Hause komme. Deutsch mit Hoffmann zu lernen, das ist etwas.[13]

---

[13] Примечания: 13

— Благодарю вас, герр Штерн, благодарю вас за большое удовольствие. Это было превосходно.

— Ты говоришь по-немецки?

— Моя мать из Германии. Я только учусь, я пока не могу хорошо говорить. Но мне нравится этот язык. И сказки. Можно ли прочитать «Песочного человека»?

— Конечно. Это шедевр Э. Т. А. Гофмана. Я пошлю тебе эту книгу, как только вернусь домой. Учить немецкий по Гофману — это нечто замечательное *(нем.)*.

Он встал и довольно церемонно протянул ей руку. Затем достал из кармана записную книжку и карандаш и попросил Гризельду написать свой адрес. Гризельда была в восторге — и потому, что у нее вышел настоящий разговор по-немецки, и потому, что ей пришлют сказки.

Артур Доббин думал о Филипе. Он думал: нужно сказать кому-нибудь, что Филип должен отправиться с ним и Фладдами в Пэрчейз-хауз. Бенедикту Фладду нужен помощник. Доббин надеялся стать таким помощником, но не сумел. Глина у него в пальцах корчилась и превращалась в бесформенную кашу. Его обжиги кончались катастрофой. Когда он отправлялся в «Жабью просеку», Фладд напутствовал его словами: «Не трудись возвращаться обратно». Но Доббин хотел вернуться. Фладд был гений, и Доббин хотел быть рядом с ним. Он хотел привезти с собой Филипа в качестве мирного приношения. Доббин подумал, не спросить ли разрешения у Серафиты Фладд, но она не имела привычки что-либо решать; она лишь стойко все сносила, держалась прямо и улыбалась. Дочери, видимо, пошли в нее. Герант мог бы выслушать просьбу, но Доббин чувствовал, что Герант его не любит. А Герант, как все, боялся отцовского дурного настроения. Был еще

Проспер Кейн, который приезжал в Пэрчейз-хауз для консультаций, поскольку Фладд не снисходил до того, чтобы являться к нему. Доббину трудно было принимать решения. Он наблюдал за Филипом, который внимательно и вдумчиво смотрел на марионеток. Доббину хотелось быть частью какой-нибудь группы, какого-нибудь братства. Он глядел на Филипа с зарождающейся любовью. Лидд в Ромнейских болотах — идеальное место для будущего сообщества творцов, с Фладдом в роли предводителя, хотя с ним и будет трудно. Доббин умел смягчать трения. Он думал, что, может быть, его талант — именно в этом.

В Лидд он попал случайно. Как и многие другие люди, он изменил свою жизнь, навестив Эдварда Карпентера в Милторпе. Карпентер и его друг-рабочий Джордж Меррилл жили с размеренной простотой, возделывали землю, носили домотканую одежду и самодельные сандалии, принимали солнечные и воздушные ванны, открывая наготу стихиям. Доббин побывал на лекции Карпентера в Шеффилде. Она была посвящена язвам цивилизации и способам их лечения. Пропитанное благоразумием харизматическое начало святого-анархиста вызвало пламенный отклик в душе Доббина.

Доббин, толстенький сын докторской вдовы, послушно изучал медицину, чего, несомненно, пожелал бы его покойный батюшка, и постоянно проваливался на экзаменах. Он робко воображал себе страстную дружбу с соучениками-студентами, но от смущения катастрофически глупел и терял дар речи. Услышав Карпентера, он понял, что единственный способ — полностью изменить свою жизнь, убить свое старое «я». Он думал, что у него нет воображения. Он понятия не имел, куда идти за новой жизнью.

Что-то из этого он умудрился выдавить из себя в разговоре с Карпентером, после лекции, когда все пошли по-товарищески выпить пива и покурить. Карпентер распознал суть Доббина и пригласил его в Милторп.

Там Доббин наслаждался пирогами с лососиной, которые пек Меррилл, и смотрел, как двое мужчин спокойно сидят и вяжут. Через дом проходили чередой, постоянно меняясь, искатели, идеалисты и потерянные души. Ученые мужи из Кембриджа и рабочие с ферм, эмансипированные женщины и неудовлетворенные клирики. Как-то летом в Милторпе Доббин купался нагишом в ручье с Мартином Калвертом, скитальцем, похожим на цыгана. Калверт учился на священника

и бросил. Он пожил как мирянин в религиозной коммуне в Гламоргане. Он научился ткать в ремесленной коммуне в Норфолке. К моменту встречи с Доббином Калверт решил стать горшечником. Работать с плотью самой земли, как он выразился. Эта идея — искусство от самой земли — чрезвычайно захватила Доббина. Во время купания они заметили, краснея и хохоча, что их члены привстали и покачиваются, колеблемые течением, — «как заколдованные змеи», сказал Мартин, смеясь, и Доббин был околдован.

Пешком они отправились на поиски наставника-горшечника. Они пошли в Южно-Кенсингтонский музей и увидели там сосуды работы Бенедикта Фладда. Мартин Калверт сказал, что этот человек — мастер, и надо попытаться его найти. Мартин описывал сосуды — их пропорции, тонкую глазурь, уверенность мастера, — и Доббин видел их совершенство его глазами.

В поисках Фладда они двинулись на юг. Они нашли его в Пэрчейз-хаузе — частично перестроенной, обветшалой елизаветинской усадьбе, что пряталась в лесах на плоской болотистой равнине за Лиддом. Мартин с заразительным энтузиазмом попросил за них обоих. Фладд был в приподнятом настроении и разрешил помочь

ему с обжигом. Обжиг обернулся катастрофой. Настроение Фладда изменилось к худшему. Он проклял обоих друзей. Доббин был почти уверен, что Фладд произнес традиционную формулу церковного проклятия. На следующее утро Мартина не оказалось. Он взял рюкзак, тихо вышел из дома в предрассветной тьме и исчез.

Доббин остался на месте — ждать весточки. Но она не пришла. Он старался не попадаться на глаза Бенедикту Фладду, почти удалившемуся от мира, и пытался как-то помочь Серафите и ее детям. Доббин не умел делать горшки, но умел готовить. Он готовил свежую рыбу, пирожки с овощной начинкой, тарталетки с заварным кремом. Женщины Фладдов готовить не умели, и у семьи не было денег, чтобы нанять кухарку. Они приняли Доббина. Его сердце было разбито, но он, обладая подлинным смирением, не делал из этого трагедию своей жизни.

Так они жили с полгода. Фладд в основном притворялся, что не замечает Доббина, а Серафита давала ему небольшие суммы денег на покупки и ремонт. Как-то Доббин зашел в деревенскую церковь. На болотах часто попадаются величественные церкви, построенные для богатых фермеров и моряков в те времена, когда море еще

не отступило и реки не обмелели. Эта церковь носила имя Св. Эдбурги. К удивлению Доббина, в ней обнаружился небольшой витраж работы Берн-Джонса, изображавший святую в красивом белом платье, босой, на цветущих лугах. Доббин встал на колени в золотом и травянисто-зеленом свете, падавшем от святой, закрыл лицо руками и обнаружил, что рыдает, — слезы катились меж пальцев.

Кто-то подошел сзади, деликатно тронул его за плечо и предложил помощь.

Так Артур Доббин встретил Фрэнка Моллета, настоятеля прихода св. Эдбурги. Моллет был тонкокостный, светловолосый, тощий, с хорошенькими усиками и шекспировской острой бородкой. Холостяк, он жил в коттедже в деревне Паксти. Он не был ни Мартином, ни Эдвардом Карпентером. Он чем-то походил на Доббина — робостью, неуверенностью в себе, так что легко отбросил роль наставника или спасителя и стал просто другом. Они говорили о мечте Доббина — коммуне или братстве, о новой жизни ради общего блага, которую можно начать в обшарпанных амбарах и сараях Пэрчейз-хауза.

Доббин решил, что единственный выход — пойти спросить Геранта. Герант разговаривал

с Джулианом и Флоренцией Кейн о пансионе и обучении на дому. Геранту хотелось бы поступить в Итон или Марло, но латыни и истории он учился у Фрэнка Моллета, а математике — у приглашенного учителя вместе с сыновьями деревенского сквайра. Герант был недоволен, когда Доббин вмешался в их разговор и серьезно спросил его насчет Филипа.

— Иди спроси маму, — сказал он.

Доббин заметно расстроился. Оба знали, что она ничего не ответит. Флоренция сказала, что видела рисунки Филипа, и они замечательно хороши. Герант ответил, что если Филип так уж хорошо рисует, то они окажут ему плохую услугу, зарыв его талант среди болот, где и поговорить не с кем. Флоренция сказала, что Филип спал в гробнице, в подвале. Интерес Флоренции передался Геранту. Он сказал, что, может быть, его отец согласится поговорить насчет Филипа, если отец Флоренции рекомендует его — пошлет письмо или что-нибудь такое. Поэтому они посоветовались с Проспером Кейном, а он поговорил с Серафитой, которая ангельски улыбнулась и сказала, что уверена: все выйдет очень хорошо.

7

В понедельник утром Хамфри уехал подавать в отставку. Его переполняло нервное возбуждение. Он сказал Олив, которая решила еще полежать, что поговорит с секретарем правления и попросит немедленной отставки. Он сказал, что будет скучать по «Старой даме». Может быть, он задержится в городе, поговорит кое с кем. Зайдет на вечер журнала «Желтая книга» на Кромуэлл-роуд и перемолвится словечком с Харландом. И к Хенли в «Новое обозрение» зайдет, и в «Экономист». И, может быть, доедет на поезде до Манчестера и поговорит с редактором «Воскресной хроники». Олив мягко заметила, что рано или поздно ему придется прекратить беготню и в самом деле что-нибудь написать. И выразила надежду, что арест Оскара с желтой книгой под мышкой не убьет журнал.

— Но ведь у него был французский роман, а не журнал «Желтая книга».

— Но все равно озверевшая толпа разбила им окна.

Хамфри, одетый в городской костюм, наклонился и поцеловал жену. В начале беременности она

всегда вяло реагировала на его авансы — лишняя причина выбраться из дома. Он сказал, что велит принести ей завтрак в постель.

— И если встретишь Тома, пришли его ко мне.

— Обязательно.

В прихожей Виолетта держала плащ, шляпу и портфель. Интересно, подумал Хамфри, знает ли Виолетта, что Олив снова беременна. Он удивительно плохо представлял себе, что именно знают сестры друг о друге.

— Присматривай за домом, Ви, — сказал он.

— Да уж будь спокоен.

Пришел Том с завтраком, который Ада сервировала на подносе. Олив, как всегда в таких случаях, произнесла: «Победитель Тарбормота! Дай тебя я лобзниму!»,[14] и оба засмеялись. Том поставил поднос на тумбочку у кровати и наклонился в объятия Олив. Она раскраснелась. Волосы темной лужей растеклись по подушке. Когда Том был маленький, он забирался в постель к матери, и она рассказывала ему сказки про воинов-дюймовчиков, ходивших в военные походы

---

[14] Примечания: 14

Из стихотворения «Jabbderwocky» (по-русски наиболее известного в переводе Д. Орловской под названием «Бармаглот») из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Здесь цитируется по переводу А. Щербакова.

по холмам и долинам одеяла. Позже они вместе с Дороти пристраивались к маме с двух сторон, но Дороти была неуклюжа, и уюта поубавилось. Том давно уже вырос из возраста, когда можно залезать к маме в постель. Но он присел на край, погладил закрытые одеялом ноги и посочувствовал больной маме. Она улыбнулась и сказала, что это пройдет. Она, пожалуй, поработает сегодня в постели. Может быть, он принесет *их книжки?* У нее появилось несколько новых идей. Том снова поцеловал мать, соскользнул с кровати и пошел вниз.

Их книжки хранились за стеклянной дверцей в шкафчике, в кабинете Олив. У каждого из детей была своя книга и своя сказка. Началось это, конечно, с Тома, и его сказка была самая длинная. Каждая сказка писалась в отдельной книге, украшенной аппликациями и цветными узорами. Книга Тома была чернильно-черно-синей, украшенной папоротниками и орляками — настоящими, засушенными, и ненастоящими, вырезанными из золотой и серебряной бумаги. Книгу Дороти, цвета лесной зелени, покрывали вырезанные в детской картинки — ежики, кролики, мышки, синички и лягушки. Книга Филлис была розовой и кружевной, с наклеенными фе-

ями — платья в цветочек и тюлевые крылья, душистый горошек и колокольчики, маргаритки и анютины глазки. Книгу Гедды — в фиолетовую, зеленую и белую полоску — украшали силуэты ведьм и драконов. Книга Флориана была совсем маленькая, теплого красного цвета, с «Рождественским дедом» и «рождественским поленом».

Все это началось, когда Том (сказочный Том) обнаружил дверь в волшебный мир, которая появлялась и пропадала. Воображаемая дверь находилась в реальном месте — погребе «Жабьей просеки», где хранился уголь и висела паутина. Это была маленькая серебряная дверца наподобие крышки люка, куда мог пролезть ребенок, но не взрослый, видимая только при свете полной луны. Она вела в подземный мир, полный туннелей, проходов, подземных рудников, странных обитателей и тварей, добрых, злых и равнодушных. Оказалось, что герой Тома, которого иногда звали тоже Том, а иногда — Ланселин, искал свою тень, и этим поискам не было видно конца. Тень украла Крыса, когда Том еще был в колыбельке.

Эта сказка имела такой успех, что Олив изобрела для других детей другие двери, отверстия в

ткани повседневной жизни. Alter ego[15] Дороти — упорная девочка по имени Пегги — нашла деревянную дверь с железными задвижками под корнями яблони в саду. Это оказался путь в странную страну, населенную полуживотными, людьми и созданиями, которые меняли шкуру и размер — иногда по желанию, а иногда по случайности. Так что даже человеческий ребенок мог внезапно, за несколько секунд, превратиться в ежика и спрятаться в опавших листьях. В этих землях водились волки и кабаны. Героиней сказки Филлис была принцесса, которую поменяли местами со служанкой. Она обнаружила трещину в чайнике, который ее заставили мыть. Трещина проходила по картинке, где на хорошеньком лугу танцевали дамы под флейту и тамбурин. Чтобы съежиться и пролезть в эту трещинку, нужно было пожевать китайский листовой чай определенного сорта, известного как «жемчужный» — маленькие шарики, которые в кипятке разворачиваются в большие листья. В сказке Филлис были принцы и принцессы в замках, замороженные или спящие, ожидающие спасителя, который найдет ключ и освободит их.

---

[15] Примечания: 15
Второе «я», двойник *(лат.).*

Дверца Гедды находилась в больших напольных часах в столовой. Проход открывался, когда часы били полночь. Он вел в мир ведьм, волшебников, лесов, погребов и зелий, там дети мучились в клетках, как птицы, ожидая избавителя, который выпустит их на свободу, там проходили удивительные состязания в искусстве превращений, с участием гномов-магов, волшебников, черных дам и синих кобольдов. Сказка Флориана едва началась. Возможно, его дверь была в трубе — он утверждал, что видел там толстяка в красной шубе, с мешком. А может быть, ему предстояло вырасти из этого и создать другой мир. А пока что в его сказке жили его мягкие игрушки — медведь Пушок, кот Снежок и полосатая вязаная змея по кличке Хвостик. В мире, лежащем по ту сторону волшебной двери, они были исполинами, гладкими и лоснящимися, — Медведь, Кот и Змей.

Том заглянул в свою книгу. Сказка удлинилась на пару страниц. Компания искателей двигалась по темному туннелю — герой без тени, золотая ящерица размером с терьера, с гранатовыми глазами, и прозрачное, желеобразное бесформенное существо, перетекающее по земле и постоянно меняющее облик. Появился кто-то новый — он бесшумно бежал по тоннелю впереди них и остав-

лял округлые следы в пыли. Возможно, это была утраченная тень, ставшая осязаемой (а возможно, и нет). А может, это другой такой же искатель, друг или враг, или просто незнакомец в темноте.

Сказки в книгах детей были по природе своей бесконечны. Они, подобно кольчатым червям, цеплялись крючочками и петельками за новый поворот сюжета, который двигался, извивался. Каждая развязка должна была порождать новую завязку. Были в сюжетах и ответвления, которые потом снова вливались в основное русло, дальше и глубже по ходу сюжета. Олив иногда «грабила» сказки своих детей — брала оттуда что-нибудь годное для печати: ситуации, людей, обстановку; но все понимали, что магия жива только тайной, только тогда, когда она — общий секрет.

Все — от Флориана до самой Олив — ходили по дому и парку, саду и кустарнику, службам и лесу, осознавая, что у вещей есть не только видимые, но и невидимые формы — в том числе у плотных, материальных стен кухни и детской, таивших в себе башни и драпированные шелками будуары. Все знали, что кроличьи норы открываются в подземные проходы, ведущие в страну мертвых, что паутина может превратиться в оковы крепче стали, что мириады прозрачных созданий тан-

цуют у края луга, щебечут, свисая с веток, как летучие мыши, на грани видимости, на грани слышимости. Сок любого плода или цветка мог оказаться зельем, которое, если выжать его на глаза, смазать им язык или уши, подарит доступ к тайнам, нечеловеческую остроту восприятия. Любая сломанная веточка могла быть знаком или вестью. Видимый и невидимый мир переплетались и накладывались друг на друга. В любой момент можно было провалиться из одного в другой.

Том принес матери, угнездившейся в одеялах и покрывалах, пачку книг. Мать спросила, заглянул ли он в свою. «Конечно, — ответил Том, — как же без этого».

— Как ты думаешь, кто это бежит впереди?

Иногда они придумывали сюжет вместе.

— Мальчик, который потерялся. Случайно свалился в какую-нибудь шахту.

Олив подумала.

— Друг или враг?

Том не знал. Он сказал, что, наверное, и сам новый пришелец тоже не знает. Он может оказаться тем или другим. Он все еще думает, что скоро выберется на свет, сказал Том, он еще не знает, как это трудно.

— Я буду над этим думать, — сказала Олив. — А ты иди учи латынь.

Неисчерпаемая, беспокойная изобретательность ума Олив иногда пугала ее самое. То, что ее выдумки приносили в дом деньги, настоящие банковские чеки в настоящих конвертах, было хорошо, внушало уверенность. Давало привязку к реальному миру. А реальный мир прорастал сказками, куда ни падал взгляд Олив. Взять, например, водяной сосуд Бенедикта Фладда, стоявший на лестничной площадке. Стоило Олив мимоходом заметить прозрачных головастиков, и она, не успев даже спуститься по лестнице, уже рождала в уме целый водяной мир, где плавучим водяным нимфам угрожала огромная водяная змея, а может, страшное чудище, Дженни-зеленые-зубы, которое пряталось в водорослях, прочесывая их крючковатыми пальцами.

И вчерашние события уже стали пищей для сказок — почти мгновенно. Олив с радостью смотрела представление Штерна по сказке Гофмана — любое представление, любое произведение искусства пробуждало у нее желание творить, желание создать другой шедевр, свой собственный. Она переносилась из плоской повседневности в *тот* мир. Плавные движения марионеток,

отблески огней рампы на шелковых и тюлевых нарядах, едва видимые нити-паутинки — не успели куклы отыграть свои роли, как переродились в голове у Олив в другие фигуры, другие огни. А что будет, если марионетка вдруг умудрится вырваться на волю, ожить? Будет расхаживать, красоваться, кивать среди неуклюжих людей с толстыми, мясистыми пальцами. Совсем не так, как в «Пиноккио»: марионетка не захочет становиться «настоящим мальчиком», захочет просто свободы. В момент, когда Олимпия разлетелась вихрем оторванных конечностей, Олив отдала должное искусству Ансельма Штерна — на долю секунды испытала потрясение, совсем как обычный человек. Но тут же снова ушла в свои мысли. А что, если ожившая марионетка встретит куклу, которая не хочет оживать, — инертную, восковую, покорную? Некоторые куклы непонятным образом обладали душой — ну, во всяком случае, характером, личностью, — а некоторые решительно отказывались оживать, только глупо улыбались и сидели где посадят. Дороти не любила кукол. У Филлис была ими забита целая кроватка — куклами живыми и неживыми. А что, если освободившаяся марионетка войдет в детскую, и на нее налетит рой фланелевых

симулякров… конечно, эта мысль навеяна Олимпией, Гофман все-таки гений… из этого можно вылепить по-настоящему страшную сказку для детей, но надо соблюдать меру: Олив знала, что существует предел выносимого, который нельзя переступать. Но она часто вплотную подходила к этому пределу. И действительно, ее писательский успех начался с «Кустарника», где она остановилась на грани невыносимого и даже, по мнению некоторых проницательных критиков, переступила эту грань. Но дети любят невыносимое — в разумных количествах. У самой Олив в детстве была книга — «Сказки» Андерсена. Мать читала ей «Дюймовочку», «Принцессу на горошине». Олив ужасно боялась за девочку ростом с дюйм: ее отдали доброй глупой мыши, сговорили за толстого слепого черного Крота, и он должен был увести ее под землю, в мещанский уют, где она больше никогда не увидит солнца. Олив подумала, что, может быть, блуждания Тома под землей начались с ее собственного детского страха за Дюймовочку в кротовьей норе.

Олив намазала медом поджаренный хлеб и глотнула чаю. Том положил на поднос с завтраком букетик полевых цветов — анютины глазки, колокольчики, пару веточек папоротни-

ка. Вонзив зубы в хлеб, Олив почувствовала, как в животе шевельнулась тошнота, но сладость меда успокоила ее. В голове возник непрошеный образ мертворожденного ребенка: что-то скорченное в плодном мешке, привязанное, как марионетка, длинной нитью к жизни самой Олив. Она очень старалась не надеяться и не бояться за нерожденного ребенка. Думая о будущих детях, она чаще представляла себе неподвижные восковые лица мертворожденных, чем потенциального нового Тома или Гедду. Она боялась за детей, их присутствие лишало ее покоя. И еще она любила их… заботилась о них. Она откусила хлеба с маслом и медом, питая себя и слепую новую жизнь, поселившуюся в ней без приглашения. И обратила свои мысли к тени, бегущей под землей.

Олив Гримуит была дочерью шахтера. Ее отец, Питер Гримуит, забойщик, рубил уголь в шахте под землей, под той самой землей, по которой Олив бегала в школу и в лавку Голдторпа. Мать звали Люси, она была урожденная Эпплдор, дочь драпировщика из Лидса. Люси была маленькая, худая, истощенная, она когда-то собиралась стать учительницей и знала всякие вещи — например, что имя «Люси» означает «свет». Детей было пятеро: Эдвард, Олив, Пити, Виолетта и Дора,

нежданный ребенок, умерший вместе с матерью от пневмонии, когда Олив было двенадцать. Оба брата, Эдвард и Пити, начали работать в шахте с четырнадцати лет. Олив Уэллвуд не придумывала сказок про шахту Голдторпа, она же «Галлфосс». Олив запрятала подальше память о терриконах и лебедках, о домике на Мортон-роу — темной нежилой гостиной, уютной кухне, садике размером с носовой платок, вечной вони выгребной ямы на заднем дворе, саже, покрывающей кружево занавесок. Олив упрятала все это — она представляла себе сверток из промасленного шелка, перевязанный бечевками, с красными сургучными печатями на узлах. Женщина, похожая и непохожая на Олив, несла этот сверток, не останавливаясь, по продуваемой ветром пустоши — иногда на голове, иногда на вытянутых руках перед собой, как несут подушку с регалиями при коронации. Из этого видения не могла получиться сказка. Женщина будет идти вечно, и сверток никогда не вскроют. Небо над женщиной было серым, воздух — грозовым. Когда Олив Уэллвуд обнаруживала, что ее мысли движутся в том направлении, она усилием переводила воображаемые стрелки на воображаемых рельсах и переключалась «оттуда» обратно в

«Жабью просеку», в пеструю светотень диких лесов и летучих элементалей.

Олив Гримуит продолжала жить в Олив Уэллвуд — не в последнюю очередь благодаря присутствию Виолетты Гримуит, которая в то роковое время была еще мала, но все равно ощущала тягу корней, хотела вспоминать, могла вдруг ни с того ни с сего спросить: «А ты помнишь хлеб с мясным соком по воскресеньям? Помнишь, как мы смазывали салом шахтерские сапоги?»

Но не Виолетта, а одна только Олив, когда не удавалось этого избежать, вспоминала Питера и Пити, Люси и Дору. Во всяком случае, Олив так думала.

Сказки рассказывала не Люси — она учила детей читать и пыталась привить им хорошие манеры. Сказочником был Питер. Он возвращался домой к чаю — одежда задубела и черна от угольной пыли, глаза и губы красные на черном от угля лице, ногти обломаны, и в них навеки въелась чернота. Отмывшись, он сажал Олив на колени и рассказывал ей про подземный мир. Про его живых обитателей — пони с мягкими носами, таскающих вагонетки с углем по туннелям, про мышей и крыс, которые заскакивали в торбы к пони и выскакивали оттуда, которые

могли сожрать обед из «тормозка» неосторожного шахтера или его свечи. Он рассказывал про ярко-желтых канареек, дрожащих и скачущих на жердочке в клетке. Живая система сигнализации. Если канарейка вдруг падала замертво, это значило, что приближается один из невидимых ужасов — удушливый газ, белый газ, гремучий газ. Газы испускал уголь, чей глубокий сон тревожили молотами и кирками шахтеры или обвалами — крепи забоя. Ибо уголь, как объяснил дочери Питер Гримуит, некогда был живыми лесами — там росли папоротники, высокие, как деревья, и орляки со стволами толще бочонка, там ползали твари, чешуйчатые, как змеи. И все они сплющились, ушли в древнюю грязь. В угле попадались призраки листьев миллионолетней давности, очертания тридцатифутовых стрекоз, отпечатки лап исполинских ящериц. Сильнее всего удивляло то, что смерть этих растений была как бы отсрочена. Испарения в шахте — это газы, продукт прерванного разложения. Питер перечислял дочери имена мертвых растений, которые сейчас шипели и вспыхивали в очаге на кухне. Лепидодендрон, сигиллярия. Он объяснил, как по-научному называются «испарения», то есть газы. Удушливый газ — в нем быстро за-

дыхаешься. Угарный газ — он подкрадывается, если можно так выразиться, мирно, он пахнет фиалками и другими цветами. И метан — «Это, Олив, который выходит из задницы у коров», — гремучий газ. Шахтеры рассказывали про крыс, которые, украв еще тлеющую свечу, вызывали страшные взрывы. «Попробуй, Олив, как-нибудь поднести спичку к коровьей заднице», — сказал Питер, а Люси оборвала его: «Придержи язык, негоже такое говорить девочкам».

Рассказывали шахтеры и про «стук-постуков», чьи молоточки слышались порой в забое, и про Синюю шапку — он был одет в ослепительное синее пламя и иногда помогал толкать вагонетки, и про озорного духа по имени Разрежь-постромки — он забавлялся тем, что резал постромки, то есть упряжь, с помощью которой пони и шахтеры тянули ящики с рудой и вагонетки. Шахтеру стоило время от времени оставлять в шахте денежку, чтобы задобрить тамошних жителей. Питер рассказывал про кобольдов так же живо и наглядно, как про крыс и канареек.

Время от времени он приносил домой кусок угля, на котором был словно вырезан папоротник. И два раза он принес «угольные шары», какими славилась Галлфосская шахта. Угольный шар

— это сохранившийся ком некогда живых предметов, спрессованных вместе: листьев, стеблей, веток, стручков, цветов, иногда и семян миллионолетней давности. Олив Уэллвуд до сих пор хранила эти окаменелые комья, но никому их не показывала.

Эдвард был крупным мальчиком, в отца, и в шахту пошел с радостью — во всяком случае, так думала Олив. Правда, она вообще мало задумывалась об Эдварде: она никогда не знала его слишком близко, он был слишком большой и не замечал ее. Но вот Пити. Пити. Он был годом старше Олив и пошел скорее в мать, чем в отца, хрупкий, хоть и жилистый, с материнскими тонкими мышиными волосами. (Олив со своей вороной гривой была в отца.) Он писал стихи и знал названия цветов и бабочек. Он сказал Олив: он знает, что должен идти в шахту, но ему хочется чего-то другого. «Чего? — шепнула она ему на ухо в темноте, в кровати, где они прижимались друг к другу ради тепла и утешения. — Чего ты хочешь?» А Пити ответил: «Какая разница, чего я хочу, все одно мне этого не видать». И Олив сказала: «Если б я была мальчиком, я б подумала, чего хочу». А Пити ответил: «Рази ж это не одно и то ж? Тебе вовек быть девчонкой, ничего не поделать, а мне

идти в шахту, тож ничего не поделать».

Пити пошел работать в шахту, так как ничего поделать было нельзя, и по своему маленькому росту получил работу дверового. Чтобы проветривать туннель и препятствовать распространению гремучего газа, использовались низкие дверки, которыми управляли маленькие мальчики — они сидели на корточках в дырке, выдолбленной в стене забоя, с веревкой в руке, за которую тянули, чтобы пропустить вагонетки. Так эти мальчики сидели по двенадцать часов во тьме, под низким сводом, ожидая шума приближающихся вагонеток. Пити никому не рассказывал, как боялся и темноты, и сужающейся тесной дыры, на которую сверху давят мили земли, угля и камня — на нее и каким-то образом на самого Пити. Но в ночь накануне первого спуска он вцепился в Олив изо всех сил и сказал: «А ежли я не сдюжу? Ежли струшу?»

Олив представила себя на его месте — как ей велят отправляться вниз и как она визжит и бьется в спускающейся клети, рыдая и умоляя, чтобы ее вернули наверх. Она не могла себе представить, как можно добровольно склонить шею, вступая под низкие своды, добровольно войти в темноту. Дети лежали обнявшись и дрожали, и у обоих по

лицу текли слезы — горячие и мокрые.

Вернувшись после первого дня в шахте, Пити сказал: «Ничо, не так уж страшно». Но на следующее утро Олив почувствовала, что он коченеет от ужаса.

Он привык. Он тянул веревки в темноте почти год. Но однажды высоко над головой шахтеров устье реки Галл задрожало, затряслось, словно вскипело гигантскими пузырями. Случившийся поблизости батрак с интересом наблюдал. К своему изумлению, он увидел, как вода начала отливать от обоих берегов, уходя через огромную зияющую трещину на дне. Батрак побежал. Он понял, что земля между руслом и сводом шахты треснула, и вода льется в шахту. Он пробежал две мили до шахты, и люди спустились вниз с предупреждением, а другие поднялись наверх — те, кто успел обогнать надвигающийся поток воды, затопляющий туннели и забои, отрезающий боковые проходы.

Дыру, в которой сидел Пити, тоже затопило. Олив не знала, как это случилось — быстро или медленно, пытался ли он спастись или захлебнулся сразу. Тела шестерых мальчиков и семи взрослых затянула и потом выплюнула зловонная черная вода. В неожиданно открывшуюся

промоину упал один спасатель и тоже утонул.

В часовне отслужили панихиду и собрали денег на памятник, чтобы поставить рядом с местом происшествия. Питер Гримуит словно усох. Он ходил сгорбившись, глядя в землю. Он по-прежнему после чая сажал Олив на колени — она была уже, можно сказать, слишком большая для этого, — но рассказывать уже не мог, у него больше не было ни сказок, ни секретов в карманах. Люси не плакала при оставшихся детях. Она была беременна, постоянно кашляла, веки были растерты в красноту. Несмотря на растущий живот, казалось, что она тоже усыхает.

Через полгода всю деревню сотрясли громкие взрывы и треск. Все знали, что это значит — они привыкли всю жизнь бояться именно этого. Все побросали свои дела — оставив полузащипанный пирог, недочищенный ботинок, не до конца разорванную на подтирку для отхожего места газету — и скорее, кто бегом, а кто быстрым шагом, направились к надшахтному зданию, где в вечернем воздухе летали языки пламени, пепел и горячие частицы шлака. Шахтеры, которые выбрались наверх, пытались объяснить, где произошла авария и где могут быть застрявшие в ловушке другие шахтеры. Олив стояла, держа за

руку Виолетту, потому что Виолетта цеплялась за нее. Олив предпочла бы, чтобы ее не трогали, предпочла бы не быть, на время перестать существовать. Не знать было невыносимо. Он жив, он поднимется наверх, они бросятся к нему и зарыдают. Он мертв. Наверх поднимут его тело. Или не поднимут: оно сгорело или погребено слишком глубоко в коварном угольном болоте.

Его так и не нашли. И никого из тех, кто с ним работал. Ожидание было настолько долгим и мучительным, насколько это вообще мыслимо.

Один раз Олив проснулась среди ночи с мыслью о том, что Питер и люди из его звена все еще живы — там, внизу, в кармане воздуха за крепостными стенами из обломков, и ждут спасения, которое никогда не прибудет.

Эти два сюжета были сложены в промасленный, перевязанный веревками сверток. Узлы залиты сургучом. Женщина шла по пустоши, продуваемой ветром, с запечатанным, безмятежным свертком, в котором скрывалось немыслимое, оскорбляющее нравственность.

Когда Люси слегла и начала умирать вместе с новорожденным младенцем, который кротко отказывался брать грудь, Олив стояла у постели матери, недвижная, словно каменное изваяние.

Виолетта оказалась кудесницей. Она варила говяжий бульон, предварительно выпросив мяса у соседей, она по ложечке вливала его в потрескавшиеся губы Люси, вытирала ей лицо, гладила руки, наклонялась над ней и оттягивала красное веко, заглядывая под него, в глубь глаза. Ада, сестра Люси, приехала из Бэтли и умоляла Люси не умирать. Тетя Ада и Виолетта относились к Олив недружелюбно. «Шевели култышками!» — кричала Ада. Виолетта скулила и назойливо трясла умирающую. Никто не понимал, что такое с Олив, кроме самой Люси, у которой все реже хватало сил вернуться в сознание. «Она слишком много вынесла, она больше не может». Но Люси обнаружила, что не в силах поднять руку и поманить Олив к себе, не может открыть рот, чтобы вытолкнуть из себя слова. Последним настоящим чувством Люси было беспокойство из-за каменного взгляда Олив. «Не ожесточайся так», — хотела сказать Люси, но не смогла. «Ну раз не могу, так не могу», — сказала она себе и закрыла глаза навеки.

Джордж Мейблторп, муж тети Ады, пять лет назад пережил несчастный случай в шахте. Обвалом ему раздавило бедро. Он сидел дома и чинил разные вещи: сапоги, башмаки, разбитый фарфор

— невидимыми заклепками. У тети и дяди был сын Джо, который работал в шахте и отдавал родителям часть заработка, но все равно достаток в семье был шатким, как и ее общественное положение. Ада была портнихой. Она шила робы шахтерам из толстой ткани, униформы для прислуги, юбки, нижние юбки. Она посадила Виолетту, которая ловко управлялась с иголкой, помогать и учиться ремеслу. Олив хорошо давалось ученье, а шитье не очень. Еще до всего этого она заработала стипендию на учебу в старших классах, и Питер ею гордился. Тетя Ада разрешала ей ходить в школу еще год. Вернувшись домой после школы, Олив принималась за работу. Она отскребала дочиста деревянное сиденье в отхожем месте. Она вставала на колени на вонючий цементный пол и терла его. Она чистила ботинки и картошку, она полировала ножи, она мыла и скребла порог у входной двери. Тетя Ада решила, что чистых фартуков и приличных башмаков не напасешься, и забрала Олив из школы. Тетя не любила Олив и решила послать ее в люди. Тогда Олив не нужно будет кормить — даже наоборот, она сама будет присылать тетке деньги.

Сначала Олив отдали в горничные к владельцу овощной лавочки в Донкастере. Олив наде-

ла душную черную форму, тяжелый фартук и некрасивый накрахмаленный чепец, похожий на шлем. Ноги у нее были слишком тонки для толстых черных хлопковых чулок, которые собирались складками на лодыжках. Олив была отвратительна самой себе, а хозяину казалось, что от нее волнами исходит ненависть. Олив отослали обратно к тете Аде и сказали, что она не справляется с работой. Тетя Ада уложила Олив на свои костлявые колени и отлупила щеткой для волос.

Посоветовавшись с пастором, тетка снова отправила племянницу работать — на сей раз «прислугой за все» у двух незамужних учительниц в Конисборо. Барышни Бин владели полным шкафом книг и были вежливы. Олив должна была притворяться двумя служанками сразу: кухаркой в чепце и толстом фартуке, оборачивающем ее целиком, и горничной в крахмальной наколке и фартучке с оборочками, приносившей чай. Олив ненавидела эти одежды. Глядясь в зеркало по утрам, она воображала себя дамой в бальном платье и в чем-то вроде короны. Она расцветала и сама это видела.

Если бы Олив была приятнее в обращении, или покорнее, или жальче, барышни Бин узнали

бы, что ее заставили отказаться от стипендии, и, может быть, даже стали бы давать ей книги, посылать на лекции или в вечернюю школу. Но Олив по-прежнему ходила с озлобленным, высокомерным видом, а хозяйки по-прежнему робко критиковали ее глажку, штопку, полировку серебра. Однажды Олив навлекла мучительную неловкость на всех троих: она вошла в комнату, когда барышни завтракали, и сказала, что вынуждена взять расчет, так как умирает.

— От чего? — спросила мисс Эстер Бин.

— От истечения кровей, — ответила Олив цитатой из Библии. Спазмы первых месячных скручивали Олив в три погибели, текла кровь, а Олив была в полном неведении. У барышень Бин недостало духу объяснить ей, в чем дело. Они послали за соседской кухаркой, которая грубо, без нежности объяснила Олив, что с ней происходит, и показала, как резать старые простыни на полосы, а потом стирать.

Олив сочиняла сказки для самой себя. В детстве она и для Виолетты сочиняла сказки.

— Жила-была зеленая корова, которая не желала идти к себе в хлев, как бы ее ни колотили. Она не шла, потому что не хотела. Тогда позвали собак, чтоб они на нее лаяли, и принесли веревки,

чтоб ее тянуть, и… и… и… и ей в хлев положили сена, чтоб она пошла, но она не хотела.

— Олив! А почему она не хотела?

— Не знаю, — отвечала Олив. Она ясно представляла себе затруднительное положение коровы, но не видела никакого выхода.

Работая прислугой, Олив жила в двух сказках. Одна — вполне обыкновенная. Жила-была благородная дама, которую украли из ее настоящего дома, или она была вынуждена оттуда убежать. Она пряталась, переодетая, под видом кухонной прислуги. Ведь все эти героини до своего преображения, бального платья и туфелек с драгоценными камнями как раз пепел просеивали, сидели у очага, чумазые, плача от дыма. Нужен был принц. Олив искала принца, как девушки гадают — ожидая, что суженый выплывет из темноты за освещенным свечой лицом в зеркале. Олив знала, что будет очень красивой, хоть что-то у нее было, гадкий утенок должен был преобразиться в лебедя, девчонка-золушка — в невесту. Но тень никак не обретала плоти. Все слова были на месте. Красивый, темноволосый, шальной, необузданный (Олив читала дамские романы). Но принц не воплощался. Не обретал лица. И хуже того, он ничего не делал, так что

сюжета не получалось. Оставалось только многозначительно просеивать пепел. Один раз Олив нашла в пепле настоящую маленькую брошку с драгоценными камнями — горячую, золотую, с крохотными голубыми камушками и эмалевыми листочками. Олив забрала ее и спрятала за кирпичом в стене заднего двора. Это был талисман. Но волшебство, которое он должен был совершить, еще не созрело.

Другая история удалась лучше с точки зрения сюжета. Однажды (один-единственный раз) Питер и Люси возили детей на поезде к морю, в Файли, где сняли жилье на неделю. Там дети играли и плескались в огромном песчаном заливе. В Файли было *чисто.* Море было огромное. Нужно было спуститься по крутому холму, пройти через туннель под эспланадой и дорогой, и вот уже выходишь на сдуваемый ветром мягкий песок, за которым лежит жесткий, мокрый песок с волнистой поверхностью и лужицами соленой воды. Олив начала рассказывать себе историю про мальчика, Питера Пайпера, заточенного в сиротский приют. Питер был один-одинешенек на всем белом свете, ему некого было любить, и его никто не любил. И вот у него родился план, который он выполнил скрупулезно и терпеливо:

сбежать ночью и идти пешком к морю, подальше от сажи, грязной каши под ногами и запаха серы. Этот сюжет был настолько же точен, насколько другой — шаток и расплывчат. Все детали нужно было придумать и отработать — какая лестница в приюте, какая задвижка на двери изнутри, какие замки на двери снаружи, как украсть ключ, который их откроет, как достать масло, которым нужно смазать замки, чтобы не скрипели.

Шаг за шагом, буквально по мере того как Олив выполняла работу по дому, Питер Пайпер продвигался к свободе — по нескончаемым городским улицам с нищими и развозчиками угля, по загородной дороге, через деревни (не настоящие, потому что Олив не знала названия ни одной настоящей деревни, а деревни с зелеными лужайками, стаями уток, лавчонками с колокольчиками на дверях). Питер натер себе мозоли, и Олив хромала по кухне барышень Бин. Питер проголодался, сошел с дороги, и добрый пастух дал ему сэндвич… нет, сыру, и яблоко… восхитительно вкусного крошащегося сыру и жесткое сладкое яблоко… у Олив потекли слюнки.

Конечно, за Питером гнались… начальство из приюта, мастер, которому Питера хотели отдать в ученье… Питер лежал в канаве и видел сапоги

пробегающих мимо преследователей…

Но сбежать из дому предложила все же Виолетта — как-то на Рождество, когда Олив приехала ненадолго погостить к тете Аде.

Виолетта была вся в синяках, но Олив их едва заметила. Все ее мысли были о Питере Пайпере и о дороге к морю. Она спросила сестру, куда же им убежать.

— В Лондон, я думаю, — ответила Виолетта. — Там можно найти какую-нибудь работу. Я скопила на один билет на поезд. На второй нам придется украсть у нее.

Так они — в блузках, юбках и шляпках работы Виолетты — и оказались на лекциях Хамфри Уэллвуда по английской литературе. Виолетта устроилась на хорошее место к портнихе и Олив тоже устроила на работу, на простое шитье, ничего особенно сложного.

Виолетта решила, что это хорошее место — как она мысленно говорила себе, ступенька, с которой можно шагнуть вверх.

Олив обрела Хамфри, а еще — ритмы Шекспира и Свифта, Милтона и Бэньяна, и поняла, что именно их искала всю жизнь, сама того не зная.

Сестры нашли свою ступеньку и шагнули

вверх.

Пока Олив сочиняла сказки, Виолетта пасла младших детей, расположившись на траве. Был жаркий солнечный день. Слуги заканчивали послепраздничную уборку. Виолетта устроилась в провисающем плетеном кресле, поставив рядом корзинку с рукоделием. Она штопала чулки, аккуратно натягивая их на деревянный грибок, раскрашенный под мухомор, красный с белыми точками. Филлис, Гедда и Флориан «изучали природу» — разглядывали собранную коллекцию цветов и листьев. Том, Дороти, Гризельда и Чарльз валялись рядом на травке, читая одним глазом, слушая одним ухом, изредка лениво переговариваясь. Том делал вид, что учит латынь. Робин дремал в колясочке под тентом. В плодовом саду закуковала кукушка. Виолетта велела детям послушать.

— В июне кукушка колоском подавилась, — сказала она.

— Ку! — кратко воскликнула кукушка.

Виолетта принялась рассказывать детям про кукушек.

— Они не вьют гнезд. Пользуются чужими. Они тайно подкладывают свои яйца к чужим, в гнезда других птиц. Мать-кукушка очень старается, ко-

гда выбирает приемную мать. Она откладывает яйца, когда птица, чье гнездо, отлучается поесть. А приемная мать — пеночка, к примеру, или овсянка — кормит чужого птенца, как своего, даже когда он ее перерастает, даже когда он уже не помещается в гнезде… Он кричит, требует еды, и она отзывается…

— А что же ее родные дети? — спросила Гедда.

— Может, они вылетают из гнезда раньше, — туманно сказала Виолетта.

— Он их выталкивает, — вмешалась Дороти. — И ты это прекрасно знаешь. Мне показывал Барнет, лесник. Кукушонок выталкивает яйца, шлеп — и вдребезги, и птенцов выталкивает тоже. Он к ним подбирается ближе и ближе, подлезает под них и выпихивает. Я видела их на земле. А родители продолжают кормить кукушонка. Как они не знают, что это не их птенец?

— Родители много чего не знают, даже удивительно, — ответила Виолетта. — И удивительно, сколько тварей не знают своих настоящих родителей. Совсем как гадкий утенок у Андерсена, который на самом деле лебедь. Мать-природа все так устроила, чтобы кукушонок выжил и улетел с другими кукушками в Африку. Она об этом заботится.

— А о пеночках не заботится, — сказала Дороти. — Будь я пеночкой, я бы плюнула на этого кукушонка.

— Не плюнула бы, — отрезала Виолетта. — Ты бы делала то, что тебе природой положено, а это значит — кормить того, кто просит есть. Бывает не так уж просто разобраться, кто твои настоящие дети.

— Ты о чем? — спросила Дороти, садясь.

— Ни о чем, — сдала назад Виолетта. Потом едва слышно сказала, обращаясь к грибку для штопки: — Кто настоящая мать? Та, которая кормит ребенка, и моет, и знает все его повадки, или та, которая подкидывает его в чужое гнездо — пускай справляется, как хочет…

Дороти словно слышала мысли Виолетты, как до того — мысли Филипа. Виолетта не впервые заговаривала на эту тему. Дороти обратилась за помощью к науке:

— Это просто инстинкты. У кукушек — свои, у пеночек — свои.

— Это — доброта, заложенная в природе, — сказала Виолетта. И яростно вонзила иголку в носок.

Чарльз тихо и отчетливо произнес:

— Многие люди на самом деле вовсе не дети сво-

их родителей и даже не знают, кто их настоящие родители, все время кто-нибудь рассказывает про такое…

— И нечего такое слушать, — Виолетта обрела прежний напор. — А людям не след такое рассказывать.

— У меня есть уши, что ж я могу поделать, — ответил Чарльз.

— Мыть их получше, — отрезала Виолетта.

Гедда прижала к себе куколок из башмака.

— У них у всех нет ни папы, ни мамы, только башмак. Они мои, я буду за ними смотреть.

В воздухе почему-то повисла неловкость. Том уткнулся в учебник латыни. Гризельда предложила Дороти пойти прогуляться по лесу. Чарльз сказал, что пойдет с ними, и Том тоже.

— Ку! — сказала кукушка в лесу. — Ку… ку… ку…

— Вот ведь странно, — сказала Дороти, — когда кукушонку пора лететь в Африку, он понимает, что он тоже кукушка, и летит со своими. Интересно, что он про себя думает, когда летит с ними. Он ведь себя не видит.

Они пошли в лес парами — два мальчика, а следом две девочки, все четверо — в поношенной «деревенской» одежде, за которой не требуется

особый уход, в которой можно лазить по деревьям и переходить вброд ручейки. Дети направлялись в лесной дом — секретное, потайное место, о котором мало кто знал и которое мало кто мог найти. Древесный дом был спрятан под сосной — нижние раскинутые шатром ветки служили ему крышей. Ветки были связаны веревками и бечевками, а щели между ними законопачены вереском и сухим папоротником. Для маскировки строители натыкали еще веток там и сям. В доме было две комнаты с крохотными окошками — подглядывать наружу. Можно было лежать на крыше дома, среди ветвей, а внутри были ложа из вереска и столики из деревянных ящиков. Том любил это место больше всего на свете. Здесь, полностью спрятанный от мира, он становился самим собой. Том считал древесное жилище своим, хотя всю архитектуру дома и прочность конструкции придумала и продумала Дороти. Дороти любила приносить сюда всякие штуки, изучать их: черепа мелких зверюшек, необычные растения. Еще Дороти любила забраться в древесный дом с Гризельдой и часами что-то увлеченно обсуждать. Во всяком случае, Том предполагал, что они там разговаривают, поскольку у него хватало такта не увязываться за ними. А за то,

что он оставлял их одних, они тоже давали ему подолгу бывать одному, и дом становился его тайным убежищем. Беда была с Филлис, которая вечно увязывалась за старшими, если видела, что они направляются в лес. Ее присутствие было нежелательно: во-первых, потому что она все время пыталась затеять «игру в домик», распределяя роли мамочек и папочек; во-вторых, потому что Дороти, Гризельда и Том видели в ней слабое место сплетенной ими сети молчания. Филлис могла донести, причем с удовольствием, поэтому ее приходилось одновременно подкупать и запугивать.

Чарльзу разрешали сюда приходить — горожанин по натуре, он не очень интересовался древесными домами, но выражал должное восхищение строительными талантами создателей дома. Том задумывался, понравится ли дом Филипу. Он решил, что, скорее всего, да, потому что Филип и сам прятался в тайнике. Но Филип уже уехал на болота вместе с Фладдами и Доббином. Том также обдумывал, не показать ли дом Джулиану. Но Джулиан мог и не понять, что в доме такого особенного. А командирские замашки Джулиана могли не понравиться Дороти. В общем, насчет него пока рано было решать.

Они сели на ложа из охапок вереска, покрытые одеялами, и Том раздал яблоки и тянучки из запаса, который хранился в коробке.

Дороти спросила Чарльза:

— Что ты имел в виду, когда говорил, что многие люди вовсе не дети своих родителей?

Гризельда сказала: ее подружку Клементину Бэрт вечно дразнят за то, что она не похожа на отца, а еще люди часто замечают, что она очень похожа на леди Агнес Блофельд, и ее мать сказала, что это естественно, потому что у них есть общий предок. Но ее брат Мартин подслушал разговор родителей и сказал Клементине: он уверен, что на самом деле ее отец — лорд Блофельд. Чарльз начал делиться подробностями. Когда в загородных усадьбах бывают большие приемы и приезжают гости, лорда Блофельда и маму Клементины всегда селят в смежные комнаты. Это все знают. Дороти спросила, очень ли расстроилась Клементина. Гризельда сказала, что не знает. Она не захотела об этом разговаривать. Дороти отвлеклась на мысль о том, кто лучшая подруга Гризельды — Клементина или сама Дороти. Гризельда добавила: Клементина утверждает, что она точно не одна такая. Чарльз сказал, что Агнес Блофельд все это сильно не по

нутру, потому что Клементина красивей ее и приятней в обращении. Похожа на нее, но гораздо привлекательнее. Том не любил разговоров о том, кто привлекательный, а кто нет. Он задумчиво произнес:

— Если человек вдруг узнал, что его родители — не его родители, он остается тем же человеком или становится другим?

— Думаю, что другим, — ответила Гризельда. Дороти сказала, что это все то же, о чем говорила тетя Виолетта: настоящая мать — та, которая кормит ребенка, заботится о нем и все такое. Она всегда знала: тетя считает себя в каком-то смысле их настоящей матерью. Дороти понимала, почему, но не считала и не хотела считать себя дочерью Виолетты.

Гризельда сказала: Клементина слышала, как родители кричали друг на друга и мать плакала.

Том спросил: разве не все родители кричат друг на друга? Дороти вспомнила, как они с Томом однажды притаились на лестничной площадке, подслушивая жестокую ссору родителей. «Я всегда заботилась о твоих детях!» — закричала мать, и отец ответил: «Да и я могу сказать то же самое!» Том и Дороти знали, что родители, когда злятся, говорят про детей «твои дети». Детям всегда было

неприятно слушать такие слова: они не укладывались в голове, они словно превращали детей во что-то неживое, в кость, из-за которой грызутся две собаки.

Иногда они играли в вопрос: «Кого бы ты выбрал в родители, если бы у тебя не было настоящих папы и мамы?»

Клементина вряд ли захотела бы в такое играть.

Том думал о своей жизни, о лесах, о саде, о книгах, о человеческих голосах, о присутствии семьи в доме и вне дома, о восхитительном переходе от удобства к свободе и обратно.

— Мы — счастливая семья, — сказал он нежно и туманно. — Кто-нибудь хочет карамельку? Мятную? А розовую шипучку?

Чарльз спросил Дороти: правда ли, что она хочет стать врачом, или она просто так сказала.

— Я сначала просто так сказала, а потом поняла, что это правда.

— Мне тоже хочется чего-нибудь такого. Правда, я боюсь не выдержать, когда люди болеют, кровь и грязь и все такое, не говоря уж о том, что придется их резать. Но, я думаю, человек должен стараться что-то делать, чтобы стало лучше. Твой папа это понимает. А мой — нет.

Кустарник

Жила-была одна женщина. Ее муж отправился в дальнее путешествие и не вернулся, и уже давно не подавал о себе никаких вестей. Поэтому семья впала в бедность, хоть и жила в красивом загородном доме с парком и садом. Матери в сказках бывают разные. Одни — добрые, преданные, самоотверженные, изобретательные, с бесконечным запасом терпения и любви. Другие — они часто не матери, а мачехи — недобрые, заносчивые, любят одних детей (своих собственных) больше, чем других, а с другими обращаются как с прислугой, не позволяют им ни играть, ни мечтать. Если уж вам нужна определенность, то женщина в этой сказке — добрая мать, а не злая мачеха. Но она не идеальна — живые люди вообще не бывают идеальными. У нее так много детей, что ее иногда дразнят Матушкой Гусыней или Старухой в Башмаке. Она делает для детей все, что может. Штопает их одежду, разрезает простыни вдоль и сшивает неистертыми сторонами внутрь, готовит питательную еду из недорогих — да что уж там, из откровенно дешевых — продуктов, долго и терпеливо тушит их, добавляет для вкуса зелень со своего огорода. Мать заботится

о том, чтобы у детей, которые ходят в школу, были непромокаемые ботинки. Она экономит на всем и откладывает гроши, чтобы каждый ребенок на Рождество и на свой день рождения получал хоть какой-нибудь подарок. Она сидит ночами, выкраивая хорошенькую блузочку из старого платья или мягкую игрушку из собственной старой жакетки, до того истертой, что в ней уже не выйти на люди. Да и выходить некуда. У матери нет ни времени на хождение по гостям, ни друзей, к которым можно было бы пойти.

Почти все дети ее слушались и помогали ей. У каждого была своя работа по дому: полировать серебряные ложки, ходить за молоком, поливать грядки с зеленью. Малютки бегали по кухне и по двору, как стайка гусят, и, конечно, часто оказывались на пути или подворачивались под ноги. Но один ребенок — не самый маленький и не самый большой, а, наверное, самый старший из малышей, которые еще не ходят в школу, — вечно бедокурил. Его имя было Перкин, но никто не звал его по имени. Называли его Свином. Сначала по-доброму. Когда в доме появился новый братик, одна из старших сестричек, заглядывая в колыбельку, заметила, что он похож на маленького розовенького поросеночка. Все засмеялись, и

мальчика любовно называли розовеньким поросеночком, пока он был пухленьким младенцем, а когда вырос и начал бегать, стали звать просто Поросенком, а потом Свином.

Думаю, у каждого найдется знакомый с прозвищем, которое неудобно произносить вслух — о котором лучше забыть, а уж лучше бы его и не придумывали никогда. Пока Свин был маленький, он воспринимал свою кличку как должное, и у него даже была любимая игрушка — поросенок из розовой фланели, с которым он никогда не расставался. Мальчик радовался свиньям, встреченным на прогулках, и любил заходить на скотные дворы. Но с возрастом он стал замечать, что люди используют его кличку с упреком или в насмешку. «Что за поросенок», — говорили они, когда он слишком быстро ел. «Вот поросенок», — говорили они, когда он пачкался, а это с ним частенько бывало, потому что он любил возиться в земле, откапывать корни, разглядывать земляных червей. Поэтому в конце концов он решил: его имя значит, что он никому не нравится. Может быть даже — что его никто не любит.

Я не говорю, что он стал непослушным из-за прозвища. Непослушные мальчики рождаются каждую секунду, и все матери знают, что непо-

слушание — все равно что кудрявые волосы или голубые глаза: оно бывает от природы. На самом деле Свин был хорошенький мальчик, с золотыми кудряшками и голубыми глазами, сверкающими озорством. Но он был не простой озорник, а чрезвычайно изобретательный.

Он приносил в дом что попало и засовывал в самые неожиданные места. Он устроил червякам гнездо в бочонке с мукой — черви задохнулись, а муку пришлось выбросить. Он скормил целый рулет с маком птичкам, прилетевшим во двор, и дети остались без сладкого к чаю. Он залез в банки на шкафу и смешал чечевицу с чаем, горчицу с сахаром, перец с изюмом. «Вот чего я состряпал», — сказал он и чрезвычайно жалостно вопил, когда Матушка Гусыня шлепала его, чтобы проучить. Урок не пошел ему впрок. Он прибежал из сада весь в грязи, уютно устроился в корзине с чистым бельем и заснул — невинный и улыбающийся, как дети из сказки, что блуждали в лесу. Все чистые простыни, полотенца, рубашки пришлось заново стирать, катать, сушить и гладить. А потом он побежал очертя голову с банкой воды, в которой отмывались кисти для рисования, и упал прямо на выстиранное заново белье, и все белье пропиталось грязной водой с

красками. Он прятал вещи — чайные ложки в мышиных норах, пуговицы в стоке раковины, ножницы в банках с солеными огурцами — а потом забывал, где спрятал. Долготерпеливая мать — а она была долготерпелива — говорила, что жить с ним все равно что с чертенком или проказливым домовым. Однажды, когда он изрезал свой новый воротничок, чтобы вышло кружево, мать назвала его подменышем. «Что это такое?» — спросил Свин. Но не получил ответа. Да к тому же он все время задавал вопросы. Что такое ветер, и почему этот жук дохлый, а этот корчится и дергает лапками, и кто растит траву, и что за человечки живут под корнями кустов, и почему свиньи роются носом в земле, и кто стучит по ночам в окно спальни, и зачем люди спят, когда могли бы бегать? Но ответов он не получал, потому что у матери не было сил, и еще потому, что обычно он задавал вопросы пронзительным противным голосом, перебивая всех, кто уже говорил о чем-нибудь гораздо более разумном — например, о школьных уроках или о дырке в чулке.

Он любил собирать вещи. У него был мешочек с сушеными насекомыми, и другой с особенными палочками, и мешочек стеклянных шариков, и

мешочек его собственных камушков — это была его любимая коллекция. Он знал их все — каждый выступ, гладкие поверхности и шероховатые. Больше всего он любил кусочек белого известняка с дыркой, которая сделалась сама собой. Свин нашел этот камень под корнями в кустарнике. Он смотрел через дырку и говорил, что видит невидимые вещи. Говорил, что видит крохотных женщин, которые бегают по сушке для посуды. Говорил, что волосы матери полны пауков, сплетающих длинные пряди, чтобы соткать ей покрывало. Говорил, что видит мышку, которая сидит с расставленными лапками, держа пасму золотой нити, чтобы другая мышь могла смотать золотой клубок.

Как-то раз Матушка Гусыня особенно устала и пала духом, потому что ей пришло письмо, и она подумала, что это весточка от мужа, а это оказался забытый ею счет за уголь. Матушка Гусыня замешивала тесто, чтоб испечь детям на ужин большой пирог, — для начинки она взяла чуточку мяса и добавила побольше овощей и зелени. Вышло так, что из детей в кухне был только Свин — все остальные ушли в школу, или с каким-нибудь поручением, или играть с друзьями, или спать (самые младшие). Свин сидел у

решетки, ограждавшей чугунную плиту, и играл с камушками и стеклянными шариками. Он вел себя очень тихо, и Матушка Гусыня заподозрила нехорошее. Она знала, что, если ребенок тихо играет, этому нужно только радоваться, но она была расстроена и, конечно, имела на это полное право. Она продавливала сквозь пальцы муку, смешанную с жиром, и тут послышался тихий стук. Она спросила, не оборачиваясь:

— Поросенок, что ты делаешь?

— Я играю в шарики, — ответил Свин. — Армия шариков сражается с армией камушков. Шарики быстрее, а камушки упорнее.

— Смотри, чтобы они не раскатились по полу, — сказала Матушка Гусыня. — Это может быть опасно.

Свин не ответил. Мать всегда говорила, дескать, то или се опасно, а с ним никогда ничего не случалось. Когда она снова взялась за муку, он послал вперед отряд шариков-разведчиков, маленьких, зеленых и розовых, которые называл малышами. Они замечательно рассыпались вокруг очага. Камушкам пришлось пуститься за ними в погоню. Они выстроились ровным прямоугольником, а потом — щелк, щелк — налетели на малышей, и воцарился хаос. Свин выслал на

подмогу малышам эскадрон бурых шариков, а камушки дали им яростный отпор.

Матушка Гусыня снова повернулась к нему:

— Я же сказала, не катай шарики по полу.

Свин от неожиданности вздрогнул и уронил весь мешок стеклянных шариков, которые тут же раскатились по всей кухне. Он быстро пополз на четвереньках, чтобы спрятаться за ящик для угля, ибо понял, что сейчас его отшлепают, и наступил коленкой на шарик, а это было очень больно, и он подумал, что, пожалуй, это и вправду отчасти опасно.

Матушка Гусыня бросилась через кухню, чтобы схватить Свина за ухо и отшлепать. Но наступила на катящийся отряд камушков и шариков и с грохотом упала, по дороге смахнув со стола и миску с тестом. Волосы у Матушки Гусыни расплелись, она ударилась головой о ножку стола, рассадила щеку и подбила глаз. Она сердито уставилась на Свина — в волосах у нее было полно муки, на щеке кровь, и она прямо-таки пронзала Свина сердитым взглядом. Свин решил, что мать очень смешно выглядит. У него не было другого выхода — он мог, конечно, решить, что она очень страшная (она и вправду была немножко похожа на злую ведьму), но не захотел. Он засмеялся.

— С меня хватит, — сказала Матушка Гусыня. Она принялась собирать камушки и шарики и швырять их в мусорное ведро.

— Не надо! — закричал Свин, и Матушка Гусыня ответила:

— Ты мне надоел. Отправляйся в кустарник и не приходи больше.

Свину показалось, что вся кухня завертелась вокруг него, как струйки серого дымного стекла внутри прозрачных больших шариков. Он схватил свой любимый камень с дыркой — больше ничего ему спасти не удалось, — кое-как поднялся на ноги и выбежал из кухни. Он постарался закрыть за собой дверь, насколько мог — до задвижки он еще не доставал. Он постоял несколько минут во дворе, ожидая, что его позовут, но его не позвали. Тогда он потрусил вдоль стены дома, через сад и в кустарник. Это был большой кустарник, сильно запущенный, и в нем было много всяких вещей, которых в приличном саду быть не должно, — например, заросли одичавшей ежевики, крапива, блуждающие плети брионии, потому что Матушка Гусыня больше не могла платить садовнику. Для такого малыша, как Свин, кустарник был размером с целый лес. Ну или, по крайней мере, чтоб не сказать лишнего, с

небольшую густую рощу. Там были тропинки, которые сплетались в лабиринт, и разные растения выползали на эти тропинки, чтобы разрастись на них, закрыть их и сделать так, чтоб их вообще больше не было — щитолистники и барвинки, сами по себе хорошенькие, но дичающие без пригляда садовника, и некрасивые ползучие растения с колючими цеплючими репьями.

Свин обычно не заходил далеко в кустарник. Червей и камушки он добывал с клумбы перед домом. Но он решил проучить Матушку Гусыню и бодро пошел вперед.

Он заходил все дальше в гущу кустов и деревьев и все дальше от дома, и ему показалось, что кусты и поросль становятся выше, а сам он — меньше. Он замедлил шаг, уже не зная точно, где находится, потому что кустарник был посажен в виде лабиринта, а Свин был слишком мал ростом, чтобы увидеть лабиринт сверху. Может быть, Свин шел по кругу и вот-вот должен был прийти к началу самой первой дорожки, на которую ступил, — а может быть, он все ближе подходил к тайному центру кустарника. День уже клонился к вечеру, и длинные тени листьев ложились на другие листья и на посыпанную гравием дорожку, тень на тень, как серая паутина на зеленом. В

то же время все, что было в кустарнике, казалось плотнее, зеленые и бурые цвета растений — сочнее. Свин остановился — поглядеть на остролист. Конечно, любой остролист — живой, но Свину показалось, что этот остролист слишком полон жизни, какой-то совсем другой жизни. Казалось, блестящие листья вот-вот засветятся зеленым светом, а ягоды казались краснее, круглее и ярче любых ягод, какие он видал раньше. И в то же время они были опутаны густой сетью почти осязаемых теней. «Я не боюсь, — сказал себе Свин, — я не боюсь». Конечно, это значило, что он боится. Он крепче сжал белый камушек, словно талисман. И увидел стайку поганок с шелковистыми бежевыми шляпками и роскошными оборками очень бледного телесного цвета вокруг влажных жемчужных ножек. У Свина мелькнуло странное желание: не просто любоваться ягодой остролиста или поганкой, а самому стать этой ягодой или грибом. Он пошел еще медленней — торопиться было некуда, ведь ему велели никогда не возвращаться, — и почувствовал, что время вокруг него остановилось совсем.

Он дошел до крохотной прогалины, где стояла крохотная деревянная скамейка. Она была покрыта ярко-зеленым мхом. Свин сел, даже не

подумав, что запачкает ноги, носки и брюки. Вдруг все стихло. До того в подлеске раздавались разные звуки: чириканье птички (словно два камушка бьются друг о друга), шорох невидимых ног в перепрелых листьях. А теперь воцарилась тишина. Свин поднес камушек к глазу и посмотрел в дырку на путаницу ежевики и папоротника. На папоротнике сидела крохотная женщина, орехово-коричневого цвета: с коричневой кожей и коричневыми волосами под коричневой шляпой. Из-под кустистых бровей выглядывали пронзительные карие глазки. Женщина была ни молодая, ни старая. Она куталась в коричневый плащ с прожилками, наподобие древесного листа. Она что-то собирала в маленькую, аккуратненькую корзиночку — Свин не мог разглядеть, что именно, потому что оно было совсем крохотное. Он сидел совершенно неподвижно, молчал и глядел сквозь камушек. Еще через пару мгновений женщина закрыла корзинку, слезла по вайям папоротника, на котором сидела, и пошла прочь по тропинке. Свин смотрел ей вслед, пока она не дошла до кривого корня терновника: она нырнула под корень и будто провалилась сквозь землю.

Свин встал и пошел за ней. Он встал на колени на тропинке — на колени, запачканные грязью

и зеленью, что так расстроило бы Матушку Гусыню, и заглянул под корень. Там, на подстилке из листьев, перегнивших до состояния скелетов, лежало несколько тонких белых косточек от какого-то давно истлевшего птенца-слетка. Никакой женщины под корнями не было. Правда, под деревом уходила вглубь маленькая норка вроде мышиной. Свин заглянул туда и ничего не увидел, кроме закручивающейся глиняной спирали и теней. Он поднес к глазу камушек, а глаз к норе и вгляделся.

Там был роскошный чертог. В нем собралась пестрая толпа людей: одни — земляного коричневого цвета, как женщина, которую он выследил, другие — все золотые, в желтых, очень старомодных одеждах, третьи — все серебряные, с лунно-белыми волосами, в платьях, на которых танцевали огоньки. Все люди были очень заняты — одни готовили еду на ослепительно пылающих очагах, другие ткали на крохотных изящных станках, третьи играли с детьми, вовсе крошечными, размером с жуков или муравьев. Весь зал был коричневый, с коричневыми столами, коричневыми бархатными стульями и занавесями, но на столах стояли золотые и серебряные тарелки и кубки, и крохотные факелы горели в серебряных

подставках в углах и на полках.

— Ох! — воскликнул Свин. — Как бы мне хотелось туда попасть!

Раздалась резкая пронзительная трель, словно потревожили стаю скворцов, и все коричневые, золотые и серебряные лица обратились к нему, и все замерли.

Крохотный мужчина, один из золотых, в золотой куртке и остроконечных золотых башмаках, подошел к подножию туннеля, в который заглядывал Свин. На мужчине был роскошный плащ, сделанный из угольно-черных, небесно-голубых и лимонно-желтых перышек больших и малых синиц, и что-то вроде шляпы с высокой тульей, с лентой и пером.

— Можешь войти, — сказал он. — Добро пожаловать.

— Я слишком большой, — ответил Свин, который всегда был слишком мал для всех своих затей.

— Съешь папоротниково семя, — сказал человечек. — Ты знаешь, где его найти?

— Под пальчиками листьев, — ответил наблюдательный Свин. Он огляделся и увидел бледные папоротники, мерцающие в тени тернового куста. Свин был безрассуден. Он не спрашивал себя:

«А это не опасно?» или «А если получится, то как я потом вернусь?» Он взял папоротник, сколупнул семена с изнанки листьев, положил две или три штучки на язык и проглотил. Потом вернулся к туннелю под корнями, снова взял свои камушек и стал смотреть через дырку.

Очень трудно описать, что он чувствовал в следующие мгновения. Он смотрел на мышиную норку или червоточину, в которую не влезли бы и два его пухленьких пальчика, и в то же время балансировал на чем-то вроде низкой стены над широкой, глубокой, неровной лестницей с огромными ступенями, грубо вытесанной из земли и круто спускающейся вниз. Что гораздо хуже, его любимый камушек одновременно помещался в кулачке, как обычно, и тянул к земле, став тяжелей могильного камня.

— Мужайся, Пэкан, — сказал голос все того же человечка, но Свин его не видел, потому что туннель стал очень длинным и заполниться каким-то туманом.

— Меня зовут Перкин, — сказал Свин.

— У нас тебя будут звать Пэкан. Здесь все по-другому.

Был момент, когда Свину, или Пэкану, захотелось повернуть обратно. Но тело пронизал

туман, заполнявший дырку в земле, и Пэкан услышал, как голоса зовут его сквозь туман и как волшебный народец скачет и поет, словно крохотные музыкальные молоточки бьют по стеклу. И он поднял ногу, одновременно тяжелую, как свинец, и легкую, как перышко, и перетащил ее через край на ту сторону дыры. И как только он это сделал, глядь — он сам стал крохотным человечком, изящным и гибким, и легко побежал по лестнице — вниз и вниз, пока не достиг чертога. А добравшись туда, увидел золотого мужчину, который теперь был выше Пэкана ростом, и серебряную даму, и они церемонно приветствовали его, смеясь. Они сказали, что они — король и королева портунов, Гурон и Эйлса, и приветствовали его. И все присутствующие собрались вокруг и закружились в танце, сложном, как лабиринт, выкидывая коленца и оттягивая носок, и Свин обнаружил, что знает все па не хуже портунов и все песни может петь наравне с ними.

В верхнем мире сгущались сумерки, а Матушка Гусыня привела в порядок кухню, убрала шарики и поставила в духовку пирог, от которого уже пошел вкусный дух. Она промыла и смазала рану, расчесала и заплела волосы. Какое-то время она наслаждалась тишиной. В доме было тихо и

царил порядок. А потом Матушка Гусыня — все-таки она была матерью — забеспокоилась, не случилось ли чего со Свином. Поэтому она пошла к двери и позвала его. Сначала едва слышно в вечерней тишине, потом погромче, уже с ноткой раздражения и тревоги. Но все везде было тихо. Все привычные звуки куда-то подевались — не кричала сова, не хлопали крылья птиц, летящих на ночлег. Воздух был густ, как застывающее желе. Мать подумала, что Свин прячется, чтобы ей досадить, но, кажется, сама себе не поверила. Она взяла шаль и вышла, чтобы поискать его. К этому времени в кухню пришли все остальные дети, так что мать велела им присматривать друг за другом и искать Свина, и покричать ей, если он вернется.

И пошла быстрым шагом, и стала звать в сумерках, словно наседка — разбежавшихся цыплят. Она все ускоряла шаг, ходила все более широкими кругами, и молчание сгущалось вокруг ее голоса. Сначала она звала: «Свин! Поросенок!» Потом, чтобы выманить его лаской, «Поросеночек!». А потом эти слова вдруг показались ей очень грубыми, и она закричала: «Перкин, Перкин!» Но ответа не было, спустилась ночь, и огромная, серебряно-золотая, невидящая, сияющая луна

поднялась над кустарником, отбрасывая то одни, то другие тени. И матери пришлось вернуться в дом, потому что ей предстояло кормить и укладывать многочисленных детей, а было уже поздно, и Перкин-Свин не откликался.

Он не вернулся и на следующий день, и мать возобновила поиски. Она искала, рассеянно делала работу по дому и снова принималась искать, день за днем, и голос ее звучал все более устало и печально. Она прочесывала широкими кругами проселочные дороги и поля, где Свин никогда не бывал. Она обыскала вдоль и поперек весь кустарник, в котором снова шла обычная жизнь и раздавались обычные звуки — шуршали птицы и мыши, хрустели под ногами раковины улиток. Но однажды, много времени спустя, мать заметила любимый камушек Свина, с дыркой; полускрытый под корнем, он словно светился белым светом. Она подняла камушек и заплакала, и взглянула плачущим глазом через дырку.

Она бесцельно озиралась, ничего не ища, и вдруг увидела не то нору, не то туннель. Почему-то она решила, что нужно заглянуть туда через камушек — должно быть, вспомнила о мелких, так раздражавших ее причудах Свина, которые теперь казались ей умилительными. И она уви-

дела коричневый чертог и золотых, серебряных, коричневых человечков, которые деловито суетились, ткали и шили, полировали и варили, а одна компания сидела за столом, и среди них — Свин-Перкин, одетый в удобную куртку и лосины цвета ореха.

Мать хотела заговорить, но из горла вылетели только тихие рыдания.

Свин поднял голову. Что он увидел? Один огромный глаз в красных прожилках, до краев полнящийся соленой водой, окруженный длинными мокрыми волосинами, закрывающий выход из туннеля. Он уронил золотой кубок, из которого пил. Потом мать снова обрела голос и сама услышала, как говорит:

— Поросенок, Поросеночек мой, где же ты?

— Ты же видишь, — ответил он. — Я в гостях. У моих друзей, портунов. У меня теперь новое имя. Еще у меня есть работа, я выхожу наверх и присматриваю за всем, что растет, вместе с остальными...

Слезы туманили взор матери, и перед глазами все плыло и расходилось кругами. Она подумала, что он будто бы лишился возраста — он теперь ни мальчик, ни мужчина. Она сказала:

— Возвращайся домой.

Он ответил, что она велела ему не возвращаться.

— Ты же знаешь, что я на самом деле не это хотела сказать.

— Слова живут своей жизнью, — сказал король Гурон, приблизившись к подножию лестницы. — Иди домой, женщина. Пэкану тут хорошо.

Она пробормотала что-то про лопату — что придет и выкопает их, как муравьев.

Зал наполнился ужасным жужжанием, словно гнездо разозленных шершней. Король ответил:

— Ты ничего не добьешься. Он не вернется, а ты навлечешь несчастье на себя и всю семью.

Она испугалась. Она сидела, как ком глины, глядя через дырку в камне.

— Иди домой, — сказал Пэкан. — Я здесь, я недалеко. Я приду тебя навестить. В один прекрасный день. Скоро.

— Обещаешь?

— О да, — сказал он, и взял свой кубок, и выпил все, что в нем осталось.

Мать осторожно положила камушек с дыркой в карман фартука, чтобы больше не слышать жужжания и смеха. Он обещал прийти, и притом скоро.

Она поскорей выбежала из кустов, увидела

залитые солнцем окна дома, старшую дочь с самым младшим ребенком — они стояли в дверях и высматривали, не идет ли мать, — и вспомнила сказки о людях, которые отправились в гости к волшебному народцу и провели там семь лет, которые показались им за один день и одну ночь.

8

Они медленно ехали по Северному Даунсу, потом свернули на северо-восток по направлению к городку Рай и Ромнейскому болоту. Доббин с Филипом в двуколке, запряженной пони, то обгоняли обшарпанную повозку Серафиты и детей, то опять отставали. Они пересекли Нижний Уилд, обогнули восточное ответвление Даунса, проехали Биддендeн и Тентерден, через Ширлейскую пустошь выехали на дорогу, отделявшую Ромнейское болото от Уоллендского, и двинулись в сторону Лидда и Данджженесса. Сперва они ехали по плодородной местности, меж полей, где паслись коровы и красовался цветущий хмель, по извилистым дорогам, над которыми нависал густой зеленый полог ветвей и выступали в ряд цепкие узловатые корни. Доббин пытался заговорить с Филипом, а тот рассеянно глазел по сторонам. Когда они добрались до болот, воздух стал другим: более прохладным, как показалось Филипу, соленым, не таким неподвижным. Путь пересекало множество маленьких каналов, проток и ручейков. Деревья, выросшие под упорным порывистым ветром, были малорослы и тянулись

вбок. Филипу захотелось их нарисовать. Они были застывшими формами яростного движения. Какие-то твари свистели, стонали и квакали вокруг. Здесь не было сажи.

Они поехали на юг через Брензетт и Брукленд. Доббин вопреки ожиданиям не начал рассказывать про местные достопримечательности, но умолк и погрузился в раздумья. Он стал возиться с поводьями, и пони сердито встряхнулся. Они проехали по проселочной дороге, окаймленной высокими изгородями, с зеленой заросшей канавой, и свернули в ворота, на дорожку, ведущую к дому. За вязами стоял дом с елизаветинскими трубами. Повозка въехала во двор со службами, конюшнями, кучей навоза. До Филипа донесся запах огня. Он вытеснил запахи соленой воды и качаемых ветром трав. Дым был дровяной. Он тяжело висел в воздухе.

Доббин велел Филипу подержать пони, открыл задвижку на двери и вошел в помещение, которое снаружи выглядело как молочная или доильный сарай. Филип остался с пони. Из двери на другом конце двора вышел человек — коротенький, плотный, стремительный, он мотал головой, махал руками и кричал:

— Я же тебе ясно сказал: не смей возвращаться!

Пошел вон! Убирайся!

Филип стоял. До Фладда дошло, что Филип — не Доббин.

— А ты чего стоишь? Поставь пони в стойло и проваливай. Куда пошел этот?

Филип не знал, где стойло. Он не двигался и молчал. Фладд проклял его на средневековом английском языке и ушел в ту же дверь, куда раньше вошел Доббин. Во двор въехала повозка. Герант слез на землю и занялся лошадьми. По-видимому, слуг, которые могли бы ему помочь, тут не было. Из молочной вышел Фладд, почти волоча за собой Доббина и продолжая ругаться. У Фладда была грива густых, темных, стоящих почти вертикально волос, курчавая черная борода, мускулистые руки и плечи. Одет он был в халат заводского рабочего, плотные хлопковые брюки и рыбацкие сапоги. «Пошел, пошел», — повторял он, обращаясь к Доббину. Герант отвел упряжную лошадь в стойла и вернулся за пони, не сказав ни слова ни отцу, ни Филипу.

Имогена обратилась к отцу:

— Не сердись. Мы вернулись вовремя и поможем с обжигом. Мы все поможем.

— Нет, не поможете. Мы уже провели обжиг, мы с Уолли, пока вы там веселились. Полная

катастрофа. Полнейшая.

— Почему же ты нас не подождал? — спросила Имогена. Отец кратко объяснил, что хотел сам провести обжиг, в отсутствие навлекающего несчастье Доббина. Но Уолли задремал среди ночи, и огню не хватило дров, и погибла не только вся партия посуды, но и сама печь для обжига. И еще принесло возчика с телегой глины, и пришлось ему заплатить.

Серафита, статная и мрачная, встала посреди двора и спросила, есть ли в доме какая-нибудь еда. Фладд сказал, что нет — у него не было ни времени, ни желания ездить в Лидд, а Уолли нужен был в мастерской, а деньги понадобились, чтобы заплатить за глину, а он понятия не имел, когда они соизволят вернуться обратно. Она могла бы и сама сообразить.

Три женщины Фладд стояли безмятежными статуями, глядя друг на друга и на Доббина в ожидании помощи. Доббин нервно сказал, что может съездить на ферму за молоком и хлебом и чем-нибудь на ужин — сыром, беконом, овощами. Если никто не возражает. Но нужны деньги. Серафита порылась в сумочке, нашла несколько монет и вручила Доббину. Герант вышел из конюшни и сказал, что лошадь сегодня уже отработала свое

и что за продуктами придется идти пешком. Доббин спросил Филипа, не хочет ли тот прогуляться до фермы. Филип сказал, что, наверное, лучше поможет с печью. Фладд злобно оскалился.

— Это еще кто? — спросил он у Серафиты.

— Артур решил, что он сможет помогать тебе в мастерской.

— С меня хватит одного неуклюжего олуха.

— Он не неуклюжий, — сказал Доббин. — Я — да, я и не спорю. (Тут Фладд зарычал.) Я — да, а он — нет. Он работал в гончарных мастерских. Разбирается в обжиге. Он хочет работать с вами.

Серафита сказала, глядя в пространство, что если никто не будет помогать с работой, то и работы никакой не выйдет. Фладд ответил, что все равно и пускай все идет прахом. Филип сказал:

— Я видел кувшин, который вы сделали. В том доме, в «Жабьей просеке». Я по правде хочу с вами работать. Я смыслю в гончарном деле.

Он двинулся вперед, в мастерскую, которая располагалась в бывшей молочной. Он и раньше встречал гневливых людей и знал, что от них надо уйти, иначе они не смогут успокоиться, даже если это нужно им самим.

В гончарной мастерской царил хаос. На одном конце помещения стояла небольшая печь для

обжига. Сквозь распахнутые дверцы виднелись скособоченные полки и куча пепла с осколками взорвавшихся сосудов. На стеллажах вдоль одной стены сохли горшки, и плавающий в воздухе пепел и дресвяная пыль садились на них, чего не следовало бы допускать. Тут же стояли ведра с водой и раствором жидкой глины, не закрытые как следует. Разносортные миски с глазурью и кисти не равнялись аккуратными рядами, а опасно теснили друг друга. Посреди мастерской лежала куча осколков бисквитного фарфора — похоже, ее топтали ногами. Филип хорошенько подумал. Чужие орудия труда нельзя трогать без разрешения. Печь разгружать нельзя, потому что Фладду надо будет посмотреть, что и где пошло не так. Филип нашел за дверью метлу и принялся подметать мощенный плиткой пол. Он увидел жестяное корыто, где отмокали осколки для получения грога, и добавил туда еще несколько штук, чистых, подобранных с пола во время подметания. Бенедикт Фладд вошел следом за ним. Он мрачно стоял в дверях, глядя, как Филип подметает. Наконец сказал:

— Можешь помочь мне разгрузить печь. Это так или иначе придется сделать. Мне нужно найти пробники.

Партия для обжига состояла из глазированных кувшинов — в основном, как увидел Филип, зеленых и медовых оттенков. Все они обуглились, скорчились, покрылись рубцами, разлетелись на куски. Филип в полной тишине помогал Фладду укладывать куски в бельевую корзину и подметать мусор. Все содержимое печи обрушилось по направлению к центру. На самом верху Филип нашел совершенно целое блюдечко, потом еще одно. Они были еще теплые — примерно температуры тела. Он осторожно подул на них, чтобы убрать пепел. Одно блюдечко было такое же золотое и бирюзовое, как горшок в «Жабьей просеке», а другое — поразительно яркого красного цвета, вроде алой кошенили. Филип никогда в жизни не видал такого цвета. Оба блюдечка были раскрашены серыми клубящимися облаками, дымной паутиной, из-за которой, словно из-за покрывала, выглядывали крохотные создания. Это были бесенята с мерзкими нахальными мордами, очень живые. Филип нарушил молчание.

— Смотрите, вот эти маленькие целы. Глазурь хорошо легла.

Он протянул блюдечки гончару, который принялся вертеть их в руках, фальшиво напевая вполголоса. Филип отважился сказать, что нико-

гда не видал такого оттенка красного цвета.

— Мы пытаемся заново открыть *sang de boeuf.*[16] Тут я пытался получить изникский красный, но вышло ближе к sang de boeuf. Я даже не надеялся.

Филип сказал, что другая глазурь — сине-зелено-золотая — напоминает кувшин из «Жабьей просеки».

— То была еще одна проба наугад. Скорее неудачная. Ты работал с глазурью?

— Я работал на гончарной фабрике. Загружал капсели в верхушках бутылочных печей. Но моя мамка — расписчица. Она больная от свинца и пыли. Они там все болеют. Но она разбирается в красках, а я смотрел, как она работает.

— Хм, — сказал Бенедикт Фладд. — Хм.

Они продолжили уборку, теперь уже в относительно дружелюбном молчании.

Помона робко заглянула в дверь и сказала, что ужин готов, если они хотят ужинать. Горшечник вполне мирно ответил, что голоден, как волк, и Филип заметил, как расслабились шея и плечи у Помоны, заранее сжавшейся в ожидании отцовского гнева. То же Филип заметил и у всей семьи

---

[16] Примечания: 16
Бычья кровь *(фр.).*

— даже у Геранта. Семья сидела вокруг кухонного стола, где стояли суповые миски, покрытые медовой глазурью, по которой вились змеи цвета жженой умбры, большая тарелка с кусками разных сыров, хлеб и блюдо с яблоками. Фладд сел во главе стола и похлопал по соседнему стулу, указывая место для Филипа. Он склонил голову и начал быстро читать молитву по-латыни: *Gratias tibi agimus, omnipotens Deus, pro his et omnis donis tuis…*[17] Домочадцы склонили головы, и Филип тоже. Затем Имогена разлила из железной кастрюли исходящий паром овощной суп, и они приступили к еде. Все молчали. Все смотрели на Филипа: у того было смутное ощущение, что сейчас очень многое зависит от него, и что, может быть, ему это вовсе не по плечу.

Когда все поели, Фладд сказал, что подумывает оставить Филипа, чтобы тот помогал в мастерской. «О, это хорошо!» — воскликнул Доббин, чем навлек на себя новый град упреков в бесполезности. Он храбро ответил, что если у мистера Фладда будет надежный помощник в мастерской, то они смогут восстановить большую печь и…

— И спастись от голода, — сказал Фладд. — Пер-

---

[17] Примечания: 17

Благодарим Тебя, всемогущий Господь, за этот и все дары Твои… *(лат.).*

спективы туманные, надежды мало.

Это предсказание словно доставило ему радость.

Имогена сказала, что отец должен посмотреть рисунки Филипа, сделанные в Музее Южного Кенсингтона. Филип снова достал альбом, и все полюбовались гибкими драконами и шлемоносными кобольдами с Глостерского канделябра. Филип забрал альбом и карандаш и принялся рисовать. Фладд наблюдал за ним. Филип рисовал по памяти подводные силуэты с кувшина из «Жабьей просеки», головастикоподобных созданий, зависших в толще воды между вздымающимися прядями водорослей. Филип обнаружил, что неплохо запомнил кувшин. Он знал, что — может быть, впервые в жизни — намеренно козыряет своим талантом. Фладд должен знать, что Филип умеет видеть, воспроизводить пропорции, запоминать. Рука скользила по бумаге. Очертания рыб, плавающие эмбрионы замерцали и ожили. Бенедикт Фладд засмеялся. Он сказал, что и забыл, насколько хорош тот кувшин. Он сам удивляется, что согласился с ним расстаться, но та очаровательная дама его уговорила. Доббин мысленно спросил себя, а заплатили ли Фладду вообще, но этот мелкий упрек в былом

безрассудстве — в любом случае безнадежный — потонул в потоке облегчения и восторга оттого, что горшечник улыбался. Доббин уже давно жил в Пэрчейз-хаузе и знал, что настроение Фладда колеблется по одним и тем же — хоть и непредсказуемым — циклам, от ярости к дружелюбию, от мрачного пассивного отчаяния к нечеловеческим подвигам труда и изобретательности. Существуя меж двумя крайностями, горшечник умудрялся что-то делать, создавать новые сосуды и даже, при некоторой удаче, продавать их, отгоняя голодную смерть. Семья сидела вокруг стола при свете лампы и выглядела как семья — смеющийся отец, заботливо-внимательная мать, две прекрасные дочери, раздающие яблоки, даже Герант, который теперь любовался рисунками. Герант думал о том, что Филип может быть по-настоящему полезен и с ним стоит дружить. Геранту нужен был союзник, чтобы выбраться отсюда. На бесполезного Доббина Герант уже давно перестал надеяться. Но, может быть, с Филипом что-нибудь получится.

Комнат в Пэрчейз-хаузе было много. Пустых и ветшающих — больше, чем обитаемых. Голая, без ковра, каменная лестница с железными перилами вела на второй этаж; когда-то она,

должно быть, выглядела величественно, а сейчас мрачно свивалась кольцами, уходя в темноту. Имогена взяла свечу, повела Филипа наверх и показала ему ободранную комнатку с кроватью, умывальником, небольшим комодом и высоко расположенным окном — настолько высоко, что выглянуть в него не удавалось. Комната слегка походила на монашескую келью. Застланная постель была накрыта тканым покрывалом с вышитым букетом лилий. Имогена, кажется, не расположена была разговаривать с Филипом и даже стеснялась находиться с ним наедине. Она показала ему ватерклозет — на другом конце лестничной площадки, идти туда надо было мимо нескольких закрытых дверей. Затем она вышла, оставив Филипа с коробком спичек и горящей свечой.

Он лег, думая, что чего-то добился. Несвязный план привел его к горшечнику и, возможно, к работе. Почти проваливаясь в сон от усталости, Филип лежал и думал про Фладдов. Сравнивать их ему было почти не с кем — разве что с семьей из «Жабьей просеки». Виолетта уложила ему с собой ночную рубашку и выданную взаймы одежду, превратившуюся в подарок. В «Жабьей просеке» царила беготня, смех, объятия и чепуховые

стишки, и Филип не знал, что с этим делать, но как-то жалел, что не входит в круг допущенных к волшебству. А здесь все, неестественно затаившись, следили друг за другом — все, кроме самого горшечника, на которого временами находило. Филип узнал это состояние, потому что издалека видал темпераментных художников-гончаров, у которых было то же самое. Филип решил, что Герант ему не нравится, но точно пока не знал. Хотя у Геранта приятное лицо — наверно, он бы поговорил, если б было с кем. Артур Доббин хотел как лучше, но Филип, не задумываясь, принял на веру мнение Фладда и Геранта о бесполезности Доббина. Доббин тоже спал где-то в доме. Иногда, если ему удавалось особенно разозлить горшечника, Доббин уходил спать в дом при церкви, к Фрэнку Моллету. Серафита как-то сказала, что рада будет, если он останется ночевать, но это всегда было именно «ночевать», сколько бы Доббин тут ни прожил. Он был гостем, а не членом семьи — Филип понял это, не особенно вникая. Он также понял, что денег у Фладдов мало, а Доббин — единственный, кто хотя бы задумывается о том, как им прокормиться.

Среди ночи случилось нечто странное. Задвижка на двери поднялась, и дверь со скрипом

отворилась. Глаза Филипа привыкли к темноте, к тому же светили луна и звезды. Вошла женщина с распущенными по плечам, струящимися волосами. Она была белая, как костяной фарфор в лунном свете, и совершенно голая. Робко ступая босыми ногами, она прошла по ковру и встала у кровати. Это была Помона. У нее были новенькие, торчащие вверх грудки и — Филип это ясно разглядел — кустик мягких золотых волос на тайном месте. Рот девочки был расслаблен и неестественно спокоен. Она дышала как спящая, и Филип подумал, что она и правда спит, должно быть, — ходит во сне. Он не закрывал глаза и лежал совершенно неподвижно. У нее глаза были открытые, невидящие. Филип знал по чужим рассказам и по слухам, что лунатиков нельзя будить. Говорили, что их можно этим убить. Может быть, она сама уйдет. А пока что он в эстетическом наслаждении и нравственных муках разглядывал обнаженное тело, белую кожу. Девочка совершенно неожиданно наклонилась, подняла одеяло, закинула ногу на кровать и скользнула в постель рядом с Филипом, обняв его за шею удивительно плотной рукой, прижавшись к нему и свернувшись в клубочек. Ногу она перекинула ему через бедро. Он затаил дыхание. Он понятия

не имел, где она спит, так что не мог отвести или отнести ее назад в спальню.

Он ждал. Он почти задремал, так как приходилось лежать неподвижно, дыша неглубоко и ровно. Что, если она проснется? Но она не проснулась и наконец по прошествии некоторого времени спустила ноги с кровати и пошла механическими шажками к двери. Филип прошлепал следом и распахнул дверь, чтобы девочка не ушиблась. Но ему было стыдно и страшно.

9

Артур Доббин иногда оставался на ночь у Фрэнка Моллета, в доме священника в Паксти. Он это делал и когда Фладд угрожал ему физически, и когда они с Фрэнком ездили на велосипедах в Рай или Винчелси на какую-нибудь лекцию. Дом Фрэнка был живописный, старый, каменный, с толстыми стенами для защиты от ветра и непогоды, с маленькими окошечками и глубокими каминами. Он располагался при церкви, где Фрэнк был настоятелем. Церковь норманнского стиля была построена в XII веке — тогда здесь был залив, куда приходили огромные волны с Ла-Манша. Церковь была построена на земле, отвоеванной у моря и огражденной насыпными земляными дамбами. В XIII веке эту землю избивали, уродовали и заново перекраивали чудовищные шторма, и море нанесло в Ромнейскую гавань кучи ила, так что многие ранее оживленные порты оказались на суше, потеряв возможность заниматься торговлей. Фермеры вымерли от «черной смерти» в XIV веке, и ряды прихожан сильно поредели. Овцы на болотах были повсюду — они щипали густую траву,

блуждали по плоской равнине параллельно горизонту. Из окон с одной стороны дома виднелась стена церкви Св. Эдбурги с небольшим, заросшим травой кладбищем, мощеной дорожкой, «покойницкими воротами» и чахлыми тисовыми деревьями. С другой стороны дома, где у Фрэнка был кабинет и утренняя комната, открывался вид на болотистые равнины: из окон виднелись травы, овцы, кочки, качаемые ветром высокие камыши, зуйки и чайки. Именно в этой комнате Доббин провел счастливейшие минуты своей жизни. В Пэрчейз-хаузе завтрак обычно бывал подгорелым, сырым, чересчур скудным или то, другое и третье сразу. В доме священника на завтрак ели яичницу с беконом (яйца бывали пожарены идеально, так что серединка оставалась мягкой), теплыми тостами, завернутыми в льняную салфетку, свежесбитым маслом, медом и обильным, крепким, только что заваренным чаем. Доббин особенно любил поедать все это в плохую погоду, когда порывы ветра проносились по камышам, небо свинцовело, а овцы мрачно сбивались в кучку. Доббин воспринимал эти трапезы как священнодействие, но не осмеливался сказать об этом Фрэнку, который совершал настоящее священнодействие, пусть и

при немногочисленной пастве.

Они часто обсуждали все, что происходило в Пэрчейз-хаузе. Фрэнк никак не мог понять, почему Доббина до сих пор не отпугнули ни даже собственная очевидная никчемность как помощника, ни дурной характер Фладда. Но у Доббина была своя религия, он поклонялся человеческому гению. Бенедикт Фладд, единственный среди всех знакомых Доббина, был гением. У самого Доббина не было художественных талантов, но он хотел служить такому таланту и чувствовал, вопреки очевидности, что судьба привела его сюда, задала ему эту задачу. Нищета пейзажа и людей навела его на мысль, что именно здесь надо основать сообщество, которое зиждилось бы на человеческом гении, на создании прекрасных, соразмерных вещей. А потом он нашел Фрэнка Моллета. У Доббина бывали минуты отчаяния, осознания, что он понятия не имеет, куда идти дальше. Фрэнк, которому тоже было одиноко, думал, что Доббин одержим и нерационален, но присоединился к его туманным проектам, потому, что общество Доббина было ему приятно, и еще потому, что Фладды были, несомненно, самыми романтичными и самыми неблагополучными из всех его прихожан.

Как-то раз, через несколько недель после появления Филипа в Пэрчейзе, Доббин и Фрэнк завтракали вместе перед велосипедной поездкой в Винчелси — они хотели узнать о новом цикле лекций, устраиваемых местными теософами. Доббин, намазывая хлеб маслом и медом, заметил, что мед особенно ароматен — в нем чувствуется вкус клевера, очень нежный. Фрэнк ответил — впрочем, Доббин это и так знал, — что мед его собственный, от своих пчел. Фрэнк послал с Доббином несколько горшков в подарок Фладдам. Серафита поблагодарила его запиской, написанной круглым, детским почерком.

Доббин сказал, что Бенедикта Фладда преобразило присутствие нового помощника. Они теперь занимались восстановлением малой печи в пристройке и поговаривали о строительстве большой печи с трубой в форме бутыли, с вращающейся решеткой в дымоходе. Филип нарисовал для Фладда, как, по его мнению, должна была выглядеть решетка, и Фладд неподдельно заинтересовался. Конечно, сказал Доббин, если у нас будет большая печь для обжига, придется нанимать еще работников. Сам он мог помогать разве что в роли чернорабочего — например, подсовывать в печь старые шесты из-под хмеля, «под

чьим-нибудь руководством», горестно добавил он. Но это, сказал он, жуя хрустящий тост с мягким, сладким медом, типичный случай курицы и яйца. Для расширения производства не было денег, а добыть денег можно было только расширением производства. А гончарные печи для обжига, которые Доббин всю жизнь считал устойчивыми, обыденными, надежными орудиями для создания произведений искусства, оказались опасными и непредсказуемыми, как сам Фладд. Можно месяцами рисовать эскизы, «точить» сосуды, декорировать их — но все труды пустит насмарку одна вспышка огня или газа, взрыв пузырька воды в плохо сделанном горшке. Доббин думал, что теперь, когда появился Филип, Фладда можно уговорить сделать несколько горшков поменьше на продажу или изразцов, чтоб хоть на еду заработать. Серафита и дочери, конечно, ткали, но они работали медленно и неуклюже, и вся их работа зависела от Фладда — от того, было ли у него настроение и энергия, чтобы создавать для них рисунки. Сами женщины с этим не справлялись. Друзья часто заводили этот разговор и каждый раз начинали заново перебирать свои наблюдения — удивленно, ошарашенно, словно обсуждая только что сделанное открытие — о

том, как необычно безжизненны и заторможены три женщины, живущие в Пэрчейз-хаузе. Доббин, побывав на празднике Уэллвудов, смог обогатить коллекцию наблюдений, так как видел трех женщин Фладд и в «Жабьей просеке», и в коттедже «Орешек». Он надеялся, что хотя бы в отсутствие Бенедикта Фладда они расслабятся или станут разговорчивей. Но не тут-то было. «Как будто У них сонная болезнь, или их кто-то заколдовал», — сказал Доббин, он часто это говорил. Он добавил, что Герант очень хорошо общался с прочей молодежью — мальчиками Уэллвудами, Чарльзом и Томом, юным Джулианом Кейном и его сестрой Флоренцией. Доббин был счастлив преподнести Фрэнку эту коллекцию новых людей для вдумчивого обсуждения. Фрэнк, конечно, знал Геранта или должен был знать. Священник давал Геранту уроки классической литературы, истории, естествознания, что составляло большую часть образования, полученного Герантом. Ему хорошо давалась математика, а Фрэнку — нет. Он пытался учить Геранта, и Герант смеялся его ошибкам. Фрэнк не стал доверенным лицом Геранта, как надеялся поначалу. Фрэнк был уверен, что Геранту дома скучно и что он озлоблен. Еще Фрэнк, сам не зная почему, думал, что Герант

по природе покладист и общителен. В отличие от сестер, Герант подружился с местными юнцами, ходил с ними в лодках на рыбную ловлю, помогал собирать урожай яблок и лука. Герант вольно бегал по равнинам, болтал с браконьерами и лесниками, слушал байки про контрабандистов, какие рассказывали все без исключения местные жители. Фрэнк и Доббин и о Геранте тоже говорили, пытаясь понять, что его ждет, но так и не договорились ни до какого ясного вывода или видимой перспективы. Планировать они не очень умели, иначе больше преуспели бы в жизни.

Однако Фрэнк Моллет знал о Фладде чуть больше, чем выдавал в непринужденной болтовне с Доббином. Однажды Фладд попросил священника — точнее, настойчиво, отчаянно умолял исповедовать его. С тех пор прошло уже года два — тогда Фрэнк был куда большим англокатоликом, чем сейчас, и порой тосковал по загадочности и осязаемости священных таинств, по присутствию святых и ангелов, которые могли удовлетворить его жажду более осмысленной жизни, сделать его дух менее одиноким и скудным. Его церковь, как большую часть церквей на Ромнейском болоте, изуродовали во времена Реформации. Статую Девы разбили, каменных ангелов обезглавили и

покалечили, хотя призрак фрески, на которой ангелы играли на трубе и псалтири при сотворении мира, еще пятнал восточную стену, прикрытый овальными досками, заменившими картинки на пуританские наставления. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его».[18] И из Соломона: «Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих».[19] И из Иова: «Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек ляжет и не станет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего».[20] Болотные пуритане жили в вечном страхе перед огромными текучими массами воды и песка.

Норманнские окна были по большей части разбиты. Фрэнка посетила идея — собрать деньги с прихожан и заказать витраж великому художнику, живущему в приходе. Фрэнк нанес визит Фладду и предложил ему заказ, в неопределенных выражениях дав понять, что это лишь начало. Фладд сказал, что у него масса идей — может

---

[18] Примечания: 18
Псалом 126.

[19] Примечания: 19
Книга притчей Соломоновых, 27:3.

[20] Примечания: 20
Книга Иова, 14: 11–12.

быть, Дух Божий, носящийся над водами, или древо жизни с золотыми и алыми яблоками. Несколько недель они увлеченно обсуждали эти проекты за пивом, рисовали эскизы — мелом, чернилами, акварелью. У Фрэнка Моллета до сих пор осталась пара эскизов. Остальные уничтожил Фладд в остром припадке меланхолии. Однажды Фрэнк зашел к Фладду, как обычно, и обнаружил, что горшечник сидит в своем любимом кресле и неподвижно смотрит в пустоту. Казалось, он почти утратил дар речи и впал в кататонию. Он бормотал: «Я ничего не могу сделать» и «Оставьте меня», а Серафита вошла в кухню и сказала безо всякого выражения — безмятежно? — что ее муж плохо себя чувствует и в течение какого-то времени не сможет работать; она хорошо знает это его состояние и может уверить мистера Моллета, что от его визитов не будет никакого толка, пока Фладд не поправится. Моллет высказал предположение, что у творческих сил, возможно, есть прилив и отлив, как у моря. (Сейчас он не рискнул бы произнести подобную банальность.) Серафита безо всякого выражения согласилась, что это возможно, и встала, подобно статуе, ожидая, пока он уйдет. Он знал, что должен, как ее духовный наставник, предложить ей помощь, утешение

или хотя бы возможность поделиться бременем. Но она смотрела тупо, терпеливо, ожидая, пока он уйдет, и он ушел. Может быть, выпадет более подходящий случай, сказал он себе. Все это случилось еще до того, как в Пэрчейз-хаузе появились Доббин и беглец Калверт.

Но однажды, зимним днем, Фладд нашел Фрэнка Моллета в церкви Св. Эдбурги (если совсем точно, Фрэнк стоял на коленях в алтаре, пытаясь противостоять размыванию своей веры или погребению ее под слоем ила). Фладд распахнул дверь, впустив клубящийся порыв ветра, который встряхнул бумаги и всколыхнул алтарный покров. Фладд встал в нефе, по-бычьи сгорбив плечи, склонив меж ними крупную голову и не обращая внимания на то, что священник коленопреклонен. И сказал:

— Вы можете меня исповедовать, страха ради смертного?

Фрэнк неуклюже поднялся на ноги. Он боялся. Он был молод и невинен, несмотря на свою хорошенькую золотую остроконечную бородку. Он всю жизнь жил в тепличной обстановке и за краткий срок своего священнослужения еще ни разу не сталкивался с настоящими ужасами — только со смертью прихожан да с бессмысленной

сварливостью церковных старост и вышивающих молитвенные подушечки дам. Фрэнк мягко сказал, что его церковь — англиканская, и исповедь в ней таинством не является. Фладд положил руку ему на плечо, потянул за рукав, заставил сесть в огороженном закутке и сам сел рядом, тяжело дыша. На гончаре был черный халат, словно пародия на подрясник.

— Бог, — сказал Бенедикт Фладд, — ваш Бог то есть, врывается в мою жизнь и исчезает из нее без предупреждения. То он кажется невозможным — смехотворным, смехотворным… то жестоко тиранит.

Фладд помолчал.

— Может быть, это как фазы луны. Или времена года на этом шарике — он вкатывается в полосу света и выкатывается из нее, то голые деревья, то снег, то ярко-зеленое покрывало, а потом жара и ослепительное солнце. Только это — нерегулярно и непредсказуемо. А еще есть… другие… те, кто поселяется во мне, когда Он уходит. И они весьма убедительны. Как индуистские демоны, которые по правилам, ими же установленным, одновременно суть боги.

Фрэнк слушал. Он был молод и решил, что это — заученная риторика. Он пробормотал что-то в

том духе, что нужно крепко стоять в вере во времена душевной смуты, когда душа переживает «семь тощих лет».

— У меня нет воли, — сказал Фладд с ноткой удовлетворения в голосе. — Я лишь поле битвы, и все же я живу, ноги меня носят. Но есть… осколки света, моменты равновесия меж одним состоянием и другим, меж победами бледного Галилеянина и многообразной Жизненной силы. Если вы понимаете, о чем я. Время, когда я могу обозреть то, что «будет или было».[21]

— Да, — сказал Фрэнк.

— Сейчас я именно на таком перевале. Ваш Бог удалился от меня, словно его никогда и не было. Он не проливает света, ничего не озаряет, вокруг меня лишь густое серое облако или пустая ночь, полная бессмысленных ярких точек, узор которых не имеет отношения ко мне, но пока мне не угрожает. Завтра все изменится. Сегодня я еще могу ясно мыслить.

— Да, — сказал Фрэнк.

— Я расскажу вам, молодой человек, о вещах, которых вы и вообразить-то не можете. Мне нужно облегчить свое бремя. Я хочу рассказать вам

---

[21] Примечания: 21

Из стихотворения Перси Биши Шелли «Жаворонок». Перевод В. Левика.

о том, как меняюсь, подобно волку-оборотню, и, может быть, этим рассказом — освободиться. Я понятно выражаюсь?

— Да, — сказал Фрэнк, которого физически пугало дрожащее рядом крупное тело. — Пока да.

— Может быть, завтра я буду, в вашем понимании, безумцем, — сказал Фладд. — Тогда я сам не буду сознавать своего безумия, но сейчас меня мутит при мысли о нем. Каждое новое их посещение хуже предыдущего. В детстве я не страдал этим. Я был мальчиком-хористом, с головой, отделенной от маленького тельца огромным, безупречно-белым крахмальным воротником. Если я по временам и забавлялся со своими крохотными причиндалами, об этом никто не знал, и все было очень невинно. И солнце светило все время, круглое и сверкающее, как мой воротник. А потом я начал становиться мужчиной — голос мутировал, воротник у меня отобрали, а тело — вы понимаете — зажило своей жизнью, перестало мне подчиняться. Меня посещали чудовищные фантазии. Мне нравилось охотиться на разных тварей. На живность. Лягушек и кроликов. Я любовно лепил их из глины, а затем, столь же любовно и изобретательно, уничтожал. Вы понимаете? Вижу, что нет. Я очень правильно выбрал

исповедника. Ибо вы порядочный человек и не разгласите моих слов. Я пошел учиться в Школу искусств, и в школе мы рисовали обнаженную натуру — и мужчин, и женщин, мышцы, кости, — и я воображал, как открываю эти мышцы и кости, ах, в совсем другом смысле. Предел обнажения. И втайне рисовал это. Я ходил по Хеймаркету, ну вы понимаете, как Россетти, — смотрел на тела, выставленные на продажу, и в конце концов начал вести двойную жизнь, это оказалось совсем не сложно. Я нашел молодую женщину, которая брала деньги за то, что понимала мужчин вроде меня и воплощала в жизнь их фантазии. Я посещал ее — все чаще и чаще — и воображал, как мучаю ее все изобретательнее — и любил ее, своей светлой стороной, все сильней и невинней. С ней можно было говорить обо всем, запретных тем не было, и в ее присутствии… в ее дешевой постели, молодой человек… святой отец… я становился цельным, чистым. Ее звали Мария. Она была для меня Марией Магдалиной, смывающей грехи, и Афродитой Анадиоменой; думаю, она всю жизнь недоедала — взором художника я видел, что она худосочна, но глазам любовника ее груди представали шарами млечного мрамора, а пучок волос на лобке — кустами, окружающими

вход в Рай Потерянный… и Возвращенный.

Он помолчал. Фрэнк подумал, что Фладд говорит с обдуманным расчетом, что он уже много раз рассказывал эту историю и отшлифовал ее. Возможно, это вымысел или просто *версия* событий. Фрэнк сам удивился, откуда это знает.

— Быть может, мой рассказ вас смущает или возбуждает, молодой человек? Святой отец?

— Нет, — ответил Фрэнк, хотя действительно был смущен и плоть его слегка восстала. — Нет, я здесь для того, чтобы вас выслушать.

— Я, конечно, знал, что я не единственный ее любовник, — продолжал Фладд. — Она занималась своим ремеслом, оно было частью ее «я». Во всяком случае, я так думал. Может быть, она была лишь заблудшей, некорыстной душой, которая из боязни голода и холода продавала мне свое тепло и выслушивала меня, а я думал, что она меня понимает. Я думал о ней по-разному день ото дня, от фазы к фазе моего собственного лунного цикла. Я вознамерился сделать ее своей женой. Я так униженно нуждался в ней. Именно найдя ее, я нашел свое призвание — скольжение пальцев во влажной глине, скольжение пальцев в божественной женской плоти… я лепил сосуды — метафоры для нее и нашей связи: свивающихся

в кольца русалок, разворачивающиеся вайи папоротников… о, это все было достаточно невинно, несмотря на ее ремесло и мое безумие.

Он замолчал. В приступе мимолетного безумия Фрэнк задался вопросом: не стала ли Магдалина Серафитой Фладд и не этим ли объясняется ее заторможенная холодность.

Фладд что-то делал — Фрэнк решил, что это он так заламывает руки, и подумал, что никогда раньше не видел такого. Фладд снова заговорил:

— Дальше идет неприятная часть. Вы первый, кому я рассказываю об этом… эту историю. Я пошел повидаться с девушкой в свое обычное время… у меня был ключ, но мы с ней договорились, когда мне можно приходить, а когда нельзя… я поднялся по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки.

Он снова замолчал. Фрэнк ждал, сложив ладони вместе.

— Там стоял запах. Кажется, я заметил его, еще не открыв дверь. Она лежала на кровати. Совершенно мертвая. Сплошные открытые раны и кровь… и кровь. Края лужиц уже застывали, словно глазурь, на бедрах и на линолеуме.

— Да, — сказал Фрэнк, чтобы прервать этот поток.

— Она металась по всей комнате, заливая ее кровью, хватаясь за что попало окровавленными пальцами — отпечатки были повсюду. Я не мог глядеть ей в лицо… оно превратилось в мешанину кровавых кусков…

— Да, — чуть потверже сказал Фрэнк. И спросил: — Что же вы сделали?

— Я отступил, закрыл дверь и вернулся домой. Что я еще мог сделать?

— Вызвать полицию?

— Мне отмщение, говорит Господь. Помочь ей было уже нельзя. А я… заболел, вышел из строя, стал инвалидом.

Он замолчал.

— Это все? — спросил Фрэнк.

— Все? Это ужас.

— Но, судя по вашему собственному рассказу, вы в этом ужасе неповинны.

Как обрести голос исповедника или судьи? У Фрэнка мелькнуло подозрение, что Фладд действительно убил эту женщину в припадке временного помешательства, а теперь лжет или забыл. И другое подозрение — что Фладд все выдумал: либо для того, чтобы помучить его, Фрэнка, либо чтобы подкормить страсть самого Фладда к ужасному. Фладд сказал:

— Я не лгу, знаете ли. — А потом: — Я невольно верен ей. Я не люблю свою жену, как обещал. Между нами — крепкие стены. Она красива и заслуживает, чтобы ее желали, но я ее не желаю… не часто желаю. Мне не следовало на ней жениться.

— Сейчас, пожалуй, поздно об этом думать, — сказал священник.

— Она глупа. Ощипанная курица в атласном панцире. Иногда я думаю, что у нее нет души.

— Вы обещали любить и беречь ее.

— Я пытался. Сейчас, может быть, я кажусь вам циником, но я пытался. В нашем доме нет любви. Я не единственный, кто в этом виновен.

— В этом я не судья.

— Я не прошу вас быть судьей. Или вмешиваться. Если бы я думал, что вы, по своему складу ума или характера, способны вмешаться, я бы не стал с вами говорить. Видите, как вас трясет. Вы будете делать вид, что этого… этой исповеди… никогда не было.

— Я полагаю, вы в некотором смысле рассчитывали, что меня затрясет. Чего вы от меня ждете?

— Ничего, ничего, тут никто ничего не сделает. Я пойду домой и опущусь на время в свой личный закуток ада. Я ужасно боюсь… все время боюсь…

что когда-нибудь не найду оттуда пути наружу, или…

— Или? — подбодрил его Фрэнк. Но Фладд окончил свою исповедь — почти так же внезапно, как и начал. Он встал и побрел вон из церкви, не оглянувшись.

Фрэнк Моллет подумал, что Фладд приходил исповедовать совсем не то, что преподнес под видом этой «исповеди». Несколько недель Фрэнк опасался, что Фладд что-нибудь сделает — с собой, с кем-нибудь из родных или посторонних: Фладд боялся чего-то, что ждало в будущем, и рассказал о чем-то случившемся в далеком прошлом. У него действительно началась очередная полоса меланхолии — он то ругался, то бил горшки, то отправлялся в долгие одинокие прогулки по галечному пляжу Дандженесса, размахивая руками и крича в небо. Фрэнк Моллет робко пытался навещать Серафиту, чтобы «помочь ей выбраться из своей скорлупы», а она безжалостно отпускала светские реплики относительно погоды, варенья или слуг и ждала, пока Фрэнк уйдет. Из-за черной меланхолии Фладда страдала и учеба Геранта. Ему хуже давалась арифметика. И переводы с латыни. А потом, в один прекрасный день — так, по крайней мере, думал Фрэнк, поскольку, есте-

ственно, не присутствовал при этом, — Фладд встряхивался, возвращался в мастерскую и принимался перебивать глину.

В очень жаркий летний день Фрэнк и Доббин поехали на велосипеде в Винчелси, чтобы обсудить подготовку к циклу лекций, которые должны были пройти в Лидде осенью, когда дни станут короче. Друзья выбрали путь через Уоллендское болото, вдоль Кэмберских песков, которые занесли утонувший город Старый Винчелси, словно его и не было на свете. Они обогнули залив Рай и понеслись мимо Кэмберского замка вдоль равнин, держа курс на холм, на котором городок Винчелси с его средневековой планировкой отстроили заново в XIII веке. Друзья собирались навестить мисс Пэтти Дейс, которая жила в домике с видом на полуразрушенную церковь Св. Фомы-мученика и мирное кладбище с древними покосившимися надгробиями на зеленой траве. Этот домик, как и многие другие постройки в Винчелси, напоминал белые, обшитые досками дома Новой Англии. Перед домиком располагался маленький ухоженный садик.

Мисс Дейс уже ждала и открыла сразу, не успели они и постучать. Ей было за сорок: костлявая, мускулистая, со свирепым лицом, крючковатым

носом, высокими скулами и глубоко посаженными темными глазами, над которыми сидели брови, напоминающие мохнатых гусениц. Волосы выглядели так, словно она не жалея сил завивала их щипцами, но на самом деле вились от природы, как будто в хозяйке текла негритянская кровь. Мисс Дейс не любила сидеть без дела. Она выполняла обязанности секретаря во многих группах: местных теософов, местных фабианцев, театрального кружка Винчелси и округа, кружка акварелистов, а также группы суфражисток. Когда-то она преподавала в лондонской школе для девочек, а потом недолго работала помощницей альмонария в больнице. Она активно боролась за то, чтобы замужних женщин и женщин, не владеющих домами, допустили к участию в местном самоуправлении и комитетах помощи беднякам. В прошлом году либеральное правительство отменило имущественный ценз для участия в комитетах помощи беднякам и разрешило замужним женщинам выдвигать свои кандидатуры. Мисс Дейс была счастлива. Она сама выдвинула свою кандидатуру и проиграла замужней женщине — миссис Фебе Метли, жене писателя Герберта Метли, купившего небольшую ферму возле Ист-Галдфорда. Мисс Дейс воспитали

в христианском духе. Она старалась не разочаровываться, не обижаться, и обратила все силы на укрепление местной культурной жизни. Она хранила у себя фабианские книжные ящики, полные развивающих, полезных книг (их присылали из Лондона). Она организовывала лекции для фабианцев, для теософов и для смешанных групп тех и других. До недавнего времени она также, через некое объединение, называемое Христо-теософским обществом, пыталась организовать дискуссии об эзотерической духовной жизни и особенно о женском аспекте христианской духовности. Пэтти Дейс желала большей полноты жизни и предполагала, что ответ кроется в теософии. Она с возмущением прочитала на страницах «Люцифера» страстную обличительную тираду против отношения христианства к женщинам. Тирада была написана самой г-жой Блаватской и изобиловала цитатами из Библии и отцов церкви: о том, что женщина — сосуд диавольский, шипение змеи, опаснейший хищник, скорпион, аспид, дракон, дочь лукавства, страж ада, враг мира. Г-жа Блаватская указывала также на то, что в Новом Завете «слова „сестра“, „мать“, „дочь“, „жена“ служат лишь для обозначения нравственного падения и бесчестия».

Феминистка, теософка и социалистка Пэтти Дейс после долгих споров с отпавшей христианкой Пэтти Дейс заклеймила и отвергла ее ностальгию по Церкви. Это поставило Пэтти в неловкое положение: теперь она видела некое двуличие в своем общении с Фрэнком Моллетом, вместе с которым ей так приятно было выбирать лекторов и рекламировать лекции. Как ни странно, ей не стало бы легче, если бы она узнала, что и сам Фрэнк порой ощущает: его вера воздвигнута на зыбучих, подвижных песках. Мисс Дейс хотелось, чтобы Церковь *была* как те огромные, древние, незыблемые средневековые здания на болотах, чтобы Церковь была реальной, даже если сама мисс Дейс полностью порвала с ней.

Она приветствовала молодых людей, напоила чаем с дороги и угостила домашним печеньем. Их комитет снял общинный зал в Лидде, где к аудитории, состоящей из местных писателей, учителей и лавочников, должны были присоединиться офицеры и солдаты из ближнего гарнизона. Мисс Дейс надела очки и сказала Фрэнку, что, может быть, нужно придумать название для этого цикла лекций. Доббин ответил, что сначала надо найти хороших лекторов, а потом уже придумывать название. В «Жабьей просеке» Доббин

смущался и был не в своей тарелке, но задним числом понял, что ему выпала редкая честь и удача — познакомиться с удивительным народом в маскарадных костюмах. Ему хотелось бы снова с ними встретиться — с Хамфри и Олив, Тоби Юлгривом и Августом Штейнингом, анархистами и лондонским профессором, который работал с профессором Гальтоном над вопросами социологической статистики и наследственности. Доббин сказал, что, будучи в Андредене, услышал чрезвычайно интересные вещи о фольклоре и древних обычаях. Может быть, мисс Дейс придумает что-нибудь на эту тему.

Мисс Дейс ответила, что ее больше интересуют перемены. Она хотела, чтобы лекции были посвящены новому — новой жизни, новой женщине, новым формам искусства и демократии. И религии, добавила она, храбро глядя на Фрэнка.

Фрэнк отхлебнул чаю и задумчиво сказал, что это противоречие лишь кажущееся. Ибо многое из нового обращается к прошлому за поддержкой. Теософы, к примеру, прибегают к мудрости тибетских наставников. Социализм Уильяма Морриса берет пример со средневековых гильдий и сообществ. Идеи Эдварда Карпентера о том, что надо сбросить удушливую респектабель-

ность викторианской семьи, также обращаются к прошлому, к тем временам, когда люди жили в гармонии с природой, как часть ее. То же самое можно сказать о вегетарианцах, о противниках вивисекции — они добиваются уважения к естественной, животной жизни, характерного для времен, предшествующих технической цивилизации. И в искусстве тоже. Бенедикт Фладд, например, хочет вернуться к древнему ремеслу горшечника-одиночки и заново открыть потерянный секрет красных лазурей — турецкой изникской, китайской *sang-de-boeuf.* Общество исследования парапсихических явлений заново открыло древний мир духов и утраченные первобытные возможности человеческого общения. Старые суеверия могут привести к новому духовному прозрению. Даже Новая Женщина, рискнул отчасти пошутить он, ищет свободы от корсетов и кружев не только в рациональном платье, но и в свободных, развевающихся средневековых одеждах. Работа женщины вне дома кажется чем-то новым, но настоятельницы монастырей в старину имели власть, управляли сообществами людей, как ныне — руководители колледжей. Может быть, любой шаг в будущее опирается на пристальный взгляд в прошлое. Фрэнк чуть не

вызвался сам прочитать лекцию на эту тему.

Есть особое эстетическое наслаждение в составлении учебного плана, сборника эссе, курса лекций. Образы, тени людей и мыслей можно переставлять как угодно, словно кусочки цветного стекла в витраже или шахматные фигуры на доске. Комитет обдумывал, что ему хотелось бы услышать и как уравновесить различные темы. Доббин предложил пригласить Августа Штейнинга, чтобы тот поделился своими мыслями о новом театре, выходящем за пределы реализма, в древнее искусство кукольного театра. Все согласились, что надо позвать Тоби Юлгрива, чтобы он рассказал о связи современного фольклора с древними верованиями наших предков в волшебный народец. Решили также пригласить Эдварда Карпентера, чтобы он рассказал о своих чаяниях касательно мужчин, женщин и новооткрытого им «среднего пола». Раздавались имена: Бернард Шоу, Грэхем Уоллес, Беатриса Уэбб. С тех пор, как г-жа Блаватская в 1891 году «отбросила уже негодное физическое орудие», «изношенную оболочку, которую носила в течение этого воплощения», место лидера теософов, оспариваемое многими, заняла Анни Безант, умевшая убедительно, энергично и успешно говорить о секуляризации,

контроле рождаемости и фабианском социализме. Какое-то время комитет воображал себе ее лекцию. Потом Пэтти Дейс неохотно сказала, что, видимо, миссис Безант сейчас слишком занята насущными проблемами Теософского общества и вряд ли захочет приехать для чтения лекций на Ромнейское болото.

Мисс Дейс предложила провести лекцию о проституции и о несправедливо разном отношении общества к мужчинам и женщинам. Комитет подумал и решил, что предлагать подобные идеи аудитории, в которой будет так много военных, не совсем разумно. Может быть, миссис Уэллвуд сможет прочитать лекцию о современных детях и современной детской литературе; это более безопасная тема. Все торопливо согласились, что мистер Фладд по своему темпераменту не предназначен быть лектором. Может быть, кто-нибудь из Музея Южного Кенсингтона расскажет о декоративно-прикладных искусствах и их будущем.

Все, даже Доббин, знали, что цикл лекций никогда не воплощает всей элегантности и глубины первоначального замысла. Лекторы отказываются от участия, лекции проваливаются. Приходят одни и те же люди, на которых можно положиться, и говорят одно и то же. Одна из лекций будет

посвящена огородничеству, и читать ее будет миссис Уолзи. Вместо Бернарда Шоу придется выпустить тощего и пугливого студента, который понятия не имеет, как говорить с военными. Они перешли ко второй стадии планирования — списку запасных, надежных лекторов.

Пэтти Дейс сказала, что, по ее мнению, нужно пригласить Герберта Метли. У него твердые убеждения, и он умеет вдохновить слушателей. Она один раз была на его лекции в Рае — а это значит, что его, может быть, удастся уговорить. Она не могла припомнить в точности, чему была посвящена та лекция, но помнила, что лектор ее заворожил. Должно быть, это было как-то связано с высвобождением своего инстинктивного «я», или как там. Все слушатели воспряли духом и воодушевились.

Фрэнк сказал, что никогда не встречал мистера Метли, но роман «Болотные огни», любезно подаренный мисс Дейс, произвел на него большое впечатление… очень большое. Затем Фрэнк прочитал книги «Великан на холме» и «Бел и дракон», которые тоже оценил весьма высоко. Он будет счастлив и познакомиться с мистером Метли, и послушать его лекцию.

Пэтти Дейс пытливо посмотрела на него. Он

кротко улыбнулся в ответ. Он не знал, что подарок имел целью испытать его веру. Его вера действительно подверглась испытанию. Но он считал, что мисс Дейс не должна знать, насколько сильно. На самом деле Фрэнк постоянно думал об этой книге. Она словно придала его сомнениям ощутимую форму.

Главный герой отчасти походил на самого Фрэнка — одинокий священник, настоятель вымышленной автором церкви на болотистых равнинах, с редеющей паствой. Герой книги, которого звали Гэбриел Меткалф, влюбился в женщину по имени Берта, или завлек и обманул ее, или был ею околдован. Он встречался с Бертой по большей части во время прогулок у ручейка, на природе. В образе Берты было что-то от зелени, от природы — автор очень ловко создавал у читателей соответствующее впечатление, мимоходом описывая игру солнечных лучей в ее светлых волосах, или ее глаза, или тени на нежной коже. Фрэнк не был особенно чувствителен к женской красоте, и Берта не соответствовала ни одной из его фантазий. Он скорее счел ее воплощением — символическим или действительным — дриады, бузинной матушки, охранительницы цветов и ягод. Она была совер-

шенна и неуловима. Что задело Фрэнка за живое, так это описание отношений между церковью и пейзажем. В мире, созданном Метли, церковь, изможденная, похожая на скелет, была жесткой оболочкой вокруг безжизненного пространства. Духовная энергия вся вытекла, или вернулась, в окружающую землю, в болотистые равнины и воду. Деревья, казалось, ходили, гневно махали руками, говорили нечеловеческими голосами, скрипели и стонали. Болотные огоньки мерцали, собирались в хороводы, снова разбивались, образуя змейки света, бегущие по своим делам, пронзая вечернюю тьму. Еще мальчиком Фрэнка потрясло ощущение древней силы у Вордсворта, затаенной в утесах и валунах, не измеримой человеческим временем. Метли учился у него: огромные камни срывались, как допотопные чешуйчатые чудища, с краев солоноватых озер и возвращались обратно. Холмы нависали и надвигались медленно, неодолимо. Раскрывались трещины, превращаясь в ловушки. Вся земля была одержима неким духом — равнодушна либо враждебна; разве что неудовлетворительная Берта была задумана автором как путь, через который можно войти в природу или обрести в ней гармонию. Гэбриел Меткалф не выдержал

испытания; он все реже выходил за пределы церкви и обнесенного стеной кладбища. Гэбриел в романе потерял ощущение божественности Христа и видел в нем лишь «доброго еврея, убитого давным-давно в Палестине». Эта фраза попала Фрэнку Моллету в самое сердце. Он узнал ее, и это узнавание было ему отвратительно. По временам он ощущал, что его собственная церковь, как и описанная в романе, окружена враждебными элементалями, которые теснят ее, заглядывают в замочные скважины, бормочут что-то и ждут своего часа. Фрэнк вовсе не жаждал знакомиться с автором. Но он не любил проваливаться на испытаниях. Он сказал, что они с Артуром могут зайти к мистеру Метли и обсудить с ним эти планы.

Пэтти Дейс воскликнула, что это замечательная мысль. Она подумала секунду-другую и добавила, что Метли — страстные садовники, обожающие свою ферму. Если они не отвечают на звонок в дверь, их обычно можно найти в огороде за домом.

Они в дружелюбном молчании проехали по дороге на Ист-Галдфорд и наконец оказались на ферме «Уонтсум», такой маленькой, что и фермой не назовешь, хотя места в ней хватало на несколько овец, стайку уток, пару коз и плодовый

садик. Дом был приземистый, с небольшими окошками и плохо пригнанной дверью. Друзья позвонили в колокольчик и, когда никто не ответил, последовали совету мисс Дейс, обогнули дом, пересекли плохо стриженный газон с крохотным прудиком для уток и через калитку в стене вышли в огород.

Они пробрались меж высоких шестов с сетками, по которым вились горох и фасоль, и оказались в центре огорода. Из-за этих посадок, закрывающих обзор, друзья буквально наткнулись на чету Метли — совершенно внезапно, в закрытом со всех сторон пространстве, в центре, откуда лучами расходились дорожки. Супруги Метли сидели бок о бок на траве, Герберт держал книгу, а его супруга Феба лущила горошек и бобы в дуршлаг, стоящий у нее на коленях.

Оба были совершенно голые. И в очках.

Все воззрились друг на друга.

Ни Артур Доббин, ни Фрэнк Моллет за свои взрослые годы не видели обнаженных женщин, хотя Фрэнку иногда приходилось навещать больных и умирающих дам, которые лежали в одних пропотевших, сбившихся сорочках.

Носы, шеи и запястья супругов обветрились и покраснели от солнца. Остальное тело у обо-

их было поджаро и бледно. Герберт Метли был брюнет, с тонкими растрепанными волосами и роскошной черной порослью под мышками и вокруг расслабленного члена; жилистый, с худыми, но мускулистыми руками и ногами, с редкими, жесткими вьющимися волосами на груди. У Фебы Метли были светлые, песочного оттенка волосы, завязанные широкой лентой в узел. Груди — первое, что бросилось в глаза, словно заслонив все остальное тело. Они стелились уплощенными холмиками по грудной клетке; соски, розовые, как цветы шиповника, были не выпуклые, а втянутые. Затем друзья увидели, что у нее на лобке тоже растут волосы, ярче, рыжее, чем на голове, и отвели взгляды. На длинной шее Фебы уже начали проявляться морщинки. Большие глаза еще больше увеличивались стеклами очков — если бы друзья увидели Фебу одетой, возможно, именно глаза они заметили бы в первую очередь. При появлении гостей Феба вздрогнула и уронила дуршлаг, который стоял у нее на коленях. Твердые ярко-зеленые шарики гороха и серо-зеленые бобы в форме человеческой почки раскатились по земле и по телу.

Как ни странно, ни Фрэнк, ни Доббин не ощутили необходимости отступить или бежать в

панике. Герберт Метли непринужденно сказал:

— Вы нас застали за принятием солнечных ванн. Мы — солнцепоклонники. Мы это делаем при каждом удобном случае, а июнь выдался палящий.

Фрэнк Моллет пробормотал: ему сказали, что их можно найти в саду. По врожденной осторожности он умолчал о том, кто именно ему это сказал. Он вспомнил, что у мисс Дейс в глазах играл огонек.

Феба Метли перекатилась на бок, чтобы собрать горох и бобы. Доббин почувствовал, что обязан помочь ей, и еще — что ему следует отвернуться. Он не сделал ни того, ни другого. Фрэнк Моллет сказал:

— Может быть, нам лучше зайти в другой раз. Мы хотели пригласить вас участвовать в наших осенних лекциях. Мы надеялись, что вы сможете…

Герберт Метли встал, уверенно держась на босых ногах, протянул руку к складной табуретке и взял с нее какие-то сложенные одежды, которые оказались двумя вышитыми халатами вроде кимоно. Он протянул один халат жене, которая встала и привычно вдела руки в рукава. Завязав пояс, она опустилась на колени и стала дальше

собирать горох и бобы. Герберт Метли сказал:

— Первые люди в райском саду были счастливей, когда еще не познали стыда. Идемте в дом. Расскажите мне, что у вас там за лекции.

В голосе его звучал северный акцент, который Фрэнк, уроженец «шести графств», не мог опознать. Доббин понял только, что Метли родился много северней его родного Шеффилда.

Они гуськом прошли в дом через заднюю дверь. Феба Метли замыкала шествие с дуршлагом, напоминающим атрибут средневекового святого на картине. Она пошла на кухню готовить чай. Герберт Метли предложил друзьям присесть в низкие кресла из планок в стиле Движения искусств и ремесел. После палящего света в саду комната, казалось, была наполнена дымной темнотой. На резном столе стояла ваза с букетом полевых цветов. Доббин рассказывал Герберту Метли про задуманный цикл лекций, а Фрэнк ненадолго погрузился в мысли, не зная, следует ли поблагодарить за «Болотные огни» или хотя бы сказать, как эта книга его тронула. Он решил, что не стоит. Он понял: его раздражает то, что этот человек в халате, с наэлектризованными черными волосами, в большей степени, так сказать, владеет воображаемыми скалами, камнями и ку-

стами бузины, чем он, читатель. Фрэнк подумал, что читателям нельзя встречаться с писателями. Это противоречит какому-то главному замыслу.

Он выпал из краткого забытья и услышал, что Метли предлагает прочитать лекцию «на какую-нибудь тему вроде „Элементы язычества в современном искусстве“, или даже „Элементы языческого в современном искусстве и современной религии“». Фрэнк сказал, что именно на это они и надеялись. И добавил с наигранной небрежностью, что ему очень нравятся книги мистера Метли. Мистер Метли выразил свой восторг. Он спросил, читал ли Фрэнк его последнюю книгу, «Поймай яблоко». Он будет счастлив преподнести Фрэнку экземпляр. Метли нашел книгу и аккуратным почерком надписал ее. Человек в воротничке священника осторожно улыбнулся человеку в халате с алыми маками и серебряно-золотыми хризантемами на голое тело.

На обратном пути Доббин сказал:

— Кажется странно, что если бы мы сбежали, то проявили бы гораздо более дурные манеры. Очень странно, что именно из вежливости нам пришлось стоять и глядеть на них.

Фрэнк ответил, что мир меняется. И согласился, что скрыться было бы гораздо невежливей, чем

остаться на месте. Доббин вспомнил свой краткий визит в Дербишир к Эдварду Карпентеру, воздушные ванны и речные купания в обнаженном виде, и спросил, отважится ли когда-нибудь Фрэнк принимать такие солнечные ванны. Фрэнк ответил, что нет. Еще немного подумал и добавил, что человеческое тело без одежд непривлекательно. Он раскраснелся от усилия, с которым налегал на педали. Болотные овцы, неспешно шествуя по равнине, щипали соленую траву. Доббин сказал, что день получился плодотворный. Фрэнк согласился.

II
Золотой век

10

Помещение молочной отлично подходило для мастерской гончара. Печь для обжига стояла в отдельной комнате, прежней судомойне; труба выходила наружу через крышу из шиферной черепицы. В молочной были полки из шифера, с ящиками под ними, много разных встроенных шкафов и еще чулан, где когда-то охлаждались масло и сыворотка, а теперь стояли горшки, дожидаясь кожетвердого состояния или нанесения глазури. Окошки были маленькие, глубоко посаженные. Их было два, и под каждым стояло по гончарному кругу — один большой с ножным приводом и один простой, который крутили руками. Рядом с каждым гончарным кругом стоял доильный стульчик и ведро. В окна были вделаны круглые витражные медальоны. На одном красовался гривастый рогатый морской змей в кобальтовых волнах, на другом — белый шлюп под парусами, не то летящий по волнам, не то терпящий бедствие. К двери был пришпилен рисунок в натуральную величину, изображающий человека эпохи Возрождения: в камзоле, чулках и плаще, все — алого цвета, и в плоской бархатной

шапочке. Он стоял рядом с большой вазой.

Филип очень осторожно принялся наводить порядок. Он подмел мусор и сложил в аккуратную кучку те части взорвавшейся печи для обжига, которые еще годились в дело. Филип был тактичен: он знал, что можно переставлять, а на что надо просить разрешения. В некоторых ящиках лежали спутанные клубки проволоки — металлы для опытов с глазурью, их он не стал трогать. Новую глину он положил в баки, стоящие в чем-то вроде угольного сарая, — на них указал ему Фладд, который поначалу задержался в дверях, настороженно следя, что Филип станет делать. Филип протер гончарные круги и нашел тряпку, чтобы прикрыть глиняный раствор. Фладд сказал:

— Ну что ж, можно заняться печью. Нужно осторожнее делать раствор. Прошлый был слишком грубым. Он взорвался в нескольких местах и повредил горшки.

Филип кивнул. Он знал про взрывы. Он даже кое-что посоветовал, пока они заново выкладывали топочные отверстия и смотровые окошки для пирометрических конусов. Он залез на крышу — Фладд держал лестницу — и починил трубу в том месте, где она выходила из шифера. Оттуда он увидел на другом конце двора

какое-то сооружение с толстошеей трубой — то была хмелесушильня, но Филип этого не знал. Спустившись, он спросил у Фладда, что это. Эта штука слишком широкая для гончарного горна, хотя сначала, увидев такие в деревнях, он решил, что это бутылочные печи. Фладд объяснил, как в Кенте растят и собирают хмель и варят пиво. Он сказал, что топит печь прошлогодними шестами для хмеля: они здесь попадаются в изобилии, и их легко достать. Филип сказал, что в такой штуке можно сделать чертовски здоровую печь для обжига. Фладд ответил:

— Может, и можно. Но тогда и ты, смотри, делай горшки.

Филип ухмыльнулся от радости, и Фладд ухмыльнулся в ответ.

На протяжении следующих недель они, стараясь не давать воли надеждам, делали горшки. Сначала Филип выполнял только работу подмастерья. Он перебивал глину — это занятие сродни замесу теста; нужно выбить из плотной массы все пузырьки воздуха и капли воды. Филип прекрасно знал: если этого не сделать, пузырек размером с утиное яйцо расширится и лопнет во время обжига, вызвав малые или большие взрывы, которые могут погубить всю партию посуды. Глина

была по большей части местная. С холма Рай — ярко-красного цвета, с болотистых равнин — с примесью песка. Фладд показал Филипу на один мешок с красноватой глиной и заметил, что это — тот самый прах земной, в который мы все обратимся, глина с кладбища, где ее залежи особенно богаты. Фладд посмотрел на Филипа, ожидая его реакции, и Филип опять ухмыльнулся. Как и сказал Фладд, это была хорошая, крепкая глина.

Фладд выписывал (с доставкой по железной дороге) бледную, жирную глину из Дорсета для изготовления ангобов и смешивал ее с красной, чтобы получить более легкую консистенцию. Филип научился толочь эту глину, продавливать через сито и смешивать с водой. Он научился вертеть глину в глиномялке с лопастями, стоявшей там, где раньше была маслобойка. Он научился смешивать глины для горшков, а затем и глазури. Фладд, как и большинство гончаров, не торопился выдавать свои рецепты. У него были конторские книги в кожаных переплетах, он запирал их в ящике, а записи вел кодом, основанным на англосаксонских рунах и греческих буквах, которых Филип разобрать не умел. Обычными гирями для взвешивания Фладд тоже не пользовался — вместо них в мастерской были изготовленные им

шары из высушенной глины, пронумерованные от одного до восьми. Филип смешивал оловянные глазури, свинцовые глазури; как противоядие от свинца ему давали молоко в кружках. Он смешивал сурьму, марганец и кобальт. Еще ему приходилось работать с веществом, называемым «булавочная пыль». Ее делали из медного порошка, оставшегося при изготовлении булавок, и она шла на зеленую глазурь.

Настал день, когда Фладд пригласил Филипа сесть у гончарного круга и «выточить» горшок. Фладд отцентровал глиняный шар, Филип возложил на шар угловатые ладони и надавил посредине. Бурая глина побежала поверх пальцев, словно и они становились глиной, гладкой и однородной, или же сама глина становилась плотью, отращивая собственные пальцы с живыми костяшками и подушечками. Глина под пальцами начала расти и выросла в тонкую цилиндрическую стенку, которая поднималась выше и выше, словно по собственной воле. Она ровно вращалась, изборожденная следами пальцев, — выше, выше… и вдруг хлопнула, зашаталась, и форма обрушилась в бесформенность. Филип хохотал, задыхаясь. Фладд тоже расхохотался и показал ему, как заканчивать формовку,

как узнавать форму, к которой стремится глина. Он сказал, что многие мастера-горшечники никогда сами не формовали горшки, а лишь украшали их. «Разве можно не хотеть почувствовать глину на ощупь?» — спросил Филип. Фладд сказал, что у Филипа руки гончара. Он занял место Филипа и выточил высокий кувшин с журавлиной шеей, широкое глубокое блюдо, стакан, которому всегда есть место в хозяйстве, и приземистый кувшин со смешным горлом. Филип перепробовал все эти формы, и скоро они у него уже, как правило, получались. Он не переставая смеялся про себя. Фладд благодушно улыбался. Казалось, все его дурное настроение куда-то пропало. Фладд преподнес Филипу толстый альбом для рисования и сказал на ухо, выкруживая и оглаживая мокрую глину, что Филип может приходить лепить горшки когда захочет.

Филип не очень-то доверял добродушию, накатившему на художника. Но не строил предположений. Он заметил — хоть и не вникал в причины — вечный настороженный страх (во всяком случае — боязливость) у странно инертных женщин семейства Фладдов. Он заметил презрительное отчуждение Геранта и то, что под ним крылось — хоть и не смог бы объяс-

нить, что именно заметил. По-видимому, Фладд, даже в хорошем настроении, не имел склонности к светским беседам. В отличие от «Жабьей просеки», здесь никто не ожидал разговоров за столом, и предполагалось, что после еды все сразу расходятся в разные стороны. Как-то раз Фладд объявил, что Филипу нужна еще одежда, чтобы ту, в которой он ходит, можно было постирать. Фладд, судя по всему, не сомневался, что этот безадресный приказ будет выполнен. И действительно, сверток с одеждой появился — но лишь трудами Доббина и Фрэнка Моллета; часть вещей принадлежала им, а часть была пожертвована прихожанами: рыбацкие носки и куртка, серые и голубые рабочие блузы. И еще один рабочий халат — носить, пока халат Тома Уэллвуда в стирке. Филип наткнулся на Помону, которая, сидя на террасе перед домом, переделывала манжеты и пришивала пуговицы. Филип запротестовал. Она сказала: «Честное слово, это лучше вечного вышивания цветочков». Она говорила очень тихо, с придыханием. Филип сказал, что умеет шить, но Помона велела ему молчать и приложила к нему рубашку — померить. Из двери вышла Имогена со стаканами ячменной воды и сказала Филипу:

— Если ты сможешь ему помочь — так, чтобы

работа была сделана, чтобы выходили горшки… и продавались… мы все будем у тебя в неоплатном долгу.

Филип ответил, что надеется: скоро — ну, относительно скоро — им хватит горшков на пробный обжиг.

Филип и Фладд были оба молчаливы, каждый по-своему, и в следующие несколько недель обсуждали только вес глины, лучшее место для сушки блюд, цвета глазурей или почему у Филипа горшки выходят неправильно. Фладду не приходило в голову расспросить подмастерье о его прошлой жизни или о семье, а сам Филип ничего не рассказывал. Он также редко задавал вопросы и далеко не сразу спросил про рисунок, прикрепленный на двери. Он, кажется, видел его в Музее Южного Кенсингтона. Это возможно? Фладд сказал, что действительно такое могло быть. На рисунке изображен Палисси, великий французский гончар, это копия изображения с «Кенсингтонской Валгаллы» в Южном дворике Музея.

— А, да, — сказал Филип. — Я видел блюдо… с жабами и змеями… дома у майора Кейна. Он сказал, что это подделка.

Фладд ответил, что Музей ужасно ошибся, ку-

пив современную копию блюда Палисси, которой цена не больше десяти шиллингов, за тысячи фунтов. Он добавил, что ошибиться было легко: подделки были просто удивительно похожи на работу Палисси. А что, Филипа интересует этот горшечник? О да, ответил Филип, которого интересовали горшки. Фладд начал рассказывать Филипу героическую биографию Бернара Палисси. Он рассказывал частями — живыми, насыщенными эпизодами, в такт вращению колеса, хлопкам и стуку перебивания глины, царапанью и шороху комков, продавливаемых через сито. Это походило на обряд посвящения: образцовая история о том, что значит по-настоящему работать с глиной, быть совершенным художником. Фладд рассказывал низким голосом и делал частые паузы между фразами, обдумывая свою речь. Филип тоже погружался в раздумья. Он учился.

Он узнал, что Палисси, как и сам Фладд, жил на соленых болотистых равнинах и был человеком труда; он рисовал портреты и выучился также росписи по стеклу. Он был беден и честолюбив, и однажды ему показали «глиняную чашку итальянской работы, сформованную и покрытую эмалью, — такой красоты», что Палисси возжаж-

дал научиться этому искусству: «Нужды нет, что я ничего не знал о глинах; я начал искать эмали, ощупью, как шарят в темноте».

Фладд отклонился от темы:

— Нечто подобное случилось и со мной. Выбор — меж тем искусством и этим, той жизнью и этой — делается не разумом. Для меня все решило итальянское майоликовое блюдо, золотое, индиговое, покрытое арабесками и чем-то вроде тени на свету…

Филип сказал:

— Я видел ваш водяной кувшин в «Жабьей просеке». Конечно, я уже искал, я вырос с глиной, но тот кувшин я *увидел.*

Он никогда в жизни не говорил ничего столь откровенного. Фладд в это время расписывал горшок кистью из гусиного пера, обмакнув ее в марганец. Он поднял голову, посмотрел прямо на Филипа и улыбнулся, увидев серьезное молодое лицо.

— Это род безумия, — сказал он. — Палисси был безумцем, а если по-моему, так он был здоровей всех, и ты увидишь… если останешься… что я тоже безумец. Когда ветер дует не с той стороны, меня заносит не туда. Если можно так выразиться. Ты увидишь, я тебе заранее говорю.

А вот если хорошо дунет откуда надо, и землица хорошая подвернется, тогда меня бросает в перфекционизм.

Он рассказал, как, увидев *одну-единственную чашку,* Палисси бросил все силы на поиски совершенства и искал, пока не открыл *чисто белую* эмаль, которую можно было наносить на глину. У него была жена и много детей, и он долгие годы жил в нищете, экспериментируя со смесью металлов, с тинктурами, которые знал по работе со стеклом, нанося смеси на сотни и тысячи черепков, относя их к местным горшечникам или стеклодувам для обжига. И вечные неудачи. Фладд расхохотался, словно залаял, и заметил, что неудачи при работе с глиной — полнее и зрелищней, чем в любом другом искусстве. Гончар — раб стихий, говорил Фладд. Любая из четырех — земля, воздух, огонь, вода — может нанести удар: расплавить, взорвать, разнести на осколки, обращая месяцы труда в прах, пепел и свистящий пар. Нужна точность естествоиспытателя, нужно уметь играть с игрой случая, преображающей в пламени горна любовно выведенные тобою поверхности.

— Это очищающий огонь и в то же время демонический, — сказал он Филипу, который вбирал

в себя каждое слово и серьезно кивал. — Очень опасный, очень первозданный, очень стихийный…

Палисси на время оставил свои поиски и обратился к иным вещам: к природе соли, или солей, к тому, как потребляют соль растения, как они потребляют навоз, и как все это связано с солью… к постройке искусственных соляных болот… «на землях прочных, вязких и липких, как те, из коих делают кирпичи, горшки, изразцы».

Он любил *землю,* сказал Бенедикт Фладд. Работал с землей и любил ее. Не боялся испачкать руки — и тем самым развивал ум.

В другой раз Фладд рассказал о титанической борьбе Палисси за открытие белой глазури. Он в лицах изобразил четырехчасовое ожидание Палисси у стеклоплавильной печи, где обжигались три сотни черепков, пронумерованных и покрытых каждый своей смесью химических веществ. Вот печь открывают. На одном из черепков смесь расплавилась, его вынимают, он черный и светится. Палисси смотрит, как черепок остывает. Мысли горшечника тоже черны. Но, остывая, черный черепок белеет — становится «белым и гладким», выходит белая эмаль «непревзойденной красоты». Палисси становится

новым человеком, возрождается. В этой глазури он смешал олово, свинец, железо, сурьму, марганец и медь.

Палисси готовит побольше смеси — пропорций он, конечно, никому не открывает, — наносит ее на партию посуды для обжига, снова разжигает собственный горн и пытается поднять температуру до той, какая бывает в печах у стекольщиков. Он работает шесть дней и шесть ночей, подбрасывая связки хвороста, но эмаль не желает плавиться и приставать к глине.

— Он потерял всю первую партию, — рассказывал Фладд. — Он пошел, купил новые горшки, заново смолол состав для смеси и трудился еще шесть дней и шесть ночей. В конце концов ему пришлось подкидывать в печь содранные с пола половицы и пустить на дрова кухонный стол. И все же обжиг оказался неудачным, Палисси считали безумным алхимиком или фальсификатором, и он дошел до крайней нищеты. Он работал еще восемь лет, построил новую печь для обжига и потерял целую партию тончайших глазурованных изделий, потому что в растворе печи были осколки кремня: они разлетелись и разбили все горшки.

— Но в конце концов, — сказал Филип, — в

конце концов он нашел эмаль и сделал горшки.

— Он работал для королей и королев, он создал проект райского сада и проект неприступной крепости. Он ненавидел алхимиков — знал, что они гоняются за несуществующим. Он любил наблюдать за ростом растений, строить догадки о том, как поднимаются из недр земли горячие источники и пресные. У него была своя теория землетрясений, неплохо обоснованная, — он хорошо понимал, как земля, воздух, вода и огонь могут двигать горы…

— Что с ним случилось?

— Он был протестантом. Он не принял учения Церкви и не желал отречься от своей веры. Его посадили в тюрьму и приговорили к смерти как еретика. Его должны были сжечь за отказ, как он сам выразился, поклониться глиняным изображениям. Так и не отступившись, он умер в Бастилии. Ему было семьдесят девять лет. Я дам тебе книгу профессора Морли, в ней можно про это почитать.

Филип выразил опасение, что от книги ему будет мало проку. Он не так уж хорошо читает. И добавил, краснея:

— По правде сказать, я читаю просто плохо. Разбираю самые простые слова, и все.

— Это не годится, — сказал Фладд. — Так не пойдет. Имогена поучит тебя читать.

— Ой, нет…

— Ой, да. Ей все равно заняться нечем. А ты, не умея читать, далеко не уедешь. И тебе понравится книга про Палисси.

Имогена покорно согласилась давать Филипу ежедневные уроки чтения. Она сказала, что ей раньше не приходилось учить, и она не знает, как это делать, но постарается. Они с Филипом садились за столик в саду или на кухне, если с Ла-Манша дул ветер. На Имогене было одно из двух или трех неизменных платьев — бесформенных, с неровной горловиной, расшитых ирисами и лилиями, на которые — Филип чувствовал — когда-то падали крохотные капельки крови из исколотых иголкой пальцев. Он также заметил — поскольку был молод и был мужчиной, — что под мешковатыми складками скрывается крепкое, соразмерное тело. Кончиками пальцев гончара он думал об очертаниях ее грудей, круглых и полных. Вокруг нее не было даже намека на атмосферу женственности ни аромата духов в волосах, ни запаха кожи, ни тайных влажных испарений — но Филип был слишком молод, чтобы знать, до чего странно такое отсутствие.

Когда она сидела рядом, склонив над страницами голову в короне тяжелых волос, он думал, что она похожа на керамических мадонн из Музея. Кроткая безмятежность. Это была не совсем точная формулировка.

На первых двух уроках Имогена писала для него слова струящимся каллиграфическим почерком. «Яблоко» и «хлеб», «дом», «мастерская» и «сад». Затем она решила, что ему полезнее читать связные тексты, и принесла красивую книгу волшебных сказок, иллюстрированную штриховыми рисунками самых разных художников, включая Берн-Джонса и Бенедикта Фладда. Это была пестрая смесь из произведений Гриммов и Андерсена, Шарля Перро и поэтов, даже «Леди Шалотт» Теннисона. Филип боялся, что ему подсунули детскую книжку, но, увидев иллюстрации, успокоился. Это был мир сцен из «Сна в летнюю ночь», поставленных в «Жабьей просеке». Вдохновленный злобными чертенятами Фладда, Филип экспериментировал с ручками кувшинов, придавая им формы змей и драконов. Он прочитал «Золушку», «Спящую красавицу», «Принцессу на стеклянной горе» и «Принцессу на горошине», «Храброго портняжку» и «Стойкого оловянного солдатика», и наконец — «Леди Ша-

лотт» и «Снежную королеву». Он учился писать — у него хорошо получалось, поскольку он и раньше умел обращаться с карандашом и пером. Он учился рисовать воображаемых людей, подражая струящимся одеждам и волосам персонажей Берн-Джонса.

Это было не совсем то, чего Филипу хотелось. Не его стиль. Иллюстрации к «Снежной королеве» нарисовал Фладд. У его королевы было длинное острое лицо и печальная улыбка в вихре снежинок над озером, где громоздился лед. Ей прислуживали уродливые чертенята, а крохотный Кай скрючился у ее ног, как спящая улитка. Узор линий завораживал и пугал. Филип хотел научиться этому — и сделать что-то свое.

Сказки — к добру или к худу, служа познанию или ведя к беде, — научили его описывать окружающих. Имогена была Спящая красавица: она уколола палец и ходила во сне. Кроме того, Филип представлял себе Имогену недообожженной керамической фигурой из бисквитного фарфора, еще не глазурованного и не раскрашенного — бледный набросок, первая попытка создать живое существо. Герант, который старался как можно реже бывать дома, был Аскеладден, Пепельный, он странствовал по свету, ища удачи.

Помона была всеми дочерьми-золушками у очагов, печальными и нелюбимыми. Она еще два раза приходила к Филипу в кровать и напугала его до полусмерти. Что делать, если она вдруг проснется и увидит, где она?

Имогена никогда не касалась Филипа даже случайно. Помона постоянно дергала его, оглаживала его халат, трогала покрытые глиной руки, становилась у него за спиной, когда он сидел за столом, и ерошила ему волосы. Никто не комментировал ее манеру, и Филипу стоило многих трудов притворяться, что ничего не происходит.

Он вывел для себя еще две опасные аналогии, почти одновременно. День ото дня он постепенно наводил порядок в кладовых горшечника, расставляя горшки и мешки, подметая и моя полы. Филип обещал себе, что, когда научится красиво писать, снабдит все предметы этикетками. Мастерская заняла большую часть той половины дома, где когда-то жили слуги. Это было неважно, поскольку никаких слуг тут уже не держали, кроме старухи с Болот, которая приходила убираться — медленно, словно поскрипывая, — и ее дочери, которая помогала со стиркой. Филип обнаружил запертый чулан. Он спросил у Фладда ключ, и Фладд отрезал, что ключа нет. Филип вспомнил

об этом за чтением «Синей бороды». Он сам заметил, что в сказках люди всегда делают то, что им не велели делать, и ходят куда не велено. Филип не мог понять, почему, и даже не собирался лезть, куда ему не велели. Но — может быть, из-за «Синей бороды» — эпизод с чуланом показался ему странным.

Как-то раз на кухне, убирая книгу на место после чтения, он увидел Серафиту, которая возвращалась с одной из нечастых вылазок во внешний мир.

Она шла к дому мелкими шажками, очень медленными, очень ритмичными, словно едва касаясь травы и гравия дорожки. В отличие от дочерей Серафита одевалась очень старательно. На ней было белое платье, украшенное фиалками, и сиреневая шаль. Муслин струился с высокой кокетки платья; корсета на Серафите не было, только простой фиолетовый кушак, перехвативший платье. Блестящие на солнце волосы были уложены кольцами на голове и пришпилены шелковыми фиалками. Серафита глядела прямо перед собой, мечтательно и рассеянно, сложив губы в хорошенькую застывшую полуулыбку. Филип подумал, что она словно скользит по нетающему вечному льду или катится на невидимых

подшипниках или колесиках. Она вошла в дверь и прошествовала мимо Филипа все с той же застывшей улыбкой, поприветствовав его наклоном длинной шеи, столь мимолетным, что Филип засомневался, не привиделось ли ему. Она ему кого-то напомнила. Он понял, кого. Марионетку Олимпию из блестящего представления Ансельма Штерна. Олимпия-автомат — марионетка, игравшая марионетку, в то время как остальные куклы изображали подобие жизни.

Он не знал, чем обычно занимаются дамы: надо полагать, ходят друг к другу в гости, на приемы, за покупками, ездят на прогулки верхом, играют в теннис. Только не Серафита. До обеда она ходила, сидела в своем кресле с приятным выражением лица, глядя перед собой, потом немножко шила, немножко ткала, еще немножко сидела неподвижно и так доживала до ужина. Насколько Филип мог судить, она иногда по целым дням не произносила ни слова. Когда он прочитал про леди Шалотт, над которой висело проклятье и которая видела мир только в зеркале, он представил себе Серафиту Фладд, ее большие, зеленоватые, светящиеся глаза. Но леди Шалотт негодовала и желала чего-то; она бросилась к окну и распахнула его. Миссис Фладд и не думала

никуда бросаться.

Еще одна странность Фладдов заключалась в том, что все они ходили гулять на природу, но исключительно поодиночке.

Герант водился с шайками юнцов на Болотах. Когда Филип сталкивался с этими юнцами, они старались его избегать или, если их было несколько, сбивались в кучку поодаль и дразнили его. Герант даже не попытался представить Филипа своим знакомым мальчикам и вообще едва с ним разговаривал. Фладд уходил на целые дни, завернувшись в клеенчатый плащ, взяв узловатую палку-посох и натянув до самых бровей широкополую шляпу. Он никогда не звал Филипа с собой. Имогена ходила в Лидд, а порой ездила на велосипеде в Рай или Винчелси за продуктами и швейными припасами. Помона иногда ездила с ней. Они не приглашали Филипа — он думал, что они не желают его общества, но им просто не приходило в голову его позвать. Он подождал несколько недель, пока почерк у него не стал получше, и написал осторожное письмо домой. Подождал еще немного и спросил у зашедшего Доббина, как отправить письмо. Доббин объяснил, что почтовая контора есть в Лидде, и дал Филипу марку. Потом спросил Филипа, не хочет

ли тот прогуляться с ним до Лидда пешком или позаимствовать у Фладдов велосипед. Имогена сказала, что, конечно, можно взять ее велосипед. Доббин спросил, удалось ли Филипу посмотреть окрестности, и тот ответил, что не выходил из усадьбы.

— Даже моря не видел? — спросил Доббин.

— Нет, — ответил Филип. — У меня рабочий день не обозначен, и жалованье тоже вроде как… Так что я все время делаю что могу.

Доббин сказал, что Филип обязательно должен пойти к морю с ним и со священником. Не может такого быть, что он все время нужен в мастерской, сколь бы интересной ни была его работа. Доббин спросил Серафиту, и она ответила, что, разумеется, Филип должен время от времени выходить, но нужно спросить у мистера Фладда. Спросили Фладда, и он сказал, что, конечно, Филипу надо посмотреть на море. Он смышленый парень. Он сам знает, когда ему можно уйти. И когда нельзя, он, конечно, тоже знает.

И Филип пошел с Фрэнком Моллетом и Доббином в приморскую деревушку Димчерч. В Димчерче был волнолом, противостоящий вечному напору бурной соленой воды, и этот волнолом нужно было перелезть, чтобы добраться до пля-

жа или хотя бы его увидеть. Все трое полезли вверх по узкой лестнице, и Фрэнк с Доббином благосклонно смотрели, как их подопечный из срединных графств первый раз знакомится с морем. Был безветренный, солнечный день, и волны мирно морщили водную гладь, одна за другой набегая на песок. Филип костями ощутил эту массу воды и внутренне переменился, но не знал, как сказать об этом, и стоял с невозмутимым видом. Фрэнк и Доббин ждали. Через некоторое время Филип сказал, что море большое. Они согласились. Он отпустил какое-то замечание про запах соли и резкие крики чаек. И подумал: уже очень давно никто не ждал, чтобы он вслух сказал, чего хочет или что делает, — ему приходилось лишь молча чувствовать или делать. Филип знал, что должен познакомиться с морем сам, без посторонних. Дети плескались у кромки воды. Филипу стало интересно, каково море на ощупь, но тело само шарахнулось прочь. Фрэнк и Доббин пошли вместе с Филипом вдоль берега, и Филипу стали лучше удаваться ожидаемые от него восклицания интереса и восторга. Он подобрал водоросль, заинтересованный ее текстурой и тем, как лопаются подушечки, наполненные соленой водой. Подобрал несколько хрупких розовых ракушек

и длинную узкую раковину морского черенка. Фрэнк и Доббин были в восторге. Они проводили его обратно в деревню, купили ему хороший обед в харчевне «Корабельная» и рассказали кучу историй о контрабандистах, но Филипа гораздо больше интересовала текстура морской глади и водорослей. Фрэнк Моллет спросил, есть ли у Филипа бумага для рисования и карандаши. Филип сказал, что нет — он извел все те, что были у него в Музее. Мистер Фладд подарил ему альбом для рисования, который он тоже извел. Фрэнк повел его в мелочную лавочку в Лидде и купил ему новый альбом — не очень хорошего качества, с серой и слишком рыхлой бумагой, но все же это была бумага. Затем они отвели Филипа домой.

На обратном пути в дом священника в Паксти Фрэнк спросил Доббина, не беспокоит ли его положение мальчика в Пэрчейз-хаузе. Филип, кажется, тяжело работает и ничего не получает за свою работу. Никому не приходит в голову, что ему может быть что-то нужно, какие-то вещи. Доббин сказал, что Филип нравится Фладду. Подумав, он добавил, что, может быть, Филип вообще единственный, кто нравится Фладду. Доббин выразил надежду, что Филип сможет поставить работу мастерской на деловую ногу, чтобы она

приносила хоть какие-то деньги. Тогда Фладд сможет платить Филипу. А они должны следить за благосостоянием мальчика.

Вернувшись в мастерскую, Филип рассказал Фладду, что ходил смотреть на море. И добавил, что надеется еще пойти. Почему бы и нет, ответил Фладд, и добавил, что Филипу надо сходить в Данджженесс, ему там будет интересно.

Филип отправился в Данджженесс пешком в жаркий летний день. Дрок сиял золотым светом, морская капуста покрылась кругленькими семенами, которые сначала были бледно-зелеными, а потом постепенно приобретали костяной цвет. Данджженесс одновременно мрачный и плодородный край, это самая длинная непрерывная полоса гальки в мире, ее продувают морские ветра, западные и восточные. Здесь живут люди: на розоватых, выбеленных стихиями галечных берегах лежат вытащенные лодки, а по берегу стоят странные, черные, как сажа, деревянные рыбацкие хижины, вокруг которых скапливаются верши для омаров, якоря, сломанные весла, сети. Можно выйти на мыс по каменистой пустоши, которая на самом деле полна странной жизни, животной и растительной, процветающей и страдающей от резких крайностей здешней по-

годы. В конце мыса большая каменная осыпь нависает над галечным пляжем, где море постоянно затягивает гальку обратно в темную волну, перемешивает и швыряет куда попало. Между охряно-розовыми камнями прорастают водоросли с фантастическими оборками, рюшами — листьями, пурпурными, темно-зелеными, сине-зелеными. Филип увидел цветы синяка обыкновенного, шипастые и синие. Они показались ему зловещими (возможно, из-за названия). Он знал эти цветы по лугам Стаффордшира, но здесь они показались ему синее и живее. Он видел сантолины, алые маки и заросли розовой валерианы. Все это было очень красиво и столь же мимолетно: зимой все исчезнет, как и не бывало.

Филип, ступая почти благоговейно, прошел по камням к усыпанному галькой берегу, краю земли. В первый раз — а Филип приходил сюда еще многажды — он спешил к воде, лишь краем глаза глянув на скопленный людьми мусор и упрямо растущие овощи. Филип никого не встретил. Это было его приключение, и он ощущал, что это место принадлежит ему одному. Дойдя до конца, он вскарабкался вверх по каменной осыпи — камни хрустели под ногами, грозя увлечь его снова вниз, так что он поднимался медленно и

с усилием. С вершины этого шаткого нагромождения открывался вид на море. Филип стоял под солнечным небом и видел, что море темно и глубоко, с заплатами, сморщенными ветром, противными течениями, тянущими туда и сюда, а волны набегают на берег, шевеля и перемалывая камни. Филип подумал, что хорошо бы поглядеть на море в бурю, если удастся устоять на этой куче. Он был на самом краю Англии. Он думал о пределах, о границах и еще вспомнил о Палисси, который изучал соленую воду, и пресную тоже, земные источники и ручьи. Филип никогда не раздумывал о том, что земля круглая, что он стоит на искривленной поверхности шара. А здесь, видя горизонт и сознавая шаткость своей опоры, Филип вдруг мысленно увидел всю землю: огромный шар, летящий в пространстве, покрытый по большей части этой вот водой; шар удерживает ее, но она постоянно движется, пряча в своих темных глубинах другую землю, холодную, и песок, и камень, куда не проникает луч света и где, может быть, живут какие-то твари, погружаются в толщу, пожирают друг друга — Филип не знал про них ничего, да, может, и вообще никто не знал. Круглая земля, с земляными холмами и долинами под слоем воды. Быть живым и стоять под

солнцем было приятно и немножко страшно.

Он сел на гальку, которая оказалась теплой, и съел принесенные с собой хлеб, сыр и яблоко. Он решил, что надо взять отсюда камушек. Это древний инстинкт — подобрать один камень там, где их много, разглядеть его, придать ему форму, дать ему душу, которая связывает человека с массой бездушных камней. Филип все подбирал и бросал камни — в одном манило темное пятно, в другом жилка блестящего кварца, в третьем сквозная дырочка. Он поднимал камень, разглядывал, клал обратно, терял, подбирал другой. Камень, на котором остановился Филип — уже почти с раздражением, потому что число подобранных и отвергнутых камней его пугало, — был яйцевидный, с белыми полосками и просверленными не насквозь узкими ходами, норками. Убежищами для крохотных тварей — песчаных паучков или червей не толще волоса.

Филип долго рисовал — листья морской капусты, призрачную крабью скорлупу, кусок выбеленного плавника, — просто ради удовольствия смотреть и учиться. Он все время украдкой поглядывал на воду, не изменилась ли она, и она все время менялась. Он сам чувствовал, что изменился, но проверить было не у кого.

Он часто приходил сюда, освоил и новые маршруты путешествий по Болотам, открыв для себя норманнские церкви, возвышающиеся над гладями соленой воды: от затопления их спасали дамбы и канавы. Как-то раз с высоты каменной кучи в ветреный день он увидел согбенную фигуру Бенедикта Фладда, который пробирался вдоль края воды, шаркая ногами по камням и удерживая руками шляпу. Кажется, он орал на море. Филип его не окликнул и потом не упоминал об этой встрече.

Он рисовал, рисовал, рисовал.

Когда альбом заполнился, Филип пошел к Бенедикту Фладду и показал ему рисунки для керамики на основе этих набросков, которые, как он думал, могли пригодиться для изразцов. Он решил, что можно создать серию. Со сплошным узором из морской капусты и другим — из спутанных водорослей, по форме похожих на ключи, с тугими воздушными пузырьками. Тончайший, словно кружевной узор кристаллизовался в голове у Филипа, когда он увидел в болотах за фэрфилдской церковью Св. Фомы Бекета нашествие комаров-долгоножек, длиннокрылых, угловатых, хрупких.

Он нарисовал геометрическую сеть, составленную из их соприкасающихся тел. Другую — из бледных шариков, семян морской капусты, каждый — на своем стебельке, третью — из кружевной зелени фенхеля. Филип заинтересовался приемом, при котором внутренняя геометрическая структура природных форм используется для создания новой стилизованной геометрической структуры. Он разметил рисунки для изразцов как мог, мягким карандашом на серой лохматой бумаге. Он сказал Фладду, что умеет прокалывать карандашные рисунки, и это можно использовать для повторения рисунков на необожженном бисквите до глазирования. Но он не умел делать глазурь. Он знал про «булавочную пыль», которая давала цвет зеленого горошка, и про разные вещи, которые можно делать с марганцем. Но не знал, как получить серовато-голубовато-зеленый оттенок толстых листьев морской капусты. Или призрачный цвет комаров-долгоножек, который, как отважился сказать Филип, будет хорош поверх кобальтовых цветов, или, может быть, болотной зелени.

Фладд сказал, что у Филипа хороший глаз. Еще он сказал, что бумага паршивая, и рисовать на такой — только портить рисунки. Филип ответил,

что у него другой нет. Фладд открыл шкаф и сунул Филипу несколько альбомов для рисования и коробку с разномастными перьями и карандашами. Он сказал, что да, они вполне могут сделать партию изразцов. Попробовать глазури.

Когда набралась партия на обжиг, они загрузили печь и бодрствовали всю ночь, подкармливая огонь плавником и пилеными шестами из-под хмеля. Герант вопреки обыкновению вызвался помочь. Его захватывало напряженное ожидание у огненной пещеры, и он был заинтересован в успехе предприятия. Обжиг и остывание неожиданно удались. Изразцы возникли из печи — синие, золотые, зеленые, алые, с данженесскими узорами — серыми, черными, жженой умбры паутинками поверх ярких цветов; и другой ряд — на кремовой глазури алые, синие и медно-зеленые узоры. Филип был зачарован. Помона сказала, что изразцы очень хорошенькие. Герант спросил, можно ли делать больше изразцов? Намного больше?

— Это не так сложно, — ответил Фладд.

— Их можно продавать. Поставлять кому-нибудь. Архитекторам, вообще людям. Из них выйдут прекрасные камины. Тогда у нас будет постоянный доход.

Геранту было только пятнадцать лет, но он все время беспокоился, почти злился, оттого что у них не было постоянного дохода. Герант упомянул про изразцы в разговоре с Фрэнком Моллетом, придя к нему на урок истории. Герант спросил, не знает ли Фрэнк кого-нибудь, кому нужны изразцы для отделки дома или церкви. Если бы эти изразцы можно было где-нибудь выставить… в Рае, Винчелси, Лондоне, откуда Геранту знать? Он знал только, что наверняка можно придумать что-нибудь.

— Мой отец такой непрактичный, — сказал Герант. — Он художник, он делает не то, что покупают. Но эти изразцы, которые сделал Филип, они очень красивые, и папа сказал, что их можно наделать сколько угодно. Папа говорит, что они очень оригинальные. Не знаю, может, и так. Но я знаю, что они понравятся людям. Но как люди их увидят?

Фрэнк и Доббин обсудили этот вопрос с Геранто́м за обедом. Именно Доббину пришла в голову блестящая идея — подключить к решению проблемы мисс Дейс. Она знает людей, которые согласятся выставить у себя несколько изразцов — это будет очень изящно смотреться — в эркерных окнах, или в витринах художественных

галерей, или даже в витринах модных магазинов. В конце концов, может быть, они и своей витриной обзаведутся. Может быть, даже откроют выставочный зал в Лондоне. Доббину вспомнилось лето и «Жабья просека». Он сказал, что там был Проспер Кейн из Музея Южного Кенсингтона. Доббин сам видел в Музее работы Бенедикта Фладда, восхитительную вазу и что-то вроде блюда. Не поможет ли им майор Кейн? Когда сам Доббин только появился в Пэрчейз-хаузе, он надеялся создать здесь коммуну художников — вроде коммуны Эдварда Карпентера, но другого типа, собранную вокруг гончарного искусства. Если все пойдет хорошо, сказал Доббин, деликатно обходя вопрос сложного характера Фладда, может быть, майор Кейн пришлет им какие-либо средства, студентов-помощников и посоветует, где найти заказчиков для новой продукции?

Герант сказал, что все будет зависеть от Филипа Уоррена — от того, сколько продержится новое положение вещей. Ведь это Филип снова запустил печь для обжига и создал изразцы.

Доббин выразил уверенность, что Филип останется, если для него будет работа.

— И еда, — сказал Герант, — и даже жалованье. Кажется, об этом вообще никто не думает.

Мои родители считают, что думать о деньгах — вульгарно. Они считают себя выше этого… но я знаю, что у них просто нет денег. Действительно, нет. Им не на что купить глины, они задолжали фермеру за молоко и яйца, и мне приходится совершенно омерзительно флиртовать с лавочницами, чтобы выпросить хоть немного чаю, кофе или мяса.

Вдруг он просиял:

— А что, если предложить мяснику несколько изразцов для витрины? В обмен на мясо. Я вегетарианец не потому, что мне так хочется. Я люблю мясо.

11

В ноябре 1895 года Олив Уэллвуд была в тягости. Она сидела за столом в своих обычных просторных одеяниях, все еще скрывавших ее положение от гостей и самых младших детей, и пыталась писать. В «интересном положении» это всегда было трудно: сидящий внутри незнакомец словно высасывал из нее энергию и нарушал ритм слов и фраз, строящихся у нее в крови и мозгу. Ее тянуло просто сесть у окна и смотреть наружу, на газон, словно шелушащийся мокрыми опавшими листьями, на деревья… На них остался лишь один-другой багряный лист,[22] подумала она и хоть как-то утешилась шекспировским ритмом, но зато почувствовала себя старухой. Утешила ее и неподвижная плотность окружающих стеклянных плоскостей, полированной мебели, ровных рядов книг, волшебных древес

---

[22] Примечания: 22

Аллюзия на шекспировский сонет 73, начинающийся в переводе С. Маршака так:

То время года видишь ты во мне,
Когда один-другой багряный лист
От холода трепещет в вышине —
На хорах, где умолк веселый свист.

жизни, вытканных яркими нитями на коврах под ногами. Олив так и не привыкла, что владеет этими вещами, так и не научилась видеть в них лишь домашнюю утварь. Они по-прежнему были для нее менее реальны, чем выгребные ямы Голдторпа. Она смотрела на них, как Аладдин и принцесса на дворец, воздвигнутый джинном из пустоты. Олив пыталась писать сказку под названием «Надежный, как дом» — в чем была определенная ирония, поскольку дома вовсе не надежны: взять, например, глупые домики трех поросят из соломы и прутьев, или библейский дом, построенный на песке. Дома строились на деньгах, а Хамфри поссорился с богатым братом и бросил надежную работу среди слитков золота в банке на Треднидл-стрит. Изобретательный ум Олив уже начал крутить так и сяк банки с клерками и стеклянные банки, солому, песок, прутья и обтесанные квадратные камни из карьера, но сказка не шла, она была не готова, и Олив была не готова обживать свой страх — страх остаться бездомной.

Олив любила «Жабью просеку» не меньше, чем любого из своих родных, включая Хамфри и Тома. Думая об усадьбе, Олив всегда представляла ее двояко: осязаемые, созданные мастерами стены,

двери, окна, трубы, лестницы — и мир, созданный самой Олив в «Жабьей просеке». Он проницал усадьбу насквозь, прятался под ней — воображаемый, взаимопроникающий мир, с тайными дверями, ведущими в туннели, пещеры, иной мир под зеленым холмом фей. Олив воображала, что ее дом стоит на ужасающем слое подземных камней и руд — кремня и глины, угля и сланца, базальта и песчаника, а через них змеятся реки и ручьи холодной воды и сверкающих рудных жил — жидкого серебра и золота: Олив всегда представляла их жидкими, как ртуть, хотя и знала, что на самом деле это не так.

Наверное, у каждого писателя есть фразы-талисманы, воплощающие силу, внутреннюю природу писательства. Свой талисман Олив позаимствовала из баллады о верном Томасе, которого забрала к себе под гору королева эльфов:

Через потоки в темноте
Несется конь то вплавь, то вброд.
Ни звезд, ни солнца в высоте,
И только слышен рокот вод.
Несется конь в кромешной мгле,
Густая кровь коню по грудь.
Вся кровь, что льется на земле,

В тот мрачный край находит путь.[23]

Она хотела бы написать об этом — о том, как переходят вброд потоки крови… о тьме, в которой не видно солнца и луны, о реве морских вод… Но так и не написала, потому что ее сказки, хоть и становились все мрачнее и страннее, все же были предназначены для детей. В последнее время стали популярны сказки в христианском духе — про образцовую кончину образцовых детей, жаждущих как можно скорее присоединиться к ангелочкам, играющим в догонялки на пушистых облачках в царствии небесном. Ничего похожего на кровавую реку коню по грудь. Олив мимолетно подумала о подступающих родах, о будущем потоке крови, о крутящей и сжимающей боли, о том, что, может быть, незнакомец, которого вынесет наружу этим потоком, окажется неподвижной, пятнистой, плотно смежившей веки восковой куклой, как Рози. Олив знала, что плод плавает в околоплодной жидкости, а вовсе не в крови, но он ведь питается кровью, ее кровью, через мертвенно-белый шланг, который дает жизнь, но может и удушить. О таких вещах не говорили и не писали. Оттого они все сильней

---

[23] Примечания: 23

«Томас-рифмач» — шотландская баллада XVII в… Перевод С. Маршака.

казались и более настоящими, и более призрачными одновременно.

Она обязана была писать. От этого зависело само существование «Жабьей просеки». Хамфри продал несколько статей о «лордах Рэнда», о нищете в Ист-Энде, о том, насколько желательно было бы передать всю землю в общинную собственность. Он давал курсы лекций в Манчестере, Танбридж-Уэллсе, Уайтчепеле; один курс — по шекспировской Англии, вместе с Тоби Юлгривом, один — о местном самоуправлении и один — по британской истории. Хамфри был счастлив, но зарабатывал куда меньше, чем в банке. И к тому же он днями и неделями не бывал дома. Олив воображала, как на него пялятся молодые женщины, сидящие на жестких стульях в муниципальных залах, — так когда-то смотрели на него и они с Виолеттой. Олив была этому и рада, и не рада. Она не любила, чтобы ее трогали во время беременности, и была почти счастлива, когда Хамфри как-нибудь отвлекался. Но всегда оставалась опасность, что он чересчур «отвлечется», дело дойдет до публичного скандала, любовь Хамфри к ней пошатнется, и надежный дом окажется в опасности.

Когда Олив не хватало идей, она нехотя обраща-

лась к тайным сказкам, принадлежащим Тому, Дороти, Филлис и Гедде, переписывала куски этих сказок, упрощая их, сглаживая, причесывая под общую гребенку, чтобы годились в печать. У Олив не было явного уговора с детьми о том, что это их личная тайна, которая должна оставаться неприкосновенной. Сказки — это сказки, говорила себе Олив, они бесконечно пересказываются и меняют форму, как разрубленные червяки, как разветвляющиеся потоки воды или металла. Она и для сказок детей брала кое-что у других сказочников — ее собственный Томас-рифмач встречал королеву эльфов в юбке из шелка зеленей травы, а злобный крот из мира зверей-оборотней в сказке Дороти родился из детского страха самой Олив перед «Дюймовочкой» Андерсена. Иные фрагменты она использовала по нескольку раз, порой переделывая до неузнаваемости, порой не изменяя ни слова. Одна из завязок «Тома под землей» была написана чуть погодя — в самом первом варианте сюжет начинался со встречи Тома с королевой страны эльфов. Может быть, из этой части получится сказка, которую можно продать; Том будет морщиться, а Олив будет уговаривать его, скажет, что это совсем другая сказка, и признается ему, как женщина мужчине,

в ужасном кризисе наличности.

Она взяла перо и начала писать на чистом листе. Кровь, обкрадывая спящего внутри жадного незнакомца, отхлынула из сердца в голову, в пальцы, которые радовались работе. Начнем с младенца. Младенец в сказке иногда оказывался принцем, иногда отважным сыном шахтера. Сегодня Олив решила выбрать принца.

Жил-был малютка-принц, долгожданное и всеми любимое дитя, и все считали его — может быть, потому, что его рождения так долго ждали во дворце — безупречно прекрасным и замечательно умным. У принца был приятный характер — видимо, его не удалось избаловать, — и он умел сам себя занимать, когда его оставляли одного, но это случалось редко, разве что по ночам. У двери детской спальни, снаружи, дежурил стражник, ибо, как обычно, злая фея напророчила, что у принца что-то украдут. Его звали Ланселин, написала Олив, вычеркнула и снова написала, так как ничего лучшего или вообще другого у нее не придумалось.

По ночам детская Ланселина превращалась (как большинство детских) в пещеру, полную теней. Тени — загадочные существа. Они и настоящие, и ненастоящие, у них и есть цвет, и нету. Когда

луна бросала свой свет через окна в каменных стенах, она освещала отдельные части отдельных предметов. У Ланселина была погремушка — бородатый и рогатый божок, одетый в козью шкуру, которая ниже пояса переходила в перламутровую ручку, чтобы Ланселину удобно было держать. Руки божка были простерты кверху, а с пальцев свисали цепочки бубенцов — золотых и серебряных, словно металлические пузырьки, но в лунном свете золото и серебро превращались в какой-то совсем другой металл, лунный, сияющий, грифельного цвета. Ланселин любил поднять погремушку-человечка и вертеть его в лунном свете так и сяк, чтобы бубенцы звенели, а тень руки Ланселина с тенью игрушки в бесплотных пальцах падала на стены. Ланселин умел делать свое второе «я» больше или меньше, длиннее или короче, заставлял его возникать на белом покрывале или идти волнами на прутьях кроватки. Ланселин мог сделать тень гуще, темнее, словно она втянула в себя всю тьму, плотно рассевшись на подоконнике. Или превратить ее в продолговатого серо-пепельного жестикулирующего демона, держащего в руках всю комнату. У тени не было глаз, не было рта, прутья кроватки резали ее на части. Ланселин умел сделать так,

чтобы его стало двое или трое, и помахать руками теневым рукам, которые махали в ответ.

В ночной детской были и другие тени, и бесстрашный мальчик часто приглашал их в игру. Тени прятались в темных провалах между мебелью, и легко было представить себе, что мебель — живая, со светящимися в темноте глазами, если повернуть голову так, чтобы лунный свет упал на позолоченные ручки ящиков. А в углах стояли высокие неподвижные тени, которые нетрудно было заметить и сквозь которые легко было смотреть.

Вы, должно быть, подумали, что Ланселин был необычным мальчиком, раз не боялся теней. Все мы видели в узоре сучков на двери гардероба злобные морды, а в тенях ветвей на потолке — ведьм, которые машут руками на ветру, тянут к нам длинные цепкие пальцы.

Но Ланселин не боялся: тем поразительнее приключившаяся с ним история.

Что-то шевельнулось в темноте, в углу у плинтуса. Ланселин смотрел туда и смеялся, но оказалось, что, когда он мотает головой, форма этого сгустка тьмы не меняется; немного спустя сгусток двинулся вперед, и Ланселин увидел, что эта темнота — плотная. Она была гладкая

и блестящая, покрытая темным мехом, отражающим лунный свет. У нее были маленькие бледные ступни с острыми когтями и трепещущая мордочка с усиками. И длинный бледный голый хвост, который извивался и скользил по полу позади существа. У существа были светящиеся глазки с маленькими алыми зрачками.

Оно подходило все ближе и ближе, и Ланселин уже готов был с ним поздороваться. Он любил заводить друзей. Тварь встала на задние лапы, легко проскочила меж прутьев кроватки и присела у ног Ланселина. Тот издал вопросительный звук. Тварь открыла рот, показав ряды желтовато-белых зубов, острых, как иглы. Она опустила голову и принялась терзать и грызть. Она терзала не хорошенькое белое покрывальце с вышитыми цветочками, а невидимые швы, прикреплявшие тень Ланселина к подошвам и пальцам ног. Он мог бы коснуться мягкого меха на голове твари, занятой своим делом, но боялся острых зубов — они издавали звук стригущих ножниц. На самого Ланселина тварь не обращала совершенно никакого внимания. Тварь отгрызла тень по всем швам и скатала ее, уминая и крутя, в небольшой узелок. Схватила его, бесшумно спрыгнула с кроватки и канула в темноту. Ланселин поднял

руку в лунном свете. Она не отбросила тени. Ни на одну стену. Словно Ланселина вовсе и не было в комнате.

На этом месте Олив остановилась в прошлый раз. Она никак не могла придумать, что же случилось дальше. Нужен был четко оформленный сюжет, в противоположность бесконечному течению подземной реки Тома. Младенец не мог побежать за крысой в темноту. Что сделают король, королева и придворные с ребенком без тени? Олив смутно помнила, что есть и другие волшебные сказки, где герой теряет тень. Почему так страшно не иметь второе «я», не отбрасывать тени? Олив смутно поняла, что сделала младенца таким уверенным в себе и улыбающимся, чтобы подчеркнуть его необычность, отсутствие тени. Может быть, теперь его будут лелеять, защищать, запретят выходить наружу, как Спящей красавице, которую берегли от веретен, как Будде, которому не давали видеть болезни и смерть. Он жил в вечном свете полдня, и это было невыносимо. Ему придется спуститься в крысиную нору, иначе невозможно отправиться в мир теней, чтобы вернуть свою собственную тень. Олив представила себе королевство крыс с человеческими тенями, которые дразнят ребенка,

странствующего в поисках своей тени… Нужен помощник: собака, кошка, червяк (нет, червяк не годится, хотя он проныра и живет под землей)… может быть, волшебная змея, змеи питаются крысами…

Ей никак не шло в голову подходящее продолжение. Именно в этот момент — облегчение и ужас для писателя — по гравию застучали колеса станционной пролетки. Вернулся Хамфри. Олив написала:

«Сперва король, королева и придворные заметили только, что Ланселин стал еще красивее, улыбался еще солнечней, чем им помнилось. Потом такое необычно хорошее расположение духа стало их беспокоить».

Правило, которому научилась Олив, — всегда бросать написанное *in medias res*.[24] Она отложила тетрадь и спустилась на первый этаж, чтобы приветствовать возвращение мужа, заблудшего рыцаря. Как часто бывало, Виолетта опередила ее и уже забрала у него сумку с книгами и зонтик. Хамфри поцеловал жену и пошутил насчет ее полнеющего стана, что ей совсем не понравилось.

---

[24] Примечания: 24
Здесь: в разгаре событий *(лат.)*.

Хамфри отправился к себе в кабинет, чтобы просмотреть письма. Их набралась изрядная стопка: некоторые пришли неделю или две назад, другие только вчера. Олив села в кресло с плетеной камышовой спинкой в углу кабинета. Ей не хотелось возвращаться к прерванной работе, и в то же время было слегка досадно, что ее прервали.

Хамфри читал письма, улыбаясь про себя. Он засовывал их обратно в конверты — все, кроме счетов. Из очередного конверта выпала газетная вырезка. Хамфри прочитал ее и застыл. Олив спросила, что случилось, и он протянул вырезку ей.

«Финансист найден мертвым. Обнаружен на вокзале с перерезанным горлом». На мгновение Олив решила, что это Бэзил покончил с собой, — так потрясен был Хамфри. Но это оказался не Бэзил, а «Фредерик Оливер Хит, 38 лет, брокер с фондовой биржи. Последние три недели он лишился сна из-за проблем, вызванных потерей больших денежных сумм…»

— Ты знал его лично? — спросила Олив.

— Нет, но я знаю, что у него были неприятности из-за кафрских дел. Я многое знаю, чего большинство еще не знает. Я уверен — всегда

был уверен, — что Бэзил слишком глубоко увяз в грязи, намешанной Барнато, хотя, пожалуй, грязь — нечто слишком плотное, тут скорее подойдет «мутная вода», мутное облако умолчаний, сокрытий, ловких трюков и обещаний, которые никто не собирался выполнять. Бэзил, скорее всего, не продал акций, в том числе потому, что не хотел признать мою правоту… я знаю Бэзила. Нужно дать ему телеграмму. Я возьму двуколку и пони. Прости, дорогая, я только пришел и сразу…

Хамфри был неподдельно расстроен и одновременно наслаждался драматическим поворотом событий, подзаряжаясь от них энергией. Он вышел, крикнув Виолетте, чтобы велела слуге запрячь пони, чтобы подала плащ…

Олив осталась сидеть в кабинете, обдумывая полезные слова: грязь, мутный, тусклый. Крысы были грязные, а их царство — мутное и тусклое. Олив на мгновение вспомнила и тут же отбросила рассказы Питера и Пити про крыс, пожирающих «тормозки» и похищающих свечи шахтеров. Она стала прибирать бумаги Хамфри, и случайно ее взгляд упал на письмо, над которым Хамфри улыбался. Оно начиналось словами: «О мой дорогой!»

Олив перевела взгляд на подпись. «Твоя (боль-

ше не дева!) Мэриан».

«Я не дура, — сказала про себя Олив. — Гораздо разумнее не читать это, раз оно не мне адресовано».

Но прочла.

О мой дорогой!

Тебя не было так недолго, но этого довольно, чтобы все изменилось, чтобы весь мир одновременно опустел и наполнился. Поистине я не знаю, кем я была и как жила до того, как впервые увидела и услышала тебя. Нынешняя я родилась, когда ты говорил о дивном равенстве беседующих влюбленных в «Много шума из ничего», о том, как могут любить, неведомо для себя, мужчина и женщина, и о том, как редко влюбленные в литературе чувствуют себя друг с другом непринужденно. Я думала, что научу этой мудрости своих учеников, и не видела, пока не стало слишком поздно (и да будет благословенно это промедление), что глубочайшее желание моего сердца было — достигнуть этой непринужденности с тобой, с твоим подлинным «я».

Да, я оспаривала твои идеи публично, но лишь в поисках этой легкости, при которой можно высказывать что угодно. А когда ты говорил о другом — когда я почувствовала, что ты ценишь мою личность, когда впервые в жизни (пусть иллюзорно, пусть против воли) почувствовала себя красивой и желанной — я стала твоей рабыней, навечно. Хотя и не могу представить, чтобы ты стремился к роли хозяина — ты в первую очередь друг, во вторую — возлюбленный, а я… я сияю от радости.

Мой милый, предыдущую часть письма я написала вчера. Пока ты был здесь, я не говорила, что мне нездоровится, ибо не хотела терять зря ни один миг нашего тайного, столь редкого и драгоценного времени. Но мне в самом деле нездоровилось, и теперь я знаю причину — самую естественную на свете, и подлинно причину для радости, по крайней мере для меня. Я буду Матерью. Я ничего не прошу у тебя — ни помощи, ни совета, — я независимая женщина и надеюсь таковой остаться. Если все будет хорошо и непринужденность между нами сохранится в этих новых обстоятельствах — я хотела бы, чтобы мой ребенок каким-то образом знал своего отца, хотя вовсе не для того, чтобы просить о материальном. О мой дорогой! Конечно, мне страшно, но я весьма изобретательна и не возложу на тебя лишнего бремени, поверь мне, — я лишь молю, чтобы, если это не стеснит никого из нас, мы продолжали видеться.

Твоя (больше не дева!) Мэриан

Олив снова сложила письмо и несколько раз

чертыхнулась. Плохо, очень плохо. Эта женщина — не какая-нибудь легкомысленная пустышка, она что-то собой представляет. Она в чем-то похожа на Олив: Хамфри для нее настоящий, живой человек; она, как написано в письме, может быть с ним непринужденной, и это должно означать, что и он так же непринужденно себя чувствует с ней. Какая-то учительница, посещавшая его лекции о Шекспире. Хамфри, несомненно, несет определенные моральные обязательства перед этой женщиной, несмотря на ее заверения в обратном и его финансовое положение.

— Черт, — снова сказала Олив, начиная сердиться, подпитывая пылающий в сердце огонь. — Черт, черт, черт.

Она совершенно искренне беспокоилась за неизвестную женщину, оказавшуюся в таком положении. Разумеется, Хамфри обязан предложить ей помощь, это его долг. Олив слишком хорошо знала то особое чувство защищенности, непринужденности, которое он пробуждал в женщинах — она и сама любила его за это. Олив считала, что это особое качество завоевателя, умение находить всех женщин подлинно интересными — еще более редкое, чем способность Дон Жуана покорять одну женщину за другой.

Если бы Хамфри вернулся домой сейчас, Олив бы, наверное, обняла его, горестно улыбаясь, и вновь убедилась бы, что привлекает его, занимает главное место в его сердце… в чем у нее, по правде сказать, до сих пор не было причины сомневаться. Но Хамфри в нужный момент не вернулся, и Олив преисполнилась обиды. Она принялась почти мстительно читать остальные письма, лежащие на столе, и обнаружила две отвергнутые статьи. «Очень остроумный анализ событий, но столь проникнутый точкой зрения автора, что мы не можем опубликовать его как выражение точки зрения нашего журнала». «Очень интересно, как всегда, но, боюсь, мы не можем выделить место для статьи, интересной лишь узкому кругу читателей». Олив ощутила тревогу: ей следовало бы сейчас зарабатывать деньги, сочиняя сказку о маленьком принце и злобной жирной крысе, а не стоять тут, тратя время на обдумывание грешков Хамфри или еще чего похуже. Над «Жабьей просекой» нависла угроза. «Черт», — сказала Олив.

Ко времени возвращения Хамфри Олив вибрировала, гудела от злости, словно юла с жужжалкой. Вслед за Хамфри вошла Виолетта, на ходу отбирая у него плащ и шляпу.

— Я послал телеграмму, — сказал Хамфри. —

Думаю, мне следует поехать повидать Бэзила. Я совершенно уверен, что знаю нечто весьма серьезное, чего он не знает. Дождусь ответа на телеграмму и поеду. Если сети Барнато начали рваться, это будет иметь далекоидущие, ужасные последствия… И я знаю, что это случится, вопрос лишь в том, когда…

— Ты можешь поехать повидаться с Мэриан… — сказала Олив.

— Не говори глупостей, она в Манчестере, — сказал Хамфри, голова которого была полностью занята золотыми рудниками и братьями.

Он понял, что выдал себя, посмотрел на жену, перевел взгляд на рассыпанную кучу писем. Улыбнулся обычной хитрой, проницательной улыбкой: реакция Олив его *заинтересовала.*

— Туше, — сказал он. — Уж ты-то должна знать, что не следует читать чужих личных бумаг. Ты прекрасно понимаешь, что это несерьезно. Не имеет никакого отношения к нам с тобой. Поэтому тебе не следовало бы унижаться до чтения чужих писем.

Он потянулся, чтобы приласкать Олив, и она сбросила его руку.

— Это имеет отношение ко мне, да еще какое! Мы потеряем «Жабью просеку», если не зарабо-

таем денег и не перестанем плодить голодные рты. Я работаю не разгибаясь, мне приходится в одиночку содержать все хозяйство, я больна, мне страшно, мне следовало бы отдыхать…

— Деньги, — сказал Хамфри. — Деньги или половые отношения, что важнее в браке, что скорее может вызвать раздоры и повредить отношениям мужа и жены? Интересная проблема…

— Это не интересная проблема, это моя жизнь! — закричала Олив. До сих пор обоим было неясно, состоится ли чудовищная ссора, или ее еще можно избежать. Теперь стало понятно, что ссора неизбежна, оставалось только разделаться с ней побыстрее. Олив обхватила руками своего нерожденного младенца и заорала, как оперная торговка рыбой. Хамфри мог бы попытаться ее успокоить или попросить прощения — но тогда ему в любом случае пришлось бы отбросить позу иронично-отстраненного наблюдателя, спокойного и уверенного в себе. Он никогда не уходил в защиту. Если ему угрожали, он всегда нападал.

— Послушай себя, — сказал он. — Ну разве можно взрослой женщине так орать? Я думал, ты стала культурным человеком, но ничего подобного, ты бранишься, как прислуга или прачка…

Их ссоры были разными — по-разному склады-

вались циклы упреков и ответных упреков, удары наотмашь, рассекающие самую ткань брака. Эта ссора была особенно длинной и жестокой.

Том, Дороти и Филлис стояли на лестнице, готовые в любой момент броситься наверх, укрыться в спальнях. Они услышали те же фразы, что и всегда.

— Я всегда старался любить всех твоих детей одинаково, ты не можешь сказать, что это не так. Это было непросто, что бы ты там ни думала. А ты мне даже спасибо не сказала.

— Я то же самое могу сказать. Меня нельзя упрекнуть в том, что я делю детей на твоих и своих. У каждого из них есть свое место, они равны, ты должен это признать.

Дороти закрыла лицо руками. Из всех детей в семье именно она интересовалась человеческой анатомией. Она очень хорошо представляла себе, откуда берутся дети. Не знать, кто твой отец, очень просто. Гораздо труднее не знать, кто твоя мать, хотя и это возможно — Гризельда рассказала ей о том, как светские женщины иногда подсовывают в семьи подменышей. В некоторых деревенских семьях была сложная структура, в которой перемешивались бабушки, матери,

тетки и старшие сестры: ребенок мог вырасти, считая свою мать своей старшей сестрой, а бабку — матерью. Дороти точно знала: иногда рожают девушки едва старше ее самой. Но здесь? Кто, как? Виолетта любила называть себя «их настоящей матерью», но, насколько понимала Дороти, Виолетта говорила так именно потому, что матерью не была, дарила материнскую любовь с позиций нематери, незамужней тетушки. Ведь всегда видно, кто мать, видно, у кого в животе растет ребенок.

Что было странно, определенно странно, так это принятый у них в семье обычай отсылать всех детей прочь перед рождением нового ребенка. Дороти еще ни разу не присутствовала дома, когда кто-нибудь рождался. Она была у Гризельды или уезжала к морю с какой-нибудь семьей, с которой они были знакомы домами. Дороти ощутила неясную угрозу. Чья же она дочь? А кому она — не дочь? Она почти бессознательно слегка отгородилась от родительской любви. Придется хитрить. Она не будет вкладывать слишком много душевного жара в любовь к родителям, к людям, исполняющим обязанности ее родителей, на случай, если эта любовь окажется несоразмерной, невзаимной, отец — не отцом, мать — не

матерью.

Том не мог думать отчетливо. Он чувствовал, что его мир под угрозой. Его миром была «Жабья просека», пронизанная светом от лесов и лужаек, лет и зим, золотых и морозных, и еще пронизанная насквозь паутиной материнских сказок, чьи эмалевые цвета и чернильные тени, потайные двери и летучие звери придавали реальной «Жабьей просеке» сходство с белым гипсовым макетом, всего лишь моделью дома, поддерживающей иной, переменчивый мир, куда вел подземный ход. Том не представлял — и даже не мог бы представить, сколько ни старайся, — что Олив может не быть его матерью. Он даже и пробовать не стал. А Хамфри был Хамфри, и он тоже был всегда. Том боялся, что все внезапно окажется декорацией, картоном и гипсом, но боялся как-то в глубине души и в самых потайных закоулках мозга. Он не мог бы обратить этот страх в слова.

Филлис разобрала не все слова, которые кричали родители. Она смотрела на Тома и Дороти, чтобы понять, как ей реагировать. Они были расстроены. Почему? И взволнованы. Чем? Она, как обычно, осталась в стороне — слишком глупая и невинная. Она подергала за руку Тома — он

был добрее Дороти — и спросила: «Что такое, что такое?» Это был бессмысленный вопрос, который остался без ответа. Дороти сказала: «Смываемся, а то нас увидят», и быстро пошла на цыпочках вверх по лестнице. В это время крики в кабинете стихли. Дети никогда не опускались до подглядывания сквозь замочную скважину и потому не видели Хамфри и Олив, сплетенных в объятии, — она прижала тяжелое чрево к его брюкам, уткнулась головой ему в плечо, его рука все поглаживает ее струящиеся по спине волосы, а на узких губах играет улыбочка.

На следующий день Хамфри велел мальчишке-конюху запрячь с утра пораньше повозку и отвезти его на станцию. Вдруг появилась Олив, полностью одетая, в пальто и шляпе, — обычно она поднималась с постели гораздо позже. Она сказала, что собирается навестить Проспера Кейна. Ей нужно оживить сюжет с приключениями музейного клада. Им заинтересовался издатель, Джон Лейн. Хамфри улыбнулся, подсадил ее в повозку, и они выехали со двора, дружелюбно болтая. Хамфри прекрасно понимал, что Олив хочет восстановить равновесие в их отношениях, посетив человека, который к ней явно неравнодушен. Еще он виновато понимал, что

беспокойство жены из-за семейных финансов, ее ощущение, что она своим писательским трудом содержит всю семью, ее страх, что будущие роды могут повредить благополучию семьи — действительно тяжкое бремя для нее, как бы она ни дразнила его, Хамфри, своей независимостью и ролью добытчицы.

Том, Дороти и Филлис смотрели, как они уезжают.

— Кажется, с *этим* они более или менее разобрались, — сказала Дороти.

— Правда, правда? — воскликнула Филлис, и ей никто не ответил.

— Если он помирится с дядей Бэзилом, меня точно отправят в школу, — сказал Том.

— Кто знает — может, тебе там понравится, — сказала Дороти, которая прекрасно знала, что Тома приводит в ужас сама мысль о том, чтобы спать и есть в одном помещении с дикими — как считала она и была уверена, что так же считает и он, — мальчишками.

— А может, и нет, — сказал Том, награждая ее тычком под ребро. — Пойдемте в древесный дом.

Тайное убежище успокаивало и дарило силы, даже в мокрядь поздней осени, даже в начале зимы. Теперь, когда все листья облетели, дом было

проще найти, но его все еще защищали охапки естественно выглядевшего папоротника, заткнутые в щели, и низко нависающие вечнозеленые ветви сосны. Филлис шла, как обычно, приотстав на три шага. Все молчали. Том, словно наяву, видел в соседней рощице призрачную лошадь и всадника в плаще. Дороти рассматривала столбики ворот, на которых лесник прибил рядами окоченелые трупики — измочаленных ворон, растянутых куниц, крохотных и жалких бархатных кротиков. К несчастью для Олив (которая об этом понятия не имела), Дороти ассоциировала «свою» сказку о человекоподобных зверьках, обитателях лесов, лугов и подземных нор, с этими умерщвленными хищниками-вредителями. У Дороти была с собой кожаная сумка, в которую она складывала «экземпляры», осторожно отцепив их от ворот, чтобы потом вскрыть и исследовать. Дороти не спрашивала себя, знает ли Олив, что дочери не нравится «ее» сказка. Дороти по натуре была молчалива и видела, что мать приходит в восторг от собственных творений, так что вряд ли нуждается в отзывах человека, назначенного читателем. Дороти не очень любила чтение, хотя была очень умна и читала хорошо. У нее была одна любимая книга, которую она носила

в кармане, так как та вызывала у нее мрачное веселье. Книгу прислали Олив из «Английского иллюстрированного журнала» на рецензирование вместе с кучей детских книжек и сказок, хотя эта книга никак не относилась ни к тем, ни к другим. Книга называлась «Стишки для детей от матери-природы, на сон грядущий», и принадлежала перу Герберта Метли. Бойкие «стишки» с прыгающим стихотворным размером повествовали о созданиях, которые, будь они людьми, показались бы величайшими злодеями. Самки пауков и богомолов с аппетитом хрустят питательными конечностями своих еще живых партнеров. Кукушка, великая обманщица, откладывает яйца в камуфляжной раскраске в чужие гнезда (мать-природа — большая затейница: яйца кукушки по узору не отличить от собственных яиц пеночки) и улетает беспечно куковать на ветвях, а ее трудолюбивый тощий птенец, головастый слепыш, выпихивает из гнезда крохотных пеночек, одну за другой, и остается один, и вырастает в огромное чудовище, больше самого гнезда. Наездник откладывает изящной формы яйца под кожу личинкам жука, и маленькие наездники постепенно высасывают личинок досуха, те для них словно ходячие кладовые со съестными

припасами. Дороти показала книжку Тому, но он отмахнулся. Он был не из тех мальчиков, которые отрывают разным тварям ножки и крылья. Дороти сказала:

— Это хорошая книга, потому что мир действительно такой. Потому эта книжка смешная, а значит, умная.

— *Какой* мир, какой он, что ты хочешь этим сказать? — спросила Филлис, но ей никто не ответил.

12

Проспер Кейн был счастлив, что его отвлекли от бед Музея, и не кто-нибудь, а Олив Уэллвуд. Музей дружно атаковали журналы и газеты — они критиковали передвижные выставки, негодовали по поводу приобретенных фальшивок, включая блюдо Палисси, а главное — жаловались, что просвещение Британии в области искусства «идиотическим и необъяснимым образом отдано на откуп солдафонам». Музей свели до положения богадельни при армии. Нынешний директор, профессор Миддлтон — вовсе не военный, а сдержанный, необщительный ученый из Кембриджа — сильно не ладил с генерал-майором сэром Джоном Доннелли, главой Управления науки и искусства. Кроме того, Миддлтона преследовал раздражительный эстет Джеймс Уил, глава Библиотеки искусств. В воздухе висела враждебность, и Проспер Кейн тратил кучу времени на метания между несовместимыми людьми, предлагающими неприемлемые вещи. Кейну некому было пожаловаться на жизнь, ему было одиноко. Ему приятно было видеть теплую улыбку миссис Уэллвуд, полную восхищенного

уважения, приятно, что его попросили рассказать какие-нибудь истории из музейных будней и поделиться практической информацией — это было несложно и грело душу. Широкое платье фасона «либерти» не скрыло от Кейна, что миссис Уэллвуд в положении. В каком-то смысле, как ни странно, это обезопасило Кейна, позволило ему признаться самому себе, что миссис Уэллвуд его привлекает. Она была как прекрасная статуя или картина, хотя, конечно, он не мог высказать этого вслух. Она остановила на нем взгляд влажных темных глаз, и Кейн расслабился и улыбнулся ей в ответ. Он спросил, как подвигается история про детей-сыщиков. Олив ответила, что строить детективный сюжет очень интересно.

— Понимаете, майор, любой сюжет, особенно детективный, приходится ставить с ног на голову. Он строится задом наперед, как отражение двух зеркал друг в друге. Если можно так выразиться, конец порождает начало. Мне нужно, чтобы смышленые дети обнаружили спрятанное сокровище, и *поэтому* мне нужно знать, кто спрятал эти сокровища, где и почему. Но на самом деле их кто-то спрятал для того, чтобы потом кто-нибудь их нашел.

Проспер сказал, что никогда не думал о сюже-

тах в таком аспекте. Он спросил, помогает ли ей писать о детях ее собственный материнский опыт. Выразил опасение, что не очень понимает мысли и чувства детей, хотя у него их двое.

Олив понизила голос и наклонилась к нему поближе:

— Знаете, это общее место, но детские писатели должны сохранить в себе ребенка, в самой глубине души, сохранить детскую свежесть чувств и способность удивляться миру.

— Вы пишете, прислушиваясь к голосу своего внутреннего ребенка? Не знаю, жив ли мой во мне. Военная жизнь и музейная работа не способствуют непосредственности чувств.

— Я открою вам секрет. На самом деле я не люблю придумывать несуществующих детей. Мне ужасно скучны их мелкие споры и их невинность. Я думаю, что ребенок, до сих пор живущий во мне, родом из страны эльфов — не страны фей в розовых кисейных юбочках, но гораздо более опасного и дикого места. Мне нравится наблюдать за невидимыми созданиями и странными тварями, прокрадывающимися в наш мир с той стороны, если можно так выразиться. Я бы хотела написать «Смерть Артура» или «Базар гоблинов», а не «Тайну пропавшей шкатулки». Но мои чи-

татели ненасытны, они жаждут новой встречи с юными умниками, которые ищут, находят, а в промежутках попадают в комические приключения. Я стараюсь не разочаровать читателей.

Она засмеялась. Сказала, что слишком разговорилась о себе, извинилась и пообещала вернуться к вопросам по делу. Проспер Кейн сказал, что с удовольствием слушает, как она говорит о себе. По правде сказать, ее труд — и сама она — его чрезвычайно интересует. Кейн выразил надежду, что Олив будет и далее относиться к нему как к другу и говорить с ним свободно.

— Большинство разговоров, которые мне приходится вести, — объяснил Кейн, — формальны, скучны и трудны.

Олив сказала, что она этому не верит, а если это правда, то очень жаль, и это следует исправить.

Но что бы они сказали дальше, так и осталось неизвестным, поскольку их прервала Флоренция: она обнаружила Геранта Фладда, в полном одиночестве блуждавшего по Южному дворику. Она позвала Геранта на чай. Он сказал, что и правда надеялся ее встретить, потому что собирается с духом, чтобы кое о чем попросить ее отца…

Проспер приказал подать чай, и чай подали. Олив разглядывала Геранта. Пятнадцатилетний

— Флоренция, на два года моложе его, в скромной саржевой юбке и полосатой блузке казалась юной дамой, старше своих лет. Одет кое-как — в сильно поношенные бриджи и потертую куртку с поясом, манжеты не прикрывают запястий. Загорелый (как цыган, подумала Олив), с изящным ртом, на щеках сквозь загар просвечивает багровый румянец. Сильно отросшие волосы вьются как попало — он похож на Пана, думала Олив, дикий мальчишка, замаскированный под обычного, настоящего. Интересно будет вставить такого в сказку. Герант боялся, и в то же время его переполняла решимость — Олив видела это по тому, как он хмурился над чашкой, наблюдая поверх ее края за майором Кейном. Герант не знал, как сказать то, ради чего он пришел. Олив это видела, и Флоренция тоже. Флоренция произнесла:

— Папа, Герант хочет тебя кое о чем попросить. Он специально за этим приехал.

— Выкладывай, — сказал Проспер, исполненный необычного благодушия — ему приятно было и присутствие Олив, и то, что момент их близости прервали, а значит, продлили.

— Это очень трудно, — сказал Герант. Он хотел попросить майора Кейна помочь с продажей отцовских работ, чтобы мастерская могла опять

встать на ноги. Но он не мог сослаться на ужасающую бедность семьи, не должен был выдавать тайну — еще и потому, что это означало капитуляцию. Если Герант так поступит, майор Кейн будет о нем очень плохого мнения.

Олив наблюдала за тем, как мальчик мучительно ищет нужные слова. Она уже обдумывала, как бы половчее превратить его в одного из своих детей-сыщиков — ей очень полезно будет изучить такое взрослое чувство ответственности у ребенка. И румянец, и скрытность. Она сказала:

— Кажется, ты… или твои родные… смогли помочь тому мальчику, которого я видела, когда была здесь в первый раз, — беглецу, которого Том и Джулиан нашли в подвале. Как он поживает? Он замечательно рисовал. Он все еще у вас?

— Да, у нас. Да, я в том числе и поэтому приехал. Он помогает моему отцу… работает с моим отцом… они снова запустили печь для обжига и сделали кучу всяких вещей, которыми отец, кажется, по правде доволен. Я хотел вас попросить… попросить… приехать и посмотреть на вещи, которые они делают.

Герант поколебался.

— Мои родители очень непрактичные. Я иногда думаю, что мы — самая непрактичная семья в

Англии. Никто из них не думает…

Герант отчаянно заозирался. Проспер, Олив и Флоренция смотрели на него вежливо, как бы приглашая продолжить.

— Никто не думает, сэр, как бы что-нибудь продать или попросить кого-нибудь приехать посмотреть на то, что они уже сделали. Моя мать и сестры — очень творческие натуры. — Герант не хотел этого, но в слове «творческие» явственно прозвучало презрение. — У нас работал этот Доббин, вы его знаете, он был на празднике Летней ночи и на кукольном представлении… он хотел помочь моему отцу и устроить у нас в усадьбе какую-то школу или коммуну… у нас куча места, могло и получиться. Но он не мог помогать отцу… говорят, он неспособный… и отец все время на него сердился, так что он уехал жить к священнику. Но он сказал, что вы сказали, что мой отец гений, и что в Музее выставлены его работы, и я подумал… я подумал, что вы, может быть, знаете, что нам делать дальше. Ну, или хотя бы приехать посмотреть на наши новые работы. Филип по правде нравится моему отцу — я никогда раньше не видел, чтоб отец так работал.

Герант замолчал. Снова покраснел. Олив подумала, что его румянец очарователен.

— Дело в том, что… никому и в голову не приходит платить Филипу. Это неправильно. Кажется, никто, кроме меня, об этих вещах вообще не думает… о том, кто будет покупать наши горшки, и откуда мы возьмем деньги на… на глину, и химикаты… и… и на еду, — торопливо выговорил он. — Извините, — сказал он, окончательно залившись краской и страшно жалея, что упомянул про еду.

Проспер Кейн принял подобающе серьезный вид. Флоренция положила Геранту кусок пирога.

— Я приеду в Рай. Возьму с собой Флоренцию и Джулиана, у него каникулы, и приеду посмотреть ваши новые работы, и подумаю, как тут лучше всего поступить. Твой отец действительно гений и действительно непрактичен, как многие великие люди. Как ты думаешь, лучше сначала написать или просто взять и приехать?

— Написать, — ответил Герант, — только неопределенно как-нибудь. И не говорите ему, что я приезжал.

— Конечно, нет. Я приеду в следующие выходные, когда у Джулиана будут каникулы. Как бы между делом.

— Можно и я приеду? — повинуясь порыву, спросила Олив. — Мне тоже ужасно хочется по-

смотреть на новые работы. Вдруг я смогу помочь. Или вдруг Хамфри сможет, он знаком со всякими там финансистами. Я могу взять с собой Тома и Дороти, это будет прелестная поездка…

Проспер сказал, что будет счастлив, если она приедет. Герант хотел сказать, что от нашествия толпы гостей у отца может испортиться настроение, но подумал и решил, что добился всего, на что только мог надеяться, и лучше этим удовлетвориться. Олив прочитала его мысли по лицу.

— Мы не собираемся беспокоить твоего отца, не будем бросаться на него все сразу. Просто посмотрим издалека и попытаемся понять, чем мы можем быть полезны. И на море посмотрим, мне так хочется снова увидеть море.

Герант улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— А ты? Что ты сам хочешь делать? Ты тоже творческая натура?

— Боже сохрани, — ответил Герант с неожиданной злостью. — Нет, мне этого не досталось ни капли, можно подумать, что я подменыш. У меня руки как будто не оттуда растут, и вся семья говорит, что я совершенно лишен художественного вкуса.

— Тогда чем же ты хотел бы заниматься?

— Чего я хотел бы… — сказал Герант, рассла-

бившись после совершенного им подвига, — чего я хотел бы, так это зарабатывать кучу денег и жить безбедно. Я хотел бы работать в банке, или что-нибудь такое, но не знаю, с чего начать.

— Для начала спроси моего мужа, — сказала Олив, обожавшая дарить подарки. — Он, правда, бросил работу в банке, но хорошо знает, что нужно делать, чтобы найти такую работу. Спроси его, когда будешь точно знать, чего хочешь.

— О, я точно знаю. Я все время об этом думаю. Я совершенно уверен.

13

Кейны и Уэллвуды из «Жабьей просеки» приехали в Рай и остановились в гостинице «Русалка». Шторма и холода вдруг сменились ясной, солнечной и даже теплой погодой. «Лето святого Мартина», — сказал Бенедикт Фладд, которого пригласили отобедать в отдельном кабинете «Русалки» вместе с Серафитой и детьми. На третьей неделе ноября часто выдается такое обманчивое лето — и тогда хочется думать, что лето будет всегда. Проспер распорядился по-военному. Он заказал жареного гуся с луковым соусом и горой жаренной в духовке картошки и моркови в масле, за которыми должен был последовать огромный яблочный пирог со взбитыми сливками. Гости приехали поездом; компания, явившаяся из «Жабьей просеки», включала в себя Тома и Дороти; Виолетта осталась присматривать за младшей половиной семьи. Проспер сказал Флоренции, что после обеда вся молодежь должна пойти прогуляться — может быть, вдоль берега в Димчерче, поскольку погода так и шепчет. Кейн объяснил, что хочет поговорить со своим старым другом так, чтобы им никто не мешал. Фладды были

голодны; еда была обильна и утешительна. На конце стола, отведенном молодежи, Герант разговаривал с Джулианом, который изучал лицо Тома, сидящего напротив. Дороти разговаривала с Флоренцией о школах. Флоренция в следующем учебном году должна была отправиться в Куинз-колледж на Харли-стрит. Дороти не знала, что будет с ней самой, но знала, что Тома натаскивают на поступление в несколько школ сразу.

Серафита, Имогена и Помона безмятежно улыбались. Фладд заговорил о святом Мартине, святом Мартине из Тура, который был римским солдатом и отдал свой плащ нищему. Святого Мартина часто рисовали с огненным шаром или с гусем, так как шар и гусь иногда летали по воздуху на празднестве этого святого. В церкви Св. Мартина в Паксти был хороший витраж с очень удачным изображением огненного шара.

Филипа на обед не позвали, да он на это и не надеялся. Он взял хлеба и сыру и пошел, раз выдалась не по сезону хорошая погода, на долгую прогулку. Он отправился к своей любимой церкви на Болотах — крохотной кирпичной церквушке Св. Фомы Бекета возле Фэрфилда. Филип считал эту церковь своим личным достоянием; он мало что знал о Бекете и понятия не имел, что церковь

стоит на родовой земле Бекетов. Филип никогда не видел такой уединенной церкви. Она стояла посреди заливных лугов, расстилавшихся на много миль вокруг, — на лугах жирные овцы деловито щипали солоноватую траву. К церкви не вела ни одна дорога, а от церкви не видать было ни деревни, ни большака — лишь Болота и погоду. Зимой Болота часто заливало водой, и тогда казалось, что церковь загадочным образом плывет по водной глади, в солнечные дни отражаясь в темной сияющей поверхности, в штормовые — терпя удары воющего ветра и залпы водяной пыли. Филип пробирался по кочкам болотной травы, потому что под ногами хлюпало и между кочками стояла вода. Добравшись до церкви, он оглядел бескрайнее небо, плоский горизонт, бесконечные на вид, усеянные овцами поля и ощутил спокойствие. Он думал не словами. Он просто замечал. Как клюет утка. Какими неуклюже прекрасными и почти увечными выглядят длинные ноги цапли, когда она взлетает, а они тащатся следом. Как бьется в грязи рыба. Какие узоры рисует ветер.

Он долго сидел на камне во дворе церкви, не думая ни о чем. Время текло так медленно, что у Филипа не было причины вставать или куда-то

идти.

На тропе, ведущей из Фэрфилда, появилась едва различимая фигура. Обрисовался силуэт женщины — в юбке, волосы перевязаны платком, в руке что-то вроде чемоданчика. Она остановилась, прислонилась к воротам, прошла еще несколько шагов, мешком рухнула на землю и осталась лежать. Филип встал и направился к ней по болоту, чувствуя, что она, эта другая личность, разделившая с ним уединение, одновременно вторгается в его пространство и нуждается в помощи.

Он дошел до нее не сразу. Пока он шагал, прыгал с кочки на кочку, порой увязая в трясине, женщина не шевелилась.

Она то ли потеряла сознание, то ли умерла. Упала она аккуратно, сжавшись в комок, уронив лицо на протянутую руку, а картонный чемоданчик — в мокрую пыль неподалеку. Филип встал на колени. Ему не хотелось, чтобы она оказалась мертвой. Он взял ее за плечо и слегка повернул лицом к себе. Лицо было грязное, губы слегка потрескались, глаза были закрыты. Ноздри и губы дрожали: женщина дышала. Ветерок играл концами цыганского платка, который казался куда живее своей хозяйки. На женщине была войлочная жакетка, сбившаяся комом над серой

юбкой. Лодыжки распухли, туфли запылились и потрескались. Женщина явно шла издалека.

Филип сел на корточки в придорожную траву рядом с женщиной и взял ее за руку, из вежливости. Он склонился над женщиной и тихо спросил на ухо:

— Чем вам помочь? — а потом: — Вам плохо?

Она слегка вздрогнула, пошевелилась и ненадолго открыла глаза, глядя мимо головы Филипа, которого не могла разглядеть против солнца. Однако при этом женщина произнесла его имя:

— Филип Уоррен.

Филип застыл.

— Я ищу Филипа Уоррена, — сказала она. — Я все время сбиваюсь с дороги.

Филип отвел с лица платок и волосы, мысленно перебрал черты лица и понял, что это — его сестра Элси. Элси, годом старше Филипа, была его любимой сестрой, из всей родни именно ее ему когда-то труднее всего было покинуть. Он произнес:

— Элси. Это я. Я Филип.

— Я не вижу тебя против солнца. Я все время сбивалась с дороги. Я шла, шла, шла — и ни людей, ни жилья. Что ты тут делаешь?

Филипа на краткий миг охватило раздраже-

ние.

— Скажи лучше, что ты тут делаешь. Ты можешь сесть?

Он потянул ее, уже не бережно, а бесцеремонно, как родственник. Она села, поправила юбки и вытянула перед собой страшные ноги. Она всегда была чистюлей, мылась сама и стирала одежду, насколько это было возможно.

— Мамка померла, — сказала Элси. — Я пришла, чтоб тебе сказать про это.

— Мне никто не написал.

— Ты ж не подписывал адреса на своих открытках. Небось не хотел, чтобы к тебе лезли. Но я подумала, тебе следует знать, что мамка померла. Тетя Джесси забрала всех остальных — кроме Нелли, та пошла в прислуги. Я решила, что долго не протяну и года не проживу в одном доме с тетей Джесси.

— Отчего она померла?

— Свинцовое отравление. Чего мы всегда ждали, то и случилось. Она звала тебя. Все время. Хотела, чтоб я отдала тебе ее кисти и минтонскую чашку, они у меня в этом чемоданчике. Я сказала, что найду тебя. Она знала, что я не выживу с тетей Джесси. И я тебя правда нашла, только вовсе не там, где ожидала.

Она говорила с какой-то упорной яростью, хрипя от пыли и жажды.

— Вот если б ты тогда не…

И вдруг она зарыдала, горячие капли потекли из-под плотно сжатых век, оставляя пятна на серых щеках.

Филип вроде и пытался думать о матери, и в то же время отказывался это делать. Он как будто увидел ее, худую и сутулую, но потом сердито вышвырнул эту картинку из головы.

Элси ответила на следующий, незаданный вопрос.

— На твоих открытках было написано «Ромнейское болото» и «Винчелси». Я пошла в Винчелси, и там кто-то сказал, если я ищу горшечников, где-то, в каком-то месте, которое называется Пэрчейз, живет сумасшедший горшечник. И я туда пошла, и сбилась с дороги, и вот.

— Пойдем-ка со мной. Идти ты можешь?

— Я же шла.

— Ага, и упала, я видел. Можешь встать?

— Придется.

Дорога обратно в Пэрчейз-хауз оказалась долгой и очень тяжелой. Время от времени Элси ненадолго всем телом повисала на Филипе, а затем хромала дальше, прямая, решительная.

Элси была худая, жилистая, с высокими скулами, голубыми глазами и решительным ртом, не сердитым, но неподатливым. Этой жесткости у нее раньше не было.

Филипу было стыдно за свои чувства. Главным было чувство потери — но Филип думал не о матери. Он думал о своем одиночестве. Чистым усилием воли он вырвался из Пяти городов и оказался в совершенно неправдоподобном месте, где никто не знал его, не знал, что он чувствует. Здесь важно было только его умение делать то, что он всегда хотел делать, и всегда знал, что хочет именно этого: создавать горшки своими руками. Он решил, что появление сестры отнимет у него что-то важное: она будет отзываться о нем уничижительно или, что не лучше, превозносить его перед этими людьми, которые помогали ему, но не интересовались его личностью, его душой. Потом он, шагая по проселочной дороге, теперь стиснутой двумя живыми изгородями, наконец подумал о матери, бедной женщине, которая всегда проигрывала и все потеряла, кроме искусства росписи, которое ее в конце концов убило, и выводка детей, которые могли умереть или страшно заболеть. Детей, слишком многочисленных для ее крохотного жалованья, отчего они росли тощими

и серолицыми, как Элси. Но у Элси есть сила воли, сказал себе Филип, яростно размышляя — это с ним нечасто бывало. У Элси есть сила воли, и, судя по всему, не хуже, чем у него самого.

И еще он подумал, что ему ничего не платят; он ничего не может дать Элси, ему придется побираться ради нее. Дело плохо.

По прибытии в Пэрчейз-хауз оба перепугались, обнаружив на кухне толпу народа. Там были все, кто присутствовал на обеде, — Проспер Кейн, Хамфри Уэллвуд, Бенедикт и Серафита, Олив. Молодежь сходила на прогулку к морю и вернулась с кучей набранных на пляже сокровищ — водорослей, раковин морских черенков и «крыльев ангелов», крабовых клешней и панцирей, кожистых полос морской капусты, бронзовых или выбеленных солнцем. Были тут и Артур Доббин с Фрэнком — их пригласили на чай, но не на обед. Серафита совершила титанический подвиг, приготовив безвкусный чай и подав его в разномастной фаянсовой посуде, так что ни одна чашка не подходила к блюдцу. Имогена испекла пирог, который просел посередине и разваливался при попытке разложить его на тарелки. Все стояли вокруг кухонного стола и смотрели на него, так что молодые Уоррены, войдя, увидели только

согбенные спины и услышали гул голосов. У Элси голова пошла кругом, и она ошибочно подумала, что Филип теперь вращается в светском обществе. Их заметила Помона и поспешила к ним с криком: «Вот он, вот он!» — и принялась гладить Филипа по руке. Все обернулись. Собравшиеся принялись рассматривать Уорренов.

— А, вот и ты, — произнес Бенедикт Фладд. — А мы тут любовались твоей работой. Тем, что ты сделал.

— Извините, — сказал Филип. — Это моя сестра, Элси, из Берслема. Она меня искала и нашла. Она пришла пешком. Шла всю дорогу из Берслема.

Собравшиеся осмотрели Элси. Шляпа Олив, с широченными полями, черная, украшенная алыми бантами и фруктами, повергла Элси в трепет. «Невероятно», — произнесла Олив. «Правда?» — сказала Серафита. Фрэнк Моллет заметил, что девушка сейчас упадет в обморок от усталости, что ее нужно усадить и дать ей чаю или, может быть, стакан воды. Доббин притащил стул и поставил у задней двери. Элси рухнула на стул. Все продолжали пялиться на нее. Серафита рассеянно налила чашку чаю, и Доббин вручил ее Элси. Элси вернула чай обратно: у нее слишком сильно дрожали руки, и она не могла держать чашку

изящно, как полагалось в обществе.

Всем почему-то стало ясно, что Серафита понятия не имеет, что делать, и ничего не предложит.

Оставались Олив, как взрослая женщина, и Фрэнк Моллет, как священник. Фрэнк переговорил с Олив, и они согласились, что нужно предоставить мисс Уоррен место для отдыха и, может быть, одолжить ей на время чистую одежду. Олив склонилась над Элси и сказала: как странно присутствовать при обнаружении двух беглецов из одной и той же семьи. Олив думала о том, какой замечательный получится сюжет: история девочки, которая прошла пешком половину Англии, чтобы найти своего брата. Олив улыбнулась Элси, продолжая ее внимательно разглядывать. Элси потом сказала Филипу, что в женщине со шляпой есть что-то ведьминское. Олив была счастлива заполучить такой сюжет, но где-то в глубине шевельнулась память о ее собственном бегстве от убогой жизни на севере. Филип не собирался объявлять этой толпе, что его мать умерла, и Олив не могла знать, что у нее в молодости и у этой девочки есть что-то общее. Но почувствовала это, почувствовала что-то такое, о чем не желала говорить.

По замыслу Геранта организовали выставку новых горшков и пары вариантов новых изразцов работы Филипа. Фладд позвал Филипа поговорить с Проспером Кейном о глазурях, о том, как Филип создает рисунки — на основе флоры Данджинесса, крамбе и ламинарии, комаров-долгоножек, фенхеля. Проспер со знанием дела говорил о глазурях, похвалил стальной сине-зеленый цвет и яркие, розовато-белые крылья на густо-красном фоне. Хамфри сказал, как все и надеялись, что на этих изразцах можно сделать состояние, если их правильно продвигать на рынке. Он бывал в галерее братьев Мартин на Браунлоу-стрит. Нечто в этом роде может помочь и мастерской Фладда. Герант сказал:

— В Рае куча мелких лавочек, там выставляются всякие поделки. Для такой прекрасной работы нужен особый магазин, гораздо лучше.

Хамфри сказал, что Герант правильно думает. Он тоже горшечник? Герант ответил, что нет, он хотел бы работать в банке или что-нибудь в этом роде, такая жизнь ему по душе. Хамфри улыбнулся. Он только что помирился с братом Бэзилом, который, как оказалось, послушался его предостережений насчет банка Барнато и кафрских акций. Действительно, многие друзья

Бэзила разорились или покончили с собой, а Бэзил теперь хотел выразить свою благодарность Хамфри и предложил полностью оплатить обучение Тома в частной школе. Хамфри посоветовал Геранту спросить совета у его брата, банкира. Он вызвался взять Геранта с собой и представить его Бэзилу, когда они оба окажутся в городе. Бэзил даст им совет, а может быть, и место найдет, со временем. Герант покраснел и поблагодарил.

Том сказал Джулиану, что следующим летом будет держать экзамены в Марло. Раньше по всему выходило, что ему туда не попасть, но теперь родители ищут репетиторов или подготовительный колледж. Сам Том вовсе не был уверен, что хочет этого. Джулиан посмотрел на Тома и подумал, что сроду не видал такого красивого мальчика. Том понравится в Марло. Но вряд ли Тому в Марло понравится. Джулиан думал, что сам запросто может влюбиться в Тома. Но вслух он лишь небрежно заметил, что Марло не такая уж плохая школа. Правда, неплохая.

Проспер Кейн сказал, что горшки — работа мастера, причем мастера в расцвете творческих сил. Он восхитился павлиньим блюдом, по которому были разбросаны золотые и серебряные яблоки, и сказал, что обязательно должен купить его — для

Музея, если сможет оторвать от сердца, и для себя в любом случае. Олив взяла в руки небольшой красный сосуд — полугоршок-полускульптуру, фигуру скрюченного черного демона с хвостом и тупыми рожками, поддерживающего чашу цвета пламени, с выгнутыми краями, которая была одновременно огнем и котлом.

— Этого вы мне просто обязаны отдать, — сказала она Фладду. — У него такое коварное лицо, он словно задумал какую-то гадость.

— Слепая удача обжига, — сказал Фладд. — Вон там стоит такой же, но у него лицо не проступило из глазури. У вас хороший глаз.

Он галантно склонился к руке Олив. Велел Филипу завернуть сосуд, но Олив не хотела выпускать его из рук и все вертела на свету у окна.

Фрэнк Моллет попросил Имогену по возможности найти какую-нибудь одежду для Элси Уоррен, потому что ее платье ужасно запылилось. И, если можно, воды, добавил он, дивясь пассивности и никчемности женщин семейства Фладд. Имогена выполнила просьбу, и Элси робко явилась обществу в черной юбке, метущей подолом пол, и в чем-то вроде домотканой верхней блузы, расшитой оранжевыми и бурыми хризантемами. И то, и другое было ей слишком велико. Имогена

не подумала ушить вещи или заколоть булавками. Элси была по-прежнему в потрескавшихся, пыльных башмаках, и волосы по-прежнему замотаны пыльным шарфом — она отказалась его снимать, так как знала, что голова у нее в ужасном состоянии. Фрэнк выразил надежду, что ей удобно. Она огляделась, словно защищаясь, а затем подоткнула юбку и принялась убирать со стола грязные чашки и блюдца. Элси нашла судомойню с раковиной. Собравшиеся продолжали беседовать. Элси вернулась и вполголоса спросила Филипа, где взять горячую воду и посудные полотенца. Элси нашла себе работу и поняла, что работа эта нужная. Фрэнк Моллет улыбнулся ей и поблагодарил, поскольку никому другому это, кажется, и в голову не пришло. Проспер Кейн и Хамфри говорили с Бенедиктом Фладдом о выставочных галереях и студентах. Джулиан беседовал с Томом. Дороти подошла к Филипу и сказала, что ей очень понравились его работы. Невероятно, как сестре удалось его найти. Как поживает их мама?

Филип взглянул в лицо Дороти — деловитое, участливое, с резкими чертами.

— Она пришла сказать, что она умерла, — ответил он.

Дороти сказала, что ей очень жалко. Ей действительно было жалко. Она представила себе, каково Филипу услышать эту новость, и подумала: он, должно быть, чувствует себя виноватым оттого, что его не было рядом.

— Ты же не мог знать, — сказала она.

— Я мог дать им свой адрес. И не дал.

— Знаешь, я думаю, что она все понимала.

Дороти не знала, сколько на самом деле понимают матери, но Филип был до того убит, что она хотела его как-то утешить.

— Уж не знаю, что она там понимала. Элси на меня зла. Она принесла мне мамкины кисти. Мамка велела отдать их мне.

— Вот видишь, она понимала.

Было это правдой или нет, но сказать это было нужно. Дороти продолжала:

— Конечно, Элси на тебя сердится. Но она пришла, чтобы помириться.

Филип был мрачен. Дороти помнила, как он ей раньше нравился. Она сказала:

— Эти изразцы. Они очень хорошие, ты знаешь. Как у тебя выходят узоры из живых, настоящих вещей. Так что этих комаров и фенхель можно увидеть, по-настоящему увидеть.

— Я по правде хотел делать горшки…

— Ну вот, и ты сам видишь, как тебе повезло. Тебя как будто судьба привела. Ты должен и дальше заниматься керамикой, никаких сомнений быть не может.

14

Вслед за летом святого Мартина пришла мокрая и суровая зима.

Конец золотого 1895 года был мрачен. В понедельник, 23 декабря, в «Жабью просеку» примчалось, взбежав по склону холма, все семейство Татариновых. Они размахивали телеграммой. Уэллвуды собрались в зале, уже украшенном к Рождеству зелеными ветвями остролиста и омелой. «Степняк погиб», — сказал Татаринов. Хамфри представились взрывы и предательские удары кинжалом. Татаринов плакал. Степняк действительно умер не своей смертью — может быть, случайной, а может быть, и нет. Он вышел на железнодорожные пути недалеко от своего дома, в Бедфорд-парке, и его переехал поезд, так что смерть была более или менее мгновенной. Поезд был местный и шел по одноколейке. Машинист свистел и тормозил, тормозил и свистел, но все напрасно. Трудно понять, говорил Татаринов, эмоционально размахивая руками и вытирая лицо, почему Степняк не ушел с путей. Может быть, у него застряла нога. Может быть, он не вынес тяжести горестей: своих личных и всего мира — и

решил окончить свою жизнь. Таких людей больше нет и не будет, говорил Василий Татаринов, пока семейство Уэллвудов распоряжалось насчет чая и пыталось помочь анархисту прийти в себя. Не будет, согласился Хамфри, мечтая, чтобы татариновские дети наконец перестали выть, а миссис Татаринов перестала так явно задыхаться от распирающих ее чувств.

Олив держалась за спинку стула: ей казалось невежливым садиться в такую минуту, но у нее болело абсолютно все. Она незаметно растирала пальцами раздавшиеся бока. Описанная Татариновым картина — изувеченное тело Степняка — напомнила ей о том, что скоро и ей предстоит пережить боль, а возможно, и смерть одного или двух человек.

Том как раз собирался к Татаринову на урок латыни. Он держал в руках «Энеиду» и тетрадь. Он попытался отвлечься от кончины Степняка, не воображать ее, но у него не получилось. Он видел: сверкающие рельсы простираются в обе стороны, и черная грохочущая махина, окутанная саваном пара, надвигается, налетает последним темным вихрем. Должно быть, все произошло стремительно. Должно было произойти стремительно. Движущаяся черная стена, открывается

плотный туннель. *Facilis descensus averno.*[25]

Степняка хоронили 28 декабря. Между тем успело прийти Рождество, Уэллвуды поставили елку, украшенную шарами, сияющую свечками, и попели хором — «Благая весть», «Ночь тиха». Съели двух жареных гусей и рождественский пудинг, круглый, окутанный простынями зловеще-синего пламени — словно пленный болотный огонек, подумала Олив и тут же сочинила сюжет про огненного бесенка, которого заставили работать в кухне загородного дома, а он перевернул ее вверх дном. После Рождества, перед неминуемо надвигающимися родами, детей постарше отправили встречать Новый год к старшим Уэллвудам, на Портман-сквер. Хамфри отвез детей в Лондон, доставил по адресу и присоединился к похоронной процессии Степняка, медленно двигавшейся от Бедфорд-парка к вокзалу Ватерлоо, откуда гроб должны были доставить в Уокингский крематорий.

С неба без устали моросила типично лондонская мутная дрянь. Гроб был усыпан сплошным слоем ослепительно-ярких цветов и перевязан

---

[25] Примечания: 25

Facilis descensus averno — В Аверн (т. е. царство мертвых) спуститься нетрудно. (*Вергилий.* Энеида, книга 6, стих 126. Перевод С. Ошерова.)

красными лентами. За гробом шли радикалы и революционеры со всех концов Европы. На вокзале Ватерлоо собрались сотни людей. Звучали речи на немецком, итальянском, французском, польском, идише. Толпа стояла больше часа, слушая лидеров социалистического и анархического движений — Кейра Харди, Эдуарда Бернштейна, Малатесту, князя Кропоткина и Джона Бернса, рабочего, профсоюзного деятеля, фабианца и члена парламента от радикальной партии по округу Баттерси, организатора всего этого мероприятия. Элеонора Маркс говорила как всегда — страстно и ясно; она сказала, что Степняк любил женщин, и женщины будут по нему скорбеть. Уильям Моррис, толстяк с одышкой, произнес речь от лица английских социалистов и заклеймил гнет царского режима. Это была последняя речь Морриса на собрании под открытым небом. Хамфри Уэллвуд отправился вместе с прочими скорбящими в Уокингский крематорий и скромно сел в заднем ряду, наблюдая с почти техническим любопытством, как гроб проходит через раздвижные дверцы в пламя. Позже Хамфри написал трогательную статью в журнал об этих похоронах, описывая международную скорбь и солидарность, общую растерянность, чувство

утраты, роднившее молчаливую мокрую толпу, терпеливо ждущую на перроне, и безутешно рыдающих людей у печи крематория.

На следующий день, 29 декабря, был праздник святого Фомы Бекета, священника-смутьяна и своенравного политика, сраженного во цвете лет у алтаря собственного храма. Другой своенравный и гордый политик, Джозеф Чемберлен, стал секретарем по делам колоний в новом консервативном правительстве. Он тайно поощрял Сесила Родса, премьер-министра Капской колонии в Южной Африке, в идее отправить своего друга доктора Старра Джеймсона с 500 солдатами на вторжение в бурскую республику Трансваль. Президент Трансвааля Крюгер решительно отказывался предоставить право голоса наводнившим республику биржевым спекулянтам и шахтерам, uitlander,[26] облизывающимся на кафрское золото. По пути в «Жабью просеку» Хамфри узнал о слухах, подтверждение которых ожидалось по телеграфу, и страшно пожалел, что нельзя остаться в Лондоне, следить за событиями, писать что-нибудь ехидное и остроумное по поводу охватившего англичан ура-патриотического

---

[26] Примечания: 26
Чужакам *(африкаанс).*

опьянения, столь непохожего на международную скорбь по Степняку. Фабианцы раскололись из-за имперского вопроса — некоторые, в том числе социалисты вроде Рамсея Макдональда, ненавидели саму идею империи. Другие верили в планирование ради блага большинства, в том числе и обитателей далеких колоний. Беатриса Уэбб, одна из вдохновительниц фабианского социализма, в молодости была влюблена в Джозефа Чемберлена, а в начале 1896 года записала в дневнике, что умы всей страны заняты международной политикой, что на нужный случай нашелся нужный человек и что национальный герой сегодня — Джо Чемберлен. «В эти тяжелые времена, когда все прочие народы тайно ненавидят нас, — писала она, — утешает мысль, что у нас есть правительство, состоящее из сильных, решительных мужчин: оно не поддается страху и не предается пустым раздумьям, но решительно и своевременно принимает нужные меры, чтобы не допустить нашего участия в войне, а если все же придется воевать — чтобы война была успешной». Маленькая Англия, великая империя. В 1896 году Хамфри Уэллвуда интересовали связи между армиями, золотыми рудниками, биржевыми брокерами и торговлей алмазами.

Мертвый нигилист вытеснил у него из головы пирата Старра Джеймсона. Но Олив взяла с мужа слово, что он сразу вернется домой, и он поехал.

Когда Хамфри вошел в дом, на верхнем этаже заорали во всю глотку от боли, а потом дико зарыдали. Началось. На лестнице возникла Виолетта, забрала у Хамфри пальто, похлопала по плечу и сказала:

— Ей тяжко приходится. Ребенок шел быстро и застрял. И, кажется, они оба слабеют.

— Мне пойти к ней? — спросил Хамфри. Олив предпочитала в такое время оставаться одна. Виолетта поцеловала Хамфри и пообещала передать Олив, что он вернулся; это ее немного успокоит. Она поговорит с акушеркой и подаст Хамфри чаю или бульону с дороги. Всех младших няня увела к Татариновым. Заодно она присматривала и за детьми Татариновых, так как их родители уехали на похороны.

Виолетта сходила к одру сестры, вернулась и сказала, что Олив, может быть, захочет повидаться с Хамфри попозже, сейчас ею занимаются доктор и акушерка. Очередной крик отдался эхом на площадке; Хамфри и Виолетта на цыпочках пошли вниз. Донесся исступленный стон, а потом успокоительные сюсюканья и шиканья врача и

акушерки.

Олив обнаружила, что совсем забыла, какая бывает боль. Она была железнодорожным тоннелем, в котором со всего размаху стал, сыпля искрами, яростно несшийся поезд. Она была норой, в которой застряла неведомая тварь, не в силах двинуться ни назад, ни вперед. Она превратилась в облако электрических болевых разрядов, из которых все воображение геометров не могло бы создать твердого тела — неподъемный предмет и неодолимая сила были одним и тем же и не могли ни наступить, ни отступить, так что единственным выходом, кажется, оставался взрыв наподобие извержения вулкана. Что-то утонет, что-то будет поглощено пламенем. Доктор умолял Олив не мотать отчаянно головой из стороны в сторону, не тратить дыхание на крики и визг, а тужиться ради застрявшего ребенка и вытолкнуть его.

Она выгнулась дугой, взвыла и натужилась.

Красный и гневный, с почерневшими губами, младенец с отчаянным визгом ворвался в мир. Это был мальчик. Ему протерли лицо, перерезали пуповину, он опять заорал, и опять… «Хороший голос», — сказал доктор. «И ручки-ножки крепкие», — добавила акушерка, охватив пальцами

одной руки крохотное бедрышко и вытирая пунцовый мужской орган. Всюду были кровь и вода. Олив чувствовала, как они льются наружу. И послед вышел, так что все было хорошо. Акушерка собрала в узел кровавые простыни, вытерла пол, обмыла мать, накрыла ее хорошеньким покрывалом, продралась расческой сквозь спутанные пропотевшие волосы. Пощекотала шейку спеленутому младенцу.

— Вот теперь на вас приятно посмотреть, теперь можно и папочку позвать.

Она положила ребенка в кроватку — не новую, но красиво убранную накрахмаленными простынями и лентами. И отправилась искать Хамфри, который поглощал бульон под пристальным взглядом Виолетты, рассказывая ей про похороны, погоду, музыку, цветы.

Хамфри, как положено, вошел в спальню на цыпочках. Олив посмотрела на него откуда-то издалека, руки ее недвижно лежали на покрывале. Акушерка показала мальчика, у которого были рыжеватые волосы — не очень много — и крупные черты лица, выпуклый лоб, большой рот.

— Как мы его назовем? — спросил Хамфри у Олив. Она пошевелила кровоточащий мешок собственного тела.

— Выбирай сам, — ответила она. Хамфри думал о Шекспире — для статьи про Трансвааль, которую собирался писать. Он думал об Англии. Он колебался в выборе между Гарри и Джорджем, Георгом. «Господь за Гарри и святой Георг!».[27] Гарри — более мужественное имя. Старое доброе английское имя, безо всякой чепухи.

— Гарри, — произнес он, и Олив улыбнулась и сказала, что Гарри — хорошее имя, она тоже про него думала.

— Может быть, Гарри Бэзил, — предложила она, думая о щедрости Бэзила, обещавшего оплатить обучение Тома.

---

[27] Примечания: 27

У. Шекспир. Генрих V. Акт III, сц. 1. Перевод Е. Бируковой.

15

В первый день 1896 года Хамфри отправился на Портман-сквер за двумя старшими детьми. Филлис, Гедду, Флориана и Робина забрала горничная Кейти, которая отправилась погостить к родне на ферму возле Роттингдина. Филлис поехала обиженная, надутая. Ей гораздо больше нравилось быть младшей из старших детей, чем старшей из младших. Виолетта сказала, что, может быть, в доме Бэзила Уэллвуда и для Филлис найдется место, ей полезно побыть самостоятельной, но из этого ничего не вышло. Дороти во все время этих разговоров сидела мрачная и напряженная. Ей хотелось пообщаться с Гризельдой, а когда вокруг них крутилась Филлис, выходила полная противоположность общению. Том предпочел бы вообще никуда не ездить; у него и Чарльза, который был на год старше, не было общих интересов, но и вражды между ними тоже не было.

Уэллвуды решили, что Хамфри попросит своего друга Лесли Скиннера, который работал вместе с Карлом Пирсоном в отделе прикладной математики лондонского Юниверсити-колледжа, найти хорошего преподавателя для Чарльза и Тома,

чтобы он подготовил их к вступительным экзаменам в Итон и Марло. Тоби Юлгрив согласился помогать с литературой и историей. Татаринов замечательно преподавал Тому латынь, и Хамфри был рад, что у него есть возможность ответить на щедрость брата щедростью — он предложил Чарльзу тоже ходить на эти уроки, чтобы отшлифовать знание классических авторов. Что касается девушек, то Бэзил и Катарина считали, что им нужно совершенствоваться в светских искусствах — музыке, хороших манерах, умении рисовать и писать красками. Они пригласили Дороти брать уроки рисования вместе с Гризельдой. Гризельда прочитала «Мельницу на Флоссе» и Дороти тоже уговорила прочитать. Они сидели в комнате Гризельды, негодующие Мэгги Талливер, которым не положены математика, латынь и литература.

Лесли и Этта Скиннер пригласили Уэллвудов на чай в тесную гостиную на Тэвисток-сквер — познакомиться с репетитором по математике, который, как думал Скиннер, может подойти. Уэллвуды пришли все вместе, потому что Хамфри собирался объединить этот визит с экскурсией в Британский музей, а на подобных вылазках общество Дороти доставляло ему удовольствие.

Он повел детей смотреть на золото викингов и мраморную коллекцию лорда Элджина, напугал их египетскими саркофагами, где лежали замотанные бинтами люди.

Гостиная Скиннеров была оклеена зелеными обоями в красных ягодах работы Морриса и компании, обставлена тонконогой сассекской мебелью — диванчиком и стульями с плетенными из камыша сиденьями. На темном полу лежали домотканые ковры, а на высоких стеллажах стояли ровные ряды книг. Кандидат в репетиторы, молодой немец из Мюнхена доктор Иоахим Зюскинд, уже пришел. Он был в потертом костюме и красном галстуке. У доктора Зюскинда были тонкие, легкие, сухие волосы цвета сена и красивые волнистые усы. Глаза были синие и скорбные — не ясной, прозрачной, небесной синевы, как у доктора Скиннера, но словно бы облачной, выцветшей, разбавленной голубизны, как у бабочки *Cupido minimus*, подумал Том. С виду репетитор был добрый и безобидный. Лесли Скиннер представил его, сказав, что он не только первоклассный математик, но и первоклассный учитель, что не всегда характерно для математиков. Доктор Зюскинд улыбнулся доброй улыбкой. Он сказал, что хотел бы знать: нравится ли ма-

тематика Тому и Чарльзу? «Да», — сказал Том. «Нет», — сказал Чарльз. «Почему?» — спросил доктор Зюскинд у обоих. Том ответил, что ему нравится не арифметика, вычисления у него часто получаются неправильно — ему нравится, как в геометрии все сходится вместе, и чувство, которое бывает, когда раскрываешь это единство. Чарльз ответил, что не любит чувствовать себя идиотом, а математика именно так на него действует. Лесли Скиннер спросил, какие же тогда предметы Чарльзу нравятся. Чарльз ответил, что никакие, потому что ни один предмет не отвечает на интересующие его вопросы.

— А что же это за вопросы? — сократически спросил Скиннер.

— О жизни. Почему бедняки бедны? Что с нами не так?

Хамфри засмеялся и сказал, что, скорее всего, в Итоне Чарльзу не много расскажут о бедности. Чарльз ответил, что он и не хочет в Итон, но его никто не спрашивает. Скиннер сказал, что, если тебя учат думать, это всегда полезно, а доктор Зюскинд, ни на кого не глядя, чуть слышно пробормотал, что это хороший вопрос, хороший.

Девочки сидели рядом: темная головка и бледно-золотая, длинные волосы распущены по

плечам. Этта Скиннер внезапно повернулась к ним и спросила твердо, с некоторым вызовом, где они намерены получать образование. Лесли Скиннер обратил на Дороти голубые глаза и подарил ей свое нераздельное внимание.

— Это вы, юная дама, собирались стать доктором?

Дороти сказала, что да.

— Тогда вам самое время начать серьезно заниматься наукой.

— Я знаю, — ответила Дороти, и отец бросил на нее резкий укоризненный взгляд.

— Но ведь я и правда знаю, — сказала она, защищаясь.

Оказалось, что Этта хочет предложить выход. Она сама преподает в Куинз-колледже на Харли-стрит, туда принимают девушек старше двенадцати лет, чтобы подготовить их к работе учительницы или, для тех, кто уже работает учительницами, углубить и расширить их знания и навыки. Дороти и Гризельда могут ходить на эти занятия вместе — может быть, даже не на полный день. Гризельда сказала, что согласна изучать науки вместе с Дороти, если та будет ходить с ней на немецкий и французский. И на латынь, добавил Лесли. Если они собираются в университет — а

он надеется, что да, — им понадобится латынь. В лондонском Юниверсити-колледже и женщинам разрешают учиться. Скиннер сказал Хамфри, что хороший фабианец обязан заботиться об образовании дочерей не меньше, чем сыновей. Хамфри ответил, что Дороти и Гризельда еще совсем маленькие девочки. «Не думаю, — сказал Скиннер, глядя на два серьезных юных лица. — Не думаю. Они уже без пяти минут молодые женщины». Под его взглядом Дороти неожиданно стало жарко — и коже, и внутри. Она поерзала и села попрямее. Гризельда сказала, что ее родители, кажется, не видят никакой необходимости в том, чтобы дать ей образование. «Достаточно, — сказал Скиннер, — что вы сами стремитесь к образованию». Этта взяла Хамфри за руку и сказала, что, конечно же, он сможет объяснить своему брату, как много это значит, до какой степени это должно быть правом… Гризельда сказала, что Дороти может жить у нее, и они будут ходить на занятия вместе, лишь бы родители разрешили. Хамфри заявил, что будет скучать по своей девочке, а Дороти ответила, что он и не заметит — он сам теперь почти не бывает дома.

Том и Чарльз сразу же начали ходить в Юниверсити-колледж на занятия математикой с

доктором Зюскиндом. Доктор Зюскинд занимал крохотный кабинетик над конюшнями позади основного здания, на пару с другим статистиком, который собирал данные о росте, весе и возрасте людей. Том и Чарльз ходили на занятия по понедельникам и вторникам и получали домашние задания. Мальчиков тоже измерили для статистики. Иногда по выходным они ездили в «Жабью просеку», чтобы заниматься латынью с Татариновым и литературой с Тоби Юлгривом у него в коттедже.

Тому более или менее нравилась математика, и он старался не думать о том, что будет, если он поступит в Марло. В Лондоне Том чувствовал себя бесплотным, словно его тело на время куда-то исчезало, и он становился лишь призраком, который плыл по воздуху мимо аккуратных домиков Гоуэр-стрит, уворачивался от кебов на Торрингтон-стрит. Математика, особенно геометрия, усиливала эту отстраненность. Тому хотелось вернуться в «Жабью просеку». Он непрерывно думал о лесах и древесном доме. Он читал новую книгу Уильяма Морриса, «Колодец на краю света», а также «Лес за краем света» и «Вести ниоткуда». Чарльз читал те же книги, но мальчики их почти не обсуждали — разве что иронически

вспоминали, когда выдавалось особенно сложное домашнее задание, что, по мнению Уильяма Морриса, мальчики должны учиться сами, как и когда им удобней, и тратить не больше усилий, чем в детстве, когда учились говорить. Иоахим Зюскинд учил Тома с наслаждением: тот действительно усваивал все на лету, инстинктивно, не требуя длинных объяснений.

Чарльз понимал медленней, он был не такой способный. Ему доктор Зюскинд давал дополнительные уроки у себя на дому. Дом стоял прямо за Женской больницей, между Юстонским и Сент-Панкрасским вокзалами. Зюскинд оказался по-настоящему хорошим учителем. Он видел и то, что именно Чарльз не понимал, но также и то, каким образом он этого не понимал и почему. Он объяснял тихим немецким голосом именно то, что мешало пониманию. Поначалу он говорил с Чарльзом только о математике. Но однажды сказал:

— Ты как-то спрашивал, почему бедные бедны. Меня поразил этот вопрос.

— Чего я не могу понять — в самом деле не могу, — почему этим вопросом не задаются все люди все время. Как они могут ходить в церковь, а потом выходить на улицу и видеть то, что видно

всякому… слышать то, что в Библии сказано о бедных, — и по-прежнему ездить в каретах, выбирать себе галстуки, шляпы… съедать огромные бифштексы… Не могу понять.

— Я принес тебе книгу. Наверное, лучше, чтобы твои домашние ее не видели. Но, я думаю, она придется тебе по сердцу.

Так Чарльз Уэллвуд прочитал «Воззвание к молодежи» князя Кропоткина. Книга призывала молодых врачей, юристов, художников задуматься, как они могут жить и работать, пока в мире бедняков существуют ужасы голода, болезней, отчаяния. Предписания относительно праведной жизни были более расплывчаты, чем яростное обличение неправедности. Автор призывал молодежь организоваться, бороться, писать об угнетении и публиковать написанное, быть социалистами. Но не объяснял, как можно совершить столь желанную революцию. Чарльз опять обратился к доктору Зюскинду и спросил, нет ли у него еще таких книг. Они посмотрели друг на друга: немец — с тихим, глубоко скрытым восторгом, мальчик-англичанин — напряженный, охваченный неведомой для себя потребностью. Он был бледен, на лбу и щеках алели прыщи, глаза сверкали голодным блеском.

Ученик спросил учителя, социалист ли он. Зюскинд ответил, что он анархист. Он верит, что мир станет лучше, если упразднить все власти, иерархии, учреждения. Произойдет революция. Потом воцарится гармония — все будут отдавать всё всем, удовлетворяя все нужды.

Чарльз отнесся к этому оптимистическому пророчеству с некоторым недоверием. Если праведность дается людям так легко и естественно, откуда тогда взялась власть? Он и «Вести ниоткуда» читал с определенным скептицизмом. Он не был уверен, что возможно вернуться к средневековой пасторали, уничтожить все машины. Он постепенно пришел к выводу, что Уэллвуды из «Жабьей просеки» не настоящие социалисты, они избегают прямой борьбы. Взять хотя бы вещи, которыми полон их дом, — вещи, которые делают малыми партиями бедняки для богачей. Он слыхал, как его собственный отец насмехается над Моррисом и компанией — они продают безумно дорогие ткани и гобелены, изображающие золотой век и листву райского сада. Все это как-то отвлекает от ужасов, с которыми им следовало бы бороться.

Примерно это, формулируя как мог, он высказал Зюскинду, который похвалил его и объяснил,

что Моррис сам называл себя «мечтателем, прежде времени рожденным». Петр Кропоткин верил в могущество печатного станка. Может быть, Чарльз не поверит, но совсем недалеко отсюда работает именно такой станок, производя на свет ежемесячную газету под названием «Факел анархии». Возможно, Чарльзу будет интересен тот факт, что газету основали Олив, Артур и Хелен Россетти, трое молодых людей из известной семьи поэтов, можно сказать, детей, поскольку тогда они были моложе теперешнего Чарльза. Недавно станок переехал на чердак конюшни, расположенной на Оссалстон-стрит, а до того произвел огромное количество подрывной революционной литературы в подвале дома Уильяма Россетти — где все выкрашено в кроваво-красный цвет, заметил Иоахим Зюскинд, улыбаясь всеобъемлющему энтузиазму молодых Россетти.

Чарльзу захотелось увидеть типографию. Он хотел видеть, как идет работа, хотел сам что-то совершить. Если он говорил дома, что пошел к доктору Зюскинду, ни у кого не возникало вопросов. И вот однажды они отправились на Оссалстон-стрит.

На Оссалстон-стрит воняло. В канаве текла желтая лошадиная моча, а мостовую покрывал почти

сплошной слой засохшего лошадиного навоза. Чарльз осторожно ступал, стараясь не запачкать башмаки и при этом думая: а должна ли его вообще волновать чистота башмаков? Редакция «Факела анархии» располагалась на чердаке над конюшней, ведущая в нее дверь находилась рядом с задней дверью низкопробного паба «Лавр». Чтобы добраться до деревянной лестницы, ведущей на чердак, Зюскинду и Чарльзу пришлось перелезть через что-то вроде навозной кучи. Пока Чарльз карабкался вверх по лестнице, он вспомнил речь Хамфри на летнем празднике — о бедняке, который выбирал из подобной же субстанции непереваренные зерна овса и ел. Об этом *следует знать*, подумал Чарльз. Он последовал за своим учителем через хлипкую дверь в длинную комнату с дощатыми стенами, больше всего похожую на сарай и очень пыльную — пыль висела в воздухе, садилась густым слоем на кипы листовок и брошюр, которыми был завален почти весь пол. Пыльный воздух пропитался резкими запахами — табачного дыма, табачного сока, людей, то есть застарелого пота и фекалий, всепроникающим запахом кислого молока и прогорклого жира. Еще разило псиной, хотя никакой собаки видно не было. Кроме того, пахло кислым пивом.

В конце комнаты мужчина в засаленной куртке пожирал поджаренный хлеб с обрезками бекона с газеты, лежавшей, по-видимому, на форме от печатного станка. В комнате находились две или три группы людей, но никто из них не был похож на молодых Россетти. Одна группа быстро и темпераментно беседовала по-итальянски. Другая состояла из трех людей, сидевших на скамье, к которой был прислонен плакат: «День Зверя грядет». В другом конце комнаты лежал матрас, на котором кто-то — может быть, и не один человек — густо храпел, накрытый кучей рваных тряпок и связкой флагов. Зюскинд назвал едока «товарищ Бартлетт» и осведомился, действительно ли тот сегодня собирался печатать. Зюскинд принес ему обещанную статью о немецких законах против социализма. И еще он привел молодого человека, интересующегося анархизмом. Товарищ Бартлетт сказал, что у него руки в типографской краске, а то бы он пожал руку новому товарищу, и спросил, как его зовут. Чарльз ответил, что его зовут Карл, и предложил помочь. Товарищ Бартлетт смахнул с печатной формы остатки трапезы и принялся мазать форму типографской краской. Чарльз-Карл понял, что боится за свою одежду, которая, кажется, привлекла внимание

всех обитателей чердака. На Чарльзе была чистая накрахмаленная рубашка, глаженая дорогая куртка. Он выглядит неправильно, и, более того, сейчас он испачкается, и ему влетит дома. Его спас Иоахим Зюскинд, который извлек из сумки с книгами рабочий фартук и протянул Чарльзу с понимающей улыбкой пособника.

Чарльз не знал, хочется ли ему снова на Оссалстон-стрит. Никто не обратил на него особого внимания. Он трудился изо всех сил, а уходя, захватил с собой пачку листовок и брошюр, чтобы прочитать. Все-таки он снова пошел туда и в начале 1896 года приходил довольно часто, не столько даже потому, что встречал здесь настоящий рабочий класс, сколько из уважения к Зюскинду. Чарльз вовсе не был уверен, что обитатели чердака принадлежат к настоящему рабочему классу. Но он не сомневался, что герр Зюскинд, который теперь звал его Карлом, по-настоящему болеет за рабочих. И еще Карлу нравилось читать «Факел». Ему давали разные выпуски газеты, иллюстрированные рисунками Люсьена Писарро, изображающими женщин в отчаянном положении. В газете печатались сочинения Толстого и Кропоткина, воспоминания о мученической смерти чикагских анархистов в

1887 году, дебаты между пацифистами-квакерами и сторонниками насилия и пропаганды насилием. Газета рекламировала повторное издание работы Морриса «Полезный труд и бесполезная работа» и нападала на принца Уэльского за его несоразмерные траты на одежду. Кроме того, в газете печатались сказки из «Тысячи и одной ночи» и немецкие волшебные сказки Отто Эриха Хартлебена. Карл прочитал инструкции ЖЕЛАЮЩИМ ПОМОЧЬ ГАЗЕТЕ.

«Бери по десятку экземпляров каждого выпуска „Факела“ и старайся продать или раздать их.

Оставляй „Факел“ и другие материалы в вагонах поездов, залах ожидания, трамваях, столовых и других местах, чтобы люди могли подобрать их и прочитать.

Уговаривай владельцев газетных киосков продавать „Факел“.

Приходи на митинги, чтобы поддержать ораторов и помочь с раздачей литературы».

Чарльз обзавелся сменой одежды для Оссалстон-стрит. Одежда хранилась у Зюскинда — старые штаны, потертый джемпер, куртка из закладной лавки, кепка рабочего, которую Чарльз натягивал на глаза, наслаждаясь и невидимо-

стью, и превращением в другого человека. Все это ученик и учитель проделали в строжайшей тайне — они не обсуждали, не планировали, все получилось само. Они обсудили, можно ли Карлу ходить в Гайд-парк или еще куда-нибудь с пачками «Факела» на продажу, и пришли к выводу, что можно, только надо держаться подальше от Портман-сквер. Пока Чарльз предположительно делал уроки или развлекался, Зюскинд и Карл ходили по бесчисленным лондонским улицам, мирно обсуждая тюремное заключение и казнь или пытаясь решить вопрос, что такое бросание бомб — долг анархиста или безрассудство. Те, кто отправился на эшафот в Париже и Чикаго, были отважными мучениками. Зюскинд сказал, что «у них не было другого выбора», и Карл согласился. Но оба также согласились, что сами они от природы не убийцы. Как-то раз, когда они шагали по Бейкер-стрит, Зюскинд сказал: ему хотелось бы верить, что можно обойтись убедительными разъяснениями.

Как-то вечером на митинге, проходившем на Оссалстон-стрит, где обсуждалась именно эта тема — необходимость ответа насилием на насилие угнетения, — Карл очень испугался. Народу на митинге было больше обычного — приехали

новые товарищи из России, нелегально переправленные за границу. Когда они вошли, с ними вошел Татаринов — в том же костюме, в котором он давал мальчикам уроки латыни и греческого. Чарльз-Карл сидел в темном углу, натянув на глаза кепку. Он не знал, что сделают с ним родители, если откроется, как он проводит время. Но он точно знал, что Зюскинд будет объявлен предателем и, вероятно, потеряет работу.

Собрание шло своим чередом. Звучали длинные речи, а человек с плакатом сказал, что раз Судный день все равно скоро настанет, то излишне беспокоиться и кого-либо убивать. Скоро все так или иначе погибнут. Подали чай, разлив его в надбитые, засаленные чашки. Мимо Карла прошел Татаринов. Он вежливо и равнодушно произнес: «Добрый вечер». Карл поднял голову. Татаринов подмигнул и вновь надел маску вежливого равнодушия.

На следующем уроке латыни Татаринов поздоровался с Томом и Чарльзом как обычно и, тоже как обычно, ядовито хвалил переводы Тома, сравнивая их с переводами Чарльза не в пользу последних. Они все еще трудились над шестой книгой «Энеиды», где герой, отломив золотую ветвь, спускается в подземный мир, чтобы рас-

спросить своего покойного отца. Они дошли до места, где сивилла и Эней приходят к огромному вязу, с ветвей которого, словно летучие мыши, свисают тени ложных снов, а вокруг шипят и скрежещут зубами тени воображаемых чудовищ. Сивилла не дает Энею поднять меч на бесплотные, едва теплящиеся жизни, воплощенные в непостоянных, исчезающих формах. Татаринов с сочным русским акцентом декламировал латинские строки:

> *Et ni docta comes tenuis sine corpore vitas*
> *admoneat volitare cava sub imagine formae,*
> *inruat*
> *et frustra ferro diverberet umbras…*[28]

Том мысленно видел градации призрачной материи — она меняла плотность, клубилась, как дым паровоза или печи, но в темноте, под темными ветвями, *cava sub imagine formae.*[29]

---

[28] Примечания: 28

> *И, не напомни ему многомудрая дева, что этот*
> *Рой бестелесных теней сохраняет лишь видимость жизни,*
> *Ринулся он бы на них, пустоту мечом рассекая.*
>
> ***Вергилий. Энеида, гл.6, стихи 292–294. Перевод С. Ошерова.***

[29] Примечания: 29

Лишь видимость жизни *(лат.).*

Чарльза раздражал энтузиазм, с которым Татаринов декламировал стихи. Сам Чарльз ничего в них не видел. В голове ничего не возникало. Эти твари были нереальны — Горгона, Гарпия, Химера, призраки из детства. Не-твари. Чарльзу хотелось, чтобы Татаринов подал ему еще один знак, чтобы его тайному «я» подмигнул анархист, у которого, может быть, руки в крови, который покинул свою родину, потому что верил в правое дело. Но Татаринова, кажется, по-настоящему занимали мертвые стихи на мертвом языке. Он двойствен, подумал Чарльз, он человек с двумя лицами и двумя душами, какой бы цельной натурой ни выглядел. И сам Чарльз-Карл тоже становился двойственным. Из-за своей тайны он сам казался себе невидимым, неуловимым существом, которое думает собственные мысли и преследует собственные цели, пока видимый мальчик произносит какие-то банальности, положенные мальчикам, — о крикете и учебе, о птичьих гнездах и наказаниях. Интересно, подумал Чарльз, не двойной ли и Том, а если да, то что собой представляет Том, который внутри. Чарльз решил, что Том, возможно, все-таки не двойной. Что до Тома, то он, кажется, кротко принимал Татаринова — и самого Чарльза — такими, каки-

ми они были.

Как только мысль о тайных двойниках укоренилась в уме Чарльза, он стал смотреть на людей по-другому. Это было частично игрой, частично опасным экспериментом. Проведя утро у Татаринова, мальчики шли по дороге мимо леса на холм, где стоял коттедж Тоби Юлгрива, некогда принадлежавший, по словам Тоби, свинопасу. Тоби натаскивал мальчиков писать сочинения на общие темы. Был холодный, бодрящий зимний день — иней на земле и морозный воздух. На мальчиках были шапки, шарфы, шерстяные перчатки. Тоби налил им чаю и поджарил для них лепешки на огне камина. Почти весь пол в небольшой гостиной занимали неровные стопки книг — иные были заляпаны маслом, на других стояли чашки от прошлых чаепитий. Тоби задал мальчикам тему сочинения — «Мечты и сны» — и велел написать сочинение на любую связанную с этим тему — о снах, кошмарах, мечтах, надеждах на будущее. И подыскать убедительные примеры, какую бы тему они ни выбрали. Потом он заставил их прочитать написанное вслух, словно на университетском семинаре. Том читал хорошо, отчетливо, безо всякого выражения и, пожалуй, слишком быстро. Чарльз мерил ша-

гами комнату, слушая собственные аргументы. Он любил поспорить — даже о снах и мечтах. Том решил написать про сны — что чувствует человек, которому снится сон, что означают сны. Чарльз так и знал, что Том предпочтет эту тему, и сам намеренно выбрал морально-политическую: мечта о справедливости, мечта о будущей жизни, утопия. Том написал об ощущениях спящего и выделил сны, в которых спящий не участвует и даже не присутствует — он что-то вроде стороннего наблюдателя, как голос рассказчика. Почти комментатор, но не совсем, потому что все равно в этом случае ты беспомощен, ведь во сне нельзя принять решение, хоть и знаешь, что находишься во сне и скоро проснешься и перейдешь в реальный мир. Иногда пытаешься не просыпаться, чтобы увидеть, что будет дальше. Бывают также сны, в которых участвуешь по-настоящему, и чувствуешь, что не можешь выбраться — когда снится, что тебя хоронят заживо, или сообщают, что тебя завтра повесят (Том часто видел такой сон), или за тобой кто-то гонится, и зверь, который, как ты думал, бежит за тобой, обегает кругом и поджидает тебя в конце коридора. Странно, что сны, в которых находишься полностью, почти всегда плохие.

Не всегда, сказал Тоби Юлгрив. Например, можно увидеть во сне (он деликатно поколебался), что кто-то тебя любит… или что кто-то, кого ты считал умершим, на самом деле жив, и это была ошибка.

В этом случае, сказал Том, просыпаться, должно быть, так же ужасно, как видеть плохой сон.

Не связана ли тайна Тоби с любовью, подумал Чарльз. С половым инстинктом. Тоби все время заговаривает о любви — хотя это может быть и потому, что он все время занимается поэзией. В поэзии невероятное количество любви и полового вопроса. Том от стихов покрылся мурашками, но он не был уверен, что ему это нравится. Мутотень, подумал он словечком своей старой няни. Тайна Тоби — это какая-то мутотень.

Чарльз в своем сочинении — с несколько извращенным, но несомненным остроумием — уничтожил мечту о добродетельной жизни, высказанную в «Вестях ниоткуда» Морриса, а заодно и родственные по духу коммуны, обитатели которых носили балахоны из самодельного набивного ситца и питались овощами. Чарльз писал, что мечта о рае неизменно раздражает, потому что в раю чрезвычайно скучно — там совершенно нечего делать, — а мечты о земном рае,

о возвращении к природе, о жизни на огородах и на заросших цветами лужайках, где вокруг не видно ни одной машины, казались ему дремотой, отказом смотреть в лицо настоящим проблемам и строить реальные планы необходимых действий. Он обратил против Морриса цитату из него самого:

> *Мечтатель, прежде времени рожденный,*
>
> *За что я призван выпрямлять кривое...*[30]

Действительно, гневно писал Чарльз-Карл, Морриса можно назвать «праздным певцом пустого дня».

Чарльз кипел от гнева, и потому фразы в сочинении выходили то откровенно грубыми, то бессвязными. Тоби Юлгрив добродушно принялся оттачивать аргументы Чарльза, однако заметил, что во вступительном сочинении в учебное заведение для привилегированного класса, возможно, лучше не отстаивать такие мысли.

Тоби подождал комментария — от Тома, а не Чарльза, — и Том задумчиво сказал, что как раз

---

[30] Примечания: 30

Уильям Моррис. Из предисловия к поэме «Земной рай». Перевод Д. Никоновой.

этого и боится: что он мечтатель. Тоби Юлгрив взглянул в темнеющее окно коттеджа, за которым день клонился к вечеру, и заметил почти про себя, что они все и есть мечтатели, живущие праздной и приятной жизнью. «Съешьте пудинга с патокой, — сказал он, и в голосе его прозвучала мягкая насмешка над самим собой. — Я его приготовил специально для вас двоих. Как нам выбраться из страны снов? *Hic labor, hoc opus est*»,[31] — сказал он.

В июле того же года Том сдавал вступительные экзамены — словно во сне. Олив беспокоилась за него, но сам он вовсе не волновался: математика есть математика, латынь есть латынь, и он знал, что с ними делать, так же как умел подавать мяч в крикете или ездить на велосипеде. Он написал два сочинения: «Мой любимый поэт» — о Китсе для Марло и «Характерные черты англичанина» для Итона. Тома приняли в Марло, но не в Итон; Чарльза приняли и туда, и туда. Тому было слегка неприятно, что его отвергли. Он к этому не привык. Родители Чарльза решили, что он будет учиться в Итоне. Они купили ему новый велоси-

[31] Примечания: 31

Вот что труднее всего! (*Вергилий.* Энеида, гл.6, стих 129. Перевод С. Ошерова.)

пед. Чарльз в некотором расстройстве улизнул из дома, чтобы посоветоваться с Зюскиндом. Он сказал, что учеба в Итоне идет вразрез с его принципами. Как ни странно, Зюскинд его не поддержал. Он сказал, что мир несовершенен. Один мальчик не сможет его изменить тем, что откажется учиться. Чарльзу следует отправиться в Итон, научиться вести дискуссии, наблюдать за правящим классом в его абсолютном выражении, чтобы понять, как можно его победить. Мы должны быть мудры, как змии, сказал он словами Христа, которого считал первым анархистом; но пропустил вторую половину фразы, «будьте кротки, как голуби», так как по-прежнему думал о пропаганде действием и о том, правильно или нет наносить символические удары. На Зюскинда сильно подействовало изгнание анархистских групп из Второго социалистического интернационала, который проходил тем летом в Лондоне. Анархисты отказывались от политических действий. По этому вопросу у Зюскинда тоже не было твердой позиции. Бакунин сказал, что из немцев выходят никуда не годные анархисты, потому что они хотят одновременно быть хозяевами и рабами. В анархизме Зюскинда был типично немецкий порядок, непримиримо противоре-

чивший немецкой же манере доводить все до крайности.

Том и Дороти читали «Век золотой» Кеннета Грэма, опубликованный год назад. Грэм сам подарил эту книгу Хамфри: они когда-то были коллегами в Английском банке, и Грэм работал там до сих пор — он продвигался быстрее, чем Хамфри, и сейчас его уже произвели в исполнительные секретари банка. Как и Хамфри, он писал для «Желтой книги» и, как и Хамфри, трудился, неся культуру в Ист-Энд. В 1893 году он опубликовал работу под названием «Языческие записи», посвященную козлоногому богу Пану, с иллюстрацией Обри Бердслея на фронтисписе. «Записи» были сборником историй о детстве, а «Век золотой» — их продолжением. Дороти спросила Тома, как он думает — изменится ли он, уехав в школу, как изменился Эдвард, герой книги. Том неопределенно сказал, что, конечно, все будет по-другому, и вдруг впервые обратил свой дремлющий ум к вопросу: что должно кончиться с этим новым началом, что он сделал сам себе, выдержав экзамен. Тома переполняли страх и горе, но он никак не мог поделиться этими чувствами с проницательной и резкой Дороти.

Олив, хоть и предпочитала волшебные сказки,

выпустила две книги о приключениях вымышленных детей, которые написала быстро, легко, неудержимо. Гонорары были очень нужны, потому что Хамфри пришлось «выручить» деву Мэриан, только что разрешившуюся от бремени в Манчестере. Собираясь просить о вспомоществовании, Хамфри искоса глядел на Олив, но не произносил исступленных покаянных речей, не бил себя в грудь, сказал почти как мужчина мужчине: «Знаешь, она хорошая. У нее хорошая голова. Она храбрая». Олив сказала, что обо всем этом следовало думать раньше, и Хамфри ответил с ухмылкой сатира: «Я думал, что думал, но, видно, недостаточно хорошо думал». Он ждал, что Олив ухмыльнется в ответ. Его успех в роли блудного мужа держался на этой усатой заговорщической ухмылке: она как бы гласила, что да, на свете есть женщины, с чьим мимолетным очарованием он не в силах бороться, но только с ней, Олив, своей женой, он делит горе и радость, только ей говорит правду от всего сердца. Вручая Хамфри чек на покрытие манчестерских расходов, Олив, как ни странно, наслаждалась своим могуществом и независимостью. Все равно все мужья изменяют, но измена не так обидна, если от тебя не скрывают правду (что унизитель-

но) и не воспринимают тебя только как жену, зависимое существо (что уничтожает тебя как личность).

Рассказы Олив назывались «Беглец» и «Девочка, которая очень долго шла». Они были частично основаны на ее собственном представлении об истории Филипа Уоррена и его сестры Элси. Тут пригодились и воспоминания самой Олив о бегстве из шахтерского поселка, от промышленного дыма в «сады Англии», где растут на деревьях яблоки, а в огородах на грядках — чистые, полезные для здоровья овощи. Героями рассказов были дети, еще не подростки, и сбежали они от злой тетки и дядьки-пьяницы. В конце концов дети оказывались в месте, не очень похожем на Пэрчейз-хауз, — в сельскохозяйственной коммуне детей-сирот и беглецов, таких же, как они сами. Олив изобрела для коммуны что-то вроде духовного наставника, гуру, гаммельнского крысолова, отчасти напоминавшего Эдварда Карпентера: он был такой же идеалист и тоже делал сандалии вручную. Но как Олив ни старалась, этот наставник выходил либо тираном, либо каким-то злодеем. Олив сообразила, что дети любят читать о мире без взрослых, где они сами добывают себе еду и сами решают, как устраивать свою жизнь.

Поэтому она заменила этого Карпентера на четырнадцатилетнего мальчика по имени Робин, который нашел приют в старом сарае и принимал к себе других беглецов. Эти дети звали себя изгоями, они научились собирать грибы и ягоды и заманивать к себе в сарай бесхозных кур, чтобы они там несли яйца. Олив была очень довольна таким сюжетом, но не знала, смеяться ей или расстраиваться оттого, что манчестерская Мэриан назвала своего сына Робином. Олив сказала Хамфри, что с его стороны это безответственность или намеренное оскорбление — завести двух сыновей по имени Робин, а Хамфри улыбнулся улыбочкой сатира и сказал: это лишний раз доказывает: он не имеет никакого отношения к Мэриан и ее ребенку, только заботится, чтобы им было на что жить. Олив не стала напоминать, что это она заботится, а не он. Они оба и так это знали.

В то лето, последнее перед отъездом Тома, вся семья — включая больших детей, и малышей, и средних Филлис и Гедду — отправилась к морю, в деревню под названием Селструд. Рядом с деревней был безлюдный пляж, смотревший через Ла-Манш на Францию, которая иногда виднелась полоской тени в небе, иногда пряталась в тумане или тучах, а иногда показывалась как подсве-

ченная солнцем кремовая линия сплошных скал, едва различимая на фоне подсвеченных солнцем облаков и гребней волн. Семья заняла старый дом священника, едва обставленный — там были только деревянные стулья и столы, и железные кровати — и зажила по-спартански, как любят отдыхать англичане. Том и Дороти, а также Чарльз и Гризельда, которые тоже поехали, поставили в саду палатки, наподобие тех, в каких живут рабочие. Виолетта наняла ослика с тележкой и катала малышей по пустынным проселочным дорогам. Олив яростно писала. Они устраивали пикники на пляже, таская корзинки с лакомствами через полосу водорослей на вымытый волнами песок. Они купались. Они, конечно, ходили в Пэрчейз-хауз — все еще обшарпанный, но видно было, что там чистят и латают, в доме появилась чистая посуда; без сомнения, это была заслуга Элси. Олив изучала Филипа и Элси. Элси это заметила, а Филип — нет. Он учился ремеслу, а Бенедикт Фладд все еще находился в терпимом расположении духа, и мастерская все еще производила товар на продажу.

Приехали и другие. Тоби Юлгрив поселился у мисс Дейс в Винчелси. Он беседовал с Гризельдой о литературе, а Чарльз утвердился в мысли, что

второе «я» Тоби — рыцарь без страха и упрека (а может, и нечто большее) на службе у Олив Уэллвуд. Кейны тоже приехали и остановились в гостинице с удобствами, недалеко от Винчелси. Проспер Кейн нуждался в отдыхе и перемене обстановки. Этот год оказывался для Музея очень тяжелым. В июне директора, профессора Миддлтона, нашли мертвым; рядом стоял стакан и пузырек из-под настойки опия. Известно было, что Миддлтон принимает опий, так как в студенческие годы у него был приступ «мозговой лихорадки»; поэтому вынесли вердикт: «смерть от несчастного случая». Но большинство, и Кейн в том числе, подозревали, что Миддлтон покончил с собой, охваченный отчаянием из-за конфликта ученых, солдат и библиотекарей. Газеты, связанные с искусством, повели атаку на Музей с новой силой: в июле, пока Том сдавал экзамены, социалист Джон Бернс в ходе парламентских дебатов по бюджету резко раскритиковал управление Музея. Кейну хотелось забыть обо всем этом. Он надеялся уговорить инертных дочерей Бенедикта Фладда поступить на учебу в новый Королевский колледж искусств, созданный на основе Национальной школы обучения искусствам. Помона в общем была еще ребенком, но Имогене исполни-

лось семнадцать лет, и, кажется, ее судьба никого не волновала. Она не разговаривала с Джулианом, который был на год моложе и намеревался, сардонически усмехаясь, отправиться своим путем. Некоторые вышивки Имогены выглядели многообещающе. Они пресные, откровенно подумал Проспер, но многообещающие с технической точки зрения. Он в который раз задумался, что может быть не так с Серафитой, и вспомнил про пузырек из-под опия.

Было много пикников на пляже, под зонтиками с выцветшими полосками. Олив сидела в изящном ворохе муслиновых юбок и в хлопковой шляпе от солнца — королева в окружении придворных, подумал Проспер, вливаясь в ряды этих придворных. Ему нравилось ничем не стесненное движение многочисленных Уэллвудов туда и сюда по песку: они забегали в соленую воду и выбегали из нее, собирали пляжные сокровища в сачки и ведра, уносились прочь на велосипедах. Он доверительно беседовал с Олив Уэллвуд, как с опытной матерью, но знал, что она знает, что он не сводит с нее глаз — с ее талии, с энергичных жестов ее рук, с округлостей ляжки и бедра. Я

боюсь, говорил он, что у Флоренции gravitas[32] не по возрасту, это мешает ей свободно бегать с Дороти и Гризельдой. Ей слишком рано навязали взрослую серьезность. Только посмотреть на нее: сидит на камне и вглядывается в море, как русалка. Он не знает, как исправить дело. Олив спросила, глядя на его сильные пальцы, играющие с песком: думал ли он о повторном браке? Может быть, даже ради блага Флоренции. И Джулиана. Проспер ответил, что думал над этим вопросом, но еще не встретил женщину, к которой мог бы… подобным образом привязаться. А если встречал, добавил он, они оказывались уже заняты. Он знает, что есть вещи, о которых он не может говорить с Флоренцией, а ей, может быть, нужно говорить о них с кем-нибудь. Олив сказала, что он, кажется, неплохо справляется: он очень проницательный человек. Она добавила, что Джулиан уже юноша, в нем почти ничего не осталось от маленького мальчика. Она призналась, что ее беспокоит грядущий отъезд Тома в Марло. Том явно не такой сильный, как Джулиан. «Иногда я думаю, что он до смешного невинен, — доверительно сказала она. — Жизнь нанесет ему

---

[32] Примечания: 32
Серьезность *(лат.).*

раны. Он рос в условиях дивной свободы, ему будет трудно привыкать к дисциплине».

Они беседовали тихо, доверительно; электрическое поле нереализованного влечения приятно покалывало. Так бывает, когда танцуешь. Олив наслаждалась. Она решила, что имеет право — за деву Мэриан. Отношения должны быть уравновешены… если равновесие — подходящее слово… грешок за грешок, вольность за вольность. Если Хамфри позволяет себе приключения, значит, и у нее есть право получать удовольствие от того, что ею любуются, восхищаются, делают ей откровенные признания.

Тоби любил ее слишком сильно. Он в вечном безмолвии ждал сам не зная чего. И это все видят, думала Олив, и ей самой приходилось вести себя осмотрительно и осторожно, потому что, правду сказать, она не могла без Тоби, он был нужен ей для разговоров об английской мифологии, о сюжетах и сказках. Время от времени она платила за эти разговоры — впрочем, она не чувствовала себя продажной, она это делала с любовью, ведь она любила Тоби, — платила молчаливым, страстным объятием, губы к губам, кожа к коже, приблизив свое смеющееся лицо к его удивленному лицу. Он с самого начала понимал, что эти

встречи могут продолжаться, только если оба будут молчать, и они молчали. Он сперва был неловок, неуклюж, краснел, но потом научился — хватать и отпускать, сменять страсть на холодность и некое подобие равнодушия. Олив направляла его пальцы в потайные места; тело ее сначала было неподвижно, а потом слегка трепетало. Она не знала, что он думает обо всем этом. Впрочем, его мысли не имели никакого значения — главное, чтобы их не застали и чтобы Тоби не стал слишком переживать, негодовать или сердиться на нее.

Тоби читал лекции в Винчелси и Лидде зимой и весной. Он говорил о верованиях саксов в волшебные существа и о Парацельсовых элементалях. Он подружился с Пэгги Дейс, Фрэнком Моллетом и Артуром Доббином. Малый круг теософов обсуждал в гостиной у мисс Дейс книгу Эдварда Карпентера «Совершеннолетие любви». Присутствовавшие Герберт и Феба Метли решительно отстаивали мнение, что половая любовь и ее выражения естественны и необходимы для обоих полов. Если в это время Пэтти, Фрэнк или Доббин с любопытством глядели на их тела — а это было почти неизбежно, — Метли, нимало не растерявшись, отвечали безмятежным друже-

любным взглядом.

Олив хотела познакомиться с Гербертом и потому велела Тоби привести чету Метли на воскресный обед в дом викария. Герберт интересовал Олив потому, что ее, как и Фрэнка Моллета, задела за живое одна из его историй. У Метли был сборник не связанных между собой рассказов о встречах с феями, народом холмов, так называемым добрым народцем (который на самом деле вовсе не добрый). Сказки были написаны от первого лица; прагматичный рассказчик, натуралист видел волшебных созданий и наблюдал за ними, как другие наблюдают за редкими насекомыми или птицами. В предисловии к книге говорилось (весьма убедительно), что в небе и земле и правда сокрыто больше, чем люди способны воспринять своими ограниченными чувствами. «Мы не видим радиоволн и молекул. Провод, который кажется неподвижным, может ударить током. Мы видим, как рождаются и тают в небе облака — где то, из чего минуту назад сложился выпуклый серый бицепс, где серо-голубое покрывало тумана, только что скрывавшее болотные тополя? Как может род людской с таким постоянством, так настойчиво и неизменно сообщать о встречах с волшебным народцем, если

этого народца не существует? В начале Писания люди разговаривают и ходят с Богом; потом с ангелами; потом с невидимыми голосами. Иные люди — к которым принадлежу и я, — написал рассказчик, которого, по его же словам, звали Натанаэль Картер, — обладают особенностью зрения, позволяющей видеть эти существа; возможно, эта способность не страннее, чем умение видеть, где залегла под берегом форель или где в пустом стволе дерева прячется мед».

Этот Натанаэль Картер утверждал, что с детства был способен видеть волшебный народец и воспринимал свой дар как должное. Уже учась в школе, он как-то рассказал о том, что видел, и учитель отругал его за ложь. С тех пор Натанаэль хранил тайну. Он понял, что видит, потому что молчит.

Олив никогда, ни на миг, не полагала, что феи или духи существуют. Она жила полнее всего в воображаемом мире, населенном тварями и созданиями, питаемыми энергией и силой человеческого воображения — многими веками людских фантазий. Но Олив не думала, что эти создания могут быть осязаемыми или живыми, что они могут заниматься своим делом, когда она их не «выдумывает» и не наблюда-

ет за ними мысленно. Или все же думала? Она прочитала рассказы Метли и почти поверила, что рассказчик действительно видел то, о чем рассказывает, — истории читались как отчеты об истинных происшествиях и не съезжали в колею обычной волшебной сказки. Может, Метли и вправду знает что-то такое, чего не знает Олив? Или он просто чрезвычайно умелый писатель? В любом случае Олив должна была с ним познакомиться.

Его создания были не особенно приятны. Один рассказ начинался так:

«Я наткнулся на одного из них, когда вышел на вересковые пустоши, чтобы поохотиться с сачком на бабочек. Среди вереска мелькнул изгиб серой плоти, и я решил, что спугнул молодого кролика, но тут мои глаза сфокусировались как надо, и я увидел его ясно, словно подрегулировал бинокль. Это существо сидело скрестив ноги в кусте дрока — серебристо-серое, как тритон, но более тусклое, вроде оловянного сплава. Росту в нем было около двух футов. Он весь был одного цвета — с длинными, довольно жесткими, оловянно-серыми волосами и оловянно-серыми глазами на паутинно-сером лице. Глаза были не человеческие и не кошачьи — я вообще не встре-

чал таких глаз ни у зверей, ни у рыб. Он меня, кажется, не заметил. Он, сосредоточенно сжав костлявый рот, вовсю работал длинными пальцами с острыми когтями. Он обдирал шкуру с толстой медяницы — еще живой, извивающейся — треугольным острым каменным ножом, оббитым до толщины древесного листа. Он был совершенно голый. Все представители доброго народца, каких я встречал, были голые, за исключением одной самки, которая разгуливала незамеченной по Смитфилдскому рынку, — на ней была юбка из одного полотнища, вроде малайского саронга, и жемчужное ожерелье».

Олив упомянула этот рассказ в разговоре с Метли, которого за ужином усадили рядом с ней. Она в лоб спросила его, видит ли он на самом деле то, о чем пишет.

— Звучит правдоподобно, верно ведь? Вряд ли я смог бы такое сочинить. Иногда я немного приукрашиваю или чуть-чуть добавляю… но, должно быть, начинается с того, что я их и вправду вижу. А вы разве нет? Ваши прекрасные сказки наполнены такой подлинной силой, что я думал…

После этого визита Герберт и Феба Метли завели привычку прогуливаться в сторону старого дома священника, присоединяться к играм в крикет и

лапту на пляже. Метли носил хлопковые рубашки и шляпу с обвислыми полями — от солнца. Ноги у него были длинные, жилистые, загорелые. Он был отличным боулером — даже слишком, потому что слишком быстро уничтожал молодых бэтсменов, — и непобедимым полевым игроком. Олив сидела с Фебой или Проспером Кейном и глядела на беготню игроков. Герберт и Феба ходили купаться с Тоби и детьми. Феба надевала купальную шапочку, в которой, как думала Олив, ее лицо казалось изможденным, и купальное платье с юбочкой, которая вечно сбивалась вокруг худых бедер.

Оказываясь наедине с Олив, Метли говорил с иным жаром. Он спрашивал ее о писательском ремесле, издателях, литературе. Что она думает о Бернарде Шоу? Поставим вопрос ребром — есть ли вообще у этого человека сердце? А Кеннет Грэм — ее он тоже обаял? Не кажется ли ей, что его книги чуточку… малокровны? Метли был из тех мужчин, которые, встретившись взглядом с женщиной, не отворачиваются. А что она скажет про «Савой», новый журнал Джона Лейна? Метли говорил, что завидует Олив — сложности и полноте ее жизни. Мальчики, девочки, и у всех такие разные характеры. Он не знает, как

у нее хватает любви на всех — хотя совершенно ясно видно, что хватает. У него самого нет такого опыта. Они сидели на пляже, лениво выбирая по ягодке из блюда с клубникой. Олив сказала, что дети привязывают к реальности и потому слегка придавливают к земле. Она сказала, что чувствует себя немного курицей, квохчущей над цыплятами. (Хотя это не она, а Виолетта чуть поодаль вытирала песок с лица упавшего Флориана и отмывала губкой обкакавшегося Робина.) Метли сказал, что, когда пишешь для детей, чрезвычайно ценно иметь собственных. Олив так зорко проникает в надежды и страхи детских сердец. Она ответила, что, по ее мнению, иметь детей для этого не так уж обязательно. Довольно помнить собственное детство…

— Не знаю, — ответил Метли. — У меня нет детей, и ныне я порой теряю связь с ребенком, которым был когда-то. Как вы думаете, миссис Уэллвуд, существует ли возраст, когда люди становятся совершенно взрослыми и в них не остается ничего от ребенка? И в каком возрасте это происходит? Я не говорю о впадении в детство — это бывает со всяким, кто заживется на свете.

Он понизил голос и говорил очень серьезно. Его слова перекликались с мыслями самой Олив. Она

писала для ребенка, до сих пор живущего в ней, и для ребенка, которым была когда-то. Она как-то смешалась и спросила Метли, почему у него нет детей. И тут же пожалела об этом вопросе. Брак может быть бездетным по очень многим причинам. И лучше эти причины не упоминать.

Он склонился к ней:

— Я заметил, что бывают бездетные браки, в которых муж и жена составляют друг для друга все, абсолютно все. Они играют роли отсутствующих детей, они любят детей друг в друге, у них сохраняется способность к игре, невинность, которая часто, как я заметил, теряется в более плодовитых браках. Хотя они также могут быть — по выражению Блейка — искушенными в общении друг с другом, умеют не стесняться чужих глаз….

Олив не нашлась сразу, что сказать. Герберт Метли продолжал:

— Это не совсем точно, что мой брак бездетен. Я чувствую, миссис Уэллвуд, что могу вам доверять — вы, как и все хорошие писатели, выставляете напоказ свою сокровенную душу, и я знаю, что вы мудры и добры. У меня нет Детей. У моей жены три дочери. Она была женой… священника в Бэтли… она была счастлива замужем, но не проснулась. Она жила во сне, полном добрых дел

и хорошеньких платьев. Мы встретились… она и я… и в течение двух лет пытались отрицать то, что поразило нас… поразило нас как молния. Я не мог писать. Она болела. Ее охватило загадочное изнеможение — она едва могла стоять или ходить. Я пришел к ней, чтобы сообщить, что я покидаю Бэтли — я собирался эмигрировать в Канаду, — и я взял ее руку… и мы увидели — вместе, как одно существо, — что я не могу уехать, не могу уехать один, никогда не смогу. Поэтому она уехала со мной, и с тех пор мы зажили счастливо, и, как я сказал, мы с ней друг для друга — все. Мы мало кому об этом рассказываем. Муж не дает ей развода. И не позволяет видеться с детьми — хотя это, может быть, и к лучшему… она выбрала другую жизнь, и любое напоминание о прежнем будет причинять боль… сильную боль…

Через два или три дня Герберт Метли явился в старый дом священника один. Олив оказалась в саду — она сидела за складным столиком и писала. На ней была простая соломенная шляпа и свободное кубово-синее платье, чем-то напоминающее фартуки ее дочерей. Он непринужденно встал рядом с ней — его тело всегда принимало непринужденные позы, даже если голос звучал сдавленно.

— Милая миссис Уэллвуд, я не буду вас отрывать от работы. Кому, как не мне, знать весь ужас… леденящий кровь… когда пишешь, и вдруг твой поток мыслей кто-то прерывает. Я только принес вам небольшой подарок… вот он… я взял на себя вольность надписать его… это, может быть, лучшая из моих работ… но судить вам.

Он вручил ей завернутую книгу и ушел. Олив была тронута. Почти никто не знал, как это больно, когда кто-то прерывает чернильную цепочку твоих мыслей. Метли был очень деликатен.

Книга называлась «Дочери человеческие», автор — Герберт Метли. Внутри он написал:

«Олив Уэллвуд, мудрой женщине и талантливой писательнице. От доброго друга — Герберта Метли».

Олив закончила писать и в гамаке, куда прилегла после обеда, начала читать «Дочерей человеческих».

Это была история молодого провинциала, любившего женщин. Книга начиналась так: очень немногие мужчины признаются, что любят женщин — во множественном числе. Порядочный мужчина должен искать Единственную, которая станет подругой его души, но как же ее узнать, если не исследовать, не сравнивать, не изучать

женскую природу?

В первой части романа подробно описывались отношения главного героя с различными девушками — одноклассницами в школе, девочками из церковного хора, девочками — воплощениями дриад, которых он встречал, блуждая по лесу в поисках тишины и спокойствия, загадочными девушками за прилавками галантерейных магазинов. Героя звали Роджер Томас. Для описания его отношений с девушками автор использовал что-то вроде шифра, но каким-то образом ему удавалось передать природу и разнообразие обширных сексуальных экспериментов героя. В книге было множество описаний кожи, электрического тока, рук, хватающихся за нижние юбки, длинных юных шеек, взглядов, скользящих вниз по телу, и прекрасных молодых ног, уходящих вверх от тонкой щиколотки. И волос — кудрявых и черных, как ежевика, блестящих каштановых, как настоящие каштаны, бледных, как лен. Примерно на середине книги Роджер Томас замечает меланхоличную женщину, замужнюю — красивую молодую жену своего начальника, пожилого директора школы. Роджер почувствовал взгляд ее умных глаз у себя на затылке. Он начал бояться, что она осудит его за невинный и не столь

невинный флирт. Роджер работал помощником учителя. Он и она вместе сидели за столом, составляя списки с результатами экзаменов, проверяя экзаменационные работы. Как-то раз она подняла руку, в которой все еще было зажато перо, и обвела пальцами контур его губ.

Они стали любовниками. Они трагически лежали в объятиях друг друга на одеяле в лесу, на ковре, в красном свете печурки в съемной комнатке юноши. Они устроились так, чтобы провести греховные выходные вместе, сняв комнатку в деревенской гостинице, и любили друг друга с самозабвением, наслаждаясь каждым летящим мигом и скорбя о нем. Это задумывалось как страстное прощание с грехом, но книга заканчивалась так же, как история отношений самого Метли с Фебой.

Олив решила, что книга автобиографична. Она подумала, что Герберту Метли хорошо удаются описания плоти и ее разнообразных шевелений, и была удивлена, что книгу не запретил лорд-камергер и не конфисковала полиция. Олив было интересно, как описания секса в книге вызывают сексуальное шевеление плоти у читателя — в данном случае у нее самой. Слово, ставшее плотью, пробормотала Олив, и смеясь, и сердясь.

Она знала, что он добивался от нее именно такой реакции. Но реакция Олив была неоднозначной из-за образа Фебы Метли, чья осязаемая плоть и умное лицо встали между Олив-читательницей и дверью в мир книги. Олив все время видела перед собой крупноватые костяшки пальцев Фебы, намечающиеся морщины на шее, дрябловатый живот и обвисшие груди под купальным костюмом.

Какие чувства хотел пробудить в ней Метли? Она подумала об отношениях между читателями и писателями. Писатель произносил заклинание, вызывая читателя в магический круг — мир книги. Отточенными словами писатель завораживал читателя, заставляя мурашки — бежать по коже, губы — приоткрываться, кровь — сильнее пульсировать. Но писатель делал это при условии, что читатель находится наедине с печатной бумагой и раскрашенной обложкой. Что должен был чувствовать читатель — что должна была чувствовать Олив, — когда оригиналы этих неосязаемых, бумажных личностей присутствовали осязаемо и зримо, во плоти и в прозаической одежде? В рыжеватом твидовом жакете, выцветшей ситцевой юбке с рисунком из люпинов и эластичном жилете, сбившемся

странными комьями?

Через несколько дней Герберт Метли пришел и сел рядом с Олив на пляже. Том, Чарльз и Герант плавали. Девочки в купальных костюмах прогуливались босиком у кромки воды. Джулиан читал. Метли спросил у Олив:

— Вы прочли мою книгу?

— С огромным интересом, — ответила Олив, в последний момент заменив словом «интерес» слово «удовольствие».

— Вы проницательны. Вы, конечно, поняли, что сюжет частично взят из жизни. Больше, чем в других моих книгах. Я хотел, чтобы вы ее прочитали — чтобы лучше узнали меня.

— А… — произнесла Олив, глядя вниз. Метли положил ладонь поверх ладони Олив, лежавшей на песке. Слегка сжал. Она не отняла руки.

— Такая любовь… история такой… такой боли и такой вершины единения… это святой опыт. Он меняет человека. И я, как Роджер в книге, относился к себе легкомысленно, жаждал узнать о половых чувствах как можно больше — я считал, что это нормальное стремление и что оно есть у всех. Но стоит человеку истинно отдаться — принести подлинные жертвы, — и уже не может быть и речи о…

«Да не нужно меня предупреждать», — ядовито подумала Олив. Она высвободила руку и поправила волосы. Возможно, конечно, что он не ее предупреждает, а себя пытается сдержать, борется против собственных устремлений, которые, кажется, даже слишком ясно осознает. Вслух она произнесла, чуть улыбаясь, что это все очень правильно, очень честно. А про себя подумала, что такие разговоры сильнее выбивают из колеи, чем поклонение Тоби или учтивость Проспера. Хорошо бы Хамфри поскорее вернулся из… Лидса, как он сказал, но это вполне мог оказаться Манчестер.

Олив Уэллвуд было тридцать восемь лет. Женщины класса, из которого она происходила, в основном жили ненамного дольше. Дожившие до этого возраста знали, что дальше их ждет только угасание сил и неизбежная смерть. Но Олив сейчас сидела в волшебном «саду Англии», у нее было хорошее тело, и лицо, пожалуй, даже интереснее, выразительней, да, можно, пожалуй, сказать, что и красивее, чем тогда, когда она была еще зеленой девчонкой. А паутинки сексуального притяжения плавали в воздухе, повсюду, касаясь кожи, как семена одуванчика под белыми зонтиками, как озон, поднимающийся с моря.

«Мое время — сейчас», — подумала Олив, глядя на Ла-Манш и на детей… и на Тоби, скачущего вместе с ними, и на Виолетту, расположившуюся поодаль с нянькой и коляской… и на Проспера в элегантной панаме, шагающего к ним. Дети были детьми — благословенные малютки, пока лишь наброски будущих людей. Но Олив заметила, что Герберт Метли перестал смотреть на нее и с явным удовольствием разглядывает стайку девушек: бледную изящную Гризельду, резкую темноволосую Дороти, мечтательную Помону, заторможенную Имогену, хорошенькую Филлис, собранную Флоренцию — единственную, в ком уже просматривалась женщина, которой она станет. «Очаровательны, правда?» — спросила она у Метли, который проницательно взглянул на нее, заговорщически улыбнулся и согласился.

Мальчики выходили из воды на песок. Они как морской народец, подумала Олив. Гладкие, обтекаемые обитатели глубин, которые выходят из волн и принимают человеческий облик. Косматый Герант, Чарльз с его точнейшими жестами, а за ними, сначала лежа лицом вниз на волне, потом встав по бедра в волнующемся море, — Том. Волосы его струились, и с них струились потоки воды. Ему, кажется, неохота было

выходить из моря. Он наклонился и пошевелил воду золотыми руками. Ничего грациознее Олив в жизни не видела. Был полдень. Солнце с высоты светило отвесно вниз на ее золотого мальчика; он не отражался в подвижной морской глади, которую разбил на мельчайшие частицы, мириады повернутых под разными углами стеклянистых фрагментов, мозаику поверхностей — мириады сверкающих капель преломляли свет, рисуя радуги на плечах и в длинных волосах. Еще Олив заметила, что все тело Тома покрыто золотистыми волосками. Тонкими золотистыми волосками, довольно длинными — они слипались вместе, образуя исходящие каплями узоры на груди и бедрах. Олив увидела — виноваты были, конечно, пуховые зонтики одуванчиков и озон, — что его тонкий жезл (Олив не придумала уменьшительного прозвища для этой части тела) поднялся, почти прижимаясь к животу. Олив любила Тома. Она не могла его удержать. Том ее тоже любит — ее время еще не кончилось, в том числе и с ним — но он уйдет и изменится.

Она принялась творить в ином мире. Королева на лесной поляне, верхом на лошади, у которой в сбруе пятьдесят серебряных колокольчиков и еще по девять на каждой прядке гривы. Жен-

щина и мальчик на поляне в лесу. Сказка. Олив улыбнулась, уже из безопасной дали, и Герберт Метли спросил себя, чему это она улыбается, и, естественно, истолковал ее улыбку по-своему.

Дороти отправилась в гончарную мастерскую, чтобы проведать Филипа.

Филип стоял у гончарного круга, погрузив мокрые руки в движущуюся, растущую глиняную стену горшка. Дороти стояла в дверях и смотрела. Она коснулась кончиков пальцев одной руки кончиками другой, пытаясь представить ощущения гончара. Движения Филипа были точны и необычны. Он вывел горшок, закончил край, пригладил бока деревянной палочкой и снял горшок с круга.

— Ну привет, — сказал он Дороти, не оборачиваясь. Она не думала, что он знает о ее присутствии. Он сказал:

— Хочешь сделать горшок?

Дороти сказала, что да. Филип нашел для нее халат и уступил ей свое место у круга. Он взял комок глины, шлепнул на круг и отцентровал.

— Теперь, — сказал он, — нажимай на него, вот так, обеими руками — и большими пальцами работай, — и ты почувствуешь, как он поднимается вверх.

Дороти нажала. Глина была мокрая, липкая и мертвая и все же как-то двигалась, отвечала, в каком-то смысле жила. Гончарный круг вращался вместе с глиной, Дороти старалась ровно держать пальцы внутри красно-коричневого цилиндра, который рос, и стенки его становились тоньше в такт оборотам колеса. Дороти была в восторге. И вдруг что-то случилось — ритм сбился, глиняные стенки пошли волнами, соскользнули и провалились внутрь, и от глиняного цилиндра остался трепыхающийся пузырь. Дороти обернулась к Филипу, чтобы спросить, в чем она ошиблась. Она и плакала, и смеялась. Филип смеялся. «Так всегда бывает», — сказал он. Взял глиняный ком, чтобы исправить его, и вдруг из чулана вышла Элси. Она что-то держала в руках и, не подозревая о присутствии Дороти, протягивала эту штуку Филипу.

— Глянь, что я нашла. Ты такое видал когда?

Тут она заметила Дороти и зарделась. Дороти удивилась: чем она могла так напугать Элси, они были едва знакомы — и тут до нее начало доходить, что у Элси в руках. Филип понял сразу, и у него тоже кровь прилила к щекам.

— Оно было в коробке, в чем-то вроде ниши, в самой глубине, — объяснила Элси.

Оно было белое и сверкающее. Подробнейшее изображение — больше натуральной величины — эрегированного члена с яичками: он был покрыт ровным слоем глазури, и все складки, морщинки, гладкие безволосые поверхности сияли.

— Это не я, — сказал Филип.

— Я и не думала, что ты, — ответила его сестра. — Извиняюсь, — добавила она, обращаясь к Дороти. Элси не была уверена, как им следует друг с другом разговаривать: на «ты» или на «вы».

Дороти с измазанными глиной руками сделала шаг вперед.

— Можно посмотреть? Я собираюсь изучать анатомию. Как вы думаете, это чтобы учить студентов?

— Нет, — ответил Филип. — Наверно… наверно, это фаллическая вещь.

Это слово он узнал из разговоров Бенедикта Фладда. Ни одна из девушек не знала, что оно значит.

— Ну вроде как религиозная, — объяснил Филип, окончательно застеснявшись и чувствуя, что вот-вот истерически захохочет.

Дороти забрала фаллос и потрясла им, как копьем.

— Какой он большой, — сказала она и тоже неудержимо расхохоталась. Элси присоединилась к ней.

— Как ты думаешь… как ты думаешь… — спросила Дороти. — Это, если можно так выразиться, автопортрет?

От ее пальцев на члене остались коричневые глиняные отпечатки.

— Тебе придется его вымыть, — сказала Дороти, и ее снова обуял хохот.

— Дай сюда, — сказал Филип. — Я его суну под кран. А потом Элси его быстро уберет туда, откуда взяла.

Он чувствовал пальцами, насколько хорошо сделана эта вещь, как ваятель прощупывал ее, выводя каждую набухшую вену.

Отсмеявшись, они не знали, что еще сказать друг другу, и все же почувствовали себя близкими друзьями. Дороти сказала, что ей пора. Она спросила, не даст ли ей Филип как-нибудь еще один урок. А у Элси спросила, еще со смехом в голосе, делает ли она тоже керамику.

— Угу, — ответила Элси. — Маленькие горшочки, когда никто не видит. Мне нравятся маленькие, тоненькие.

— Ты мне не говорила, — заметил Филип.

— Ты не спрашивал, — ответила Элси.

16

Олив снова переписала зачин сказки Тома.

Том-под-землей

Интересно, что пока принц был еще ребенком, с солнечным характером и обычной долей детского любопытства и озорства, отсутствие тени скорее забавляло и чаровало тех, кто его замечал, нежели вызывало тревогу. Но принц рос, и, когда стало ясно, что ему уже недолго осталось быть ребенком, король, королева и придворные начали шептаться (когда думали, что он не слышит) и советоваться с мудрецами о том, что бы могла означать такая особенность. Они завешивали зеркала в комнатах, где бывал принц, словно он мог заметить нехватку самого себя или по крайней мере части себя. Сам мальчик замечал чужие тени и пристально их рассматривал — они падали на пол внутреннего дворика или на стены, растягивались и сжимались, видимые, неосязаемые, невещественные вещи с человеческими очертаниями. Принц не видел собственной тени и до поры до времени полагал, что никто не может

видеть свою тень, а только чужие. Но потом он увидел маленькую девочку, которая, смеясь, играла со своей тенью: заставляла ее забираться на стенку и складывала из пальцев фигуры театра теней. У самого принца никаких фигур не получалось, или же они были невидимы. Он не знал, с кем можно об этом поговорить. Он догадывался: если бы родители знали, что делать, и хотели ему помочь, они сами заговорили бы с ним.

Принц завел обыкновение совершать долгие прогулки по обширным угодьям дворца. Принцу не разрешали выезжать за ворота дворцовой ограды, так как боялись, что его похитят разбойники или иностранные авантюристы. Но и в пределах стен, окружающих дворцовые угодья, были рощи, красивые полузаросшие поляны и длинные дороги, над которыми нависал древесный полог. Принц заметил, что выходит на прогулки все больше в пасмурную погоду, когда все одного цвета с тенями, или в солнечный полдень, когда солнце стоит в зените и ничто не отбрасывает тени.

У принца было любимое место — в березовой рощице, окружавшей небольшой холм. Принц сидел там, наблюдая за насекомыми, которые деловито выползали из норок и возвращались обратно, или читая книгу, или глядя на небо сквозь

полог листьев. Принц мысленно звал это место волшебным и всегда думал, что там даже воздух другой, полный движения и искр посреди всеобщей неподвижности.

Там стояла каменная скамья, но принц на ней не сидел. Он сидел на траве, которая летом была теплой, а осенью — прохладной.

Иногда он задремывал. Должно быть, и на этот раз задремал, потому что обнаружил, что глаза у него закрыты, а до слуха доносится очень слабый звон множества крохотных колокольчиков — словно деревья были полны ими. И еще послышался шелест, словно на поляне приземлилась очень большая птица. Принцу не хотелось открывать глаза. Колокольчики замолкли, и он понял, что надо посмотреть, иначе время замрет в неподвижности.

На поляне, где прежде ничего и никого не было, стояла белая лошадь, на которой сидела благородная дама; лошадь цвета сливок и серебра; копыта — цвета слоновой кости, шея гордо выгнута, а в тяжелую волнистую гриву вплетены мириады крохотных серебряных колокольчиков на алых нитях. Колокольчики сверкали на солнце, словно капли дождя, и звенели, когда лошадь встряхивала головой или поворачивала ее, что-

бы поглядеть на Томаса. Седло было из алого сафьяна, а длинная юбка всадницы — из бархата, зеленого, как трава, с отблеском: как зеленое поле высокой травы идет волнами под ветром. Всадница была обута в изящные зеленые сапожки с серебряными шпорами; Томас поднял взгляд и наконец увидел ее лицо: он в жизни не видал ничего прекрасней. Оно было изящно, бледно, с острым подбородком, высокими скулами и узким ртом. Тяжелые золотистые волосы дамы были убраны в серебряную сеточку и прикрыты охотничьей шапочкой с кудрявым зеленым пером — от такой птицы, какую принц не видал никогда в жизни и даже не мог себе вообразить. Длинные пальцы рук были затянуты в перчатки, и в одной руке дама держала хлыстик с рукояткой черного дерева и серебряным навершием. Глаза у нее были зеленые. Зеленые, как у огромной настороженной кошки, а не как у женщин и мужчин, которых принц видал в своей жизни. С виду дама была не добрая и не злая, и Томасу пришло в голову, что, может быть, она его не видит — может быть, она находится в каком-то другом мире, часть которого вдруг стала видимой в мире Томаса. Затем он увидел, что ни дама, ни ее красивая лошадь не отбрасывают тени. По ним шли волны блеска, свет

играл на колокольчиках и сверкающей лошадиной гриве, на волосах дамы и ее бархатной юбке, но ни лошадь, ни дама не отбрасывали тени.

Она посмотрела на принца сверху вниз и улыбнулась — не доброй улыбкой и не злой. Он встал и вежливо склонил голову — ему показалось, что это будет правильно, — и продолжал стоять, не отбрасывая тени, рядом с лошадью и всадницей, у которых тоже не было теней. Он хотел сказать что-нибудь вроде «приветствую тебя» или «ваш покорный слуга», но вместо этого произнес:

— Ты не отбрасываешь тени.

И понял, что впервые в жизни это слово сорвалось с его уст.

— Я из страны эльфов, — ответила дама. Голос у нее был как осколки тонкого льда на ветру, как серебряные колокольцы в лошадиной гриве. — Я королева страны эльфов, мы не отбрасываем тени. А ты — Верный Томас, человек, у людей должны быть тени, но у тебя ее нет.

— Это казалось пустяком, — ответил он, — поначалу. Забавной особенностью. Но теперь уже не так забавляет.

— Ты не от рождения лишен тени, — произнесла эльфийская королева. — Ее у тебя похитили, когда ты был в колыбельке, — похитила огром-

ная крыса, она отгрызла твою тень острыми зубами и осторожно унесла к себе в нору. Крысиные норы есть повсюду, даже во дворцах, они ведут под землю, вниз, вниз, в мир теней, где королева темных эльфов ткет из них сети, чтобы уловлять смертных людей и прочих тварей. Твоя тень спрятана в сундуке, в темном чертоге, куда отнесла ее крыса, осторожно сжимая в зубах, через туннели и коридоры. Эта крыса — друг и слуга королевы темных эльфов. Они умеют, используя тень человека, взять в плен ее обладателя, заточить во тьме и обратить в рабство. Когда ты станешь королем, они, управляя тобой из теней через твою тень, смогут захватить власть в твоем королевстве. Мало-помалу они смогут увести всю страну из-под солнца и затянуть ее в царство теней.

— Кажется, я виноват, но я ведь ничего не делал! — воскликнул Томас.

— Зло может совершиться помимо чьего-либо желания или действий. Но твоя воля и твои действия могут предотвратить его.

— Что я должен сделать? — спросил Томас, ибо ясно видел, что королева эльфов явилась, чтобы велеть ему что-то сделать.

— Они не могут использовать твою тень, по-

ка ты — и твоя тень — не стали мужчинами. Поэтому ты должен спуститься под землю — сейчас, пока ты еще мальчик и твоя тень безвредна, — и найти ее, и вывести обратно на солнце.

— Как это сделать?

— Я помогу тебе одолеть часть пути. Садись в седло позади меня.

— Я не готов, — сказал Томас, думая о жизни во дворце, о вещах в своей комнате, о своих книгах, играх, заботливых родителях, старой няне.

— Если ты не готов сейчас, то не будешь готов никогда, — ответила эльфесса, наклонилась с седла и протянула ему руку, в которой все еще был зажат хлыстик.

Том подумал — он был осмотрительный мальчик, хотя и честный, и прямой, — что, может быть, она сама на стороне злых сил и явилась, чтобы причинить зло.

— Если ты мне не поверишь, это будет горчайший день твоей жизни, — сказала она, и он в глубине души понял, что это действительно так. И он потянулся кверху, взял руку, которая оказалась сухой и прохладной, легко вскочил в седло позади королевы эльфов, обхватил руками тонкий стан и склонил лицо к бархатному платью.

— А теперь, — сказала она, — мы помчимся вместе с ветром через необитаемую страну.

И лошадь оттолкнулась от холмика и полетела, как ветер (некоторые создания действительно умеют летать, как ветер), к высокой стене, окружавшей дворец. Там лошадь остановилась, и присела, и встала на задние ноги, и поднялась, и взмыла в воздух, и перелетела через стену (еще и с запасом), и зеленый плащ развевался по воздуху, и ветер шевелил волосы Тома.

И они стремительно поскакали, пересекли королевство и вступили в незнакомые земли, и ненадолго остановились у ворот некоего сада. Эльфийская королева сказала Томасу, что он не должен срывать эти плоды, призывно кивающие с ветвей, ибо они кажутся прекрасными, а на самом деле опасны и смертельно ядовиты для него. Но она достала из седельной сумы и дала ему пирог, замешенный на молоке, и фляжку чистой воды для питья. И небо начало темнеть — не так, как дома, а так, словно его задергивали занавесом, или словно они въезжали в невидимую пещеру.

— Здесь граница страны эльфов, — сказала королева. — Это страна теней, где странствуют те, кто лишен тени.

Скалы и трава в этой стране были серые, и речка, бежавшая вдоль дороги, тоже была серая, и кусты, мимо которых проезжали путники, были серые — как тень, как крыса, и еще слышался шум и плеск, словно волны разбиваются о берег. И серый ручей быстрее побежал по серым камням, и на нем появились небольшие волны, увенчанные барашками серой пены. Юбка дамы все еще светилась зеленым, шкура лошади все еще призрачно белела, и собственные ладони Томаса все еще розовели из-за человеческой крови, которая текла у него под кожей.

Река добежала до галечной отмели, на которую почти бесшумно набегал прибой и откатывался назад, окружая отмель розово-серыми кружевами. Томас не видел, где другая сторона этой воды — ее поверхность разбивалась на бесконечное множество блестящих зеркалец, — но видно было, что она не серая, а красная, словно кровь, а может, это и была кровь. В грифельно-серых, низко нависших небесах не было ни солнца, ни луны. Лошадь, не колеблясь, ступила в кровавый прибой и пошла вперед, изящно поднимая гордые ноги. Скоро кровь уже дошла ей до колена, а временами была и по грудь. И Томас увидел, что кровь как будто бы пятнает белую шкуру, но затем

стекает с бабок и серебряных копыт, не оставляя никакого следа. И так они продолжали свой путь, и Томасу казалось, что он длится уже не часы или дни, но недели, и лишь шум воды не переставая гремел в ушах, а перед глазами прокатывались серые и алые волны.

В конце концов они достигли другой отмели (иначе мне не о чем было бы рассказывать дальше), и лошадь вышла на мелкий прибрежный песок. Он светился золотым светом, и глазам Томаса предстал длинный пляж, белые меловые утесы, покрытые яркой зеленой травой, белые чайки, которые кружились и кричали, и несколько лохматых овец, которые, примостившись на краю утеса, жевали низкорослые кустики. Стены утесов были испещрены расселинами; из некоторых вытекали ручейки, промывая себе дорогу в песке и огибая круглые камушки. Томас оглянулся и увидел поодаль в море красную линию — край кровавого потока — и огромную стену, подобную поднимающемуся с моря туману: это была граница серого мира, и через нее вообще ничего нельзя было разглядеть.

— Это моя страна, — сказала эльфесса, спешиваясь и помогая Томасу слезть. — И здесь мы должны расстаться, ибо я, хоть и живу под

холмом, не могу пойти с тобою под землю, куда ныне лежит твой путь. Я дам тебе свой мешок с едой и фляжку с водой из источника в моем саду, куда, я надеюсь, ты придешь в свое время. Нужный тебе путь — один из них, ибо их много — пролегает через среднюю из трех расселин, которые ты видишь на отвесной стене утеса. Ты должен идти все вглубь и вниз, вглубь и вниз, туда, где ждут королева темных эльфов и крыса. Путь долог — тебе придется идти, карабкаться, лезть и ползти. В штольнях — там, внизу — обитают самые разные создания, люди и нелюди, и древние, и очень юные и потерянные. Ты найдешь помощников и спутников — это я провижу, — а также встретишь опасных тварей и диких тварей: иные будут посланы Ею, а другие следуют лишь своей воле, не имея никакого отношения к эльфам, крысам или теням. Ты хорошо поступишь, если найдешь себе спутников, но выбирай их осмотрительно, ибо там, внизу, обитают злонамеренные создания, которые на первый взгляд кажутся разумными и дружелюбными.

У меня для тебя три дара. Первый — это свет, который будет сиять в темноте: он сделан из эльфийских светлячков, заключенных в стеклянный флакон, и на миг вспыхнет невыносимо ярко,

если потрясти флакон и шепнуть светлякам слова «эльфийский свет». Я всем сердцем заклинаю тебя не говорить никому об этом флаконе, как и обо всех остальных дарах. Второй дар — неточная карта подземных ходов, ведущих к чертогу темных эльфов. Ее составили светлые эльфы много лет назад, и многие погибли в подземных проходах, и мы не знаем — ибо из знающих не выжил ни один, — насколько она точна и сколько важных проходов на ней не указано. Если ты сможешь отметить на ней, где она неточна, а где верно отражает ходы, ты сослужишь хорошую службу тем, кто придет после тебя.

Третий дар — вещь, которую я сама до конца не понимаю. Это небольшая латунная клетка, в которой подвешена — мы не знаем, какой наукой или магией, — хрустальная игла, которая свободно вращается и указывает путь к сердцу горы. Говорят также, что эта игла испускает странный свет, синий, как цвет горечавки, если Она где-то поблизости, но я не могу поклясться в истинности этого.

Ты можешь задать мне вопрос.

— Один? У меня их тысячи.

— Один. Иди быстро и не оглядывайся, а не то наступит время прилива, и вода закроет вход

в пещеру.

— Что будет хуже всего там, внизу?

— Хуже всего? Крыса и королева темных эльфов опасны. Но хуже всего может быть твоя собственная тень, когда ты ее встретишь. Если ты ее узнаешь.

— Это плохо, потому что ее-то я и должен искать.

— Да, очень плохо. А теперь иди быстро и будь осторожен.

17

В сентябре 1896 года Том надел новую, с иголочки, школьную форму и сел в поезд на вокзале Кингз-Кросс вместе с толпой других учеников из Марло. Провожать его явилась вся семья — Олив, Виолетта, Дороти, Филлис и Гедда, причем Виолетта несла младенца Гарри, и Том сразу же понял, что стесняется своих родных. Их было слишком много, они были слишком громогласны, слишком возбуждены, слишком женщины. Красота матери бросалась в глаза, и это тоже было лишнее. Дороти была вся всклокоченная и тоже бросалась в глаза, совершенно по-иному, и это тоже было лишнее. До того они долго и неоднократно обсуждали, насколько коротко ему следует подстричься. Его подстригли один раз, и кузен Чарльз сказал, что это не годится, слишком по-девчачьи, и Тома подстригли еще раз, очень коротко, так что он чувствовал себя голым, и ему казалось, что он похож на каторжника. На голове у Тома была шапочка, сшитая из треугольников винно-красного и золотого фетра, с кисточкой и дурацкими узкими полями; прекрасное лицо Тома казалось в ней яйцевидным. На Томе был

блейзер того же густого винно-красного цвета, с единорогом, вышитым тусклым золотом на нагрудном кармане. Тому, как первогодку, не разрешалось ни застегивать блейзер, ни совать руки в карманы. Дополнял наряд винно-красный галстук с маленькими единорогами, который через два года разрешат сменить на вязаный галстук, а когда Тому исполнится восемнадцать — на галстук-бабочку. Негнущийся белый закругленный воротничок рубашки полагалось застегивать до конца — чуть позже Тому разрешат ходить с расстегнутым воротом, а еще чуть позже он сможет носить рубашки с отложным воротничком, как настоящий мужчина. Мать сказала, что присутствие в гербе школы сказочных существ — единорогов — может свидетельствовать о развитом воображении. Том подозревал, что это не так. Когда он поднялся в вагон, Гедда завыла, и ее пришлось увести.

Так он отправился на север. Школа Марло располагалась среди йоркширских равнин, за околицей небольшого рыночного городка под названием Фостер. Это было уродливое здание, построенное из серых каменных блоков, внушительное и похожее на тюрьму, с разнообразными анахронистическими башенками и воротами с

опускной решеткой. Том увидел Джулиана Кейна во внутреннем дворике школы и окликнул его. Джулиан подошел особенной походкой — среди учеников модно было передвигаться этаким лисьим поскоком — и вполголоса приказал Тому *никогда* не обращаться к нему по имени и *никогда* первым не заговаривать со старшими мальчиками. Откуда мне все это знать, сказал Том. Ничего, сказал Джулиан, скоро научишься, или обер-офицеры из тебя это быстро выбьют. Мальчики, которые в Итоне назывались префектами и козерогами, в Марло были обер-офицерами и шестерками. Джулиан спросил, в какой дом распределили Тома, и Том ответил, что в Джонсон. Дома в школе назывались по драматургам семнадцатого века, наследникам Марло: Деккер, Джонсон, Миддлтон, Форд, Уэбстер и Тернер (англизированная форма фамилии Турнёр). Том сказал, что он будет шестеркой Хантера. Хантер, мускулистый блондин с лицом резким, как нож, был главным обер-офицером дома Джонсон. Он был капитаном второй сборной школы по крикету и загребным в команде Джонсона по гребле. У Тома составилось о Хантере неблагоприятное впечатление, но он не рискнул спросить у Джулиана, каков Хантер на самом деле — вдруг этот

вопрос тоже нарушает какое-нибудь непостижимое табу. Джулиан знал, что собой представлял Хантер, но не осмелился сказать. Том и сам скоро все узнает. Джулиан принадлежал к дому Форд, где главным обер-офицером был добродушный парень по имени Джебб. Джебб был лучшим медленным боулером во всей школе, а потому не испытывал потребности в самоутверждении. Джулиан посмотрел, что сотворили с красотой Тома, втиснув его в блейзер и шапочку, и увидел, что красота эта не померкла. Бритая шея и затылок были изящны и уязвимы. Шестерке Хантера это предвещало ужас. Держись подальше от Хантера, хотел сказать Джулиан, подальше от Хантера, милый. Невинный рот Тома был само совершенство. Сейчас этот рот произносил: «Здесь столько всего нужно знать, а никто тебя этому не учит».

— Ничего, они в тебя это вобьют, — сказал Джулиан. — Как в них самих когда-то вбили.

Шестнадцатилетний Джулиан делил комнату для занятий с двумя другими учениками. Тому, как новой шестерке, никакого уединения не полагалось. Даже в уборной, где мальчикам приходилось стоять и сидеть над длинной открытой доской с отверстиями, разглядывая, исподтиш-

ка или открыто, интимные части чужих тел. Даже в спальне, где Том лежал в двух футах от мальчика по фамилии Ходжес и от мальчика по фамилии Меркел, и от обоих несло тем запахом, вульгарным и едким, которым была пропитана вся школа. Ходжес спросил Тома, что ему больше нравится — самому трогать, или когда его трогают. Том яростно покраснел и сказал, что ни то, ни другое. Его, конечно, трогали. У Хантера была своя шайка, самые здоровенные громилы из команды по крикету. Они играли с новыми шестерками в особенную игру вроде фантов, состоявшую в том, что шестерку испытывали на знание тонкостей школьного фольклора и срывали с нее одежду, один предмет за другим.

— Как называется придурок, который залупается перед обер-офицерами?

— Подсосыш, — ответил несчастный Том; это он знал. Но они не отставали, пока не нашли что-то, чего он не знал, — например, что нельзя говорить «яичница с беконом», а надо «свинья и скорлупки», нельзя говорить «домашнее задание», а только «подтирка». А что ты должен делать, когда мы тебя бьем? Благодарить, потому что это для твоей пользы, иначе получишь еще сильнее. У Тома забрали трусы — еще до носков

и ботинок, — и каждый из мучителей позабавился с ним по очереди. Кодекс чести в подобных заведениях всегда утверждает, что рассказать означает совершить подлость и навлечь на себя бесчестие. Том никому не рассказал. В школьном забеге по пересеченной местности он столкнулся с Джулианом и подумал, не поговорить ли с ним. Но, взглянув на Джулиана, Том понял: тот, во-первых, прекрасно знает, что происходит, а во-вторых, ожидает, как и все остальные, что Том стиснет зубы и будет бодро сносить все выпавшее на его долю.

В письмах домой Том сообщал, что осваивается на новом месте, что у него появился свой круг обязанностей — например, застилать постели обер-офицерам и бегать для них в школьный буфет. Том представлял себе туповатого маленького мальчика, не страдающего избытком воображения, и писал так, как, в его представлении, написал бы этот мальчик. Хамфри заметил в разговоре с Олив, что для мальчика, у которого отец и мать писатели, послания Тома чересчур скучны, но Олив ответила, что это лишь защитная окраска, так как, она уверена, в школе мальчиков не поощряют выражать свои чувства. В конце Том всегда приписывал: «Спасибо, мама, что присы-

лаешь мою сказку. Для меня это очень важно».

Если учесть, что в доме было еще шестеро детей (ну и Хамфри, конечно), Олив чудовищно тосковала по сыну. Он имел какое-то отношение к ее способности сочинять хорошие истории — настоящие, а не халтурку ради денег, — и она нуждалась в нем. Не то чтобы он был аудиторией или музой, но в нем была жизнь сюжета. Олив неостановимо продолжала писать для него «Тома-под-землей». Олив надеялась, что его не обидит смена имени главного героя, который из Ланселина стал Томом. Имена героев — такая штука, над которой у писателя зачастую очень мало власти. Том-под-землей не мог бы ни говорить, ни действовать, не обретя правильного имени. Сюжет обретал самые разные восхитительные и пугающие повороты по мере того, как Том-под-землей спускался все глубже и глубже, идя вдоль стремительных подводных рек, по карнизам, под которыми зияли головокружительные черные воронки без видимого или даже слышимого дна: случайно сорвавшийся из-под ноги камушек падал туда без единого звука. Иногда путь пролегал по пещерам, освещенным настенной инкрустацией из драгоценных камней, которые неведомая рука извлекла из скалы и огранила.

Иногда слышались звуки чужого присутствия: кто-то, шурша, пробегал мимо (возможно, крысы или какие-то зверьки покрупнее), скрипели колеса вагонеток в соседних штольнях, проходили караваны и отряды гномов и саламандр (Том прятался от них в расселинах, боясь темных чуждых лиц и острых грязных ногтей).

Время шло, туповатые посланьица от Тома продолжали приходить. «Спасибо, Mater,[33] за фруктовый пирог, это просто нямка, обер-офицерам он очень понравился. Пришли, пожалуйста, еще пудинга с патокой, он нравится главному обер-офицеру. (И мне, если мне хоть что-то перепадает.) Вчера у нас был кросс по пересеченной местности, на равнинах, мы бежали вдоль ручья, где водится форель. Погода была дождливая, мы все промокли и выпачкались, но все равно приятно было выбраться на природу, и я пробежал неплохо и пришел третьим. Я стараюсь совершенствовать свою игру в регби и заработал в качестве призов кучу синяков. Фосетт-старший говорит, что я неплохо бегаю, но у меня полностью отсутствуют тактические способности. Я должен их развивать. Спасибо, что присылаешь сказку. Она

---

[33] Примечания: 33
Мать *(лат.).*

для меня очень важна. Твой любящий сын Том».

Сказка стала источником постоянных неудобств. Как мальчик, вдруг оказавшийся маленьким, мальчик, которого намеренно лишают возможности уединиться, может прочитать десятки печатных страниц, не привлекая к себе внимания? Как и где ему спрятаться? Сказка была для него жизненной необходимостью: Том, читающий «Тома-под-землей», был реален; Том, избегающий попадаться на глаза Хантеру, Том, декламирующий латинские склонения, Том, драящий умывальные тазы и слушающий сальные анекдоты, был симулякром, заводной куклой в форме школьника.

Он ушел под землю. Школа отапливалась системой ревущих и вибрирующих батарей, которые питались теплом угольной печи. Под школой были угольные люки и котельные, куда можно было попасть через раздевалки, расположенные в подвале. Когда школьников на выходной отпустили в ближайшую деревню, Том разжился небольшой керосиновой лампой, качающейся на полусферическом основании, — так называемой лампой Келли. Он вспомнил, как в дни, когда еще был Томом, преследовал другого мальчика под землей, меж колоннами и под сводами подвалов

Южно-Кенсингтонского Музея. Том был из тех одиночек, которые быстро и легко начинают верить, что их случай уникален: Том сразу решил, что он — единственная мишень издевательств, травли и обычной злобы. Ему не пришло в голову, что до него в подвале среди лопат и швабр могли прятаться другие доведенные до отчаяния мальчики. Но он обнаружил следы предыдущих беглецов: рисунок мелом на стене — ряд повешенных мальчишек на виселицах; старательно сложенный дорожный плед и подушку в аккуратно застегнутой сумке под ворохом мешков. Должно быть, есть, или был, еще по крайней мере один мальчик, похожий на Тома. И Том устроил себе тайник в очень узком неприятном углу за ревущей печью, изрыгающей зловонный выхлоп. Даже другим беглецам не сразу пришло бы в голову, что здесь можно спрятаться. В этой дыре Том стелил одеяло, надевал свитер, зажигал лампу Келли и читал «Тома-под-землей», пачкая страницы угольной пылью.

Странствующий принц обзавелся различными спутниками — как людьми, так и другими созданиями. Некоторые по многу дней шли за ним по пятам, прежде чем обнаружить себя, а некоторых он сам выслеживал по норам, загоняя в тупики.

Один спутник был обитателем шахты, из тех, кого называют гаторнами, и имя его, как и всех существ его вида, было Гаторн. Он был хрупкий и бледный и умел испускать кобальтово-синий свет из волос и кончиков пальцев. Он считал себя робким, но в минуты опасности выказывал истинную храбрость, хотя и дрожал от страха. Еще среди спутников Тома было быстроногое существо наподобие саламандры, с телом длиной примерно в рост Тома, похожее на небольшого дракончика на кривых ногах, с чешуей цвета слоновой кости и алыми глазками, горевшими как угли. Увидев Тома, он зашипел и раздул гребень, но гаторн успокоил его и уговорил идти с ними. Этот саламандр умел находить проточную воду, которая сочилась по шиферу или била из трещин в сланцевой породе. Была и еще одна тварь, которая то шла вместе с ними, то исчезала: она выглядела как огромная прозрачная трубка, закругленная с обоих концов, с глазами и ртом, которые время от времени появлялись в произвольных местах тела. Ее звали Студенец; она свалилась янтарным шариком в волосы принца, а потом разбухла так, что подперла потолок пещеры. Она умела течь по земле и сжиматься в небольшой тяжелый желеобразный кубик, влеза-

ющий в карман принцу. Студенец предупреждал о смертельных испарениях — удушливом газе, белом газе, гремучем газе — и растягивал свое тело, превращая его в непроницаемую оболочку, чтобы не пропустить эти ужасы, ползущие через трещины и крохотные отверстия.

Компания встречала и других тварей, которым не следовало доверять, но и с ходу отвергать их советы тоже не следовало. Разрежь-постромки, веселый дух в полчеловека ростом, бодро колотил киркой по скале и светился зелено-горчичным светом. Он был голый до пояса, но в рваной зеленой шапочке и с острой бородкой. Он заявил, что искателям ни в коем случае нельзя идти глубже и дальше — он сам никогда не рискнет туда пойти, нет-нет, ни в коем случае. Он обманул отряд, послав его налево по коридору, который в конце концов уперся в непроницаемую скалу. Возможно, он помогал Врагу, а возможно, и нет. Отряд замечал кругом себя шпионов. Порхающие летучие мышки с глазами как крохотные рубины и алмазы касались волос искателей костлявыми пальцами и улетали в темноту. Черви самых разных форм и размеров, стремительные и медлительные. Танцующие огоньки (у отряда хватало ума не идти вслед за ними). Резная фигу-

ра на каменном кресле, выступающая из скалы.

И еще был Дикий мальчишка. Возможно (так думал Том — герой сказки), этот Дикий мальчишка и был пропавшей тенью Тома. Его всегда видели только издали, убегающим со всех ног, на другом конце туннеля. Мальчишка был оборванный и пыльный, босой. Он убегал. Иногда, прежде чем исчезнуть в полумраке, он оборачивался и махал им рукой — то ли в насмешку, то ли дружелюбно, искатели не знали.

Конечно, его нашли. Хантер и его подлипалы, Блюэтт и Фитч, в халатах и тапочках, пришли обыскивать котельную, светили фонариком в углы, под карнизы, за трубы. Должно быть, они регулярно отправлялись на такую «охоту за мальчиками» — хотя Тому это не пришло в голову, он чувствовал, что он — «Том-один-одинешенек», другого такого нету, он — единственная мишень их ядовитых нападок. Халат у Хантера был алый, широкий в подоле, цвета судейской мантии, с золотым кантом и золотым шнуром вокруг мужественной талии, над целеустремленными ягодицами. Тапочки — черные, блестящие, словно надкрылья жуков, с вышитым гербом самого Хантера — плюмажи и опускные решетки замков. Завтра шестерки отчистят эти тапочки

от угольной пыли. Том вспомнил, стараясь не дышать, что и сам выполнял такую работу, и проклял себя за непонятливость: он должен был догадаться, что это значит. Они прошествовали мимо его тайника, и он перевел дух, но, конечно, они вернулись, и Хантер сказал: «Заглянем-ка еще вот сюда… Ой, а что это у нас тут такое? Маленькая непослушная шестерочка, с лампочкой и какими-то сраными бумажками, да еще и с одеялом. Со всеми удобствами устроился. Завтра придешь ко мне, Уэллвуд, и я тебе за это всю жопу обдеру. А теперь покажи, что ты тут читаешь. Наверняка что-нибудь оч-чень неприличное…» Он сделал знак Блюэтту, и тот выхватил у Тома бумаги. Том оскалил зубы, словно крыса, забился поглубже в угол и тяжело задышал.

— Подтирка для жопы, — сказал Хантер. — Читай, Блю, интересно, на что дрочит этот свиненок.

Блюэтт принялся читать. Читал он плохо, запинаясь, комкая слова, с нарочитой неестественной писклявостью.

Тогда Гаторн сказал:

— Нам надо идти дальше вглубь, несмотря на темноту.

А Том ответил:

— Я бы отдал что угодно, ну почти, лишь бы увидеть свет дня. Если я не отбрасываю тени при свете факелов и свеч, я с тем же успехом могу не отбрасывать ее при свете солнца.

А Студенец принялся напевать вполголоса какую-то песенку, а потом сказал, что крысы близко, он их чует: тысячи крыс, они лавиной валят по туннелю.

А Том сказал:

— Боюсь, я никогда не выйду отсюда живым.

— Это еще что за говно? — спросил Хантер. — Сказочки для деточек. Для деточек, которым мамочка читает сказочку, когда им пора идти спатеньки. Ты это у меня не скоро забудешь, Уэллвуд.

— Отдай, — прохрипел Том.

— Ты это сам написал? Ты понимаешь, что это полный мусор? А что делают с мусором? Можно изрезать его на подтирку для жопы. А можно просто сюда кинуть, — сказал он, распахивая дверцу печи.

Оттуда вырвалось пламя — это вспыхнул слой угля на дне печи. По углю перебегали синие огоньки, вспыхивали и гасли золотые язычки пламени, на обнажившихся кусках угля проявлялись тусклые красные пятна. Поднялась

удушающая вонь. Фитч закашлялся, а Хантер принялся кидать «Тома-под-землей», страницу за страницей, охапку за охапкой, в разверстый зев печи. Сказка корчилась и съеживалась на огненном ложе. Том схватил лампу Келли, которую еще раньше выключил, и швырнул в голову Хантеру. Лампа ударила Хантера по щеке, оставив синяк и ожог, а масло темными пятнами вылилось на алый халат.

— Тебя за это исключат, — сказал Хантер, вытирая щеку носовым платком. — Ах ты говняшка, тебя за это вызовут к директору, высекут перед всей школой, от тебя ничего не останется. Ты мне больно сделал, сволочь такая. По правде больно. Ты этого никогда не забудешь, уж я позабочусь. Впрочем, я думаю, ты только обрадуешься, если тебя исключат, а я думаю, тебе не следует радоваться. Так что я ничего никому не скажу, но уж я позабочусь, чтобы ты свое получил… черт, как больно… уж я позабочусь, чтобы и тебе было больно, даже не сомневайся.

Он отвесил Тому несколько оплеух: ритмично, подряд, так что голова Тома заполнилась болью.

— Завтра после уроков зайдешь ко мне. Думай об этом. После уроков принесешь мне черную трость. Смотри не забудь. Не забудешь? А с утра

первым делом отчистишь мой халат.

На следующее утро Хантер тщетно ждал своей шестерки. Он послал на поиски — должно быть, тот забился в какую-нибудь нору и дрожит, парализованный страхом, трус паршивый. К началу уроков Тома не нашли, и в журнале его отметили как отсутствующего. После уроков он не явился, чтобы получить свою порцию наказания. Вечером его не было в спальне. Хантер послал Фитча в подвалы, но Тома не было и там.

На следующий день директор собрал всю школу и спросил, не видал ли кто Уэллвуда. Хантер показал свой синяк и объяснил, что Уэллвуд швырнул в него горячей лампой, когда был пойман за чтением после отбоя. Директор сказал, что Уэллвуд, наверное, прячется. В памяти шевельнулось тошнотворное воспоминание о другом красивом мальчике: он висел на крюке в угольном погребе, и распухшее лицо уже не было красивым. Директор велел Хантеру искать Уэллвуда. Он организовал поиски на территории школьных угодий. Еще через два дня он вызвал полицию и телеграфировал Хамфри Уэллвуду.

Хамфри и Олив сели в поезд и поехали на север. Хамфри отчасти сердился, потому что из-за этого не успевал сдать статью для «Ивнинг Стандард».

Олив пыталась удержать в голове несколько сюжетных нитей сразу — от «Изгоев» до «Тома-под-землей». Испытывая это нормальное, будничное раздражение, они в то же время цепенели от страха где-то в незнакомом и чуждом месте, глядя на невнятные силуэты в окно вагона, затянутое дымом, паром, нависающей растительностью.

Когда они приехали в Марло, Тома еще не нашли. Хамфри посчитал, сколько дней Том отсутствовал, пока им не сообщили. Он выразил негодование. Олив сказала, что письма Тома были абсолютно безмятежны. Впрочем, теперь, задним числом, видно, что слишком безмятежны, совершенно не похоже на Тома. Привели Хантера, который, окинув Уэллвудов наглым взглядом, продемонстрировал синяк и ожог. Олив спросила его, как это случилось. Хантер объяснил, что Том читал какую-то чепуху в темноте, светя себе лампой, а когда его застали, швырнул лампу в Хантера. Горячая лампа — это очень опасно, сказал Хантер. Он хладнокровно смотрел на Олив и Хамфри, полностью владея собой.

Когда Хантер ушел, Олив спросила, нельзя ли поговорить с Джулианом Кейном — он знает Тома вне школы, и, может быть, Том ему что-то

рассказывал.

Привели Джулиана, и он сказал, что ничего не знает. На расспросы он ответил, что, по его мнению, Тому трудно было освоиться в школе. Джулиан осторожно сказал, обращаясь к Хамфри, что дом Джонсон славится строгой дисциплиной, и новым шестер… то есть новым мальчикам поначалу бывает трудно. Хамфри понял невысказанную мысль, но это никак не помогло. Никаких следов Тома не отыскалось, и, проведя несколько дней в гостинице, Хамфри и Олив вернулись домой, к остальным детям и к ожиданию — может быть, Том пришлет весточку. Но весточки не было.

В «Жабьей просеке» стало невыносимо. Филлис очень много плакала, и ее часто шлепали. Хамфри пил виски и разговаривал с полицией. Олив ходила. Она ходила по дому из конца в конец, как ходит женщина во время родовых схваток, чтобы сокращением мускулов отвлечь тело и ум от боли. Ходила безостановочно, время от времени падая в кресло и терзая собственные ногти и волосы. Через три недели такого хождения она прибегла к мужниному виски, а потом увеличила дозу. Сперва она пила поздно ночью, потом маленькими глотками по вечерам, а потом

стала пить и днем, не переставая ходить. Через шесть недель ее блестящие черные волосы стали тусклыми и косматыми, а глаза — хоть она и не плакала — опухли от виски.

Все домашние дела взяла на себя Виолетта. Приготовление еды, письма к издателям, малышей, которым ничего не сказали — но Виолетта знала, что Гедда все прекрасно знает, хотя и не знала, что она думает или чувствует по этому поводу.

Дороти уходила из дому. Она не ездила к Гризельде и не ходила на занятия. Она уходила в лес и пропадала. Странно, что ни Хамфри, ни Олив не замечали ее отсутствия, хотя могли бы и побеспокоиться об оставшихся детях.

Дороти ходила к древесному дому, все еще хорошо замаскированному осенней листвой и пожелтевшим папоротником. Она тихо садилась на папоротниковое ложе и ждала. Через шесть недель она обнаружила за дверью потрескавшуюся глиняную кружку и заплесневелые крошки хлеба. Она принялась следить за древесным домом, подкрадываясь к нему сзади, а не подходя открыто по тропинкам — и так ей в один прекрасный день удалось обнаружить в доме оборванного мальчишку, скрюченного в позе плода в вересковом гнезде, обутого в дырявые ботин-

ки, одетого в грязнейшую куртку на несколько размеров больше, со знакомой сумкой, с копной длинных пыльных волос, в которых кишели всякие твари, как живые, так и абсолютно мертвые.

— Я знала, что ты сюда придешь, — сказала Дороти. — Я бы знала, если б ты умер. Я так и думала, что ты жив.

Том то ли что-то проскрипел, то ли всхлипнул в ответ.

— Где ты был?

— Помогал леснику, — ответил Том. Никакого иного ответа ни Дороти, ни кто другой от него не получили. Это было и похоже, и не похоже на книжки Олив о беглецах. Еще два дня ушло у Дороти на то, чтобы убедить Тома вернуться с ней в «Жабью просеку». Она так и не призналась Олив, что в течение двух дней знала, где Том, и никому не сказала: мать ее никогда не простила бы.

Увидев оборванного Тома, Олив стремительно выбежала в уборную, где ее яростно и совсем не романтически стошнило. Она вернулась с лицом белым, как известка, и обняла своего мальчика; от него пахло чем-то невыразимым, и кожа его утратила свой блеск. Том замер и инстинктивно оттолкнул ее. Она спросила: «Где ты был?» Она сказала: «Мы страшно беспокоились». Он не

ответил. Олив обняла сгорбленные, безвольно опущенные плечи и сказала: «Ты больше никогда туда не вернешься». В ярости, боли и скорби Олив хотела рассказать, каково им было — ждать много дней и *не знать*, но поняла, до чего ему плохо, и не стала утяжелять его бремя. Она уже переживала такое — когда затопило шахту, когда нанес удар гремучий газ. Она ждала и мрачно знала, что ждет напрасно, и почти жаждала, чтобы на смену мучительной неопределенности пришла определенность. Что-то подсказывало ей — из-за того, прежнего ожидания, — что они больше никогда не увидят Тома. Но вот он, чужой и грязный. «Бедный мой мальчик», — сказала она. И, обращаясь к Виолетте: «Наберите ему ванну и дайте нормальную одежду». И Тому: «Ты можешь мне все рассказать — потом, когда захочешь».

Но он ей так ничего и не сказал. Олив подозревала, что он делится с Дороти, и допросила ее. Дороти правдиво сказала, что ничего не знает, кроме того, что Том помогал леснику. Олив не верила, что Дороти больше ничего не знает. Том сказал только одно, примерно неделю спустя:

— У меня больше нет сказки.

Олив ответила:

— Не расстраивайся. У меня осталась копия. Не

переживай. Я все знаю. Это неважно.

— Важно, — сказал Том, ушел и заперся в спальне.

Олив почувствовала, что он запирается от нее. Том был частью ее, и она была частью Тома, а гнусный Хантер разорвал их связь. Олив сердилась на Тома из-за страшного ожидания и еще из-за того, что Том о нем понятия не имел. Олив не привыкла анализировать свои переживания. Она «пережила» что-то плохое и стала бороться с этим как обычно — то есть написала детскую книгу о невинном мальчике, которого изводят в школе старшие ученики, и о том, как он храбро противостоит этой травле. Она преобразила неоготические башни Марло в готический кошмар и включила в книгу страстный призыв к школам: стать человечнее и цивилизованнее. Невинность нельзя загонять в жесткий распорядок и убивать жестокостью, как это делают с армейскими рекрутами. Мы должны заботиться о нашей молодежи, учить ее терпимости, доброте и самостоятельности. Книга, вышедшая подзаголовком «Темные дела в „Черных башнях“», имела огромный успех. Джулиан Кейн прочитал ее во время пасхальных каникул 1897 года и сказал себе, что на месте Тома он никогда бы не простил

матери эту книгу. Том к этому времени с виду уже «пришел в норму», бегал по лесу, ничем не стесняемый, и, как раньше, занимался латынью с Татариновым и английским с Тоби Юлгривом. Олив подарила ему «Черные башни» с дарственной надписью: «Моему дорогому сыну Тому», но так и не поняла, и никто не понял, прочитал ли Том подаренную книгу. У него появилась привычка просто молчать о самых Разных вещах. Олив прекратила работу над «Томом-под-землей», пока не вышли «Черные башни». Она переписала последний кусок, присланный в Марло, — эпизод, когда отряд попадает в тупиковую шахту. В новом варианте герои слышат серебристый перезвон по другую сторону того, что раньше казалось непроницаемой скалой. Гаторн ударил киркой в скалу, и с той стороны ему ответили удары другой кирки, и вдруг скальная стенка рухнула, и за ней оказалась большая зала, освещенная серебряными лампами, где сидела странная тварь, ни женщина, ни паук, или то и другое сразу, и пряла длинные серебристые нити…

18

1896 год выдался тяжелым. В октябре, пока Том прятался в лесах, а Олив мерила шагами коридоры, умер Уильям Моррис. Проспера Кейна, все еще горевавшего об июньском самоубийстве директора Музея, травила пресса, нападая и на его личную жизнь, и на профессиональные качества, в рамках все той же кампании против засилья военных в Музее. Военные, которых обвиняли в запутывании дел и в некомпетентности, отбивались с помощью статистических данных и риторики. Для решения вопроса была сформирована парламентская комиссия, которая встречалась 27 раз в 1897 году и 26 раз в 1898-м. В комиссию вошел сэр Манчерджи Бхоунаггри, член парламента от консерваторов по округу Бетнал-Грин, где выставлялись предметы из Музея. Кроме него, в комиссию попал Джон Бернс, член парламента от социалистов по округу Баттерси. Комиссия рекомендовала реорганизовать все Управление науки и искусства и заново определить обязанности всех должностных лиц Музея.

Начали появляться самые разные учреждения. В 1896 году на Миллбэнкской набережной откры-

лась галерея Тейт, и в том же году Национальная портретная галерея переехала из Бетнал-Грин на новое место рядом с Национальной галереей. Возникла Уайтчепелская галерея Чарлза Харрисона Таунсенда, пронизанная духом Тойнби-холла — активной передачи знаний и энтузиазма. Устойчивое и элегантное здание в стиле ар-нуво строилось с 1897 по 1901 год. Один активный фабианец, неизлечимо больной, покончил жизнь самоубийством, оставив свое состояние Фабианскому обществу. Беатриса и Сидней Уэбб решили, что лучший способ потратить эти деньги — организовать Лондонскую школу экономики, и в 1896 году богатая ирландка, Шарлотта Пейн-Тауншенд, сняла верхний этаж дома № 10 по Адельфи-террас для первых студентов и лекторов; надо сказать, что не все фабианцы одобряли этот план. Среди несогласных были Джон Бернс и сэр Сидней Оливье, сотрудник министерства по делам колоний, также преподававший в Тойнби-холле.

Это было не единственное самоубийство: в 1897 году Барни Барнато, обанкротившийся «лорд Рэнда», плывя из Кейптауна в Лондон, на несуразно роскошное празднование в своем новом несуразно роскошном доме на Парк Лейн, прыг-

нул за борт и утонул. Праздновать собирались бриллиантовый юбилей королевы Виктории. В 1898 году отравилась Элеонора Маркс, социалистка, новая женщина, профсоюзная деятельница, переводчица Ибсена: она обнаружила, что ее любовник, Эдвард Эйвлинг, тайно женился на актрисе и хотел, чтобы Элеонора продала письма и бумаги отца, давая Эдварду возможность содержать жену. Журнал «Желтая книга», погубленный (по крайней мере, частично) Оскаром Уайльдом, прекратил свое существование в 1897 году. (Обри Бердслей нарисовал обложку для первого издания «Савоя», вышедшего в 1896 году, но ее так и не использовали: на обложке голый путто мочился на брошенную «Желтую книгу». Рисунок появился на обложке журнала, но уже без «Желтой книги», а путто обрел должную невинность, то есть лишился гениталий.)

В мае 1899 года старенькая императрица индийская, чей юбилей верноподданные громко отпраздновали жарким летом 1897 года, выехала во втором по порядку официальности открытом ландо, чтобы выполнить свой (как оказалось, последний) общественный долг — поучаствовать в церемонии закладки краеугольного камня для нового здания архитектора Астона Уэбба, что

ныне именуется Музеем Виктории и Альберта. Ныне в музее хранятся камень из красного аргайльского гранита и украшенный орнаментом мастерок — им королева, не без помощи Астона Уэбба, уложила камень на место.

Старческая дрожь ее настолько усилилась, что уже не давала подниматься по ступенькам и произносить речи, и королева вручила свою речь лорду-президенту Совета, герцогу Девонширскому, убедившему ее добавить свое имя к имени покойного мужа. «В соответствии с вашим пожеланием я с радостью приказываю, чтобы в будущем сие Учреждение именовалось Музей Виктории и Альберта, и я надеюсь, что оно останется на века Памятником разумного Либерализма, Источником Утонченности и Прогресса».

В октябре 1899 года верховный комиссар Капской колонии приготовился воевать с бурами за золотые копи Трансвааля и Оранжевой республики. Буры немедленно вошли в Наталь и Капскую провинцию, захватив Ледисмит, Мафекинг и Кимберли. Проспер Кейн не верил, что война окончится к Рождеству. Он отправился в Пэрчейз-хауз поговорить с Бенедиктом Фладдом. Перед этим Кейн навестил саперов, которые вот-вот должны были отправиться на фронт, — сейчас

из них готовили артиллеристов и экспертов-взрывников в Лиддском гарнизоне. Они изобрели взрывчатку — лиддит, — которой в Южной Африке будут взрывать мосты и фермерские дома.

Кейну не нравилась эта война. Он не был уверен ни в ее справедливости, ни в победе Британии. В разговоре с Фладдом он, сардонически усмехаясь, процитировал Киплинга:

> *Просторно Вдове из Виндзора,*
> *Полмира считают за ней.*
> *И, весь мир целиком добывая штыком,*
> *Мы мостим ей ковер из костей*
> *(Сброд мой милый! Из наших костей!).*[34]

«Вот уж поистине Черная вдова», — сказал Фладд. Он мало думал о войне, которую объявил очередным злом мира, лежащего во зле. Кейн, и с детьми, и без детей, часто посещал Пэрчейз-хауз в 1896–1899 годах. Когда-то, очень молодым, Кейн пил с прерафаэлитской богемой, с которой недолго водился и Фладд, и наблюдал, как Фладд исчезает в ночи — «в поисках растворения», как он сам говорил, жестом бледной ладони

---

[34] Примечания: 34
Перевод А. Щербакова.

показывая, что никто не должен сопровождать его. Ходили слухи, что он черпает удовольствие в опасности. Часто на него находил «черный стих», и тогда он исчезал на несколько недель кряду, и его друзья и спутники беспокоились, что он лежит мертвый где-нибудь в проулке или плавает в мутных водах Темзы. После одного из таких исчезновений он вернулся с собственной прерафаэлитской красавицей, Сарой-Джейн, которую окрестил Серафитой и сделал своей женой. Проспер, тогда молодой лейтенант, был на свадьбе и до сих пор вспоминал, хотя и с большим трудом, сияющее невинностью лицо молодой невесты, россыпи цветов в волосах и на платье, как у «Флоры» Боттичелли. Лейтенант тогда подумал, что она глядит на Фладда с глуповатым, но трогательным обожанием. Самому Кейну она не понравилась — слишком пресная. Тогда, в 1878 году, ему было 23 года, и в том же году, чуть позже, он женился на своей элегантной и скрытной итальянке Джулии; он увез ее ненадолго в Лакхнау, где она тосковала, а потом обратно в Лондон, где в 1880 году родился Джулиан. Когда Кейн в следующий раз увидел Фладдов — только в 1883 году, уже после рождения Флоренции и смерти Джулии, — Имогене было четыре года, Геранту два, а

Помоне год. Серафита уже обзавелась нынешним пустым, безучастным взглядом. Дети были одеты как картинки и слегка чумазы. Кейн обнаружил, что Фладд исчезает теперь на несколько дней и даже недель подряд. Он работал с керамикой в Уайтчепеле и в результате несчастного случая с печью для обжига устроил пожар в доме, после чего просто ушел в ночь и пропал. Об этом Кейну рассказали другие люди. Серафита же налила ему очень слабого чаю, заваренного недокипевшей водой, и все время смотрела немного вбок, чуть-чуть мимо его лица. Проспер Кейн нашел любителей керамики, которые купили у Фладда несколько сосудов и заказали еще, и нанял его консультантом по керамике в Музей Южного Кенсингтона.

Кейн не особо надеялся, что к Фладду вернутся творческие силы после прибытия Филипа. Он заметил, что дочери переняли пустой взгляд Серафиты: Имогена совершенно точно, а у Помоны получился какой-то странный, дерганый, более экспансивный вариант. Время от времени Проспер наведывался в Пэрчейз-хауз, чтобы поддержать обжиги, и каждый раз удивлялся тому, что мастерская до сих пор работает, принося микроскопическую прибыль. Кейн решил, что

в этом заслуга Филипа Уоррена, чьи сосуды и, несколько позже, глазури каждый раз производили на Кейна все более сильное впечатление. Кейн считал Филипа флегматичным до туповатости — он присматривал за дымоходами и загрузкой печи, и потому так удивительна была тонкость и сложность его рисунков для изразцов и сосудов. От неукротимости Фладда захватывало дух. Филип, кажется, был доволен жизнью. Товар шел на продажу, и эту коммерцию поддерживали самые неожиданные люди, что забавляло и радовало Проспера Кейна. Герант, все еще полный яростной решимости избежать нищеты, вербовал в сообщники торговцев и очаровывал влиятельных дам. Мисс Дейс, Фрэнк Моллет и Доббин вели счет заказам и отгрузкам — их было немного, но становилось больше. Фладд время от времени исчезал, по-старому — без предупреждения, но Филип молча продолжал работу. Дом стал больше похож на дом и меньше — на разгромленный сарай, заметил Проспер в разговоре с Олив Уэллвуд, с которой время от времени гулял по болотистым равнинам во время этих визитов.

— О, — ответила Олив, — это все Элси. Не знаю, что бы они без нее делали.

Проспер сказал, что едва заметил Элси, и Олив

обрадовалась этому в потаенных глубинах души, потому что Элси в последнее время расцвела и стала почти красавицей.

— Она не старается, чтобы ее заметили, — сказала справедливая Олив. — Она старается наладить хозяйство, залатать дыры. Знаешь, Проспер… — к этому времени они уже перешли на «ты». — …знаешь, я думаю, что ни одному из них — ни Филипу, ни Элси — не платят ни гроша. Я подозреваю, что она одевается в обноски, оставшиеся от благотворительных распродаж у Пэтти Дейс. За Филипом, кажется, присматривает Доббин. По-моему, Серафита вообще ничего не замечает, а Фладду никто не осмеливается ничего сказать, чтобы он вдруг не впал в меланхолию и не перестал работать, чего от него все время ждут, хотя он худо-бедно работает уже пять лет.

Проспер Кейн был в шоке. Олив продолжала:

— Я-то вижу — женщины видят такие вещи. Занавески починены, все натерто до блеска — буфеты и ложки. На комодах стоят букеты полевых цветов. Раковина в кухне чистая.

— Сколько лет этой девушке?

— Никто не знает. Должно быть, около двадцати.

— Как ты думаешь… если найти ей помощницу,

может быть, она согласится присматривать за группой студентов из Королевского колледжа искусств? Они, бедняжки, совсем измучены постоянными строительными работами в Музее, и у меня появилась идея, возможно, слишком грандиозная, — устроить летнюю школу в службах и на лужайках Пэрчейз-хауза. Жить они могут в палатках, а девушки — на сеновалах. И, если нам очень повезет, может быть, сам Бенедикт Фладд проведет с ними пару занятий.

— Это действительно грандиозный замысел, — сказала Олив. — Герант будет в восторге. Мы можем добавить еще что-нибудь — литературные беседы, театральные постановки и так далее.

— Фладд — наша основная достопримечательность, и он же — главная угроза, — сказал Кейн.

Фладд был в хорошем настроении, так как только что изготовил несколько сосудов причудливой формы, в глубине которых рыскали пауки «черная вдова»: паутинные железы работают вовсю, россыпь глаз сверкает опалом. Он сказал:

— Конечно, конечно, пусть приезжают, научатся ясно видеть и работать руками.

Это было деловое совещание за чаем, присутствовали также Доббин и Фрэнк. Доббин почтительно спросил, не обеспокоит ли Фладда

летняя школа… может быть, присутствие студентов помешает ему работать?

— Глупости, — ответил Фладд. — Стайка прелестных юных дам — это именно то, чего нам тут не хватало, и, может быть, хоть кто-нибудь из них хоть что-нибудь соображает. Я подумывал опять начать лепить женщин. Пусть приезжают.

— Надо поговорить с Элси, — заметил Фрэнк, который, так же как и Олив, понимал всю важность Элси.

— Элси хорошая девочка, она все сделает, как ей скажут, — ответил Фладд.

Никто не спрашивал Элси, что она думает или чувствует. По крайней мере, Элси с эгоизмом юности, который ей приходилось полностью скрывать, считала, что никто не спрашивает и не интересуется, что она думает или чувствует. Она выработала свой главный план в тот момент, когда ступила на порог Пэрчейз-хауза — а может быть, и раньше, на пыльной дороге, ведущей через болота, когда заметила, что Филип растерялся при ее появлении. Элси, конечно, не заходила так далеко — не предполагала, что ее присутствие нежеланно, но и не исключала такой возможности. Она увидела, что в доме чего-то не хватает — настоящей женщины, как она

сформулировала для себя, глядя на трех женских особей Фладд. Упорного труда, хитрости, предвидения, неустанности. Она принесла Филипу тонкие верблюжьи кисти — от матери. А для себя сохранила материнский сундучок с принадлежностями для шитья — иголками, нитками, мотками шерсти, острыми ножницами, которые никогда не бывали в закладе. Элси предпочла бы получить кисти. Она как раз начала учиться росписи фарфора, когда мать свалилась с именем Филипа на устах. Элси решила, что завоюет себе место с помощью иголок и ножниц. Она варила превосходные супы почти из ничего: кость от окорока и горсть гороховых стручков, хорошенько выдержать на медленном огне. Зарез шеи барана, выросшего на соленой траве ромнейских болот, с перловкой и луком… Следует сказать, что Элси от природы не была склонна к чрезмерной аккуратности, порядку и ведению домашней работы. Она хотела ходить босиком, и ей было плевать на дырки в нижнем белье. Но сейчас она нуждалась в том, чтобы в ней нуждались, ей нужно было стать незаменимой, и она этого добилась. Она выучилась — сама, ее никто не учил — различным видам вышивки: крестиком, гобеленовым стежком, и распарывала и переделывала работу

за Помоной, если та ошибалась. Элси научилась обходиться с Филипом. Она любила Филипа и считала, что он ее не любит. Она думала, что у него в сердце есть место лишь для одной страсти, и это — не его семья. Различными безмолвными жестами, тактично удаляясь когда нужно, Элси дала ему понять, что ничего не ждет от него — совершенно ничего, лишь бы он не прогонял ее. Если бы она сказала, что он ее не любит, он был бы шокирован, поэтому она ничего не говорила. А он и без того в основном молчал. Поначалу Элси спрашивала Серафиту и Имогену, можно ли ей залатать покрывала на кроватях, можно ли собрать лоскуты и сделать из них лоскутный коврик, а они мило и бессмысленно улыбались и отвечали: «Конечно, конечно». Так что Элси решила действовать сама; она разрезала старые простыни и сшивала их неизношенной стороной к центру, она изобретала различные системы хранения, она выискивала марлю, чтобы завязывать кувшины в жару. Она двигалась по дому быстро и бесшумно — словно энергия, вытекающая из трех бледных особей женского пола, каким-то образом гальванически перетекала к ней.

Установив в доме первоначальный порядок, который можно было поддерживать, Элси стала

по ночам прокрадываться в гончарную мастерскую. Она, как и сказала в разговоре с Дороти, делала маленькие горшочки. У Фладда не было фарфоровой глины, но Элси мешала каолин с обычной, чтобы сделать его светлее, зажигала лампу и наносила сложные узоры на крохотные чашечки и блюдечки, на тарелочки размером с подставки для карандашей. В Пэрчейз-хауз Элси явилась костлявым заморышем с сосульками пыльных волос. Олив заметила, что от нормальной еды и напряженной работы Элси расцвела и даже более того. Волосы вдруг закудрявились и стали роскошной гривой, которую Элси перевязывала каким-то цыганским шарфом. Талия сузилась, а выше и ниже появились аппетитные округлости, так что Элси все время ловила себя на желании гордо расправить плечи, пройтись как королева, но не позволяла себе ничего такого, потому что кто ее тут увидит? Очевидным объектом ее устремлений — единственным видимым объектом — был Герант. Он был энергичен, как и она, но тратил эту энергию в основном на то, чтобы раскатывать на велосипеде где-то вдали от Пэрчейз-хауза. И когда Элси распускала волосы или сооружала себе новую блузку из отреза пятнистого голубого ситца, Герант не подавал виду,

что замечает.

Впрочем, Элси замечали другие — и не только Олив. Как-то ночью, когда она творила свои горшочки, ее захватил врасплох Бенедикт Фладд — он вошел в каком-то грубом наряде с капюшоном вроде монашеского, из черной материи. Фладд нес свечу, и глаза его блестели в тени над пламенем.

Элси сгребла горшочки под себя, как курица цыплят. Фладд махнул рукой, словно благословляя.

— Продолжай, продолжай. Не бойся. Ты не будешь возражать, если я нарисую тебя за работой?

— Нет, — невозмутимо сказала Элси, хотя у нее кровь застыла в жилах.

— Ты продолжай работать. От этой лампы очень интересный свет. Я буду рисовать углем. Знаешь, у тебя очень интересное лицо.

— Извините, — сказала Элси, окончательно растерявшись.

Фладд засмеялся и начал рисовать.

Прежде чем они разошлись по комнатам, он показал ей, что у него вышло. Он рисовал решительными штрихами, с большими растушевками теней. Это был эскиз скульптора, изображавший

молодую плоть и костяк девушки, действительно красивой. Он и руки нарисовал, уверенно держащие глину и кисть. Он набросал острые грудки под ночной рубашкой и едва обозначил обрисовывающие их складки хлопчатобумажной ткани. Элси сказала, что это поразительно. Она отважилась:

— Можно мне взять этот рисунок?

— Ни в коем случае, — ответил Фладд. — Я собираю коллекцию.

И он перелистал альбом для рисования, показывая ей рисунки, о которых она ничего не знала: Элси склонила задумчивое лицо над грязными тарелками, Элси занесла нож над пирогом, Элси кормит кур, и ветер раздувает ее юбки. Движения кур были переданы удивительно экономными штрихами: одна расправляет крылья, другая распустила их, нападая на третью, петух откинул голову назад, чтобы закукарекать. Фладд поймал движения Элси так же точно, как и природу птиц. Элси показалось, что она голая и у нее что-то отняли.

— Я не знала, — сказала она.

— Теперь знаешь. Я хотел бы, чтобы ты позировала мне для более серьезных эскизов.

Элси обхватила себя руками, поплотнее запа-

хивая ночную рубашку. Она сказала наполовину нахально, наполовину негодующе:

— А кто, интересно знать, будет готовить, убирать и ходить за покупками?

— Уж конечно, не мои белесые мотыльки. Они только порхать умеют, и сами не знают, как им повезло. Зато я знаю. Майор Кейн собирается привезти нам группу дам-студенток из Королевского колледжа искусств, для этой летней школы, которую они затеяли. Ты согласишься нам всем позировать — мне и дамам-художницам? У тебя очень необычная внешность. В хорошем смысле. Очень.

Он ненадолго задумался.

— Я уверен, что Доббин, или майор Кейн, или викарий смогут найти кого-нибудь тебе на замену, когда приедут студенты. Тогда ты сможешь нам позировать. Восхитительно.

Когда он ушел, Элси, слегка в растрепанных чувствах, подумала, что, помимо ее лица и разных других частей тела, он мог бы взглянуть и на ее горшочки. Хоть как-то похвалить.

Интересно, можно ли сделать карьеру, работая натурщицей. Возможно, это не очень респектабельное занятие. А ей не все равно?

Горшочки все же неплохие. Он мог бы и обра-

тить на них внимание.

19

Летняя школа состоялась. Хамфри организовал постановку «Зимней сказки»; он сам играл Леонта, Тоби — Поликсена, Герант и Флоренция — Флоризеля и Пердиту.

Герберт Метли говорил с Олив о сексе. Он садился рядом с ней на репетициях, когда оба были не заняты. Он ходил с ней гулять вдоль ручейка, мимо церкви, на равнины. Разговоры его были одновременно теоретическими и плотскими. Он много говорил о том, чего хотят женщины. Он говорил, что до недавних времен мужчин вполне устраивало мнение, что женщины не испытывают никаких или почти никаких желаний, что они — чистые создания или дойные коровы. Соответственно и обращались с женщинами как с неодушевленным имуществом. В десяти заповедях женщины перечисляются наряду с ослами, волами, домашним скотом и слугами там, где говорится, что нельзя брать чужие вещи и желать чужого. В семитских культурах женщин обезглавливали за супружескую неверность, а мужчин — нет. И все же Метли, как прилежный

ученик Дарвина, верил, что сексуальные желания неотъемлемо присущи человеческим существам, как и другим животным, ибо у биологического вида есть потребность в размножении. К ним приближалась Элси Уоррен — она шла быстро, аккуратная, с тонкой талией, в льняной шляпе, с корзинкой в руке. Неужели Олив думает, спросил Герберт Метли (он тщательно разглядел фигуру Элси, пока она шла мимо, вежливо им улыбаясь), что такая молодая женщина не испытывает пробуждения плоти, свойственного молодым людям ее возраста? Это совершенно невероятно. Сама Олив, сказал он, продевая ее ладонь себе под руку, мудрая женщина и, как и он, изучает человеческую природу. Что она думает?

— Я по большей части изучаю нечеловеческую природу, выдуманную, — уклончиво ответила Олив. — Я пишу волшебные сказки для детей. Принц всегда женится на принцессе. Или на ней женится дурачок, потому что он добрый и потому что он третий сын. Или принца превращают в оленя или в свинью, и умной принцессе приходится его расколдовывать. Не знаю, при чем тут то, что вы называете потребностью биологического вида. Все сказки кончаются с женитьбой героев — в самом крайнем случае говорится, что

у них было много детей.

Они шли мимо огороженного поля, где паслось стадо сливочно-белых коров: тяжелых, грязных, с застывшим взглядом. В углу под вязом одна корова деловито лезла на другую: она совершала движения, положенные быку, не смущаясь отсутствием нужной оснастки и возбуждая другую корову — и Олив, и Герберт заметили ответную дрожь возбуждения (или раздражения) под напрягшимся хвостом нижней коровы.

— Разве это не доказывает, что я прав? — сказал Герберт Метли. — Бедняжки лишены общества быка. В природе он бы был при них, охраняя свой гарем и злобно фыркая на других быков. Но коровы все же ощущают потребность…

Олив почувствовала, как румянец волной поднимается от груди к лицу.

— Надеюсь, я вас не шокировал. Я не хотел.

— А я думаю, что хотели. Но я не шокирована. И я признаю, что вы правы. С научной точки зрения ваш пример — смотрите, она слезла и пошла прочь как ни в чем не бывало — иллюстрирует вашу правоту.

— Когда мы сможем следовать своим инстинктам, достигая того, что Джон Донн назвал «венцом

любви»,[35] и предотвращая все нежелательные последствия, наше общество станет совсем другим, и мы преобразимся.

— Через свободу пола? Инстинкты — одно дело. Но Донн говорит о любви.

— А разве желание, пока оно существует, не любовь? Чем бы оно ни стало потом. Иногда я думаю, что способов любить женщин — столько же, сколько самих женщин. И еще я иногда думаю, что, если бы женщины были честны, способов любить мужчин было бы столько же, сколько самих мужчин.

— Да, но подлинный исследователь человеческой природы должен изучать также равнодушие и даже отвращение и ненависть. Ибо они тоже инстинкты.

Метли немного подумал и решил перейти в прямое наступление:

— Надеюсь, я не возбуждаю в вас подобных чувств?

---

[35] Примечания: 35

В переводе Г. Кружкова «Элегия XVIII: Путь любви» Джона Донна начинается следующим образом:

Влюбленный, если он к венцу любви
Не устремляет помыслы свои.
Схож с моряком, доверившимся бездне
Лишь ради приступа морской болезни.

Он засмеялся, но смех вышел принужденный.

— Не глупите, — сказала Олив. — Мы не о себе говорим. Кроме того, мы с вами — добрые друзья. Это еще один вид отношений между мужчиной и женщиной, он редко встречается и нелегко дается.

В гостинице, где остановилась семья, Олив поймала себя на том, что потягивается или встряхивается всем телом, охваченная неясными чувствами. Конечно, подобные разговоры возбуждали в ней какие-то — да, сексуальные — шевеления. Да и как иначе. Ведь она знала, что такое желание и каково его удовлетворять. Но она не знала, хочет ли Герберта Метли. Близость его тела что-то возбуждала в ее теле, но она не могла понять, что именно — это могли быть даже равнодушие, отвращение и ненависть. Он в отличие от Хамфри был нехорош собой. Хотя в нем была ужасная энергия, которая постоянно… откуда Олив это знала?.. шевелилась, как огромный спрут, который прокладывает себе путь в воде или же трепыхается на камнях, соскальзывая обратно в воду.

Но одно Олив знала совершенно точно: в возрасте Элси Уоррен у нее никаких таких мыслей не было. Это мысли зрелой женщины.

Бенедикт Фладд проводил уроки лепки из глины в бывшем большом каретном сарае. Элси отмыла затянутые паутиной окошечки, а Филип принес ведра с глиной и ангобом. Среди студентов были пять серьезных девиц из Королевского колледжа искусств, чей опыт работы с керамикой сводился к росписи изразцов, и один-два юноши. Были и местные, желающие попробовать себя в керамике, — Пэтти Дейс, Артур Доббин, школьный учитель из Лидда и будущая новая учительница из Паксти, молодая вдова, миссис Оукшотт. По ее словам, она приехала с севера, чтобы начать жизнь заново после трагической гибели молодого мужа в железнодорожной катастрофе. С ней был маленький сын, Робин, который в сентябре должен быть пойти в школу в Паксти с горсткой деревенских детей — во всей школе было всего четырнадцать детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Фрэнк Моллет, член местного образовательного совета, был счастлив, что нашлась учительница, и уже боялся, что суровая зима и безлюдье окажутся для нее невыносимыми. У нее были прекрасные рекомендации и мягкий юмор. Она привела с собой сына в Пэрчейз-хауз, вместе с кем-то вроде няньки: тонкорукой, тонконогой, крохотной,

курчавой особой лет двенадцати или тринадцати по имени Табита. Миссис Оукшотт закручивала вокруг головы толстую косу светлых волос — рыжевато-золотых, оттенка топленых сливок. Лицо у нее было красивое, несколько угловатое, приятное, но настороженное, и очаровательная улыбка — когда она улыбалась. Она носила очки, которые все время теряла, и студенты или Доббин находили их в траве в саду или среди сохнущих горшков в мастерской и возвращали хозяйке. Лепка давалась ей хорошо.

Фладд все же убедил Элси позировать студентам, хотя, сидя перед ними, она мысленно составляла список: что купить на ферме и на рынке для ближайшего обеда или ужина. Но никто не осмеливался перечить Бенедикту Фладду, чтобы он вдруг не сменил дружелюбие на мрачность или гнев. Он учил студентов лепить голову. От шеи вниз Элси никто не изображал. Они пытались воспроизвести ее разлетающиеся волосы, резко очерченный рот, широко распахнутые глаза. У миссис Оукшотт получалось лучше всех. У нее правильно вышел угол челюсти и наклон шеи. Брови над пустыми глазницами были живые и многообещающие.

Маленькая Табита бродила с маленьким Роби-

ном и набрела на Виолетту Гримуит, которая в саду читала младшим Уэллвудам — Флориану, Робину и Гарри. Надутая Гедда сидела с ними, но не была одной из них. Она читала книгу, лежа на животе в траве и думая, что ей этого мало, мало, она с ума сойдет от скуки.

Табита подошла к группе и остановилась. Виолетта подняла голову.

— Посиди с нами, если хочешь. Как зовут мальчика?

— Робин. Я за ним приглядываю заместо его мамки.

Она была старше Гедды, но меньше ее ростом. Виолетта сказала:

— Ну так веди его в круг, пусть послушает сказку. Мы читаем «По ту сторону северного ветра». Знаешь эту книгу?

— Нет, мэм.

— Я знаю, — сказал Робин Оукшотт. Он сел рядом с Робином Уэллвудом. — Это хорошая сказка. Читай.

Виолетта смерила его взглядом и продолжала читать.

Миссис Оукшотт вызвалась помочь с постановкой. Она стала ассистенткой костюмерши, Имогены Фладд, и оказалось, что она отлично

управляется с блестящей тесьмой и драпировками для костюма беременной Гермионы. Олив она нравилась. Она всем нравилась. Ее трудно было не полюбить.

Олив наткнулась на миссис Оукшотт за тисовой изгородью, где они ждали своей очереди выходить на сцену. Миссис Оукшотт поправляла застежку королевской мантии Хамфри. Олив увидела руку Хамфри на затылке миссис Оукшотт — сильные пальцы ощупывали и разминали сведенные мышцы, чтобы дать им отдых. Точно такой же массаж Хамфри делал и самой Олив. Она попятилась.

— Все равно, Мэриан, — продолжал Хамфри. — Как бы разумно ты… мы себя ни вели, все равно это дурацкая затея. Я бы предпочел, чтобы ты уехала домой.

Мэриан Оукшотт положила голову — движением любовницы — на плечо Хамфри.

— Это нелегко, — ответила она. И добавила: — Я тебя люблю, я люблю тебя так постоянно, так сильно, милый, хоть и знаю, что это безнадежно.

А Хамфри сказал:

— Ох, ну да, я тебя тоже люблю, тут ничего не изменишь. Но этому не бывать, ты прекрасно знаешь, всегда знала.

А Мэриан Оукшотт подняла руки, притянула к себе голову Хамфри и поцеловала его, и он вроде как застонал, схватил ее и сам принялся целовать. Олив видела, как дрожит и качается его макушка. Она подумала, не подойти ли к ним, и удалилась.

Гедда лежала в высокой траве, подоткнув юбочку выше панталон и вытянув сильно удлинившиеся за лето загорелые ноги. Ей повезло, что она в отличие от Филлис не страдает сенной лихорадкой. Для маскировки она читала «Век золотой». Я змея в траве, думала она, скрытная змея. Виолетта сидела на кое-как скошенной траве в плодовом саду, чуть поодаль, в низком плетеном кресле, и шила. Гедда проводила очень много времени, шпионя за Виолеттой, чтобы отомстить ей, потому что Виолетта шпионила за ней, залезая в ее личные ящики и тетради. Гедда, как и Филлис, все время обижалась, что старшие не принимают ее к себе: Том и Дороти, Чарльз и Гризельда, а теперь еще и Герант. Но Филлис ныла, а Гедда злилась. Во всех мифах и рыцарских легендах она выбирала роль предателя. Она была Нинианой, феей Морганой, Локи. Она презирала волооких кротких дев, лилейную Элейн, верную Психею, плаксивую жену Бальдура Нанну. Она

была сыщиком, который видит людскую суть. Ее правило гласило: люди намного хуже, чем кажутся. Гедда была самой темноволосой из всех детей, с длинными черными волосами, очень густыми черными бровями, часто сдвинутыми в суровой гримасе, и длинными черными ресницами, которые сами по себе были красивыми, особенно когда она спала. Гедде не с кем было поговорить о своих открытиях. Филлис была идиотка. Флориан — малыш. Гедда возлагала надежды на Помону, но Помона тоже оказалась идиоткой, одной породы с Филлис. Кого Гедда ненавидела, так это Дороти, потому что она была старше и все время стояла у Гедды на пути, и ей разрешали то, что самой Гедде не разрешалось. И еще у Дороти была Гризельда, они все время были вместе, а у Гедды никого. Зато она знала (по крайней мере, частично) то, чего не знала Дороти. Гедда подумывала даже, не подружиться ли ей с Табитой — странно, что ее в десять лет определенно считали ребенком, а Табита в двенадцать уже отвечала за Робина Оукшотта и была чем-то вроде няньки. Гедда видела, что Табитина простота напускная. Табита была себе на уме. Гедда не знала, о чем она думает, и понимала: Табита и не хочет, чтобы о ее мыслях кто-то знал.

Табита носила маску и не могла допустить, чтобы в ней появилась хоть одна трещина.

В сад, подбирая юбки, примчалась Олив. Она схватила стул, подтащила его к Виолетте, села, наклонилась к уху сестры и отчаянно зашептала. Гедда со своего места все прекрасно слышала и постаралась замереть.

— Ви, я только что открыла нечто совершенно ужасное. Не знаю, что делать.

Она вся трепетала.

— Расскажи, — отозвалась Виолетта. Она любит, когда ей доверяют разные тайны, это Гедда знала.

— Эта женщина — эта миссис Оукшотт — она никакая не миссис… это та самая женщина… дева Мэриан.

— Так это с самого начала было ясно, — ответила Виолетта.

— Что?

— Я сразу об этом подумала. Что ты так расстроилась?

— Она его целовала. Он ее целовал. Я видела.

— Ну и глупо. Лучше не видеть. Она уедет в Пакстон и будет там учительницей. Что ты хочешь делать?

— Виолетта, я не каменная, что бы ты ни дума-

ла. У меня бывают сильные чувства, гнев. Я так злюсь, так… я терпеть не могу беспорядка. Я не могу работать, если у меня в доме беспорядок. Ты же знаешь. Меня нельзя выбивать из колеи, я должна работать.

— Ну так не позволяй выбить себя из колеи. Ты — гусыня, несущая золотые яйца, с которых кормимся мы все. В том числе, насколько я понимаю, мадам дева Мэриан. Для тебя же лучше оставить ее в покое: она отправится в Паксти и будет зарабатывать себе на хлеб. Ты избавишься от лишнего рта.

— Он ее целовал.

— Ты же знаешь, какой он и что он делает. Все равно, что бы ни случилось, он от нас не уйдет, будь уверена. Это мадам Мэриан — жертва, а не ты, глупая.

— Но я видела…

— Ну так постарайся больше не видеть. Тебе не впервой. Сама кого-нибудь поцелуй — ты прекрасно знаешь, желающие найдутся.

Гедда почувствовала: тут что-то кроется, что-то непонятное для нее, помимо и сверх того, что она поняла.

Олив хихикнула:

— Мистер Метли прочитал мне лекцию о при-

роде женщин.

— Еще один любитель распускать руки.

— Ты заметила?

— От меня мало что укроется, — довольным голосом сказала Виолетта. Вот оно, подумала Гедда: ей нужно знать все, иначе она чувствует себя… меньше, незначительнее…

— Так, значит, ты думаешь, все должно остаться как было… как будто ничего не происходит… как будто я ничего не заметила?

— По-моему, ты это уже прекрасно умеешь.

— О, как ты со мной жестока.

— Как раз наоборот, — ответила Виолетта.

Первая летняя школа была импровизацией с начала и до конца. Все последующие школы намеренно следовали распорядку, сложившемуся стихийно, причудливо, в первый год, когда одна затея — лекция, курсы рисования, вечер поэзии, и главное — постановка пьесы — цеплялась за другую: Тоби Юлгрив читал лекцию об итальянских сказках про брошенных младенцев, что возвращались прекрасными девушками, а группа текстиля и вышивки занималась созданием цветочных набивных ситцев и гобеленов для первого, черно-белого, зимнего акта пьесы и для праздника весны во втором акте, когда Пердита

разбрасывает цветы. Приехал Август Штейнинг, чтобы помочь со сценическими эффектами — особенно со статуей Олив-Гермионы, — и остался, чтобы обучить юных Фладдов и Уэллвудов созданию театральных декораций и костюмов. Он взял из «Зимней сказки» то, что укладывалось в его теорию о превосходстве марионеток над живыми актерами, эгоистичными или неуклюжими, в выражении человеческих страстей. Он показывал Флоренции, как танцевать «наподобие морской волны», сгибал и крутил ее собственными руками, так что тело, скованное неловкостью, вдруг необъяснимо наполнялось новой свободой плавного движения. Флоренция, шевеля кистями и стопами, воскликнула:

— Что вы сделали? Руки и ноги теперь как не мои.

— Хорошо, — отозвался Август Штейнинг. — А теперь еще раз: прыгай, прыгай, скользи, в руках как будто полная луна, держи ее пальцами… она холодная на ощупь…

Флоренции показалось, что вся она стала ртутью.

Проспер Кейн приезжал, когда мог — когда позволяли музейные дела. Он прочел лекцию об искусстве ремесла и о ремесле искусства, и о том,

как эти два понятия неразлучны, даже в живописи и скульптуре. Нужно знать не только дизайн, но основы физики и химии, иначе краска под лаком не высохнет и глазурь отвалится от глины. И еще нужно нечто… способность видеть… этому нельзя научить, но можно научиться, хотя это невозможно без упорного труда.

Он зашел на урок, где несколько студентов — профессионалов и любителей — создавали чередующиеся квадраты, по сути — изразцы, на тему «Зимней сказки», на расшитой или набивной ткани. Преподавателем была Серафита Фладд — она сидела в одном конце сарая и говорила «очень мило, очень хорошо» на все, что ей приносили показать. Кейн и Олив Уэллвуд бродили по сараю, меж стульями и мольбертами, и Кейн комментировал работу студентов. Его собственные дети изобразили весьма приемлемые цветочные узоры с очень легким оттенком пародии: Флоренция — подобие голландского фарфора, Джулиан — севрского.

— Очень мило, — сказал Проспер Кейн сыну.

— Ты хотел сказать «очень компетентно», — ответил Джулиан. — Я могу рисовать такое левой ногой. Это обезьянничанье. У меня напрочь отсутствует то умение видеть, о котором ты

распространялся сегодня утром. Эти цветочки — ненастоящие, и я знаю, что ты это знаешь.

— А что же им нужно, чтобы стать настоящими? — сказал Проспер, принимая мнение Джулиана о собственной работе.

— Я вообще думаю, что искусство должно быть обезличенным, — ответил Джулиан. — По правде сказать, я считаю, что оно должно быть таким. И все же беда этих миленьких розочек в том, что они не имеют ко мне никакого отношения. Они мне не нужны, и я им не нужен.

Отойдя с Проспером туда, где их не могли слышать, Олив заметила, что ему очень повезло — он может так непринужденно говорить со своими детьми, то есть они ведут себя с ним непринужденно… то есть… она хотела сказать, как он хорошо их воспитал… как ему удалось быть для них…

— Матерью и отцом, — сказал Проспер. — И мужское влияние, и женское. Это было непросто. Солдаты по натуре — ярко выраженные мужчины. Но им нужны и женские умения — шить, чистить, потому что они живут без женщин. В этом смысле они похожи на мальчиков, которых доктор Бэдли в Бедейлсе так старательно учит вышивать и готовить. Мне, как солдату, нравится

этот подход. Жизнь в палатках и искусство шитья — для мальчиков. И театр. Идем, посмотрим на творение мисс Фладд. Мне интересны ее работы.

Имогена Фладд сидела тут же, в криво пошитых одеждах, которым недоставало как ремесла, так и искусства. Она сделала один черно-белый квадратик и один маленький узорчик из весенних цветов. Черно-белые цветы были морозным узором на окне, лепестки тщательно выведены линиями из крохотных точек — кружевной рисунок, в какой-то степени навеянный работами Бердслея для «Желтой книги» и «Савоя», хотя Проспер Кейн был уверен, что этой туповатой девушке не понять скрытой сексуальности фигур Бердслея. Конечно, пухлые губки и ложбинки ее морозных узоров абсолютно невинны! Весенние цветы были изображены тающими, едва заметными пастельными красками — намек на розовый цвет, тень желтого, голубоватое пятно под цвет жилки на бледном запястье Имогены. Цветы словно старались вжаться в плоскость бумаги, стыдясь самого присутствия на ней. Проспер собирался было сказать что-нибудь утешительное и пойти дальше, но тут узоры сложились у него в голове, и он понял, что Имогена, пусть беспомощно, проявила именно ту остроту

зрения, в отсутствии которой только что справедливо обличил себя Джулиан. Проспер сказал:

— Знаете, это может быть очень неплохо. Почему ваши цветы жмутся к центру? Как будто в воронку проваливаются. Сделайте то, к чему всегда призывал мистер Моррис, — продолжите растительные формы до границ квадрата, чтобы они росли и дальше.

— Не могу.

Она не поднимала головы, словно лицо тянуло ее вниз.

— Ну хорошо, — сказал Проспер в приливе вдохновения. — Тогда задайте им границы. Можно мне?

Она отдала ему уголь и карандаши.

Он заключил морозные узоры в прямоугольные рамки. А потом обвел кругом весенние цветы, словно они были на тарелке или в корзине. Обретя границы, цветы вдруг стали удивительно живыми. Он засмеялся.

— Им нужна была защита, — сказал он.

— Им нужна была защита, — повторила она.

Он спросил:

— У вас есть еще какие-нибудь работы? Я бы хотел посмотреть.

Она протянула ему папку. Он нашел серию ри-

сунков с маленькими разноцветными рыбками, они прыгали и извивались — синие, желтые, красные.

— Я пыталась рисовать иллюстрации к «Тысяча и одной ночи», — объяснила она. — Говорящие рыбы. Но это бесформенное, как и все, что я делаю.

Проспер окружил рыб импровизированной сковородкой с двумя ручками, и они тоже странным образом ожили.

— Правда, нельзя сказать, что им стало безопаснее, — заметил он. — Но они стали живее. У них появилась цель, хотя бы — выбраться со сковородки.

— Со сковородки в огонь? — с сомнением спросила Имогена.

— Вы не думали об учебе в Королевском колледже? — спросил он. — У вас талант. Вы могли бы научиться ремеслу…

— Не знаю, — ответила Имогена.

— Подумайте. Я поговорю с вашим отцом.

Он видел: она хотела попросить его не делать этого, но передумала.

Когда они вышли с урока, Олив спросила, почему он поощрил Имогену Фладд, но не собственных детей. Ведь они явно знают и умеют

гораздо больше.

— Знают и умеют, безусловно, — ответил Кейн. — Но у этой девушки есть нечто такое, что есть и у тебя, — она видит формы вещей, как ты видишь формы сюжетов. Посмотри на ее работы. Художник должен узнавать художника.

— Я не художник. Я зарабатываю себе на жизнь, рассказывая сказки.

— Ты говоришь чепуху, дорогая, и сама это понимаешь.

Так они понемногу дожили до дня премьеры и до окончания летней школы. Театром служил запущенный сад при Пэрчейз-хаузе, когда-то бывший садом в классическом стиле: лохматые тисовые изгороди, некогда аккуратно подстриженные, обросли бородами поселившейся в них ежевики и камнеломки. Штейнинг завербовал нескольких студентов и помощников, в том числе Доббина и Фрэнка Моллета, на изготовление статуй из папье-маше на проволочных каркасах: в зимних сценах они стояли голые, а в весенних украшались гирляндами из шелковых и живых цветов. Штейнинг привез с собой прожекторы для рампы, в свете которых тени на статуях ложились совершенно по-разному, превращая их то в злобных лысых существ, то в четкие, сияющие

фигуры. Среди них была герма с рогами и косматыми бедрами, а также обнаженная девушка с ниспадающими волной волосами, повернутая спиной к зрителю. И два кривоногих фавненка на корточках — они ухмылялись по углам в сцене сбора урожая, но отсутствовали в сицилийском дворце. И был еще постамент Гермионы. Штейнинг был непоколебим насчет постамента: он хотел, чтобы статуя-женщина вознеслась выше актеров и зрителей, вровень с луной, полной, серебристой, отбрасывающей тени, сияющей у статуи за спиной. Штейнинг хотел, чтобы и каменная мать, и живая дочь были стыдливо замотаны во много слоев и складок белой ткани, и совсем замучил Олив, без конца переставляя ее на постаменте и поправляя ее сложные одежды. Он объяснил, что при лунном свете, стоя спиной к луне и закутавшись в покрывало, она будет светиться в тени; а очертания темных кустов и ее таинственная, закутанная голова, освещенная луной сзади, будут воплощением магии. Сходя с постамента, Олив должна двигаться как автомат. Словно сила тяготения, а не ее собственная воля, поднимает ноги, сгибает колени, удерживает руки на местах.

— Я не знаю, что делать с руками.

— С практической точки зрения, стоя там наверху, вы должны будете придерживать складки, чтобы они не развалились. Правой рукой придерживайте покрывало на левом плече. Левую положите на талию, чтобы ткань не развернулась при движении. Вам нужны кольца с белыми камнями — слоновая кость или лунный камень, я попробую что-нибудь найти.

У Олив не очень хорошо выходили плавные движения автомата, а необходимость без конца репетировать ее раздражала.

— Вы родня Каменному гостю в «Дон Жуане», сестра Пигмалионовой Галатеи… Думайте о музыке камня…

— Я немолодая, много раз рожавшая женщина, — сухо сказала Олив.

— У вас прекрасная женская фигура, — сказал Штейнинг, все еще думавший в терминах скульптуры.

Так она и стояла на премьере: луна светила ей в спину, играя тенями в многослойных одеждах, в которые Олив вцепилась так, что у нее побелели пальцы. Она и не знала, что так трудно долго стоять без движения. Она думала о своем теле под непривычным слоем белых простыней — я словно портняжный манекен, подумала она, я

что-то неопределенное, закутанное. Я старею. Складки проходили не только вокруг плеч, но и по животу. Ее время еще не кончилось. Ею восхищался Проспер Кейн. Ее желал Герберт Метли. Ее хотел и Хамфри, но на Хамфри она была сердита. Она воспроизвела в памяти весь разговор Хамфри с девой Мэриан и слегка приободрилась: Хамфри явно не ожидал ни прибытия Мэриан в летнюю школу, ни того, что она должна стать учительницей в Паксти. Это все пройдет, подумала Олив, как прошло и многое другое. Она чуть изменила позу (надеясь, что незаметно), так как лодыжки онемели и напряглись.

Женщина, стоящая на постаменте, видит поверх изгороди, над которой она призвана возвышаться. На проселочной дороге по ту сторону изгороди стояли, склонив друг к дружке головы, Хамфри в королевских одеждах, с рыжими волосами, искусно выбеленными Августом, и Мэриан Оукшотт в хорошеньком платье с букетиками незабудок по сливочному фону. Жестом супруги со стажем она стряхивала с плеч бархатного плаща осыпавшуюся с волос белую пудру. Стряхнув все, она похлопала Хамфри по руке еще более супружеским жестом. Статуя пришла в ярость, но двигаться было нельзя. Олив решительно

подумала о пытливых пальцах Герберта Метли. И невольно вспомнила смешной и тревожащий эпизод с коровами. Она сама себе хозяйка.

Ночью в саду, при лунном свете, когда праздновали успех постановки, Олив стояла вместе с Хамфри в кругу поклонников, среди которых была и Мэриан Оукшотт. Все хвалили бесстрастие и неподвижность Олив в роли статуи. Миссис Оукшотт уместно и умно прокомментировала замечательную игру Гермионы в сцене, когда та произносит страстную речь в свою защиту. Миссис Оукшотт даже процитировала наиболее важные строчки. Олив растерялась; к счастью, тут заговорил Герберт Метли, сделав несколько замечаний о характере Гермионы как Женщины; он сказал, что среди героев Шекспира очень мало женщин, потому что женские роли в те времена играли мальчики, а им лучше удавались роли юных девушек. Он сам никогда не мог понять, как мальчик может создать образ Клеопатры. Ему хотелось бы видеть в роли Клеопатры миссис Уэллвуд. Он поцеловал ей руку и слишком долго не отпускал.

Так Олив оказалась в постели с Гербертом Метли. Постель находилась в гостинице «Приют контрабандистов», стоявшей на берегу, фаса-

дом к Ла-Маншу. Кровать была продавленная, наверняка скрипучая, а спальня — с неровным деревянным полом и плохо пригнанным окном, на котором висела вязанная крючком занавеска с рыбами. Гостиницей заправляла толстая, подобострастная и чересчур дружелюбная женщина, которая подала любовникам блюдо морских гадов со вчерашним хлебом и маслом. Метли сказал, что время от времени снимает здесь комнату, когда ему для вдохновения нужно побыть вдали от людей. Олив подумала, что «вдали от людей», по-видимому, означает «вдали от Фебы», так как в окрестностях фермы Метли и так никого не бывает, кроме нее. Устроить эту вылазку оказалось удивительно сложно. Пришлось врать. Олив отправилась в Лондон на встречу с издателем и вышла на следующей станции — поэтому сейчас на ней был слишком формальный наряд, в том числе широкополая шляпа и перчатки.

Конечно, упасть в объятия друг друга на сеновале в порыве страсти было бы лучше, но в окружении студентов и разнообразных детей вряд ли осуществимо. Метли все время повторял с приятной настойчивостью: «Вы должны прийти ко мне, должны, это судьба». И мгновенно все устроил, с легкостью, о которой Олив предпочла

не спрашивать. За обедом он довольно ядовито и ревниво критиковал «малокровные» теории Августа Штейнинга о безличной актерской игре. Малокровные и малодушные, сказал Метли. В мире слишком мало страсти, чтобы изгонять ее еще и со сцены — на сцене она должна цвести беспрепятственно. Олив было неловко сидеть, есть устриц и обсуждать Клейста с человеком, который вот-вот должен был стать ее любовником. Все было чересчур продуманно, не спонтанно. Олив подумала, что некоторым женщинам это понравилось бы, но не ей. Она стала думать, как бы половчее сказать, что она ошиблась, что хочет домой, но у нее пропал голос, и она никак не могла составить фразу. Так что она доела корзиночку с клубникой и сливками и отправилась за Гербертом по узкой деревянной лестнице наверх.

В спальне он наклонился к замку, запер дверь и поднял руки, чтобы снять с Олив шляпу. Олив стояла неловко, как статуя. Он сказал:

— Ты думаешь, что ошиблась, и хочешь домой. Тебе неловко изменять мужу из мести. Ты чувствуешь, что это не страстный порыв, а механический акт. Вот видишь, я читаю твои мысли. Я тебя знаю.

Олив засмеялась, пробормотала: «Туше!» — и

немножко расслабилась.

— Я писатель, я знаю, о чем думают люди. Я умею вкладывать свой разум в чужое тело. Я люблю твое тело, и ты полюбишь мое. Это и невероятно комично, и в то же время невероятно важно — так всегда с сексом. Мы познаем друг друга, как сказано в Писании. Что может быть удивительнее?

Говоря все это, он раздевался и аккуратно складывал одежду на стул. Олив принялась искоса разглядывать его тело. Оно было не бледным с красными конечностями, как у Хамфри, а полностью загорелым, желтовато-смуглым, потому что он принимал солнечные ванны нагишом. Она фыркнула. Тела действительно чудовищно смешны, это он правильно подметил.

— «Я обнажен — и ты должна разоблачиться: Обилием одежд пристало ли кичиться?»[36] — процитировал он. Олив не знала, откуда эти стихи. Он расстегнул ее пояс и принялся за пуговицы.

— Все равно, — сказала она, обретя наконец голос, — ты прав, я действительно думаю, что это ошибка, и мне стыдно.

— Естественно, ты так думаешь, и естественно,

---

[36] Примечания: 36

Джон Донн. Элегия XIX: На раздевание возлюбленной. Перевод Р. Гроссмахера.

что тебе стыдно, — отозвался он, сняв с нее платье и принимаясь за белье. — Но уж я постараюсь, чтобы ты об этом забыла. Потерпи, уже совсем скоро.

И она, обнаженная, бросилась в кровать, не распуская волос, чтобы Герберт не успел разглядеть ее увядшей, изборожденной временем кожи.

Во время соития он много говорил. В отличие от Хамфри: тот был молчалив, мужествен и властен. Метли был ласков, он обвивался вокруг Олив — как змея, подумала она, как саламандра — и бормотал ей на ухо: «Так лучше? А где лучше — тут? Или вот тут? Как хорошо, правда?»

Ее телу по большей части нравилось то, что он делал, а если не нравилось, он быстро менял галс, исправляя ошибку. Олив посмотрела на его «орудие»: оно было тонким и коричневатым, а не толстым, как у Хамфри. Не думай о Хамфри.

— Не думай, перестань думать, — сказал ей на ухо Метли, — надо перестать думать, милая моя, дорогая, — и она перестала думать и достигла пульсирующего оргазма, какого в жизни не испытывала, и испустила мощный крик — наверняка слышно было всей гостинице.

— Я же тебе говорил, я знал, что мы друг другу подойдем, — сказал голос ей в ухо, и она поняла,

что от такого теперь трудно будет отказаться, и все же ей было… не то что стыдно… неприятно, что это оказалось настолько по-другому и что она так живо откликалась.

Когда Олив было не по себе, она писала. Она писала, как другие спят, — чтобы потом найти в сновидении истинный смысл или отбросить ненужные образы. Она писала, чтобы снова оказаться в другом, лучшем мире. Вернувшись в «Жабью просеку» после «Зимней сказки» и «Приюта контрабандистов», она породила длинный эпизод, в котором отряд искателей наткнулся на высокий, спеленутый предмет, не то колонну, не то пленника — что-то вроде скульптуры из гипса, обернутое в мокрые бинты, которые, застывая, каменели. Серовато-белый кокон выше человеческого роста. Юный принц двинулся вперед без страха, как всегда. Гаторн остерег его:

— Не трогай. Это сплетенные Ею сети, они всегда ядовиты.

Принц подошел по темному коридору, светя себе фонариком, и увидел, что во впалых тканевых глазницах сверкают живые глаза — они говорили, хотя рот был замотан бинтами и вместо губ был виден лишь небольшой бугорок.

— Оно живое, мы должны его спасти, — сказал

храбрый мальчик доброму гоблину.

Тут Олив ненадолго завела в тупик ее собственная изобретательность. Как освободить пленницу, если бинты ядовиты? Но принц пустил в ход свой волшебный меч, который шипел, соприкасаясь с влажным бинтом, и откалывал затвердевшие куски. Теперь Олив видела эту сцену. Извивающиеся куски повязок валялись кругом, и затвердевшие тоже, похожие на глину или фарфор или на сломанные ногти. Когда все бинты были сняты, пленница выступила из своего савана — седовласая женщина со склоненной головой и согбенными плечами. На миг показалось, что она слишком стара, истощена и не переживет освобождения. Она, шатаясь, двинулась вперед, и юный герой подхватил ее в объятия, не давая упасть. И вдруг старушка стала юной феей, снежно-белые волосы исполнились неземной жизни и света, в глазах засиял магический огонь. И тут же снова постарела, губы побелели, кожа обтянула кости.

Спасенная сказала принцу, что она могущественная фея и спустилась под холм, чтобы помочь тем, у кого украли тень. Темная Королева-ткачиха поймала ее в ловушку и спеленала смертельно-ядовитой сетью, сплетенной из

теней, из которых темные ткачи высосали все остатки жизни. Если бы им хватило материала, чтобы закрыть ей и глаза, она стала бы такой же, как они. Но в ее взгляде еще оставалось немного волшебной силы.

Олив остановилась, недовольная. Это хороший образ, но в сказке о подземном царстве ему не место. Присутствие этой, очевидно взрослой, женщины не усиливало, а ослабляло конфликт между светлой королевой страны эльфов и темной королевой бездны. У Олив как-то не получалось ввести в сюжет другие женские персонажи, помимо этих двух. Они не оживут, читатели-мальчики сочтут их слюнявыми, они размывают нить повествования.

Тем не менее образ положительного существа, закутанного в смертельную ткань из теней, был слишком хорош, чтобы от него отказаться.

Олив переписала эпизод, убрав рост, возраст, красоту феи и заменив ее духом воздуха: тонконогим, тонкоруким, с волосами, как бледно-золотой солнечный свет, и не женского пола. Ее завораживали Парацельсовы земные духи: сильфиды, гномы, ундины и саламандры. Но, начав творить подземную страну, Олив сознательно убирала все слова и образы, слишком близкие к класси-

ческой мифологии, — они вызывали готовые ассоциации и избавляли читателя от необходимости думать. Олив хотела, чтобы читатели — в первую очередь Том, но она смутно думала и о других — видели ее духа воздуха таким, каким она сама его изобрела. Она дала ему торчащие колючками волосы, словно раздуваемые ветром, прозрачные, как лед, но теплые от солнечного света. Она дала ему вены и жилы, в которых клубилась синева неба и золото солнца. Кости у духа были тоже прозрачные. Глаза? Непостижимые, золотисто-желтые, с черным пятнышком посередине. Олив думала об этом существе: если она назовет его сильфом, избавившись от окончания «ида», отвлечет ли это читателя от классической мифологии? «Сильф» звучит похоже на «эльфа» — смягченное английское слово.

Сильф не шатался от старости и не падал в объятия мальчика, подобно зрелой женщине. Он танцевал вокруг, словно болотный огонек, празднуя свободу, и предупреждал отряд о неожиданных опасностях, рыскающих в ближних коридорах. Он сказал, что на месте Тома немедленно повернул бы назад, так как сам прекрасно жил бы и без тени, в свете вечного полдня. Он сказал:

— Может быть, твоя тень не захочет выходить на свет. Может быть, она захочет остаться с гномами и саламандрами.

— Но моя тень — моя! — воскликнул Том.

— Может быть, она больше так не думает, — сказал Сильф, и Олив мучительно задумалась, что следует из этой реплики, которую она вписала, повинуясь внезапному импульсу из ниоткуда.

20

На рубеже веков дети вот-вот должны были стать взрослыми (а некоторые уже стали), и старшие смотрели на них, на свежую кожу, молодую грацию и неловкость, со смесью нежности, страха и желания. Молодые же хотели освободиться от власти старших и в то же время с готовностью обижались на любой намек, что старшие хотели бы освободиться от них.

Семья Проспера Кейна, судя по всему, не испытывала сложностей и даже питала надежды. Джулиан в декабре 1899 года отправился в Кембридж, сдал вступительный экзамен в Кингз-колледж и заработал стипендию. Он должен был пойти учиться осенью 1900 года. Флоренция ходила на курсы в Кембридже, где готовили к сдаче экзаменов на право поступления в университет, и поговаривала об изучении языков в Ньюнэм-колледже. В свежепоименованном Музее Виктории и Альберта царили хаос строительства и хаос реорганизации; кипели споры между теми, кто видел музей как «собрание древностей», и теми, кто видел его основной задачей образование, обучение художников-прикладников и учите-

лей. Королевский колледж искусств, возникший из реорганизованной Национальной школы обучения искусствам, где в 1898–1899 годах был директором Уолтер Крейн, теперь управлялся Советом по искусству: его составляли четверо специалистов из Гильдии работников искусства, полные идеалистического духа Движения искусств и ремесел. Первым преподавателем дизайна в колледже стал архитектор У. Р. Летаби, и сразу началось энергичное преобразование курсов для «преподавателей искусства обоих полов», «дизайнеров» и «работников искусства». Поскольку среди преподавателей не было женщин, а среди студентов было много юных дам, в колледже учредили должность заведующей по делам женщин-студенток.

Проспер Кейн наблюдал за Имогеной Фладд. Он говорил себе, что не может спокойно смотреть, как она слоняется по Пэрчейз-хаузу — нечто среднее между оборванной девчонкой-гусятницей и пленной принцессой. В 1900 году ей был двадцать один год или около того, и у нее не было ни мужа, ни профессии, ни нормальной домашней жизни. Что у нее есть, думал Кейн, это робкий, но несомненный художественный талант. Кейн был уверен, что ей следует убраться подальше

от ауры Фладда и миазмов Серафитиной инертности и чему-нибудь научиться. Он поговорил с Уолтером Крейном, который всегда восхищался творениями Фладда и прекрасно знал о его тяжелом характере. Желающие стать студентами должны были выдержать ряд нелегких испытаний: по архитектуре (двенадцать часов на рисование небольшого архитектурного объекта); по рисованию модели (за шесть часов создать эскиз — например, углем — рта микеланджеловского Давида); просто по рисованию (изобразить голову, руку и ногу); по орнаменту и дизайну (нарисовать по памяти лист растения: например, дуба, ясеня, липы); каллиграфически написать вручную заданное предложение. Проспер Кейн не знал, хватит ли у Имогены сил — и мужества — на участие в этих открытых конкурсах. Он уговорил Крейна позволить ей посещать лекции в качестве вольнослушательницы. А там они посмотрят, как она будет развиваться. В качестве легенды, для прикрытия, можно будет сказать, что она «гостья» хранителя драгоценных металлов Музея.

Поздней осенью 1899 года Кейн отправился в Лидд и открыл свой замысел Имогене. Он пригласил ее прогуляться по берегу моря, твердо и

даже грубо пресекая намеки Серафиты на то, что Помона тоже хочет пойти. От всего этого у Проспера Кейна появилось дурацкое ощущение, что он ведет себя как претендент на руку и сердце, хотя на самом деле он испытывал нечто вроде отцовских чувств. На Имогене был длинный плащ с капюшоном, скрепленный потертой серебряной застежкой, которая показалась Кейну уродливой. Капюшон не держался на голове, и весь плащ парусил и хлопал от ветра, дующего с моря. Сорвав капюшон, ветер принимался трепать и волосы девушки. Теоретически их должна была удерживать на месте небольшая косичка, перехватившая гриву волос на затылке, но в целом, подумал Кейн, ее прическа в страшном беспорядке. Ей бы к парикмахеру сходить. И подобрать приличную шляпку. Имогена, опустив ресницы, глядела вниз, на еще кое-как служащие ей, но очень поношенные ботинки, и пыталась руками в кружевных митенках придержать раздуваемую ветром одежду. Проспер подумал, что у нее очень милое лицо, невинное, только плохо, что оно такое безжизненное.

— Я хотел застать вас наедине, но это оказалось очень трудно. У меня появилась идея, которую я хотел вам изложить.

— Не думаю…

— Прошу вас, дайте мне договорить, отказаться вы всегда успеете.

Все это звучало так, словно он собирался сделать ей предложение.

Она по-прежнему смотрела вниз.

Он изложил свой план. И объяснил, что, походив на курсы вольнослушательницей и осмотревшись, она сдаст вступительные экзамены и станет кем захочет, художницей или преподавательницей.

— Почему? — спросила она. — Почему вы все это для меня делаете?

— Я не люблю, когда что-то пропадает зря. А у вас есть талант.

— Ничего не выйдет, — сказала она, обращаясь к ветру и водяной пыли, — по самым разным причинам. Не выйдет.

— А если бы могло выйти, вы бы этого хотели?

Она склонила голову. Капюшон хлопнул ее по лицу.

— Я поговорю с вашим отцом. Прямо сегодня.

— Не надо. Мне нельзя… Я им нужна, матери и отцу, Помоне…

— А вам-то самой что нужно? Ваш брат не счел необходимым тут оставаться.

Герант действительно удалился к конторкам и телеграммам лондонского Сити, где быстро делал себе карьеру в банке Бэзила Уэллвуда.

— Я полагаю, что ваш отец ко мне прислушивается. Я смогу убедить его, что вы будете в безопасности; изучая все необходимое для колледжа, вы будете жить со мной и Флоренцией. Что он может иметь против этого?

— Вы не понимаете… — монотонно произнесла Имогена. Он остановился, взял ее за плечи и заглянул в лицо.

— Да, я не все понимаю. Но достаточно, я полагаю, чтобы изложить эту идею вашему отцу.

И вдруг она бросилась к нему в объятья и спрятала лицо у него на плече. Он не разбирал слов, которые она быстро и нервно говорила ему в плечо, но держал ее, гладил по спине и чувствовал, как она рыдает у него в объятиях.

К Бенедикту Фладду он шел с хорошо скрываемым беспокойством. Фладда он застал в кабинете — бывшей судомойне, теперь полной сохнущих горшков и альбомов с рисунками. Посреди всего этого стояло сассекское кресло работы Морриса и компании, в котором сидел Фладд.

Проспер сказал:

— Я хочу тебе кое-что сказать… предложить.

Насчет Имогены.

Снова мелькнуло нелепое ощущение соискателя руки и сердца.

— Что такое насчет Имогены? — грубо спросил Фладд. Кейн сказал, что способности Имогены его впечатлили, и изложил свой план относительно ее ближайшего будущего.

— Ей и тут хорошо, — сказал Фладд.

— Она одинока и без работы, — ответил Кейн.

— Ее семья в ней нуждается. Я в ней нуждаюсь.

— У тебя есть Филип Уоррен и неоценимая Элси. У тебя есть жена и Помона. Думаю, пора предоставить Имогене свободу.

— Ха! Ты думаешь, я ее запер в тюрьму.

— Нет. Но я думаю, что ей пора уйти отсюда.

— Ты просто надутый солдафон и лезешь не в свое дело. И ты прекрасно знаешь, как никто другой, что у нас нет денег — содержать ее в этом вонючем городе.

— Я предлагаю ей жить у нас, как гостье, пока она не получит стипендию на учебу в Королевском колледже искусств — а я уверен, что она этого добьется. И тогда она сможет сама себя содержать. Или выйдет замуж. Здесь она совсем не видит молодых людей.

— Ты думаешь, я не знаю, в чем мой долг? А ее

долг — заботиться о родителях.

— Пока нет, с какой стороны на это ни посмотреть. Друг мой, ты ведешь себя как отец-тиран из сказки. Я ведь тебя лучше знаю. Я знаю, что ты любишь свою дочь…

— Знаешь? Точно знаешь?

— Слишком сильно любишь, и тебе тяжело с ней расстаться. Но она откроет тебе сердце, если ты найдешь в себе силы отпустить ее. А я возьму на себя все расходы по ее переезду, если ты отдашь мне тот кувшин цвета бычьей крови с дымными змеями, я на него уже года два засматриваюсь. Ему место в Музее, и тебе это известно.

— Ты ничего не знаешь.

— Я знаю, что ничего не знаю. Но я наблюдал за Имогеной, а ты не привел ни одного разумного довода против ее переезда в Лондон.

— Хорошо, хорошо, забирай мою дочь и кувшин и проваливай к черту! Давай выпьем, вот бренди. Посмотри на головки одуванчиков на этих тарелках, с летящими семенами, это работа Филипа. Он способный мальчик.

— Он еще и молодой мужчина, а Имогена — молодая женщина. Можно я и что-нибудь с одуванчиками возьму — покажу музейным кураторам?

Имогена переехала в Лондон, и Проспер сказал дочери, что надо как-то обеспечить ее пристойной шляпкой и платьем, но он не знает, как. Флоренция ответила:

— Я найду шляпку — ты же знаешь, как я их удачно подбираю, — и скажу Имогене, что я купила эту шляпку себе, и она мне не подошла. Вот для моих платьев Имогена слишком высокая. Но я что-нибудь придумаю.

— Флоренция, ты у меня такая умница. Ты всегда будешь такой?

— Нет. Скорее всего, с возрастом я ужасно поглупею. Похоже, так со всеми бывает.

В доме Кейнов, внутри Музея, но вдали от строительного грохота, скрежета, пыли Имогена, кажется, действительно освоилась и стала немного бодрее и нормальнее. У нее обнаружился неожиданный талант к архитектурным эскизам, она сделала несколько шелковых розовых бутонов и незабудок для украшения найденной Флоренцией простенькой шляпки и по собственной инициативе принялась перешивать одежду, чтобы больше походить на студентку Школы искусств. В доме Фладдов дела обстояли не так радужно. После отъезда сестры Помона вновь стала ходить во сне. Пару раз она оказывалась в

спальне Филипа, один раз — голая, прикрытая лишь чересчур длинными, чуть сальными золотыми прядями. Филип и Элси говорили об этом. Элси считала, что Помона притворяется. Элси сказала Филипу, что Помона вешается ему на шею — в буквальном смысле, — потому что он единственный молодой мужчина в окрестностях. Элси назвала Помону истеричкой и притворщицей. Филип ответил, что нет, она не притворяется, а крепко спит, он это чувствует по тому, как она его трогает. Он хотел признаться Элси, что холодная обнаженная плоть Помоны, прижимаясь к нему, волнует и возбуждает — в конце концов, он всего лишь человек. Но подумал: да, у Помоны аппетитная сливочно-белая кожа, крепкие маленькие груди и мягкие бледно-розовые соски, но она спит настолько глубоко, что становится какой-то инертной, словно кусок мяса, почти мертвой. Элси не рассказала Филипу о странном разговоре с Имогеной в день ее отъезда. Разговор был такой невероятный, что теперь Элси спрашивала себя, не выдумала ли его. Имогена тепло обняла ее, что само по себе было необычно — до того она никогда не обнимала Элси, держала ее на расстоянии вытянутой руки в прямом и переносном смысле. Имогена сказала Элси, что должна с ней

поговорить. И утащила ее в кухню под предлогом проверки домашних запасов.

— Если он тебя попросит… позировать… натурщицей, не соглашайся. То есть позировать голой, даже если ты ничего не имеешь против. Не надо. Ты поняла?

— Да, — ответила Элси, чувствуя, из духа противоречия, что разденется, если сочтет нужным. Хотя если бы десять минут назад ее спросили, согласится ли она позировать художнику голой, она бы расхохоталась в лицо спросившему и ответила: «Никогда в жизни».

В семьях Уэллвудов жизнь текла менее счастливо и более бурно, чем в доме Кейнов. Сын и дочь Бэзила Уэллвуда были оба недовольны будущим, которое выбрали для них родители. Чарльз, он же Карл, учился в Итоне с умеренным успехом, а в каникулы тайно посещал собрания Социал-демократической федерации, вместе с Иоахимом Зюскиндом, и с Зюскиндом же ходил на заседания фабианского общества, где произносил речи его дядя. Фабианское общество тоже переживало неспокойные времена — оно раскололось на «империалистов», поддерживавших британскую армию в бурской войне и верящих в насаждение британской демократии

по всему миру, и «социалистов газа и воды», считающих, что надо сосредоточить свои усилия внутри страны, добиваясь общественного владения и управления коммунальным хозяйством и землей. Фабианцы поставили на голосование резолюцию, выражавшую «глубокое возмущение успехом чудовищного заговора… приведшего к нынешней легкомысленной и непростительной войне». Резолюцию провалили с очень небольшим перевесом в числе голосов. Сидней Оливье, хоть и был высокопоставленным чиновником министерства по делам колоний, возмущался этой войной; в 1899 году, в ночь Гая Фокса, его шальные дочери сожгли чучело Джозефа Чемберлена. Уэббы считали войну прискорбной и «вульгарной». Джордж Бернард Шоу считал, что фабианцы должны «сидеть на заборе», ожидая, пока война не будет выиграна, а затем потребовать национализации шахт Рэнда и хороших условий труда для шахтеров. В ноябре состоялось еще одно голосование, в котором победили империалисты. Вслед за этим несколько человек покинули ряды фабианцев — в том числе Рамсей Макдональд, директор Королевского колледжа искусств Уолтер Крейн и Эммелина Панкхерст, возглавлявшая кампанию за права женщин.

Иоахима и Чарльза-Карла это будоражило. Чарльз хотел пойти учиться в новую Лондонскую школу экономики, которой пошел шестой год. Бэзил Уэллвуд, который сам не ходил в университет, хотел, чтобы его сын отправился в Оксфорд или Кембридж, и настаивал, чтобы сын сдал экзамены. Чарльз попросил хотя бы отсрочки, чтобы определиться. Он хотел попутешествовать, увидеть мир. И еще он думал, хотя и не говорил, что сможет вместе с Иоахимом побывать в гостях у немецких социалистов. Английским джентльменам пристало путешествовать. Бэзил попросил только, чтобы Чарльз до отъезда обеспечил себе место в Кембридже. Чарльз согласился сдавать кембриджский экзамен на стипендию в декабре 1900 года. Он вернулся в Итон и учился ровно столько, сколько было необходимо.

Гризельде уже угрожал сезон балов, когда ее должны были начать вывозить как дебютантку. Ей и Дороти в 1900 году было по шестнадцать лет, и они учились — медленнее и беспорядочнее, чем если бы были мальчиками, — чтобы получить аттестат об окончании школы и сдать экзамены, дающие право на поступление в университет. Катарина уже устраивала для Гризельды небольшие балы с избранными молодыми людьми,

арфой и пианино, фруктовым пуншем и салатом из омаров. Гризельда умоляла Дороти ходить на эти балы.

— Меня парализует от застенчивости; если ты придешь, мы сможем смотреть на все это со стороны, улыбаться друг другу; я хотя бы буду не одна.

Дороти сказала, что танцы не входят в ее планы на будущее. Но время от времени ходила на балы из сочувствия к подруге. Гризельда была слишком бесцветной, чтобы назвать ее красавицей, но ее хрупкая внешность поражала. Дороти была ее полной противоположностью — темноволосая, златокожая, гибкая и сильная от постоянной беготни по лесам. Дороти сказала Гризельде, что у нее нет бального платья. Гризельда отдала ей два своих — шелковое цвета слоновой кости и темно-розовое шифоновое. Виолетта их подогнала. Дороти, сверля Виолетту злобным взглядом, настояла, чтобы та убрала с платьев почти все рюшечки и бантики. От этого силуэт Дороти стал обтекаемым, фигура приобрела приятные очертания. Мальчики сжимали ее талию потными ладонями и говорили об охоте и танцах. Дороти заговаривала о войне, но получала отпор. У нее появилась неприятная фантазия о том, как она

вскрывает наиболее неуклюжих и прыщавых партнеров по танцам в анатомическом театре. Если она говорила, что собирается быть доктором, они отвечали что-нибудь вроде: «Моя сестра ходила на курсы для сиделок, пока не родила». Они, кажется, думали, что она плохо представляет себе профессию врача. На самом деле это они плохо представляли себе Дороти.

Гризельда спросила, была ли Дороти когда-нибудь влюблена. Нет, ответила Дороти, как ни странно, не была, хотя должна бы — кажется, все уже были в кого-нибудь влюблены. Гризельда сказала: ей иногда кажется, что она любит одного человека. Дороти удивилась и слегка рассердилась. Из них двоих умной была она. Если Гризельда была в кого-то влюблена, Дороти должна была сама это увидеть.

— Я его знаю? — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал небрежно.

— О да, знаешь. Не догадываешься?

Дороти мысленно перебрала мальчишек с танцев. Гризельда с ними всеми обходилась одинаково: вела светские беседы, элегантно танцевала, не флиртовала и не шутила.

— Нет, не догадываюсь. Я в шоке. Скажи.

— Ты должна была заметить. Я люблю Тоби

Юлгрива. Да, я знаю, что это безнадежно. Но, когда я его вижу, со мной творится всякое. Я хожу на его лекции только для того, чтобы услышать его голос… ну, не только — он рассказывает удивительные вещи — но когда я слышу его голос, у меня сердце подпрыгивает.

— Он старый, — отрезала Дороти. Она сказала это даже с какой-то злостью, чтобы у нее не вырвалось «Он влюблен в мою мать».

— Я знаю, — мрачно ответила Гризельда. — Это все совершенно неуместно.

И глубокомысленно добавила:

— На самом деле неважно, сколько ему лет, потому что в нашем возрасте мы не можем встретить своего мужчину, это была бы катастрофа, потому что не вовремя. А раз это все равно безнадежно, ему может быть сколько угодно лет. Даже столько, сколько есть.

— Гризель, по-моему, ты надо мной издеваешься.

— Нет, нет. Во мне есть какой-то разумный кусочек, который знает, что я просто пользуюсь своим возлюбленным Тоби, чтобы научиться быть влюбленной, в безопасных условиях, если можно так выразиться. И еще есть неразумный кусочек, который при виде его весь ахает и чуть

не падает в обморок. Разве с тобой такого никогда не бывает?

— Нет, — сурово и правдиво ответила Дороти. Девочки непонятно отчего вдруг расхохотались. И смеялись до упаду.

Проспер Кейн был доволен своими детьми. Уэллвуды беспокоились за Тома. В нем появилась склонность к одиночеству — неожиданная и вроде бы не совсем естественная. Чарльз благополучно выдержал экзамены. А Том — нет. Он хорошо сдал геометрию с зоологией и провалил все остальное, в том числе английский, для чего нужно было очень сильно постараться. Это удивило Хамфри и Олив, а также Тоби и Татаринова — оба преподавателя ожидали, что Том сдаст экзамены лучше Чарльза. Том лишь сказал, что, видимо, не смог собраться. Все это мероприятие — когда ты сидишь и пишешь, а тебя торопят — казалось ему слишком оторванным от реальности. Хамфри спросил Тома, что он собирается делать дальше. Том явно не знал. Он всегда был занят. Он проводил дни на ногах — в лесах, на холмах, даже не думая о том, что можно выбраться за пределы гигантской чаши, английской сельской равнины, зажатой между Северным и Южным Даунсом. Он, кажется, не

возражал против одиночества — Дороти, с которой он раньше был очень близок, теперь жила у Гризельды едва ли не больше, чем дома, и яростно сражалась с физикой, химией и зоологией. Том подружился, не особо сближаясь, с лесниками и фермерскими мальчишками — он умел долго стоять, облокотившись на изгородь, и задавать вопросы о кроликах, фазанах, форели и щуке. Он сидел у рек с удочками и лесками, наблюдая за водорослями и тенями там, где зависала в течении или пряталась под камнем рыба. Он тренировался подбираться к зайцам и кроликам, как рекомендовал Ричард Джеффрис, — тихо и твердо, чтобы звери не слышали ритма двуногой ходьбы. Руки он прижимал к бокам: Джеффрис считал, что человеческие руки так же пугают зверей, как зубы, когти и запах других хищников. Том научился ловко подкрадываться к отдыхающим зайцам, замирать в лесу на закате и ждать часа, когда барсуки, сопя, вылезают из нор. Он чуял их, словно и сам был диким зверем. Он проводил многие часы, упорно тренируя воображение, чтобы понять потребности и пределы физических возможностей пчелы или горихвостки, медяницы или болотной курочки, кукушки, несущей яйца, или невольной приемной матери

ее чудовищного подменыша. Он пересчитывал разнообразные виды трав на краю пашни, птиц, гнездящихся в изгороди, или тварей, живущих в глинистом пруду, откуда с хлюпаньем пили коровы, пахнущие сеном, навозом и молоком. Том не считал это подготовкой к какому-то определенному образу жизни. Он не собирался «стать» натуралистом или охотником-спортсменом и не испытывал интереса к профессии лесника. Он постоянно читал — у него в сумке всегда была книга, — но читал только два вида книг. Во-первых, труды натуралистов, особенно Джеффриса, чье глубоко укорененное, мягкое, типично английское мистическое восприятие английской почвы казалось Тому частью его собственного тела. И еще он читал и перечитывал романтические сочинения Уильяма Морриса о трагических любовниках, чудовищных опасностях и бесконечных путешествиях; в том числе и «Вести ниоткуда», с идиллически счастливыми ремесленниками, живущими в каменных домиках и собирающими богатый урожай овощей, цветов, винограда и меда. Многих книг он избегал. Он чурался описаний сексуальных авантюр: они вызывали у него, как он говорил себе, отвращение и скуку, но в глубине души

он отчасти догадывался, что на самом деле это своего рода страх. В отличие от многих детей фабианцев и ренегатов из высшего общества, вроде Чарльза-Карла, Том не читал гневных описаний тяжелой жизни рабочего класса в Манчестере и Лондоне, Ливерпуле и Бирмингеме. Не читал он, что, возможно, удивительнее для мальчика с его наклонностями, и литературы о путешествиях за пределы Англии. Индия не занимала его воображения, как и североамериканские равнины или южноамериканские джунгли. Он знал, что в южноафриканском вельде идут жестокие бои, что там упорные и упрямые буры противостоят британскому империализму, но воображение не тянуло его в битву, не заставляло получать раны и отступать. Еще менее он интересовался участью чернокожих или смуглых аборигенов дальних стран. Воображение влекло его в меловые норы ос-отшельниц или к небесно-голубым бабочкам, откладывающим яйца в гнезда муравьев. Он читал труды Дарвина о земляных червях и принял — не особенно задумываясь — взгляды Дарвина на природу, в том числе взгляд на людей как на животных, понятие о постоянной яростной борьбе за существование и преодоление. Том интересовался половой жизнью английских

животных — он много знал о спаривании куниц, о разведении призовых собак и лошадей. Любовь занимала его как что-то далекое и безнадежное, существующее в мире любовных романов. Он ходил по земле, подмечая, как разведчик или охотник, свежесломанную веточку, разбросанную кучку камней, необычно плотные заросли ежевики, раздвоенный отпечаток копыта лани, дыры, проделанные в дерне хищными клювами. Казалось, он присутствует только для того, чтобы молча воспринимать все окружающее, и сам об этом знает. Под землей, в придуманном царстве скальных туннелей и винтовых лестниц, путешествовал искатель, лишенный тени, со своим верным отрядом, не старея, не сходя с дороги, все приближаясь к темной королеве, которая ткала свои сети, силки, саваны.

Олив Уэллвуд бывала в доме Проспера Кейна, покрытом пылью строительных работ, сотрясаемом ударами молотов и кранов. Она по секрету рассказала Кейну, что беспокоится за сына. Она знала, что Кейн находит эту материнскую заботу привлекательной; поэтому намеренно создавала впечатление теплоты и беспомощности; но поняла, ощутив укол страха, что по-настоящему беспокоится за Тома. У него раньше был такой

солнечный характер, сказала она, он всегда был такой милый, такой умный. А теперь он только слоняется по окрестностям, совершенно бесцельно, и у него вовсе нет друзей.

— Он как будто стал другим, совершенно незнакомым человеком, — сказала она.

Майор Кейн ответил, что, возможно, это нормально для отношений детей и родителей. Дети вырастают и отдаляются. Да, сказала Олив, но ведь Том не то чтобы отдалился, она как раз об этом и говорит. Он не удалился прочь, а ушел в себя, изящно сформулировала Олив.

Она взяла руку Проспера в свои.

— Я думала, может быть, Джулиан… кажется, они с Джулианом друг другу нравились… Я подумала, может быть, Джулиан приедет и… погуляет с ним, поговорит?

Кейн подумал, что всегда непросто брать в союзники одного представителя молодого поколения против другого. Он осторожно сказал, что знает: Джулиан переживал, когда Том сбежал из Марло.

— Тогда-то все и началось, — заметила Олив. — Я не хочу, чтобы вы просили Джулиана что-либо выведать у Тома, это было бы очень неразумно. Я просто хочу, чтобы он с ним походил, поговорил.

Так что Джулиан написал Тому письмо, пригласив его в поход по Нью-Форесту. Он написал (и не соврал), что хочет убраться подальше от Лондона и учебы. Он писал, что они смогут ночевать то под открытым небом, то на постоялых дворах. Том ответил не сразу, но потом прислал бесцветную почтовую открытку, гласившую, что он пойдет с удовольствием.

Снова увидев Тома, Джулиан понял, что всегда был в него влюблен. Или (ибо Джулиан всегда умел мыслить двояко), что ему нужно тешить себя фантазией, что он всегда был в него влюблен. Том в восемнадцать лет был красив той же красотой, что и в двенадцать, — та же стремительная, робкая, неуклюжая грация, то же идеально соразмерное лицо, те же — ибо теперь у Джулиана был кое-какой опыт — прекрасные ягодицы под фланелевыми штанами. Том был все так же похож на статую — с копной медовых волос и длинными золотыми ресницами, которые почти касались щек, когда он моргал. Рот был безмолвен и спокоен, а странная внезапная волосатость — и лица, и тела — лишь подчеркивала сходство со статуей, словно кутая красоту в покрывала. Мужчины, любящие юношей, подумал Джулиан, любят просто красоту в отличие от мужчин, которые любят

девушек. Некоторые красивые девушки производили то же чистое впечатление красоты, что и красивые мальчики, но девушек оценивали как будущих матерей, поэтому их красота была отягощена дополнительным смыслом. Джулиан не питал иллюзий, что поцелуй или касание каким-то образом дадут ему доступ к общению с душой Тома. Тело же Тома было для Джулиана непроницаемо. Возможно, в нем и обитала какая-то душа, но Джулиан чувствовал, что попытки снестись с ней будут вторжением и, возможно, испортят все дело. Он смотрел, как свет играет в волосках на руке Тома, пока тот вскидывает на плечо мешок. Джулиан почувствовал — если отвлечься от шевеления между ног — то же, что чувствовал, когда отец разворачивал при нем сверкающую средневековую ложку, отбрасывая в сторону обертку. Джулиан подумал: хорошо, что Том так стремительно покинул Марло. Оставшись, он стал бы добычей хантеров и, может быть, превратился бы в записного кокета, что случалось со многими. Об этом и о многом другом думал Джулиан, пока они шли по тропинкам через поля и леса, ибо Том был неразговорчив и не стремился к дружеской беседе — лишь к дружеской ходьбе бок о бок. Поэтому Джулиан разговаривал сам

с собой, мысленно. Он с некоторым ехидством подумал, что должен вести себя хорошо, раз уж старшие сделали глупость и доверили ему Тома.

Том почти не смотрел на Джулиана. Он ковырял палкой изгороди или останавливался, подняв руку, чтобы в тишине прислушаться к пению птиц и лесным шорохам. Джулиан знал, что не только не красив, но даже и не привлекателен. Он был маленький, худой и жилистый; с длинным, узким, подвижным ртом; слегка кривоногий, и ходил осторожно, сгорбившись, так не похоже на Тома, свободно населявшего все окружающее пространство. Поскольку Джулиан догадался, что нужно молчать, Том начал сам завязывать разговор. В основном про изгороди и канавы. Он указывал хорошие места для постановки силков. Он нашел орхидею и сказал, что она «очень редкая». Он обсуждал хорошие и плохие методы ведения низкоствольного порослевого хозяйства.

А ночью — они спали под открытым небом, расстелив одеяла и непромокаемую подстилку, — Том говорил о звездах. Он знал их все — и планеты, и созвездия. Яркая Венера, почти совпавшая с красным Марсом, и едва заметный на горизонте Меркурий. Голова Гидры, «вон, левее

Большого Пса», прямо под Близнецами. Выпуклая убывающая луна.

О себе он не говорил. Он ни разу не сказал «я хочу» или «я надеюсь» и очень редко произносил «я думаю, что…». Он отстраненно пожалел об исчезновении отдельных видов хищников, уничтожаемых лесниками, — полевого луня, куницы, воронов. Он рассуждал вслух о том, почему ласки, горностаи и вороны оказались хитрее и живучее. Джулиан спросил:

— Может, ты хочешь стать натуралистом? Изучать зоологию, писать книги… или работать в Музее естественной истории.

— Не думаю, — ответил Том. — Я не люблю писать.

— Что же ты будешь делать? Чем бы ты хотел заниматься?

— Помнишь, на празднике Летней ночи нас спрашивали, кем мы хотим стать? А Флориан сказал, что хочет быть лисой и жить в норе.

— Ну?

— Ну и вот, я думаю, в этом что-то есть.

— Но раз уж ты не можешь стать лисой и жить в норе? — очень, очень небрежно спросил Джулиан.

— Не знаю, — ответил Том. Лицо его затумани-

лось. — Они все время ко мне пристают. Хотят, чтобы я пошел в Кембридж. Заставляют сдавать экзамены. И так далее.

— В Кембридже неплохо. Там очень красиво. И полно интересных людей.

— Тебе-то хорошо будет в Кембридже. Тебе люди нравятся.

— А тебе нет?

— Не знаю. Я просто не умею с ними обращаться.

Назавтра стало жарко. Они нашли реку, и Том сказал, что они будут купаться. Он сбросил рюкзак, разделся догола, аккуратно сложил одежду и положил поверх рюкзака. Потом вошел в волу сквозь прибрежные тростники. Джулиан сидел на берегу среди лютиков и смотрел, как зачарованный. Он подумал, что никогда не забудет этой картины: член Тома у волосатого бедра, когда Том нагнулся над стопкой одежды. Никогда не забудет очертаний этих бедер, раздвигающих буро-зеленую воду, которая вдруг стала глубже, так что Том погрузился и вынырнул снова, с водорослями, застрявшими, как конфетти, в густых волосах. Том был не только солнечный, но и загорелый. Везде, где солнце касалось этого тела, оно окрасило его красноватым загаром, на фоне ко-

торого проступали бледные волоски. V-образный узор на груди от расстегнутой рубашки, браслеты от закатанных рукавов на руках, градации золота — полосами, как у зебры — на икрах и бедрах.

— Давай же. Чего ты ждешь?

— Я на тебя смотрю.

— Нечего на меня смотреть. Зайди в воду, попробуй, какая она замечательная. Сверху горячая, а внизу холодная и липкая. Мне между пальцев ног набилась глина и мелкие рыбки. Иди же.

О, какое счастье было бы войти в него, думал Джулиан, раздеваясь и из осторожности приглаживая пальцами собственный член. Не верится, что он действительно почти ничего не знает, а похоже. Он должен бы быть ужасно скучным. И был бы, если бы не был так красив. Нет, это несправедливо, он дружелюбный, очень милый, что бы ни значило это бесполезное слово. Милый молодой человек. Но печальный, я чувствую, в глубине души он печален. Тем временем Джулиан сам заходил в воду — скрылись колени, потом смущавший его отросток. Том обрызгал Джулиана — издали, он всегда был так далеко — огромными радугами брызг, а потом поплыл вверх по течению, как форель.

— Я тебе покажу, где прячутся щуки, — сказал

он. — Это так весело, ужасно весело.

— Да, — сказал Джулиан, стараясь получить хотя бы суррогатное удовольствие от воды. — Ужасно весело.

Когда они уже сидели на берегу и сохли, Том спросил:

— Какие твои любимые стихи?

— Тебе только одни? Я могу назвать десяток. Напрасно блеском хвалишься, светило. Сравню ли с летним днем твои черты. Ода греческой урне. Калибан о Сетебосе. А твои?

— Чем занимался великий Пан меж тростников у реки? Я могу сказать эти стихи наизусть. Я их очень часто про себя читаю.

— Скажи.

Чем занимался великий Пан
Меж тростников у реки?
Рушил древа и орал, горлопан,
Брызги дробили копыта козьи,
Лилии и тельца стрекозьи
Взлетали вверх у реки…

И обрезал тростинку великий Пан
(Слишком вымахала у реки!),
Сердцевину вынул лесной мужлан,

По всей длине из трубки наружной,
И продырявил тростник безоружный
Многократно, воссев у реки.

«Так», — засмеялся великий Пан
(Засмеялся он у реки),
«Так приступлю, коли дар нам дан
Музыкой тешиться целым миром»,
И, ртом припав к тростниковым дырам,
Он с силой дунул на бреге реки…

Но зверь по природе великий Пан,
Хохочущий у реки,
Хоть людям дар песен от Пана дан:
Истинный бог, он тем и велик.
Что жалеет сорванный этот тростник,
Которому век не шуршать у реки.[37]

---

[37] Примечания: 37
Элизабет Баррет Браунинг. Свирель. Перевод А. Парина.

21

В Пэрчейз-хаузе дела шли все хуже и хуже. У Фладда и раньше бывали перепады настроения — он то целыми днями яростно работал бок о бок с Филипом, то несколько дней подряд просиживал в кресле, рявкая на Филипа, если тот спрашивал его о чем-нибудь или просил денег, и изредка замечая Серафиту лишь для того, чтобы сказать ей колкость. После отъезда Имогены Фладд немедленно погрузился в черную депрессию: он сидел, уставившись на портрет Палисси, или горбился, обхватив голову руками, словно она болела. Когда период спячки закончился, Фладд не вернулся к работе, но начал стремительно, никого не предупреждая, уходить из дома на болотистые равнины, без шляпы и без куртки даже в ветреные, мокрые дни. В один особо мрачный день он смахнул на пол целый лоток только что глазурованных горшков, бормоча, что это безобразные выкидыши.

Это была неправда, и Филип почти разгневался оттого, что пропало даром столько хорошей работы. Но Филип был проницателен и понимал, что может себе позволить, а что нет — и точно

знал, что не может позволить себе сердиться на мастера или презирать его.

Но он пожаловался Элси, что дела идут все хуже и хуже. Оба знали, что он имеет в виду. Элси сказала, что пыталась поговорить с миссис Фладд, но без толку. Миссис Фладд ответила, что у ее мужа много забот и трудный характер, и что Элси это уже и так знает.

Однажды Филип отправился на обычную одинокую прогулку в Дандженесс для сбора плавника, раковин и необычных камней. Стояла переменчивая, шквалистая погода, ослепительные пятна света на воде сменялись ударами ветра и обрывками облаков, затмевающими солнце. Вдруг Филип увидел Фладда — тот стоял у края воды, хлопал руками и неслышно орал на море. Филип решил сделать крюк побольше, надеясь, что хозяин его не заметит. Но тут увидел, что Фладд, в ботинках и вельветовых штанах, стоит в воде, которая уже дошла ему до щиколоток. Быстро идти по наклонной плоскости, усыпанной галькой, не так просто. Филип изменил направление и двинулся к Фладду. Галька скрипела и стонала под ногами. Фладд погрозил кулаком горизонту и сделал несколько шагов вперед, маша руками, как мельница. Вода уже дошла

ему до бедер, руки задевали гребни пены. Филип еще никогда не заходил в воду с этого берега. Он знал, неведомо откуда, что дно идет под уклон, а потом, уже там, где глубже человеческого роста, резко обрывается вниз, в коварные течения. Он неуклюже побежал вниз, к горшечнику, который сделал еще два-три шага, скрежеща галькой, и зашел уже по пояс. Филип не умел плавать. Он стал прикидывать, что случится, если он бросится на Фладда и упадет в засасывающую воду. Он кое-как подобрался к тому месту, где стоял Фладд, и прокричал в ветер: «Пойдемте домой, сударь. Пойдемте, прошу вас!»

Несколько секунд они стояли так — старик качался в прибое, хлопая по воде огромными руками, а юноша лихорадочно соображал, как схватить его и не потерять равновесия, и в то же время продвигался вперед, следя, чтобы обе ноги твердо стояли на грунте.

— Бенедикт Фладд! — проорал он.

Фладд наконец обернулся, злобно распялив завешанный косматыми волосами рот и дернувшись всем торсом.

— Иди домой, — сказал он и со всплеском упал на бок, в море. Он снова поднялся, видимо, стоя на коленях на гальке и соскальзывая под уклон,

и крича на Филипа, что тот — назойливый дурак. Филип прошел вперед мелкими, словно жеманными, шажками и взялся за мокрую фланель рубахи.

— Пойдемте из воды, хозяин. Пойдемте домой.

— Оставь меня.

— Как можно? — сказал Филип, выдавая, что сердится. — Я должен доставить вас домой. Помогите мне.

Фладд брыкнул ногой — желая то ли освободиться от Филипа, то ли помочь ему — и под водой поехал целый обвал гальки. Филип обхватил руками тушу Фладда и потянул.

— А ну-ка помогайте мне, — яростно и рассудительно сказал он. — Помогайте себе самому. Пойдем, пойдем.

И они как-то начали карабкаться вместе и выкарабкались на сушу, которая вовсе не была сухой — из-за воды, которая лилась с Филипа и Фладда, и воды, которую выхватывал из моря ветер, хлеща ею землю.

— Зря ты мне помешал, — сказал Фладд, но не грубо. — Я решил взять и зайти в воду, и идти, не останавливаться. Напрасно ты меня остановил.

— Почему? — спросил Филип. — Почему вы так? Вы великий художник. Вы умеете такое, что

многим и не мечталось.

— Оно от меня уходит. Я ничего не могу. Наверное, так и не смогу больше… не смогу… до конца жизни. Вот я и думаю, чего тогда тянуть?

— Это просто настроение такое. У вас оно и раньше бывало — черная полоса. Я видел. А потом вы делали удивительные вещи. Тот горшок с солнцем и облаками, помните? И другой, как пылающая парча. Помните? Если бы вы тогда утопились, тех горшков не было бы.

— Тебя горшки больше заботят, чем я.

— А если и так, это оттого, что я похож на вас. А вы сейчас чуть не утопили нас обоих, и это было бы несправедливо.

Филипу не показалось странным, что он не умолял Фладда спастись ради жены и дочерей.

Как-то раз, пойдя в Лидд закупать провизию, Филип увидел Артура Доббина и обрадовался. Он сказал Доббину, что Фладд «очень подавлен», по-видимому, из-за того, что Имогена уехала в Лондон. Он попросил, чтобы к ним зашел Фрэнк Моллет. Доббин поехал на велосипеде обратно в Паксти и передал просьбу Фрэнку, который сел на свой собственный велосипед и отправился в Пэрчейз-хауз. Фладда не было дома, он опять ушел бродить по болотам, так что Фрэнку уда-

лось поговорить с Филипом, который описал пугающее поведение Фладда и сказал, что почти отчаялся — он не в состоянии все время следить за Фладдом, так как боится толкнуть горшечника на новые выходки, и к тому же должен работать, иначе в доме не будет денег. Филип сказал, что Фладд наотрез отказывается повидать врача, а это ничего хорошего не предвещает. Может быть, Фрэнк с ним поговорит? И добавил, движимый внезапным порывом, что Помона ходит во сне.

— По большей части в мою спальню, — сказал он. — Меня это очень смущает. Я знаю, о чем вы думаете, но она глубоко спит, очень глубоко. Элси мне не верит, но, может, вы поверите.

— Вся эта семья для меня загадка, — ответил Фрэнк. — Вы с Элси ее спасли, если можно так выразиться. Майор Кейн, возможно, спас Имогену, но поверг в безумие остальных. А что миссис Фладд?

— С ней никогда не скажешь, — ответил Филип. — Я ее вижу по временам, когда пытаюсь отвести Помону обратно в кровать. Она выходит в халате, с распущенными волосами и пьет бренди. Она как стиральная доска.

— Стиральная доска?

— Ну да, вся какая-то мятая и в бороздках. Безо

всякого выражения на лице.

— По правде сказать, я побаиваюсь Бенедикта Фладда. Я, конечно, поговорю с ним. И напишу майору Кейну.

— Я на это и надеялся. — Филип нахмурился. — Когда он работает, он опасен — горшки требуют медлительности, спокойствия, легкости, а он все делает с удвоенной скоростью. Но и с удвоенной скоростью он все делает хорошо, лучше, чем я когда-либо смогу… Мистер Моллет, он разбил целую партию хороших горшков, которые я сделал и расписал, — просто взял и смахнул на пол.

— Ты на него сердишься?

— Н-нет, — медленно произнес Филип. — Я его люблю, в каком-то смысле. Но он вселяет в меня страх божий.

Бенедикт Фладд злобно ухмыльнулся и сказал Фрэнку Моллету, что не нуждается в его услугах — пока не нуждается.

— Мне недолго осталось жить на этом свете, молодой человек, и вы мне понадобитесь, чтобы отпустить грехи. Но до тех пор можете мне на глаза не показываться. Я вас сюда не звал. Мне нужно одиночество.

— Вы не один в этом доме.

— Это еще что такое? Это мой дом.

— Я пришел навестить миссис Фладд. И Филипа Уоррена.

— Ой, убирайтесь, пока я в вас чем-нибудь не бросил. Я в плохом настроении, держитесь от меня подальше.

— Филипу нелегко приходится.

— Я знаю.

Письмо от Фрэнка Моллета пришло, когда Проспер Кейн обдумывал очередной визит на большую Всемирную выставку в Париже — она открылась в апреле, когда многие дворцы и павильоны еще не были завершены. Отношения между Англией и Францией охладели из-за бурской войны. Принц Уэльский, президент британской секции, надзиравший за строительством Британского дворца, в 1900 году отказался ступить на землю Парижа. Несколько лояльных британских участников тоже отказались, но Музей Виктории и Альберта постоянно сотрудничал со специалистами по прикладным искусствам из Франции, Германии, Австрии, Бельгии и других стран, где цвело «новое» искусство, предметы которого можно было увидеть на выставке. Проспера Кейна интересовали новые ювелирные изделия — произведения француза Рене Лалика, изысканные австрийские работы новых венских

мастерских «Винер Веркштатте» и Коломана Мозера. Проспер ездил в новый венский Музей прикладных искусств; югендштиль, увиденный там и в Мюнхене, привел его в восторг. Проспер собирался в июне поехать на выставку еще раз, на более долгий срок, и у него появилась идея — взять с собой Бенедикта Фладда, чтобы тот посмотрел на новые стили в керамике и чтобы прервать его уединение среди болот. Несколько больших чаш и слегка зловещих сосудов Фладда были выставлены в британском павильоне Эдвина Лаченса.

Кейн отправился в Пэрчейз-хауз и принялся заманивать Фладда возможностью снова посмотреть на «райские» сосуды, покрытые хитросплетением из птиц, зверей, плодов, ангелов и обнаженных человеческих тел: Фладд не видел эти сосуды двадцать лет, с тех пор, как их приобрел бельгийский коллекционер. Кейн сказал, что Фладду интересно будет посмотреть работы Галле и изделия в стиле ар-нуво. Фладд сверлил его злобным взглядом и ворчал, что не был в Париже двадцать лет. Париж и тогда был гнездом толкотни, а сейчас, должно быть, еще хуже, раз туда понаехали толпы вонючих пожирателей чеснока. Но при воспоминании об этих ужасах у

Фладда в глазах зажегся интерес, и в конце концов он согласился поехать.

Проспер решил взять с собой сына, так как надеялся, что Джулиан пойдет по его стопам. Он предложил Джулиану пригласить друга, и тот сказал, что хотел бы взять Тома, если тот согласится, но это маловероятно. Оказалось, что Чарльз Уэллвуд тоже едет. Джулиан попросил Чарльза пригласить Тома.

Чарльз пошел в «Жабью просеку», чтобы лично передать приглашение. Уэллвуды из «Жабьей просеки» сидели в саду за чаепитием на солнцепеке. Чарльз объяснил, что Проспер Кейн собирает компанию для поездки на Всемирную выставку, и Джулиан хочет пригласить Тома. Том открыл рот, чтобы, даже не думая, отказаться.

Филлис сказала:

— Он не поедет. Он теперь больше никуда не ходит.

— Он затворник, — подхватила Гедда. — Знаешь, Чарльз, он становится странный. Лучше бы ты меня пригласил.

Том закрыл рот и глаза. Потом снова открыл и сказал, что поедет с удовольствием.

Он становится странным. Он не хотел быть странным. Он хотел быть невидимым.

Чарльз объяснил, что Проспер Кейн уговорил Фладда ехать с ними. Том сказал, что, наверное, Филип Уоррен тоже поедет — ведь ему нужно увидеть новое искусство.

Оказалось, никому не пришло в голову позвать Филипа. Обдумав эту идею, все сочли, что она хороша. Именно Филипа вдохновит новый мир искусств, ремесел и социальных чаяний, который воплощала в себе выставка. Поэтому Фладд объявил Филипу, что тот едет в Париж, а Кейн купил ему новый костюм.

На палубе пакетбота, посреди Ла-Манша, Филипа вдруг поразила мысль: он понятия не имеет, что собой представляет Франция, или Париж, или Европа. В ясные дни он видел французский берег — белые утесы, но совсем не такие, как в Англии. Или расплывчатую твердь, тающую в тумане. Это завораживало Филипа. Его всегда завораживали прозрачные пленки и вещества, которые наполовину скрывали и наполовину открывали иные, непохожие предметы. Французский берег казался ему чем-то вроде глазурей. Филип ходил на лодке на Ла-Манш удить макрель — шкурка макрели, как и облачно-полосатые небеса, тоже бесконечно завораживала его. Когда Филип понял, что ему нужно успокоиться, он попытался

смотреть на ускользающие одинаковые лезвия и стрелы в воде, вспаханной кормой судна и убегающей назад. Бутылочная зелень и зелень, напоенная серебристым воздухом; какие сливочные и белые тона, какая тьма в глубине под ними. Фладд стоял рядом, положив руки на перила, и так же пристально вглядывался в воду. Филип знал, что они видят одно и то же. За спиной у них болтали и смеялись трое юношей. Джулиан рассказывал какой-то анекдот, пародийно изображая француза. Чарльз хохотал. Проспер Кейн что-то читал — по-видимому, каталог. Филип понял, что взбудоражен и боится. Другая страна, другие люди, другие привычки, незнакомая еда. Он единственный из всей компании еще ни разу не путешествовал.

Джулиан уже несколько раз бывал в Париже. Он знал музеи и галереи; он сидел в кафе, плавал на лодке по Сене. Чарльз останавливался в лучших отелях и катался в Булонском лесу. Том был в Париже вместе с родными один раз, давно, под присмотром Виолетты — он смутно помнил Нотр-Дам и боль в натруженных ногах. Фладд провел буйные годы своей парижской юности на чердаках, потратил время на выпивку, табак и женщин.

Один только Проспер Кейн был готов к потрясению от великой Всемирной выставки.

Выставку можно было рассматривать как ряд парадоксов. Она была гигантской, несоразмерной, занимала площадь в 1500 акров и обошлась в 120 миллионов франков. Она привлекла 48 миллионов платных посетителей. Ее строительство заняло почти четыре года, если считать элегантный новый мост Александра III, перекинутый аркой через Сену, Большой дворец со стеклянной крышей и хорошенький розовый Малый дворец. Но в то же время она обладала неповторимым метафизическим очарованием, свойственным любой тщательно сделанной копии реального мира, — очарованием миниатюрных, игрушечных театров, марионеточных ширм, кукольных домиков, клеенчатых полей сражений, на которых среди лесов и холмов высотой в дюйм сражались крохотные свинцовые армии. Выставка пленяла приятной уходящей вдаль бесконечностью жестянки для печенья, нарисованной на жестянке для печенья. На выставке были представлены передовая мысль человечества в виде новых машин и нового оружия и образы ремесленников, явно наслаждающихся своей работой. Была здесь и реконструкция средневекового Па-

рижа с трубадурами и тавернами, живописными нищими и дамами в кринолинах. Были и новые удобства — щедро раскиданные повсюду общественные уборные, от самых примитивных до роскошных, с проточной водой и полотенцами, телефонные будки, движущиеся лестницы и даже движущаяся мостовая с тремя полосами различной скорости. Был и зеркальный дворец, и целая искусственная швейцарская деревня в полном комплекте — водопад, крестьяне, горы и коровы. По левому берегу Сены расположились дворцы различных наций, иные — со средневековыми башнями, иные в стиле барокко или рококо. США предоставляли телеграф, воду со льдом и котировки фондовой биржи для бизнесменов, оказавшихся вдали от дома. Салфетки, бокалы, серебро и фарфор ресторана в немецком павильоне выбирал лично сам кайзер. Он также прислал полный набор прусской немецкой военной формы для всех чинов. Итальянцы воспроизвели собор Св. Марка. Британцы заказали Эдвину Лаченсу точную копию загородной усадьбы эпохи короля Иакова, а затем наполнили ее полотнами Берн-Джонса и Уоттса, мебелью и гобеленами работы Морриса и компании.

Был здесь и Дворец электричества с Башней

воды, зал динамо-машин и зал с сотнями новых автомобилей, всех видов и размеров. Тирольский замок стоял напротив павильона русского алкоголя, Дворца оптики и Дворца женщин, рядом с хорошеньким, как коробочка драже, Эквадорским дворцом, впоследствии служившим муниципальной библиотекой в Гуаякиле. На площади Согласия, где продавались билеты, возвышались потрясающие воображение, никем не любимые ворота Бине — монументальная арка, что-то из «Тысяча и одной ночи», покрытое многоцветной штукатуркой и мозаикой, сплошь усаженное хрустальными кабошонами. Это сооружение резало глаз своей искусственностью, но его формы были основаны на формах живой природы — позвоночник динозавра, шестигранные соты пчелиных ульев, пластинки мадрепоровых кораллов. На самом верху стояла чудовищно огромная фигура женщины: Ла Паризьен, «Парижанка», пятнадцати футов высоты, с огромной грудью, слепленная с Сары Бернар и одетая в неглиже или халат, созданный самим Пакэном. На голове у нее был герб города Парижа, похожий на остроконечную тиару или на нос корабля. Статуя никому не нравилась и служила мишенью для насмешек.

Двумя самыми крупными экспонатами на выставке были дальнобойная пушка Шнайдера-Крезо и коллекция скорострельных пулеметов Виккерса-Максима. Кайзера не пригласили ни на его собственную выставку, ни на какую другую. И его советники, и французские хозяева выставки боялись, что он скажет что-нибудь неуместное или провокационное. Если британские войска убивали буров, то немецкие в это время где-то далеко воевали с китайцами. Кайзер сделал выговор Круппу за поставку китайским крепостям пушек, нынче стрелявших по немецким канонеркам. «Сейчас, когда я посылаю своих солдат в бой против желтокожих чудовищ, не время наживаться на столь серьезном положении дел».

Китайцы же, несмотря на убийства, восстания и войну, возвели в сияющем парижском микрокосме изящный и дорогой павильон. Он был из резного темно-красного дерева, крыши в форме пагод покрыты нефритово-зеленой черепицей. В павильоне была элегантная чайная комната. Он стоял в экзотическом секторе, между японской пагодой и индонезийским театром.

Ар-нуво — новое искусство, — как это ни парадоксально, смотрело в прошлое: оно заигрывало с древним, со сфинксами, химерами, Венерой со

священной горы, персидскими павлинами, мелюзинами, рейнскими девами, а также козлоногим Паном и коварными восточными жрицами, закутанными в покрывала. Часть своей новизны оно заимствовало из глубокого сна о потерянном прошлом — отсюда бледные, ничем особо не занятые Берн-Джонсовы рыцари, Моррисовы эпизоды из саг и ярко раскрашенные вышитые гобелены. Но в нем была и радикальная новизна — клубящиеся, спиральные, волнистые линии, подсмотренные в природе; оно воплощало в новых металлах заново увиденные древесные формы, отказывалось от тяжести золота и бриллиантов, черпая эстетические восторги в недрагоценных металлах и полудрагоценных камнях, перламутре, текстуре древесины, аметисте, коралле, лунном камне. Оно сочетало в себе замершую неподвижность и образы стремительного движения. Это было искусство теней и блеска, понимающее новую силу, которая преобразила и выставку, и грядущий век: электричество.

Американец Генри Адамс снова и снова возвращался на выставку, пока она не закрылась, движимый точным и неукротимым сочетанием научного и религиозного любопытства. Он добавил к своей книге «Воспитание Генри Адамса»

загадочную главу под названием «Динамо-машина и Святая дева».[38] Он понял, где центр всего — среди машин, в галерее динамо. Он начал, по его словам, ощущать «эти сорокафутовые махины… источником той нравственной силы, каким для ранних христиан был крест». Динамо-машина «означала не более чем искусное устройство для передачи тепловой энергии, скрытой в нескольких тоннах жалкого угля, сваленного кучей в каком-нибудь тщательно спрятанном от глаз специальном помещении». Но Адамс обнаружил, что сравнивает силовое поле динамо-машины с присутствием Богоматери или Богини в великих средневековых соборах Франции. Вскоре зритель начинал «молиться на это чудище: врожденный инстинкт диктовал этот естественный для человека порыв — преклоняться перед немой и вечной силой».

Динамо-машина, приводящая в движение саму выставку, находилась в цокольном этаже Дворца электричества. Сначала она не заработала. Перед Дворцом электричества стоял *Château d'Eau,*[39]

---

[38] Примечания: 38

Здесь и далее «Воспитание Генри Адамса» цитируется по переводу М. Шерешевской.

[39] Примечания: 39

Дворец воды *(фр.).*

который, по замыслу создателей, должен был ослепительно сиять радугой света. Фонтаны в несколько рядов, как в Версале, окружали дворец, украшенный витражами и прозрачной керамикой, увенчанный статуей Духа электричества на колеснице с четверкой гиппогрифов. Вдруг оказалось, что все это не оживает, и ночью на месте дворца открывается ужасная черная пещера, зияющая дыра. Но пришли рабочие служить машине, смазывали ее, полировали, гладили, как зверя, чтобы пробудить. Адамс был прав: машине принесли букет свежих цветов, как жертвоприношение, и возложили его к задней части цилиндра. Машина задрожала и ожила, и все ощутили ее пульс. А когда она заработала, фасады зданий преобразились в рубины, сапфиры, смарагды, топазы, темное покрывало ночи — в гобелен из сверкающих нитей. С Башни воды побежали жидкие алмазы, пронизанные мерцающим опалом, гранатом, хризопразом. Сама Сена стала вздымающейся, пляшущей лентой цветной лавы, в которой переплетались, тонули и снова всплывали разноцветные нити, изменяясь и загораясь вновь.

Восхитительные освещенные порталы, извилистые, как растительность искусственного рая,

вели вниз, к сверкающей электрической змее нового метро. Всю выставку опоясывала бегущая мостовая, по которой посетители могли передвигаться с тремя разными скоростями, визжа от изумления, цепляясь друг за друга при переходе с полосы на полосу. Журналы, захлебываясь, писали о «магии электричества».

Дворец электричества был увешан предостерегающими табличками. *Grand Danger de Mort.*[40] Эта смерть приходила не от клыка, когтя или давящей туши. Невидимая смерть, часть невидимой животворящей силы, новое явление нового века.

---

[40] Примечания: 40
Смертельная опасность *(фр.).*

22

Проспер Кейн снял для всей компании номера в гостинице «Альбер» на Монмартре. Кейну надо было работать — он посетил павильон Бинга, чтобы изучить россыпи ар-нуво, и Малый дворец, чтобы поглядеть на богатую коллекцию исторических произведений искусства. Много раз он ходил в отдел немецкого декоративно-прикладного искусства, где новая мюнхенская элегантность красовалась в комнатах, отделанных фон Штуком и Римершмидтом в новом молодом стиле — югендштиль. Ходил Кейн и в австрийский, и в венгерский залы, с его смелым сплетением кривых линий, с дорогой, но не вычурной мебелью, в очертаниях которой сквозил некий намек на испорченность.

Утром молодые люди вышли из дома, собираясь сесть в омнибус, накрытый полосатым навесом и запряженный четверкой лошадей. Вдруг из бокового переулка вышел человек, приподнимая шляпу в знак приветствия. То был Иоахим Зюскинд; он сказал, что удивлен и обрадован встречей. Сам он приехал на конгресс, но уже успел повидать и значительную часть выстав-

ки — не всю, конечно, на это ушли бы месяцы. Он выразил опасение, что немецкий павильон покажется им слишком крикливым. Однако там были вещи из его родного Мюнхена, и этим он гордился.

Джулиан тут же решил, что появление Зюскинда — не случайность. Наверняка он сговорился с Чарльзом. Мысли Джулиана работали в направлении похоти, а не политики. Он разглядел соломенные усики Зюскинда и решил, что с таким целоваться неприятно. Поглядел в четко очерченное лицо светловолосого Чарльза и решил, что Зюскинд наверняка в него влюблен — учителя вечно влюбляются в самоуверенных, жадных до жизни мальчиков. Джулиан подумал также, гордясь своей проницательностью, что улыбка Зюскинда была извиняющейся и голодной. Разглядывая Зюскинда, Джулиан не заметил, как отреагировал Чарльз — растерялся, застеснялся или обрадовался. Поглядев на Чарльза, Джулиан увидел, что тот краснеет — несомненно, это смущение человека, ввязавшегося в тайный сговор; но что еще? Джулиан был заинтригован. Но гораздо больше его интересовало, какие возможности это открывает для него самого.

Дойдя до выставки, Джулиан небрежно спро-

сил, кто что собирается смотреть. Том ответил, что хочет прокатиться на движущейся мостовой и на большом колесе обозрения. Чарльз посмотрел на Зюскинда и сказал, что хочет увидеть зал динамо-машин и автомобили. Джулиан заявил, что пойдет в павильон Бинга, так как отец велел ему обязательно осмотреть декор этого павильона. Они договорились собраться позже в венской кондитерской и поесть пирожных.

Когда Джулиан и Том уже не могли их слышать, Зюскинд, немного волнуясь, сказал, что хочет познакомить Чарльза с одной молодой женщиной. Она читает лекции об анархии и вопросах пола. Она, как и он сам, приехала в Париж на антипарламентский конгресс Второго интернационала. Она также делегатка тайного съезда мальтузианцев, желающих обсудить противозачаточные средства, запрещенные во Франции. Ее звали Эмма Гольдман. Она приехала из Америки, где руководила партией анархистов, а здесь зарабатывала себе на пропитание, водя по Выставке американцев. «Она точно знает, что нам нужнее всего увидеть и узнать, — сказал Зюскинд. — Но вы должны строго хранить тайну и ни в коем случае не передавать никому того, что я сказал. Я договорился встретиться с ней перед Дворцом

женщин».

Джулиан планировал кампанию по сближению с Томом, хотя и не очень понимал, чего в итоге хочет добиться. Он был весь напряжен, нервы как наэлектризованные — это доставляло ему невероятное наслаждение. Перед выходом из гостиницы он рассмотрел себя в зеркало в спальне, пытаясь увидеть себя непостижимым взором Тома. Джулиан был строен и в вельветовой куртке и бирюзовой рубашке казался приятно поджарым. С другой стороны, он был… коротенький, маленького роста… он не нашел положительного эпитета. От итальянских предков он унаследовал смуглую кожу и темную полоску усов. Глаза были глубоко посажены. Волосы — гладкие, словно прилизанные, казалось, им нравится так лежать. Как видит его Том, красно-золотой, непринужденный, словно высеченный резцом скульптора там, где Джулиана лишь набросали тушью?

Джулиан умел быть влюбленным. Ему нужно было знать о сексе. А именно, ему нужно было знать, каково изливаться в соприкосновении с другим телом, какая разница между ним и собственной рукой. Но Джулиан был умен и понимал, что, когда ты «влюблен», приятнее всего — состояние неутоленного томления. Учась в

закрытой школе, поневоле начнешь разбираться в мальчишеской красоте: мальчики в стихарях с ангельскими личиками, мальчики, покрытые восхитительной пленкой пота после погони за футбольным мячом или усердного размахивания битой, трепещущие коленопреклоненные мальчики, растирающие ваксу на твоем ботинке. Их красота влекла за собой опасность — и даже, в некоторых случаях, невозможность — касания. Серьезные, нежные или озорные лица мерцали в полутьме перед глазами школьника, пишущего умное сочинение о Платоновых формах добра или пристраивающего голову на одинокую подушку. Конечно, приходилось верить, что это или то прелестное создание могло, *in potentia,*[41] стать долгожданным близким другом, от которого ничего не нужно таить, который все поймет, простит и полюбит. Но Джулиану хватило ума и наблюдательности, чтобы заметить: любовь сильней всего, пока она неразделенная. «Любовь растет, пока в зенит не станет, / Но минет полдень — сразу ночь нагрянет».[42] «Что ж станется со мной, когда вкушу я / Любви чудесный нек-

[41] Примечания: 41
В потенциале *(лат.).*

[42] Примечания: 42
Джон Донн. Лекция о тени. Перевод Г. Кружкова.

тар!»[43]

Действительно ли он хочет это знать?

Иногда он думал, что нарочно влюбляется в таких, как Том, — с виду простых, в каком-то смысле добродетельных, но непроницаемых, — словно желая сохранить в себе какую-то существенную отдельность, одинокость, потребность в которой была глубже потребности в любом человеческом контакте. Джулиан был рад, когда ему удавалось вызвать у Тома улыбку. Джулиан любил делать Тому подарки и видеть, как тот краснеет от удовольствия. Но больше всего он любил потом возвращаться в одиночество собственной спальни и смотреть на себя, доставляющего удовольствие самому себе.

Этой морали его не учил никто. Любовь — высшая ценность: так говорили книги, так говорили учителя. Джулиану приходилось верить, что это так. Или что это может быть так. Ну что ж, значит, он будет любить Тома и узнает, каково это, и будет восхитительно страдать из-за того, что они так друг от друга далеки.

Они сошли с омнибуса и встали в очередь к воротам Бине, чтобы купить билеты. Они проеха-

---

[43] Примечания: 43

У. Шекспир. Троил и Крессида. Перевод Т. Гнедич.

ли на движущейся мостовой мимо различных диковин, мимо окон парижских домов — иные были стыдливо закрыты ставнями, иные давали возможность заглянуть в чужие гостиные и на чужие балконы. На каждой полосе движущейся лестницы стояли столбики с медными шишечками, предоставляя опору для меняющих полосу и скорость движения. Женщины, чтобы совершить небольшой прыжок, хихикали и подбирали юбки. Джентльмены и карманные воришки протягивали руки, чтобы их поддержать. Джулиан и Том, пользуясь тем, что они мальчики, схватились за руки и несколько раз быстро перескочили с полосы на полосу. Здесь были тысячи людей из сотен городов и стран — они несли мешки с едой, элегантные трости, зонтики от солнца, свертки. В воздухе висел иностранный запах. Джулиан знал, что это сыр с чесноком. Том не знал. Он принюхивался, как охотничья собака на поле.

Они пошли на большое колесо обозрения. Сели бок о бок, залитые солнечным светом, в кабинку и поднялись в синее небо, рядом с прямостоячей железной клеткой Эйфелевой башни и изрыгающими дым трубами электростанции. Они увидели реку и мосты, воображаемые дворцы вдоль реки, огромный небесный глобус, внутрь

которого можно было залезть и покрутиться вдоль зодиакального круга.

Джулиан как бы между делом заметил, что боится головокружения. Том коснулся его, ободряя, и сказал: секрет в том, чтобы смотреть вдаль, а не вниз. Он сказал, что сам на высоте вполне счастлив, гораздо неприятнее — удушье, которое он испытывает в толпе. Он сказал, что не знает, сможет ли когда-нибудь жить в большом городе. «А что же ты хочешь делать?» — спросил Джулиан. Они все еще поднимались. Джулиан снова вспомнил цитату из Донна. На самом верху, в высшей точке круга, он коснется Тома. Том сказал, что он любит бродить «поверху», по холмам Даунса, и не знает, чего еще можно желать, хотя и понимает, что нужно желать чего-нибудь. Оба засмеялись при мысли о том, что висят высоко в небе над Парижем и обсуждают прогулки по английским холмам. Они начали спускаться, и в этот миг Джулиан, будто случайно, качнулся к Тому. Том в ответ невозмутимо повел плечом. Их не тряхнуло электрическим током.

Проспер Кейн был очень занят — и музейными, и личными делами. Он обменивался сведениями и советами с новым австрийским музеем прикладных искусств. Он интересовался при-

обретением новых скандинавских изделий из металла. Его волновал энтузиазм одного из судей выставки, Джорджа Дональдсона, приобретшего коллекцию мебели в стиле ар-нуво с намерением преподнести ее в дар Музею Виктории и Альберта. Самому Кейну было приятно общаться с дизайнерами из Австрии, Германии, Бельгии. То, что он — военный, иногда создавало неловкость при светском общении с французами. Он чувствовал, что его винят во всей южноафриканской военной авантюре, хотя на самом деле не одобрял ее ни как военный, ни как гражданин.

Еще одной причиной для трений между ним и французскими военными было дело Дрейфуса. Кейн всегда считал, что несчастный офицер-еврей, шесть лет назад осужденный за государственную измену и сосланный на Чертов остров, невиновен. Ярость его сторонников, расследование, проведенное отважными людьми, самоубийство главного обвинителя — все это, несомненно, доказывало его невиновность. В прошлом году изможденную тень человека привезли во Францию и судили снова. И снова признали виновным. Это возмутило Кейна не меньше, чем сторонников Дрейфуса во Франции. По случаю Выставки Дрейфусу предложили помилование —

чтобы избежать международных инцидентов и уличных беспорядков внутри страны. Хорошенькое дело, подумал тогда Кейн, — помилование за преступление, которого ты не совершал.

Напряженность между англичанами и французами росла. Французы печатали ядовитые карикатуры на Виндзорскую вдову, изображая ее выжившей из ума злобной паучихой или пучеглазой ведьмой. Поговаривали, что в итоге выйдет война между Францией и Великобританией. Кейн улыбнулся при виде материализованной ярости — вазы Галле, оправленной в серебро, украшенной пылающим лохматым ирисом-аппликe и несущей на себе цитату из речи Золя о деле Дрейфуса: «Nous vaincrons. Dieu nous mène».[44] Подобную вазу преподнесли и великой Саре Бернар, тоже страстной дрейфусарке.

Джулиан договорился с отцом о встрече в павильоне Бинга и пришел пораньше, чтобы неспешно показать Тому все чудеса этого павильона. Английские эстеты были Джулиану подозрительны. Творчество Уайльда он знал слабо, но считал его глупым и убогим, а Обри

---

[44] Примечания: 44

«Мы победим. Нас ведет Бог» *(фр.).* Авторская неточность: на самом деле эта цитата взята из цикла поэм Виктора Гюго «Легенда веков».

Бердслей восхищал и пугал Джулиана видениями злокачественной затейливой порочности, которой тот с удовольствием любовался, но разделять ее не желал. В девятнадцать лет он не знал, кем собирается быть, и остро это сознавал. Но сурьма, благовония и зеленые хризантемы его не прельщали. Подобно кайзеру Вильгельму и Просперу Кейну, Джулиан тайно любил смесь пышности и суровости в хорошо сидящей военной форме. Но в армию он не собирался, это он точно знал. На Выставке он открыл европейское «я», которому как раз надо было осознать новую европейскую элегантность. Джулиан обнаружил, что бархатная куртка словно стала четче сидеть на плечах. Он подумал, что стоило бы купить новую обувь.

Зигфрид Бинг, уроженец Гамбурга, познакомил французских знатоков с японским искусством; он держал галерею на рю де Прованс, где выставлял очень современные картины — не только импрессионистов, но и символистов, и мечтателей. Его павильон представлял собой маленький, словно игрушечный, особняк. Позднее павильон целиком перенесли в Копенгаген. Еще один аспект Выставки, вызывающий в памяти сказки о летающих домах, о дворцах, перенесенных джинном за одну ночь на другой край света, за океаны

и пустыни. Это ощущение еще усиливалось Дворцом зеркал, внутри которого простирались обманчиво бесконечные экзотические виды Ближнего Востока и сам зритель отражался под всеми возможными углами, снизу и сверху, приближаясь и удаляясь, вися в пустоте. А кроме этого, был еще Дворец-вверх-тормашками, в котором, словно в детской сказке, можно было ходить по потолку и смотреть вверх или вниз, на столы и стулья. На фасаде павильона красовались две смуглые стройные молодые женщины с тонкими пальчиками в черных перчатках, с тонкими талиями, с маленькими круглыми ягодицами, отчетливо видными под облегающей одеждой со шлейфами — не то завихряющимися юбками, не то павлиньими хвостами. Они стояли перед волшебным домиком в лесу. И зазывно оглядывались через плечо. Слова Тома совершенно застали Джулиана врасплох: Том пожалел, что этих девушек не видит его мать, они бы ей так понравились. У девушек с плеч свисали, словно крылья, прозрачные шали.

Внутри особняка шел ряд разнообразно меблированных комнат — все разные, одновременно богатые и простые, там сияло полированное дерево, пестро инкрустированное другими сортами

дерева, ткани — смесь жесткой парчи и легких паутинных нитей, гобелены, полированная медь, стекло, тонкая керамика, блики позолоты сверкали в темных углах. Джулиан получал тайное удовольствие, представляя себе Тома на фоне этих малоправдоподобных декораций. Том словно забрел в это царство лимонной древесины и парчи с английской лужайки, бросив крикетную биту где-то по дороге. Еще он был похож на греческую статую юного атлета, который, впрочем, выглядел бы здесь уместно — обнаженный, но увенчанный резными листьями винограда.

Они вошли в, пожалуй, красивейшую комнату павильона — гардеробную работы Жоржа де Фёра, всю в лунных тонах, с мебелью пестрого венгерского ясеня, с серебристыми медными инкрустациями, увешанную мерцающими шелковыми драпировками в серых и голубых стилизованных цветах, меняющих очертания при свете, сотканных на утке из серебряных нитей. Стулья были обиты серо-голубой тканью, расшитой серебряными розами. Джулиан подумал: вот бы увидеть Тома в шелковом халате, в этой комнате… Он представил себе халат темно-синим, потом — темно-серебряным, потом совместил эти два цвета, а Том тем временем

расхаживал по комнате, разглядывая ее с подлинным любопытством и повторяя, как жаль, что его мать ничего этого не увидит. «Это так помогло бы ей в работе», — сказал Том. Он запустил обе руки в волосы и взъерошил их, так что получились рожки. Юноши перешли в спальню, где стояла огромная кровать, застланная покрывалом всевозможных приглушенных оттенков. Джулиан попробовал представить себе Тома обнаженным, распростертым на этой кровати, в то время как Том стоял рядом в чуть неловкой позе и интересовался балдахином. В комнатку вошла толпа модно одетых дам и джентльменов и принялась ахать и охать от восторга, а также отпустила несколько громких замечаний насчет использования кровати. Том вдруг сказал, что устал, что его все это давит, что он хотел бы где-нибудь присесть.

Они уселись за столик в близлежащем кафе, ожидая Проспера Кейна. Заказали свежевыжатый лимонад, и Том снова взъерошил себе шевелюру. Джулиан не знал, о чем с ним говорить, а сам он молчал, так что Джулиан спросил:

— Тебе не показалось странным, что герр Зюскинд появился вот так, вдруг?

— Странным? По-моему, сюда весь мир съе-

хался. Такая толкучка, что я дышать не могу. Но, правда, когда так много народу, мало шансов встретить определенного человека.

— Мне кажется, он сговорился с Чарльзом. По-моему, он знал, что мы тут. Может быть, у него с Чарльзом что-то есть.

— Что-то есть?

— Может быть, он в него влюблен. Мне показалось, что он волнуется.

— Никогда бы не подумал. Хотя странно. Я как-то наткнулся на них в Гайд-парке. Мы шли с папой. Они притворились, что не видят нас, и мы тоже притворились, что мы их не заметили. Папа сказал, что вежливость велит смотреть в другую сторону. Кажется, все очень смутились, хотя я не понял, почему.

— Ты когда-нибудь был влюблен? По-настоящему? — спросил Джулиан.

Том смотрел вниз, на стол. Джулиан тут же испугался, что зашел слишком далеко. На самом деле Том думал, что Джулиан чрезвычайно опытен в этих делах и будет смеяться, если Том скажет правду. Но он все равно сказал:

— Только в воображении.

— Загадочный ответ. Что ты имеешь в виду?

Том молчал. Потом ответил:

— Я и сам не знаю, почему так сказал.

— Ты имеешь в виду воображаемую любовь к настоящим людям, которых ты не любишь… во плоти, так сказать? Или любовь к воображаемым людям, которых ты совсем не знаешь?

Том поднял взгляд и покраснел. Джулиан смотрел на него с вопросительной, но дружелюбной ухмылкой.

— Скорее второе. Но оно смешивается с первым. Иногда я задумываюсь, каково это, ну, ты знаешь…

Говоря «каково это», он думал о рыцарях и дамах, которые едут верхом по лесу, покинув город и направляясь в неизвестную даль. Том еще с детства завел привычку воображать себя Гаретом из «Гарета и Линетты» Теннисона: Гарет по настоянию матери служил кухонным мальчишкой в замке короля Артура, скрыв свое имя, а потом отправился на первый подвиг с язвительной и сварливой молодой дамой, называвшей его смрадным грибом и говорившей, что от него разит кухней. Но постепенно дама узнает его силу и кротость, начинает жалеть о своей дерзости и, словно мать, сторожит сон юноши. Том понятия не имел, почему выбрал Гарета, а не более сложную и страстную натуру — Ланселота.

Джулиан сказал:

— Мне кажется, мы пытаемся понять, каково это, по книгам… или в школе, влюбляясь в красивых мальчиков…

Том дернулся, и Джулиан вспомнил, что, по его подозрениям, делали с Томом в Марло.

Они сидели, потягивая лимонад. Джулиан сказал:

— Тебе не кажется иногда, что это очень тяжело — когда у тебя все еще впереди: все люди, которые будут для тебя важны, все решения, которые когда-нибудь придется принять, все, чего ты должен добиться в жизни, все будущие неудачи, и все это пока нереально? Будущее окружает мою голову и жужжит, словно облако мошкары.

— Когда я об этом думаю, — ответил Том, — мне представляются ледяные пещеры — даже не знаю, почему. И в них застыли разные твари, в причудливых позах, и прорублены туннели…

— Говорят, что молодым быть легко, а ведь нас все время пытаются этак незаметно впрессовать в форму: джентльмена, или строителя империи, или еще кого-нибудь. Я не хочу иметь ничего общего с империей. Не хочу никем править или командовать.

— А что ты хочешь? — спросил на сей раз Том.

Джулиан ответил:

— Теперь, когда я видел все это — все эти замечательные вещи, сделанные людьми, — я, наверное, хочу того же, что выбрал для меня отец. Это очень банально и не принято, наверное, — соглашаться с собственным отцом. Нам полагается… мужественно бунтовать. Я не против стать коллекционером или торговцем красивыми вещами. И еще, конечно, я хочу кого-нибудь любить. И чтобы меня любили.

Он взглянул в лицо Тому, который, опершись рукой о подбородок, смотрел невидящими глазами в сторону зазывных дамочек на фасаде павильона Бинга. Не напускная ли эта его невинность, спросил себя Джулиан. И решил, что нет.

Он подумал, что никогда еще не встречал такой девственности.

Карл Уэллвуд в это время знакомился с вопросами пола совершенно с другой стороны. Иоахим потащил его ко Дворцу женщин, элегантному современному зданию, вестибюль которого украшали фигуры выдающихся женщин — от византийской императрицы Феодоры до Гарриет Бичер-Стоу. В вестибюле стояла знаменитая Кассандра, анархистка Эмма Гольдман, и прощалась с группой деловитых американских туристов.

Эмма выглядела серьезной женщиной: коротко стриженные темные волосы, глубоко посаженные глаза, черный бант на вороте полосатой блузы. Она поцеловала Зюскинда и пожала руку Карлу, сказав, что любой, кому доверяет Иоахим, ей друг. Иоахим и Карл уже видели ее раньше — в этом году она выступала в Лондоне со страстной речью против войны в Южной Африке, ловко парируя выпады любителей поспорить и приводя убедительные, ясные аргументы. Здравый смысл Эммы, ее стремление к справедливости и терпимости, как и аналогичные качества Петра Кропоткина, выступавшего вместе с ней, были одной из привлекательных черт анархии в глазах Чарльза. Но он оставался сыном делового человека и не мог не понимать, что идеалисты-одиночки никого не спасут — нужна лучшая организация, да и вообще организация нужна.

Они пошли быстрым шагом к бульвару Сен-Мишель, где Зюскинд и Гольдман жили в одной и той же гостинице. Гольдман рассказала, что зарабатывает себе на хлеб, водя туристов по Выставке, а также готовя обеды на спиртовке у себя в гостинице для друзей. «Я хорошо готовлю, вот увидите, пойдемте ко мне обедать, заплатите что можете». Она сказала, что ее бесит до отчаяния

ханжество американских учителей, которых шокируют обнаженные статуи в Лувре.

— Я спрашиваю себя: а что же их не смущают женщины, предлагающие себя на каждой панели, — но не смею произнести это вслух, я должна улыбаться, улыбаться, зарабатывая себе на хлеб и рыбу. С каким удовольствием я бы поводила их по кругам в другом месте, где пожарче! Вы видели «Врата ада» Родена? Посмотрите непременно, и не раз — это шедевр. Этот человек знает, какую роль играет пол — в современном мире, в любом мире.

Она продолжала говорить о проблемах пола — остроумно, с негодованием, со своего рода социальным пылом, который был нов для Карла.

— Я спорила об этом с Кропоткиным, стоя на движущейся мостовой, и мне пришлось сказать ему, что он недооценивает силу пола, потому что уже немолод. У него хватило мужества рассмеяться и признать мою правоту.

Она тихо сказала Иоахиму, что мальтузианское общество встречается втайне.

— Я скажу, где и когда, если ты хочешь знать, но кругом полно шпиков, а у меня сейчас нет желания садиться в тюрьму за противозачаточные средства, потому что это лишь часть большой

картины, большого общего дела.

Они дошли до «Бульмиша» и гостиницы, и Эмма накормила их борщом и тушеной картошкой с мясом, приготовленными на спиртовке. Комнату заполнял дым от русских папирос и французских «Голуаз» — очертания людей расплывались, собравшиеся говорили на самых разных языках, словно случайно выбирая их, — по-французски, по-русски, по-итальянски, по-немецки, по-американски, по-голландски. Иоахим в этой компании выглядел необузданным, улыбался — ворот рубашки расстегнут, волосы взъерошены. Говоря по-английски, он казался кротким и задумчивым. По-немецки — возбудимым и резким. Собравшиеся говорили о человеке по фамилии Паницца, осужденном в Мюнхене за кощунство. Сейчас его освободили, и он оказался в Париже. Эмма Гольдман сказала, что Паницца заходил к ней — это тронуло и обрадовало ее — и пригласил поужинать с Оскаром Уайльдом.

— Мой милый Ипполит, — сказала она, кивая на своего любовника, — воззвал к моей сознательности, так как в тот вечер было назначено партсобрание. Но я бы с такой радостью повидала Уайльда.

Карл с любопытством глянул на Ипполита —

маленького, возбужденного, элегантно одетого, с перевязанными руками. Ипполит был нищим чехом, а кожу рук испортил, зарабатывая себе на жизнь чисткой ботинок. В качестве иллюстрации к тезису о свободной любви он не очень вдохновлял. Он был суетлив. Он сказал что-то про Уайльда — не то по-русски, не то по-чешски, но тон был уничижительный. Еще один из присутствующих, седовласый мужчина, представившийся «доктор такой-то», сказал, что Эмма удивляет его — такая порядочная женщина защищает Уайльда, извращенца и растлителя.

Завязался оживленный спор о правильном отношении к «инверсиям», извращениям и «разнообразию» в половой жизни. Говорили большей частью по-немецки. Карл изучал немецкий по желанию матери-немки. Он подумал: Зюскинд знает, что он понимает по-немецки, но почему-то никому не сказал об этом. Карл обнаружил в себе инстинктивное стремление к тайнам. Ему было приятно, что он ведет тайную жизнь, и в этой тайной жизни ему нравилось хранить секреты. Сейчас он слушал — из вежливости притворяясь, что ничего не понимает, с непроницаемым лицом, какое умеют делать итонцы, — яростный спор об идеях Паниццы по поводу мастурбации,

изнасилований, извращений. Мир, в который вступил Карл, одновременно манил и пугал его. Человека, живущего в Германии и вольно мыслящего, могут посадить в тюрьму за кощунство, как Паниццу, или за *lèse-majesté*, как Иоганна Моста, или запереть в дом скорби и объявить безумным. Карл зорко вглядывался сквозь клубы дыма в напряженные лица, слушал голоса — серьезные, горько-ироничные, радостные. Он был одновременно здесь и не здесь. Он всегда мог вернуться в свой респектабельный дом и закрыть за собой респектабельную дверь. Но он сказал себе, что это не игра, что он тут всерьез. С ужасами социальной несправедливости надо бороться.

Разговор перешел на будущую лекцию Эммы о торговле белыми рабынями. Теперь говорили по-английски. Эмма спросила, чем еще большинство женщин может заработать на хлеб, если не продажей своих тел. Как можно винить женщину — служанку, одиноко живущую в погребе, работницу на фабричной скамье — за то, что ей хочется немного человеческого тепла, чуть более питательной еды, а хотя бы и красивой одежды? Рабочим платят так мало, что и замужние женщины вынуждены торговать собой. Часто даже с ведома мужа. А мужчины, покупающие их ласки,

потом возвращаются домой и заражают своих жен — которых тоже купили — сифилисом. А государство, полиция и врачи наказывают не этих мужчин, о нет. Они наказывают женщин. Женщины должны взять власть над своей жизнью и своими телами.

Худая женщина в сером платье, которая все время покашливала, спросила, прибыл ли груз резиновых изделий. Верно ли, что американцы собираются продемонстрировать использование их на конгрессе?

— Надеюсь, что да, — ответила Гольдман.

Чарльз ощутил смутное возбуждение. Не совсем в нужном смысле. Потом, возвращаясь к себе в гостиницу, он внимательно разглядывал встречных женщин, стайки улыбчивых манящих девушек в хорошеньких юбках и туго натянутых корсажах, прогуливающихся элегантных дам полусвета. Он никогда не видел живой обнаженной женщины — только мраморных и бронзовых. Он примерно представлял себе выступы и отверстия, о которых ему следовало знать. Возможно, стоит купить это знание — заодно помочь какой-нибудь женщине заработать на хороший обед? — но именно потому, что Карлу приказали видеть в прогуливающихся, веселых, манящих существах

людей, ему стало трудно или даже невозможно с ними торговаться. Все это была ложь. Кроме того, как неоднократно повторила Гольдман, можно заразиться. Пьеса, за которую осудили Паниццу — «Собор любви»? — по словам Иоахима, представляла Бога-Отца, Богородицу и Иисуса как семейство небесных дегенератов, разрешивших дьяволу впустить в мир сифилис для наказания папского семейства Борджиа за разврат и оргии. В Англии Иоахим никогда так не разговаривал. Карл впервые задумался: а как сам Иоахим удовлетворяет свою половую потребность? Но не мог придумать, как бы его об этом спросить.

Карл ужинал с Кейнами, Томом, Фладдом и Филипом. Все говорили об увиденном на Выставке. Чарльз не упомянул ни об Эмме Гольдман, ни о проститутках. Кейн сказал: надо полагать, это хороший знак, что представители воюющих наций — например, немцы и китайцы — мирно сосуществуют в этом придуманном городе. Фладд, то возбужденный, то ворчливый, спросил: неужели Кейн не видел газет? Анархист выступил из толпы с револьвером и выстрелил в упор в итальянского короля. Три года назад они бросались на него с ножом и промахнулись. На этот раз они его достали. Он мертв. Чего они надеются

добиться?

— Хаоса, — ответил Кейн. — Это безумцы.

Карлу снова пришлось сохранять вежливую маску, освоенную в школе. Он только сейчас начал осознавать, в какой переплет попал с моральной точки зрения. Принадлежность к чему-то, вера в идею могла вынудить человека согласиться с чем-то таким, что со стороны выглядело смешно или чудовищно. Он пытался быть христианином, пытался заставить себя поверить в непорочное зачатие и воскресение. Анархисты привлекали его, будили воображение. Но он не мог — никак не мог — поверить, что демонстративное убийство какого-нибудь дряхлого, выжившего из ума короля действительно приближает царство справедливости и свободы. А потом он попытался взглянуть на дело глазами анархистов. Он пришел к такой формулировке: они одновременно и более здравомыслящи, и более безумны, чем обычные люди. Они лучше представляют себе человеческую натуру, которая, возможно, всего лишь идея. Но они — всерьез, они настоящие, а эта гостиница — нет, это суфле — воздух на тарелке, эти женщины в вечерних туалетах за соседним столиком продаются и покупаются.

Однако суфле было вкусное — с горьким апельсином и гран-марнье. Его вкус оставался на языке, как благословение.

Филип проводил большую часть времени в одиночестве. Фладд или отказывался вылезать из постели, или мрачно сидел в гостинице, поглощая кофе с коньяком. Филипу он велел идти заниматься расширением кругозора. Филип прошел много миль, глядя на огни, переводя увиденное в идеи для горшков, но у него ничего не получалось. Тут всего было слишком много. Его собственное искусство казалось ему в сравнении жалким, провинциальным, далеким, и он почувствовал себя невеждой и деревенщиной.

Он нашел на эспланаде Инвалидов выставку керамики. Особая выставка жьенского фаянса понравилась ему своим главным экспонатом — потрясающими керамическими часами высотой более трех метров, стоящими на резном пьедестале. Филип решил, что для часов это дурацкая форма, но невероятное мастерство их создателей повергло его в священный трепет. Часы были в виде очень высокой вазы с золотой подглазурью, какой Филип никогда не видел, а из вазы — из ее плеч, так сказать, — прорастали спирали и подвески зеленых и бирюзовых листьев,

из которых, как странные плоды, выглядывали грозди сферических электрических лампочек. Надо всем этим трудолюбиво преклоняли колени три обнаженных купидона, поддерживая часы в форме голубого небесного глобуса, усаженного звездами; в его недрах скрывался механизм часов, а за ходом времени можно было наблюдать через отверстие на экваторе. Еще один купидон с крылышками присел на глобус, держа в руке факел, в котором также прятался мощный электрический фонарь.

Филип принялся рисовать часы. От Фладда он перенял нелюбовь к пухлогубым купидончикам и всему, что тот называл финтифлюшками. Филип решил, что, может быть, это чудовищное видение поможет вытащить Фладда из кровати. Из-за стенда вышел молодой человек, примерно одних лет с Филипом, в рабочем комбинезоне, и попросил разрешения посмотреть на рисунок. Юноша что-то сказал по-французски — Филип не понял ни слова, но тон был дружелюбный, с оттенком восхищения. Филип сказал по-английски, что не говорит по-французски. Он положил альбом и карандаш и жестами показал, что он горшечник, двигая пальцами внутри воображаемого цилиндра воображаемой глины на воображаемом

гончарном круге. Француз рассмеялся и изобразил, что рисует тонкие цветочки тонкой кистью на близко расположенной поверхности. Филип показал на себя и произнес: «Филип Уоррен».

— Филипп Дюваль, — ответил француз. — *Venez voir ce que nous avons fait.*[45]

Он показал Филипу вазы из мягкого фарфора с медной глазурью фламбе и вазы в форме веретена или колонны — расписанный бисквит, одна с пионами, одна с увуляриями. Филип делал пометки и срисовал увулярию к себе в альбом. Эти мастера совершенно по-новому пользовались металлическими глазурями, создавая подобия шанжанового шелка, парчи — Филип жестами выразил свое восхищение, а Филипп ответил по-французски, что это чудовищно трудно, и Филип понял. Ему показали также очень хорошие попытки воспроизвести тайный китайский красный цвет. «Китайский», — сказал Филип. *«Oui, chinois»*, — ответил Филипп. И золотой и серебряный кракелированный фарфор. Какое это все нарядное, подумал Филип.

А потом Филипп вытащил откуда-то совершенно другие вещи, ранние, знаменитые жьенские

---

[45] Примечания: 45
Пойдем посмотрим наши изделия *(фр.).*

имитации итальянских майолик эпохи Возрождения, и Филип влюбился. Ему безумно понравились эти цвета: песочно-золотой желтый, индиговый синий, шалфейно-зеленый, сияющий на черном фоне или деликатный на белом. Его влекли к себе разные твари, переплетенные, карабкающиеся, кривляющиеся на поверхностях сосудов, — рогатые Паны с высокими острыми ушами и острыми бородками, с косматыми бедрами, плавно переходящими в стилизованные листья — синие, золотые, зеленые. Филипу нравились стилизованные, закрученные спиралью ветви с золотыми яблоками, тонкие нити, усики, трубы. Здесь были гибкие золотые юноши с озорными ухмылками и синие драконы с рыбьехвостыми детьми — не жирными путти, а смеющимися желто-золотыми мальчиками, — и фавны, и дельфины, все нарисованные стремительно, все яркие, сверкающие. Они напомнили Филипу ворох его рисунков с Глостерского канделябра, с человечками, мартышками, драконами, и у него забрезжили идеи новых, своих собственных узоров, с сочетанием того и другого, ибо на ветвях вечного древа хватит места всем. Он попросил у Филиппа времени, чтобы скопировать один-два рисунка. «Арабески», — сказал Филипп.

Он нарисовал для Филипа другие часы, украшенные подобными созданиями, и показал ему очень интересный узор — волну в виде греческого меандра из усов дикой земляники.

Они выпили кофе в маленьком кафе, общаясь рисунками. Рисовали по очереди: Филип воспроизвел узоры своих изразцов из Данджженесса, камнеломку и фенхель, а Филипп нарисовал еще несколько фантастических тварей, ваз с ручками-драконами и гарпий, переплетенных с ветвями. Филип изобразил Фладдовых головастиков, но не мог придумать, как бы объяснить Фладда. Наконец он нарисовал мастера-горшечника за гончарным кругом и подмастерье с метлой. Он жестами объяснил, что подмастерье — это он, а потом, усиленно показывая вдаль, изобразил, что пойдет за Фладдом — он притворился, что храпит, — и приведет его на выставку керамики. У Филиппа были черные волосы и очень четко очерченное лицо с острым подбородком.

— Я вернусь, — сказал Филип.

— *Au revoir, donc,* — отозвался Филипп.

23

Том сидел в мрачноватом интерьере библиотеки Британского павильона. Был конец дня, и публику сюда уже не пускали. Но для гостей особого хранителя драгоценных металлов Музея Виктории и Альберта делали исключение. Среди книг в кожаных переплетах и блестящих гобеленов, изображающих поиски Грааля, Том легко мог вообразить, что перенесся в XVII век. Прямо перед ним висела картина Берн-Джонса, изображающая сон Ланселота в часовне Грааля. Унылую прогалину в лесу заливал лунный свет. Бледно-золотистые лунные лучи сияли на крупе стреноженной лошади, на лицах спящего рыцаря и наблюдающего за ним ангела. Рыцарь полулежал, элегантно скрестив ноги в кольчужных штанах, словно мраморная фигура на крышке саркофага. На юном благородном лице читался не покой, но предельная усталость. Щит рыцарь прислонил к скрюченному безлистому кусту; луна сияла на длинном мече и шлеме, которые лежали на земле у ног рыцаря. На встревоженном белом личике ангела был написан ужас. У подножия стены часовни рос терновник. Эта

картина глубоко тронула Тома. Ему захотелось домой. Он вытащил из сумки для книг последнюю серию приключений Тома-под-землей и написал письмо.

Дорогая мама!

Спасибо, что прислала сцену освобождения Сильфа. Мне кажется, это одно из твоих лучших творении — очень волнующая и пугающая сцена. Я надеюсь, что Сильф теперь будет часто появляться в рассказе. Думаю, ты права насчет имени. Сильф гораздо лучше, чем сильфида, и не вызывает никаких ассоциации с феечками в розовых юбочках.

Я замечательно провожу время и вижу много удивительных вещей — забавных, полезных, а иногда еще и красивых. Я поднялся на Эйфелеву башню, прокатился на большом колесе обозрения, рискнул спуститься в подземную железную дорогу («Метро»), у которой ворота как вход в страну фей. Здесь все движется электричеством — все жужжит и вибрирует — и повсюду целые леса электрических ламп, они сверкают и мерцают. Я не знаю, на

что это больше похоже: на «Базар житейской суеты», Камелот или, как мне иногда кажется, на пандемониум. Я не очень умею жить в таком шуме, честное слово, и я часто вспоминаю прогулки по холмам в тишине, ранним утром, когда восходит солнце и на траве лежит роса. Мне правда очень хочется, чтобы ты была здесь. Ты бы гораздо больше могла сделать из всего этого чародейства и искусства, чем я. Это как та твоя сказка — про дворец внутри дворца внутри дворца. Ты почти из чего угодно можешь сотворить сказку.

Джулиан ко мне очень хорошо относится, и я надеюсь, что мы с ним подружились. Но он такой опытный и такой… я не могу подобрать слова… скептик? Не совсем… ты поймешь, о чем я… мне всегда не по себе с ним, и я не смею говорить то, что думаю, — боюсь, что он сочтет мои мысли глупыми. Майор Кейн к нам ужасно добр и объясняет нам все про произведения искусства. Тебе понравились бы здешние украшения. Мистер Фладд несколько загадочен — он, кажется, почти все время проводит в постели — надо полагать, Филип за ним присматривает. Мы надеемся попасть на выступление какой-то танцовщицы по имени Лои Фуллер. Здесь столько разной пищи для твоего воображения. Что до меня, кое-что мне действительно нравится: например, движущаяся мостовая, шербет в стаканчиках, русская диорама. Но иногда — кажется, почти всегда — мне гораздо больше хочется домой, чтобы сидеть в саду со стаканом лимонада и читать про Сильфа.

Проспер Кейн пришел в недорогой отель, где жили Бенедикт Фладд и Филип. Кейн обнаружил там Филипа, который сказал, что Фладд еще в постели и велел не беспокоить. Кейн сказал, что придется побеспокоить, причем немедленно. Фладд должен посетить выставку Лалика, а затем пообедать с Зигфридом Бингом в Pavillon Bleu,[46] и ему это прекрасно известно. Филип сухо ответил, что не осмелится потревожить Фладда.

— Зато я осмелюсь, — сказал майор Кейн. Он оглядел Филипа. — Как тебе Выставка?

Филип подробно рассказал о своем визите на выставку керамики и вытащил альбом, чтобы показать майору Кейну чудовищные часы.

— А что-нибудь, кроме горшков, ты видел?

— Я пока осматриваюсь, сэр. На жьенской выставке я завел себе друга, он француз. Не говорит по-английски. Он расписчик.

— Тебе нужно веселиться и расширять кругозор. Ты видел ювелирные изделия? А павильон Бинга?

— Нет.

— Бенедикт должен бы показывать тебе разные

---

[46] Примечания: 46
Синий павильон *(фр.)*.

вещи. Я хотел познакомить кое-кого из здешних деловых людей с твоими работами. Ты можешь прийти и нарисовать для них что-нибудь. Если Фладд будет не в форме, ты мне понадобишься.

Бенедикт Фладд лежал под простыней, испещренной винными пятнами. Голову он накрыл длинной цилиндрической подушкой со змеиным узором.

— Пошел вон, — сказал он Кейну.

— Не пойду. Ты прекрасно знаешь, что сегодня обедаешь с Бингом. Вставай. Ты должен это сделать, хотя бы ради Филипа Уоррена, показать им его работу. И ради себя. Бинга интересует твой озерный кувшин. Очень интересует. Вставай. В армии знают весьма неприятные способы поднимать людей с постели. Вставай и иди умывайся. Ужасный человек.

Так и получилось, что все собрались у павильона Лалика. Он тоже имел вид воображаемого жилища, увешанного складчатыми тюлевыми занавесями. Сверкающие белые муаровые летучие мыши пикировали в высокие арочные окна. Здесь была еще ширма тонкой работы — на ней красовались пять обнаженных бронзовых женщин, прекрасных и зловещих, с висящими по бокам огромными скелетными крыльями,

похожими на мотыльковые, с бронзовыми прожилками. Самым заметным экспонатом было большое украшение в форме бирюзового бюста женщины, выходящего изо рта длинной-длинной стрекозы, чье золотое тело покрывали равномерно разбросанные сверкающие голубые и зеленые драгоценные камни. Тело стрекозы постепенно сужалось, заканчиваясь раздвоенным позолоченным хвостиком. Голову женщины венчало украшение — не то шлем, не то расколотый скарабей, не то глаза насекомого в метаморфозе. С плеч женщины свисало нечто — оно было и негнущимися широкими рукавами, и реалистичными крыльями стрекозы, сделанными по новой технологии из прозрачной эмали без подложки, с золотыми прожилками. Крылья были усажены круглыми медальонами из бирюзы и кристаллов. У существа были огромные драконьи когти, они торчали из золотых мускулистых рук по обе стороны женской головы. Вокруг располагались другие ювелирные изделия, поменьше, в виде цветов и насекомых. Филип спросил Фладда, знает ли тот, как делается прозрачная эмаль. «Смотрите», — сказал он Фладду и показал на брошь в виде двух совершенно реалистичных жуков-оленей, сцепленных рогами; художник

потрясающе точно воспроизвел текстуру ороговелых надкрылий.

— Хм, — сказал Фладд. — Еще один французский волшебник, копирующий природу, надо полагать. Вроде Палисси.

Фладд постепенно оживал. Он достал лупу и принялся разглядывать крохотные турмалиновые каменные яйца, которыми были усажены тела жуков, и кроваво-красный камень, в который они вцепились лапками.

Джулиан сказал Тому, что другая брошь в виде сердечка, образованного телами двух стрекоз, воспроизводит точную картину спаривания. Действительно, отозвался Том с интересом натуралиста.

— А я хотела тебя удивить! — воскликнула, подплывая к ним, Олив Уэллвуд. На ней была сливочного цвета шляпа с гроздьями бабочек и шелковых пчел. — Ну удивись же, милый. Ты написал такое чудное письмо, что я не устояла…

При ней был Хамфри, небрежно-элегантный, и Август Штейнинг в галстуке с узором мотыльково-серого и павлинье-синего цветов.

Последовали восклицания и поцелуи. Олив была прекрасна и восторженна, лицо ее лихорадочно раскраснелось. Она держала шелковый

солнечный зонтик цвета розы, который на солнце придавал и ее лицу цвет темной розы на светло-розовом фоне. Тома охватило знакомое чувство — знакомое, но всегда возникающее неожиданно. Не эта Олив во плоти, благоухающая розовым маслом, делила с ним тайное знание о подземном мире, и не ей он писал письма. Та была чем-то вроде его второго «я», она писала ему и обитала в его снах. Эта была живой, общительной женщиной в кремовом костюме, расшитом английской гладью, и над ее рукой галантно склонялся Проспер Кейн.

— Как приятно вас видеть, милая миссис Уэллвуд. И такое подходящее для вас окружение — среди павлинов и стрекоз. Я и не знал, что вы собираетесь на Выставку.

— Я сама не знала. Это было внезапное решение, подготовленное письмом Тома… нет, я говорю глупости, внезапное решение не может быть подготовленным… он в своем письме так описывал все здешние прелести и красоты, что я не выдержала. Мы обнаружили, что Август Штейнинг собирается сюда ехать, и пристали к нему. Расскажите же нам все, вы должны показать нам все самое красивое…

Она переигрывает, думал Том. Он, конечно,

не мог знать, что Олив приехала из-за Герберта Метли, настойчиво и даже грубо принуждавшего ее к некоему сексуальному действию, отвратительному для нее. Она краснела, как огонь. Слезы катились из глаз. Она не знала: то ли Метли чудовищный извращенец, то ли сама она — в чем обвинил ее Метли — неискушенная и холодная оттого, что не понимает, не реагирует. Запах Метли вдруг стал ей ненавистен. Она вырвалась из его объятий, из купленной на час постели, и в голове билась только одна мысль: «Нужно убраться подальше». И она так рада была видеть Проспера Кейна, обожающего ее старомодно и галантно. И Тома, конечно, — она рада была видеть и Тома, ведь Том любил ее как никто другой.

Проспер Кейн закупал украшения. Он любил покупать разную ювелирную мелочь. Сейчас он искал идеальный подарок для Флоренции. Он купил ей один роговой гребень от Лалика, с вырезанными на нем семенами клена, и колебался, глядя на необычную брошь с анемоном — на прекрасном цветке остался единственный лепесток из розовой эмали. Цветок прорастал меж сплетенными корнями из слоновой кости, из-за которых выглядывали странные существа. Но, может быть, не стоит дарить юной девушке

образы увядания и распада, как бы ни были они прекрасны? Он нашел эмалированный мак в технике *pliqué-à-jour* — «словно крови прозрачный пузырик», как сказал Роберт Браунинг о диких тюльпанах — и купил его, чтобы приколоть на темные волосы дочери. Потом стал разглядывать другое украшение, не столь яркое — в нем прозрачные эмалированные семена лунника сочетались с роскошным чертополохом из эмали на серебре и матового стекла. Олив в это время трогала драгоценные камни пальцем затянутой в перчатку руки, подносила к запястью змейку-браслет, чтоб полюбоваться, и вдруг подумала: не предназначено ли второе украшение для нее самой. Оно блестело мягким, словно волшебным, светом. Кейн посмотрел, как украшение заворачивают, и положил его в карман вместе с маком. Он решил, что подарит его Имогене Фладд, если ее это не слишком смутит. Она в последнее время заинтересовалась ювелирным делом — мелкий масштаб, точность этого ремесла, его трудность и тонкость соответствовали ее характеру. Но Лондон кишит дамами, которые делают эмалевые брошки и нанизывают бусы. Если Имогена хочет зарабатывать себе на жизнь ювелирным делом, ей придется достичь подлинного мастерства.

Они пошли в Большой дворец всей толпой, и это была ошибка. На деценнале — показе работ художников из всех стран — участников Выставки за последние десять лет уходящего века — были тысячи полотен. Август Штейнинг без обиняков предложил разойтись до обеда, чтобы каждый шел в удобном для него темпе и смотрел то, что ему интересно, а в обед — собраться возле полотна Жана Вебера «Марионетки», на то есть важная причина. Они разошлись по двое и по трое — Штейнинг, Кейн и Олив, Том и Джулиан, Чарльз и Зюскинд, Фладд и Филип. На Филипа давили эти картины — в большинстве своем огромные, тяжелые, полные настойчивого мрачного смысла. Филипа приводили в ужас обширные полотна, где громоздились кучи голых мертвых и умирающих людей, обвитых змеями, а за всем этим наблюдали крохотные крылатые ангелы. На одной картине под названием «К пропасти» женщина в современной одежде, с огромными крылами летучей мыши и в раздуваемом ветром чепце шагала против ветра, а за ней ползла толпа голых людей — престарелых и бородатых мужчин, женщин с пронзительным застывшим взглядом; все они были при последнем издыхании, а некоторые уже испустили дух. Филип

робко спросил у Фладда, что все это значит.

— Понятия не имею, — ответил Фладд. — Может быть, она символизирует Женщину, но вид у нее неприятный, она больше похожа на безумную гувернантку. А может быть, это Капитализм, но она выглядит как голодный и несчастный вампир. А может, она олицетворяет Церковь. Или Сифилис. Это что-то очень французское. По мне, горшки гораздо лучше. На них незачем навешивать какой-то смысл. Они честны — в них нет ничего, кроме глины и химии.

Джулиан, уже страстный поклонник ар-нуво и сецессиона, потащил Тома глядеть на картины Климта, чья восхитительная «Женщина в розовом» светилась бледным светом, а масштабно замысленное аллегорическое полотно «Философия» сверкало элегантностью. Зюскинд и Чарльз застыли у картины Рошгросса «Гонка к счастью» — безумный террикон людей во фраках, вечерних платьях, рабочих полосатых свитерах, они карабкались друг на друга, лезли по головам, так что руки — в черных рукавах, в шелковых перчатках — отчаянно вздымались в ночное небо, как столбы для сожжения еретиков, а за ними возвышались фабричные трубы. Зюскинд сказал, что это очень впечатляющий образ капитализма.

Потом подумал и добавил, что, возможно, очень дорогая картина, на которую уходят годы труда, — не самый лучший инструмент в борьбе за построение справедливого общества.

На картине «Марионетки», возле которой они назначили встречу, тоже царила обнаженная женская плоть. На полотне была изображена, видимо, мансарда художника с длинным диваном в углу под скошенным потолком. Свет из шести стеклянных квадратиков окна падал на обнаженное тело женщины, простертое наискосок и занимающее большую часть полотна. Голова ее лежала под неудобным углом. Кисти разведенных в стороны, согнутых рук были сжаты в кулаки. Волосы у женщины были темные, глаза она закрыла, лицо было то ли надутое, то ли злое. Меж расставленными ногами открывалась небольшая щелка, лишенная волос. Одна нога неловко опиралась на вышитую подушку, лежащую на полу, а другая так же неловко прижималась к вышитой обивке дивана. Казалось, что женщине ужасно неудобно; в то же время ее тело выглядело совершенно инертным, плоть напоминала замазку. Позади женщины сидел красивый бородатый мужчина, сосредоточенно глядевший на куклу или марионетку тонкой

работы. Мужчина обхватил куклу за талию пальцами обеих рук, и казалось, что он с ней беседует. Остальную площадь картины заполняли куклы, марионетки, сияющие на темном фоне: яванская фигура из театра теней, византийская царица, крохотная, прямая и величественная; на переднем плане висела в воздухе длинноволосая Рапунцель с огромными задумчивыми глазами. Бесполая суставчатая кукла лежала лицом вниз, под углом к коленям обнаженной женщины. У мужчины через колено была перекинута другая кукла, вроде Полишинеля. Странная безжизненность неодушевленной ткани, из которой был сделан Полишинель, отличалась от безжизненности женского тела.

Когда пришел Август Штейнинг, все поняли, почему он назначил встречу именно у этой картины. С ним был марионеточник из Мюнхена, выступавший когда-то на празднике Летней ночи. Ансельм Штерн был в строгой одежде: черном сюртуке и широкополой черной шляпе. С ними был еще юноша, которого представили как Вольфганга — худой и жилистый, в берете и голубом галстуке, явно сын Ансельма. Оба были невысокого роста, у обоих были большие темные глаза, острые носы и резко очерченные рты. Хам-

фри попросил Штейнинга и Штерна объяснить значение картины.

— Мы так и не пришли к согласию. Она живая или мертвая? Он игнорирует ее тело ради своего искусства? А если так, то следует ли его за это порицать или восхищаться им? Смог бы он оживить эту женщину, если бы уделял ей столько внимания, сколько уделяет хорошенькой кукле? Женщине, похоже, чертовски неудобно — кажется, что она вот-вот свалится на пол.

Штейнинг засмеялся.

— Эта картина — о границах между реальностью и фантазией. Воображаемое гораздо живее реального — намного живее? — но, чтобы фигуры ожили, нужен художник.

Олив сказала:

— Очень жаль, что так мало женщин-художниц рисует аллегорические картины о фантазии. Эта женщина похожа на чулок, набитый глиной.

Все посмотрели на Штерна.

— То, что человек отдает своему искусству, — сказал он по-английски, слегка запинаясь, — он отбирает у жизни, это так. И отдает ее фигурам. Это его собственная энергия, но также и кинетическая. Кто для меня более реален — фигуры в коробочке у меня в голове или фигуры людей

на улицах?

— Этого художника можно считать вампиром, — провокационно заявил Штейнинг. — Он высосал жизнь из бедной девушки и теперь вливает ее в деревянные руки-ноги и раскрашенные лица.

— У него хорошее лицо, — сказал Штерн, слегка улыбаясь.

Филип потянул Фладда за рукав и шепнул ему, что свисающий, как тряпка, Полишинель зеркально повторяет позу безжизненно лежащей женщины.

— В общем, смысл этой картины таков, — сказал Штерн, — искусство живее жизни, но не всегда за это расплачивается художник.

Не сразу выяснилось, говорит ли Вольфганг Штерн по-английски. Иоахим шепнул Чарльзу, что Ансельм Штерн — важная фигура в культурной жизни Мюнхена, а также — что он сочувствует анархистам и идеалистам.

— Он не какой-нибудь Панч и Джуди — он обедает с фон Штуком и Ленбахом… его работы обсуждают в «Югенде» и «Симплициссимусе». Это я знаю. Его сына я не знаю.

Филип не вписывался в группу молодых людей.

Он часто оказывался один. Вольфганг Штерн обнаружил его на скамье, где тот рисовал, и присел рядом.

— Вы позволить? — спросил он.

Филип кивнул.

— Я могу посмотреть? Я только мало говорю английский, я читаю лучше.

— У меня вышел долгий разговор с одним французом — в картинках, — ответил Филип, перелистывая страницы обратно к своему диалогу с Филиппом: наброски, жьенский фаянс и гротескные фигурки с майоликовых ваз и блюд.

— Вы есть художник?

Филип привычным жестом показал, как держит руки внутри вертящегося глиняного цилиндра. Вольфганг засмеялся. Филип спросил:

— А вы?

— Я надеюсь быть художник театр. Кабаре, новые пьесы, также *Puppen,*[47] как мой отец. Мюнхен хорош для художник, также опасен.

— Опасен?

— У нас плохие… плохие… законы. Люди идут в тюрьму. Нельзя говорить что думаешь. Можно посмотреть ваши работы?

---

[47] Примечания: 47
Марионетки *(нем.).*

Филип трудился над совершенно новым узором из переплетенных, образующих сетку тел — полулюдей, полуживотных, полудраконов, полупризраков. Он рождал невозможные сочетания воинов и мартышек Глостерского канделябра, сатиров и русалок майолики, насекоможенщин Лалика и, более опосредованно, обнаженных женщин, которые лежали, улыбались и умирали на всех огромных картинах символистов. В рисунке, над которым он сейчас работал, смешались безжизненная марионетка и безжизненная женщина с картины Вебера; Филип слишком акцентировал груди, и пропорции получились некрасивые. Вольфганг засмеялся и потрогал грудь на картинке пальцем. Филип тоже засмеялся. Он сказал:

— Я видел в Англии марионеток вашего отца. Золушку. И другую пьесу, про женщину-автомат. «Песочный человек» или что-то вроде этого. Они оживают — и в то же время не оживают. Сверхъестественно.

— Сверхъестественно?

— Как привидения, духи или гномы. В каком-то смысле они живее нас.

Вольфганг улыбнулся. Он снова спросил:

— Я могу?

Взял у Филипа карандаш и принялся рисовать собственную решетку из тел — ухмыляющихся черных чертенят и женщин с крыльями летучих мышей.

— «Симплициссимус», — сказал он, но Филип не понял.

Они отправились в павильон Родена на площади Альма. Здесь было собрано большинство работ Родена — бронза, мрамор, алебастр. Стены были увешаны его рисунками. Над зрителями нависали горы плоти и мышц. Из грубого камня выглядывали тонкие застывшие черты женских лиц и снова прятались в камень. Энергия скульптур потрясала — они извивались, боролись, преследовали, спасались бегством, хватали, выли, сверлили пронзительным взглядом. Первым поползновением Филипа было — повернуться и бежать. Всего этого было слишком много. Все это так могуче, что уничтожит его, — как можно рисовать сеточки из человечков и лепить скромные кувшинчики перед лицом этого вихря искуснейшего творения? Но был и противоположный импульс. При виде такой красоты единственной возможной реакцией было желание самому что-то сотворить. Филип думал глазами и пальцами. Ему отчаянно нужно было провести руками по

ляжкам и губам, пальцам ног и прядям резных волос, чтобы почувствовать, как они сделаны. Он бочком попятился в сторону от Уэллвудов и Кейнов. Ему нужно было остаться наедине со статуями. Бенедикт Фладд тоже украдкой отошел. Филип последовал за ним. Фладд остановился перед статуей женщины, сидящей на корточках — она держалась за щиколотку и за грудь, выставляя любовно отделанное скульптором отверстие между ног. «Прямо-таки просит, чтобы ее потрогали», — сказал Фладд, отвечая невысказанным мыслям Филипа, и потрогал — провел пальцем меж половых губ, облапил грудь. Филип не последовал его примеру и огляделся, со страхом ожидая появления охраны или разгневанного автора.

Автор действительно был здесь, в павильоне, — он устроился будто в собственной студии. Он говорил с двумя мужчинами — один, высокий и очень оборванный, с длинными сальными локонами, кутался в пальто, несмотря на теплую погоду. Другой, тоже оборванный, дико, отрывисто жестикулировал. Они стояли перед призрачно-белой алебастровой копией «Врат ада», и Роден, выставив рыжую бороду, объяснял им композицию, сверкая голубыми глазами, разъясняя масштабный замысел широкими взма-

хами и тычками рук.

— Господи, — сказал Штейнинг, — это же Уайльд. Я слыхал, что он сидит в здешних кафешках, где подают чай мальчики-алжирцы. У него нет денег, и люди подчеркнуто не узнают его при встрече. Он прячется за газетой, чтобы не смущать бывших знакомых.

— Надо бы с ним поздороваться, — сказал Хамфри. — Он заплатил ужасную цену и расплатился сполна.

Ансельм Штерн сказал, что второй собеседник Родена — Оскар Паницца, «наш собственный скандально знаменитый писатель, автор непристойных пьес и сатиры… здесь, в Париже, он в ссылке. Он алиенист — безумец, изучающий безумцев».

— Анархист, — добавил Иоахим Зюскинд, — который верит, что все дозволено. Надо и с ним поздороваться.

Олив стало тепло от гордости за Хамфри, когда тот вместе со Штейнингом направился к беседующим, чтобы поприветствовать великого грешника. Хамфри был великодушен. Олив любила его, когда он шел на риск. Но сама она с ним не пошла.

Всеобъемлющая сексуальность работ Родена

захватила и Олив. Она сумела спрессовать память тела о неприятной истории с Метли, запихать ее во что-то вроде сжатого кружка коричневатой плоти, от которого можно было увернуться, если он поднимался на поверхность сознания, — ох, вот опять, ну-ка отвернись, — но вещи наподобие «Женщины, присевшей на корточки» воскрешали его в памяти, словно отогревая замерзшую змею. Данаида была прекрасна. Белая, сверкающая, она в отчаянии выгнула спину, пряча лицо в камне. Мраморные волосы стекали по голове застывшими белыми волнами. Она обитала в подземном мире — ее вместе с пятьюдесятью сестрами осудили за убийство мужа и приговорили вечно таскать воду в решете: символ вечных, тщетных усилий. Но она была настолько прекрасна, что дух захватывало. Олив робко тронула ее ухо одним пальцем затянутой в перчатку руки. Том сосредоточился на ее красоте. Он не желал иметь ничего общего с Уайльдом.

Джулиан не прочь был бы познакомиться с Уайльдом, хотя Уайльд как идея ему не нравился. Он стоял в нескольких шагах от Штейнинга и Хамфри Уэллвуда, пока они пожимали изгою руку. Они пожали руку и Родену, и Джулиан им позавидовал. Уайльд выглядел ужасно. Кожу

покрывали ярко-красные пятна, которые он безуспешно пытался замазать какой-то пудрой, кремом или и тем, и другим. Меж мясистыми губами зияла черная дыра там, где выпали передние зубы и не были заменены мостом. Уайльд был очень тронут тем, что Штейнинг его узнал: «вам еще предстоит свершить великие дела на сцене, а мне осталось лишь шелестеть, подобно сухим листьям на ветру». Он представил Паниццу — «мой собрат по несчастью, *poute maudit*,[48] которого не удивишь ни одной человеческой повадкой, ибо он изучил их все…». Когда Роден и Паницца отошли, Уайльд приблизился к Хамфри вплотную и задышал ему в ухо, что будет чрезвычайно благодарен, если Хамфри на время одолжит ему денег — ибо средства самого Уайльда сильно сократились и доходят до него нерегулярно.

— От него ужасно разило, — рассказывал потом Хамфри жене. — Я отдал ему все, что у меня было в карманах, потому что от него так ужасно пахло, и я ощутил себя виноватым в этой вони. Так он и стоял, зловонный, перед «Вратами ада». Он поплелся прочь… ему было очень стыдно, что я дал ему денег… он бормотал, что пойдет выпьет

[48] Примечания: 48
Проклятый поэт *(фр.).*

мятного чаю. Его рот сам по себе как врата ада.

Они осмотрели «Врата ада». Каждый увидел свое. «Врата» были призраком того, что ждало их в будущем. Многие великие фигуры прекрасных и проклятых людей еще не были укреплены на двух белых плитах, которые выглядели почти абстракцией — с таинственными завихрениями и грубыми спиралями из алебастра. Но вздымающиеся колонны каркаса и вдавленное пространство тимпана кишели человеческими фигурами, сплетенными друг с другом разнообразными — хищными, похотливыми и отвратительными — способами. Джулиан знал Данте, которого читал в память о покойной матери. Он стал искать круги ада, но не нашел и затерялся в водовороте фигур. Тома удивило, что в аду столько мертвых младенцев. Олив мрачно дивилась отвратительной фигуре старухи, очень древней старухи, которая не то поднималась, не то падала вдоль левой колонны; падшая плоть была любовно и безжалостно показана в мельчайших деталях — пустые, плоские груди, иссохшие бедра, висящий мешок живота. Мертвый ребенок попирал ногами голову старухи, другой прижимался лицом к ее животу. Олив стояла в бледно-розовом платье, в шляпе с розами, сжимая ручку хорошенького

зонтика цвета розового румянца. Она злилась на скульптора за то, что он наблюдает увядание плоти с такой неразличающей радостью — Олив решила, что это не любовь и не ненависть, но удовольствие от любого рода власти. И Олив ощутила эту власть над собой, но продолжала стоять, розовая и чарующая. Она, как и Чарльз-Карл, видела мидинеток и публичных женщин и сказала себе с реализмом северянки: «Кабы не милость Божия, и то, что мне повезло с лицом и фигурой, и великодушие и эксцентричность Хамфри, так шла бы и я».[49] Она заметила, что скульптор косится на нее. Раздевает глазами? Что он видит, этот человек, умеющий изваять греховную страсть, стыд, бесстыдство и ненасытность женщины? Она скромно опустила глаза в тени полей шляпы, крутанула задом под юбкой и двинулась к Просперу Кейну.

Филипу «Врата» были невыносимы. Еще более невыносимы, чем «Женщина на корточках», потому что они, как и то, что заполняло его мысли, были узором сплетенных человеческих тел. Филип не мог ни выделить, ни анализировать

[49] Примечания: 49

Парафраз слов английского протестанта, мученика Джона Брэдфорда (1510–1555), сказанных при виде преступника, ведомого на казнь: «Кабы не милость Божия, так шел бы и я».

этот узор, хотя тот пересиливал его, уничтожал. Филипу захотелось изорвать свой альбом для рисования, но он упрямо вытащил его и принялся рисовать один ритм, который точно уловил, — повторяющиеся круги танца на тимпане, груди и ягодицы, щеки и кудри, сплетенные с ухмыляющимися черепами и гротесками. «Он думает пальцами, касаясь, — понял Филип. — Не успевает он закончить одну форму, как она подает ему идею для другой. Интересно, бывает ли так, что он теряется и не находит очередной формы? Наверное, нет — он, наоборот, боится, что никогда не вывалит из себя все теснящееся внутри».

Рисование его успокоило. Он присел на корточки у края плиты и придумал систему обозначений, чтобы все быстро срисовать. Скорее всего, они потащат его есть французскую еду, и он не успеет увидеть…

На альбом упала тень. Филип поднял взгляд. На него сверху вниз смотрел Роден, вглядываясь в рисунок. Филип прижал альбом к груди.

— *Je peux? Ne vous inquiétez-pas, c'est bon,*[50] — сказал скульптор.

Лицо у Филипа было красное и потное. К ним

---

[50] Примечания: 50
Можно? Не волнуйтесь, все в порядке *(фр.)*.

подошел Бенедикт Фладд. Роден перевернул лист.

— *Ah bon, c'est intéressant. Un potier comme Palissy.*[51]

Филип разобрал слово «Палисси». Он посмотрел на Фладда, а потом автоматически протянул руки к скульптору и изобразил жестом глину на гончарном круге. Фладд густо расхохотался, повторил жест и произнес:

— Бенедикт Фладд, *potier, élève de Palissy, épouvanté par Auguste Rodin. Anglais.*[52] Филип Уоррен, *mon apprenti. Qui travaille bien, comme vous voyez, je pense.*[53]

Роден сказал, что знает работы Фладда. Он постучал пальцем, в который въелась глина, по человечкам — гибридам жьенской майолики и Глостерского канделябра — и назвал их интересными. «Погодите», — произнес он, открыл шкаф и достал большую зеленоватую селадоновую вазу с изогнутой женской фигурой, вырезанной на

---

[51] Примечания: 51

О, это интересно. Гончар, как Палисси *(фр.).*

[52] Примечания: 52

…гончар, ученик Палисси, ошеломленный Огюстом Роденом. Англичанин *(фр.).*

[53] Примечания: 53

…мой подмастерье. Он хорошо работает, как, я полагаю, вы видите *(фр.).*

глазури. Он сказал, что делает эти вазы сам на севрской фарфоровой мануфактуре.

— Во всех формах глины есть чему поучиться, — сказал он. И обратился к Фладду: — Я знаю ваши работы. Вы мастер.

Фладд провел пальцами по фарфору, как раньше — по телу «Женщины, сидящей на корточках». Он был в хорошем настроении — бодр и благодушен.

На движущейся мостовой он начал разглядывать женщин и комментировать, вполголоса обращаясь к Филипу, их формы и настроение. Он спросил, весело ли Филипу:

— О, смотри, какая бабенка, губки надула, вон стоит, в блестящей шляпке… Ну что скажешь, расширяешь ты свой кругозор?

— Тут всего слишком много. Слишком много, слишком хорошее, слишком новое, и все сразу.

— И слишком возбуждает, надо полагать… столько плоти едет мимо по мостовой.

— Едет, плывет, стоит, — со вздохом ответил Филип, — слишком много.

— Видно, мне следует выполнить свой долг и присмотреть за твоим образованием, — сказал Фладд. — Пойдем кое-куда сегодня вечером. Вдвоем.

Бенедикт Фладд — точнее, Проспер Кейн от его лица — продал очень большую темно-синюю вазу с дымкой бледно-золотых драконов Зигфриду (он же по временам Самуил) Бингу. Теперь у Фладда в кармане лежали французские деньги. Он вел Филипа по улицам — то темным, то ослепительно-ярко освещенным, то молчаливым, то звенящим пронзительными голосами — и наконец привел на узкую улочку с высокими домами, где из окон верхних этажей, из-за ставень, падали иглы света. Фладд повелительно постучал в один дом, и через некоторое время дверь открыла аккуратная горничная в темном платье. Фладд сказал по-французски, что мадам Марешаль его ждет. Он представил Филипа как своего ученика — это слово лишь недавно появилось в их отношениях, и Филип опознал его во французской речи.

Они поднялись наверх по узкой лестнице, устланной ковром, и вошли в залу, освещенную огромным количеством крохотных ярких огоньков под абажурами матового стекла — винно-красного, клубнично-розового, топазово-желтого. Там царили женщины различной степени одетости и раздетости. У одних волосы были уложены в затейливые прически, у других распущены, словно у юных девушек. На женщинах были

двусмысленные одежды, что-то среднее между пеньюаром и домашним халатом: полы расходились, обнажая пружинящую грудь, а иногда и нечто большее. Здесь царила какофония запахов — фиалковый корень, с которым Филип столкнулся впервые и нашел неприятным; розовое масло, вино, сигаретный дым на общем фоне запахов человеческого тела. Филип силился сквозь клубы дыма разглядеть лица: усталые и хохочущие, зрелые и очень молодые. Хозяйка дома, одетая полностью и по последней моде, поспешила навстречу Фладду. Принесли шампанское, и Филип, осторожно присев на диван лицом к настороженно-зорким наблюдательницам, впервые в жизни отведал этот напиток. Шампанское немного успокоило Филипа. Он был возбужден и боялся. Принесли еще шампанского. Филипа разглядывали и обсуждали на непонятном ему французском языке. Бенедикт Фладд сидел в кресле, украшенном капустными розами, и держал на коленях молодую женщину, девушку, с распущенными волосами, одетую в невинное белое платьице и босую; насколько Филип мог судить, под платьем у нее ничего не было. Женщины, которые разглядывали Филипа, были старше и увереннее. Они улыбались — деловито, но вполне

дружелюбно.

— Выбирай, — сказал Бенедикт Фладд. — Они тебя кой-чему научат. Они хорошие девушки. Я их знаю.

Филип не поверил, что Фладд знает их так уж хорошо — в конце концов, он проводит свои дни на английских болотистых равнинах и у печи для обжига. Филипа вдруг обуяла тоска по ромнейским просторам, по болотной траве. Он был по горло сыт избытком тел, увиденным за последние дни, и сам не знал, перевозбужден он или пресыщен. Он вспомнил «Женщину, сидящую на корточках», и в нем зашевелилось первобытное желание. Он выпил еще шампанского и поглядел на женщин. У одной было костлявое лицо, как у сидящей на корточках статуи Родена, и большой, резко очерченный рот. Она была одета в крепдешиновый халатик с сеточкой серебристых морщинок поверх псевдояпонских цветов. Этот узор напомнил Филипу хитрые кракелюры на жьенских сосудах: он ими восхитился, но они ему не понравились. Филип не знал, как «выбирают» женщину, поэтому спросил ее по-английски, как ее зовут.

— Роза, — ответила она, — меня зовут Роза.

Она повела его наверх, в комнатку с просторной

кроватью, огромным зеркалом и также затененными светильниками. Филипу было любопытно и страшно. Он знал об опасности заразиться. Может быть, это его смерть. Странным образом он чувствовал, что отказаться нельзя — этого ждет Фладд, это испытание его как мужчины, ему надо узнать, что к чему. Она раздела его и села рядом на кровати, выдыхая табачный запах. Кожа лица была густо заштукатурена — не дышала. Филип подумал, что лицо у женщины доброе. Она принялась учить его названиям частей тела на своем языке — подливала ему шампанского, смачивала его пальцы, подбородок, глаза, называя их по-французски и слизывая шампанское. Грудь, пупок, член, яички. Тело Филипа откликнулось на ее касания. Пальцы, которыми он думал, принялись обследовать ее тело, ощущая отличие плоти от глины, тяжесть груди, тепло и влажность там, внизу. Мелькнула мысль о холодной голой Помоне, залезающей к нему под одеяло в Пэрчейз-хаузе. Холодная и белая, как мрамор, как Данаида. У Розы были ловкие, убедительные пальцы — она тоже думала ими. Филип, быстро растущий во всех смыслах этого слова, решил, что именование частей тела — процедура, которую она выполняет со всеми иностранцами,

а потом решил, что ему все равно, так как это очень разумно и эффективно. Роза была щедра и заботлива. Он перевозбудился и кончил почти сразу, а она воскресила его и показала ему другие, более тонкие виды удовольствия, замедленные ритмы, пока наконец он не начал думать той частью своего тела, как случалось порой, когда он доставлял себе удовольствие. Филипу пришло в голову, что Роден, должно быть, часто думает этим местом. Филипу смутно представился витраж из одной церкви на Болотах, со сценой грехопадения — женщина протягивает мужчине круглое яблоко с древа познания добра и зла, а на них смотрит довольный змей с раздвоенным языком. Эта история всегда была для Филипа бессмыслицей, и он не верил ни единому слову, но, вонзаясь в покорную Розу и держа ее за грудь, он вдруг увидел все это в своем теле — круглое яблоко, жесткую извилистую змею, познание наготы, добра и зла.

— *Bon?*[54] — деловито спросила Роза.

— *Bon,* — сонно ответил Филипп, ощущая, как влага секса обволакивает его, словно ангоб — глину.

---

[54] Примечания: 54
Хорошо *(фр.).*

Август Штейнинг пригласил всех на представление Лои Фуллер в ее собственном театре; назавтра вся компания возвращалась в Англию, так что танец Лои Фуллер должен был стать финалом поездки. На Выставке изображения Лои Фуллер были повсюду — ее фигура в пируэте венчала Дворец танца, стояла над входом в ее собственный театр, окруженная парусами застывших в гипсе покрывал. Бронзовые статуэтки и фигурки Лои продавались в театре и повсюду. Филип сказал Фладду, что, наверно, можно как-то получше вылепить развевающиеся покрывала, а эти комья похожи на подтаявшее масло. Здание театра было низкое, белое, а передняя стена, которая, по замыслу создателей, должна была изображать юбку или шаль с оборчатым краем, напомнила Филипу торт, который кухарка обляпала глазурью, но еще не подровняла. Низкий навес над входной дверью напоминал зев грота или пещеры. Внутри театр украшали огромные бабочки, цветы и решетки с лаликовскими бронзовыми бабочко-женщинами.

— Вот как это надо делать, — сказал Фладд Филипу. — Прожилками и просветами.

Электрические светильники из позолоченной бронзы тоже были лаликовские. Хохочущие

чертенята собрались в чашу вокруг загадочного лица колдуньи, у которой над головой висели на тонких стебельках электрические лампочки в хрупких чашечках подснежников.

Танец Фуллер держался на двух китах — свивающихся, развевающихся, клубящихся полотнах ткани и электрическом освещении, волшебных фонарях, покрытых желатиновыми пленками разных цветов. Тело танцовщицы едва проглядывало сквозь складки ткани — прозрачные, просвечивающие и совсем непрозрачные. Она разворачивала ткань с помощью поддерживающих тростей. Зрители увидели «Полет бабочки», а затем — «Радий», сверкающую, опалесцирующую драгоценность, композицию, посвященную Пьеру и Марии Кюри. И наконец — «Пляску огня», в которой танцовщицу подсвечивали снизу интенсивно — алым прожектором. Движущиеся шелка стали потоком вулканической лавы, вздымающимся пламенем погребального костра, печью гекатомбы. Зазвенел «Полет валькирий», и женщина, окруженная вращающимся огненным коконом, подобным красной глине или освещенному кровавым светом белому мрамору, прошла с улыбкой через пламя адовой пасти, горя, но не сгорая. Все были зачарованы. Джулиан

мельком подумал: «Не вульгарно ли это?», но тут же затерялся в игре шелковых складок. Том был счастлив тем счастьем, какое возникает у людей, запертых в нереальности театральной ложи. Олив припомнила странное ощущение, когда ее-Гермиону обертывали в мраморные складки савана или свадебного наряда. Вспомнила волнистые мраморные волосы роденовской Данаиды и почувствовала единство всего: танцовщицы, статуи, стеклянистой подсвеченной поверхности Сены с переплетающимися жилами изумрудов, опалов, аметистов, оливинов, шипения и треска электричества, самого электричества, реки жизни, реки смерти — все это было одно. И Олив охватил писательский зуд, как всегда при столкновении с прекрасным или угрожающим.

По благополучном возвращении в «Жабью просеку» Хамфри сел за статью о всемирных выставках, а также об искусствах войны и мира.

Олив же написала сказку, в которой шелковые дамы и роскошные павлины, манекены, мраморные мужи и девы, марионетки, сверкающие бабочки и стрекозы, рыбы с гобеленов — все оживали по ночам и устраивали собственный базар, торговлю волшебными товарами в сумеречных

пространствах и роскошных необитаемых чертогах павильона Бинга.

24

Долгие летние дни на Болотах тянулись медленно. В отсутствие Фладда и Филипа у Элси убавилось работы, а Серафита и Помона и так обычно ничего не делали. Иногда они сидели в саду с вышивкой. Элси убирала, ходила за покупками и шила для себя. Она достигла возраста, когда каждый сантиметр кожи зудит от желания, чтобы его трогали, использовали, но ей было нечем себя занять, кроме пыльного старого дома и двух слегка сумасшедших женщин в струящихся одеждах с узором из цветов. И сама Элси одевалась в перешитые обноски, покрытые выцветшими золотыми лилиями, птицами, плодами граната. Ей хотелось носить строгую узкую темную юбку и свежую белую блузку с воротничком, чтобы подчеркнуть тонкую талию. Денег у Элси не было, и она не знала, как их попросить, ибо ей было известно, что в доме едва хватает на хлеб, молоко и овощи. Страдала Элси и из-за поношенной обуви — ни одна чужая пара не подходила ей по размеру. Элси знала, что у нее красивые ступни, но они все были в красных потертостях, пятки ободраны, суставы

пальцев — в синяках. Она предпочитала ходить в плетеных сандалиях, напоминающих корзинки — они были велики, но хотя бы не натирали. Сильнее всего, даже сильнее желаний, в которых она сама себе не признавалась, было желание иметь туфли, собственные туфли. Которые не калечат ноги. На самом деле больше всего Элси хотела нежности, хотела, чтобы чьи-нибудь руки сжимали ее талию и гладили роскошные волосы. Она пылала, но роптать или даже признаваться себе самой в этом пылании было бессмысленно. Она решительно исправляла что могла — резала портняжными ножницами ткани Морриса и компании, превращая струящиеся эстетские одеяния в юбки аккуратной формы, с вытачками и швами. В витрине магазина в Рае она видела мягкий кожаный пояс темного, винно-красного цвета, с пряжкой в виде стрелы. Элси страстно желала этот пояс, как суррогат чужих ласк, как приманку для взглядов.

Серафита ничего не говорила насчет юбок. Она смотрела в никуда — как фарфоровая кукла или садовая статуя богини, подумала Элси. В доме для нее почти не осталось секретов. Она знала, где Серафита прячет бутылки — большие коричневые с портером, синие пузырьки с опием, — среди

щеток для волос и корзинок с шерстью для вышивания. Элси не прикасалась к этим бутылкам и не перекладывала их: она даже думала, не предложить ли Серафите помощь в их приобретении, но Серафита прекрасно умела не слышать, что ей говорят, а кроме того, должно быть, уже наладила какую-то систему снабжения — непонятно, правда, когда она умудрилась для этого проснуться.

Элси знала, что должна бы жалеть Помону. Та завела привычку ходить за Элси хвостом, никогда не предлагая помощи, но без устали, мило восхищаясь достижениями Элси: какой вкусный суп, какой красивый букет, какие чистые окна — у нас солнце еще никогда не светило так ярко. И еще Помона трогала Элси. Робко гладила ее, когда та садилась за шитье, и спрашивала, довольна ли она. Говорила что-нибудь вроде: «У нас тут теперь скучно, с тех пор, как Имогена уехала», а Элси язвительно отвечала, что в доме полно работы, только успевай поворачиваться. Элси не очень сочувственно думала, что кто-нибудь должен был бы заниматься образованием Помоны, выводить ее в места, где она могла бы знакомиться с потенциальными женихами, или учить ее ремеслу. Элси хотелось бы, чтобы Помона держалась от нее подальше. Во время шитья Элси предпочита-

ла сидеть одна. Она шила сносную, относительно строгую юбку с узором из ивовых ветвей.

Когда у Элси выдавалось время, она ходила в гончарную мастерскую. Комья глины были завернуты в мокрую ткань, ведерки ангоба манили, и Элси опускала в них пальцы, только чтоб вспомнить ощущение. Она брала немножко глины — это не было воровством, ведь глину можно было смять и вернуть на место — и лепила крохотные фигурки, женские, они сидели, обхватив руками колени, или гордо стояли, обнаженные, сохраняя равновесие на стройных ногах.

Элси не давал покоя запертый чулан. Она сказала себе, что во всех остальных местах уже убралась, и там тоже должна убраться, но знала, что на самом деле ей не дает покоя извечная притягательность единственной запертой двери. К двери был прибит портрет Бернара Палисси из «Кенсингтонской Валгаллы» — Элси заметила, что один угол рисунка прикрывает замочную скважину. Элси как бы невзначай стала искать по дому бесхозные ключи, в то же время уговаривая себя, что если в чулане секрет, то ключ может быть вообще не в доме, а где-то еще. И вот в один прекрасный день, кое-как балансируя на краю стула, чтобы достать до высокой полки, Элси

взяла в руку мрачную солонку в виде грифона с угрожающе раскрытым клювом и поднятым гребнем, и внутри звякнул металл. Солонка стояла в самой глубине полки, в тени. Элси сняла ее и слезла на пол. Перевернутая солонка изрыгнула красивый железный ключ. Элси сунула его в карман фартука и по-кошачьи улыбнулась самой себе. Она вернула солонку на место. И стала ждать. Она ждала два дня, пока Фрэнк Моллет не пригласил Серафиту и Помону на летний пикник в дом викария в Паксти. Оставшись одна в доме, Элси вытащила скобки, удерживающие Палисси на месте, и отперла замок. Ключ вошел очень легко и легко повернулся, словно смазанный маслом. Чулан оказался действительно чуланом. Каменная полка проходила по трем из четырех стен, а выше ее располагались другие полки, доходившие до беленого потолка. В чулане было маленькое зарешеченное окошко, затянутое пыльной сеткой от мух.

На полках стояли горшки. Элси ждала чего-то тайного, иного. Пара больших, пузатых горшков, но в основном — мелкие, светящиеся белым в полумраке: фарфор в белой глазури, неглазурованный бисквит. Когда Элси подошла поближе, чтобы разглядеть их, под ногами захрустели

осколки, словно кто-то уронил или пошвырял горшки на пол, покрыв его целым ковром черепков.

Горшки были непристойными химерами — полусосуды, полулюди с чистыми и четкими очертаниями. Изогнутые в невероятной акробатике, изображающей проявления пола и совокупления во всевозможных видах. Хрупкие девушки держали точно и тонко выполненные образы собственных половых губ и проходов, подобные вазам. Лежали на спине, приподняв таз, чтобы открыться взорам. Сидели в немом отчаянии на краях возвышающихся кувшинов, сжав пальцами соски — словно защищаясь или бросая вызов — и завесив опущенные лица длинными волосами. Были тут и клинические, анатомические модели — неизменно элегантные, неизменно точные и скупые, — женских и мужских половых органов, как по отдельности, так и в процессе совокупления. И пары фигур, затейливые объятия во всех возможных и невозможных позах, нежных и чудовищных.

У некоторых девушек были длинные лица и сутулые плечи Имогены; другие девушки были пухлыми Помонами. Мужские фигуры — безлицыми фантазмами. Элси с хрустом двинулась

вперед по останкам предыдущих версий, чтобы взглянуть поближе, и поняла, что извивающиеся руки и ноги, открытые рты и отчаянно сведенные пальцы изображают не один и тот же возраст, но уходят в глубь времен, в детство. Их было так много, что они напоминали коралловый риф, подводные каменные заросли, вздымающие ветви к небу. Элси было еще труднее глядеть на них из-за собственной телесной нужды, уже владевшего ею желания. Ее собственное тело откликнулось на это раскрытие, проникновение, на визуальную встряску от увиденного. Но глубже сексуального отклика, сильнее его был ужас. Даже не перед тем, что девочек принуждали к такому или, может быть, лишь воображали в таком виде. Но перед яростной энергией, произведшей такое огромное количество этих фигур под влиянием тяги, потребности, которую Элси даже не хотела воображать. Она попятилась. У нее хватило смекалки снять ненавистные туфли и завернуть их в фартук, чтобы потом полностью отчистить. Она знала: создатель этих работ не обрадуется даже намеку на то, что она их обнаружила.

Элси не знала, рассказала бы она Филипу или нет, если бы он был здесь. Она чувствовала сильную потребность не говорить никому, словно

молчание могло сделать небывшими все эти полки, гладкие белые предметы, пыльный свет. Но оно имело обратный эффект. Ее начали преследовать призраки. Когда Помона вернулась из Паксти, Элси невольно в мыслях раздела ее, открыв сливочно-белое тело, раздвинула ей ноги… Так что, когда Помона в очередной раз погладила Элси по руке, Элси впервые рывком сбросила ее руку, резко сказала: «Нет!» — и отвернулась. Расстройство мелькнуло на лице Помоны, но тут же изгладилось.

На августовский банковский выходной приехал Герант — навестить мать и сестру. Бэзил Уэллвуд привез его в Кент в собственном новом «Даймлере». Бэзил по-отечески привязался к «юному Джерри», как Герант теперь себя называл, и Джерри отвечал ему тем же — задавал умные вопросы про рудники, облигации, рынки, в отличие от Чарльза, который этим никогда не интересовался. Герант стал клерком в отделе иностранной валюты банка «Вильдфогель и Квик». Он снимал жилье в Лэмбете и каждый день пересекал Лондонский мост в толпе спешащих, деловитых мужчин в черном, подобных армии муравьев или приливной волне на мрачной реке, протекающей под мостом. Для мальчишки-обо-

рванца, росшего на нищем болоте в «стильных» лохмотьях, это была разительная перемена. Он гордо вышагивал в новых одеждах, символах полного превращения — как личинка, ставшая стрекозой. Гул, гуд, жар, запах человеческой давки страшно пугали Геранта, но он был полон решимости свыкнуться с этим и даже полюбить. С другими клерками он обходился дружелюбно, научился участвовать в выходках и вылазках, понял, где следует проявлять энтузиазм, а где — сдержаться. Он был хитер — скорее намеренно, чем инстинктивно. Почерк у него был четок и красив — видно, Герант частично унаследовал отцовский глазомер. Герант обнаружил в себе способности к точным вычислениям и получал от них невероятное удовольствие. В пыльном доме на унылом болоте эти качества были ни к чему.

Герант часто скучал до умопомрачения, но никогда не зевал. Ему предстояло многому научиться. Он смотрел по сторонам, чтобы научиться чему надо. У него будет загородный дом, слуги, шампанское и — это он видел уже более туманно — элегантная жена в модных туалетах. Сити и фондовая биржа представлялись ему двояко. Он полюбил однообразие и узость Сити, его чистое, ничем не замутненное стремление

делать деньги. Он научился любить и бурый воздух, в котором плавала тонкая взвесь сажи и песка, — воздух густой, как осадок на пыльных окнах, респектабельная приглушенность цветов и защитная окраска, подобная тусклым перьям на грудке птички, спасающейся в кустах. И еще он начал смутно осознавать, что в центре всего — одновременно вещь и символический ключ ко всем вещам — золото, соверены и штабеля слитков, тихо лежащие в бронированных кладовых Старой дамы с Треднидл-стрит, в сейфах «Вильдфогеля и Квика». Ибо все чернильные цифры, которые писал Герант, выстраивая в изящные колонки, все телеграммы и банковские векселя были также символами вещей, радующих своей осязаемостью. Самых разных — велосипедных колес, динамо-машин, густого цемента, отрезов шелка, тюков шерсти, штабелей приглушенно-ярких ковров, жестянок с чаем, мешков кофейных бобов, траулеров, пароходов, пишущих машинок, вин и сахара, угля и соли, газа в баллонах, масла во флягах и бочонках, пряностей в запечатанных свинцовых шкатулках. Сити полнилось странно летучей пылью, которая дрейфовала по воздуху, поднималась и опадала. Пыль от пепла из тысяч дымовых труб в смеси с пылью от сахара и пря-

ностей, с воображаемым блеском золотой пыли.

Когда-то все это хранилось в огромных сводчатых складах в районе доков, но, как объяснил Геранту Бэзил, сейчас все меняется. В век телеграмм и пароходов склады становятся огромными, гулкими саркофагами. Бэзил сказал, что лондонская Балтийская биржа получает по три телеграммы в минуту. Каждая телеграмма может отправить в путь корабль, доходящий из Америки всего за неделю, из Австралии и Азии — за четыре-пять недель. Купцы, привозившие разом огромные партии товаров, теперь вынуждены вести дела по-другому или вовсе удалиться от дел.

Герант увидел внутренним взором вращающийся глобус, а на нем — обширные красные заплаты земель Британской империи, движущиеся границы, иссеченные невидимыми путями телеграмм и видимыми бороздами на воде от огромных железных кораблей, упорно идущих вперед сквозь летящие обрывки штормовой пены и зеркальный штиль на морях.

В «Даймлере», ясным утром субботы накануне банковского выходного, Бэзил Уэллвуд говорил о золоте. Золото нужно было для ведения южноафриканской войны, против которой протестовал Хамфри, говоря, что она ведется в интересах

лондонского рынка золота, золотого запаса, спекулянтов. Бэзил был слегка расстроен тем, что канцлер казначейства выбрал именно этот день, перед банковским выходным, чтобы объявить о военном займе, призванном пополнить отощавшие запасы золотых монет и слитков Английского банка. Вкладчики попадали в невыгодное положение. Поезда в этот день ходили реже из-за выходного, а время было жизненно важно. Это был нечестный поступок. Герант кивнул. Он упомянул о южноафриканских рудниках — Камп-Ринд, Крикл-Крик, — где венчурные корпорации хотели восполнить запасы золота, поступление которого иссякло с закрытием многих южноафриканских рудников из-за войны.

Герант ведал перепиской банка по этим вопросам. Его работа была гораздо интересней, чем могла бы быть, оттого что четыре клерка «Вильдфогеля и Квика» ушли на фронт с добровольческим полком, сформированным на средства, собранные в Сити. Разумеется, молодым людям, проникнутым столь похвальным духом патриотизма, обещали, что сохранят за ними рабочие места. Совсем недавно произошел неприятный случай: газета «Дейли мейл» обвинила другой немецкий банк в том, что он заставил двух

подобных добровольцев — своих сотрудников — уволиться. В статье не говорилось, какой именно банк, но в Сити знали, что это — «Кан и Херцфельдер». Гневные обитатели «кафрского цирка» загнали в угол Морица Херцфельдера, толкали его, издевались над ним, сбили с ног, пинали по лицу и телу. Никого из нападавших не призвали к ответу. Фондовая биржа превратилась в место сборищ анархиствующей толпы, бурлящей дикими эмоциями. Джерри был на работе 18 мая, когда объявили об освобождении Мафекинга. Толпа маршировала, выла и пела, размахивала флагами, дудела в трубы, распевала гимны под аккомпанемент клаксонов карет. Джерри тоже маршировал и пел: «Правь, Британия», «Боже, храни королеву». Его сознание влилось в коллективное. Это ощущение было ново для него — он раньше не испытывал ничего подобного.

На банковский выходной выдались золотые, ясные дни. Бэзил и Джерри сидели за спиной шофера, благодушно взирая на растущий хмель и колосящиеся хлеба. Когда машина подъехала к дому Уэллвудов, Бэзил от избытка дружелюбия пригласил своего клерка на стаканчик шерри, а затем приказал шоферу отвезти юношу с его сумкой по проселочным дорогам в Пэрчейз-хауз.

То-то будет сюрприз для родных, когда Джерри прикатит в автомобиле. Они этого совсем не ждут. Герант немножко беспокоился, потому что не знал, ждут ли его вообще — он собирался устроить родным сюрприз. Еще Герант беспокоился из-за шофера — нужно ли давать ему на чай? пригласить его в дом? что вообще с ним делать? Они прокатили, пыхтя, по «саду Англии», выехали на болотистые равнины и преодолели длинную дорогу, ведущую к Пэрчейз-хаузу. В доме никто не шелохнулся. Машина въехала во двор конюшни, безлюдный и наполненный жарой, словно чан. Никто не вышел навстречу. Герант сказал шоферу, что пойдет поищет для него пива, но тот вежливо отказался (у него в корзинке с обедом было свое пиво, он хотел поскорее вернуться к семье, он видел, как мучается Герант из-за светских условностей, и был лишь едва-едва заинтересован в том, чтобы похвалиться автомобилем перед обитателями Пэрчейз-хауза, буде таковые найдутся). Герант стоял с сумкой посреди двора и смотрел, как шофер заводит мотор машины и выезжает со двора задом, фыркая, пыхтя и портя воздух бензиновой отрыжкой.

Элси Уоррен вышла из молочной-мастерской, как раз когда высокая крыша автомобиля

скрывалась за деревьями. Элси вежливо приветствовала Геранта и выразила должное удивление и восхищение его внешностью и транспортным средством. Она сказала, что видела одну-две такие машины в Рае и что они совершенно потрясающие. Она пообещала приготовить Геранту постель и сказала, что его мать прилегла, как обычно во второй половине дня. Где Помона, Элси не знала. Может быть, уехала на велосипеде. Голоден ли Герант?

Герант был очень голоден. Элси мгновенно соорудила роскошный салат из омаров и подала его со свежим ржаным хлебом.

— Тут приходит один мальчишка-рыбак, — объяснила она, — приносит время от времени то краба, то омара, чтобы я позволяла ему тут крутиться.

Герант посмотрел на нее с умеренным любопытством. Значит, у нее появился ухажер? Он понял, что Элси поняла, о чем он думает, — она смущенно одернула юбку на бедрах. Герант увидел, что Элси невероятно похорошела, что фигура у нее именно такая, как надо, а лицо полно жизни. Он видел, что она видит, что он увидел. Оба решили промолчать. Он посмотрел на ее одежду, перешитую из продукции Движения искусств

и ремесел. Одежда сидела не очень хорошо. Он вспомнил, как кричал Просперу Кейну, что никто не считает нужным платить Филипу. Герант не знал, платят ли Филипу сейчас — по крайней мере, его взяли в Париж, чтобы он увидел и узнал что-то новое. Об этом Геранту сообщили Имогена и Флоренция, когда он зашел к ним в Музей. Герант задался вопросом, платят ли Элси. Он подумал, что если он это не выяснит, то и никто не выяснит. Кто-нибудь — неведомый мальчишка-рыбак? — будет ухаживать за Элси Уоррен, захочет увезти ее, заняться с ней любовью, сделать из нее жену и мать. Это будет правильно, но очень неудобно. Герант решил, что должен поговорить с Элси.

Вошла Помона и бросилась к нему с объятиями и поцелуями. Он сказал ей то, чего не сказал Элси, — что она повзрослела и расцвела, и Помона перебросила за плечо бледно-золотую гриву и опустила взгляд. Имогена просила Геранта позаботиться о сестре. Сама Имогена сейчас ходила на курсы ювелирного дела, рисовала эскизы небольших серебряных и эмалевых подвесок. Она выглядела спокойной, и Герант понял, что раньше она была не спокойной, а лишь отупевшей или замершей. Она сказала, что беспокоится

за Помону, которой теперь, когда она и Герант уехали, «придется все сносить в одиночку». Герант беспокойно взглянул на Флоренцию Кейн, которая в это время разливала чай. Герант слегка трепетал перед семнадцатилетней Флоренцией: она была на два года младше его, на год младше Помоны и на четыре года младше Имогены, но казалась мудрее и уверенней их всех. Герант подумал, что Флоренция прекрасна, как святая с картины итальянского художника. Он решил, что она «то, что надо», не обдумывая ни ее платья, ни манеры управляться с чайным прибором. «Не стесняйся Флоренции, она наш друг», — сказала Имогена, и Герант, а не Флоренция, покраснел, когда их взгляды встретились. Когда Помона прильнула к брату, гладя его лицо, он вспомнил о Флоренции. Глаза Помоны увлажнились. Он спросил:

— Помми, как тебе тут живется? Ты по нас не скучаешь? У тебя есть какие-то планы?

Тут по лестнице сошла сонная Серафита и, как положено, удивилась преображению сына и его новому льняному пиджаку. Она неопределенно спросила, позаботилась ли о нем Элси, и он сказал, что да. Элси начала стремительно убирать тарелки из-под салата. Серафита величественно

села и улыбнулась. Помона попросила:

— Расскажи нам… Расскажи про…

Но ей не пришло в голову ни одного вопроса о жизни, про которую она ничего не знала.

— Я приехал в автомобиле! — сказал Герант. — Мистер Уэллвуд велел шоферу отвезти меня сюда. Он очень заботится обо мне.

Он никогда не найдет слов, чтобы рассказать этим двоим о слитках и займах, телеграммах и пыли.

Выходные шли своим чередом, окутанные солнечной дымкой. Герант несколько раз хорошенько прогулялся в одиночку по болотистым равнинам и несколько раз покатался на велосипеде с Помоной. Элси готовила им восхитительные блюда из жареной кильки, крабовые салаты с картошкой в горчичном соусе. Герберт и Феба Метли зашли в гости и за чаем задали Геранту все вопросы о жизни в Сити, не заданные его родными. Герант описал торопливое шествие мужчин по Лондонскому мосту, бурление фондовой биржи, празднование освобождения Мафекинга. Герберт Метли сказал: по общему мнению, деньги бездушны, но это не так. Маммона — огромная духовная сила, тревожащая и ангелов, и демонов.

Именно Маммона вдохновляет это ужасное кровопролитие в Южной Африке. Золото вызвало к жизни эту войну, и золото поддерживает ее. Такое обличение выбило Геранта из колеи. Он знал, что золото — своего рода животворящая сила, но олицетворяющая метафора принижала его, придавала ему излишнюю сентиментальность, и Герант почувствовал это, не в силах выразить словами. Он видел золото мысленным взором: сверкающие слитки, горячий поток из тигля. А не какой-то там побитый молью демон. Помона сказала:

— А мы понятия не имели, что все это так интересно. Мы думали, это скучная работа, такая… механическая.

Так и есть, ответил Герант. Скучная, механическая — и захватывающая. Вокруг снова заплясала Элси со свежими, только что испеченными ею лепешками и баночкой роскошного крыжовенного варенья.

Герант любил вдыхать воздух болотистых равнин и чувствовал, что крепнет от него; но не опечалился, когда пришло время уезжать. До этого он успел поговорить с Элси. Он попросил ее выйти в сад. Они пошли меж деревьев.

— Вам что-нибудь нужно? — спросил Герант. —

Вы, кажется, творите маленькие чудеса о хлебах и рыбах… Я должен спросить, вам хватает… хватает денег на хозяйство? Моя мать очень непрактичная женщина.

Элси его удивила. Она села на травяную кочку и вытянула ноги. И сняла бесформенные сандалии.

— Посмотрите на мои ноги, — сказала она. Ноги выглядели плохо. Они были покрыты вмятинами и синяками, мозолями и шишками и местами кровоточили. Элси сказала сухо и напряженно:

— Мне нужны собственные туфли. С такими ногами я просто не могу вести хозяйство как следует. Фрэнк Моллет отдает мне разные обноски, но они не подходят — у меня узкая нога. Посмотрите на мои ноги, мистер Фладд. Посмотрите-посмотрите. Это ноги старухи. Я вынуждена вбивать их в форму старушечьих ног. От меня по правде будет больше толку, если у меня будут свои туфли.

— Я вынужден спросить… извините… вам что-нибудь платят?

— Не понимаю, зачем вы извиняетесь, и думаю, что вы знаете ответ. Нет, мне не платят. Я получаю жилье, еду и обноски. Я не жалуюсь — я знаю, что в доме нет денег, — но мне нужны туфли.

— Вы не собираетесь… уехать, перебраться куда-нибудь?

— Послушайте меня. Я всегда клялась себе, что никогда, никогда не пойду в прислуги. Что угодно, но не в прислуги. Я бы осталась на гончарной фабрике и расписывала горшки, у меня была бы такая профессия. Как у моей мамки — она умерла. Когда она умерла, я пришла сюда, приглядывать за Филипом, потому что мамка так хотела. Я люблю Филипа, мистер Фладд, я больше никого и ничего не люблю. И я знаю, что он прав, всегда был прав — у него настоящий дар, и он одержим этим даром. Он попал сюда как в страну своей мечты, потому что ваш отец — великий мастер. Филип учится тому, чему он никогда и не мечтал научиться. Думаю, он не очень доволен, что я тут — он убрался от нас подальше, а я напоминаю ему о покинутом. Но пока я устраиваю тут сносную жизнь, Филип свободен — он может делать горшки, изобретать, работать. Я никогда не собиралась быть домашней прислугой. У меня свои, пусть маленькие, стремления. Меня бесит здешняя безалаберность… простите, это было грубо… мне нравится изворачиваться, чинить вещи, обходиться малым, чуть-чуть улучшать то, что меня окружает.

Она постепенно распалялась. Она говорила быстро, сухо, яростно. Она сказала:

— И я чувствую себя полной дурой в этих цветочках и расшитых тряпках. Я бы хотела показаться преподобному Моллету в обычной, пристойной, скучной одежде. Я не марионетка и не ярмарочное пугало. Простите, мне не следовало жаловаться, я и не собиралась. Но, понимаете, мистер Фладд, это выражение очень правильное — я просто умираю от боли в ногах. Простите. Я все сказала и теперь заткнусь. Простите меня.

Герант сел рядом на траву. К собственному удивлению, он взял в ладони одну горячую ступню и склонился над ней.

— Сколько стоят туфли?

— Не знаю. Вы должны лучше меня это знать. Вы теперь одеты по-человечески — очень хорошо одеты, надо сказать… и туфли у вас хорошие.

Туфли, которые Герант носил на службе, обошлись ему в месячное жалованье. Он ухаживал за их сверкающей кожей, как за собственной — по правде сказать, туфли были гораздо глаже его лица, склонного к прыщам. У Геранта Фладда лишь недавно появились свои деньги, заработанные собственным трудом, и у него с ними было, как сказала бы Элси, туго. Но он вытащил из

кармана кошелек и отсчитал в руку Элси четыре серебряные полукроны.

— Этого должно хватить на какие-нибудь ботинки. Смотрите, чтобы к моему следующему приезду вы обзавелись удобной обувью, чтобы могли ходить на дальние прогулки.

Он заколебался. Он хотел сказать, что пойдет вместе с ней выбирать ей туфли. Он перебирал в уме маленькие прихоти, от которых теперь придется отказаться ради этих туфель, и исполнялся великодушной радости при мысли о тонких пальчиках, вольготно шевелящихся в новой кожаной обуви. Но в посещении обувного магазина с этой молодой женщиной будет что-то интимное, неподобающее. Либо он будет вести себя как… как повелитель и господин с подданной, либо как кандидат в любовники, преподносящий дары и надеющийся получить что-то взамен. Он, чуть смущаясь, сказал:

— Я знаю, сколько вы делаете для моей семьи… гораздо больше, чем следовало бы… и они… мы этого по достоинству не ценим. Я правда знаю.

Элси горестно улыбнулась. Ей не хотелось совершать судьбоносный поход за обувью в одиночку. Может быть, стоит подождать возвращения Филипа. Но она умирала от боли в ногах.

Герант взял двуколку и поехал обратно в «Повилику», усадьбу Уэллвудов, а через день или два Элси пошла через болотистую равнину и вверх по склону в город. В Рае были две или три обувные лавки, и в витрине одной из них («Джас. Пласкетт, с 1872 года») она как раз и видела тот красный пояс с пряжкой-стрелой. Элси стояла на булыжной мостовой, глядела на витрину и считала в уме. Она не хотела, чтобы ее первой парой обуви стали грубые башмаки, какие носят батрачки, но обреченно, трезво сознавала, что если купленные туфли будут хоть сколько-нибудь нарядными, она никогда не осмелится их надеть для своих повседневных нужд — для беготни туда-сюда по двору, хождения вверх и вниз по лестницам, пеших походов в Лидд. Нужно купить что-нибудь удобное, может быть, ботинки, которые, если их вычистить как следует, подойдут к простой юбке, когда Элси ею наконец обзаведется. На миг она понадеялась, что денег Геранта хватит и на ботинки, и на красный пояс. Она посчитала в уме. Пока она не вошла в магазин, она может воображать, что владеет поясом.

— А я думаю, о чем это вы замечтались, — произнес приятный голос у нее за спиной. Элси подскочила.

— Простите, я вас напугал, — сказал Герберт Метли. — Я стоял и смотрел на вас минут двадцать, а вы о чем-то думали, и я в конце концов просто не выдержал — я должен был вас спросить, о чем вы тут думаете, хмуритесь и что-то шепчете про себя. Вам не обязательно отвечать. Я знаю, что это невежливый вопрос.

Элси засмеялась.

— Туфли. Я думаю о туфлях. Я первый раз в жизни покупаю новые туфли — для себя. И не могу решиться. Не знаю, как решить.

— А пока вы не решили, все туфли на свете принадлежат вам, — сказал писатель.

— Да, и вон тот красивый красный пояс со стрелой — тоже. Если я куплю башмаки подешевле, то мне как раз хватит на пояс. Но мне не нужен пояс. Мне нужна обувь, от которой не болят ноги.

— Поистине судьбоносное решение. Знаете, я ведь рассказываю истории, и мне обязательно надо знать, чем закончится ваша. Я думаю, вам надо перемерить как можно больше пар, чтобы почувствовать свои ноги во всех возможных положениях и формах. Вы, несомненно, поймете, что иные ботинки, которые прекрасно смотрятся на витрине, обещая удобство и красоту, окажутся обманщиками — они придавят вам большой па-

лец или натрут пятку. А другие, скромно стоящие на полке, обтянут, как сшитые по мерке перчатки, вашу ножку, ваши стройные щиколотки. В идеальном мире вы купили бы себе одну пару для прогулок, другую для танца, третью для повседневной работы по дому — но, я полагаю, вам придется найти одну пару, которая будет служить вам для всего сразу. А это непросто. Пожалуйста, разрешите мне помочь вам. У меня хороший глаз на женские ступни, мне всегда говорили. И мне правда очень хочется знать, чем окончится эта сказка…

И они вошли в полутемный, пахнущий кожей магазин, и Элси села в покрытое чехлом кресло, и Герберт Метли встал на колени по одну сторону от нее, а по другую — мальчишка-приказчик, который бегом приносил все новые коробки со склада за прилавком. Метли гладил стопы Элси, пока она осторожно всовывала их в черные ботинки и в коричневые, в туфли на низком каблуке, в туфли с дырчатым рисунком, в скромные полуботинки на шнурках. Оказалось, что Метли со сверхъестественной точностью может угадать, какие ботинки будут хорошо сидеть у нее на ноге, и отвергал слишком тяжелые, а также те, которые будут натирать. Он заставлял Элси прохаживать-

ся в каждой паре обуви и поворачиваться, чтобы видеть ее со всех сторон; он спрашивал, куда доходят копчики пальцев внутри ботинок и не натирает ли пятку. Это было странно интимное занятие. Наконец они забраковали все, кроме двух пар. Сама Элси давно уже купила бы что-нибудь самое уродливое и дешевое, сознавая, что «не заслуживает» лучшего.

— Элси, они должны сидеть на ноге, как перчатка на руке. Они должны поддерживать все крохотные косточки свода стопы, которые так усердно трудятся, и вы должны свободно шевелить всеми пальцами, чтобы не казалось, что у вас на ноге коробка от ботинка, а не сам ботинок. Мне нравятся вот эти черные на небольшом каблуке. На худой конец — или даже на не очень худой, — в них есть определенная элегантность, их силуэт прост, но изящен, и тем не менее, я уверен, они будут служить долго.

Элси послушалась, купила эту пару и уже готова была идти в ней обратно в Пэрчейз-хауз. Но Метли отсоветовал.

— Носите их каждый день, не подолгу, пока не привыкнете к ним, а они — к вам. Согревайте и разнашивайте их понемногу. Они должны стать вашими. Можно я провожу вас обратно домой?

Я так или иначе вышел прогуляться, и мне будет приятно идти не одному.

Элси растерялась. Для нее Герберт Метли был стариком, из поколения отцов. Возможно, его дружелюбие и… внимательность были отеческими, хотя Элси подозревала, что это не так. Он был гораздо безобразней Геранта, гораздо интересней и заинтересованнее. От Герантовых полукрон осталось немного сдачи — хотя на красный пояс все равно не хватило бы. Элси ответила, что с удовольствием пройдется вместе с Метли, и тут он, как фокусник, вытащил откуда-то небольшой сверток, перевязанный бечевкой.

— Это вам, — сказал он. — Разверните.

Конечно, это был красный пояс.

— Что вы!

— А что такое? Нечасто подворачивается возможность исполнить чье-то заветное желание. И, кроме того, вы совершенно правы, у вас прекрасный вкус, это замечательный пояс.

Пояс сидел на бедрах, а стрела указывала вниз, в пространство между ними. Герберт Метли настоял на том, чтобы самому надеть его на Элси и застегнуть. Длинные руки на очень краткий миг прошлись вдоль пояса, повторяя его форму, на миг задержавшись на указывающей вниз

пряжке.

Затем они пошли обратно через болотистую равнину, бок о бок, остро сознавая присутствие друг друга. Метли заговорил:

— Я вот думаю… Вы не будете возражать, если я вставлю ваши ноги — и ваши ботинки — в роман, который я сейчас пишу? Это как раз то, что нужно, это замечательный пример…

— Пример чего? — спросила Элси, не то чтобы довольная, но и не сердитая.

— Это роман про… про то, что жизнь женщин устроена неправильно. А женская одежда — одна из форм угнетения, униженности женщины.

Элси задумалась о внезапном скачке от обуви к свободе. И ответила, что у нее никогда не было случая об этом подумать. Она едва не сказала, что слишком занята, но вовремя остановилась, понимая, что это прозвучало бы глупо.

— А подумать надо бы. Например, почему ваш брат веселится в Париже, а вы трудитесь тут, как рабыня, без обуви?

— Он по правде хороший гончар. А я нет.

— А вы когда-нибудь задумывались, чем могли бы стать, если бы у вас был выбор?

— А что толку, — ответила Элси.

Она подумала о своей постылой обязанности

сводить концы с концами за беспомощных, нерадивых обитательниц Пэрчейз-хауза. О чулане, полном сладострастных сосудов. Некоторые из них изображали женскую фигуру, лежащую на спине, с рукой, засунутой между ног — туда, куда указывала пряжка нового красного пояса. Герберт Метли разбередил и растревожил Элси, и это было не совсем приятно. Он задел в ней какие-то струнки, не тронутые ни Герантом, ни мальчишкой-рыбаком. Но ей нельзя было терять голову.

— А что потом будет с вашей… героиней, у которой не было ботинок? С ней все хорошо кончается?

— Она добивается свободы и получает возможность танцевать босиком, — ответил Метли. — Она научается жить.

Элси не спросила, кто учит босую девушку жить. Она сказала что-то про вид на соляные равнины и про поющих жаворонков. Метли поддержал эту тему, и они двинулись дальше, выражая огромный интерес к полевым цветам и пасущимся овцам, качающимся от ветра деревьям и Королевскому военному каналу, вдоль берега которого, аккуратно выведенного по линеечке, они какое-то время шли. Поворот к дому Метли был чуть раньше поворота к Пэрчейз-хау-

зу. Она слегка неловко поблагодарила за помощь и за пояс. Метли сказал:

— Думаю, вам стоит прийти на дискуссию о правах женщин, которую организует в Лидде мисс Дейс. Мне кажется, вам будет интересно. В жизни женщин скоро наступят разительные изменения. И вам — именно вам — следует об этом подумать.

Элси сказала, что посмотрит, удастся ли ей отлучиться.

— Мы с женой придем. Так что вы окажетесь среди друзей.

— Мне надо будет спросить, — ответила Элси, уже слегка возмущаясь необходимостью просить что бы то ни было у Серафиты.

— Может быть, миссис Фладд тоже захочет прийти? Мы хотим обратиться ко всем женщинам.

Элси не знала, как боится Серафита Фладд, что сама Элси вдруг уйдет — так же внезапно и загадочно, как пришла.

25

Мисс Дейс сняла в Лидде помещение — деревянный сарай, носивший пышное название Клубного зала, но не принадлежавший никакому клубу. Военные из гарнизона часто снимали его для лекций и балов. Церковь — для благотворительных распродаж. Лекторы из общества просвещения читали здесь вечерние лекции для рабочих. Афиши, расклеенные мисс Дейс, обещали целый день дискуссий, объединенных общей темой: «Женщина будущего». Предполагалось пять докладов; первый должна была читать сама мисс Дейс, а последний — Герберт Метли. Организаторы боялись, что слушателей окажется меньше, чем докладчиков. Мисс Дейс обаяла теософов и швейный кружок обещаниями очень хорошего холодного ланча. Она побеседовала с женой мэра, которая была теософкой, и попросила ее уговорить других дам. Известно было, что жена полковника — ярая антисуфражистка. Она могла явиться сама, чтобы сбивать докладчиков каверзными вопросами, или послать какую-нибудь приспешницу. Вряд ли можно было ожидать настоятеля церкви Всех Святых в Лидде, но могли

прийти отдельные самостоятельно мыслящие женщины из его паствы. Фрэнк Моллет и Артур Доббин, конечно, должны были явиться, как верные ученики Эдварда Карпентера, а еще потому, что один из докладов должна была делать Мэриан Оукшотт, учительница из Паксти.

В Пэрчейз-хауз прислали объявление о лекциях. Серафита рассеянно положила его на кухонный стол. Элси сказала, самую чуточку пережимая:

— Я бы хотела пойти, если вы не возражаете.

Серафита склонила голову набок, словно с трудом перебирая в уме возможные возражения.

— А вы сами не хотите пойти? — спросила Элси.

— О, навряд ли. Я не верю во всю эту шумиху насчет избирательных прав, а я полагаю, там именно об этом и будут говорить. Я не вижу, что изменится, если женщины будут голосовать. Женщины, они… женщины должны…

Она, как обычно, не завершила фразы.

— Я пойду с тобой, — сказала Помона. — Чтобы сменить обстановку.

Она мило зевнула. Элси это отчасти рассердило. Она хотела сделать хоть что-нибудь в одиночку. Но Помона была права, ей отчаянно нужно было сменить обстановку.

Они отправились в путь по Дэнгейскому болоту. Было жаркое, безветренное утро. Элси очень старательно оделась. На ней была белая хлопчатобумажная блузка, та самая юбка с узором из ивовых ветвей, красный пояс и новые ботинки. Она сделала себе шляпку из соломенной шляпы с продавленной тульей, доставшейся ей в числе обносков от Фрэнка Моллета. Элси зашила дырку и отделала шляпку обрезками красной тесьмы, оставшейся у Серафиты от шитья, и каким-то подобием цветка, скрученным из кусочков кружева и тюля. Впервые в жизни Элси собиралась показаться на люди в шляпе. На Помоне был развевающийся яблочно-зеленый халат, что-то вроде хламиды фарфоровой пастушки, щедро расшитый бабочками и цветами. Она пошла с непокрытой головой. Палевые волосы рассыпались по плечам. Она, кажется, хотела что-то сказать про внешний вид Элси, но промолчала.

Окна в деревянных стенах зала располагались слишком высоко, не давая возможности выглянуть наружу. Внутри был помост, на котором сидели докладчики, и несколько рядов деревянных стульев. Слушатели заняли рядов шесть. Головы сидевших женщин невозможно было разглядеть из-за огромных шляп, напоминаю-

щих блюда и тележные колеса; виднелись плечи самых разных цветов, от благопристойного стародевичьего голубино-сизого до более ярких зеленых и лиловых тонов. Мужчин было шестеро, в том числе Герберт Метли, Артур Доббин и Лесли Скиннер, который пришел поддержать свою жену — тоже одну из докладчиц. Кроме того, был один военный, взрывник, сопровождавший жену, которая состояла в лиге антисуфражисток миссис Хамфри Уорд. И один бакалейщик, любитель чтения, ходивший на вечерние занятия к миссис Мэриан Оукшотт, которая тоже сидела на помосте.

Элси и Помона уселись через два или три пустых ряда от последнего занятого. С платформы им одобрительно и приветственно улыбнулся Герберт Метли. Элси в ответ едва заметно улыбнулась плотно сжатыми губами. Помона сложила бледные руки на цветастых коленях и обратила лицо к свету, падающему через пыльное окно.

Докладов было пять — три до перерыва и два после. Сначала говорила мисс Дейс. Она точно и красноречиво описала несправедливость, которой подвергаются женщины — они не представлены в парламенте, не могут голосовать по вопросам, касающимся их жизни, их работы, их

здоровья. Она сухо заметила, что если в названии закона есть слово «женщина», этот закон непременно стесняет условия жизни женщин, отбирая у них кусочек свободы. Домовладельцы и налогоплательщики могут голосовать на выборах, но женщины, даже относящиеся к обеим категориям, должны платить налоги без права быть выслушанными или представленными в органах власти. Элси изо всех сил старалась слушать внимательно. Она кое-как догадалась, что значит слово «суфражистки»: они борются за то, чтобы женщин допустили на выборы. Как в Писании: «Пустите малых сих и не препятствуйте им». Но мисс Дейс хотела, чтобы парламент пустил на выборы женщин — домовладелиц и налогоплательщиц, таких, как она сама. Элси начала злиться, так как это явно не имело никакого отношения к ней — нищей девушке, запертой в доме с чуланом, полным прекрасных и непристойных сосудов женских форм, страдающей от телесных потребностей, которые она сама не могла выразить. Но мисс Дейс была хорошая женщина, она все называла своими именами и в доступных ей пределах была вполне разумна.

Когда мисс Дейс закончила, поднялась полковничья жена. Она сказала, что страна ведет

тяжелейшую войну в далеких краях, что Британская империя выполняет свой военный долг в таких отдаленных местах, которых британские домохозяйки не могут ни представить себе, ни объять умом. Женщины должны охранять домашний очаг, а вопросы войны и экономики оставить мужчинам, так как это их естественный удел. Мисс Дейс выразила ответную надежду, что бесстрашные женщины, посещавшие концентрационные лагеря, где британская армия содержала бурских женщин и детей, возможно, кое-что сделали для поднятия боевого духа армии, а также морального духа страдающих буров. В зале послышался шелест и стук. Элси не знала, что такое концентрационные лагеря. Мисс Дейс обратилась к жене полковника и вопросила ее, следует ли в таком случае изгнать женщин из органов местного самоуправления и из комитетов помощи беднякам, куда женщины теперь допускались и где трудились с пользой. Нет, ответила жена полковника, она признает, что они приносят пользу на этом поприще.

Вот так всегда, сказала мисс Дейс. Ни пяди дальше. Ваше движение воспрепятствует любому расширению прав женщин, даже не испытав его. И ныне вы, подобно королю Кануту, желающему

остановить прилив, восклицаете: остановись, ни пяди дальше! Но прилив все равно придет, вот увидите.

Следующим докладчиком оказался не Герберт, а Феба Метли.

Элси внимательно разглядывала жену Герберта. «Она когда-то была привлекательной», — решила Элси, пожалуй, слишком сурово отнеся красоту Фебы к прошлому. Феба была в простой темной юбке и белой блузке с черно-зеленым бантом у воротничка. Черная шляпа отделана зеленой лентой. Феба выглядела кроткой и компетентной. Тема ее доклада была «Место женщины». Она первым делом поблагодарила предыдущую докладчицу за то, что та подняла тему священных ценностей и домашнего очага, ибо именно о домашнем очаге Феба собиралась говорить. При словах «домашний очаг» представляется приятная картинка: женщина в залитом солнцем домике с садиком, жарко пылающий камин зимой, стайка розовых, улыбающихся детишек, возможно — младенец на руках; женщина измышляет приятности и удобства для мужа, который вот-вот вернется после трудного и долгого дня, проведенного на службе или в

клубе. У такой женщины голова занята новыми рецептами восхитительных тортов и варенья, очаровательными чехлами для подушек, оригинальными украшениями для шляпок и корсажей. На самом деле женщин, пребывающих в таком счастливом состоянии, очень мало. Обеспеченные женщины не ухаживают сами за своими детьми, не видят их иногда неделями, перепоручают заботу об их здоровье нянькам, а об их умственном развитии — гувернанткам, и как можно скорее отсылают их прочь в закрытые школы, где дети зачастую тоскуют о доме или подвергаются издевательствам. А затем богатые женщины начинают изнывать от скуки. Женщины лишаются способности мыслить, ибо их умы взращены на скудной диете из сахарных цветов, рецептов суфле и шляпных булавок. А огромное количество работающих женщин — ведь тысячи и тысячи женщин-работниц не только содержат себя и семью, но и прибираются в доме как могут, и намазывают на хлеб что удастся добыть — действительно ценят домашний очаг и всеми силами хранят его, даже если дом представляет собой одну комнатку, где спят вповалку дети и взрослые. Ибо стоит им спуститься лишь на ступень, и их ждет работный дом — злая пародия

и на дом, и на работу. Таким образом, «ценности домашнего очага» — это призрак, существующий лишь на бумаге.

Но пусть женщины не думают, что все их чувство долга, прилежный труд в подобающей им сфере, у домашнего очага, дает им что-либо в глазах закона. Женщина, защищающая детей от жестокого или безрассудного отца, не имеет ни единого шанса взять их с собой, если решит спасаться бегством. Такой мужчина может заявить, что женщина, покинувшая его дом, недостойна не только заботиться о его детях, но даже видеть их — детей, в которых вся жизнь матери, — хотя бы у нее от горя разорвалось сердце. Под сладкими рассуждениями о святости домашнего очага, под пустыми словесами, воспевающими мудрость материнства, кроется жестокость. Действительно, если мужчина — хозяин, сын хозяина — воспользуется своим положением и обольстит молодую женщину, не женившись на ней, в глазах закона она одна несет ответственность за благосостояние своего несчастного дитяти. Но если мать замужем и по какой-то причине ушла от мужа, с этого момента она лишается всяких прав матери.

Чем больше распалялась миссис Метли, тем

недоверчивей Элси воспринимала ее слова. Конечно, миссис Метли была права, но она слишком горячилась. Элси не хотела смотреть, как горячится миссис Метли. Ведь у четы Метли точно не было детей.

Элси вспомнила свою мать. Она работала. У нее были большие способности к своему ремеслу, но от воздуха печей она болела. Она старалась создать домашний уют. На подоконнике стоял горшок с геранью. На стене висела минтонская тарелка (второй сорт). Вся семья знала, что это значит. Они респектабельны. Кое-как цепляются за респектабельность. Элси подумала, что, пожалуй, не возражала бы, чтобы ее заперли в золотой клетке буржуазного дома — она потратила столько усилий, чтобы создать подобие домашнего очага в Пэрчейз-хаузе, не столько от стремления к уюту, сколько от сильной нелюбви к безалаберности, хаосу, неустроенности; женщины Фладдов эту нелюбовь не разделяли. А от разговоров о том, что могли или чего не могли делать или хотеть женщины, Элси становилось не по себе. Она хотела ботинки и пояс и получила их. Она хотела… хотела… хотела… жить. Но ее начинало раздражать, что она так мало думает. Если бы она проводила ночи за книгами, кем она

была бы сегодня? Она подняла голову в броской шляпе, чтобы разглядеть сидящих на помосте женщин, которым желание думать и недовольство жизнью помогли столь многого добиться. Элси увидела, что темный взгляд Герберта Метли обращен на нее. Едва заметная улыбка пряталась под нитями усов, в уголках умных глаз. У Элси кровь прилила к лицу. Она опустила глаза, как ей ни хотелось выдержать этот взгляд. Она коснулась стрелы красного пояса. Герберт со своего места не мог видеть ее руки.

Третьей выступала миссис Генриетта Скиннер, фабианка. Она храбро и откровенно говорила о торговле белыми рабынями. Она с похвалой отозвалась о Джозефине Батлер, чье мужество привело к отмене Законов о заразных заболеваниях, и об У. Т. Стеде, чья — возможно, чересчур сенсационная, но все же действенная — статья обличила торговлю девочками-девственницами и заставила парламент поднять «возраст согласия» до шестнадцати лет. Элси подумала, что миссис Скиннер похожа на пирог с оборочками — круглая голова под круглой «деревенской» соломенной шляпой сидела на холмике тела, прикрытого платьем-либерти, которое свисало бронзово-зелеными складками, как чехол. Кисти

рук у миссис Скиннер тоже были маленькие, бледные и пухлые. Она иллюстрировала наиболее шокирующие пункты своего доклада, пронзая воздух очень точными движениями, словно разя кинжалом. Она сказала, что не будет извиняться за использование слов, которые общество привыкло стыдливо заменять эвфемизмами и намеками; эти эвфемизмы и намеки сами являются частью угнетения и зла, упоминания о котором позволяют избежать. Она будет говорить о проституции; она будет говорить о венерических болезнях; она будет говорить о телесном вреде от грубых и ничем не оправданных медицинских осмотров, которым подвергаются женщины. Она выразила надежду, что никто из присутствующих не сочтет нужным покинуть зал, услышав о подобных вещах. Невежество убивает. Мужчины — мужья и отцы — ради утоления того, что они считают «естественными» порывами и нуждами, заражаются от больных женщин и передают эти болезни не только другим так называемым падшим женщинам и девушкам — и даже детям, которых продают и покупают с сертификатом девственности, — но и собственным невинным, ничего не ведающим женам и грядущим поколениям — младенцу-сыну в колыбели, дочери,

баюкающей куклу в детской. И никто не предложил подвергать этих мужчин медицинскому осмотру. Немыслимо даже предложить такое.

А кто же эти «падшие женщины»? При этих словах представляются коварные создания, которые раскрашивают себя румянами и хной, умащивают себя экзотическими благовониями, показывают хорошенькую щиколотку и сводят невинных мужчин, обуреваемых естественными потребностями, с пути истинного. На самом деле это зачастую девушки-работницы и матери-работницы; они не могут прокормить своих детей на заработок из потогонной лавочки; их мужья в результате несчастного случая не могут поднимать тяжести, махать киркой и лопатой. Это девушки-служанки, соблазненные хозяином или хозяйским сыном; когда оказывается, что они ждут ребенка, их выбрасывают на улицу без рекомендаций. Мужчины должны обуздывать свои порывы или нести ответственность за последствия.

Помона сжала руки на коленях, словно защищаясь. Она слегка дрожала, хотя на лице читалось только отстраненное внимание, как у школьника в классе, когда он на самом деле думает не об уроке, а о чем-то другом. Элси перестала прислу-

шиваться к собственному телу и начала думать о Помоне. Что с ней сделали? Что именно она знала? Чьи белые ноги сгибались и раздвигались на фарфоровых сосудах? Позировала ли она, или он угадывал? Элси не хотела этого знать. Но она не думала, что он лепил наугад. На миг она представила себе его пальцы за работой. Она вспомнила семьи в Берслеме, где все знали, что чей-нибудь маленький братик или сестричка — на самом деле сын или дочь, рожденные от брата или отца. Там все спали рядом — тело к телу. Здесь у Элси была своя кровать, где она ворочалась, пожираемая беспредметным желанием. Жалела ли Элси Помону? Она не хотела ее жалеть. Она хотела. Хотела. Элси не верила, что кто-нибудь когда-нибудь по правде желал Этту Скиннер, а в таком случае что вообще могла знать Этта? Элси поглядела на профессора Скиннера, на его красивый профиль в пыльном свете, и подумала: а у него бывают такие порывы? Что он тогда делает? Неужто сжимает в объятиях этот круглый холмик плоти? Она разгладила юбку на бедрах.

Члены клуба мисс Дейс приготовили для докладчиков и зрителей холодный ланч с разными салатами. Элси проголодалась. Она решительно двинулась к столу, где стояли тарелки и чашки,

в сопровождении Помоны, которая цеплялась за Элси, словно один магнит за другой, и шла за ней по пятам так близко, что едва не спотыкалась о ее ноги. Их заметил Фрэнк Моллет и сказал, что очень рад их видеть. Он спросил, услышали ли они что-нибудь полезное за утро, и Помона сдавленным голосом сказала: «О да, очень полезное». «А вы?» — спросил Фрэнк у Элси. «Да, полезное», — повторила она за Помоной, пытаясь сообразить, чем именно утренние речи могли быть ей полезны. Фрэнк улыбнулся. Он сказал, что мир был бы гораздо лучше, если бы больше женщин активно интересовалось этими вопросами.

Элси сказала:

— Когда я слушаю, я начинаю понимать, до чего я невежественна. Как мало я знаю и как мало думаю.

Это прозвучало сердито.

За спиной у нее Герберт Метли произнес:

— О, но вы непременно узнаете все, что нужно, и научитесь думать сколько нужно. Я так рад, что вы послушались моего совета. Я очень рад вас видеть — и вы прекрасно выглядите, — сказал он, улыбаясь и показывая глазами на пояс и ботинки. — Я выступаю сегодня, после миссис Оукшотт. Мне интересно будет узнать ваше мнение.

Элси размышляла, не спросить ли Фрэнка Моллета про чулан — не сейчас, потом когда-нибудь. Тайна давила на нее. Но Фрэнк ускользнул и начал здороваться с другими женщинами, вежливо улыбаясь. Герберт Метли сказал:

— Вам понравится доклад миссис Оукшотт. Может быть, мы даже уговорим вас ходить на ее вечерние лекции по драматургии. Я уверен, она будет очень рада вас видеть.

Он, не таясь, смотрел на красный пояс. Элси растерялась: ей захотелось отвесить Помоне оплеуху, чтобы не таскалась за ней, не мешала думать спокойно. Вот было бы здорово, если бы Помона куда-нибудь провалилась. Однако та безмятежно заявила, что тоже очень интересуется лекциями по литературе.

После ланча — самое тяжелое время для докладчиков, потому что слушатели заняты перевариванием пищи, — Мэриан Оукшотт говорила о женском образовании. Она была красивая и золотая; шляпку из коричневого льна украшали английские полевые цветы, льняное платье бледно-кофейного цвета было отделано кремовым кружевом. На ней был пояс с остроконечной пряжкой, похожий на пояс Элси, и ряд ярких шелковых цветочков по вороту платья. Голос у нее

был теплый, богатый оттенками. Ее доклад состоял из коротких рассказов, что понравилось Элси. Первым шел рассказ об Элизабет Гаррет-Андерсон, которая стала врачом благодаря невероятному упорству и самоотверженности. Она посещала лекции и показательные хирургические операции, на которые ее всячески пытались не пустить. Два года назад эту отважную даму выбрали президентом Восточно-Английского отделения той самой Британской ассоциации врачей, в которой когда-то спорили, могут ли женщины изучать медицину, ведь это так трудно.

Потом миссис Оукшотт рассказала о Миллисент Гаррет-Фосетт, сестре женщины-врача и предводительнице движения суфражисток, неустанно борющейся не только за предоставление права голоса женщинам, но и за возможность для них получать высшее образование в Кембридже. Миссис Фосетт имела честь и счастье увидеть, как ее дочь Филиппа, изучающая в Кембридже математику, заняла место выше старшего рэнглера.

Элси не знала, кто такой рэнглер, а Кембридж ей и во сне не снился. От этого у нее в душе поднялся такой гнев, что она даже сама удивилась. Но тут миссис Оукшотт начала рассказывать про женщин — настоящих и вымышленных, — которые,

выражаясь словами христианской притчи, так уместно процитированной миссис Метли, зарыли свой талант в землю. Женщинам непросто учиться. Если семья не может послать в школу всех детей, учиться идут сыновья, а дочери остаются дома — стирать, латать, подметать, чтобы мальчиков ничто не отвлекало от учебы. Слово «долг» слишком часто действует подобно магическим оковам — оно заставляет женщину отрицать значительную часть своей личности и тем самым — слишком часто, к сожалению, — вынуждает ее обманывать ожидания мужа, расстраивать его узостью мысли, убогостью своего умственного развития. Не следует думать, что от этого страдают лишь немногие женщины. Миссис Оукшотт выразила убеждение, что множество модных нервных болезней вызвано гниением бездействующего ума. Женщинам жизненно необходимо право — и возможность — учиться вместе с другими людьми, своими единомышленниками. Это одна из причин, по которой миссис Оукшотт основала кружок любителей чтения, где будут изучать не только «Мельницу на Флоссе» и «Джейн Эйр», но и «Кукольный дом» Ибсена — сочинение, вызвавшее бурю восторгов и бурю критики. Миссис Оукшотт даже и не надеялась

при жизни увидеть произведение, так тонко, в драматической форме рисующее чудовищную сеть лжи, сводящей взрослую неглупую женщину до уровня куклы, марионетки, которую дергают за ниточки долга — изжившего себя понятия — в доме, поистине кукольном. Миссис Оукшотт надеялась, если в окрестностях найдутся смельчаки, даже поставить эту скандальную пьесу на сцене.

Элси читала лучше Филипа, хотя получила то же обрывочное, незавершенное образование. В Пэрчейз-хаузе она брала книги, какие попадались, и пыталась понять, что там написано. Элси прекрасно знала тот голод, стремление к чему-то превыше домашней работы, о котором говорила Мэриан Оукшотт. Элси соображала гораздо быстрей обычного и ехидно усмехнулась при мысли, что все эти женщины, жаждущие духовного роста, о которых говорила миссис Оукшотт, все эти скованные мыслители в юбках всегда будут нуждаться в ней, Элси, или в ком-нибудь вроде нее — ведь кто-то должен таскать уголь, рубить мясо, латать одежду и стирать белье, чтобы ученые дамы могли жить. Судомойка, выносящая золу. А если судомойка выберется из кухни, как заколдованная принцесса в сказке, ее обязательно должна заменить другая, новая судомойка.

Но все равно Элси хотелось бы вырваться из кухни.

Возможно, то, что последним выступал Герберт Метли, было злосчастной случайностью.

Герберт Метли говорил о свободе половой любви, свободе тела, особенно для женщин. Но он не предупредил, что будет говорить именно об этом. Он сказал, что собирается говорить о Женщине Будущего, сравнивая несовершенное, плачевное положение нынешних женщин с их положением у нецивилизованных народов, а также у древних племен и других цивилизаций. Он поговорил о простейших организмах, которые постоянно размножаются и преображаются; о стадных животных, о коровах с теплыми боками, об умных слонах, которые все вместе заботятся о молодняке. Он говорил о древних цивилизациях, где женщин ценили, ставили на ступень выше мужчины, делали богинями и законодательницами. Он говорил о Праве Матери как организующей силе общества, о притягательной человеческой красоте обнаженных керамических богинь, найденных при раскопках в Трое Елены и на Крите Пасифаи. Он говорил о римских матронах, девственных весталках, священных храмовых танцовщицах.

Он дошел до современных женщин, которые в описываемом им мире были и жертвами, и развратительницами мужчин. Символом всего этого был «наряд» — такие женщины говорят о нарядах, а не об одежде. Женщины наряжаются для того, чтобы одновременно и подстегнуть естественное внимание мужчин, и отпугнуть его. Они пользуются духами, украшаются цветами, перьями и шкурами, отнятыми у других живых существ. Они подвергают себя пыткам — сдавливают свои тела, затягивая их в клетку из китового уса, чтобы придать им форму, на которой хорошо смотрится «наряд» — символ отдельности и порабощения. Женщины носят абсурдные туфли, которые сдавливают пальцы и искажают походку, не столь далекие от чудовищного китайского обычая бинтования ног. Все эти «наряды» метят женщину клеймом, одновременно зазывая и отталкивая мужчин. Нынешние женщины так же ярки, как самцы павлинов и райских птиц — они разукрашены мужскими символами доминирования, битвы — но живут, как пленные попугайчики, в клетках собственных нарядов.

Женщины должны иметь право встречаться и общаться на равных с другими людьми — как мужчинами, так и женщинами. Они должны

носить простые, но прекрасные одеяния и не поддаваться ложному стыду. Женские щиколотки прекрасны. Нет ничего стыдного в том, чтобы ехать на велосипеде в удобной для этого одежде, даже если она открывает посторонним взглядам такую потайную часть тела, как щиколотка.

Он поднял голову и обратился к слушателям, сидящим в дальних рядах.

— Однако разумное и удобное платье не обязано быть бесформенным, мрачным и некрасивым. В будущем, как и сейчас, молодая женщина с тонкой талией сможет радоваться новому красивому поясу. Между рациональным поведением и древним пуританским ханжеством не обязательно есть что-то общее. Мы не должны забывать, что женщина — это женщина, а не диван и не пирог.

26

Семья — и человек в семье — складывают картину своего прошлого сознательно и бессознательно, тщательно воздвигают ее, диктуют произвольным образом. Мать помнит летний вечер: все собрались на лужайке, на столе кувшин лимонада со льдом, все улыбаются — и она вставляет в альбом ту единственную фотографию, где все улыбаются, а неудачные с сердитыми лицами прячет в коробку. Ребенок помнит одну прогулку — подъем на холмы Даунса или пробежку зигзагом по лесу — из сотен таких же, забытых, и строит свою личность вокруг этого воспоминания. «Я помню тот день, когда видел зеленого дятла». Эти воспоминания меняются к двенадцати годам, к четырнадцати, двадцати, сорока, восьмидесяти… а может, они и не были никогда точным отпечатком того, что случилось на самом деле. Странные вещи застревают в памяти по необъяснимым причинам. Башмаки, что так и не пришлись по ноге. Нарядное платье, в котором девочка всегда казалась себе неуклюжей, хотя на фотографиях она в нем очень даже хорошенькая. Яростная ссора — одна из многих — из-за несправедливо

поделенного торта, или горькое разочарование из-за того, что родители решили не ехать к морю. Некоторые вещи — тоже воспоминания, такие же важные, опорные, как кости пальцев рук и ног. Красный кожаный пояс. Темный чулан, полный прекрасных, непристойных сосудов.

И память общества тоже остается вехами в памяти человека. Сначала все были викторианцами, а потом в январе 1901 года маленькая старушка, виндзорская вдова, королева и императрица, умерла. Европа была заселена членами ее семьи, чьи личные причуды, прихоти и ссоры формировали жизнь всех остальных семей. Когда Виктория слегла, ее немецкий внук, кайзер Вильгельм, прервал празднование двухсотлетия прусской короны и сел в свой личный поезд, идущий к Ла-Маншу. Он приказал не воздавать ему почестей, положенных императору. Он приехал только как внук. Его собственные подданные возроптали, считая, что кайзер мог бы и уважить их враждебное отношение к бурской войне. Жена его дяди Александра, принцесса Уэльская, ненавидевшая Гогенцоллернов, считала, что ему не место при английском дворе. На Ла-Манше светило яркое солнце и яростно штормило. Сам принц Уэльский в прусской военной форме встретил

племянника на вокзале Виктория. Кончины, как и свадьбы, — богатая почва для драм, как трагических, так и комических. Кайзер перехватил управление смертным одром. Он сидел рядом с бабушкой, поддерживая ее здоровой рукой, а с другой стороны сидел ее врач. «Она тихо отошла в моих объятиях», — сказал Вильгельм. Он и в похоронной процессии умудрился сыграть главную роль. Он ехал рядом с новым королем на огромном белом коне. В Виндзоре лошади, тащившие пушечный лафет с гробом, вдруг стали. Вильгельм соскочил со своего «бледного коня» и перепряг их. Лошади плавно двинулись дальше. Английская толпа разразилась приветственными криками в адрес кайзера. Его яхта «Гогенцоллерн» была пришвартована в Соленте, и 27 января королевские семейства отметили его день рождения. Казалось, Вильгельму не хочется возвращаться домой. Он предложил заключить союз двух тевтонских наций: Британия будет стоять на страже морей, а Германия — суши, чтобы «и мышь не шелохнулась в Европе без нашего разрешения и чтобы все народы рано или поздно поняли необходимость сокращения своих вооружений».

Принц Уэльский поднял собственный неболь-

шой бунт и объявил, что собирается править под именем Эдуарда VII. Виктория и Альберт назвали его Альбертом Эдуардом, но он решил последовать по стопам предыдущих шести Эдуардов.

— Альберт может быть только один, — сказал Эдуард в своей тронной речи, — тот, кого все называют — и я думаю, заслуженно, — Альбертом Добродетельным.

Однако Эдуарду были чужды добродетели Альберта. Народ немедленно прозвал его Эдуардом Сластолюбцем. Он любил женщин, спорт, хорошую еду и вино. Хилэр Беллок написал стихотворение об эдвардианской вечеринке.

Вино и карты за полночь сперва,
А после по затихшим коридорам
Они крадутся, полны озорства,
И, выжидая, прячутся за шторы.

У дюжей камеристки под надзором
Лорд Х остался, под хмельком дремля,
Жена его свиданьем грезит скорым,
А миссис Джеймс утешит короля.[55]

В воздухе висело ощущение, что веселиться

---

[55] Примечания: 55
Перевод А. Круглова.

нынче разрешено и даже обязательно. Жесткие черные фальбалы, гагатовые бусы, непорочно-белые чепцы, эвфемизмы и почтительность, высокую серьезность, и даже чувство долга и поиски глубинного смысла вещей полагалось высмеивать, превращать в пугала и хэллоуинские маски. Люди говорили и думали о сексе — легкомысленно и серьезно. В то же время у них появилась парадоксальная склонность — прятаться в детство, читать и писать приключенческие романы, сказки про пушистых зверьков, драмы о детях, не достигших половой зрелости.

Олив Уэллвуд стала матриархом — не очень охотно. Она выстроила свою собственную благодушную картинку семейства, живущего в «Жабьей просеке», невинного и благоденствующего. Тут были сыновья и дочери, младенцы спеленутые, ползающие и нетвердо ходящие, дети, переживающие реальные и вымышленные приключения в лесах и на холмах. Веселые сборища у камина зимой, на лужайке летом, где старые и молодые общались, обсуждали разные вопросы: смеясь, серьезно или здраво. В кабинете скрипело упорное перо, Виолетта носила на почту бандероли с новыми рассказами, с почты приносили

очень приятные чеки и восторженные письма читателей — и детей, и взрослых. Все это было творением Олив, как и миры волшебных сказок и приключений, которые, однако, порою были для нее реальнее завтрака или ванны. Лишь Олив и Виолетта знали, что оба мира созданы наперекор выгребным ямам, саже, грохочущим под землей ужасам и оседающей повсюду черной пыли. Леса, холмы, трава у дома, камин, конюшни были настоящей реальностью, существование которой поддерживалось неустанной изобретательностью и силой воли. В минуты слабости Олив видела свой сад сказочным дворцом, откуда принц или принцесса не должны выходить, иначе произойдет нечто ужасное. Они сидели в саду, обнесенном стеной, а снаружи слонялись и рычали мрачные гоблины. Она сама создала, написала этот мир с той же изобретательной силой, с которой сочиняла сказки.

Олив не могла представить себе и не представляла, что кто-либо из обитателей сада, обнесенного стеной, захочет его покинуть или что-нибудь в нем изменить. Но ее сказки знали правду. И Олив приходилось на многое закрывать глаза, чтобы сохранять спокойствие и по-прежнему слышать уверенный скрип пера.

Почти одновременно с кончиной Виктории Олив выпустила книгу сказок, имевшую большой успех. В книгу вошла сказка про призраков и марионеток на Всемирной выставке, а также зловещая и затейливая история про «Человечков в домике», о том, как девочка запирает крохотных человечков в кукольном домике, а потом сама попадает в плен к ребенку-великану.

Популярный журнал прислал молодую женщину с фотографом, чтобы взять интервью. Фотограф заставил миссис Уэллвуд надеть бархатное платье и позировать у камина в кресле-качалке, делая вид, что она читает младшим: Филлис, которой теперь было четырнадцать лет, и Гедде, которой исполнилось одиннадцать, в платьях-халатах и черных чулках, с блестящими распущенными волосами на плечах — у Филлис светлыми, у Гедды черными; девятилетнему Флориану, семилетнему Робину и пятилетнему Гарри в матросках. Виолетта разносила какао и печенье и на снимке не фигурировала. Журналистка, Луиза Кэтчпол, благоговейно писала о блестящих головках слушателей: «Тишина стояла такая, что слышно было бы, как мышь пробежала или жук пролетел», написала она, принимая нужный тон. Она спросила каждого

из детей, какую сказку он любит больше всего, и слегка растерялась, услышав ответы. Олив пришлось объяснить, что у каждого из детей есть своя личная сказка с продолжением, которая записывается в специально оформленную книгу и хранится в шкафу за стеклом. Луиза Кэтчпол сочла эту идею очаровательной и попросила разрешения взглянуть на книги. Фотограф сфотографировал книжный шкаф и по-разному украшенные обложки индивидуальных сказок. Мисс Кэтчпол сказала детям, что они, должно быть, чувствуют себя очень-очень особенными оттого, что у каждого из них есть своя особенная сказка. Филлис серьезно ответила, что да, они чувствуют себя особенными, еще бы.

Интервью с фотографиями вышло под заголовком «Матушка-Гусыня наших дней». В статье упоминались уверенное материнское спокойствие миссис Уэллвуд, ее выразительный голос, вплетающий в сказки тайну, трепет и опасность при мерцающем свете камелька, в пламени которого играют сказочные твари. Далее мисс Кэтчпол писала, что миссис Уэллвуд твердо убеждена: игра воображения не менее важна в образовании детей, чем глаголы и треугольники. Семья миссис Уэллвуд гораздо шире, чем кру-

жок прелестных детишек, собравшихся вокруг нее; в каждой семье, обеспеченной или бедной, покупающей книги или берущей их почитать, найдутся ее благодарные дети. Люди нашего века, заявляла мисс Кэтчпол, не расстаются с детством в отличие от серьезных викторианцев. Детские сказки, в том числе сказки миссис Уэллвуд, с удовольствием читают и обсуждают и дети, и взрослые. В каждом энергичном взрослом сидит жадный до жизни ребенок, и миссис Уэллвуд умеет обратиться к этому ребенку, заворожить его, как и свое собственное внутреннее дитя.

Человечки в домике

Жила-была маленькая девочка, которая очень любила все маленькое. Она делала гнездышки и выставляла их на улицу, надеясь, что птички их найдут и поселятся в них. Она ходила к пруду ловить головастиков и сажала их в банку из-под варенья, а потом горько плакала, когда они все умирали. Она строила домики из спичечных коробков для гусениц и божьих коровок. И еще у нее был прекрасный кукольный дом, в котором жило семейство кукол с фарфоровыми лицами и тряпочными телами.

Девочка устраивала для кукол из кукольного

дома роскошные кукольные пиры. Она варила варенье так, чтобы каждой кукле достался собственный кусочек черничинки, и пекла булочки с изюмом — в каждой булочке по одной изюминке, и крохотные пирожные-корзиночки, по размеру лишь чуть-чуть больше хорошеньких фарфоровых тарелочек, стоявших на столе в кукольном домике. Девочка подавала куклам крохотные стаканчики мороженого (с красносмородиновым вареньем) и крохотные печенья с цветочками из глазури. Неприятности начинались, когда еда заветривалась и приходилось ее выбрасывать, — мама девочки сказала, что иначе на нее прибегут мыши или еще какие-нибудь гадкие создания, например, жуки или мокрицы. Мама очень следила за чистотой.

Девочку звали Рози. Ее мама любила розы. Кукольный дом был раскрашен в разные оттенки розового цвета. Рози шила для кукол одеяльца и коврики. Она пыталась шить и одежду, но такая тонкая работа ей не давалась, и куклы очень смешно выглядели в шляпках и жакетах ее работы. Так что она шила им одеяльца и коврики. У некоторых кукол их было уже по десять-двенадцать.

Рози играла, как будто куклы сами застилают

себе постели и готовят еду, и ходят в школу, и спят, но у нее не очень хорошо получалось, и она прекрасно знала, что они не могут и двинуться без помощи ее ловких пальчиков.

Как-то раз Рози отправилась в парк, чтобы поглядеть на зверьков и птичек. Ей показалось, что под корнями дерева мелькнул жук. Она громко засмеялась, потому что жук был ужасно похож на старушку в жестком плаще. А потом Рози увидела, что это и есть старушка в жестком плаще; старушка махала перед собой какой-то палкой, которую Рози приняла за жучиные рога. Рози очень тихо присела — она умела наблюдать за животными — и вскоре заметила еще двух человечков, которые бежали по траве, прячась в тенях листьев и камушков. Человечки были одеты в такие же негнущиеся бурые одежды, похожие на трубочки. На головах у них были круглые блестящие черные шапки. Казалось, они нарочно стараются походить на жуков.

После этого Рози часто приходила поглядеть на человечков. Она увидела, что они протаптывают тропки, как муравьи, и вечно бегают по этим тропкам. Она приносила с собой увеличительное стекло, которое подарил ей дядя, и, когда человечки прятались под землю, рассматривала корни

деревьев. Рози нашла шкафчики и чуланы, где на грубо сработанных, едва различимых полках лежали сверточки из сухих листьев, а с тончайших крохотных крючков свисали тонкие сеточки, набитые семенами — бука, чертополоха, подсолнечника. Под другим корнем Рози нашла хорошо замаскированный крытый рынок, где корзинки из ореховых скорлупок стояли на складных столах из веточек, и человеческому глазу или глазу любопытного щенка все это должно было показаться случайными кучками трухи. Здесь продавались крохотные глиняные кувшинчики и кружки, наполненные жидкостью чуть гуще воды — это мог быть сок или разбавленный мед. В тарелках из каштановой кожуры лежало что-то вроде свеженарубленного мяса, но Рози не могла понять, что это за мясо.

Она смотрела, как человечки приходят и уходят, и изучила расписание их сборищ. По вторникам они танцевали под самой высокой аркой — их музыка звучала для Рози как шепот, царапанье, слабый скрип. Рози видела музыкальные инструменты, похожие на скрипки, и свирели из соломинок, но не могла разглядеть струны, смычки и дырочки для пальцев. Рынок работал не каждый день. Человечки ходили туда два раза в

неделю, толкаясь и едва слышно пища, как цыплята. Рози положила у корней несколько бисеринок, чтобы посмотреть, что человечки будут с ними делать. Человечки их огибали.

Рози пришло в голову: как изумились бы человечки, если бы перенеслись из мрачного потайного мира в розовые шелковистые покои кукольного домика! Она уговорила мать купить ей сачок для бабочек, с небольшим отверстием, и пошла с ним в парк, прихватив пару банок из-под варенья, с крышками и веревочками. Она подождала, пока танцы будут в самом разгаре, прижала сачок к пространству под корнем и энергично пошевелила палкой среди танцоров, так что они подскочили и бросились врассыпную. Как она и ожидала, несколько человечков совершили ошибку и бросились в зев ее сачка. Она выудила их — их было штук восемь — и осторожно пересадила в банки. Поднесла банки к глазам и хорошенько разглядела. Ей попались три старушки, двое детей, одна молодая женщина и двое мужчин неопределенного возраста. Все они лежали ничком, прикрывшись плащами, прикидываясь дохлыми насекомыми или опавшими листьями. Но Рози-то знала правду.

Придя домой, она открыла банки, поднесла ко

входу в дом и потрясла, чтобы человечки выскочили и вбежали в дом. Но они не шевелились. Ей пришлось выковыривать их вязальной спицей. Это казалось жестокостью, но на самом деле было для их же блага. Тогда человечки кое-как вползли в дом и замерли на полу в гостиной. Заботливая Рози задернула окно розовенькой шелковой занавесочкой, чтобы человечки могли прийти в себя в уединении и полумраке. Потом она хорошенько заперла дверь домика и ушла. Она решила, что человечки придут в себя, освоятся и будут с ней играть. Когда она вернулась, человечки уже отдернули занавеску и выглядывали наружу, прижимая к окну лица, похожие на бусинки. Увидев Рози, они попрятались — заползли под кукольные кроватки и за хорошенькие диванчики. Рози просунула в дверь подарки — тарталетки и бисквиты, цветы из сахарной глазури и сладкую посыпку для пудинга, ворох бальных платьиц и бархатных курток из кукольного гардероба. Вдруг она заметила, что человечки стащили всех кукол, прежних обитательниц домика, в беспорядочную кучу в углу кухни. Рози поставила в дом кукольные чайнички, наполненные лимонадом, на случай, если человечки захотят пить.

Но они не стали с ней играть. Они были хуже

кукол, потому что, когда Рози пыталась брать их в руки и одевать, они противно, едва слышно визжали, а один из них не то укусил, не то проткнул чем-то острым ее мизинец, и на нем сделалась противная болячка. Они не тронули хорошенькие кушанья, а хорошенькие платьица изорвали в клочки и устроили из них что-то вроде гнезд на кроватях и диванах. Рози знала, что ей следует сделать, но она была упряма, ей было одиноко, и она хотела человечкам добра, поэтому она сидела и шептала в замочную скважину и в трубу, что хотела только, чтобы они играли, чтобы пользовались красивыми вещами из домика, и если они будут с ней играть, она даст им всякие хорошие вещи, которых у них нет, — тачки, комоды, даже маленький омнибус. Человечки притворялись мертвыми. Она подумала, что они, может быть, голодные, и догадалась, что их можно кормить овсянкой, наложенной в кукольные мисочки, — овсянка была больше похожа на то съестное, которым человечки торговали у себя на рынке.

Рози начала ощущать себя, сама того не сознавая, огромным чудовищем. Собственные пухлые ручки казались ей огромными окороками, пальцы — скалками.

Она говорила:

— Ну пожалуйста, поиграйте со мной, это же такой красивый домик.

А надо сказать, что дом Рози стоял на краю луга, у холодного ручья с водопадиками. Ручей бежал с горы и разливался зеркальными прудами по плоской равнине, среди ив и серебристых тополей. В стародавние времена земли по эту сторону реки назывались Спорными землями, и там никто ничего не строил, потому что за горой лежала странная страна: туда никто не ходил, а оттуда иногда появлялись странные создания и твари. Рассказывали о диких волках, стекающих по склону серыми облаками, и о волшебном народце в зеленых плащах и мягких сапожках, торговавшем на базаре волшебными яствами: эти яства таяли во рту и доводили молодых женщин до истощения и голодной смерти, ибо, попробовав эти бледные бисквиты и терпкосладкие ягоды, они отказывались от любой иной пищи. Рассказывали также о великанах, которые огромными ножищами перешагивали горную гряду и спускались на равнину, набивали карманы коровами и овцами, выдергивали целые деревья, оставляли за собой песчаные карьеры — отпечатки ног. Рози знала эти сказки и с удовольствием

слушала их. Ей, как и всем детям, недостаточно было того, что можно увидеть и потрогать. Но, помимо этого, она, как и все дети, наслаждалась сознанием того, что драконов и ведьм, великанов и лесных демонов не бывает. Они реальны только в ином мире, где путешествует ум, но не тело. Страна-за-горой постоянно меняла цвет, форму и очертания, потому что Рози каждый раз придумывала ее заново, с дрожью восторга и сладким ужасом, какой испытываешь, сидя у камина.

Но, может быть, такие вещи снятся нам лишь потому, что где-то когда-то существовали, существуют, именно такие, какими мы их себе представляем? Рози никому не рассказала про человечков, живущих у нее в кукольном домике; они были вполне настоящие и очень даже сердитые, а значит, существовали не только в ее воображении. Но она не хотела ими ни с кем делиться — вдруг они тогда исчезнут, несмотря на всю свою настоящесть.

Однажды Рози лежала на животе на полу, заглядывая в окно кукольного домика. Мать ушла за реку — в деревню, на рынок. Рози услышала грохот — словно кто-то бил молотом по дороге, или кузнец работал в кузнице. Бум, бум, бум, что-то

страшно тяжелое обрушивалось на землю. Пол в доме Рози задрожал, и Рози тоже задрожала. В окнах потемнело. Зашумел ветер, в трубе послышались шорохи и вздохи. Рози подняла голову, попыталась выглянуть в окно и сперва не поняла, что видит. Там было что-то бархатно-черное, окруженное концентрическими сплетенными лучами — бледно-голубыми, серебристыми и изумрудно-зелеными. Вокруг кольца из лучей было что-то белое, нечто среднее между бланманже и белком сваренного в мешочек яйца. Это был глаз. Глаз размером с окно. Раздалось страшное, грубое пыхтение, словно падал большой дуб. И тут дом Рози закачался из стороны в сторону. И начал подниматься, словно какой-то великан тянул его вверх, выдирая из земли с корнем. На самом деле так оно и было. Рози стало плохо, и она вцепилась в табуретку, но это не помогло, потому что табуретка стремительно полетела туда, куда клонился пол, а потом обратно. Дом подняли, потрясли и уронили, и он с приглушенным стуком упал куда-то в мягкую тьму. Потом его снова подняли и куда-то понесли огромными рывками — это были шаги. Кто-то бросил весь дом целиком в огромный мешок и теперь уносил его прочь. Рози расплакалась. Наконец — шаги

все не прекращались — она не то уснула, не то потеряла сознание.

Чуть позже она осторожно выглянула в кухонное окно. Она увидела огромные резные столбы, которые уходили ввысь и скрывались из виду. Рози поняла, что это — ножки огромного стола, а столешница слишком далеко и потому не видна. Рози разглядела ведро, размером с весь ее дом, и кучу перекрывающих друг друга разноцветных одеял — Рози догадалась, что это лоскутный коврик; он был размером с поле. Тут снова послышался грохот, и Рози увидела блестящий ботинок и толстый белый носок: ботиночек маленькой девочки, но на огромной ноге. Послышались шелест и стук, и в окне опять появился огромный глаз. Открылась парадная дверь. Рози прижалась к стене. Гигантская девочка начала бормотать и реветь — Рози поняла, что это ее пытаются так успокоить. Пухлая ручка размером с диван втиснулась в дверь, повернулась и потянулась к Рози пальцами размером с диванные валики. Большой и указательный пальцы сомкнулись вокруг сопротивляющейся Рози, вытащили ее наружу, как она ни упиралась, и подняли в воздух. Великанское дитя сидело на ковре, и ворох ее алых юбок напоминал складки холмистой местно-

сти. Девочка-великан ухватила Рози за талию, поднесла к глазам и прищурилась. У девочки была огромная копна толстых, блестящих желтых волос, окружающих ее голову ореолом, похожим на солнце. Ее дыхание звучало как шум кузнечных мехов. Глаз такого размера — это ужасно: пятно мокрого цвета вокруг черной дыры в неизвестный разум. Снова послышались громогласные успокаивающие звуки.

Рози вырывалась, изворачивалась и шипела, как сердитый котенок. Она изо всех сил вонзила зубы в державший ее палец, и девочка-великан заорала так громко, что Рози едва не оглохла. Рози продолжала бороться, царапаться и кусаться. Огромная слеза появилась на нижнем веке великанского глаза, перелилась через край и упала — тяжелый жидкий шар — на руку, державшую Рози. Потом еще одна. Рози впихнули обратно в дверь дома; пальцы вытащили ключ, повозились, вставили его в замок снаружи и повернули. Потом на окнах снаружи закрылись ставни, и мир Рози погрузился в пыльную тьму.

Рози совсем забыла о человечках в кукольном домике. Она вспомнила о них, когда девочка-великанша открыла дверь и всунула туда тарелку размером с поднос для чайного сервиза, с руб-

леными кусками какого-то фрукта или овоща — может быть, репы или груши. Они страшно воняли. У Рози пока была еда — на кухне и в чулане хранились крекеры и сыр. Но отвращение, вызванное великанской пищей, вдруг наполнило ее раскаянием за то, что она сделала со своими собственными пленниками. Она встала на колени у кукольного домика, плана, открыла задвижку, удерживавшую на месте переднюю стену дома, и шепотом сказала:

— Простите меня. Простите. Я бы вас выпустила, я вообще не должна была запирать вас, но мы теперь все пленники. Наверное, вы не понимаете ни слова из того, что я говорю. Я хочу попросить у вас прощения. Простите меня.

Человечки сгрудились в гнезде из кукольных одеял. Одна старушка встала. К удивлению Рози, она заговорила. Голос был высокий и царапающий, как стрекот кузнечика. Рози пришлось задержать дыхание, чтобы расслышать.

— Мы понимаем. То есть мы понимаем твой язык. Но мы не понимаем, почему ты взяла нас в плен, и не хотим понимать. Мы хотим вернуться домой.

— О, если бы вы только могли вернуться домой! Но кто-то унес меня вместе с моим домом, и

теперь мы заперты в великанской кухне. Посмотрите.

Она очень осторожно подняла старушку и поставила ее на стол, чтобы та могла выглянуть наружу через щелку между ставнями. Старушка приказала Рози принести остальных. Рози очень вежливо попросила их перебраться в ее корзинку для шитья и в корзинке поднесла их к окну.

Они явно не понимали, что перед ними. Рози стала объяснять:

— Это ножка стола, а это край коврика. Это тарелка с едой, которую чудовище поставило для меня, но эта еда противная и ужасно воняет. Вам придется мне поверить. Оно взяло ключ и заперло дверь снаружи. Это чудовище.

— Это ты чудовище, — очень сердито просвистел один человечек. — Мы не слепые.

— Ох, простите меня, — снова сказала Рози и заплакала. Слезы ее падали в швейную корзинку меж пленников и разбивались, и одному из детей в лицо попала целая волна соленой воды.

— Теперь вы видите, — сказала Рози. — Нам отсюда не выбраться.

— Это тебе отсюда не выбраться, — сказал человечек. — А нам можно. Мы можем протиснуться под дверью, потому что там есть щель.

Нам легко сбежать, но куда идти после этого, мы не знаем.

Тут они все замолчали, потому что послышались громовые шаги великанского ребенка. В щели между ставнями показалась красная юбка. Чудовище посмотрело, съела ли Рози принесенную ей пищу, и увидев, что нет, тяжко вздохнуло. Потом заговорило — непонятно загремело, как орган в церкви. Рози молчала. Дверь снова закрылась, и ключ повернулся в замке.

Рози сказала:

— Когда стемнеет, вы можете выбраться наружу и убежать куда-нибудь. Я думаю, чудовище вас даже не заметит, потому что вы очень маленькие. Вы можете убежать, как пауки.

Но тут старушка сказала нечто удивительное.

— Если ты, мисс Рози Чудовище, вытолкнешь ключ наружу, мы пролезем под дверью, где ступенька чуть ниже, и возьмем с собой веревку, и привяжем ее к ключу, так что ты сможешь втянуть его обратно внутрь и открыть дверь.

Рози страшно удивилась.

— Но с какой стати вы будете мне помогать?

— Ну, — ответила другая женщина, — можно сказать, с практической точки зрения: ноги у те-

бя гораздо длиннее наших, а ведь нам еще домой добираться. А можно сказать, что мы не любим, когда людей запирают и превращают в игрушки. А можно сказать и то, и другое.

И добавила:

— Не плачь. Нам от этого мокро.

Рози сказала:

— Даже если мы выберемся из моего дома — я не знаю, где мы и как нам спастись из этой кухни.

— Пусть так, — ответил один из человечков. — Все по порядку. Сначала мы выберемся наружу. Потом спрячемся. Мы очень хорошо умеем прятаться, и тебя научим. Потом найдем дорогу домой.

— Но нам придется перебраться через гору.

— Значит, мы найдем эту гору и переберемся через нее. Слушай меня, юное чудовище. В этом ярко-розовом платье ты бросаешься в глаза. До захода солнца найди себе какую-нибудь одежду цвета тени и опавших листьев. Собери в мешок еду, какую ешь сама, и положи туда овсянки для нас. Мы можем путешествовать в этой корзинке, прячась между катушками. Подумай, что может понадобиться тебе в пути. Что-нибудь такое, чем можно резать и колоть. Что-нибудь такое, из чего можно пить — для тебя и для нас.

А теперь иди ищи веревку, чтобы втянуть ключ.

Рози послушалась его, и они дождались наступления ночи и сделали как договорились.

О том, как они добирались домой по ущельям и высокогорным равнинам, о том, как большая девочка помогала маленькому народцу, а они ей, нужно рассказывать в отдельной сказке...

27

Говорят, у каждого ребенка свои родители. Родители Тома были моложе и безрассуднее родителей Робина. Гарри никогда не знал семьи без старших детей, которые казались такими могущественными и свободными, приходили и уходили по своим загадочным делам, не запертые в детской. Для младших семья была стаей созданий, которые движутся кучками и группами, живут в общих детских, имеют общие чувства и мнения. Том и Дороти были уже почти взрослые и самодостаточные существа: они начали думать о будущем вдали от «Жабьей просеки», полном зыбких надежд и страхов, а у Дороти — еще и с нелегко достижимой, иногда пугающей целью. В конце 1900 года Тому было восемнадцать лет. У родителей сложились планы на его будущее: осенью он должен был держать экзамены на право учебы в университете, а в конце года — экзамен на стипендию Кингз-колледжа в Кембридже. Родители наняли учителей — Тоби Юлгрива и Иоахима Зюскинда. Помимо этого, они нечасто задумывались, чем занята (или не занята) голова Тома. Олив продолжала по временам писать про

подземные приключения, и Том читал написанное; год проходил, Тому становилось все больше не по себе, он даже ощущал себя виноватым из-за того, что так поглощен сказкой. Когда в усадьбу приехала журналистка и ей показали тайные книги, Том рассвирепел, хоть эти книги и не были по-настоящему тайными, ведь о них все знали. Он заявил, что такие частные, семейные вещи не выставляют на публику только для того, чтобы похвастаться. Так *не делают.* Олив оправдывалась, что не собиралась этого делать, что это вышло само собой. Они кое-как помирились, но Том дулся еще недели три.

Ни Хамфри, ни Олив не знали в точности, какие предметы изучает Том для будущих экзаменов. Хамфри все время был в разъездах — он читал лекции и писал статьи. Олив сидела в кабинете и скрипела пером. Виолетта готовила пудинги с мясом и почками, штопала носки, а если у Тома был усталый вид, давала ему перед сном молоко и печенье. Иоахим и Тоби допускали возможность, что экзаменов Том не сдаст. В частности, потому, что он иногда просто не являлся на занятия — «я пошел в поход, далеко, спал в палатке, забыл, извините, пожалуйста». Иоахим и Тоби не рассказывали Хамфри и Олив об этих прогулах. Они

стали ходить вместе с Томом на прогулки и по дороге обсуждать с ним Шекспира и ботанику.

Результаты осенних экзаменов были странны и поразительны. Том сдал элементарную ботанику с отличием, но провалил общие основы науки. Он провалился по латыни и едва вытянул английский. Он сдал «Основные принципы света, звука и тепла» и провалил математику, чего Иоахим вообще не мог понять. Конечно, учителям Тома было неприятно. Кроме этого, они считали, что Хамфри и Олив могли бы несколько сильнее обеспокоиться неровными результатами и явным равнодушием Тома к исходу экзаменов. Но Хамфри и Олив сказали: ничего страшного, он может снова держать эти экзамены одновременно со вступительными испытаниями в Кембридж. Он справится, сказали родители, хотя никаких оснований для такой уверенности у них не было.

В течение нескольких месяцев, оставшихся до кембриджских экзаменов, Том уходил из дома все чаще, в любую погоду. Он брал учебники с собой в древесный дом. Дороти, которая беспокоилась о брате, не знал, как часто он их открывает. Но она знала, что он подружился с лесником и ходит с ним по лесам, выслеживая хищников и браконьеров, выискивая запрещенные ловушки

и капканы. Лесник сначала отнесся к Тому враждебно — лесники не любят гуляющих по лесу детей и отдыхающих, — но теперь, по-видимому, стал принимать Тома всерьез, считая его чем-то вроде подмастерья. Однажды Том показал Дороти виселицу на черной просмоленной стене лесной хижины. К стене были рядами прибиты мертвые изломанные тельца с клювами, острозубыми пастями, приоткрытыми в агонии. Некоторые были совсем свежие — лупоглазая сова, прибитая за крылья, сойка со свернутой шеей, пара горностаев. Другие уже истлели под ветром и солнцем, и от них остались лишь клочки заплесневелой кожи, на которых кое-где еще держались мелкие косточки, зубы, слипшееся перо. Дороти сказала, что это ужасно, а Том ответил, что нет — так устроена жизнь, так живет реальный мир. Дороти как бы небрежно спросила:

— Может, ты на самом деле хочешь стать лесником?

— Ой, нет, — ответил Том. — Я должен идти в Кембридж, это решено. Я просто… мне нравится узнавать у Джейка всякое, учиться новому… например плотницкому делу…

За неделю до кембриджского экзамена Том вышел из дому ночью — не с Джейком, а один.

И не вернулся. Были организованы поисковые партии — с большим запозданием, потому что все ждали, что Том придет, как приходил всегда. Его нашли без сознания в неглубоком карьере, со сломанным запястьем и окровавленной головой. Ногу по-прежнему обматывал силок, в который Том попал, выслеживая браконьеров при лунном свете на краю карьера. Том два дня лежал в забытьи, а когда очнулся, то вроде бы плохо соображал и не мог вспомнить, что с ним случилось. Виолетта приносила ему питательный бульон и кормила с ложечки. Он лежал, забинтованный, среди подушек, кротко глядя в окно, на небо.

Конечно, при сложившихся обстоятельствах он никак не мог держать кембриджский экзамен на стипендию и даже вступительные экзамены пересдавать не мог из-за сломанного запястья.

Дороти показалось, что в глубине души он этим гордится.

Том и Дороти замечали то скрытое, потайное, что творилось в семье, а потом, как правило, об этом не думали. Они слышали очередную «арию» Олив за запертой дверью или видели, как Хамфри вдруг, второпях собирается и уезжает. Том и Дороти принимали это к сведению и молчали. Оба боялись раскрыть что-то такое, о чем лучше

не знать. У Гедды сдерживающих инстинктов не было. Она была по натуре сыщиком, изыскателем, открывателем тайн и сдирателем покровов. В 1901 году ей было одиннадцать лет, и она не попадала ни в старшие, ни в младшие. Многие часы ее детства прошли в слежке за древесным домом, в попытках подслушать разговоры, участвовать в которых ее не приглашали. Именно Гедда навостряла уши, когда за столом небрежно и многозначительно произносилось имя Мэриан Оукшотт, и Гедда же узнавала почерк миссис Оукшотт на конвертах, хотя ни разу не зашла так далеко, чтобы попробовать прочитать хотя бы одно письмо. Гедда некрепко спала, и по ночам разгуливала босиком по дому, сидела на черной лестнице, стояла в тени высоких шкафов на лестничной площадке. Она знала, что ночью взрослые крадучись ходят по дому. Она знала — и пока ни с кем не поделилась, — что Хамфри Уэллвуд глубоко за полночь навещает Виолетту Гримуит. Он всегда закрывал дверь бесшумно. Гедде хотелось подслушать у замочной скважины, но она ни разу не решилась.

Но как-то ночью из-за двери донеслось что-то непохожее на обычный шорох или хихиканье. Там отчетливо звучали страстные, бурные рыда-

ния, а мужской голос шептал, запинаясь, что-то успокоительное. Виолетта выла, и Гедда подкралась поближе к двери, потому что в этом вое слышались слова, а Гедда поняла, что двое в комнате слишком заняты своим скандалом и не будут прислушиваться к возможным шагам подкрадывающихся детей.

— Может быть, ты ошиблась, — произнес голос Хамфри с деланым спокойствием.

— Раньше я не ошибалась. Мне только чуть за сорок, так что это вполне возможно. Я не могу снова пройти через это, не могу, не могу, не могу. Опять боль, страх, опять нужно будет прятаться. Я умру. И она меня на этот раз убьет, точно убьет…

— Тише, цветочек мой, — сказал Хамфри, и Гедда не поверила своим ушам. — Я о тебе позабочусь, как всегда заботился, мы с тобой находчивые ребята и все устроим, как всегда. Мы ведь с тобой умники. Мы никому ничего плохого не хотим.

— Она меня убьет на этот раз. И я уже больше не могу прятаться, лгать, это невыносимо. Мои дети, плоть от плоти моей, не знают, что они мои… Хотя в каком-то смысле они все мои — кто их мать, как не я? Ох, Бубочка, на этот раз я не переживу, опять скрывать, притворяться, хитрить,

я так устала, я лучше умру, покончу с собой…

— И что тогда будет с твоими любимыми детьми? Тише, успокойся, подыши глубже. Я схожу принесу тебе бренди во фляжке.

— Лучше джину, — сказал голос Виолетты прерываемый рыданиями. — Большой стакан неразбавленного джину.

Гедда быстро отступила за шкаф и прижалась к стене. Поджарая фигура отца пронеслась мимо нее и слетела вниз по черной лестнице. Гедда отвлеклась на невероятно дурацкое прозвище. «Бубочка». Оно страшно принижало умного, элегантного отца — почти так же, как внезапно обнаруженная связь с Виолеттой. Это было еще менее приятно, чем его ошибка с Мэриан Оукшотт. И еще Гедде не понравилось, что Виолетта считает Олив способной «убить» кого бы то ни было. С точки зрения Гедды, Олив провинилась разве что некоторой отстраненностью.

И только тут до Гедды дошло услышанное: ей сообщили, что некоторые дети — неизвестно, сколько именно — были, как выразилась Виолетта, плотью от ее плоти.

Кто? Кто из них — не тот, кем себя считает?

Что все это значит?

Гедда услышала, как, бесшумно ступая в та-

почках, возвращается отец с бутылкой и двумя стаканами. Гедда подождала, пока он войдет обратно в комнату, и удалилась. Она изменилась — и сама не знала, как именно.

Гедда позвала старших на собрание в древесном доме. Такое случилось впервые. Собрания почти всегда созывал Том, иногда — если нужно было обсудить какие-то практические вопросы, вроде подарков на день рождения, — Дороти. В число старших детей входили Том, Дороти, Филлис, а теперь и Гедда. Она сказала, что они обязательно должны прийти, это очень важно, и это секрет, секрет, секрет.

Они расселись на табуретках из пней, в потайной полости дома, шелестящей побуревшим папоротником. Том разлил лимонад из бутылки в пеструю коллекцию эмалированных кружек — синих, белых и черных. Он сказал чуть свысока:

— Ну что у тебя там?

Гедда вдруг растерялась и не знала, как начать. Как только это выйдет наружу, оно начнет на них действовать. Пока что оно глодало только ее.

— Я кое-что узнала.

— Ты вечно что-нибудь узнаешь. Подслушивать нехорошо.

— Это важное. Оно все меняет.

Тому привиделось банкротство. Дороти решила, что отец собирается их бросить навсегда — может быть, переехать к миссис Оукшотт. Филлис замерла, стала еще неподвижнее. У нее была невероятная способность не двигаться: не то сосредоточенность, не то окаменение.

— Вываливай, — сказал Том. — Раз уж начала, так заканчивай.

— Я видела. Я слышала. Он по ночам, поздно, ходит в комнату к тете Виолетте. И остается там надолго. Я его и раньше видела. Их слышно. И понятно, что они делают.

— Ты не можешь этого знать, если ты их не видела, — сказала Дороти.

— Они издают *такие* звуки. Он зовет ее «цветочек». А она его — Бубочка, — выпалила Гедда.

Эта новость расстроила всех и всех разозлила. Они злились не на Хамфри и Виолетту за то, что те делали и говорили, а на Гедду за то, что она рассказала.

— Вчера ночью она сильно плакала. Она сказала, что в чем-то уверена и что раньше не ошибалась. Она сказала, что лучше бы она умерла. И что ей страшно.

— Ну и что? — спросил Том, чье воображение спасовало. Гедда сморщила лоб от боли и ярости.

Она посмотрела на Дороти, которая собиралась стать врачом.

— Она сказала, что у нее будет ребенок, вот что она сказала, — объяснила Гедда. — И еще она сказала… что у нее и раньше были дети… она сказала… я слышала… что кое-кто из нас на самом деле ее. Она сказала «плоть от моей плоти».

Том и Дороти не поверили в эту театральную формулировку, так же как и в прозвище Бубочка. Но единожды сказанное уже вошло в мир. Брат и сестра еще сильнее разозлились на Гедду.

— Ну и что? — слегка раздраженно спросил Том. Если он и был в чем-то неколебимо уверен, так это в том, что он — сын своей матери. — Что мы должны делать, по-твоему?

— Если мы… не те, кто мы думаем… хорошо бы об этом знать.

— Не думаю, — отрезала Филлис. — Что толку? Мы все равно те же самые люди, в том же доме, в той же семье.

У Дороти в голове была страшная каша. Дороти знала, что она не похожа на Тома, и всегда чувствовала себя как бы на краю человеческой общности. Другая. Она всегда думала, что все дети ощущают себя «другими». Всегда чувствовала, что она раздражает Олив. Но раньше объясняла

это тем, что Олив слишком всепоглощающе любит Тома, и у нее не остается любви для Дороти. Но, может быть…

Ей вспомнилась написанная для нее сказка. Про оборотней: про человечков, деловито суетящихся по хозяйству. Они вешают шкурки животных на крючок в кухне, потом надевают их, становятся наполовину ежиками, убегают и пропадают в кустах и канавах.

Виолетта деловито суетилась по хозяйству. Она по натуре была домовита, как ежихи-женщины в фартучках, обитающие в подземных кухнях сказки Дороти.

Дороти хотела не иметь воображения. Она хотела отмерять химические вещества, сращивать сломанные ноги, вылечивать больные органы. Но она отличалась ясным и беспощадным воображением. Если кто-то из них действительно ребенок Виолетты, это наверняка сама Дороти.

Но она ничего из этого не сказала вслух. Она обратилась к Гедде:

— Вот так и хочется тебя встряхнуть, чтоб зубы застучали.

— Я не понимаю, чего вы на меня злитесь. Это на них надо злиться.

Никто из четверки даже не попытался — им

мешал какой-то глубинный барьер — вообразить ощущения Бубочки и Цветочка, их невыносимое положение, их восторги и беды. Дети мучительно переставляли в голове семейные фигуры, словно шахматы на доске, где вдруг пропал слон и оказалось слишком много коней, или королева сошла с ума и заметалась убийственным зигзагом.

Знание — сила, но не в том случае, когда это знание неполно, а знающий — зависимый ребенок, и без того выбитый из колеи стремительными переменами в собственном теле, бурлящими эмоциями, ощущением, что на стены сада надвинулся ожидающий тебя внешний мир. Знание — это еще и страх. Чтобы справиться с принесенными Геддой новостями, Том ушел на дальнюю прогулку. Он топал по холмам со спальным мешком за спиной. Быстрая ходьба — отличный способ дать выход любым эмоциям: страху, похоти, панике.

Филлис навела идеальный порядок у себя в комоде и рабочем столике. Она зашила рваный фартук. Виолетта сказала, что и она могла бы зашить, а Филлис ответила, что знает, но хотела сама.

Гедда, со свойственной ей прямотой, подумала, что новое знание поможет отразить опасность

от уже имеющегося. Она ловила каждое слово в разговорах взрослых и еще решила, что если детей так обманывают, то и она все-таки имеет право читать чужие письма и сделает это при первой возможности.

Дороти смотрела на все окружающее так, словно оно могло исчезнуть. Яркие повседневные тарелки и чашки, баночки с пряностями, ступени лестницы, голуби у конюшни. То, что раньше было реальным, стало похоже на толстую пленку, разноцветную промасленную ткань, натянутую над котлом, откуда поднимаются испарения, обретающие и меняющие форму, окутывающие тебя, угрожающие, пронзающие взглядом.

Она разглядывала Виолетту. Она всегда корила себя за нелюбовь к Виолетте. Виолетта была придирчивой и ограниченной. Именно судьбы Виолетты Дороти намеревалась избежать, освоив какую-нибудь профессию. Дороти поняла, что всегда слегка презирала Виолетту за то, что та нянчит чужих детей. Это мнение следовало пересмотреть. Виолетта однажды сказала Дороти, что у них одинаковые глаза, и Дороти хотела ответить, что это неправда, но была вынуждена признать, что глаза действительно одинаковые. Дороти завела привычку исподтишка разгляды-

вать Виолетту, отчего та дергала плечом, словно отгоняя комара. Но Дороти по-прежнему не могла заставить себя любить Виолетту и лишь абстрактно жалела ее.

Дороти бросила читать свою сказку, записанную в тетради с травянисто-зеленым переплетом. Олив продолжала эту сказку нерегулярно — лишь тогда, когда у нее возникало желание думать о диких тварях и маленьком народце. В отличие от подземных приключений Тома, чья сказка росла и росла, продвигаясь сквозь туннели и коридоры, словно Олив была одержима ею. Через какое-то время Дороти осенила ехидная и сердитая догадка: Олив и не заметила, что дочь не читает свою сказку. Это подтвердило циничную уверенность Дороти в том, что Олив писала для самой себя, реализуясь в писательстве и в чтении собственных трудов.

В Пэрчейз-хаузе тоже кое-что скрывали, хотя, возможно, тамошние покровы были бедней и потрепанней, чем в «Жабьей просеке». Филип вернулся из Парижа, полный новых знаний о своем теле и новых страхов — он боялся, что заразился от учителя безумием и смертью. Но Филипу повезло. Его тело осталось здоровым и мучилось лишь тупой болью и жадным жаром,

желанием повторить все заново. С Бенедиктом Фладдом Филип был замкнут и порой раздражителен, а на Фладда напал добродушный (для него) изобретательский стих, и ему постоянно нужна была помощь. Филип отдалился от Элси — прикованной к дому обитательницы кухни. Он не заметил ни ее новых ботинок, ни красного пояса. Филипу теперь было труднее — намного труднее — сохранять флегматичность, когда Помона во сне приходила к нему в спальню. Он не особенно хотел Помону — ее упругая юная плоть чем-то напоминала мрамор или даже мыло. Но он хотел кого-нибудь — так сильно, что скользкие сонные объятия Помоны были пыткой.

У Элси не шли из головы кувшины в форме человеческих тел и непристойные нимфы. Но она долго не показывала их Филипу. Она боялась Фладда, который мог догадаться, что ключ брали и использовали, или внезапно явиться и застать ее *in flagrante delicto*.[56] Но весной 1901 года Фладд уехал в Лондон, повидать Проспера Кейна и Геранта. И вот, когда Серафита и Помона ушли на чай к мисс Дейс в Винчелси, Элси сообщила Филипу, что должна ему кое-что показать и кое-что

---

[56] Примечания: 56
На месте преступления *(лат.)*.

сказать.

Она достала ключ. Они стояли в паутинной тени запертого чулана и смотрели на мерцающие в полумраке белые фигуры — груди, вульвы, непорочные вазы в форме цветов, которые с другой стороны оказывались раздутыми женскими животами. Это открытие повергло Филипа в растерянность и рассердило его, в точности как Тома и Дороти в истории с Геддой. Он смутно чувствовал: гораздо лучше было бы, если бы Элси прикинулась, что ничего не видела. Он произнес: «Ну?», имея в виду «Ну и что?», но это прозвучало фальшиво. Профессиональное любопытство одержало верх над отвращением и пробуждающейся похотью. Он взял с полки пару ваз, перевернул лежащую на животе фигурку девочки и увидел набухший клитор размером почти с мужской член. Филип вспомнил, как Фладд трогал статуи Родена.

— Это они, — произнесла Элси. — Он делает горшки *про них*. Это неправильно.

— Конечно, неправильно. Но, может быть, они об этом не знают. Это не наше дело. Давай запрем это и уйдем отсюда.

— Мне кажется, они знают. Но я не знаю, что они об этом думают. Может быть, он…

«Может быть, он с ними живет», — хотела сказать она и не смогла этого выговорить, но Филип понял невысказанное.

— Это не наше дело. И тебе не следует о таком думать.

— Я должна тебе кое-что сказать. Мне придется уехать. Тебе придется обходиться без меня.

Филип повернулся к ней, все еще держа в руках фигурку девочки. Он с трудом выговорил:

— Ты нашла работу? Или собралась замуж?

— Нет, — ответила Элси. — У меня будет ребенок. Меня выгонят. Поглядеть на... на все это... так, кажется, это не очень справедливо, но именно так и будет.

Она стальным голосом продолжала:

— Мне придется отправиться в одно из тех заведений для падших женщин, про которые все время рассказывают дамы-благотворительницы. А для этого мне надо будет, чтобы ты мне помог.

Филип попытался выговорить, что кто-то виноват в этом, и спросить, кто. Фладд? Герант? Мальчишка-рыбак?

— Я больше ни слова не скажу, и ты меня не заставишь. Я об одном прошу, помоги мне убраться отсюда так, чтоб поменьше было сцен и крику. Я терпеть не могу, когда меня отчитывают или

скандалят. Не могу терпеть и не буду.

Она была на грани истерики. Филип положил на место фарфоровую девочку и обнял сестру за плечи.

— Я что-нибудь придумаю, — без особой надежды сказал он. Он не знал, что и как тут можно придумать. Но совершенно неожиданно ему это удалось.

Он решил, что с мужчиной будет легче разговаривать, и выбрал Фрэнка Моллета. Он пошел в Паксти и сказал священнику, что хочет поговорить с ним наедине.

Фрэнк Моллет был не склонен к осуждению ближних. Собственные искушения, принять которые ему так помогла непоколебимая широта взглядов Эдварда Карпентера, научили его великодушно относиться к иным искушениям других людей. Он выслушал Филипа, обуреваемого тревогой и склонного к осуждению, и мягко заметил, что в мир скоро придет новый человек, не в самых удачных обстоятельствах, и этот человек нуждается в любой помощи, какую они могут оказать. Хорошо будет, сказал Фрэнк, если все удастся провернуть без излишних обвинений и наказаний. «Деликатно», — сказал он. Знает

ли Филип, кто отец? Возможен ли и желателен ли брак, получит ли Элси какую-то поддержку — моральную, материальную?

— Она не говорит, — сказал Филип. — Уперлась намертво. И не скажет. Так что — похоже, что он на ней не женится, и не похоже, что она ожидает от него какой-то помощи.

— Вы и сами старайтесь не слишком расстраиваться, — сказал священник. — Я не знаю, как Фладды справлялись бы без вашей сестры. К ним, я думаю, обращаться без толку — они только растеряются. Каждая по-своему.

— Они ей не платят ни гроша. Это неправильно, но они дали нам обоим… не то чтобы дом… ну, не такое уж плохое место для жилья.

— Я думаю, — сказал Фрэнк Моллет, — что следует посоветоваться с добрыми дамами с Ромнейского болота. Но посоветоваться втайне. Я не собираюсь связываться с заведением для падших женщин или с благотворительными фондами. Нет, я приглашу к себе на чай самых изобретательных дам. Наверное, мисс Дейс — она практична и щедра. Миссис Оукшотт — она знает, что такое растить ребенка в одиночку. И, может быть, миссис Метли — она подружилась с мисс Дейс и хочет найти себе какое-нибудь занятие. Я

попрошу их о помощи.

— Я не хочу, чтобы они набросились на Элси или стали ей выговаривать. Даже если она сглупила.

— Боюсь, при всем нашем желании без выговора, пусть небольшого, не обойдется. И даже нельзя сказать, что он будет незаслуженным. Но я полагаю, что дамы придумают что-нибудь практичное.

Чаепитие у Фрэнка, на которое не пригласили ни Филипа, ни Элси, прошло удачно. Фрэнку было интересно взглянуть на трех дам с несколько неожиданной стороны. Они были энергичны, деловиты и настроены по-доброму. Мисс Дейс сказала, что знает родильный приют, где позаботятся об Элси, когда придет ее срок. Она сказала, что они с заведующей приютом «Незабудки» успешно пристроили на усыновление уже нескольких детей, безо всякой огласки. Мэриан Оукшотт мягко заметила: вполне возможно, что Элси захочет оставить ребенка у себя. Хотя ей по-прежнему нужна будет работа, а также кров и стол.

Феба Метли говорила мало. Но вдруг с напором произнесла:

— Это ужасное дело, разделять мать и детей… ребенка. Мы боремся с несправедливыми закона-

ми, которые это диктуют… мы не можем просто так выхватить ребенка у молодой женщины и забрать его.

Она помолчала.

— Любовь, — сказала она. — Любовь. Романтическое увлечение — и человек теряет голову. Беда с половым инстинктом в том, что он слишком силен. Он лишает рассудка. Человек впадает в безумие. Но истинная любовь — истинная, неизменная — это любовь матери к ребенку у нее на руках, к тому, чей голосок звенит за окном на лужайке. Этого нельзя отнять у матери, если вы не уверены — абсолютно, совершенно — в том, что поступаете правильно.

Мисс Дейс склонила голову набок и улыбнулась — сухо, но дружелюбно. Мэриан Оукшотт произнесла:

— Конечно, я согласна. Конечно, я знаю…

Она взглянула на Фебу Метли. Обе подумали, что знают, кто отец ребенка Элси.

— Мы все здесь друзья, — сказала Феба. — Я хочу, чтобы вы знали: у меня очень личное отношение к этому делу. У меня трое детей в Йоркшире, которых мне пришлось оставить из-за… из-за великой любви к Герберту. И я каждый день… каждый час… помню о нашей разлуке.

Расстояние между нами — как непроходящая боль. Может быть, я их никогда больше не увижу. Я так завидую вам оттого, что у вас есть Робин, — обратилась она к Мэриан, — каждый раз, как его вижу. Я так восхищаюсь вами за все, что вы смогли — растить сына, работать, быть независимой.

— Мне пришло в голову, — сказала Мэриан, — что я сама могу стать решением проблемы. Возможно, Элси Уоррен не пожелает даже увидеть своего ребенка, когда он родится. Я не знаю ее намерений. Но я плачу молодой женщине, чтобы она присматривала за Робином, и она легко может взять на себя присмотр еще за одним ребенком, пока его мать работает — и тогда ребенок сможет быть с матерью по выходным и праздникам…

— Кому-то придется поговорить с обитателями Пэрчейз-хауза, — сказал Фрэнк. — Их можно уговорить, что в их собственных интересах, а также в духе христианского долга и любви к ближнему…

— Если… если только отец этого ребенка не живет в том же доме, — краснея, сказала мисс Дейс.

— Не живет, — отозвалась Феба Метли. — Я в этом уверена.

Она тоже покраснела. Фрэнк передал по кругу блюдо с печеньем. Он сказал:

— Сначала мы должны изложить этот вполне удовлетворительный и великодушный план самой Элси. Затем кто-то из нас должен будет поговорить с миссис Фладд. Я, правда, никогда не могу понять, слышит ли она вообще то, что я говорю, и помнит ли на следующий день. Кто пойдет с ней разговаривать?

Три добрые феи переглянулись. Кто из них спокойнее всех, всех разумнее и практичнее?

В конце концов они решили, что поговорят с Элси все втроем, и поручили Фрэнку попросить Филипа, чтобы он привел сестру в маленький домик мисс Дейс. Дамам было приятно общество друг друга — каждая чувствовала, что, решая эту деликатную проблему, нашла новых, настоящих друзей.

Элси вошла в гостиную мисс Дейс и с сердитым видом встала по стойке «смирно». На ней была все та же шляпка и одно из просторных средневековых одеяний Имогены, аккуратно заплатанное и заштопанное. Мисс Дейс предложила ей сесть и выдала чашку чаю, несколько кусочков сахару и ломтик фруктового кекса. Все три дамы согласились, что не будут пугать молодую женщину лекциями о морали. Она прихлебывала чай и откидывала голову назад — как испуганная змея,

готовая ударить, подумала Мэриан Оукшотт. Мисс Дейс заговорила. В конце концов, это была ее гостиная.

— Элси, мы знаем о твоей проблеме… о твоем положении, но мы пригласили тебя сюда не для того, чтобы читать тебе лекции, а для того, чтобы рассказать, как мы можем тебе помочь. Я знаю респектабельную — и добрую, очень добрую — даму, которая поможет тебе… при родах.

— Мы не знаем, — продолжила Мэриан Оукшотт, — что ты собираешься делать, когда ребенок родится. Но я хочу сказать, что… если ты захочешь… я с удовольствием попрошу Табиту присматривать за твоим ребенком, чтобы ты могла и дальше работать у миссис Фладд и быть со своим братом.

Элси молчала, по-прежнему запрокинув голову. Мэриан продолжала:

— Тогда ты сможешь навещать своего ребенка, или он тебя, в твое свободное время… вас не разлучат.

Элси ничего не ответила.

Феба Метли произнесла:

— Мы предлагаем поговорить за тебя с миссис Фладд, чтобы прояснить вопрос и найти решение, которое устроит всех.

Элси медленно сказала:

— Похоже, обо мне было много разговоров у меня за спиной.

— Ты в таком положении, что это неизбежно, — ответила Мэриан. — Мы искренне хотим тебе помочь.

— Я ходила на ваше собрание про женщин. Надо полагать, что я — одинокая женщина. И падшая. — Она помолчала. И сказала слабым голосом: — На самом деле я не очень хорошо себя чувствую. Я не знаю, сколько еще смогу таскать ведра и наклоняться над плитой.

— Я попрошу моего доброго доктора тебя осмотреть, — сказала мисс Дейс. — Он скажет, что тебе можно и что нельзя делать в твоем положении. И даст тебе тонизирующие средства, все такое.

— Я вам по правде благодарна, — медленно, безо всякого выражения произнесла Элси. — На такое я и не надеялась.

— Но?.. — спросила Мэриан Оукшотт. — У тебя в голосе ясно звучит «но». Ты можешь с нами говорить откровенно, мы предпочитаем знать правду.

— Я никогда не собиралась идти в прислуги, мэм. Чего я не хочу, так это до конца жизни трудиться в чьей-то чужой кухне, стирать чужую

одежду. А теперь, кажется, меня ничего, кроме этого, и не ждет. Я думала, это на время, пока Филип не выучится своему ремеслу и не прославится, а я знаю, что он прославится, и здесь он получает все, что для этого нужно. Моя мать была художницей — хорошей художницей, она делала самую тонкую работу во всем цеху… она умерла от этого, от химических паров. Она была не судомойка, не уборщица, а художница. Вы хотите, чтобы женщины могли работать, я слышала ваши лекции. Я признаю, у меня нет такого таланта, как у Филипа. Он имеет право ждать, что станет художником. Я — нет. Но это не значит, что я хочу быть судомойкой.

Вдруг ее охватила злоба.

— А эти женщины беспомощные и бесполезные и не платят мне ни гроша. И теперь во мне живет этот… комок… и вертится, а потом вылезет наружу, и ему нужны будут чепчики, распашонки и молоко, а как я справлюсь, когда у меня ничего нет, ничего…

— Не плачь, — сказала Мэриан.

Элси сглотнула комок.

— Не буду. Не смею. Мне нельзя разваливаться.

Феба Метли сказала:

— То, что ты говоришь, верно, и мы тебе со-

чувствуем. Но ты должна признать: ты попала в такое положение из-за того, что сделала сама, — Филип сказал нам, что спрашивать тебя об этом бесполезно, так что мы не будем спрашивать. И, скорее всего, ты не самый виноватый человек в этой истории, но мы сейчас говорим не о том, кто виноват, а о том, как тебе помочь. И еще есть один человек, который вообще не виноват, он еще не родился, и о нем мы должны позаботиться.

— Ты согласна, чтобы мы поговорили с миссис Фладд? — спросила мисс Дейс.

— Можно подумать, у меня есть выбор. Нет, стойте, это нехорошо с моей стороны. Я действительно благодарна вам, всем троим… я такого и не ждала… правда, правда. Но я страшно боюсь. А ведь я всегда была сильной.

Участие в судьбе Элси Уоррен и ее ребенка сблизило трех добрых дам, и они стали откровеннее. Они долго и с удовольствием обсуждали возможные подходы к Серафите Фладд. И согласились, что понятия не имеют о ее мыслях и чувствах по какому бы то ни было поводу. «Я никогда не встречала женщины столь решительно туманной», — сказала мисс Дейс, живая антитеза туманности. Они поделились друг с другом сведениями о жизни Серафиты. На самом деле ее звали

не Серафита. Она вышла из низов и попала в хорошее общество благодаря своей поразительной красоте. В дни поздних прерафаэлитов и ранних эстетов она была одной из «прерафаэлитских красавиц» и позировала самому Милле. Все три дамы согласились, что она и до сих пор красива.

— У нее идеальное строение лица, — сказала Мэриан Оукшотт.

— И роскошная масса волос — они совсем не поблекли, — согласилась Феба Метли.

— Она никогда не смотрит в глаза при разговоре, — сказала Пэтти Дейс. — Не потому, что она какая-то хитрая, а потому, что где-то витает.

Они благодушно согласились, что Серафита совершенно не умеет ни вести дом, ни воспитывать детей. Герант бегал где и как хотел, а бедные девочки… хотя и красавицы, все в мать… у них ни светского лоска, ни даже здравого смысла. Дамы слыхали, что Герант делает успехи в Сити, полностью отбросив всякую буколику.

Мэриан сказала: вполне возможно, что Серафита происходит примерно из того же класса общества, что и Элси, но у Серафиты нет ни здравого смысла, ни целеустремленности.

Пэтти Дейс ответила, что из-за этого Серафита может отнестись к положению Элси суровее

или, наоборот, мягче — тут заранее не скажешь. Возможно, она решит, что вынуждена соблюдать видимость приличий.

— Какую еще видимость? — резко спросила Феба Метли. — До появления Элси они ходили как оборванки.

— А Элси, кажется, сказала, что ей ничего не платят.

— Это неправильно.

— Неправильно. Но наше ли это дело?

— А что же хозяин дома? — спросила Мэриан Оукшотт. — Он тоже такой — не скажешь, что он думает, что чувствует, что им движет. Мы только знаем, что он делает прекрасные сосуды. Для чего, по-видимому, ему нужен Филип.

— Я не очень хорошо знаю эту семью, — сказала Феба Метли. — Но я должна сказать, я ни разу не видела, чтобы он хоть слово сказал жене. Ни единого разу. Когда я это заметила, я стала за ним наблюдать. Может быть, он женился на ней из-за ее красоты, но он скользит по ней взглядом, словно она горшок — и не шедевр художественной керамики, а обыкновенный, заурядный, глиняный.

Собственная откровенность кружила дамам головы. Мисс Дейс не могла судить о чьих-либо

половых инстинктах и связанном с этим поведении. Но Мэриан Оукшотт откровенно сказала Фебе:

— Я как-то видела, он случайно задел ее, проходя по газону. И дернулся. А она отвернула свой идеальный профиль в другую сторону.

— Ну что, мы хоть как-то определились, что ей сказать? — спросила мисс Дейс.

— В ней не найдется стержня, чтобы противостоять нашему решению, — ответила Мэриан. — Мы можем пересилить ее, если спокойно и уверенно сообщим, что она должна сделать.

В ясный весенний день дамы пошли беседовать с миссис Фладд. Они нашли ее в саду: она сидела в продавленном плетеном кресле и работала — или собиралась работать — над гобеленом, натянутым на круглую раму. Рядом на траве стояла корзинка с нитками для вышивания. Мэриан Оукшотт, повидавшая полотна импрессионистов, подумала, что Серафита похожа на картину Моне или Милле. Ветви яблони пестрили тенями ее меловое лицо, которое казалось размытым — словно его очень торопливо и небрежно закрасили. На Серафите было свободное сизое муслиновое платье, которое в полутени тоже казалось слегка размытым, а длинные пальцы и длинная шея

были бесплотно тонки, с едва заметной текстурой — не гладкий шелк, а чесуча. Большие глаза были обведены кольцами грифельного цвета, слегка отечными, наполненными жидкостью. В корзинке лежали мотки шерсти, яркостью цвета напоминавшие драгоценные камни — изумрудные, янтарные, гранатовые, сапфировые, рубиновые. Они выделялись четко и резко среди окружающей расплывчатости. Серафита поздоровалась, не вставая. Сказала, что очень рада их видеть. Где Элси? Она сейчас принесет еще стульев и приготовит чай. Мэриан сказала, что Элси ушла в город и что она сама принесет стулья. Она действительно приволокла стулья из других углов сада. Мэриан сообщила, что они должны поговорить с Серафитой. Это не случайность, что Элси ушла.

Серафита уронила пяльцы на колени, потом принялась отыскивать упавшую иголку. Она выразила надежду, что Элси не сделала ничего плохого.

— А вы ничего не заметили?.. — спросила Феба.

— Нет, — кратко ответила Серафита, и глаза ее округлились.

— Элси ждет ребенка, — сказала мисс Дейс. — Летом. Мы не знаем точно, когда, потому что она

не ходила к доктору.

Несколько долгих мгновений Серафита осмысливала сказанное и соображала, что ответить. Лицо ее исказилось — возможно, от усиленной работы мысли, но выглядело это так, словно она собралась заплакать. Она слабым голосом спросила:

— Кто?..

Поскольку она не завершила фразу, ни одна из дам не сочла нужным ответить.

Вслед за этим Серафита выдавила из себя:

— Я должна ее рассчитать?..

Все три дамы пришли в негодование: они знали, что Элси не стоит Серафите ни гроша и экономит ей огромные суммы. Мэриан была чуть добрее и уловила в дрожащем голосе нотку страха перед осуждением общества. Серафита боялась, что ее заклеймят, если она *не* выгонит Элси. Мэриан сказала:

— Миссис Фладд, мы пришли, чтобы обсудить с вами, как можно этого избежать. Мы хорошо знаем, как много Элси делает для вашей семьи… и вы сами нам об этом часто напоминаете, как и ваши родные, — сочла нужным соврать она. — Это очень счастливое стечение обстоятельств, что и Элси, и ее брат нашли приют у вас в доме

и возможность приносить такую пользу. Филип рассказал о положении Элси преподобному Моллету, а тот посоветовался с нами — в качестве, так сказать, любительниц устраивать чужие дела или, смею надеяться, добрых фей. С вашего позволения, мы устроим Элси в родильный приют и договоримся также о присмотре за ребенком, если Элси пожелает оставить его при себе и по-прежнему работать у вас.

Серафита побелела, хотя любой сказал бы, что это невозможно. Даже губы стали белее мела. Она выдохнула несколько неоконченных фраз, одну за другой: добры, слишком добры, такое потрясение, так неожиданно, и снова: «Кто?..» — и едва слышным шепотом «...виноват?». Мэриан видела: Серафита старается не допустить к себе в голову мысль о том, что это слово может иметь отношение к ее мужу или сыну. В отличие от Фебы Метли у Мэриан не было четкой уверенности, кто этот таинственный незнакомец, и она не исключала возможности, что это Бенедикт Фладд или энергичный и красивый Герант. Она ответила обтекаемо:

— Миссис Фладд, я уверена: если Элси не видит препятствий к тому, чтобы оставаться у вас в доме, вам не о чем беспокоиться. Мы поговорили с

ней, она согласна с нашими планами, по крайней мере, на словах.

— Ей нездоровится, — сказала мисс Дейс. — Хорошо бы вы уговорили ее не работать так тяжко в следующие несколько месяцев. Я договорюсь, чтобы мой доктор ее осмотрел.

Серафита не предложила заплатить за услуги доктора. Она задрожала. И произнесла:

— Делайте, как считаете нужным… бесконечно благодарна…

И добавила другим тоном, глядя в пространство:

— Как ужасно быть женщиной. Сначала тебе говорят, что людям нравится на тебя смотреть… как будто твой долг — быть объектом… объектом… А потом, позже, если тебя отвергли… если то, что ты думала о себе… о своей ценности… на самом деле ничего не стоит… ты ничто.

Она слегка пожала плечами, взяла себя в руки и произнесла «Бедная Элси!» ненатуральным, вежливым, светским тоном, словно за чайным столом — хотя чаю гостям так и не предложила.

В доме на Кэдоген-сквер были свои тайны, но гораздо более невинного рода. Это может показаться странным, поскольку Бэзил и Катарина Уэллвуд вращались во внешних кругах нового,

фривольно настроенного светского общества, возглавляемого новым королем, любителем удовольствий. И Карл, и Гризельда были скрытны, к огорчению родителей, которые, однако, не пытались обсуждать эту тему. Катарина Вильдфогель унаследовала большое состояние и держала толпу слуг. Но ее тайна заключалась в том, что она по складу характера была типичной *Hausfrau.*[57] Она бы с удовольствием шила, пекла и обсуждала с дочерью наряды, а может быть, и с сыном — его сердечные дела. Она знала про себя, что не красавица — впрочем, она была стройна, с хорошей осанкой, и со вкусом выбирала шляпы, обувь и украшения. Но в Гризельде она видела существо, которое по праву и с легкостью получит все, чего самой Катарине приходилось добиваться такими усилиями, строить хитрые планы и во многих случаях довольствоваться лишь подобием желаемого. Гризельда в семнадцать лет действительно была почти красавицей — бледной, хрупкой — с хорошенькой фигуркой и четко очерченным лицом под светлыми — белыми — волосами. Она не интересовалась — или говорила, что не интересуется, — нарядами. Она проводила все возможное

[57] Примечания: 57
Домохозяйка *(нем.).*

время в обществе своей кузины Дороти. Они пытались стать образованными женщинами, хотя родители обеих довольно прохладно относились к этой идее; девочкам приходилось приставать к родителям и ныть, чтобы те согласились устроить их на занятия в Куинз-колледже или на уроки к Тоби Юлгриву и Иоахиму Зюскинду.

Дороти приходилось труднее: она жила за городом и вынуждена была ездить на поезде или по нескольку дней гостить на Портман-сквер, прекрасно сознавая, что Катарина, несмотря на хорошее отношение к ней, старается противодействовать ее влиянию на жизненные устремления Гризельды. Дороти получала моральную поддержку от Лесли и Этты Скиннеров — они помогали ей попадать на демонстрации опытов в Юниверсити-колледже. Но она знала, что доходы ее родителей опасно непостоянны, и не смела просить слишком многого. Гризельде было проще жить интеллектуальной жизнью: она сворачивалась в клубочек на диване у окна и читала с огромной скоростью — историю, философию, стихи, беллетристику. Тайная любовь к Тоби Юлгриву приносила ей боль и наслаждение. Конечно, он не должен был об этом знать, но зуд смутных желаний приводил Гризельду в восторг

и смутное отчаяние. И еще это чувство помогало ей видеть свою отдельность, обособленность. Ей не нужно было волноваться из-за ухаживаний приятелей Чарльза, из-за попыток матери найти ей подходящих партнеров по танцам.

Дороти и Гризельду, как всех умных девочек того времени, беспокоил вопрос: не лишает ли их женственности в каком-то смысле это стремление к знаниям, желание работать вне дома? Девочки знали, что некоторые женщины работают — модистками и пишбарышнями, экономками и судомойками. Они работают, потому что бедны или потому что по недостатку красоты или богатства не могут найти мужа. Девочек преследовали призраки воображаемых монахинь. Если Гризельду действительно примут в Ньюнэм-колледж, не будет ли это подобно уходу в монастырь, в сообщество из одних женщин, взаимно поддерживающих друг в друге интеллектуальные порывы и устремления, которые общественное мнение до сих пор считает ненатуральными, а часто и опасными? Молчаливая любовь Гризельды к Тоби помогала ей и в этом: она испытывает обычные женские чувства — значит, она не монстр, не нелюдимая затворница. Она просто хочет научиться думать.

Дороти была суровей, да у нее и не было другого выхода: выбранный ею путь по-прежнему вел во враждебную страну, хотя уже немало женщин стало дипломированными врачами, и открылась новая женская больница. То, что Дороти хотела жить интеллектуальной жизнью и принести пользу на поприще врача, и ее обрекало на существование в чисто женском мире. Врачи-женщины лечили только женщин и работали с другими женщинами-врачами. Чтобы получить профессию, к которой стремилась Дороти, ей придется отринуть часть своей природы. Для мужчин это было не так. Доктора-мужчины женились, и жены поддерживали их, заботились о мужьях, когда те приходили домой усталые. В минуты слабости, поздно ночью, Дороти спрашивала себя — быть может, она какое-то чудовище? Но не сдавалась — частично потому, что не могла представить себе жизнь, ограниченную оборочками, рюшечками, чайными чашками и сплетнями. Если она обречена жить в обществе одних женщин, лучше пусть это будет анатомический театр, чем швейный кружок. Но ей было нелегко.

Тайна Чарльза — его политические взгляды — вынуждала его, как ни парадоксально, вести легкомысленный, паразитический образ жиз-

ни, предосудительный, с его собственной точки зрения. Он не хотел брать на себя обязательства, связанные с учебой в университете, и раз за разом говорил отцу, что нуждается в отсрочке, чтобы понять, кем он хочет стать. Чарльз ездил в Европу для повышения своего культурного уровня — часто и в Германию, ведь он, в конце концов, был наполовину немец. По его просьбам Иоахим Зюскинд сопровождал его в шести-восьминедельных поездках, отчего занятия Дороти сильно страдали и сбивалось все тщательно спланированное расписание учебы. Зюскинд был родом из Мюнхена и любил возвращаться туда, обсуждать анархизм и другие виды протеста — в сексе, в театре, в религии — с завсегдатаями «Кафе Стефани», в «Wirthaus zum Hirsch» в Швабинге. Чарльза-Карла познакомили с психоаналитиком, необузданным Отто Гроссом, и социал-анархистом Густавом Ландауэром. Чарльз ходил в сатирические кабаре, где не понимал, о чем идет речь, так как еще недостаточно свободно говорил по-немецки и совсем не разбирался в местной политике. Но он наслаждался табачным дымом, закопченными потолками, атмосферой серьезного, остроумного ехидства и идеализма. Чарльз был бы счастлив стать художником или писателем, но сомневал-

ся, что у него есть талант к тому или другому. Он купил альбом и втайне рисовал коров и обнаженных женщин, но те и другие выходили так неуклюже, что он изорвал рисунки. Мюнхен был полон смеющихся, серьезных женщин, пишущих маслом на пленэре. Чарльз болтался у них за спиной и наблюдал, как изгибаются их запястья, когда они кладут мазки на холст. Он сказал Иоахиму, что хотел бы задержаться в Мюнхене подольше и брать уроки рисования или дизайна. Иоахим с гордостью отвечал, что Мюнхен — бурлящий котел творческой мысли.

28

Проспер Кейн боялся, что не выполняет свой отцовский долг по отношению к дочери, лишенной материнской заботы. Дочь уже была почти взрослой. Он боялся, что она влюблена и что эта любовь безнадежна. Джулиан до отъезда в Кембридж был очень близок с сестрой — они читали одни и те же книги, ходили вместе гулять, спорили на философские темы. Оказавшись в Королевском колледже искусств, он вошел во внешний круг тайного общества, «Апостолов». Морган Форстер и подобные ему молодые люди наблюдали за Джулианом, чтобы понять, выйдет ли из него достойный «эмбрион», который сможет «родиться» в ходе ритуала на священном каминном коврике и стать одним из «Апостолов». На тайном языке общества рекомендатель «эмбриона» назывался его «отцом». Члены общества были «реальностью»; все прочие люди именовались «наблюдаемыми явлениями». Студент постарше, Джеральд Матьессен, блестяще способный «классик», заинтересовался Джулианом и подумывал о том, чтобы стать его «отцом». Джеральд приглашал Джулиана позавтракать

и водил его на долгие прогулки по болотистым низинам. Юноши говорили о Платоне, эстетизме, природе добродетели, природе любви. Они неустанно высмеивали друг друга, словно спарринг-партнеры в спортзале. Сначала Джулиан думал, что его склонность к иронии, неприятие чрезмерной серьезности отпугнут Джеральда — страстного мыслителя, моралиста. Джеральд был красив той красотой, какой желал бы для себя Джулиан: он был тонкокостный, узкий, смуглый, не склонный к откровенностям — скорее себе на уме. Джулиан по-прежнему хранил в душе все тот же образ идеального любовника, светловолосого, спортивного, невинного: Тома Уэллвуда. Джулиан знал, что Джеральд им интересуется. Очень часто их разговоры сворачивали на любовь мужчины к мужчине, на сублимацию низких желаний. *Tamen usque recurret,*[58] пробормотал Джеральд как-то вечером за портвейном. Джулиан почувствовал себя девчонкой. Он опустил глаза, рассматривая сыр и виноград на тарелке и улыбаясь про себя. Он предпочитал думать, что терпит искорки сексуальности, играющие в лу-

[58] Примечания: 58

«Против природы не попрешь» *(лат.).* Джеральд цитирует часть латинской пословицы «Naturam expellas furca, tarnen usque recurret» — буквально «Гони природу хоть вилами, она всегда возвращается».

чах света, чувственность, выдыхаемую подобно сигаретному дыму и разлитую в воздухе, лишь ради этих заряженных электричеством, насыщенных бесед. Но, если вдуматься, не исключено, что он начал вживаться в здешнюю атмосферу. Он пригласил Джеральда погостить у них дома в Южном Кенсингтоне — «в самой квартире тесновато, но в Музее найдутся внутренние дворики, лестницы и потайные чуланы, о каких можно только мечтать».

Проспер Кейн хорошо разбирался в искусстве, но был далек от университетов. Он всю жизнь провел в армии, то есть тоже в чисто мужской обстановке, и знал, чего стоит тесная мужская дружба, хотя ничего не знал о тайном обществе «Апостолов». И еще он с тревогой наблюдал, как задумчиво смотрит Флоренция на парочку юношей, как она стоит вне этого па-де-де, желая к нему присоединиться. Она не могла влюбиться в Джулиана. Тогда что же может быть естественнее любви к его второму «я», совершенно не запретному, уверенно чувствующему себя в ее мире. Проспер Кейн любил дочь больше всех людей на свете — просто потому, что она была женщиной. Сына он любил почти так же, но в любви к дочери была еще примесь легкого безумия — яростно-

го стремления защитить ее. Проспера Кейна оскорбляло выражение беспокойства, задумчивости, потерянности, одиночества на лице его умницы Флоренции. Он дружелюбно беседовал с Джеральдом о майоликах и путти, о Палисси и его сушеных жабах, втайне желая вонзить этому юнцу кинжал в сердце за пренебрежение Флоренцией. Ибо Джеральд ее не видел — разве что как абстрактную девушку. Имогену Фладд он тоже не видел.

Имогене очень хорошо давалась работа дизайнера ювелирных украшений. Мелкий масштаб, точность, сосредоточенность подходили ей. Она создала несколько дивных асимметричных серебряных кулонов, украшенных висячими нитями крохотных жемчужин — словно капли воды на паутине, — и несколько элегантных роговых гребней, инкрустированных черным деревом, перламутром и эмалированной медью. Один такой гребень она подарила Флоренции. Студентки Школы искусств были с ней дружелюбны, но она ни с кем не сблизилась и, похоже, не собиралась. В Пэрчейз-хауз она ездила очень редко: обычно с Герантом, раз или два с Флоренцией, но никогда — одна. Имогена унаследовала от матери длинную шею и большие глаза и могла

бы быть красивой, будь она хоть чуточку живее. В 1901 году ей было уже двадцать два. На Пасху она подарила Просперу небольшое ювелирное яйцо, над которым работала втайне, — снаружи полуночно-синее, внутри — молочно-белое, усаженное лунами, полумесяцами и звездами из тонких золотых и серебряных пластинок. Внутри яйца был золотой талисман в виде феникса, с алыми глазами и пылающим гребнем. Вручив Просперу яйцо, Имогена вся — и щеки, и шея — залилась пылающим румянцем. «Я вам столь многим обязана», — едва слышно, почти шепотом, произнесла она. Кейн обнял ее, ощутив подвижность позвоночника, мягкую тяжесть грудей. Ей нужен муж, подумал он. Ей нужны любовь и собственная, отдельная жизнь.

У Проспера появилась романтическая идея — задать бал: для Флоренции, а также для Имогены. Сначала он хотел устроить его в канун Иванова дня, но собирался пригласить и Уэллвудов из «Жабьей просеки», и дата бала не должна была совпасть с их ежегодным праздником. Поэтому он выбрал 24 мая, день рождения покойной королевы, который попадал на пятницу. Проспер обсудил этот вопрос с Олив Уэллвуд, когда она приехала в Музей посмотреть на золотые и се-

ребряные сокровища. Он сказал Олив, что очень трудно как следует растить дочь без матери. Флоренции исполнилось восемнадцать, и ее уже давно пора «вывозить», хотя она поговаривает о том, чтобы последовать за Джулианом в Кембридж. И вот у Проспера появилась идея — устроить ужин с танцами, не слишком формальный, прямо в Музее. Он решил, что небольшой оркестр — можно собрать музыкантов из его полка — сможет весь вечер играть в чайной зале. Будет очень приятно смотреть, как молодежь танцует среди керамики, созданной самими студентами, и колонн минтонского фарфора. А Моррисову «зеленую столовую» можно использовать как комнату для отдыха, где гости смогут присесть и поболтать или поесть шербета.

Олив откликнулась с жаром. Это будет замечательно романтический вечер, сказала она. Словно танцующие принцессы в тайном дворце на дне озера — тайное, невозможное празднество, и оттого вдвойне притягательное. Майор Кейн сказал, что Музей сейчас во многих смыслах стал совершенно невозможным. Он полон пыли от строительных работ, в нем нет покоя, везде слышатся удары молотов и вой сверл. Но по вечерам в чайном зале тихо, и пыль успевает осесть.

Проспер сказал, что ему нужна фея-крестная, которая поможет все организовать. Сержанты его полка вряд ли разбираются в том, как устраивать романтические танцы для юных девушек. Может быть, Олив…

Олив Уэллвуд, как и многих других женщин, вышедших из низов, охватывал первобытный ужас, пропасть разверзалась под ногами, если приходилось иметь дело со светскими тонкостями, которым ее никогда не учили. Она сразу поняла, что не сможет сделать то, о чем ее просят, так как будет выдавать себя на каждом шагу. И все же — как прекрасно было бы сотрудничать с майором, выслушивать его признания и самой открывать ему душу. Вихрь мыслей яростно вертелся у нее в голове, словно крыса в клетке. Да, Олив умела давать эгалитарные вечеринки в саду, нарушая все правила этикета. Она играла по собственным правилам, а Хамфри сходило с рук что угодно. Но нечто полувоенное, в Музее Виктории и Альберта — совершенно другое дело. Она произнесла:

— Знаешь, я думаю, тебе лучше посоветоваться с моей невесткой, Катариной Уэллвуд. Она страстно желает задавать балы и покупать наряды для Гризельды, а Гризельда зарывается в

книги и говорит, что хочет учиться в университете. Гризельда и Дороти — гадкие девчонки. Они не захотят участвовать в подготовке бала. Но Катарина будет в своей стихии… она будет просто счастлива…

Катарина пришла в восторг. Она обсуждала с Проспером угощение и цветы. Она рекомендовала портных и обувные магазины. Гризельда сломалась и позволила снять с себя мерку для нового, взрослого, нарядного платья. Дороти должна была получить первое настоящее вечернее платье, а Флоренция — первое взрослое бальное. Они ощущали себя принцессами из сказки — как будто им вручили волшебный желудь или орех, они раскололи его, и оттуда выплыла красота.

Платье Флоренции было из темно-розового шелка, покрытого белым кружевом, с шелковой розой у низкого выреза и кружевными рукавами до локтей. Платье Гризельды — из травянисто-зеленого набивного шелка, по которому плыли белые и золотые цветы — ландыши, бледные первоцветы, колокольчики.

Проспер Кейн хотел бы подарить Имогене бальное платье — элегантное, модное, с красивым силуэтом. Но понимал, что это неуместно. Он поручил Флоренции выспросить у Имогены, что она

хотела бы надеть. Он пригласил на бал Бенедикта Фладда, Серафиту и Помону и нашел им место, где остановиться: недалеко от Музея, в доме отставного сержант-майора и его жены. Флоренция передала отцу слова Имогены: в Пэрчейз-хаузе огромный запас шелка и льна с красивейшими вышивками, все это сложено в тюки и спрятано. Она сказала, что они обе могут туда поехать, выбрать что-нибудь подходящее и привезти в город, а портниха Катарины перешьет эти наряды во что-то менее средневековое и более современное. Флоренция спросила Имогену:

— А Помона?

— Наденет, что мама даст, — ответила Имогена. — Она в любом платье хороша. И, кажется, не обращает внимания на такие вещи.

В Пэрчейз-хаузе царил беспорядок сверх обычного. Элси куда-то подевалась, а у Бенедикта с Филипом только что погибла при обжиге полная печь фарфоровых ваз. Серафита была вялой и бледной, а Помона сожгла на гриле какую-то рыбу и вареные овощи.

Имогена повела Флоренцию в запертую комнату, где в пыльных кожаных сундуках лежали груды сложенной материи и едва ношенных платьев. Помона прокралась за ними и встала

с круглыми глазами на пороге — наполовину в комнате, наполовину снаружи. Флоренция заметила, что сестрам, кажется, нечего сказать друг другу. Имогена, решительная и находчивая, рассматривала платья, встряхивала, расправляя складки. Она отыскала нужное платье — из темно-зеленого рубчатого шелка, расшитое розовыми и белыми маргаритками. Фасон напоминал средневековые одеяния — высокая талия, небольшой трен.

— Из этого можно что-то сделать, — сказала она. — И оно будет хорошо смотреться в «зеленой столовой» с панелями Берн-Джонса и обоями Морриса. Оно в том же стиле.

Флоренция, а не Имогена, спросила Помону, что она собирается надеть на бал и не могут ли они ей чем-нибудь помочь.

Помона безо всякого выражения ответила, что ее мать всю жизнь провела за шитьем, это ее профессия, и она что-нибудь придумает, как всегда. Лицо Помоны было прекрасно, а голос едва слышен.

— А где же Элси? — спросила Флоренция.

— Она уехала рожать ребенка. Она вернется, они обо всем договорились.

Это как-то не располагало к вопросам. Флорен-

ция как бы между делом спросила, не собирается ли Помона тоже приехать и поступить в Школу искусств, и заметила, что этот вопрос расстроил обеих сестер, но по-разному. Они переглянулись. Помона ответила, что вряд ли — она нужна дома. Она опустила голову, разглядывая пыльные половицы. Имогена сказала, что им пора — нужно ехать обратно в Лондон, прямо сейчас.

В поезде она вдруг сказала Флоренции:

— Как бы я хотела никогда больше туда не возвращаться!

— Почему? — осторожно спросила Флоренция.

— Там все такое нелепое и безнадежное, что просто невыносимо. Это дом без надежды. Конечно, в горшках бывает какая-то надежда, если печь для обжига не рухнет. Но… но… я так благодарна тебе и твоему отцу, у меня даже слов нет.

Флоренция не посмела спросить, что думает Имогена по поводу ребенка Элси и кто может быть его отцом. Она, сама не зная почему, также не осмелилась задать вопрос о будущем Помоны. Они вернулись в дом в Южном Кенсингтоне, где ждал восхитительный ужин и серьезные, скрытные молодые люди.

Виолетта сказала, что сама сошьет платье для Дороти. Хамфри велели привезти из Лондона

модные журналы, и Виолетта рассмотрела фотографии и рисунки. Она сказала, что Дороти не пойдут девичьи цвета — она красивая, но не хорошенькая. Может быть, темно-розовый или темно-синий. Например, переливчатая таффета с блеском. Темно-синяя, как полночное небо, сказала Виолетта и потащила Дороти в Лондон, так как ко взрослому платью нужен был какой-никакой корсет, придающий форму телу. В этом году все во всех магазинах было кружевное. У Виолетты появилась идея — сшить кружевной жакет, не из ярко-белого кружева, а из какого-нибудь приглушенного, может быть — серебристого, с короткими рукавами и стоячим воротничком, который будет виден, если Дороти уложит волосы в прическу.

И поход в магазины, и последующие сеансы примерок с подкалыванием булавками утомили и напугали Дороти. До того, как Гедда сделала свое открытие, Дороти либо совсем не думала о навязчивой материнской заботе Виолетты, либо считала ее достойной жалости. Виолетта была незамужней тетушкой, которая трудилась для того, чтобы Олив могла творить. Поэтому было естественно, что Виолетта постоянно подчеркивала свою любовь, постоянно требовала, чтобы

дети платили ей взаимностью, чтобы любили ее, чтобы испытывали благодарность за то, что она посвятила им жизнь.

Но теперь Дороти по-другому смотрела на Виолетту и по-другому ощущала ее. Виолетта ползала на коленях у ног Дороти, плотно сжав губы с веером булавок, худыми руками обдергивая юбку или крутя и подкалывая что-то на талии. Дороти смотрела вниз, на туго стянутые на черепе волосы, собранные в узел, на тонкую шею. Действительно, тело Виолетты больше походило на будущее тело Дороти, чем щедрые объемы Олив. Дороти, которая собиралась стать врачом — которой приходилось постоянно напоминать себе о том, что она собирается стать врачом, ибо, кажется, все окружающие упорно игнорировали ее планы, — позаботилась досконально выяснить, откуда берутся дети. Она вскрывала мертвых беременных крыс, набитых крохотными розовыми слепыми спящими фасолинками. Она заглядывала в учебник для акушерок, где пухленький доношенный младенец свернулся в схематической матке, засунув макушку в тазовую полость; пуповина, сворачиваясь кольцами, плавала в околоплодной жидкости. Дороти не стала воображать подобное существо внутри себя или себя,

беспомощно ждущую, когда Олив вытолкнет ее прочь через *это место.* Но сейчас, пока Виолетта суетилась вокруг Дороти и восторгалась ею, Дороти невольно представила себе Дороти-марионетку, не то уютно лежащую, не то сдавленную внутри плоского живота Виолетты. Дороти не почувствовала прилива дочерней любви. Она почувствовала, что ее отвергли. Она стояла в жестком шелесте полуночно-синего шелка и задавалась вопросом: а что случилось с младенцем, в грядущем рождении которого была непоколебимо уверена Гедда? Виолетта была плоской, как доска. Не толще обычного. Вот если бы оказалось, что Гедда ошиблась или соврала! Но Дороти решила, что это вряд ли возможно. Гедда верила тому, что говорила, и ее слова были убедительны. Либо Виолетта ошиблась относительно своего положения, либо хотела расстроить Хамфри, либо что-то сделала, чтобы избавиться от этого нежеланного ребенка. Последнее казалось наиболее вероятным. И все же вот она — с полным ртом булавок, тощая, бесполая, одобрительно хмыкает, глядя на талию Дороти: корсет кое-что стянул, кое-что приподнял, и впервые в жизни у Дороти появилась небольшая, но красивая грудь.

Дороти знала, что должна по-доброму отно-

ситься к Виолетте и даже негодовать, что с ней плохо обращаются. Но не могла. Она испытывала лишь глубокое замешательство и раздражение.

Виолетта сказала:

— Ты все-таки выравниваешься, девочка моя. Маленькая ты была такая щуплая, но теперь все же начала расцветать. Ты должна будешь уложить волосы в прическу, а я сделаю тебе для нее шелковых цветов. А может быть, лучше звезды и луны на каких-нибудь невесомых кружевцах. Подойдут к небу. Что скажешь?

— Делай что хочешь.

— Я уверена, ты будешь на этом балу самой красивой. Только стой прямо и не горбись. Ты всех удивишь.

Какая-то нотка звучала в этом голосе… Собственническое чувство? Беспричинная ярость?

— А ты сама что наденешь?

— А меня разве пригласили? По-моему, нет. Это ужин с танцами для молодежи. А я даже не мать, хоть и делаю кучу всего, что полагается делать матери.

Явная ирония задела Дороти, которая не знала, что думать и что сказать.

Дороти не с кем было обсудить то, что сказала Гедда, и свои чувства по этому поводу. Том как

будто запер новость в чулан — словно ее никогда и не было. Филлис была «еще маленькая» — младшие сестры всегда слишком малы, чтобы с ними серьезно разговаривать. Дороти ничего не сказала и Гризельде, с которой обсуждала почти все. Она чувствовала: если она что-то скажет, выпустит на волю свои догадки, даже в разговоре с Гризельдой, они превратятся в упрямые факты. И тогда ей, Дороти, может быть, придется что-то делать, или по крайней мере начать превращаться в какого-то нового, прежде неведомого человека.

В день ужина с танцами, который Уэллвуды называли балом, Музей работал до десяти вечера, но Проспер Кейн уговорил руководство Музея закрыть коридор, ведущий к ресторану, раньше обычного, чтобы украсить залы цветами и построить помост для полковых музыкантов — скрипача, виолончелиста, флейтиста, гобоиста, кларнетиста и музыканта, игравшего на рожке. В буфете готовили еду, а в центральном зале ресторана расставили хрупкие позолоченные стулья. Центральный зал проектировался с расчетом, что его будут мыть из ведра; поэтому он был полностью отделан керамической плиткой. Зал был светлый, со светлыми витражами в огромных полукруглых окнах. Сводчатый по-

толок поддерживали огромные майоликовые колонны минтоновской фабрики, мятно-зеленого и кремово-белого цвета, с танцующими путти; на уровне плеч из колонн торчали крючки для верхней одежды. Пол был выложен шоколадно-коричневой плиткой, цоколи колонн — темной, среднего цвета между бордовым и умброй, а стены — желтыми, зелеными, белыми плитками с полосами и лентами сложных узоров, с текстом из Экклезиаста, выложенным светлой керамикой на красно-буром фоне: «Не в том ли благо для человека, чтобы ел он и пил и позволял душе своей изведать счастье в трудах? — XYZ».[59] Вдоль цокольных панелей стен и колонн резвились и порхали амурчики. На стенах переплелось невероятное количество разностильных орнаментов. Помещение получилось одновременно пышным и утилитарным — нечто среднее между муниципальным молокозаводом и волшебным дворцом. С потолка свисали на позолоченных стеблях электрические шары.

Помещения Королевского колледжа искусств выходили в этот же коридор, и Проспер Кейн предусмотрительно пригласил на бал студентов

[59] Примечания: 59

Экклезиаст 2:24. Буквы *XYZ* в конце надписи добавлены для заполнения места и демонстрации красоты шрифта.

и преподавателей колледжа, чтобы пополнить ряды гостей. Гости прибывали в ресторанные залы с разных сторон — иные через огромные золотые двери, которые первоначально должны были стоять на входе с Кромуэлл-роуд; другие — кружным путем, через еще открытые внутренние дворики и коридоры. Мрачным звуковым фоном служили уханье молота и визг пилы, доносившиеся из закрытых частей здания, где наконец начали строить дворики и залы по проекту Астона Уэбба, победителя конкурса. Олив, цепляясь за руку Хамфри, сказала, что неизбежная пыль от строительных работ и чехлы, которыми прикрыты сдвинутые с мест стеклянные витрины, словно гробы — траурными покровами, напоминают одновременно дворец Спящей красавицы и хрустальный гроб Белоснежки. Посетители Музея глазели на девушек в бальных платьях и бархатных плащах, как на свадебных гостей или на вторжение призраков из иного мира.

В темной, теплой буфетной, отделанной синебелой плиткой и керамическими панелями с изображением времен года, готовили и сервировали угощение: котлетки из креветок и форели, стаканчики с консоме, пирожные с вишнями, меренги, взбитые сливки. В огромной стеклян-

ной чаше мерцал, исходя ледяным шипением, фруктовый пунш, а в запотевших, покрытых инеем бокалах медленно поднимались пузырьки шампанского, образуя тонкие цепочки. В «зеленой столовой» отцы и матери могли устроиться поудобнее, на креслах в стиле короля Иакова.

Здесь были и другие офицеры с женами, и Бэзил с Катариной, элегантной в черном шелковом платье с верхним кружевным полуплатьем, розами у талии и небольшим треном. И Серафита — без мужа, который, как она сказала, загружает вместе с Филипом печь для обжига. Серафита явилась в красновато-коричневом летящем наряде, который по случайности или намеренно соответствовал двенадцати фигурам работы Берн-Джонса, представляющим не то месяцы, не то знаки Зодиака с солнцем и луной — точно никто не знал. Она словно сошла с темно-зеленых обоев со сплетением ивовых ветвей, россыпями вишен и слив. Олив же была одета для танцев в зале с колоннами: в простое платье из богатой материи, темно-зеленое — темнее минтоновских колонн, — отделанное золотой и серебряной тесьмой.

Проспер открыл бал, пройдясь в танце вместе с Катариной, и сказал комплимент красоте ее до-

чери. Потом он пригласил Серафиту — она была выше его ростом и умудрялась сочетать грацию с неуклюжестью, делая слишком размашистые пируэты и не попадая в такт музыке. Молодежь сбилась в кучки — юноши отдельно, девушки отдельно, — рассеянно болтая и поглядывая через комнату. Тут были и Джулиан с Джеральдом Матьессеном — они прислонились к стене в темном углу. Проспер прошел мимо них, вернув Серафиту в «зеленую столовую», и на ходу сказал Джулиану, что молодежь должна танцевать, и Джулиан за это отвечает. И пошел разговаривать с оркестрантами, одетыми в щеголеватую форму с блестящими пуговицами.

Джулиан оглядел ресторанный зал; зал ему нравился, но он не смел этого высказать, так как знал, что Джеральд презирает эту мешанину деталей и стилей.

— Нам придется танцевать. Кого бы ты пригласил из всех этих красавиц?

— Увы, *его* я пригласить не могу, — *sotto voce* сказал Джеральд, кивая на Тома, который стоял отдельно в парадном костюме, склонив прекрасную голову над группой амурчиков на колонне. Признание красоты Тома было приятно Джулиану и в то же время на миг преисполнило его

глупой, бессмысленной ревностью.

— Вон его сестра, — сказал Джулиан. — Она изменилась. Она всегда была такой мальчишницей.

— Я приглашу твою сестру, — сказал Джеральд. — Тогда мы с ней сможем поговорить о тебе. Легко и просто.

— Лучше не надо, — ответил Джулиан. — Мало ли что она может сказать.

Джеральд двинулся к Флоренции, которая стояла с Имогеной и несколькими студентками Школы искусств. С другого конца зала к Флоренции гораздо решительнее пробирался Герант Фладд. Пока Джеральд добрался до места, Герант успел занять этот танец, к огорчению Флоренции, хотя она записала для Джеральда другой, более поздний танец в хорошенькую бальную книжечку с расписанной вручную обложкой, работу группы каллиграфов из Королевского колледжа; каллиграфы преподнесли эти книжечки — оригинальные произведения искусства — в подарок для использования на балу. Руки Геранта и Флоренции соединились, он обнял ее за талию и ощутил благоговейный трепет, кровь сильнее застучала в висках. Флоренция ничего не заметила. Она мучилась вопросом: стал бы Джеральд

говорить с ней? И если да, то о чем?

Джулиан велел Джеральду пригласить Имогену Фладд.

— *Pater*[60] хочет, чтобы она не скучала. Она — его протеже.

— Все ясно.

— Ничего тебе не ясно. Он хороший офицер. Заботится о своих солдатах. Студенты для него все равно что солдаты.

— О, если бы это были солдаты, — отозвался Джеральд с комическим унынием. Он послушался и пригласил Имогену. Некоторое время они плыли меж колонн в торжественном молчании, время от времени сбиваясь с шага. Потом Джеральд задал ей пару вопросов о ювелирном деле. Принятое в Кембридже правило запрещало говорить о работе на светских сборищах. Джеральд считал это правило глупым — он был серьезный человек и не любил вращаться в атмосфере непринужденных бесед ни о чем. Имогена просветлела. Она принялась почти оживленно рассказывать о нововведениях нового преподавателя. Летаби, который отменил унылый обычай копирования древних изображений водяного

---

[60] Примечания: 60
Отец *(лат.).*

кресса и принес на занятие живые, жесткие охапки этого растения, чтобы студенты подробно разглядели его и изучили его форму.

— И тогда, — говорила Имогена, — начинаешь по-настоящему понимать, как растут листья на стеблях, и это помогает, когда их надо воспроизводить в серебре. Я вам не надоела своей болтовней?

— Нет. Я люблю узнавать новое. Правда.

Оба улыбнулись. Джулиан увидел эту улыбку и взревновал. Он пошел приглашать на танец бледную Гризельду, но она оказалась первой красавицей бала, и теперь вокруг нее толпились студенты и преподаватели. Тогда Джулиан как бы случайно побрел в сторону Тома, который выходил из центрального зала в «зеленую столовую». Том направлялся к матери, которая сидела в кресле, чуть постукивая носком ноги в такт музыке и каждым дюймом своего тела протестуя против того, что ее записали в число сидячих пожилых дам.

«Зеленая столовая» понравилась Тому. Она была похожа на его видение о спящем Ланселоте — выдуманный мир, более реальный, чем жесткие воротнички и начищенные ботинки.

— Я вижу, ты хочешь танцевать, — сказал Том

матери. — Ты притопываешь ногой. Пойдем потанцуем, как на празднике Летней ночи.

— Милый, тебе нужно танцевать с девочками, — ответила Олив. — Для этого мы сюда пришли: чтобы ты танцевал с девочками. Я с тобой потанцую после того, как ты пройдешься по разу с двумя юными красавицами, и не раньше.

Джулиан подошел к ним.

— Миссис Уэллвуд, я могу вас пригласить. Я тут на правах хозяина, мне вы не можете отказать. Пойдемте. Том совершенно прав. Я знаю, вам хочется танцевать.

— Иди же, Том. Пригласи девушку, — сказала Олив. Она встала, поправила юбку и ридикюль, протянула руку Джулиану.

Олив и Джулиан элегантно задвигались, довольные тем, как их шаги попадают в такт. Олив сказала:

— Я с тобой танцую, потому что ума не приложу, что мне делать с Томом. Это очень плохо?

Джулиан подумал, что это было бы очень плохо только в том случае, если бы они танцевали как мужчина и женщина, как пара, а они не были парой. У Джулиана была своя полуфилософская система идей о природе и значении формальных танцев, определяющая, кто является, а кто не

является парой — мужчиной и женщиной. Он вспомнил Джейн Остин. «С кем вы пойдете танцевать?» — спрашивает мистер Найтли у Эммы. «С вами, ежели вы меня пригласите», — отвечает Эмма.[61] Джулиан решил, что это идеальный момент, который не представился бы никогда, если бы не танец. Он сказал:

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Том сам не знает, чего хочет.

Тут мимо пронесся в вихре танца Том, кротко улыбнувшись матери. Он действительно выбрал в партнерши юную даму. Которая приходилась ему сестрой.

— Я вижу, тебе небезразлична его судьба, — сказала Олив. — Я не могу понять: то ли его все полностью устраивает, то ли не устраивает вообще, настолько, что он совершенно отделился от реальности. Что бы мы ни предлагали, его это не интересует. Он не воспринимает нас всерьез. Он самый уклончивый человек из всех, кого я знаю, несмотря на всю его внимательность и шарм.

— Понимаю, — отозвался Джулиан, — понимаю.

Олив погладила его по плечу.

---

[61] Примечания: 61
Роман Джейн Остин «Эмма» цитируется в переводе М. Кан.

— Попробуй как-то повлиять на него, чтобы он серьезнее относился к жизни.

— Это мне и самому нелегко дается.

Том сообщил Дороти, что она вдруг превратилась в юную даму. И стала очень хорошенькая, сказал он. Другая.

— Это не очень-то любезно с твоей стороны.

— А я не обязан с тобой любезничать. И вообще ты знаешь, о чем я, только вредничаешь. Ты становишься женщиной.

Дороти, полная решимости смотреть на мир глазами врача, подумала, что, строго говоря, стала женщиной, когда у нее в первый раз началось Это. Она гордилась кровавыми пятнами, но в то же время, несмотря на чисто научный интерес к анатомии, стремительность перемен в собственном теле ее пугала. Кроме того, ее задело, что Виолетта, а не Олив, взяла на себя труд рассказать ей про это жизненно важное событие — о котором Дороти, конечно, давно уже все знала, так как читала книги. Кое-как перемещаясь с Томом по плиткам ресторанного зала, она думала, что брат, скорее всего, ничего не знает про Это. Она была права. Но ей не пришло в голову поговорить с братом о том, как он воспринимает изменения в собственном теле; они швыряли его волнами

непредсказуемых эмоций и внушали отвращение к самому себе. Он сказал, намекая на книгу «Век золотой»:

— Ты становишься взрослой. Тебе нравится?

— Ты же старше меня. Тебе лучше знать.

— Девочки взрослеют раньше. Во всяком случае, так говорят. Вот мне, кажется, не очень нравится взрослеть.

Разговор выходил странный — они говорили словно чужие, так как были парадно одеты и выделывали ногами установленные фигуры танца между майоликовыми колоннами, под сентиментальную музыку. Дороти поняла, что Том выбрал этот чрезвычайно неудачный момент, чтобы поговорить о чем-то важном. Золотые волосы Тома сбились копной на голове. Он не стал расчесываться на пробор и приглаживаться, как Джулиан, и Джеральд, и Чарльз, и Герант — хотя шевелюра Геранта явно взбунтовалась против такого обращения. Дороти одернула свое соблазнительное платье на талии. Она думала, что ответить Тому, но тут музыка кончилась. Чарльз, который еще раньше записался в украшенную звездами книжечку Дороти, явился требовать свой танец. Она сказала Тому:

— Иди пригласи Помону. Кажется, никто не

хочет с ней танцевать, и она совсем приуныла. Это будет добрый поступок.

Том отправился к поникшей Помоне. На ней было плохо подогнанное белое платье с роскошной вышивкой — широким бордюром из яблоневых ветвей и полосками яблоневого цвета по талии, вороту и рукавам.

Чарльз спросил Дороти, весело ли ей. Он сказал, что она замечательно выглядит. Он хорошо танцевал — стараниями матери, Дороти подстраивалась под его движения, и они бодро кружились по залу.

— О чем ты думаешь? — спросил Чарльз через пять минут.

— Хочешь знать правду?

— Я всегда хочу знать правду. Какой смысл врать. О чем ты думаешь?

— Я скажу, если ты тоже скажешь.

— Идет.

— Я думала о том, что так и не научилась решать квадратные уравнения, и никогда не научусь, если ты так и будешь забирать мистера Зюскинда в Германию для расширения кругозора каждый раз, когда я уже что-то начинаю понимать. И из-за этого я никогда не сдам экзамены и никогда не стану доктором.

— Какая неромантичная мысль. Он не единственный учитель на свете.

— Он понимает, что именно мне непонятно.

Воцарилось тягучее молчание.

— Ты так и не сказал, о чем ты сам думаешь.

— Как ни странно, дорогая кузина, почти о том же. Я думал, как хорошо сейчас в Мюнхене, и как я втайне ходил там в кабаре, и если бы моя матушка знала об этом, ее бы хватил удар. Видишь, я честно ответил.

— Ну хорошо, хоть мы начали разговаривать. А что хорошего в кабаре?

Чарльз объяснил, что они очень авангардные. И там сильно накурено. И иногда полиция устраивает облавы. Он сказал, что Зюскинд нужен ему в качестве синхронного переводчика.

— Ах, — сказала Дороти, которой было одновременно смешно и дико обидно, — он тебе совсем не так сильно нужен, как мне. Ты собака на сене.

Ручка Помоны, лежавшая в руке Тома, была ледяной и никак не согревалась. Том жалел Помону, и это было ему полезно. Она молчала. Он смотрел на ее густые волосы, к которым были приколоты вышитые цветы. Он сказал, что, должно быть, замечательно жить в таком волшебном месте, как болото Денге.

В некотором смысле да, согласилась Помона.

Том напирал:

— Наверно, ты теперь скучаешь без Имогены?

Помона слабеньким голоском ответила, что Имогена ни при чем и что в доме стало не очень приятно, когда Элси уехала.

Об отъезде Элси Том слышал впервые. Он спросил, куда она поехала, и Помона сообщила едва слышным шепотом, что Элси уехала рожать ребенка, и вернется, когда он родится, и что это никого особенно не обрадовало — ни маму, ни Филипа, ни, конечно, папу.

Снова воцарилось молчание, пока Том лихорадочно соображал, что ответить. Он не собирался спрашивать про ребенка — ни за что на свете. Он повторил, что место, где они живут, — волшебное, и услышал банальность собственных слов.

Помона ответила:

— Со стороны — да. Я чувствую, что мы все заколдованы. Ну знаешь, как в сказке, когда все заросло колючими кустами. Мы плетемся в сад, а потом обратно на кухню. Мы шьем. Это часть проклятия. Если мы не будем шить, случится что-то страшное.

В устах Дороти это прозвучало бы шуткой. Но голос Помоны был дружелюбным и монотонным.

— Ну, я думаю, ты всегда можешь пойти в Колледж искусств, как Имогена, верно?

— И шить? Вряд ли. Я думаю, меня не отпустят учиться. А ты пойдешь в колледж?

— Я об этом думаю, — уклончиво ответил Том.

Они трусили по залу, танцуя ни хорошо, ни плохо. Том сказал:

— Кроме шитья, должно же быть еще что-то.

— Горшки, — ответила Помона. — Есть еще горшки.

Том хотел глупо сказать, что в крайнем случае она может уехать из дома и выйти замуж, но что-то ему помешало. Он чувствовал, что Помона как будто не от мира сего, но порой он думал так и про себя. Может быть, ее мир, как и его, существует где-то в другом месте. Он хотел убраться от нее подальше, но из-за этого тут же пожалел ее и в результате попросил у нее еще и следующий танец.

Джеральд получал удовольствие от бала, вопреки собственным ожиданиям. Ему была приятна работа тела, совершаемая в танце, а танцевать Джеральд умел — научился еще маленьким мальчиком на воскресных занятиях. В Кингз-колледже ему танцевать не случалось. Он разглядывал молодых женщин, чтобы понять, кто из них будет

самой удачной партнершей с этой точки зрения. Лучше всех танцевала Гризельда Уэллвуд — она двигалась элегантно, почти как совершенная механическая кукла. Но ее бальная книжечка, разрисованная ландышами, была почти полна. Джеральд занял что мог из оставшихся у Гризельды свободных танцев и вернулся к Флоренции Кейн. У той в книжечке было больше свободного места, так как она отдала Геранту не все танцы, какие он хотел. С точки зрения Джеральда, она была на втором месте: ее танцевальные па были менее совершенны, но в то же время не столь заученны. Потанцевав с обеими девушками, Джеральд решил, что Флоренция лучше чувствует партнера и ловчее следует изобретаемым им вариациям танцевальных фигур. Поначалу его раздражали, как он решил, нудные попытки Флоренции поддерживать разговор, который был бы ему интересен. Она поговорила о танцах в романах Джейн Остин, а потом перешла на Шекспира и Данте. Далеко не сразу, между шагом на месте и внезапными поворотами, до Джеральда дошло, что она говорит неглупые вещи, даже остроумные, о Шекспире и Данте, несмотря на то, что подобные разговоры совершенно не подходили для ужина с танцами. Это его позабавило.

Он что-то ответил и снова закружил ее. И у Проспера, и у Джулиана румянец Флоренции вызвал раздражение, граничащее с яростью. Они были слишком далеко, чтобы видеть, что у нее дрожат колени, и только она одна знала, что творится у нее внутри, под прикрытием струящейся юбки, пока она сама раскачивается в такт музыке.

Когда в танцах наступил перерыв на ужин, прибыл запоздалый гость. Молодежь отправилась в буфетную за тарелками и стаканами и вернулась в центральный зал ресторана, чтобы поесть за небольшими, но тяжелыми столиками из декоративного литья, с серыми мраморными крышками, тоже обрамленными литьем. Стены ресторанного коридора украшали барельефы с изображениями абстрактных мастеровых, олицетворяющих «промышленные науки и искусства», и реальных людей. Аркрайт, изобретающий ткацкий станок, Палисси, вынимающий обожженные сосуды из печи. Том указал на них Помоне, к которой каким-то образом оказался привязанным окончательно. При виде Палисси она вздрогнула и сказала:

— Это Палисси. Видишь, мне никуда не уйти от шитья и горшков.

Том ничего не знал о Палисси и только заме-

тил, что он с виду не злой. Помона ответила, что, может, и так — для людей, которые интересуются горшками.

Геранту удалось стать спутником Флоренции на время ужина, поскольку Джеральд умудрился на это время оккупировать бальную книжечку Гризельды. Герант расшифровал надпись на фарфоровой картине в буфетной и прочитал вслух нарочито неестественным голосом: «Ах май, ах май, веселый май, веселый месяц май».

— Ох уж эти викторианцы, они и к веселью подходили серьезно, — сказал юный эдвардианец. Флоренция засмеялась. Но почувствовала нечто вроде обиды и гордости за устремления Музея — из-за отца.

Поздним гостем оказался Август Штейнинг. Он отправился к старшим в «зеленую столовую», где официанты подавали ужин на минтоновских тарелках. Штейнинга посадили рядом с Олив. Центральное место на столе занимала огромная сверкающая ваза с люстром работы Бенедикта Фладда; на ней изображался тот странный момент в «Золоте Рейна», когда Фрейя стоит по шею в золотых сокровищах, золотые яблоки жухнут и сереют, и два великана протягивают огромные руки, чтобы схватить юную богиню. Фладд

мастерски изобразил сокровище на керамике: кубки, браслеты, сверкающие короны, сыплющиеся монеты и скрытые, но явно проступающие очертания тела молодой женщины под всей этой грудой. На другой стороне вазы был изображен не Вотан, сражающийся с кольцом, но Логе в огненном плаще, вздымающий очень натуральное золотое яблоко.

Август Штейнинг в это время ставил «Высшее общество», пьесу Джеймса Барри — светскую комедию на грани иронии и боли. Олив спросила, как идут репетиции.

— Актеры хороши. Мы движемся в хорошем темпе. Это пьеса с идеей, хотя сюжет слишком полагается на недоставленные письма и нахальство слуг. Но… милая моя миссис Уэллвуд, милая Олив… я совсем не этим хотел бы заниматься. Это работа ради куска хлеба с маслом, и я делаю ее в меру своих способностей. Но если бы я мог делать что хочу, вся эта элегантная мебель, превращающая сцену в душное зеркало повседневной жизни, вдруг взлетела бы кверху! Диваны — словно летающие слоны, столы поскакали бы за кулисы, как дикие пони… и мы смогли бы увидеть сквозь зеркало, заглянуть на ту сторону, в царство сна и сказки. Сцена не обязана

воспроизводить светские гостиные, ей не нужны фальшивые балконы и ненастоящие окна. Теперь мы можем вывести на сцену что угодно — демонов, драконов, гигантских червей, хитрых эльфов, тупых троллей, злобных силки, да хоть броллахана и нукелави. А вместо этого я вынужден на каждой репетиции слушать, как артистки препираются из-за корсажей чайных туалетов и из-за сэндвичей с яйцом и кресс-салатом.

— Мы все ходили смотреть «Колокольчик в волшебной стране» с Сеймуром Хиксом, — заметила Олив. — Детям очень понравилось. Красивые песни.

— Но там не было ничего зловещего или сверхъестественного, верно? Хорошенькая волшебная сказочка. Очень по-английски. Вот немцы знают, что создания иного мира — не хорошенькие барышни с крыльями и с цветочками на шляпках. Немцы знают, что в темных лесах и глубоких пещерах живут разные твари. О которых не следует забывать. Вот посмотрите, Олив. Видите эту вазу? Мне страшно хочется взять ее в руки, но я не смею, ибо непременно уроню ее, и тогда меня проклянут призраки Виктории и Альберта, а также в высшей степени живой майор Кейн. Этот человек — Фладд, — он гений. Он взял великий, — воз-

можно, единственный — *Gesamtkunstwerk* наших дней и создал его версию из неподвижного, холодного материала — и она прошла через огонь, кишащий стихиями и элементалями, и сплавилась, обретя цвет и форму… ваза правильной формы, хранящая в себе страсть. Посмотрите, как злобно смеется Логе. Майор Кейн, пожалуйста, поверните вазу, только осторожно, чтобы Олив могла увидеть Логе. Посмотрите, как мерцают и гаснут золотые яблоки, когда поворачивается ваза, и какой яростный, ясный, золотой свет. Человеку нужна тайна.

— Вы сильно расстроились из-за этой репетиции.

— Да. Но эта загадочная комната возвращает мне добродушие. Эти вечные гончие, бегущие за вечным оленем под вечными сводами темного леса. Эти мрачные берн-джонсовские лесные девы. Проспер, ваши перепелиные яйца восхитительны, а ваше шампанское — ледяной напиток из источника вечной юности.

— Почему бы вам самому не поставить такую пьесу? — спросил Проспер Кейн.

— Потому что я лишен фантазии и не умею писать. Мне нужен мифотворец. Вот вы, Олив, справились бы. Смогли бы написать для меня

Иной мир. Вы одинаково истинно чувствуете пейзаж за окном и пейзаж Зазеркалья.

После ужина танцевали кадриль. Старшие смешались с младшими. Этот танец был одновременно торжественнее и фривольнее, игривее, чем вальсы и польки. Олив и Штейнинг танцевали с Томом и Помоной; Хамфри вел Катарину и составил квадрат с Дороти и Чарльзом. Проспер и Серафита — с Флоренцией и Герантом.

Потом, когда вечер уже близился к завершению, отцы танцевали с дочерьми. Бэзил Уэллвуд предъявил свои права на Гризельду, плотно прижал к себе и завертел, говоря, что он ею гордится и что мать ею очень довольна и счастлива. Проспер легко танцевал с Флоренцией. Он выразил надежду, что бал ей понравился. Она сказала, что танцевать было очень хорошо, что она не пропустила ни одного танца и что Музей просто преобразился. Потом Проспер танцевал с Имогеной, отец которой отсутствовал. Она легко вздохнула и устроилась в его объятиях, будто ей было очень удобно. Она сказала, что он — волшебник, сотворивший дворец: совершенно неожиданный для нее полет поэтической фантазии. Она доложила ему, как дочь отцу, что

Генри Уилсон из отдела ювелирных изделий танцевал с ней два раза и похвалил ее работы. «Он сказал, что я хорошо понимаю и щитолистник, и серебро, — сказала она. — Надеюсь, у меня все же получится зарабатывать себе на жизнь». На краткий миг она опустила голову Просперу на плечо, и он поборол в себе соблазн погладить ее по волосам. Вместо этого он спросил, не следует ли ему поговорить с Фладдом, чтобы он отпустил Помону в Королевский колледж, по стопам сестры.

— У нее немного потерянный вид, — сказал Проспер.

— Иногда я думаю, что она все бы отдала, лишь бы никогда в жизни больше не видеть произведений искусства, — сказала Имогена. — Но это не значит, что она хочет чего-то определенного. Она со мной не разговаривает. Она ни с кем не разговаривает. Она пытается говорить с Филипом, но это не так просто. Мне очень хочется, чтобы вы ей помогли…

На этом месте в голосе Имогены прозвучала фальшивая нотка.

— … но я не очень понимаю, как ей можно помочь. Сегодня она хотя бы танцевала, пусть не все время.

— Жаль, что ваш отец не приехал.

— Мне не жаль.

Имогена открыла рот, чтобы еще что-то сказать, и снова закрыла. Ее руки на плечах Проспера сжались. Он по-прежнему держал ее, по-военному твердо направив их танец в другую сторону.

Дороти танцевала с Хамфри. Он, похоже, был лучшим танцором во всем зале. Он сказал ей: «Дай я поведу», и она позволила ему вести, и они задвигались, словно единое существо, качаясь, переступая, двигаясь мелкими, сосредоточенными шажками, мечтательно плывя. Рука Хамфри, горячая и сильная, держала Дороти пониже спины; обе половины тела, ниже и выше этой руки, повиновались ему. Он двигался быстро — Дороти казалось, что она вернулась в детство и несется на карусели или едет с горки. Он сказал:

— Вы, юная дама, кажется, веселитесь вовсю.

— Да.

— Это платье тебе очень идет. Очень удачное.

Он притянул ее совсем близко. Они завальсировали в сторону одного из больших, до потолка, зеркал, обрамленных, словно дверь, в литой чугун, обманно раскрашенный под сепиево-бурый мрамор. Зеркала стояли чуть под углом, создавая иллюзию, что зал бесконечен, что можно

обогнуть невидимый угол и влететь в другое сверкающее пространство. Но было ясно, что это зеркало — в частности, потому, что спиной к нему на толстой мраморной колонне стояла греческая или римская нимфа. Спереди она скромно куталась в мраморную ткань, драпировавшую бедра, но не обнаженную грудь, которую нимфа испуганно прикрывала рукой — древним, традиционным жестом. Но странное дело — со спины нимфа была совершенно обнажена. Ее лопатки, тонкая талия и круглые ягодицы хорошо видны были зеркалу, но не зрителям. Пока отец вертел Дороти, приближая ее к зеркалу, она отвлеклась на эту нимфу. Дороти увидела собственное бледное личико, мечтательно глядящее поверх отцовского плеча, и собственную маленькую, женскую ручку у него на руке. Свою непривычно высокую прическу и ярко-рыжую лисью шевелюру отца. А потом, после очередного оборота, снова взглянула в зеркало и увидела полночно-синее платье, собственную голую спину и плечи, властную руку у себя на талии, на непривычных пластинах китового уса, придававших ей форму.

— Если дальше будешь продолжать в том же духе, — сказал Хамфри, — они из-за тебя передерутся.

И добавил:

— Наверное, это правда, что всегда говорят, как ты думаешь?

Она не поняла, что он имел в виду.

После бала Уэллвуды из «Жабьей просеки» отправились на Портман-сквер, где должны были ночевать у лондонских Уэллвудов. Олив сидела в задней части кареты с Томом. Дороти села лицом к ним и положила голову на плечо отцу. Они почти все время молчали: все были сонны и задумчивы.

Катарина отправила молодежь в постель в сопровождении горничной, которая несла молоко, печенье в сахарной глазури и небольшую керосиновую лампу с абажуром матового стекла. Дороти, гостя на Портман-сквер, всегда спала в одной и той же комнате. Маленькая комната в высоком этаже выходила окном в сад, расположенный позади дома. Комната была отделана во вкусе Катарины — в пене белого муслина с примесью розового. Кровать напоминала гнездышко, прикрытое хорошенькими занавесочками. На подставке для умывания стояли таз и кувшин, расписанные розовыми бутонами по красивому сине-зеленоватому фону. Письменного стола или

конторки в комнате не было. Другая молодая женщина могла бы счесть эту ностальгическую женственность очаровательной по сравнению с простотой и яркими цветами «Жабьей просеки». Только не Дороти. Впрочем, она не возражала против этого убранства, оно не выбивало ее из колеи.

Она выскользнула из бального платья и нижних юбок — горничная для этого была не нужна, так что Дороти ее отпустила. Другая горничная сейчас, несомненно, расстегивала корсет Гризельды. Дороти положила полночно-синее платье — не бережно, но и не как попало — на пухлое кресло с красивой обивкой, бросила сверху свои панталоны и надела простую широкую белую хлопчатобумажную ночную сорочку, лиф которой Виолетта украсила плиссировкой. Дороти подумала, что немного почитает, а потом уже погасит свет. Она пыталась читать сказки по-немецки, чтобы сделать приятное Гризельде. У Дороти не было особых способностей к языкам, а сказки внушали ей определенное недоверие.

Кто-то постучал в дверь. Дороти подумала, что это, может быть, Гризельда пришла поговорить про бал. Дороти не хотелось болтовни, но она сказала: «Войдите!» Ведь это был дом Гризельды,

а Дороти любила Гризельду.

Дверь открылась медленно и бесшумно. Это была не Гризельда. Это был Хамфри, отец, в шелковом халате, на котором извивались китайские драконы. Он огляделся, ища, куда сесть — но и пухлое кресло, и стул у ночного столика были заняты женской одеждой. Хамфри сел рядом с дочерью, провалившись в красивую перину, и сказал:

— Я думаю, нам нужно поговорить.

Его окружало облако паров виски. Дороти сердито подумала, что обе его жены — как она их теперь мысленно называла — должны бы что-нибудь сделать, чтобы он перестал пить или хотя бы пил меньше. Она ответила:

— Я устала.

Он обнял ее за плечи.

— Ты такая красивая. Я никогда не думал, что ты вырастешь такой красавицей. Королева среди девушек-розанчиков. Моя Дороти.

Дороти застыла.

— Я должен тебе кое-что открыть. Но мне так хотелось сказать тебе… сказать тебе… — он запнулся, — какая ты удивительно прекрасная…

Он жарко дышал на нее виски. Она отпрянула, и он неуклюже пихнул ее, отчего она потеряла

равновесие и упала. Она зарыла лицо в подушку и пробормотала детским голосом:

— Уйди. Пожалуйста, уйди.

И тут он недвусмысленно сунул руку под белые хлопчатобумажные складки и коснулся обнаженной плоти. С Дороти слетела всяческая робость и растерянность. Она страшно разозлилась.

— Не смей. А то я закричу. Или позвоню.

— Я только хотел поиграться. Миленькая.

Его лицо маячило над ее лицом. Одна рука прокладывала себе путь под ночную рубашку. Другая зажала ей рот. Дороти вонзила в нее зубы. Вонзила со всей силы, а она была сильна. Она укусила мягкую подушечку ниже большого пальца, и рот наполнился кровью. Дороти замотала головой, не разжимая зубов, как мангуст, сражающийся с коброй.

— Сука! — сказал Хамфри. Он сел. Из руки на белую постель с рюшечками текла кровь. Он спросил: — У тебя есть носовой платок? Нужно остановить. Мне больно.

— Я и хотела, чтоб было больно. Как ты посмел? Вот тебе платок. Но он слишком маленький. У девчонок дурацкие платки. Иди найди полотенце. Тогда я что-нибудь порву на бинты и перевяжу тебя. Но мне нечего порвать. Если я изорву эту

нижнюю юбку, Виолетта меня убьет, она столько времени на нее потратила. Так что остаются только трусы.

От этого слова она затряслась. И сказала, изо всех сил стараясь дышать — громкими, рыдающими выдохами:

— Из этой комнаты нельзя ничего уносить, это все здешнее, а не мое, а то все узнают. Так что, кроме трусов, я ничего не могу использовать. Достань их сам. Они в комоде.

Ее подушка была заляпана кровью. И ворот ночной рубашки — тоже.

Хамфри с чудовищной усмешкой сказал:

— У тебя кровь на зубках, как у горностая. И на губках тоже.

— Мне придется сказать, что у меня пошла кровь носом. У тебя тоже кровь на халате. Вряд ли у двух человек за одну ночь может пойти кровь носом. Значит, ты порезался при бритье.

Она пыталась разрезать трусы на бинты маникюрными ножницами, совершенно непригодными для этой цели.

— П… перестань… мной… командовать, — запинаясь, произнес Хамфри.

— Либо я буду командовать, либо забьюсь в истерике, и я думаю, что даже ты предпочтешь

первое. Ты пьян. Мне приходится за тебя думать. И за себя тоже, — добавила она, подавив рыдание. Она не то дышала слишком глубоко, не то задыхалась.

Хамфри сказал:

— Это не то, что ты думаешь.

— Я что, слепая? Ты… на меня набросился. Вот она я. Тут хоть думай, хоть не думай.

— Нет, это важно. Есть причины. Я все неправильно сделал. Я всегда собирался тебе сказать. Когда придет время.

— Не нужно ничего говорить. Я все знаю.

— Что ты знаешь, по-твоему?

— Я дочь Виолетты. Кое-кто — не я, — кое-что подслушал.

— Ну так этот «кое-кто» много чего напутал. Ты не дочь Виолетты. Филлис ее дочь. И Флориан ее сын. А ты дочь Олив. Но не моя.

Дороти подтянула покрывало к груди, как голая нимфа в бальной зале.

— Что?!

— Ты не моя дочь. Так что, сама видишь, то… то было… не то, что ты подумала.

Дороти окаменела.

— Я не так хотел тебе об этом сказать. Я тебя правда люблю. Всегда любил. И всегда буду лю-

бить. Милая моя. Ну скажи что-нибудь.

— *Кто мой отец?* — произнесла Дороти.

— Ты его как-то видела, он приезжал к нам на праздник Летней ночи. Тот немец из Мюнхена. Ансельм Штерн. Кукольник. Карнавальное увлечение… Ты сама видишь, что это ничего не изменило, — глупо добавил он.

Дороти произнесла:

— Ты ведешь себя как ребенок. Не соображаешь. Конечно, это все меняет. Я не та, кем себя считала. И Филлис, если уж на то пошло, тоже. Ты нас всех запутал. Вы все нас запутали, и ты, и те двое. Ты не можешь просто так взять и сказать, что это ничего не изменило.

— Я тебя люблю, — повторил Хамфри, сжимая забинтованную руку здоровой.

— Уйди, пожалуйста, — с достоинством отчаяния произнесла Дороти. — Мне нужно подумать. Я не могу думать, когда ты тут сидишь и говоришь глупости.

— Я старался как лучше, — виноватым и пьяным голосом сказал Хамфри.

— Ты вообще не старался, — презрительно ответила Дороти. — Ты просто заварил еще одну кашу — вдобавок к той, которая уже была. Уходи. Пожалуйста. Завтра нам придется во всем раз-

бираться.

— А если мы просто сделаем вид, что ничего не было…

— Не получится. Не будь ребенком. Уходи.

Хамфри ушел.

Дороти сидела на кровати, сжимая колени, и яростно думала. Она думала, чтобы не чувствовать, и думала с такой силой, что все тело застыло и болело.

Она решила, что не поедет домой… обратно в «Жабью просеку».

Она попыталась вообразить себе Олив в новом свете, но ничего не вышло.

Она решила, что не будет думать о Хамфри.

Она медленно и неохотно подумала, что должна будет рассказать Гризельде… что-нибудь, она еще сама не знала, что, это надо будет обдумать. Она ничего не рассказала Гризельде об открытии Гедды. Она хотела, чтобы они с Гризельдой оставались кузинами и подругами, и не хотела выпускать злобных тварей из ящика Пандоры, обнаруженного Геддой.

Она решила, что притворится больной и останется тут, на Портман-сквер. Кровь на одеялах она объяснит кровотечением из носа. А Гри-

зельду попросит всем рассказывать — якобы по секрету, — что у нее, у Дороти, раньше времени началось Это, с ужасными болями, так что она даже двинуться не может.

Дороти была из тех, кто терпеть не может нерешительности и неопределенности. Она должна была действовать или составлять план действий. Нужно убраться отсюда, она не может больше сидеть в «Жабьей просеке» и выносить ужасные тайны, бурлящие вокруг, словно кипящие гейзеры на раскаленной лаве.

Но куда уехать и как?

Том убежал из школы. Дети в сказках сбегали из дому. Но Дороти не было смысла убегать в лес и жить там дикаркой. Она хотела стать врачом. Она попыталась сообразить, к кому можно уехать погостить на время, не вызывая подозрений.

Ее начала одолевать усталость. В голове всплыл образ Ансельма Штерна, ее кровного отца.

Неисправимо правдивая, она призналась самой себе, что он ей не очень понравился, что она его даже побаивалась. Вот Гризельде он понравился, она говорила с ним по-немецки.

Она вспомнила стройного бородатого человека в черном, немного похожего на демона. Он укладывал Смерть в ее собственную отдельную

коробку.

Его английский был не лучше ее собственного неуклюжего немецкого. Его марионетки ее напугали.

Он — что-то вроде артиста. Серьезный ли он человек?

Она сосредоточилась. Знает ли он, что она его дочь? Знает ли он вообще, что у него есть дочь?

Ей стало жарко, она рассердилась и решила: если и не знает, надо сделать так, чтобы узнал.

Потом устала и чуть не расплакалась, и подумала, что ей нужно знать, кто она такая.

Сможет ли она рассказать Гризельде?

Утром она не стала спускаться к завтраку. Сжалась в комок под периной и сказала горничной, пришедшей с кувшином горячей воды, что больна, по правде больна, и хорошо бы та привела Гризельду. Горничная сказала, что поговорит с миссис Уэллвуд — с любой из миссис Уэллвуд, — но Дороти быстро сказала, что нет, пожалуйста, пусть только Гризельда придет. Побыстрее. Не нужно больше никого беспокоить.

Пришла Гризельда в белой блузке и зеленой юбке, с волосами, уложенными в свободный узел на шее.

— Что такое? Тебе нехорошо? Что случилось? Позвать врача?

— Нет. У меня пошла кровь носом. Видишь, покрывала испортила. Гризель, кое-что случилось — такое, что меняет всю мою жизнь.

Гризельда взяла полночное платье и нижнюю юбку, аккуратно сложила и села в пухлое кресло.

— Скажи.

— Я даже не знаю, смогу ли.

— Мы с тобой друг от друга ничего не скрываем. Только от внешнего мира.

— Эту тайну знало много людей, это тайна про меня, и ее от меня скрывали.

— Скажи.

— Мой отец… то есть… ну… он мне сказал, что я на самом деле не его дочь. Он слишком много выпил и как-то нечаянно проговорился. Он это не планировал.

Бледное лицо Гризельды побелело.

— Ты ему веришь?

— Да.

— А он сказал, кто был… кто твой отец?

— Да. Тот немец с марионетками, который приезжал на праздник Летней ночи, когда мы были маленькие. — Она подумала. — Я даже не знаю, знает ли он, что он мой отец. Я не могу спросить

у матери… ничего не могу спросить… просто не могу. Я не могу вернуться домой. Мне нужно что-нибудь придумать и куда-нибудь уехать. И ты должна мне помочь.

Слеза выкатилась из голубого глаза Гризельды.

— Гризель, не плачь.

— Мы с тобой не кузины, — произнесла Гризельда. — Если это правда, мы с тобой не кузины.

— Зато мы еще больше лучшие подруги, — ответила Дороти. — Помоги мне. Куда я могу поехать?

Гризельда соображала изо всех сил.

— Ты согласишься рассказать Чарльзу?

— Он тоже не мой кузен, — сказала Дороти и рассмеялась хрупким, ломким смешком.

— Нет… но он все время ездит… расширять кругозор. В Германию, с Зюскиндом. Он ездит в Мюнхен, где живет тот… герр Штерн. Как ты думаешь… может быть, мы тоже сможем поехать? С Чарльзом, и герром Зюскиндом, и может быть, даже… даже с Тоби? Наверное, взрослый брат и два учителя сойдут за дуэний. А Чарльз умеет хранить тайны. У него полно своих тайн. Он втайне делает разные вещи с Зюскиндом, который с виду такой респектабельный и кроткий. Они ходят на всякие… революционные собрания,

выставки передового искусства… наши родители просто умерли бы, если бы знали. Мы можем обе поехать. Я говорю по-немецки и буду там учиться. А если и оба преподавателя поедут, ты сможешь там точно так же готовиться к экзаменам. Я уверена, что в Мюнхене есть курсы, на которые мы сможем ходить. И там ты уже подумаешь, как с ним встретиться. С герром Штерном… с твоим отцом. Он мне понравился. Очень понравился. Он добрый.

Дороти соскочила с кровати и бросилась Гризельде на шею. Девочки обнялись. Гризельда разглядела кровь на рубашке.

— Как сильно у тебя кровь пошла. Лужи крови. Должно быть, ты ужасно испугалась.

— Верно.

— Но сейчас уже все прошло?

— Все в порядке, пока я чем-нибудь занята. Мне придется остаться тут на какое-то время. Я не поеду обратно в «Жабью просеку».

— Но ведь твои родители расстроятся… Они отпустят тебя в Мюнхен?

— Нужно их напугать тем, что я сделаю, если не отпустят. Расскажу всем. Сбегу из дому навсегда. Покончу с собой. Зачахну. Буду на них кричать не переставая. Им ничего из этого не понравится.

Как ты думаешь, чем их лучше напугать?

— Я думаю, что тебе стоит запереться тут, злиться и изводить их. А я буду убедительна, очарую своих родителей и скажу им, что если они отпустят меня в Мюнхен, то я потом разрешу им устроить для меня огромный бал.

— Наверно, я теперь до конца жизни возненавижу балы.

— Все равно, если я устрою эту поездку, ты должна обещать, что придешь на мой бал. Для моральной поддержки. Нам придется все рассказать Чарльзу, или он никогда не согласится. Но если рассказать, то, наверное, согласится, потому что он любит тайны и всякие подрывные вещи.

29

Ребенок Элси родился в Димчерче, на чердаке с видом на море. Чердак принадлежал повивальной бабке, уже наполовину удалившейся от дел, — приятельнице Пэтти Дейс. Роды были долгими и ужасными, и синюшного ребенка, очень маленького, трясли и шлепали, пока он не завопил дрожащим голосом — как раз в тот момент, когда над Ла-Маншем забрезжил рассвет.

— Девочка, — сказала миссис Болл. — Маленькая, но выживет.

Элси плыла по волнам забытья, иногда выныривая, как русалка из моря.

— Хочешь посмотреть? — спросила миссис Болл. По ее опыту бывало, что роженица мрачно, решительно отворачивалась, не желая видеть ребенка. Элси плыла по волнам. Дрейфовала. Она услышала голос:

— Дайте. Я хочу посмотреть.

Миссис Болл устроила сверток в колыбельке и переложила повыше подушку Элси на железной кровати.

— Тогда не засыпай, а то уронишь.

Море нахлынуло и отступило.

— Дайте.

Дитя было завернуто в кусок полотенца, словно деревянная кукла. Миссис Болл положила ее на руки Элси. У девочки было морщинистое личико древней мудрой обезьянки. Она открыла ротик и мяукнула. Волосики неопределенного цвета прилипли к черепу. Она открыла темные-темные глазки под синюшными веками и моргнула, а затем уставилась неподвижным взглядом, вбирая свет.

— Ох, — произнесла Элси, переводя дыхание. Груди набухли и болезненно заныли. Она сказала:

— Ее зовут Энн.

— Ты знала, что будет девочка? Заранее придумала имя?

— Нет. — Элси то ли рассмеялась, то ли всхлипнула. — Я просто вижу, что ее зовут Энн. Она такая маленькая, и имя маленькое.

— Она вырастет.

— Я хочу увидеть ее всю.

Миссис Болл распеленала крохотное тельце. Элси коснулась красных, словно ободранных, пяток, рассмотрела набухшие половые губы, поднесла палец к машущим ручонкам, и за него тут же схватились маленькие пальчики.

— Энн, — произнесла Элси, перекладывая ноющее тело, чтобы устроить клюющую носом девочку у себя на плече. — Привет, Энн. Оставайся со мной.

Миссис Болл старалась не позволять себе излишней сентиментальности, но у нее ничего не выходило. На глаза навернулись слезы, а к горлу подкатил комок. Не в первый раз и не в последний.

Филип пришел проведать Энн. Вся история ее зачатия и рождения каким-то образом позорила его. Он обижался, что его как будто исключили из хода вещей, а в глубине души был напуган, так как все происшедшее с ужасной прямотой касалось его и было ему совершенно неподвластно.

— Ее зовут Энн, — сказала Элси. Мать и дитя вцепились друг в друга. Энн зарылась лицом в материнскую грудь.

— Просто Энн?

— Просто Энн.

— Ей идет. С виду… с виду у нее все как надо.

— Ты ее дядя.

— Я знаю. Ты решила ее оставить.

— Выбирать-то не приходится. Я думала, что смогу. Я не знала, что почувствую. Я было думала отвернуться. Ну, знаешь. И тут увидела, что

она моя.

И добавила:

— Знаешь, эти дамы, они просто невероятные, они все устроили, как и обещали на том собрании про женщин будущего, они говорили, что об одиноких женщинах кто-то должен заботиться, и вот теперь они заботятся обо мне. И об Энн.

— Поверни-ка ее чуток ко мне. Я хочу ее нарисовать. У нее твой лоб.

Ни один из них не упомянул о другом человеке, на которого девочка могла быть похожа.

Феба Метли пришла поглядеть на Энн, принесла букет полевых цветов для Элси и синюю вазу, чтобы их поставить. Еще она принесла яблоки, два крохотных детских платьица и чепчик. Она присела на край кровати и стала смотреть, как бегает по бумаге карандаш Филипа.

Она всхлипнула и вытащила носовой платок.

— Простите меня, это очень глупо, я всегда плачу при виде младенцев.

— Ее зовут Энн.

— Вы ее оставите?

— Я не смогла ее отдать. Не смогла.

Пауза.

— А пришлось бы, если бы не вы и не другие дамы. У меня даже слов нет, чтоб сказать…

Обе зарыдали.

Феба Метли вполне отчетливо представляла себе, кто отец Энн, и не сразу смогла взглянуть ей в лицо. Только теперь Феба поняла, что до сих пор питала романтическую надежду: Элси не пожелает воспитывать этого ребенка, и тогда ей, Фебе, *придется* приютить девочку, обеспечить ей семью в доме, где никогда не поселятся собственные дети Фебы, о которых ей приходилось молчать. Еще Феба знала, что у нее не хватило бы великодушия на такое. Она сказала:

— Если вам что-нибудь понадобится… Что угодно…

— Я вам так благодарна.

— Женщины должны держаться вместе, — произнесла Феба с должной суровостью.

Тем же вечером она сказала мужу:

— Элси Уоррен родила дочь.

Они сидели за обеденным столом. Феба подала мужу рагу из фасоли, тушенной с луком и шкварками, парой ложек патоки, толикой горчицы. Рагу было заправлено розмарином с собственной грядки, посыпано рубленой зеленью — петрушкой и луком-резанцем. Неторопливое, продуманное блюдо. Герберт Метли понюхал и похвалил. Не просто хорошо — настоящая амбро-

зия, сказал он, не глядя жене в глаза.

— Я ходила их проведать. Девочку зовут Энн. Милая, крохотная малютка.

Герберт Метли не любил говорить о детях, чьих бы то ни было. Он сказал, что сегодня колоссально продвинулся с новым романом, тот наконец обрел форму и потек, как река по руслу.

Феба отважно и решительно продолжала:

— Мы образовали небольшой феминистический комитет фей-крестных. Присмотреть, чтобы за Энн был хороший уход. А я подумала — может быть, мы сможем брать ее сюда ненадолго… не очень часто, конечно… Мэриан Оукшотт обещала попросить Табиту, чтобы она помогала…

Герберт Метли рассеянно смотрел в окно. Он сказал, что, может быть, это будет его лучший роман… лучший среди уже написанных… обогатит их… если только у него, Герберта, будет достаточно времени, и его никто не будет беспокоить, тогда он сможет писать с той же скоростью, пока вдохновение не ушло. Герберт сказал, что нашел хорошее название.

— Правда? Какое?

— Он будет называться «Мистер Вудхаус и дикарка».

— Мистер Вудхаус из «Эммы»?

— Нет, милая, хотя связь есть, и ты очень проницательно ее уловила. Фамилию моего героя правильнее было бы писать как «Вудхус». Это существо из народных поверий — нечто вроде лешего или «зеленого человека». Представь, каков был мой восторг, когда я обнаружил, что в деревнях все еще рассказывают сказки о вудхусах, только называют их «Вудхаусами». Это история о робком человеке: он удаляется в домик, стоящий посреди рощи, чтобы быть ближе к природе. Вначале мой герой действительно похож на мистера Вудхауса — бережет себя, кутается в шарфы, лечится растираниями. Он встречает Дикарку — девушку, привольно живущую в чаще огромного леса…

— А ты сказал, что он жил в роще.

— Да, но она символически превращается в густую лесную чащу, где мой герой учится ходить нагишом, не стесняясь, для единения с природой…

— А как выглядит Дикарка?

— Я еще не до конца ее придумал. Конечно, у нее твои глаза. Если я придумываю… женщину, которую кто-то любит… у нее обязательно должны быть твои глаза. Но ее нелегко приручить. Да.

— А чем кончается?

— Тоже пока не знаю. Думаю, что какой-нибудь чудесной развязкой. Но это может оказаться и чудесная катастрофа. Я должен это выяснить, должен следовать своему чутью. А для этого мне в следующие несколько месяцев нужен будет *особенный* покой — какой ты всегда создавала для меня и охраняла, моя дорогая.

В июне целая компания — Тоби Юлгрив, Иоахим Зюскинд, Карл Уэллвуд, Гризельда Уэллвуд и Дороти Уэллвуд — отправилась в Мюнхен, морем и железной дорогой.

Дипломатическими переговорами занималась в основном Гризельда. Ребенок, выросший на людях, в окружении слуг, прямо и косвенно контролирующих его жизнь, лишенный душевной близости с обоими родителями, привыкший, что их встречи регулируются этикетом, выучивается хранить тайны, отгораживать у себя в голове и в теле личное пространство для достижения собственных целей. Многие девушки из высших классов не могут этому научиться и в результате двигаются, как заводные куклы, по заведенному пути: из детской в бальный зал, оттуда, в белом кружевном платье, в церковь, а потом в спальню, к нежданным плотским радостям или ужасам супружеского ложа. Гризельда не выросла кук-

лой (хоть ее и одевали часто как куколку) лишь потому, что отец и мать любили ее как человеческое существо, хоть и сдержанно. Гризельда это знала — как и Чарльз-Карл знал, что родители его любят — и теперь ловко воспользовалась любовью родителей, чтобы помочь Дороти. Гризельда не знала, что именно так потрясло ее кузину, и полагала, что ей как-то особенно неосторожно сообщили, чья она дочь. Но Гризельда любила Дороти, а Дороти пережила потрясение. Так что Гризельда пошла к матери и призналась ей. Это признание состояло из ряда полуправд и довольно серьезного вранья: Дороти несчастна дома, ее легкомысленные родители несерьезно относятся к ее сокровенному желанию стать врачом. Гризельда намекнула, что родители ущемляют ее интересы в пользу Чарльза-Карла: он может распоряжаться репетитором как хочет, берет его с собой в путешествия и тем самым лишает Дороти жизненно важных для нее уроков. У Дороти нервное угнетение. Сама Гризельда тоскует. Почему бы обеим девочкам не поехать в Мюнхен, вместе с Чарльзом и Зюскиндом, совершенствоваться в немецком…

— В Баварии ты не научишься классическому немецкому, — перебила Катарина, уроженка

Гамбурга.

— Герр Зюскинд говорит на классическом немецком. И еще, мама, у него есть тетушка, она держит пансион и дает юным дамам уроки математики и биологии… очевидно, склонность к математике у Зюскиндов в роду… Ее зовут фрау Карлотта Зюскинд, и мы можем остановиться у нее в пансионе, ходить в картинные галереи, и я смогу хоть немножко вытащить Дороти из ее скорлупы… Я просто не могу, когда она так несчастна.

— Это несчастье постигло ее как-то внезапно.

— Нет, мама. Она очень сильная и умеет делать вид, что все хорошо. Но тебе я могу рассказать, она мне разрешила…

Иногда Катарина думала, что Гризельда и Дороти питают друг к другу слишком сильную, почти нездоровую привязанность. Вот и сейчас Гризельда прочла эту мысль на худом лице матери, хотя вслух та ничего не сказала.

— А когда мы вернемся… вы можете дать бал, и я, честное слово, соглашусь, чтобы вы меня вывозили в свет, а потом вы позволите мне учиться в Кембридже, если я до тех пор не передумаю…

Катарина поцеловала Гризельду. И сказала:

— Ты чего-то недоговариваешь…

— Девочки всегда что-нибудь недоговаривают. Но это «что-то» совсем неважное… — виртуозно солгала Гризельда. И Катарина улыбнулась и разрешила поездку.

Дороти взрастила в себе яростную решимость никогда не возвращаться в «Жабью просеку». Она станет скиталицей. Она отправится в Баварию, куда ей не особенно хотелось ехать, на поиски отца, которого ей не особенно хотелось видеть. Но практичная Дороти понимала: чтобы уехать, сначала придется вернуться. Нужно уложить вещи. Обсудить денежные вопросы. Договориться насчет уроков. Дороти попросила Гризельду поехать с ней. Вместе они будут неприступней, их будет труднее шантажировать и играть на их эмоциях. Дороти страшно было оказаться в одном доме с Хамфри, и она полагала, что он точно так же страшится встречи с ней. Место, которое занимала Олив в ее картине мира, тоже изменилось. Олив сделала нечто, пережила нечто, сохраненное в тайне и чудовищно меняющее образ матери в глазах дочери. Как именно — Дороти еще не осознала до конца.

Она задержалась на несколько дней на Портман-сквер, притворяясь больной. Чарльзу и Гризельде она ничего особенного не открыла

сверх того, что они уже знали. Любое неосторожное слово могло лишь усилить опасность, перерезать волосок, на котором все висело.

Дороти снились оба ее отца. Сны были беспорядочны. Хамфри идет к ней через луг в «Жабьей просеке», по-лисьи улыбаясь из-под усов. Он останавливается, залитый солнечными лучами, обнимает Дороти и поднимает ее в воздух, чтобы поцеловать, как в детстве, и она понимает, что совершила ужасную ошибку — и забыла, какую, — но она в объятиях отца, в безопасности, и теперь все будет хорошо. Потом она просыпалась и вспоминала.

Сны про Ансельма Штерна были запутанней. Дороти не помнила толком, как он выглядит, и в ее снах он сливался с собственными марионетками, так что приближался к Дороти, раскачиваясь и размахивая руками, с застывшей, молчаливой, зловещей улыбкой. Он всегда был в черном, как в свой приезд. Он был на самом деле пауком. Он подплывал к Дороти во множестве разнообразных, незнакомых ей комнат и тянул к ней руки с гибкими сочленениями, чтобы обнять, а ей хотелось убежать, но она знала, что бежать нельзя, и просыпалась в испуге.

В «Жабьей просеке» все старались вести себя

хорошо. Когда девочки приехали, Хамфри и Олив встретили их у двери, и Хамфри, чересчур широко улыбаясь, сделал Гризельде комплимент, а с Дороти поздоровался, не глядя на нее. Дороти холодно поцеловала мать. Олив почувствовала, что в дочери бушует буря чувств, и растерялась. Дороти была замкнута и холодна, а Олив не могла понять, почему. Это расстраивало ее не только как мать, но и как писателя — запираясь в кабинете с пишущей машинкой, она хотела, чтобы мирок, оставленный за дверью, был теплым и улыбающимся.

Вечером за ужином Гризельда объявила о мюнхенской поездке. Она так хочет сама поехать… Чарльз туда вечно ездит… преподаватели согласились их сопровождать… и ей так хочется, чтобы Дороти поехала с ними, это будет просто замечательно, а то потом у нее не будет времени ни на что, кроме этих ужасных экзаменов.

Тетя Зюскинда держит пансион. Чарльз там бывал.

Олив даже не предполагала, что Гризельда может быть такой нахалкой. Правду говорят, что в тихом омуте черти водятся. Что-то случилось. В семье как раз было туго с деньгами. Изыскивать средства на поездку в Мюнхен, жилье и учение

для дочери, которая прекрасно могла бы остаться дома, было затруднительно. Дороти, от природы правдивая, старательно врала, говоря с ненатуральным энтузиазмом, что больше всего на свете хочет поехать в Мюнхен с Гризельдой, Карлом и учителями. Мистер Юлгрив тоже согласился поехать. Хамфри, также с ненатуральным энтузиазмом, заявил, что в таком случае деньги нужно обязательно найти. Том сказал, что вообще не понимает, отчего людям хочется куда-то ехать.

Ночью, в спальне, Олив приперла Хамфри в угол и потребовала объяснений.

— Ты же знаешь, что тебе неоткуда взять денег на эту поездку. Значит, их придется доставать мне. А я уже просто не могу писать быстрее. И с Томом надо что-то делать. Тут дело нечисто, вы что-то от меня скрываете.

— Я сказал ей, что она не моя дочь. Как-то вырвалось. Прости меня.

Олив в халате пронзила мужа тяжелым взглядом.

— Мы ведь не знаем этого наверняка.

— Знаем. Не обманывай себя. Знаем.

— Зачем ты ей сказал? Какое ты имел право?

Хамфри покаянно опустил глаза, разглядывая ковер.

Олив задумчиво оглядела мужа. Она перебирала в уме и отбрасывала возможные причины такого безумия. Писательница могла представить себе сцену, в которой секрет «вырывается» наружу. Женщина боялась и злилась. Женщине следовало сохранять спокойствие, иначе писательница завтра не сможет работать. Женщина боялась старости и потерь. Тоби бросает пост ее рыцаря без страха и упрека, чтобы веселиться в Мюнхене с двумя цветущими девушками. Герберт Метли не давал о себе знать уже несколько месяцев. Он взял ее в осаду, а потом внезапно отступил. Олив холодно поглядела на Хамфри, который сидел на краю кровати, обхватив себя руками.

— Как-то все это очень странно, — мягко заметила Олив. И добавила: — Ей полезно будет уехать отсюда на время. Она растет.

Она крепко задумалась. И добавила:

— Я сама не буду с ней говорить.

— И не надо, — отозвался Хамфри.

Олив знала, что на самом деле надо, но ей не хватит смелости.

В день, когда Дороти уехала на материк в сопровождении галантного, улыбающегося Тоби Юлгрива, Август Штейнинг явился к Олив на

чай. Хамфри заперся в кабинете и писал. Том, как обычно, растворился в лесу. Виолетта гуляла с малышами. Гедда слонялась вокруг дома, когда подкатила пролетка Штейнинга. Гедда была заметно сердита и обижена. Олив вышла на крыльцо, чтобы встретить гостя, и увидела, как Гедда пинает гравий. Кажется, сегодня все дуются, подумала Олив. Она сказала:

— Гедда, иди займись чем-нибудь полезным. Я уверена, что тебе задали какие-нибудь уроки.

Штейнинг вылез из пролетки и отдал вожжи мальчишке-конюху. Он взял Олив за руки.

— Надеюсь, у вас для меня найдется минутка? Я тону в трясине отчаяния,[62] и лишь ваши сильные руки смогут меня вытащить.

Он увидел Гедду.

— Доброе утро, юная дама. — И, снова ее матери: — Дорогая моя, вы мне так нужны, только вы можете мне помочь.

Голос был легким и прохладным, а гиперболы — почти насмешливыми. Гедда зашаркала ногами.

— Гедда, ну уйди же куда-нибудь, я тебя прошу. Мне нужно поговорить с мистером Штейнингом,

---

[62] Примечания: 62

Трясина отчаяния (Slough of Despond) — аллюзия на уже упоминавшуюся книгу Дж. Беньяна «Путь паломника».

а ему со мной. Иди… иди почитай книжку.

Она сказала Штейнингу, что они выпьют чаю на открытом воздухе, и взяла его под руку. Они повернулись спиной к девочке, злобно глядевшей им вслед.

— Помните ли вы, — спросил Штейнинг, — чудовищную скуку, кару этого возраста? Когда нечем себя занять, и еще не о чем думать, кроме как о себе? В зрелом возрасте есть определенные преимущества.

Олив села в плетеное кресло и расправила юбки. Гость тоже сел, и она обратила к нему внимательное лицо. Хамфри дулся, Метли пропал, Тоби ехал с Дороти на станцию, беззаботно хохоча. Олив серьезно флиртовала со Штейнингом, перед которым слегка благоговела. Его чувства прятались где-то глубоко, виднелась лишь загадочная улыбка на узком лице. Олив думала, что нравится ему по-настоящему, но не была в этом полностью уверена. Она знала, что ему приятно на нее смотреть, но не думала, что он ее хочет, как хотели ее Тоби и Герберт Метли. Олив была не слишком близко знакома со Штейнингом и не знала, как он живет. Она допускала возможность, что он, как узник Оскар, питает романтическую любовь к юношам. В театре это часто бывает.

Олив старалась не быть ханжой — ей хотелось принадлежать к богеме, — но газетные описания гостиничных номеров, куда Оскар водил мальчиков, вызывали у нее брезгливое отвращение. Она улыбнулась Штейнингу, и он улыбнулся в ответ.

Пришла горничная с подносом и накрыла на стол. Она разлила чай. Август сказал, что этот сад оказывает на него живительное действие. Он словно улей, гудящий, вибрирующий, полный энергии. Чувствуется, как ум Олив витает вокруг, изобретает, отыскивает сказочных тварей в кустарнике и захватывающие сюжеты в горящем костре. Август спросил, помнит ли она их разговор о волшебной пьесе. Он хотел предложить Олив написать для него сказку… пьесу — настоящий плод фантазии. Не «хорошенькую», а странную и удивительную. Как австрийцы… как Гофмансталь… как «Кольцо нибелунга». Август сказал, что его уже тошнит от чаепитий на сцене, нахальных служанок, субреток и инженю. Он хочет, чтобы у людей волосы стали дыбом. Приключения, опасность, свет и тьма.

Олив разговорила его, угостила сэндвичами и печеньем в сахарной глазури. Они говорили о настроениях в мире искусств. Август сказал, что сейчас все читают книги, которые задумывались

как детские: истории о волшебстве, о поисках сокровищ, о полулюдях, не утративших связь с древней землей, о говорящих зверях и кентаврах, о Пане и Пэке. Он не сомневался, что Олив может написать пьесу такого рода… о мире мечты, который реальней городского шума… Штейнинг сказал, что хочет создать нечто прекрасное и сложное с помощью зеркал, света, проволоки… и теней.

Олив сказала, чуть запинаясь, что пишет сказку о мальчике… о принце, который потерял свою тень и спустился-под-землю, чтобы ее найти.

— А как он ее потерял?

— О, ее украла чудовищная крыса, когда он еще был в колыбели, — отгрызла у самых пяток, у основания, скатала и утащила за собой под половицу, вниз, по ужасным норам, — под землю, отнесла Королеве теней. Родители принца — король и королева — стараются беречь его, он живет в обнесенном стенами саду… ну знаете, как всегда в сказках… но он встречает Королеву эльфов, она просит его о помощи и увозит его на белой лошади с колокольчиками… конечно, они едут в кромешной мгле, где густая кровь коню по грудь… И приезжают ко входу в заброшенную шахту. И мальчику приходится спуститься в нее,

а потом идти дальше, все глубже и глубже… и ему встречаются разные странные создания… дружелюбные, враждебные, равнодушные…

— И что, нашел он свою тень?

— Я еще не добралась до конца. Это нескончаемая сказка. Я сочиняю ее для Тома. У каждого из моих детей, — произнесла она чарующим голосом, каким беседовала с мисс Кэтчпол, — есть своя сказка, в собственной тетради. Сначала я рассказывала их детям перед сном, но теперь, когда дети выросли — по крайней мере некоторые, — эти сказки стали своего рода игрой. Я и сама не знаю, почему до сих пор пишу их. Иногда мне кажется, что это глупо. Помните, вы говорили о сказках из-под холмов, о древнем, нечеловеческом, о магии, которая раньше пропитывала все, а теперь съежилась, остались лишь обрывки там и сям — волшебные рощи и холмики? Тоби Юлгрив много говорит о братьях Гримм, об их вере, что волшебные сказки — это остатки древней религии, духовной жизни древних германцев. Ну вот, иногда я чувствую, что сказки — духовная жизнь этого дома. И я словно выпрядаю энергию. Я та самая фея, которая сидит и прядет на чердаке, я Матушка-Гусыня, я сплетаю вроде бы ничего не значащую утешительную сказочку,

которая на самом деле… удерживает дом, не дает ему рухнуть.

Она усмехнулась:

— Впрочем, так оно и есть: ведь за сказки мне платят.

30

Они прибыли в пансион Зюскинд в Швабинге. Пансион держала Карлотта Зюскинд, тетушка Иоахима. Катарина Уэллвуд, будучи немкой, представляла себе пансион суровым, безукоризненно чистым жилищем, где все стоит навытяжку и где строго по расписанию подают безвкусную здоровую еду. Лотту Зюскинд Катарина видела высокой дамой в черном — безукоризненно белый воротничок, на поясе цепочка с ключами, глянцевый узел седеющих волос. Олив ожидала чего-то менее строгого и более розового — ее воображаемая Лотта Зюскинд ходила в свежем фартучке, обтягивающем пышную грудь, и пекла булочки для счастливчиков-жильцов. На самом деле тетушка Иоахима Зюскинда оказалась довольно молодой, хоть и была матерью двух дочерей-подростков, Элли и Эмми. Она была угловата и костлява, с копной косматых жестких волос и острым, немножко ведьминым подбородком, а одевалась в летящие блузы и юбки до полу. Пансион же оказался лабиринтом строений, которые когда-то, возможно, были стойлами или молочными: их соединяли многочисленные

балконы и коридоры. Дороти и Гризельде выделили две смежные комнатки в мансарде, скупо обставленные — матрасы на деревянных рамах, простые деревянные столы, муслиновые занавески, пышные перины. Стены были покрашены в яблочно-зеленый цвет, а двери, рамы и балки — в горчично-желтый. Интересно, подумала Дороти, обычное ли это дело в Германии. Гризельда знала, что нет. Чарльз уже бывал тут, и Лотта приветствовала его радушно, как блудного сына.

В пансионе было шумно и весело. Тут жили самые разные люди. Например, двое очень крупных мужчин, брюнет и рыжий, с огромными шевелюрами и спутанными всклокоченными бородами. Они сидели без пиджаков в углу столовой и спорили о чем-то — Гризельда попыталась понять южнонемецкий акцент и незнакомые слова и решила, что о космосе. Еще были двое застегнутых на все пуговицы, чрезвычайно аккуратных мужчин с прилизанными черными волосами и небольшими усиками. Оба носили пенсне в черной оправе, с крохотными круглыми ручками на окулярах, которые смотрелись как луны при планетах. Эти двое приходили и уходили — предположительно на работу, — но за ужином присоединялись к спорам о космосе. Еще в пан-

сионе жили три молодые женщины — студентки одной из независимых художественных школ для женщин. В Баварскую королевскую школу искусств принимали только мужчин. Одна из молодых женщин явно была состоятельной — у нее было множество платьев, элегантные шляпы и затейливые прически. Другие две девушки носили заплатанные, заштопанные практичные одежды. Все три много смеялись. В пансионе вечно пахло краской и растворителем. Когда вечером вернулись домой Элли и Эмми, они оказались точным подобием трех жиличек, только моложе. Обе девочки были похожи на мать — такие же костлявые, хорошенькие, как-то располагающие к себе. Они непринужденно и остроумно болтали с жильцами. На девочках были простые платья, а поверх — фартуки в разноцветных потеках краски. Девочки бросились на шею Чарльзу, словно родственнику или старому другу семьи, и удивились, когда Чарльз представил им Гризельду как свою сестру. «Мы и не знали, что у тебя есть сестра», — сказали хором Эмми и Элли и расхохотались. Гризельде стало не по себе. Дороти не понимала ни слова из разговора, и ей было тем более не по себе. Комната гудела от болтовни и споров, а когда тебе семнадцать лет и ты впервые

за границей, немудрено почувствовать, что смеются именно над тобой и что всеобщая дружба задумана с одной целью — исключить тебя из общего круга. На миг Дороти задумалась, остолбенев от всего этого шума: зачем она так резко прервала заведенный ход своей жизни — чтобы притащиться сюда и чувствовать себя полностью потерянной? Ее спас Тоби Юлгрив, также чужой в этом мире: он читал по-немецки, как положено хорошему фольклористу, но не владел разговорным языком и никогда не встречал баварцев.

— Я уверен, дня через два-три мы полностью освоимся, — сказал он Дороти. — И все это станет для нас совершенно обычным.

Оказалось, что в обед пансион открыт для самой различной публики из числа завсегдатаев кафе — художников, богемы, студентов, мистиков-скитальцев и анархистов. Вечером все постояльцы ели вместе за большим круглым столом с очаровательного сервиза с цветочной каймой. На ужин подали суп, битком набитый капустой, сосиски, большие свиные отбивные, гору картошки и восхитительный десерт из красных ягод и сливок. Пиво подавалось на стол в изобилии в больших глиняных кружках. После ужина один из аккуратных мужчин играл на флейте, одна из

студенток-художниц пела хрипловатым голосом, а жильцы отбивали такт пальцами и ногами. Под конец запели все: бороды мотались в воздухе, горла раздувались. Тоби выпил несколько кувшинов пива и влился в общий хор, подпевая без слов. Дороти сослалась на головную боль и ушла спать.

Заснуть в чужой комнате, в непривычной постели нелегко. Дороти ворочалась, ерзала, задремывала и, вздрогнув, пробуждалась. Она видела узкий изогнутый месяц, похожий на перочинный нож, сияющий сталью на иссиня-черном небе. Потом послышался странный звук — ритмичный лязг и размеренные шлепки, лязг и шлепки, бум, бум, бум… звуки долго не смолкали, а ритм все ускорялся. Помимо этого, скрипели доски кровати, слышались стоны и хихиканье. Потом раздался долгий пронзительный крик, и наступила тишина.

Дороти прекрасно знала (теоретически), что слышит. В отличие от многих своих ровесниц она хорошо представляла себе, как происходит половой акт — в принципе. Дороти наблюдала за собаками и лошадьми. У них это не занимало столько времени. Интересно. Что же происходит? Дороти-естествоиспытатель наблюдала явление,

а усталая, измученная девочка хотела только, чтобы соседи еще больше ускорились, окончили поскорее свое занятие и дали ей уснуть. Когда грохот прекратился, раздались неясные голоса. Она задремала. И снова проснулась, когда соседи вновь упоенно загрохотали. Это также было неожиданно и странно. Очень характерно, что Дороти не задалась вопросом, кто грохочет и с кем; ее интересовало только, как это делается и почему именно в таком ритме.

По утрам у девочек были двухчасовые уроки — математика, немецкий, литература. Уроки проходили на балкончике, нависавшем над огородом и чем-то вроде скотного двора. Чарльз на уроки не ходил — он был не школьник, а молодой человек, пусть и с незавершенным образованием. Иногда он спал допоздна, а иногда бродил по улицам и сидел в кафе. После уроков девочки ходили по культурным местам — галереям и музеям, возвращаясь в пансион к обеду, пиву, беседе и послеобеденному отдыху.

Гризельда видела, что Дороти напряжена, как перетянутый лук. Стоило им оказаться наедине, Дороти говорила Гризельде: «Мы должны найти его, мы должны его искать, мы за этим сюда приехали». Она умоляла Гризельду спросить тетушку

Лотту про марионеточника Ансельма Штерна, а Гризельда все колебалась. Она стеснялась. У нее был замкнутый характер. Она не знала, как начать. Но через несколько дней, во время особенно оживленного обеда с возникающими там и сям водоворотами споров и взрывами иностранного смеха, тетушка Лотта принесла яблочные пироги и присела на минуту потолковать с Иоахимом.

— Что вы успели повидать? — спросила она. — Античные статуи? Государственный музей? Обязательно отведи всех в новое кабаре, *Elf Scharfrichter,* оно очень умное и эпатажное.[63] А что хотят увидеть юные дамы?

Дороти поняла большую часть речи тетушки. Она тайно ткнула Гризельду пальцем в бок:

— Скажи ей, — произнесла она, — скажи фрау Зюскинд, что мы хотим увидеть.

— В Англии мы как-то видели кукольный спектакль, — сказала Гризельда. — Кукольника — *Puppenmeister* — звали герр Штерн. Ансельм Штерн. Он поставил «Песочного человека» Гофмана и «Золушку». Это было… очень интересно. Вы о нем не слыхали?

— О, конечно, — отозвалась тетушка Лотта. —

---

[63] Примечания: 63

«Одиннадцать палачей» — популярное мюнхенское кабаре, одно из первых в Германии (и первое политическое).

Он знаменитый артист и художник. Марионетки и куклы славятся в нашем городе. У нас есть Пауль Бранн, чьи работы остроумны и волшебны, и еще у нас есть Ансельм Штерн, который создал собственный театр в подвале, он называется «*Spiegelgarten* фрау Холле», он более мистичен и поэтичен… но все артисты восхищаются друг другом, обмениваются идеями, и все явились в Künstlerhaus на поминки по нашему великому художнику Арнольду Бёклину. Вы видели картины Бёклина? У него было необузданное воображение, фантастические видения… Обязательно сходите в *Spiegelgarten.*

— Сад зеркал, — шепнула Гризельда на ухо Дороти.

— Фрейлейн Дороти особенно интересуется марионетками?

— Она хочет стать доктором. Это меня зачаровал «Песочный человек».

— Мы сейчас все выясним, нет ничего проще, — сказала фрау Лотта, поднимаясь с места. — Видите вон тех двух молодых людей? Это Вольфганг и Леон, сыновья герра Штерна. Они часто здесь бывают. Вольфганг учится живописи — но не в Мюнхенской школе искусств, у него слишком революционные идеи, он не может сидеть в школе,

рисуя коров и ангелов. Еще он помогает с марионетками… он более сатиричен, чем его отец… он работал с труппой Scharfrichter над кукольной пьесой о европейских монархах… «Благородное семейство», в трех сенсациях с прологом… вещь уморительно смешная и опасная… Леон еще учится в школе. Он гораздо серьезнее брата. Я вас представлю.

Тетушка Лотта направилась в другой конец залы, а Гризельда обняла Дороти за плечи. Когда-то — когда они еще были кузинами — из них двоих защитницей была Дороти, она была сильной, ее ничто не могло вышибить из седла. А теперь она сама нуждалась в защите. Встреча с двумя незнакомыми братьями-чужеземцами, безо всякого предупреждения, без подготовки, испугала Дороти. Она побелела и учащенно дышала. Она прошептала:

— Я не знала… Не знала, что у него есть дети… Что он женат…

Вольфганг Штерн был высокий и сутулый, с длинными, тонкими руками и ногами, в свободной блузе с большим вислым галстуком-бабочкой. Его брат, столь же худой, но меньше и аккуратней, был одет в темный, застегнутый на все пуговицы костюм, напоминающий униформу.

У Вольфганга длинные черные курчавые волосы стояли облаком вокруг головы; у Леона, который, видимо, был моложе Дороти, но ненамного, была очень аккуратная стрижка и аккуратный галстук. У обоих — большие темные глаза, точно такие же, как у Дороти. Оба юноши были узнаваемы — или так показалось взвинченной Дороти. Эти лица ей знакомы. Она уставилась на них, а потом опустила глаза, чувствуя на себе странно сосредоточенные взгляды братьев.

Говорила Гризельда волнуясь и потому пылко. На школьном немецком она представила Дороти и кратко упомянула о том, что несколько лет назад в Англии они посмотрели представление герра Штерна — его интерпретацию Гофмана и Гриммов, и им очень понравилось.

— Правда? — спросил Вольфганг. Он склонился над рукой Гризельды. — Он будет очень рад это слышать. Как ваше имя?

— Гризельда Уэллвуд. Мы… кузины.

— И одна из вас — надо думать, вы — та самая загадочная красавица, сестра Карла, которого мы встречаем в «Кафе Стефани» и в «Scharfrichter»… Карл как-то загадочно умолчал о том, что у него есть сестра. Мне кажется, он о многом загадочно умалчивает.

— Да, мне в последнее время тоже так кажется, — ответила Гризельда.

— Мы с очень большим удовольствием, — продолжал Вольфганг, — пригласим вас на одно из представлений нашего отца. Может быть, Карл и герр Зюскинд также захотят пойти? И другой ваш спутник — герр Юлгрив? Отец будет польщен.

Он не сводил глаз с Гризельды. В этом не было ничего особенного. Многие молодые люди упоенно любовались бледным и прекрасным лицом Гризельды. Но для Дороти — волнение не отбило у нее наблюдательности — удивительно было, что Гризельда отвечала тем же. Она тоже пристально глядела на Вольфганга. Она опускала глаза, разглядывая стол, а потом вскидывала их и смотрела прямо в глаза Вольфгангу, слегка приоткрыв рот. От другого столика подошел Тоби Юлгрив; он беседовал с Иоахимом и Карлом и тоже заметил пристальные взгляды Вольфганга и Гризельды. Тоби знал, что Гризельда влюблена в него, — давно знал и хранил молчание. Но в последнее время, когда Олив Уэллвуд стала приземистей и сердитей, а Гризельда расцвела, Тоби стал задумываться: а что, если… а вдруг… Так что ему было не очень приятно видеть улыбку немца, набивающегося в друзья. Тоби сдержанно

согласился, что визит в Spiegelgarten, возможно, доставит им всем удовольствие. Он заговорил о том, что ему запомнилось из постановок Штерна. Особенно замечательна была красивая марионетка-автомат в «Песочном человеке». Она была искусственной по-другому в мире искусственно сотворенных актеров. Тоби произнес все это на смеси английского и немецкого, и Вольфганг ответил так же.

— Я немного жалкий в английский иметь, — сказал он Гризельде. — Вы меня больше учить должны.

Леон, как и Дороти, ничего не говорил, только смотрел.

Потом, в спальне Дороти, девочки обсудили братьев Штерн. Гризельда была в полном восторге. Она сказала, что это замечательно, когда у тебя вдруг нашлись два таких интересных брата. Дороти сидела словно окаменев, и в глазах у нее стояли слезы.

— Не замечательно. Лучше б я вообще сюда не приезжала. Лучше бы все это никогда не случилось. Я хочу, чтобы всё, и я тоже, было как раньше.

Гризельда тут же преисполнилась сочувствия и сказала, что не нужно идти в Spiegelgarten, если

Дороти не хочет.

— Нужно, — мрачно сказала Дороти. — Вся эта каша просто невыносима. Я думала, если выясню… про него… то у меня в голове прояснится. Но теперь я вижу, что от этого может выйти только еще большая каша и неразбериха.

Дороти никак не могла уснуть. Перина казалась тяжелой и жаркой. Дороти вдруг затосковала по «Жабьей просеке». Она неотвязно думала про оставшегося там брата, Тома, и его золотую, слегка раздражающую, невинность. Том был неотъемлемой частью ее представления об английском семействе: дети носятся на свободе в совершенно безопасном лесу, испещренном пятнами солнечного света, и родители встречают улыбкой их, запыхавшихся и исцарапанных, когда они возвращаются из древесного дома с его незатейливыми секретами. Они были одно — как единая нитка разнокалиберных бус, занятые своими делами дети, все одинаковые, все разные, как это всегда бывает с детьми; их всех поглощала повседневная жизнь, всех едва заметно ограничивала, сдавливала — но это ощущение теперь казалось Дороти непозволительной роскошью. Дороти знала весь сад, все лестницы в доме, свою спаленку и древесный дом — как собственное

тело, как упругость волос под щеткой, худые ноги, жилистые руки. Только вот все было не тем, чем казалось. Виолетта не была старой девой и тетушкой. Филлис была сестрой лишь наполовину; сердитая Гедда, обожающая совать нос не в свое дело, оказалась проницательней Тома и Дороти, а они, старше и главнее, не знали ничего. Дороти изо всех сил думала про Тома, чтобы не думать про Хамфри и Олив, прошлых и настоящих, реальных и воображаемых. Длинноногий Том бежит, бежит деловито и бесцельно. Он почувствовал, что «сад Англии» на самом деле — в Зазеркалье, шагнул туда и решительно отказался возвращаться. Он не хотел взрослеть. Дороти всегда знала, что ей предстоит повзрослеть, а раз так, ей хотелось поскорее вырасти и покончить с этим. Правда, она думала, что брату может сойти с рук упрямое неведение, и почти завидовала ему. Холмы Даунса кишели молодыми и не очень молодыми мужчинами в бриджах и твидовых куртках, с удочками и ружьями, в льняных шляпах с обвислыми полями; они передвигались от паба к пабу и вели многозначительные разговоры о форели, погоде и болезнях деревьев.

Почти оплакивая Тома, Дороти подумала, что он ей не в большей и не в меньшей степени брат,

чем эти два темноволосых немца — заигрывающий и молчаливый. Впрочем, нет, это неправда. С Томом у них была общая жизнь. Они «играли в домик» в древесном доме. Они держались за руки, карабкаясь на холмы, катаясь на велосипедах, вбегая голышом в глубокие пруды.

Дороти трудно было признать, что она скучает и по этим двум обманщикам — Хамфри и Олив. Они оказались змеями в траве, Адамом и Евой в райском саду. Она рискнула перебрать в уме события той ночи, «вылазку» Хамфри, как она про себя это называла. Вспомнила его руку у себя под рубашкой, собственные чувства — смесь возбуждения и отвращения. «Я тебя люблю, — сказал он тогда. — Ты знаешь, что люблю. И всегда любил». И она действительно никогда, ни минуты не сомневалась в этом — за всю их совместную жизнь. Более того, ей хватило справедливости признать, что он действительно ее любил, как подобает отцу — и всегда любил. Их семья была современной, либеральной, фабианской. Он не был ни патриархальным тираном, ни чудовищем, ни невидимкой, пропадающим вне дома на загадочной работе, непостижимым для детей, каким во многом был для Карла и Гризельды их отец. Хамфри умел играть. Он играл со всеми

детьми, он хохотал, он изобретал разные забавы. До сих пор играл. Малышкой Дороти каталась у него на ноге, как на лошади, а когда чуть выросла — ездила за ним на велосипеде по проселочным дорогам, и он не давал ей упасть. И любил ее.

Она всегда — быть может, это естественно — любила отца больше матери. Она чувствовала, что у Олив хватает внимания только на одного из детей — и это был Том, а не Дороти. Она довольно рано отказалась поддерживать игру, затеянную Олив, — жить в волшебной сказке, а не на твердой земле, где ходят поезда, где люди держат трудные экзамены. Олив хотела любить Дороти-ежика, а Дороти хотела быть человеком, и притом взрослым.

«Нечего сказать, повезло мне с отцом, — ехидно и трагически думала Дороти, — попался волшебник, который плетет волшебные — и зловещие — сказки с помощью автоматов и кукол».

Они отправились в «*Spiegelgarten* фрау Холле» все вместе: Тоби, Иоахим, Гризельда, Карл и Дороти. Вольфганг и Леон должны были встретить их на Рёмерштрассе, у входа в здание кукольного театра. Дороти подумала, не открыть ли Тоби цель своего приезда, и решила, что не стоит. Она инстинктивно догадывалась о его отношениях

с ее матерью — впрочем, в отличие от Гедды ее совершенно не тянуло расследовать подробности — и это странным образом делало его как бы еще одним отцом, отцом-заместителем. Ей хотелось бы, чтобы Вольфганга и Леона с ними не было, и в то же время их присутствие позволяло ей оттянуть объяснение — ведь она, конечно, не могла говорить со Штерном при его сыновьях. Она посмотрит на него и решит, что делать.

Здание было высокое и мрачное. На дверных косяках и притолоках были нарисованы руны (Тоби сказал, что это руны), а на архитраве — яблоня в стиле югендштиль с золотыми и серебряными плодами. Юноши встретили гостей у входа. Все прошли по темному коридору прямо в заднюю часть дома, освещенную через витражное окно, на котором были еще руны — красноватого золота по белому — и медальон с изображением фигуры, охваченной пламенем.

Через эту дверь они вышли в ярко освещенный солнцем внутренний дворик с росписями на высоких стенах, с цветущими кустами в горшках и кадках. Посредине журчал фонтанчик; его украшали резные саламандры и ящерицы, бабочки и улитки, из которых, если смотреть под определенными углами, складывались лица с

пронзительными взглядами и цепкие пальцы. Гризельда рассматривала их, восторженно восклицая; Дороти отошла подальше. Солнечный свет лился во дворик, дрожа и переливаясь, как жидкость. Кукольный театр располагался в пристройке на другой стороне дворика. У дверей стояли деревянные статуи: одна крылатая, стройная, в плаще с капюшоном, другая — низенькая, коренастая, бородатая. *Elb und Zwerg*, сказал Вольфганг, обращаясь к Гризельде. Эльф и гном. Он добавил еще что-то, и Тоби перевел: «Стражи иного мира». «Мама была бы счастлива», — мрачно подумала Дороти.

Внутри было столь же темно, сколь во внутреннем дворике — светло. Внезапный и резкий переход ослепил их, наполнив пространство разноцветными галлюцинаторными вспышками, ослепительными, быстро угасающими. Когда глаза привыкли к темноте, стало ясно, что театр маленький. Стали видны ряды скамеек, а на стенах — зеркала в резных рамах с орнаментом из голов и листьев. Некоторые зеркала были завешаны черным. В глаза бросался высокий позолоченный просцениум для марионеток, с синим шелковым занавесом, расписанным лунами и звездами. Сбоку стояло что-то вроде школь-

ной доски, надпись на которой гласила: *«Heute wird gespielt Die Jungfrau Thora, ihr Lindwurm, seine Goldkiste».*[64]

Занавес освещался сзади — огни рампы смешивались с розовыми, алыми, небесно-голубыми и темно-зелеными лучами прожекторов. В зал прокрадывались другие зрители и замирали, осваиваясь. Послышалась музыка — слабый высокий звон струны, задумчивая флейта. Вольфганг сказал Гризельде:

— Он никогда не выходит до представления. Марионетки не говорят. Все построено на свете и движении. Иногда он выходит после. Он ждет, когда наступит полная тишина. Он взыскателен.

— Вам удобно? — спросил Леон у Дороти, примостившейся на конце скамейки. Спросил по-английски. Он впервые обратился к ней напрямую. «Да, спасибо», — ответила она, сжимая руки в ворохе юбок.

Занавес открылся. На сцену вплыла дева Тора: хрупкая красавица с завораживающим взглядом фарфоровых глаз и массой струящихся, шелковистых, серебристых волос. На деве было белое платье и голубая мантия. Ее движения были точ-

---

[64] Примечания: 64

«Сегодня играется пьеса о деве Торе, ее Черве и его золотом ларце» *(нем.).*

ны и продуманны.

Седобородый мужчина в черном одеянии — видимо, волшебник — преклонил колено и поднес Торе сверкающий золотом ларец. Декорация представляла комнату в башне; через узкие окна-бойницы виднелось звездное небо; в комнате стояли высокие готические стулья. Ларец принцесса поставила на стол, а когда осталась одна, открыла его и склонилась над ним. Оттуда, подобно фейерверку, выпорхнул крохотный золотой червячок, извилистый и бородатый, блеснул в воздухе, сделал несколько кругов по комнате и вернулся на место.

Тоби позже объяснил, что сказка про Тору и червячка — на самом деле про драконов и золото. Драконы спят на золоте; поэтический кеннинг для золота — *«wurmbett»*, ложе дракона. Дракон приумножал золото в своем ларце и расширял свое золотое ложе. Сокрытое сокровище сияло из ларца ослепительным красноватым светом. Дракон рос и наконец перерос свое вместилище. Половинки занавеса сходились вместе и снова расходились, и каждый раз дракон оказывался больше, жирнее, обрастал все более устрашающей бородой. Глаза его сверкали рубинами; когти были серебряными; грива кипела разноцветны-

ми огнями. Дракон свернулся вокруг ларца, зажав кончик хвоста в ухмыляющейся пасти, полной изогнутых острых зубов. Он свернулся, как удав, вокруг самой девы Торы, и она задергалась от боли и страха.

Вновь появился старый волшебник и сделал так, что рослые марионетки с царственной осанкой, в плащах, сапогах, шляпах с перьями, со сверкающими мечами по очереди бросали вызов дракону. Сражение происходило в комнате, смежной с сокровищницей, где свился кольцами дракон и корчилась пленная принцесса. Рыцари входили туда — иные беспечно и весело, иные с легкой дрожью — и вылетали в виде кровавых кусков, которые описывали дугу, крутились и падали. Дети в зале радостно вопили.

Появился принц Фрото. Кроткий, в практичном буром молескиновом костюме, похожий на рабочего. Служанка жестами предложила ему посоветоваться с Матерями.

Открылась новая сцена: мрачная каменная пещера. Фрото швырнул волшебные травы в расщелину. Матери медленно поднялись из подземного мира — они раскачивались, как водоросли; вместо лиц у них были завешанные покрывалами черепа, а на спинах горбы. Фрото

жестами объяснил им свою задачу, изобразив Червя и принцессу. Какая богатая пластика, подумала Дороти, а ведь чего проще — несколько проволочек, фарфор, глина, тряпки. Матери обратили к принцу Фрото ужасный застывший оскал и пригласили его в свои объятия. Зрители знали: если принц поколеблется или отпрянет в испуге, он пропал. Он решительно шагнул вперед и поцеловал каждую страшную тварь по очереди — им пришлось наклонить к нему верхнюю часть тела. Когда он перецеловал всех трех, матери яростно завертелись вокруг своей оси — кругом, кругом — и изменили обличье. Вместо черепов, обтянутых кожей, показались прекрасные, мечтательные женские лица, прикрытые масками-черепами, теперь уже прозрачными. Женщины гордо выпрямились и прошлись в величественном танце. Под темными покрывалами оказались роскошные волосы. Матери дали Фрото синий цветок — *«Rittersporn»,* шепнул Вольфганг на ухо Тоби, который понимающе кивнул и шепнул Гризельде, что это растение называется «шпорник», «шпора рыцаря», и обладает волшебными свойствами.

Вооруженный шпорником, принц Фрото вернулся в сокровищницу, уже совершенно

заполненную свернувшимся драконом. Меж кольцами слабо белело личико Торы, словно лицо узника меж прутьями решетки. Принц Фрото потряс цветком и мечом. Он крутанул цветок, и золотая голова проследила за его движениями. Он ударил мечом — раз, два, три, — и дракон распался на золотые звенья, подобные огромным монетам; они взлетели в воздух и упали кучкой, как деньги в сокровищнице; ухмыляющаяся голова приземлилась сверху, а хвост свесился с края сцены. Принц обнял трепещущую принцессу. Зрители захлопали. Занавес закрылся. Кукольник вышел кланяться: в черном одеянии, простом, застегнутом до горла, и в чем-то вроде квадратной академической шапочки. Тоби и Гризельда яростно хлопали. Дороти хмурилась и смотрела не отрываясь. У него было бледное лицо и узкий, четко вырезанный рот. Он выглядел как одна из его собственных марионеток — кланялся с рассчитанной грацией, не улыбаясь, поднимая руки, жестом отдавая дань почета невидимой труппе за кулисами, как дирижер — оркестру. Руки у него были тонкие и изящные. Он носил кольцо с зеленым камнем. Он был чужой. Он был не совсем от этого мира, а этот мир был чужд Дороти, он говорил на ином языке, жил по иным

правилам и законам. Как объяснить, кто она такая? Как его *увидеть?* И все же она «узнала» его лицо, как раньше — лица его сыновей, хоть и не могла бы сказать, что значит это узнавание. Он снова поклонился, окутанный складками одеяния, и отступил в темноту.

В театре забрезжил слабый свет. Зрители зашевелились. Вольфганг позвал всех пойти с ним за сцену и познакомиться с его отцом. Гризельда взглянула на Дороти, которая в панике сказала, что плохо себя чувствует, ей нужно домой, правда, ей очень жаль, в другой раз…

Было не совсем ясно, разрешено ли Дороти и Гризельде ходить по улицам Мюнхена в одиночку, без компаньона или дуэньи. Иоахим и Тоби относились к своим обязанностям очень серьезно. Было решено, что Карл тоже может выступать в роли охраны, поэтому назавтра девушки уговорили его пройтись с ними «по магазинам» и устроили так, что он довел их до самого *Spiegelgarten.* Вход в театр с улицы оказался открыт, и они вошли так же, как в прошлый раз; было солнечное утро, и объявление на доске обещало вечерний спектакль. Карл охотно оставил девушек одних, когда его об этом попросили. Они договорились встретиться чуть позже в «Кафе

Беттина» — в отличие от «Кафе Стефани» это было тихое место, куда студентки художественных школ приходили пить чай и кофе.

Во внутреннем дворике, где, не умолкая, смеялся фонтан, не было ни души. Дороти и Гризельда вошли в зрительный зал и подождали, пока глаза привыкнут к темноте. Здесь тоже никого не было. Но девушки слышали шевеление за сценой, за неподвижным, закрытым занавесом. Там что-то брякало, шуршало, звучали приглушенные шаги.

— Можно его позвать, — шепнула Гризельда.

— Идем, — сказала Дороти сдавленным голосом, каким только и говорила со времени приезда в Мюнхен. «Она ужасно напряжена», — подумала Гризельда, следуя за ней. Сама Гризельда сохраняла спокойствие усилием воли, и это давалось ей нелегко.

За сценой было помещение — нечто среднее между мастерской, складом и гардеробной. Безжизненные фигуры свисали ровными рядами с параллельных прутьев, как одежда в шкафу или, подумала Дороти с замиранием сердца, как страшные трофеи на стене найденной Томом хижины лесника. Нижние челюсти у марионеток отвисли, руки и ноги безвольно болтались.

Гризельде пришли на ум виселицы. Вдоль одной стены стоял застекленный шкаф, полный лиц — деревянных, глиняных, из раскрашенного фарфора, в париках и без париков; гротескные и элегантные, добрые и злые, все они обладали особенностью гениально сделанных марионеток: один и тот же персонаж с одним неизменным лицом мог, двигаясь, непостижимым образом выразить множество настроений и страстей — лица были одновременно застывшие и безмятежные, и необычайно выразительные. Аккуратными штабелями лежали черные лаковые коробки, в каких тогда приехали марионетки в «Жабью просеку». Были здесь и рабочие столы с инструментами: долотами, шурупами, гвоздями, напильниками, ножами — и припасами: банками клея, коробками шелка, атласа, фетра, нитей, иллюзий, мешковины.

Света в комнате не было, но она освещалась через окно в потолке. Под окном, на чем-то вроде трона, обитого красной кожей, сидел Ансельм Штерн, одетый в черное — бархатный пиджак, узкие брюки. Он шил. Через руку у него была перекинута марионетка, женщина, с юбками, задранными на голову. Штерн шил где-то между талией и рогаткой болтающихся тряпичных ног,

которые кончались остроконечными фарфоровыми ступнями. Казалось, так могла бы шить марионетка — он вдевал иголку и вытягивал ее с исключительным изяществом и точностью. Он сказал, не поднимая головы:

— *Wer sind Sie? Warum sind Sie hier? Das Kammer ist geschlossen.*[65]

— Нам… мне… нужно с вами поговорить, — ответила Дороти. — Это важно.

Гризельда перевела на немецкий. Девочки стояли перед его креслом, как две школьницы перед учителем. На Гризельде было зеленовато-голубое платье, светившееся в темноте, на Дороти — суровое темно-зеленое. Она цеплялась за свою сумочку. Ансельм Штерн что-то коротко сказал.

— Он говорит, если это важно, то скажи ему, что это.

— Мой отец сказал мне… — произнесла Дороти и в смятении замолчала. — То есть мне сказали, что… что человек, которого я считала своим отцом, на самом деле не мой отец. Он сказал, что мой отец — вы.

Гризельда перевела. Рука с иглой замерла, потом вновь вонзила иглу в ткань.

---

[65] Примечания: 65
Кто вы такие? Почему вы здесь? Тут закрыто *(нем.)*.

— И вот я пришла с вами повидаться, — закончила Дороти со спокойствием полнейшего отчаяния.

Она сама не знала, чего ждала от этого отца после такого заявления. Он не сразу поднял голову, а сначала сжал губы и сделал еще один стежок. Потом осторожно отложил куклу, встал и взглянул прямо в лицо Дороти. Взгляд был пытливый — не дружелюбный и не враждебный, но ищущий.

— Кто вы такая? — спросил он.

— Меня зовут Дороти. Моя мать — Олив Уэллвуд. Мой… ее муж — Хамфри. Он, кажется, уверен в том, что сказал.

— А сколько вам лет?

— Семнадцать. Почти восемнадцать.

— И зачем же вы сюда явились? Чего вы хотите?

Ей стало трудно дышать.

— Я хочу знать, кто я.

Дороти казалось безумной нелепицей то, что весь этот разговор пропускается через намеренно монотонный, безмятежный голос Гризельды.

— Вы ждете, что я вам это скажу? — спросил Ансельм Штерн.

— Я подумала, что если узнаю, кто вы, то буду лучше знать, кто я, — решительно сказала

Дороти.

— В самом деле, — отозвался Ансельм Штерн. Узкий рот криво улыбнулся. — Я думаю, фрейлейн Дороти, на вашем месте я сделал бы то же самое, а это, *vielleicht*,[66] кое-что говорит нам о том, кто мы такие.

Он замолчал, о чем-то думая. Потом спросил:

— Когда вы родились?

— Двадцать третьего ноября тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года.

Он сосчитал месяцы точными движениями пальцев. Улыбнулся. И спросил:

— Что думает ваша мать о вашем приезде сюда?

Дороти обратила взор на Гризельду, взывая о помощи. Гризельда ничего не сказала. Дороти заговорила — быстро, нормальным голосом, а не прежним неестественно официальным.

— Она не знает точно. То есть мы это не обсуждали открыто. Но я думаю, что мой отец… то есть… он… сказал ей, что проговорился мне, потому что она, кажется… рассердилась… на меня или на него… она не помешала мне поехать сюда, но мы не обсуждали, зачем я еду… она как

---

[66] Примечания: 66
Возможно *(нем.)*.

бы молча поняла и согласилась. Я думаю, она не хотела, чтобы я знала. Наверное, она не знала, что мне сказать.

Дороти помолчала.

— Для меня это было большое потрясение. И для нее — тяжело.

Она выслушала тихую немецкую речь Гризельды, которая повторяла ритм ее английской речи, отставая на полфразы.

— Так, — сказал Ансельм Штерн. — *Ich verstehe.*

— Я понимаю, — перевела Гризельда.

— Вы необычайно решительная и откровенная молодая женщина, — сказали два голоса: немецкий — как бы с улыбкой оценивающий ее, английский — нерешительный.

— Я люблю понимать вещи. Мне нравится знать, — сказала Дороти.

— Я вижу. А вы не думали, что это… это открытие будет означать для меня? У меня жена и двое детей. Что, думали вы, я сделаю после того, как вы мне откроетесь?

— Я не знала, что вы сделаете. Это ваш выбор. Вы можете сказать мне, чтобы я ушла. Но я думаю, вы мне верите.

— Действительно, верю. Вы родились через девять месяцев после Фашинга. В Мюнхене мно-

жество «фашингских кукушат».

— «Фашингских кукушат»?

Гризельда и Штерн принялись объяснять одновременно.

— Фашинг — это карнавал. Когда все позволено, — ответил Ансельм Штерн.

— Фашинг — это праздник на масленичной неделе, когда все сходят с ума и танцуют на улице, — сказала Гризельда и принялась переводить слова Ансельма.

Затем Гризельда сказала, уже ничего не переводя:

— Герр Штерн, мы познакомились с вашими сыновьями. В пансионе Зюскинд, мы там живем. Они вчера привели нас на спектакль. Но мы им ничего не сказали и не остались, чтобы познакомиться с вами — потому что Дороти должна была сказать вам все это.

— Переведи, пожалуйста, — попросила Дороти, чувствуя себя лишней.

Штерн спросил Гризельду:

— А вы-то кто?

— Я Гризельда Уэллвуд, кузина Дороти. То есть как раз не кузина… Но мы всегда были ближе, чем сестры. Моя мать — урожденная Катарина Вильдфогель. Может быть, вы помните — вы

показывали нам спектакль в «Жабьей просеке» и были так добры, что объяснили мне сюжет «Золушки».

— Я помню. Вы стали гораздо лучше говорить по-немецки.

Он помолчал. Взял марионетку, которую шил, встряхнул ее, оправил юбки и заглянул ей в нарисованные глаза. Пригладил шелковистые волосы, очень похожие на настоящие человеческие. Уложил их в прическу нужной формы.

— Я всегда хотел дочь. Мои сыновья — хорошие сыновья, но я всегда хотел дочь. Что теперь делать?

— Я не хочу ставить вас в неловкое положение… осложнять вашу жизнь.

— Мы в Мюнхене, это *Wahnmoching,* родина доктрины свободной любви. Она велит нам радоваться кукушатам, как золотым яйцам. В этом городе можно открыто сказать на площади то, что вы мне сейчас сказали здесь, в уединении — и никто не будет думать о вас плохо, то есть никто, чье мнение сколько-нибудь важно; конечно, жирные бюргеры и завсегдатаи пивных — они лишь *matter,*[67] несущественные, их

---

[67] Примечания: 67
Вялый, неубедительный *(нем.).*

мысли тяжелее воздуха. Но вы, может быть, не захотите ничего говорить, это ваше решение. Может быть, вы стыдитесь, хотя стыдиться вам нечего, а может быть, растеряны, и у вас есть на это право. Может быть, вы захотите сохранить этот секрет и поделиться им лишь с теми, кто его уже знает: герром Хамфри, вашей матерью и мудрой фрейлейн Гризельдой, которую мы оба должны поблагодарить, я считаю, не только за то, что она протянула между нами мостик языка, но и за привносимую ею атмосферу спокойствия, философского отношения. Я могу познакомить вас со своей женой…

Гризельда покраснела и умолкла, но Дороти продолжала пробиваться к ясности:

— Что подумала бы… подумает… ваша жена?

— Моя жена — художница. Она лепит из глины и высекает из камня, и преподает в *Damen-Akademie*.[68] Ее зовут Ангела, и она — ангел. Она любит быть в авангарде современной мысли. Согласно ее убеждениям, семья должна приветствовать новонайденного ребенка. На деле — я не знаю. Сколько вы пробудете в Мюнхене? Ибо если вы еще не скоро уезжаете, мы можем

---

[68] Примечания: 68
Женская академия *(нем.)*.

заняться этим… неспешно, ступая деликатно, осмотрительно…

Гризельде стало труднее переводить, потому что Ансельм, очень тщательно выбиравший слова, заговорил на странноватом поэтическом языке, который узнали бы его друзья.

— Мы приехали на два или три месяца. Мы учимся. Я пытаюсь учить немецкий. Мне нужно сдать экзамены в университет. У меня не очень хорошие способности к языкам. Но я постараюсь.

— Не очень хорошие способности к языкам? Но вы серьезная девушка, не *Hausfrau.* Интересная дочь. Каковы же ваши способности, ваши устремления, ваши надежды, мисс Дороти?

— Я хочу стать врачом. Учиться очень тяжело. Я бы хотела стать хирургом.

— Покажите мне руки.

Он отложил безвольно обмякшую марионетку — казалось, его собственным рукам не по себе, когда они ничем не заняты. Дороти придвинулась поближе к нему, и он взял обе ее руки в свои. Обе пары кистей были тонкими, жилистыми, сильными. Похожими.

— Сильные руки, — сказал Ансельм. — Способные руки, деликатные руки.

Он сухо, тихо кашлянул.

— Я тронут.

Дороти покраснела, потом побелела. На глаза навернулись слезы, но она удержала их.

— Юные дамы, вы устали, — сказал Ансельм Штерн. — Совершено большое усилие, пережито большое потрясение. Мы пойдем и выпьем кофе или шоколаду, и съедим по пирожному, и поговорим спокойно на отвлеченные темы, о жизни, об искусстве, и начнем знакомиться поближе. Да?

Вечером Дороти сказала Гризельде:

— Его имя ему очень подходит.

— Штерн?

— Да. Он строгий.[69] Серьезный и строгий.

Гризельда хихикнула.

— Штерн по-немецки не значит «строгий».

— Что?

— «Штерн» по-немецки «звезда».

— О, — сказала Дороти, мысленно пересматривая сложившийся образ. — Звезда.

---

[69] Примечания: 69

Фамилия Штерн пишется как Stern, что по-английски означает «строгий».

31

Все, что произошло до сих пор, было вызвано сначала оплошностью Хамфри, а потом — волей Дороти. К удивлению и отчасти облегчению Дороти, Ансельм Штерн взял происходящее под свой контроль и повел, едва ли не режиссируя, словно постановку пьесы. Он устраивал различные встречи в разных местах. Он водил новообретенную дочь на прогулки в Englische Garten,[70] а Гризельда шла за ними как тень, в нескольких шагах позади. На Штерне был развевающийся широкий плащ и широкополая шляпа.

Карманы его, как выяснилось, были набиты марионетками на веревочках и крестовинах. Задумчивая девочка, человек-волк в меховой шубе, с оскаленными зубами, странный лунный телец, светящийся зеленым, с огромными глазами. Штерн доставал их, и они шествовали рядом с ним. Прохожие приветственно махали ему. Ансельм сказал Дороти:

— Я отчасти верю, что у них есть души — может быть, временные или некие промежуточные.

---

[70] Примечания: 70
Английский сад *(нем.)*.

Он вопросительно взглянул на Гризельду.

— *Du kannst übersetzen?*[71] Я полагаю, что мы все — осколки одной огромной души, что земля — единое живое существо и что глина, дерево, кетгут, из которых состоят эти куклы, — также форма жизни, как и движение, которым я с ними делюсь.

Дороти порозовела и серьезно кивнула. На ней была хорошенькая соломенная шляпка с темно-синей лентой.

— Ты меня стесняешься, — заметил он.

— Нет.

— Да. Я так и знал. Но я всегда гуляю тут с этими созданиями — существами — и хочу, чтобы моя дочь знала меня настоящего.

Фигурки затанцевали на дорожке, остановились и взглянули на Дороти.

— Возьми одну, — сказал Ансельм Штерн. — Подвигай ею.

Дороти отступила. Гризельда протянула руку и получила лунного тельца-уродца. Тогда Дороти взяла человека-волка. Куклы безвольно повисли. Гризельда подергала за нити, приноровилась, и ее телец пустился в пьяный пляс. Ансельм Штерн

---

[71] Примечания: 71
Ты можешь переводить? *(нем.)*

накрыл своей рукой руку Дороти.

— Не бойся. Пусть он сам идет.

Нити оказались живыми. Пугающе живыми. Однажды с Томом у ручья Дороти попробовала искать воду ореховым прутом и страшно испугалась, когда неживое дерево дернулось у нее в руках и потянуло вниз. Дороти тогда уронила прутик и наотрез отказалась продолжать. Сейчас нити тянули точно так же. Дороти прислушалась к ним кончиками пальцев, и человек-волк зашагал, а потом поклонился. Поднял лапу. Откинул голову назад, чтобы расхохотаться или завыть. Пальцы покалывало.

— Ты тогда сказала, что хочешь знать, кто я. Я — человек, который делает танцующих кукол.

Гризельда сражалась со своими нитями и не перевела, но Дороти поняла и так.

— Понятно, — сказала она, остановила человека-волка и вернула его хозяину.

Гризельда подумала, что прежнюю решительную, рациональную Дороти обеспокоили бы, и может быть, даже отпугнули бы все эти странности и формальности. За прогулкой в саду последовала экскурсия по бесконечному пространству за сценой, знакомство с висящим там семейством, описание характера каждой

отдельной головы, подробное исследование коробок, в которых куклы лежали в пристойной позе, валетом — все, кроме Смерти, которая покоилась в отдельном гробу, пока Штерн не пробудил ее. Он заставил ее отвесить Дороти поясной поклон, протянуть ей руки, сложить их на груди и улечься обратно в гроб. Штерн говорил с перерывами, и Гризельде не всегда удавалось переводить его слова. Куклы жили более чистой, сосредоточенной жизнью, чем люди, наделенные страстями. Гризельда, всегда более склонная к фантазиям, теперь обнаружила в себе скептицизм. Дороти же слушала, уносясь на волнах мечты.

Однако их встречи не сводились к обсуждению серьезной метафизики марионеток. Они ходили в «Кафе Фелисите» на кофе с пирожными. Ансельм с дочерью, облокотившись на стол и глядя друг другу в глаза, вели долгие допросы.

— Какой ваш любимый цвет, фрейлейн Дороти?

— Зеленый. А ваш?

— Зеленый, естественно. А ваш любимый запах?

— Пекущегося хлеба. А ваш?

— О, запах пекущегося хлеба, лучше ничего и быть не может.

Он дарил ей разные мелочи. Фигурки, вырезанные им самим. Сову. Грецкий орех. Ежика. Над ежиком Дороти нахмурилась. Она вспомнила свою собственную сказку, написанную Олив, про Пегги и миссис Хиггель, женщину-оборотня. По совершенно сверхъестественному совпадению в тот же день Дороти получила из дому толстый конверт с очередной серией сказки — попыткой загладить вину, мирным приношением сказочницы из «Жабьей просеки». Олив не знала, что именно знает Дороти, и боялась того, что дочь может выяснить. И ничего лучшего не придумала, как послать ей кусок сказки. Дороти не собиралась ее читать. Но прочитала. У миссис Хиггель украли ежиную шкурку-плащ, а с ним и волшебство. Шкурка лежала сложенная в потайном ящике, но миссис Хиггель пришла домой и увидела, что окно распахнуто, а колючий плащик исчез. И все ее слуги и домочадцы — мышиный народец, лягушачий народец, лисята — тоже потеряли способность превращаться, потому что исчезла колючая оболочка. Кто же виноват? На этом сказка прерывалась. Сопроводительное письмо Олив звучало несколько жалобно.

Девочка моя, я не знаю, интересна ли тебе еще эта сказка, — может быть, ты уже взрослая дама и оставила младенческое, — но я много думаю о тебе, а так как мое ремесло — писать сказки, я написала кусочек той сказки, которую до сих пор мысленно называю твоей. Ты не пишешь, как ты там живешь. Мы все по тебе ужасно скучаем. Твоему здравомыслию, пониманию, деловитости нет равных. Мы все без тебя стали какие-то унылые и запущенные. А Том ночует в лесу и возвращается ужасно грязный. Пожалуйста, доченька, пиши. Можешь не читать мою глупую сказку, если не хочешь.

Твоя растерянная и любящая мать.

Теперь Дороти нужно было кое-что сказать Ансельму, не прибегая к помощи Гризельды. Дороти набиралась немецких слов из повседневного обихода, но говорила еще недостаточно хорошо, чтобы объяснить Штерну, кто такая миссис Хигель, или расспросить его о своей матери. В редкие минуты одиночества — вот как сейчас, сидя над листками из английской школьной тетрадки со сказкой об английских

зверьках, которые были еще и людьми, — Дороти чувствовала, что Штерн околдовал ее. Она была счастлива только рядом с ним или на пути к нему — но при этом все время боялась, боялась ловушки или чего-то невидимого.

Они сидели у него в мастерской. Она протянула ему пачку листов, полученных от Олив. И монотонно сказала по-немецки:

— *Ein Brief von meiner Mutter. Ein Märchen. Ich habe meiner Mutter nichts von Ihnen — von Dir — gesagt.*

Он посмотрел на нее долгим, серьезным взглядом и взял бумаги. Дороти была в состоянии, через которое проходят все люди в начале влюбленности — когда хочется сказать любимому или любимой — своему второму «я» — абсолютно все, выложить все, еще не зная, что может и чего не может понять и принять реальный человек. Гризельда сидела бледная, словно растворяясь в воздухе. Ансельм переворачивал страницы с рисуночками, изображающими ежиков, лягушек и подземные кухни с рядами кастрюлек. Он спросил у Гризельды:

— Что это?

— Скажи ему… Она пишет по сказке для каждого из нас. Это моя. Это причудливая история про волшебных ежиков.

— Я не знаю, как перевести «причудливая». — Гризельда взглянула на Дороти. — Не плачь. Зачем ты это принесла?

— В этой сказке есть немножко и от нее. Я хотела свести все вместе. Не переводи это.

Но он кивнул, словно понял.

— Хиггель, — произнес он. — Мис-сис Хиг-гель. Что такое миссис Хиггель?

— *Eine Kleine Frau die ist auch ein Igel,*[72] — объяснила Гризельда.

— *Ein Igel,* — повторил Штерн.

— Иглы? — эхом отозвалась Дороти.

— Нет, нет. *Igel* по-немецки еж.

— Ханс майн Игель.[73] Это сказка братьев Гримм. Он говорит, что ставил эту сказку для нее.

Она повернулась к Ансельму:

— *Für die Mutter?*[74]

— *Genau.*[75]

---

[72] Примечания: 72
Маленькая женщина, которая также ежик *(нем.).*

[73] Примечания: 73
Ханс, мой ежик *(нем.).*

[74] Примечания: 74
Для матери? *(нем.)*

[75] Примечания: 75
Верно *(нем.).*

— Ясно. Миссис Хиггель — это Ханс майн Игель. Я много лет не играл эту сказку. Марионетка человека-ежа, я думаю, одна из моих лучших. Мы его найдем, и завтра я поставлю эту сказку. Я думаю, она назвала тебя миссис Хиггель в честь сказки «Ханс майн Игель». Это странная история. Одна женщина очень хотела ребенка. Она сказала, что готова родить кого угодно, хоть ежика. А в сказках люди получают то, о чем просят. Ее ребенок оказался на верхнюю половину тела ежом, на нижнюю — красивым мальчиком, и она воспылала к нему отвращением.

Гризельда не сразу смогла перевести «отвращение».

— Поэтому он спал на соломе у печки, ездил по лесу на боевом петухе и играл на… я не знаю, что такое *Dudelsack*.

Штерн показал жестом.

— Ага, волынка. Он сидел на дереве, играл на волынке, пас свиней и жил счастливо. Однажды он встретил короля, заплутавшего в лесу, и показал ему дорогу домой, а король пообещал отдать ему того, кто первым выйдет ему навстречу, и, конечно же, это оказалась королевская дочь. И дочери пришлось выйти замуж за свинопаса, полуежа, потому что в сказках люди держат свои

обещания. И она ужасно боялась иголок своего жениха, и ей совсем не нравилась игра на волынке. И вот в брачном чертоге еж втайне снял свою ежиную шкурку, и тут набежали слуги короля и сожгли ее в печи. Эту сцену очень красиво играть с марионетками. Он оказывается полностью человеком, но черным, как уголь. И его отмывают, и одевают как принца, и принцесса бросается к нему в объятия и очень любит его — больше всего на свете — и с тех пор они живут долго и счастливо. Дороти, я думаю, что, когда твоя мать называла тебя миссис Хиггель, она думала про ребенка, который наполовину чужак, и еще про ежика — он ловкач, умный Ганс, персонаж немецких сказок. Ты — долгожданный, желанный ребенок, который наполовину происходит из неведомой страны, инакое дитя.

— В этой сказке, которую она прислала, ежиную шкурку украли. Но там ежихе нужна ее шкурка, в ней волшебство, которое помогает ей уменьшаться или становиться невидимкой.

Ансельм нашел старых марионеток из спектакля «Ханс майн Игель» — подменыша в колючей шубке, гордо выступающего красного петуха с золотым гребнем, мать с плаксивым выражением лица и двумя слезами на деревянной щеке — сна-

чала она плакала оттого, что у нее не было детей, а потом — оттого, что ее ребенок оказался неведомой зверушкой. Через несколько дней Штерн с помощью Вольфганга сыграл старую сказку. Эта пьеса была со словами. Они двое говорили за всех кукол, а Вольфганг играл спотыкающуюся мелодию на простенькой волынке. Все пришли смотреть — Иоахим и Карл, Тоби и Гризельда, Леон и Дороти. Дороти заметила, что кукольник тихо обижался, если она пропускала хоть одно представление в Spiegelgarten. На блестящих иголках полуежика играл свет. «Я никогда не сдам экзамены, если буду каждый день просиживать тут и смотреть на танцующих кукол», — подумала Дороти. И все же, когда черное существо, бывшее ежиком, вылезло из колючей шкуры, как бабочка из куколки, и омылось и стало белым, чтобы возлечь с принцессой, Дороти была тронута до слез; внутри словно заплескалась жидкость. Дороти чувствовала: ее что-то кидает и тянет в стороны, как луна — приливные волны. Такого она не ждала и не просила.

Через несколько дней, когда Гризельда вставала из-за обеденного стола в пансионе Зюскинд, Вольфганг поймал ее за рукав.

— Одно слово с вами… — сказал он по-англий-

ски. — В тихом месте.

Его пальцы словно били электричеством. Гризельда знала, что он за ней наблюдает — под его цепким взглядом у нее горела кожа. Он умел быть и насмешником, и серьезным молодым человеком. Он ехидно прохаживался насчет баварцев и пива, шутил про кайзера и его гардеробы, набитые военными мундирами, про английского короля Эдуарда с его гаремом из знатных дам, про буров, стойко страдающих в Южной Африке. Он чувствовал себя как дома в странном новом мире сатиры, скетчей, намеков и неожиданных громогласных сантиментов. Он наблюдал за ней, Гризельдой. Увидев, что она это заметила, он кривил рот в презрительной ухмылке и отворачивался.

Она вышла за ним в сад, и они сели за столик под виноградной лозой, оплетающей шпалеру.

— Посмотрите-ка, — сказал он.

Он протянул ей большой альбом для рисования. Альбом был полон женских головок и, гораздо реже, фигур — во всех ракурсах, со всеми возможными выражениями. Рисунки углем, карандашом, мелом, тушью.

На рисунках были Дороти и Гризельда. Рисовавший изучал их костяк, волосы, выражения

лиц, состояния души.

Сперва Гризельда решила, что это рисунки Вольфганга. Но тут он спросил:

— Что вы сделали с моим отцом? Он *verzaubert* — околдован. Он влюблен в вас? Люди говорят всякое… мне и моей матери. Он никогда таким не был, никогда. Вы свели его с ума?

Гризельда в ужасе воззрилась на собеседника.

— Ничего подобного. Это совсем другое. — Она лихорадочно думала. — Наверное, вам лучше спросить у него самого.

— Как я могу такое спросить? Он мой отец. Он всегда был… такой серьезный, немного отстраненный. Как я спрошу его, не влюблен ли он в одну из девушек-англичанок? Люди говорят моей матери всякое… недоброе.

Он мрачно сверлил взглядом стол.

— Мы требуем, чтобы вы оставили его в покое, — сказал он.

— Я только перевожу…

— Значит, это другая, та, Дороти…

Фурии заплескали крыльями в голове у Гризельды. Тайна принадлежала не ей. Она сказала:

— Это тайна. Я не вправе вам ее открыть.

— *Что вы наделали?*

— Послушайте, — сказала Гризельда. — Это их

тайна. Я вам скажу, но только для того, чтобы вы перестали… думать плохое. Это тайна.

— Ну?

— Она его дочь. Она узнала об этом и приехала сказать ему. Он… он ей верит, вы же видите. Они… вы сами видите, как они вместе. Я только перевожу, — решила на всякий случай добавить она, в то же время исподтишка изучая собственное худое, бледное, красивое лицо, мелькающее на страницах альбома для рисования.

— А вы — ее брат. Единокровный.

Вольфганг склонил голову набок и принялся разглядывать Гризельду.

— Я считаю, вы теперь должны ему сказать, что вам все известно. Я думаю…

Она хотела сказать: «Я думаю, что в этой истории слишком высокий накал страстей», но не смогла.

Он сказал:

— Я рад, что не вы моя сестра.

— Почему?

— Сами знаете.

Гризельда покраснела и отвела глаза.

— Вы пойдете со мной к нему? — спросил Вольфганг.

При появлении Вольфганга с альбомом и каю-

щейся Гризельдой Штерн слегка растерялся. Он играл спектакль, и вдруг один из актеров перехватил нити. Вольфганг вежливо и неумолимо спросил, правду ли сказала Гризельда. Потом сказал, что отец должен открыться матери, потому что люди говорят недоброе. Ансельм ответил, что давно собирался с ней поговорить. Он хотел лишь… повременить немного, решить, как лучше это сделать, что сказать сыновьям. Он горестно улыбнулся Вольфгангу.

— Теперь, когда ты знаешь, у меня больше нет причин откладывать.

— Простите меня, — сказала Гризельда.

— За что?

— Я выдала вашу тайну.

Гризельде, которая росла одновременно балованной, захваленной и заброшенной, раньше не приходилось так долго играть лишь вспомогательную роль в чужой драме.

— Нет, это хорошо, — сказал Штерн. — Теперь, поразмыслив, я должен благодарить вас.

Ангела Штерн прислала сделанные вручную пригласительные билеты — с ехидно ухмыляющимися херувимчиками — в пансион Зюскинд, приглашая всех — Иоахима, Тоби, Карла, Гризельду и Дороти — на ужин в Spiegelgarten. Дороти

поглядела на херувимов и решила, что у фрау Штерн есть чувство юмора. По такому торжественному случаю Дороти тщательно соорудила высокую прическу.

Фрау Штерн встречала гостей, стоя у фонтана. Она была крупнее мужа по всем измерениям и казалась немного старше — с крупными чертами лица, в короне седеющих светлых волос. Одета безо всякой экстравагантности, в блузку с кружевами и длинную серую юбку. Она пожала всем руки; Дороти — столь же кратко, как и всем остальным. У фрау Штерн было лицо из тех, что в покое выглядят тяжеловатыми, но улыбка или живой интерес мгновенно преображают их. Когда фрау Штерн улыбалась, она становилась похожа на Вольфганга — та же широкая ухмылка, та же сосредоточенная радость. Гостям подали лососину с огурцами, картофельный салат со сметаной и, на выбор, пиво или рислинг. Фрау Штерн сказала, что фигуры на фонтане и зеркала — ее работа. Гризельда смотрела, как фрау Штерн смотрит на Дороти, когда та не видит. Дороти сидела рядом с Леоном, который, полностью владея собой, сказал, что поговорил с братом и рад новости.

По окончании трапезы Ангела Штерн при-

гласила Дороти в дом, чтобы показать ей свои работы. Все — к этому времени даже преподаватели — поняли, что это значит. Ансельм Штерн вытащил из кармана марионетку — черного кота — и принялся танцевать ею у себя на колене.

— Я покажу вам свою мастерскую, — сказала Ангела Штерн, которая говорила на своеобразном английском. Они поднялись по крутой лестнице и вошли в большую, почти пустую комнату, где стоял мольберт и на двух столах — глиняные головы, одни неоконченные, другие готовые.

— Это мои сыновья, — сказала Ангела, показывая на три головки очень явно новорожденных младенцев. — Здесь Вольфганг, здесь Леон, здесь Экхард, который не жил. Я люблю своих сыновей, и я люблю свою работу, и я рада видеть вас у себя в доме, фрейлейн Уэллвуд.

— Дороти?..

— Дороти.

— Спасибо, что вы меня пригласили.

— Я считаю, что все мы имеем право любить, где должны… когда должны… и что мы… не должны себя сковывать? Но вы понимаете — убеждения человека и его чувства — это не одно и то же. Я… я не знала, что… что вы живете на свете. Я встречалась с вашей матушкой, когда она была

здесь. Она прекрасная женщина, полная жизни. Тогда она была очень несчастна. Мы пытались ее утешить. Мои убеждения диктуют, что я должна быть счастлива видеть вас, фрейлейн… тебя, Дороти, и теперь, когда я тебя вижу, я думаю, что действительно буду счастлива. Приходи к нам почаще. Я покажу тебе свою работу. Это комната, где я могу быть собой. Я хочу, чтобы ты поближе узнала меня… также и меня. Думаю, мне больше ничего не надо говорить.

— Вы невероятно добры.

— Если и есть чья вина, то никак не твоя. Вот мои сыновья как херувимы, а здесь они начинают быть молодыми людьми. Это Ансельм. Я не могла его лепить без куклы в руке. У меня не вышло изобразить его так, чтобы мне самой нравилось. Еще я рисую карикатуры, то у меня получается лучше, я могу сделать упрощенный… как вы говорите… край… силуэт его внешности…

Позднее, вспоминая этот разговор, Дороти подумала, что Ангела была полна решимости и вести себя порядочно, и не допустить, чтобы ее оставили за бортом. Еще позже Дороти поняла, что Ангела Штерн во многом похожа на Олив Уэллвуд. «Это комната, где я могу быть собой». Дороти была в том возрасте, когда еще удивля-

ет собственная способность понять и описать чужие чувства и душевные движения. Если ты понимаешь ход чьих-то мыслей, значит, этот человек тебе нравится? Дороти не свойственны были страстные привязанности и спонтанные эмоции. Все это бурление чувств — волнение, восторг и страх — по поводу новонайденного отца ее беспокоило. Любовно вылепленные Ангелой Штерн головки сыновей напоминали сказки, которые Олив писала для своих детей — выражение любви, выражение обособленности.

Здравый смысл — это и благословение, и проклятие. В Мюнхене у Дороти было время все хорошенько обдумать. Если она собирается стать врачом, ей придется вернуться в «Жабью просеку» и сдать экзамены в университет. У нее мелькнула мысль — остаться в Южной Германии и выучиться на врача тут, но у немецких женщин в то время было еще меньше возможностей для учебы, чем у британских. Кроме того, Дороти понятия не имела, что скажут ее новообретенные родственники, если она попросится к ним жить. А потом поняла, что и не хочет тут оставаться — по крайней мере, пока. Здесь она была счастлива, но все равно тосковала. Она скучала по древесному дому, ей не хватало соседства с Куинз-колледжем

на Харли-стрит, лекций на Гоуэр-стрит. Кроме того, по-прежнему непонятно было, что делать с учителями. Гризельда и Карл знали, что происходит, и приняли Вольфганга с Леоном как некое подобие кузенов по женской линии. Дороти решилась. Она попросила Гризельду под страшным секретом все рассказать Тоби Юлгриву. А Карла попросила рассказать Иоахиму Зюскинду — под еще более строгим секретом. Они станут частью кружка, знающего правду об Ансельме Штерне и Дороти Уэллвуд, и будут поддерживать удобную легенду, что Дороти — на самом деле Уэллвуд и потому может вернуться домой. Дороти не знала, что подумает Тоби, ведь он столько лет любил ее мать. Дороти пыталась заново продумать, переосмыслить то, что ей было известно об отношениях этой пары. Дороти подумала, не знал ли Тоби с самого начала, что Дороти — не дочь Хамфри, и решила, что нет. Она бы заметила, что он уже знает. С виду было не похоже. Он явно растерялся.

А как ей подготовить свое возвращение — в каком-то смысле, спуск — в «Жабью просеку»? Дороти написала письмо матери. Это заняло немало времени.

Дорогая матушка-Гусыня!

Я так рада была получить от тебя письмо и узнать, что дома все хорошо. Я скучаю по младшим, по Тому и даже по английскому пейзажу, хотя Мюнхен — потрясающе красивый город. Я многому учусь. Немцы на нас совсем не похожи, а когда видишь людей, совсем непохожих на тебя, начинаешь понимать себя лучше.

Не знаю, почему ты решила, что моя сказка мне больше не интересна. Я всегда радуюсь продолжению и хочу узнать, что было дальше. Я показала ее герру Ансельму Штерну, в чьем театре мы часто бываем. Он сказал, что миссис Хиггель, возможно, имеет отношение к сказке братьев Гримм «Ханс майн Игель», и показал нам свою собственную постановку, кукольный спектакль по этой сказке. Мы очень подружились с герром Штерном и всей его семьей. Фрау Штерн — скульптор. Не знаю, знакома ли ты с ней. Она очень добрая, гостеприимная женщина и часто приглашает нас всех — в том числе репетиторов — на ужин.

Мы очень подружились с Вольфгангом и Леоном, сыновьями герра Штерна. Они говорят с Гризельдой по-немецки, а Карла водят по кабаре и кафе! Я знаю, тебе жалко, что мы не попадем в «Жабью просеку» на праздник Летней ночи, но Штерны пригласили нас отпраздновать его здесь, с ними, и мы будем вспоминать вас всех. Здесь этот праздник называется Johannisnacht. Все мюнхенцы — то есть все, кто принадлежит к артистическим кругам Швабинга, — надевают карнавальные костюмы по малейшему поводу, так что нам тоже придется придумать себе костюмы. Герр Штерн обещал дать кукольный спектакль по «Сну в летнюю ночь». Мюнхенцы обожают прогуливаться и смотреть на *Bauertanz* — это когда люди танцуют на улицах. Герр Штерн говорит, что может сделать сельских жителей в «Сне в летнюю ночь» похожими на немецких *Bauern.* Я учу немецкий, но дело идет очень медленно. Зато Гризельда говорит по-немецки, словно лебедь плывет по реке. Но она тоже будет рада вернуться домой. Все передают привет

тебе, и папе, и всем остальным в «Жабьей просеке».

Дороти

Дороти решила, что это письмо — шедевр непринужденности и удобный спасательный круг, который она бросает матери, если та захочет за него схватиться. Затем Дороти села и стала думать: почему она злится на Олив, жаждет выкинуть ее из своей жизни, наказать? За что именно она хочет наказать Олив? За минутное (как предполагала Дороти) увлечение загадочным, интересным Ансельмом? За собственное появление на свет? Но Дороти была рада, что живет на свете, довольна тем, кто она есть, даже если оказалось, что она не совсем та, кем себя считает. За то, что ее вырастили в неведении, под фамилией Уэллвуд? А что еще могла сделать женщина в таком положении? Олив не обманула Хамфри — может быть, у нее и не было такой возможности. Дороти вынуждена была признать, что они оба ее любили. Что ее сердило, так это ложь. Человек, которому солгали, чувствует себя уничиженным, отвергнутым, оскорбленным. То же чувствовала и Дороти. Но она также начала понимать: если один человек солгал другому, а

второй поймал его на лжи, второй получает определенную власть над первым. Теперь у Дороти была определенная власть над Хамфри и Олив, потому что они ей лгали, а она об этом узнала. А они не знали, что именно она знает, и боялись. Ее письмо вселит в них еще больший страх и беспокойство. Так им и надо. Но, кроме того, письмо, такое наивное и нейтральное, оставляло путь к отступлению, давало возможность притвориться, что ничего не случилось — но все они будут знать, что притворяются, и вместе играть спектакль. Дороти запечатала письмо, лизнула марку и отнесла конверт на почту.

Чарльза-Карла тоже беспокоила его двойная жизнь. Он гораздо больше, чем девушки, видел и политического бунтарства, и сатирической, богемной жизни Швабинга. Он сидел в густом дыму и песнях «Кафе Стефани» и слушал, как психоаналитики и анархисты проповедуют брожение. Он слушал лозунги. «Единство — насилие князей, тираническое правление. Разброд — насилие народа, то есть свобода» (слова Паниццы). Ораторы проводили многозначительные аналогии между скрытыми, разрушительными частями души и возбуждением толп восставших рабочих и крестьян. Отрицать такие импульсы было опас-

но — насилие, заговоры, революция, убийство становились необходимыми и желательными по мере борьбы с тиранической властью и свержения ее. Страшно далеки от этого были вежливые педантические писания фабианцев, а еще дальше — скачки и охотничьи выезды знати, приближенной к новому королю: в эти круги, на самый краешек, допускали отца Чарльза благодаря богатству жены-немки. Чарльз был умен и понимал, что может позволить себе быть анархистом, потому что богат. Эстетическую жилку мюнхенских мыслителей — завсегдатаев кафе тешили выбросы простонародной силы — «шаривари», *Bauerntanz, Karneval.*[76] *Karneval* и беспорядки шли рука об руку и были прекрасны. Иоахим Зюскинд в основном слушал. Вольфганг говорил мало, но, как и отец, непрестанно рисовал: возбужденно выставленные вперед бороды спорщиков, ноги женщин — складки юбок обрисовывали их, когда женщины, аплодируя, откидывались назад. Леон участвовал в спорах. Он почти чопорно обсуждал необходимость политических убийств. Карл заявил, что не видит необходимости в убийствах — в разрозненных ак-

[76] Примечания: 76
Карнавал, масленичные гуляния *(нем.).*

тах, которые имели место до сих пор: анархисты убили французского президента, премьер-министра Испании, императрицу Елизавету и итальянского короля, и все эти действия привели только к усилению гнета. «Сразу видно, что ты англичанин, — беззлобно сказал Леон. — Вы не видали угнетения, с которым сталкиваемся мы. Вас не могут посадить в тюрьму за *Unzüchtigkeit* („непристойное поведение“, — перевел Иоахим) или за *lèse-majesté,* а с нашими актерами это случается постоянно. Мы вынуждены ставить серьезные пьесы в частных клубах и кабаре. А потом врывается полиция и сажает артистов в тюрьму или высылает. Оскар Паницца изгнан в Швейцарию и не может вернуться».

— Мы сводим тебя в новое художественное кабаре, «Elf Scharfrichter» — «Одиннадцать палачей», — сказал Иоахим. — По-немецки это звучит гораздо лучше — острое лезвие топора и острые слова артистов.

Карл уже был знаком с немецкими журналами — «Югендом», «Симплициссимусом» — и изумлялся их сатирическому яду и ярости. Иллюстрации в них были элегантные, острые, непристойные и живые. Черные танцующие черти. Бульдоги. Женщины с черными ртами, по-

добные летучим мышам и вампирам. Поскольку Карл был английским анархистом, Леон как-то предложил ему полюбоваться на карикатуры «Симплициссимуса», посвященные Англии. Леон объяснил Чарльзу-Карлу, что художники Швабинга всем сердцем сочувствуют страданиям буров в Южной Африке. Одна карикатура провозглашала: «Стреляйте англичанам в язык, там сосредоточен весь яд». Другая — ужасный, выразительный шарж на короля Эдуарда, который вместе с офицером колониальной армии топчет ногами буров в концлагере. «Кровь этих дьяволов пачкает мою корону», — говорит король.

— Сильно, правда? — спросил Леон. — Английские туристы пытались добиться запрещения этих карикатур. «Симплициссимус» и кайзера высмеивает: его бесчисленные мундиры, его путешествия на Святую землю.

Карла удивила — отчасти удивила — собственная реакция на эти картинки. Его охватили чистая шовинистическая злость и обида за Англию. Но он скрыл эти чувства от немцев точно так же, как дома скрывал свой анархизм от родных. Он, как и Дороти, временами тосковал по дому, по неторопливой жизни, не такой насыщенной, более раздумчивой. Более вежливой. Ни

один англичанин не мог бы так наслаждаться, оскорбляя других. Английская карикатура была бы более смешной и менее… неприятной.

Его повели на представление «Elf Scharfrichter» — в ту ночь, когда в кабаре давали кукольное представление, потому что Вольфганг помогал делать этих кукол и участвовал в самом представлении.

Труппа «Elf Scharfrichter» — одиннадцать артистов, включая Франка Ведекинда, автора пьесы — выходила на сцену в кроваво-красных плащах и масках палачей, с тяжелыми двуручными мечами для отрубания головы и представляла в популярной форме пьесы, песни, кукольные спектакли, театр теней. Они называли этот вид искусства *Tingeltangel.*[77] Они сравнивали себя с прикладными художниками — «как мебельщик делает стул, чтобы на нем сидели, так мы сочиняем песни, чтобы их пели». Они творили Angewandte Lyrik. Труппа выступала на частной сцене, в таверне, куда вмещалось восемьдесят человек. Зрители сидели за столиками, как в ночном клубе. Когда Иоахим и Вольфганг привели сюда Карла, зал был переполнен. Черные

---

[77] Примечания: 77
Балаганчик *(нем.).*

стены были украшены мертвенно-мрачными, элегантными плакатами из «Симплициссимуса» и непристойными японскими ксилографиями — они потрясли Карла, но он старался сохранять типично английскую внешнюю невозмутимость. На обложке программки красовалась гордая обнаженная женщина, стягивающая длинные кроваво-красные перчатки. При входе зрителей встречал тотемный столб: голова очень серьезного человека в парике, напоминавшая о «веке разума». В голове торчал топор палача.

На сцену торжественным маршем вышли палачи, распевая песню, которой традиционно открывались их представления. Песня высмеивала католическую иерархию.

Танцуют тени на стене, как куклы на струне,

О вы, лощеные хлыщи, вы счастливы вполне.

Сидит над вами Кукловод: тиран и сумасброд:

Едва струну потеребит, всяк песню запоет.

Никто погибели не ждет: пьяны и без вина…

...Но средь веселья подведет надежная струна.[78]

В этот вечер палачи со смаком проорали свою песню, и их сменила на сцене Мария Делвард, худая, как скелет, белокожая, с гривой огненных волос и подведенными сурьмой глазами. Она запела, извиваясь в длинном черном платье, о сексе и страсти, о самоубийстве и убийстве — низким, стонущим голосом. Марию освещали фиолетовые прожекторы. У нее был рот вампира. Потом пришел черед кукольной пьесы «Благородное семейство». Зрителей и сцену разделяла оркестровая яма, где помещались и музыканты, и кукловоды. В пьесе коронованные особы Европы были выведены в образе детей, которые подрались из-за игрушек — империи в Южной Африке, дворца в Пекине. Были тут и дядюшка с племянниками — Эдуард Английский, кайзер Вильгельм, царь Николай. Они ревели, как трехлетние мальчуганы, и строили заговоры со всеми против всех. Карл сидел неподвижно, пытаясь разобрать тараторящую речь. Он не любил царей и королей как таковых. Но вдруг опять, неведомо для окружающих, стал англичанином. Это безоб-

[78] Примечания: 78
Перевод Д. Никоновой.

разие, что иностранцы так запросто высмеивают образ «зеленой Англии родной»,[79] пусть даже ее воплощает толстый, краснолицый, нудный сластолюбец в горностаях и дурацкой короне. Карл ненадолго задумался — каково будет жить в мире, где наконец произойдет долгожданный взрыв насилия и гнева. Действительно ли жизнь под властью палачей в масках и хриплых обольстительниц будет лучше? После спектакля Карл захлопал, а Вольфганг подмигнул ему.

— У вас в Лондоне бывают такие постановки?

— У нас есть мюзик-холлы. Они совсем другие. Они… глупее и… сентиментальнее.

— У нас тоже есть сентиментальное, очень много. В Швабинге изобрели для них специальное слово, оно мне нравится. Китч.

— Китч, — повторил Чарльз-Карл.

Той весной открылся еще один театр, *Schauspielhaus*[80] Рихарда Римершмита. Все

---

[79] Примечания: 79

Гимн Уильяма Блейка «Новый Иерусалим» из предисловия к его эпической поэме «Мильтон». Финальная строфа в переводе С. Маршака:

Мой дух в борьбе несокрушим,
Незримый меч всегда со мной.
Мы возведем Ерусалим
В зеленой Англии родной.

[80] Примечания: 80

Драматический театр *(нем.)*.

вместе — Штерны, Карл, Гризельда и Дороти — пошли смотреть «Саломею» Оскара Уайльда. Театр отличался тонкой, изысканной красотой югендштиля. Зал представлял собой раскаленную красную яму или утробу, которая одновременно была эльфийским лесом. Тончайшие золотые усики и стебли вились и карабкались повсюду, переплетаясь как попало, связывая балконы со сиеной, обрамляя актеров. Уайльда уже не было на свете. Он умер вскоре после того, как Иоахим и Карл видели его на роденовской выставке в Париже. «Саломея» с ее ритмическими стонами и болезненной чувственностью Карлу не понравилась. Он к этому времени полюбил новое слово «китч». Он рискнул сказать Иоахиму, что, по его мнению, эта пьеса — китч, а Иоахим пришел в ужас и ответил, что нет, это Современное Искусство, это свобода самовыражения. Дороти через некоторое время перестала смотреть на сцену и начала вспоминать все кости человеческого тела и их названия. Актриса, игравшая Саломею, казалась гибкой и бескостной, была одновременно и змеей, и заклинательницей змей. Вольфганг сказал Гризельде, что эта пьеса никогда не ставилась на родине Уайльда, на его родном языке. Тоби Юлгрив, сидевший по другую сторону от

Гризельды, сказал, что пьеса была написана по-французски и переведена на английский, но лорд-гофмейстер запретил постановку. «Ага, — сказал Вольфганг, — у вас тоже есть свой „закон Хайнце“». Тоби поправил его: кажется, официальным поводом была не непристойность, а кощунство, так как в пьесе участвуют библейские персонажи. Пьесу напечатали с иллюстрациями Обри Бердслея. Очень неприличными. Но искусными. Вольфганг сказал, что, кажется, видел их, но по голосу было ясно, что он ничего такого не помнит. Потом он сказал, что Бердслей рисует секс, но очень холодно. В отличие от немецких художников. Говорят, англичане все холодные. Он взглянул на Гризельду и быстро отвел взгляд. Гризельда смотрела на густо-красный занавес, закрытый на время антракта. Ее бледные щеки едва заметно порозовели.

Наконец снова пришел день летнего солнцестояния, день середины лета. В Англии Олив, как обычно, царила в саду над сильно поредевшим кружком гостей. Погода была серенькая. Королева волшебной страны накинула бархатный оперный плащ поверх пышных одеяний. Вместо отсутствующего Юлгрива роль ткача Основы получил Герберт Метли, который закончил работу

над романом, вновь погрузился в общественную жизнь и возобновил свои любовные похождения. Паутинкой стал, вместо Дороти, Флориан. Том все так же играл роль Пэка. Хамфри был все так же красив, но на висках проступила седина.

В Мюнхене буйства было больше. Художники и богема Швабинга одевались в костюмы при любом удобном случае, любой праздник отмечали с размахом, плясали на улицах, во дворах и в садах. Ансельм Штерн поставил кукольный спектакль «Сон в летнюю ночь». Марионетки — неловкие люди и эльфы с крыльями-шлейфами — носились по нарисованному лесу под зловещий визг флейт и волынок. Сценические рабочие были одеты в баварские народные костюмы и танцевали крестьянские танцы. Дороти заметила, что у Оберона худое лицо самого Ансельма и его же характерное выражение сосредоточенной, почти опасной задумчивости. Пэк был похож на Вольфганга — рожки пробивались через непослушную шевелюру. Гермия и Елена были Дороти и Гризельдой с круглыми от удивления глазами.

После спектакля они отправились бродить по улицам. Середина лета в Южной Германии — теплая, лиственная, манящая пора. Они сталкивались с другими группами, заглядывали

в таверны и кафе на кружку пива или стакан рислинга. В очередной таверне Дороти, одетая серебристым мотыльком, и Гризельда в костюме дамы восемнадцатого века столкнулись с валькирией в доспехах и рогатом шлеме, которая оказалась англичанкой. Она представилась Марией Стоупс. Она училась в университете. Дороти заинтересовалась. Она не знала, что туда принимают женщин.

— Не принимают, — ответила Мария Стоупс. — Я единственная женщина у нас на кафедре. Я палеоботаник. Изучаю половую жизнь ископаемых саговников. Это очень интересно.

«Где одна, там и несколько», — подумала Дороти. Тут к ним подошел Зюскинд и сразу узнал мисс Стоупс. Оказалось, что она получила диплом ботаника в Юниверсити-колледже — диплом первого класса, с отличием, чему не было прецедентов, и всего лишь после года учебы. Дороти вдруг почувствовала себя полной дурой, разодетой в серый шелк и бархат. Она должна была бы сейчас сидеть и учиться. Но вот же рядом с ней преуспевшая в науках мисс Стоупс — в костюме слегка растрепанной валькирии, немного под хмельком.

Семья Штерн соорудила у себя во внутреннем

дворике семейный праздничный костер — веселый, мерцающий, непохожий на печь или огненную гору. Все плясали вокруг костра, а когда он прогорел, стали прыгать через угли. Ансельм выдал каждому по синему цветку, *Rittersporn*, шпорнику, и велел бросать в огонь: «Пусть все ваши печали и заботы сгорят вместе с ними».

От этого дня у Дороти на всю жизнь осталось два воспоминания. Первое — танец с новым отцом, Ансельмом Штерном, по театральному залу — что-то вроде быстрой, кружащей польки. Дороти мельком уловила свое отражение в зеркале — разгоряченное лицо, волосы растрепались — и вдруг вспомнила вальс в Южном Кенсингтоне с другим отцом, новое платье, руку на своей талии, все, что из этого вышло. Тот танец породил этот. Она сбилась с шага, и Ансельм поддержал ее. Он посмотрел на обеспокоенное лицо дочери и — впервые — осторожно поцеловал в лоб.

Еще Дороти запомнила, как вошла в дом в поисках уборной, обнаружила одну, занятую, и пошла искать другую. И наткнулась на парочку, стоящую вплотную друг к другу. Это были Вольфганг и Гризельда. Оба стояли с закрытыми глазами. Они ее не видели. Она повернулась и пошла обратно за угол, из-за которого только что вышла.

Она ничего не сказала Гризельде, и Гризельда ей тоже ничего не сказала.

III
Серебряный век

32

И вперед, и назад. Эдвардианцы знали, что они идут *после* чего-то. Присносущная королева преобразилась во всех ипостасях — из крохотной приземистой вдовы в черном крепе и гагатовых бусах стала позолоченным, разукрашенным, коронованным идолом, которого выставляли на сабантуях и юбилеях. Рот с поджатыми губами замолк навеки. Давно покойный супруг королевы, который всерьез заботился о рабочих и о здоровых, прекрасных, развивающихся искусствах и ремеслах, остался рядом с нею в названии незаконченного Музея, полного золота, серебра, керамики, кирпичей и строительной пыли. Новый король — пожилой, добродушный и нездоровый ловелас, старался смазывать колесики дипломатии собственным добродушным присутствием: на скачках, ежедневных вылазках на охоту в рощах и на равнинах Британии, в лесах и в горах Германии, Бельгии, Дании и России, где убивали тысячи птиц в ярком оперении и зады-хающихся, бегущих, загнанных зверей. Это было новое, но не юное время. Оно игривым щелчком отбросило моральные мучения и гуманистиче-

скую ответственность викторианских мудрецов, которых как раз готовился высмеивать Литтон Стрейчи. Богачи покупали автомобили и телефоны, заводили шоферов и телефонисток. Бедняки были угрожающим призраком — предметом благотворительности или объектом быстрой и деловитой расправы. Солнце светило, стояла летняя жара, природа сияла. Земля (местами) текла молоком и медом, сливками, фруктовым муссом, пивом, шампанским.

Они оглядывались назад. Они смотрели в прошлое, вглядывались в него — в жадной, иногда намеренной тоске по воображаемому золотому веку. Там было много такого, к чему они хотели вернуться, что хотели вернуть, вновь заселить собой.

Они хотели вернуться к земле, к быстрым рекам, плодородным полям, коттеджам среди садов, вьющейся жимолости из Моррисовой страны Ниоткуда. Они хотели жить в сельских домиках (настоящих, то есть старинных, из замшелого камня), растить собственные овощи и фрукты, собственный крыжовник, есть яйца от своих кур. Они, как Эдвард Карпентер, хотели быть самодостаточными на своем клочке земли, ходить голыми, возить пальцами ног в настоящей грязи,

как и он, сняв настоящие, собственноручно сделанные сандалии, как у него. Они действительно любили эту землю. Меловые холмы и Ромнейское болото — главные герои киплинговских «Сказок старой Англии», изданных в 1906 году; в том же году был спущен на воду корабль Его Величества «Дредноут». Форд Мэдокс Форд, живший на небольшой ферме в Винчелси, трогательно написал о раскопках погребения викинга на утесе в Бичи-Хед. Фордовы кости на утесе подобны человеческим костям в меловых холмах у Киплинга или костям, которые выкапывают из земли кролики в «Жизни пастуха» Уильяма Генри Хадсона. Это мечта о человеке как части природного круговорота — ибо человек, по-видимому, давно оттуда выпал.

Э. М. Форстер оплакивал вторжение машин в Абинджер и нарушение святости Чанктонберийского кольца. Блумсберийцы жили по соседству как в Блумсбери, так и в простых фермерских домах на холмах Даунса, где страдали от нехватки прислуги и санитарных удобств. Они любили природу, но любили ее и за нечто безвозвратно потерянное — не только за ароматы, вонь, грязь, живость, комья и прах. Великие мастера, воспевшие английскую природу — Ричард Джефферис

и, позднее, Уильям Генри Хадсон, — способные описать широкий простор чистого воздуха, все его течения, обкусанную кроликами и общипанную овцами траву на холмах Даунса, густую поросль на бывшей вырубке, одинокие кусты можжевельника, вылепленные ветром, рыбу, что пробивается против течения, птиц, что парят в восходящих воздушных потоках, словно желая стать для нас проводниками по «зеленой Англии родной», — оба они, по сути, люди серебряного века. Они элегичны. Они готовы страницами перечислять виды птиц и зверей, стертые с лика Англии лесниками, разводящими фазанов. Ястреб-тетеревятник, хорек, куница-желтодушка — все ушли навеки. Поголовье щук упало. Деревья «упорядочены» до полной утраты природных форм и привычек. Золотой век — это то, что было раньше, когда человек ни во что не вмешивался.

Земля Англии, даже там, где она дика и невозделана, ограничена, как выразился Мелвилл, повелительным и чуждым океаном. Ее поля заключены в границы, ее рощами управляют люди, ее тропинки сильно исхожены. Гостям из Южной Африки и с Дальнего Востока странно на английской земле. Они чувствуют, что здесь нет ни одного девственного клочка — что эту

землю неустанно топчут начиная с каменного века. По сравнению с Севеннскими горами или Центральным французским массивом Йоркширские пустоши — все равно что носовой платок по сравнению с парусом. И поэтам, и крестьянам было равно ненавистно огораживание общинных лугов. Печально, но факт: военные гарнизоны, наподобие Лиддского, как правило, способствовали сохранению видов растений, зверей и птиц, так как не допускали к ним ни людей-хиоников, ни любопытных любителей природы.

Немецкая земля совсем другая, хотя в то время и немцы в стране, окруженной в основном сушей, под властью кайзера, точащего зубы на моря, тоже испытывали могучую тягу к земле. Вплоть до двадцатого века немцы жили в маленьких городках, обнесенных стенами, а снаружи простирался *Wald*[81] — не веселые рощи, давшие приют Робин Гуду, а многие мили Черного леса, мрачного, чуждого, населенного тварями и созданиями много более опасными, чем любые Пэки, буки и злобные толстые гномы, Йеллери-Брауны, вязнущие в линкольнширской грязи. Немцы тоже возвращались к земле. Они шли, распевая, в по-

[81] Примечания: 81
Лес *(нем.).*

ходы по горам и Лесу. Они были Wandervogel,[82] возвращались к Природе, богине со сложным характером. Они тоже ставили палатки у озер и ныряли в глубины голышом. Они становились вегетарианцами и ходили по улицам Мюнхена и Берлина в натуральных одеждах, изготовленных этичным способом и стоивших жизни только растениям. Они поклонялись солнцу и земным матерям, которые были древнее патриархата.

Обитатели Швабинга тоже прогрессировали (или регрессировали) и в итоге создали общину святых, художников и любителей природы на горе Истины, *Monte Verita*, возле Асконы, у озера в Швейцарии. Сюда в 1900 году приехал Густо Грэзер, поэт, который обыгрывал свое имя, означающее «травы», и говорил, что ищет корни — корни трав, съедобные корни, корни слов, корни цивилизаций и гор. Он чурался не только мяса, но и металла: по его мнению, металл следовало оставить в покое, на месте, в земле, внутри камней. Он жил в пещерах и спал в придорожных часовнях. Его брат, также считавший, что использование металлов — причина существования шахт, шахтеров, сталелитейных заводов, оружия,

---

[82] Примечания: 82
Перелетные птицы *(нем.)*.

пушек и бомб, построил себе дом из дерева, используя его естественные формы — разветвления и ответвления. Он жил там вместе с Дженни Хофман, которая вместо пуговиц застегивала одежду на косточки от фиников. Они танцевали в этом доме. Потом Рудольф Лабан водил хоровод обнаженных менад праздновать восход солнца у озера, на лугах. Сюда приезжали Лоуренс и Фрида, Герман Гессе и Айседора Дункан. И анархист Эрих Мюзам, и психоаналитик Отто Гросс, чей отец, криминолог, хотел посадить его в тюрьму за распутство и употребление наркотиков. Все ходили в сандалиях — как паломники, апостолы или древние греки.

Макс Вебер считал, что современный мир — железная клетка, *ein stahlhartes Gehäuse,*[83] корпус двигателя. Naturmenschen[84] пытались сломать прутья этой клетки и вернуться домой. Карл Густав Юнг пришел к убеждению, что человеческий разум формируется не только наследственностью и историей личности, но и землей, почвой, обнимающей их корни. Понятием Deutschlands Boden, немецкой почвы,

---

[83] Примечания: 83
Стальной кожух *(нем.).*

[84] Примечания: 84
Дети природы *(нем.).*

пользовались и мыслители-националисты, и поборники расовой чистоты, и те, кто желал вернуться к природе, к матери-Земле, распростершейся под солнцем. Совершалось рождение, а также возрождение солнечного героя, который возвращался в теллурические[85] глубины, встречался лицом к лицу с ужасной Матерью или Матерями и вновь вырывался на солнечный свет. Зигфрид был таким солнечным героем. И Д. Г. Лоуренс, сын шахтера, тоже: он родился заново, в комплекте с германской сентиментальностью, после окончания книги «Сыновья и любовники», прочитав письма Отто Гросса, предыдущего любовника Фриды Лоуренс, и «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда.

Любви к прошлому сопутствовал (хотя и не следовал из нее) другой пристальный взгляд назад — интерес к детству и ностальгия по нему. Гесиод писал, что мужчины и женщины золотого века жили сотни лет — в вечной весне, вечной молодости, питаясь желудями великого дуба, дикими плодами, медом. В серебряном веке, о котором написано меньше, детство продолжалось сто лет, и люди не взрослели — а потом внезапно старели

[85] Примечания: 85
Т. е. земные (от *лат.* tellus — Земля).

и умирали. Фабианцы и социологи, писатели и учителя понимали — в отличие от предыдущих поколений, — что дети тоже люди, личности со своими желаниями и разумом. Они не куклы, не игрушки и не миниатюрные взрослые. Многие понимали, что детям нужна свобода, что им нужно не только учиться и вести себя хорошо, но и играть, и бегать, и беситься.

Правда, очень многие из них понимали это лишь из-за собственного стремления к вечному детству, серебряному веку. Это оно заставляло мужчин сбиваться в клубы, сидеть в мрачных интерьерах, поглощая школьные пудинги с нутряным салом, играть веселые и жестокие шутки над другими гостями, сбегать из города в лодочные и пешие походы, на пикники, разыгрывать ничего не подозревающих обывателей, переодеваясь восточными халифами (Вирджиния Вулф) или газетными репортерами (Баден-Пауэлл в индийской армии). Они умели играть с настоящими детьми — Герберт Джордж Уэллс превращал детскую в образцовый театр военных действий, а тот же Баден-Пауэлл забавлял детей, делая вид, что его шлем с перьями — живая курица. В письмах они припоминали затасканные школьные шутки: «Хихикс! Мой парик!» Они

сочиняли дивные сказки для своих серьезных детей, тоже в письмах, — о шумных забавах на воде, о корзинах для пикников, о том, каково заблудиться в Диком лесу зимой и найти уютное местечко у очага в барсучьей норе, об автомобилях с гудящими клаксонами и о том, как полиция осталась в дураках.

В восьмидесятых годах XIX века Ричард Джефферис писал о Бевисе. В книге «Магия леса» Бевис — маленький мальчик, знающий язык лесных созданий. Он говорит на их языке, но смотрит на мир хозяйским взглядом школьника — совсем не так, как лесное дитя Маугли. Он знает, что пауки — мужского пола, а дрозды, с которыми он разговаривает, любезно разрешают забрать у них одно яйцо из гнезда при условии, что он оставит на месте второе и не расскажет об этом другим мальчикам.

В книге «Бевис: история мальчика» Бевис мастерит плот и разбивает лагерь, играя в первопроходца пустынь и джунглей Империи. Он строит частокол, как Джим в «Острове сокровищ», как Робинзон Крузо, а потом возвращается домой на чай с хлебом и медом.

В 1901 году Джеймс Барри пишет «Мальчики на необитаемом острове» для юных сыновей Ллуэл-

лин-Дэвисов, выходит «Кролик Питер», а Киплинг публикует «Кима», книгу о мальчике-разведчике. В 1902 году Эдит Несбит пишет «Пятеро детей и чудище», книгу о находчивых, но неосмотрительных детях, встречающих песчаного эльфа. В том же году Барри публикует «Белую птичку», где впервые появляется зачаточный образ Питера Пэна — мальчика, не желающего взрослеть. Эту книгу мудрый натуралист У. Г. Хадсон подарил Дэвиду Гарнетту, сыну издателя Эдварда Гарнетта и переводчицы Констанс Гарнетт, которая перевела на английский Толстого, Достоевского и Тургенева. Дэвид Гарнетт, который все-таки вырос (по крайней мере, в некоторых отношениях: он стал идейным «либертином» и привлекал как мужчин, так и женщин), нашел книгу отвратительной и вернул ее дарителю, заявив, что она ему не понравилась. Пьеса «Питер Пэн, или Мальчик, который не желал взрослеть» была поставлена (в упрошенном виде) в 1904 году. Руперт Брук смотрел ее двенадцать раз. В 1906 году вышла книга «Сказки старой Англии», а также «Дети железной дороги» и «Кролик Бенджамин». Некоторые всерьез говорили, что величайшие литературные произведения этой эпохи — детские книги, которые нравились и взрослым.

Кеннет Грэм, писавший для декадентского журнала «Желтая книга» в его лучшую пору, опубликовал «Языческие записи» в 1893 году, «Век золотой» в 1895-м, «Дни грез» в 1898-м и «Ветер в ивах» в 1908-м. Он занимал должность, которую многие назвали бы взрослой: служил секретарем у Старой дамы с Треднидл-стрит.

В 1899 году он женился. Он был типичным сорокалетним холостяком, курящим трубку. Невеста явилась на свадьбу в старом платье из белого муслина, «на котором еще не высохла роса после утренней прогулки». Шею обвивал подвядший веночек из маргариток. Она была юной девой тридцати семи лет от роду.

Грэм писал жене письма детским языком. «Нипишы мне болшы пра диету патамушта ты миня пугаеш. Я ем што хачу и нием чиво нихачу, и мне пливать што делают в Бирлине патамушта славабогу я Британец». Его сына, известного под прозвищем Мыш, пришлось отослать с нянькой в деревню, поскольку его любимой игрой было улечься на дороге перед приближающейся машиной, вынуждая шофера резко затормозить.

В 1905 году генерал-майор Баден-Пауэлл, командовавший британской армией в Мафекинге, был очарован пьесой «Питер Пэн» и посмотрел ее

дважды. В том же году Баден-Пауэлл предложил руку и сердце мисс Рози Сау и получил отказ. Ей было восемнадцать. Ему — сорок семь. В 1912 году он наконец женился: ему было пятьдесят пять, а его жене — двадцать три. Сорвиголова и мальчишница, она стала леди-скаутмастером. Баден-Пауэлл строил лагеря для бойскаутов и умилялся фотографиям обнаженных купающихся мальчиков. Он также интересовался смертными казнями — мог проехать много миль и пересечь несколько границ, чтобы посмотреть, как кого-нибудь казнят.

В Германии создавались теории детей и детства. Согласно Геккелю, ребенок — стадия в эволюционном развитии взрослого, точно так же, как дикарь — эволюционная стадия в развитии цивилизованного человека. Развитие жизни повторяет историю земли — у зародыша в утробе жабры рыбы и хвост обезьяны. Геккель верил в природу — он искал добро, истину и красоту в различных формах жизни, от радиолярий до Гете. Карл Густав Юнг подхватил эту идею и пришел к убеждению, что мышление детей напоминает мышление древних народов. Он провел параллель «между фантастическим, мифологическим мышлением древних и подобным же мышлени-

ем детей, между низшими расами и снами». Душа человека имела слоистую структуру, от корней горы до разумной вершины. Дитя пряталось и играло в нижних слоях, иногда поднимаясь, подобно пленной Персефоне, чтобы порезвиться на цветущих лугах.

Примерно в это же время, в 1905 году, Фрейд опубликовал «Три очерка по теории сексуальности», в том числе один из них — о детской сексуальности. Он заявил, что дети «полиморфны и перверзны». Сосание пальца, поглаживание уха, смачное пускание ветров в собственные штанишки при ритмичном качании на качелях, удовольствие от скорости автомобиля и от созерцания поршней паровоза — все это были проявления замаскированной, активной сексуальности. Дети испытывали влечение к матери или отцу, хотели жениться на маме или выйти замуж за папу, фантазировали об убийстве другого родителя. Фрейд, как австрийский буржуа своего времени, счел себя вправе судить детей за эти склонности. Он писал, что дети еще не построили «душевные плотины против сексуальных излишеств — стыд, отвращение и мораль… Ребенок ведет себя в этом отношении так, как средняя некультурная женщина, у которой со-

храняется такое же полиморфно-перверзное предрасположение… Тем же полиморфным, т. е. инфантильным, предрасположением пользуется проститутка для своей профессиональной деятельности…». Фрейд знал, что дети не добры, не кротки и не беззаботны. Он знал, что они умеют ненавидеть. Он цитировал «Человека и сверхчеловека» Бернарда Шоу: «Как правило, лишь одного человека английская девушка ненавидит больше, чем свою мать: свою старшую сестру». В Англии это — легкомысленное замечание, острота для светской гостиной, парадокс в духе Уайльда. В Германии, где Макс Рейнхардт ставил пьесы Шоу вместе с «Пробуждением весны» Ведекинда и «На дне» Горького, эту фразу приняли совсем по-другому.

Все отправлялись на природу, на приручённую, податливую землю, и разбивали лагеря. От Асконы до Чиппинг-Кэмдена, где Чарльз Роберт Эшби повел своих мастеровых из Ист-Эндской гильдии, подобно Аарону, в Землю обетованную и немедленно построил плавательный бассейн, больше напоминающий огромную общую грязевую купальню. Люди отправлялись на открытый воздух, строили временные укрытия меж корней деревьев, практиковались в навыках, приобретенных

порой в Мафекинге и Ледисмите — ориентировании, установке палаток. Дэвид Гарнетт устроил лагерь с четырьмя необузданными красавицами-сестрами Оливье — Брюнхильдой, Марджори, Дафной и Ноэль. Они лазали по деревьям, как обезьяны, и голыми ныряли с древних мостов. (Отцом этих девиц был Сидней Оливье, министр Британского содружества, основатель фабианского общества, выступавший против англо-бурской войны и сосланный за это на должность губернатора Ямайки.) Они вместе с идеальным красавцем Рупертом Бруком основали общество неоязычников. К ним присоединился Джеймс Стрейчи, безнадежно влюбленный в Брука. Позже и сами фабианцы устраивали образовательные летние лагеря с лекциями и гимнастическими строевыми упражнениями. Баден-Пауэлл разработал множество правил, моральных и практических, сначала для бойскаутов, а потом, при помощи своей сестры Агнес, для герл-гайдов. Он черпал вдохновение в лесной жизни американских индейцев, взаимовыручке британских солдат, образах Кима и Маугли. Был еще лагерь в Холлсли-Бэй на восточном побережье — его посетила в 1905 году Беатриса Уэбб, — где пытались вернуть цельность сломленным людям. Еще она

побывала в лагере Армии спасения в Хэдли-Фарм, куда собирали отсидевших заключенных, бродяг, пьяниц и бездомных, кормили их, помогали им и читали им проповеди. Среди активных социальных мыслителей витала также идея о «недостойных бедняках» — о том, что «концентрационные» лагеря, придуманные британской армией в Южной Африке, можно использовать для изоляции, и даже, как предлагали некоторые, для стерилизации или усыпления неисправимых, безнадежных и опасных.

Между 1901 годом и 1907-м, в котором одно событие изменило жизнь всех, время для разных людей шло с очень разной скоростью. Для кого-то оно тикало размеренно, как метроном, для кого-то неслось как угорелое вскачь, а кому-то — малышам — все еще напоминало пространство: бескрайнее и залитое солнцем, бескрайнее и сверкающее снегом или льдом, вечно угрожающее невозможной скукой, вечно предлагающее углы, за которые можно зайти, и длинные, длинные дороги, простирающиеся впереди. Одним было чем измерить эти дни — регулами, экзаменами, вечеринками, походами, выдачами жалованья, прибытием чеков по почте, сроками сдачи работы, телеграммами, банковскими кризисами.

Для других день тянулся за точно таким же днем. Одни тела старели быстро — роды, менопауза. Другие, кажется, вовсе не менялись год от года.

Энн Уоррен изменилась сильнее всех, но, странное дело, она ощущала время как нечто зависшее в воздухе или едва ползущее. Она была аккуратным ребеночком, смуглым, как орешек, — по словам Фрэнка Моллета, который преподнес ей шерстяную кофточку и вязаные пинетки. Она выучилась сидеть и сидела, где посадят, в саду Мэриан Оукшотт, видя вокруг себя мальвы и бархатцы и считая их вечными. Однажды она встала, прошла, шатаясь, по траве до бордюра и грохнулась среди дельфиниумов. С тех пор она знала, что дельфиниумы — не только синие башни вдалеке, но и едкий запах. Для Энн, которой в 1903-м году исполнилось два, один год составлял половину жизни. Она не ожидала второй зимы, а потом, когда та пришла, неопределенно заключила, что зима теперь будет всегда, но пришла весна, а потом лето, и тогда Энн поняла, что они пришли «снова», и стала учиться ждать. Она училась языку и запоминала лица — Элси и Мэриан, Табиты и Робина, который пихал ее на землю, а потом целовал «бобо», и его рыжие волосы развевались на ветру. Она запомнила, что Пэтти Дейс,

Артур Доббин и Фрэнк Моллет приносят конфеты, а Фрэнк еще к тому же плетет ей венки. Летом 1903 года Мэриан Оукшотт и Элси прогуливали детей вдоль Военного канала, и Мэриан сказала, что, по ее мнению, Энн — очень умная девочка, наблюдательная, мыслящая.

— Как ты.

— Много мне от этого проку, — парировала Элси, не отрицая, что умна.

— Еще не поздно, — сказала Мэриан.

В 1903 году Элси было двадцать четыре года. В 1907 году ей должно было исполниться двадцать восемь, почти тридцать, и она уже не была «молода». В 1903 году она уже боялась, что в 1907-м так и остановится, застынет, ничего не добившись.

— Поздно, — ответила Элси на слова Мэриан, которую сильно уважала. — Я все пути себе отрезала, когда родила Энн, ты же знаешь. Так что сидеть мне теперь в этом болоте и горбатиться на этих двух дур. Нет уж, как я сама себе постелила — уж матрас-то точно положила, — так мне теперь и лежать.

— Я не для того прошу Табиту приглядывать за Энн, чтобы ты удобно устроилась в болоте уныния. Что ты хочешь делать? Ведь чего-то ты же должна хотеть.

Элси хотела половой любви, но рядом не было никого подходящего, и к тому же после появления дочери Элси стала осторожней. Интересно, думала она, хочется ли Мэриан «этого» хоть иногда. Однажды, думая о желании (такого с ней не случалось больше года после рождения дочери), Элси сказала миссис Оукшотт: «Наверное, ты по нему ужасно тоскуешь». — «По кому?» — спросила Мэриан. И тут же ловко загладила свою ошибку, сказав, что тоскует по нему все время, но Элси догадалась, что Мэриан в том же положении, что и она сама, и что никакого мистера Оукшотта, живого ли, мертвого ли, никогда не было на свете. От этого она почувствовала себя в меньшей степени объектом благотворительности и немного ослабила оборону. То и другое было ей полезно. Она знала, что Мэриан знает, что она знает. Она знала, что ни одна из них об этом даже не заикнется. Она почти восхищалась мужеством и живучестью Мэриан.

Теперь же она сказала с обычной резкостью:

— Девушек моего класса не приучают хотеть, мэм.

Слово «мэм» было шуткой, они обе это знали. Они пошли дальше в молчании. Элси произнесла:

— Я хотела делать маленькие горшочки. Миниатюрные. Я иногда их леплю, по-прежнему, когда мистер Фладд и Филип в отъезде. Но потом все равно сминаю обратно, почти все. Очень трудно, из-за Филипа. Я знаю, каков из себя по-настоящему хороший горшок, и вижу, что его горшки — хорошие, а мои, как правило, нет. Есть ли они на свете, нет ли — это ничего не меняет.

— Тебе гораздо лучше жилось бы учительницей, чем прислугой.

— Ха! А как мне выучиться на учительницу? Я и читаю-то так себе.

— Я научу тебя, и ты сможешь сдать экзамен. Я буду учить тебя — и еще двух-трех человек — по вечерам. Когда немножко научишься, начнешь работать помощницей учительницы и будешь дальше готовиться к экзаменам. Тогда уже сможешь выбирать, где работать, и тебе будут платить жалованье. Я до сих пор не пойму, как Фладды тебе платят.

— Они и не платят в основном. Филип дает мне деньги. Когда продаст пару горшков. Ему-то платят, но иногда, не регулярно. Ему было бы только на что купить глины, химикатов и топлива, и всякого такого. Но обо мне он заботится.

— Вы все в том доме сумасшедшие. Ужас ка-

кой-то.

— Я хочу попробовать эти учительские занятия. А можно я буду Энн приводить?

— Да, я как раз об этом и думала.

Между 1902-м и 1907 годами Том Уэллвуд перешел из разряда людей, которые вот-вот поступят в университет, в разряд тех, которые не поступили. В 1901 году, когда Дороти вдруг уехала в Мюнхен, Тому было восемнадцать лет. В 1907 году ему исполнилось двадцать четыре. Он был уже молодым мужчиной, а не юношей. Он перерос и прыщи, и первую щетину на верхней губе и щеках, голос стал ниже, а золотые волосы — гуще и грубее. Он перерос и желание учиться в Кембридже с Джулианом и Чарльзом. Теперь он знал, не позволяя себе осознать это знание, что не должен идти в Кембридж, что это его погубит. Все эти пять лет он продолжал ходить в пешие походы с Тоби Юлгривом, иногда с Джулианом, иногда также с Иоахимом и Чарльзом. Предполагалось, что это — «образовательные каникулы», что Том учится. Он действительно много читал. Он читал книги о резьбе по дереву, рыцарские романы и книги о природе. Он выучил наизусть кучу стихов. Он вел с Тоби интересные беседы о Шекспире и Марло, но стоило ему оказаться

в экзаменационной зале, наедине с вопросами, как с ним начинало твориться что-то странное — как будто он не знал, кто он такой, или как будто внутри его некому было поднести перо к бумаге. Какой-то автомат вселялся в него и заполнял страницы банальной чепухой. Том проваливал экзамен. Страх развоплотиться был сильнее страха остаться необразованным, но Том и этого не формулировал словами. Он писал всякое, сидя в древесном доме, и сжигал, чтобы никто не нашел. Он стал скрытным. Он примерно представлял себе, что он за человек, но никак не смог бы объяснить этого друзьям, которые тем временем выходили в большой мир — широкими решительными шагами или небрежной походкой гуляки. Том знал леса. Он видел, как деревья растут, крепчают, стареют. Он смотрел, как борются за место и укореняются сеянцы, он видел, как лесники рубят вязы с гнилой сердцевиной. Он хотел (но не знал, что хочет) быть как Энн, оставаться в мире, во времени, где каждый день длится дольше века и каждый похож на предыдущий. По временам он погружался в свою старую сказку. Вдруг ловил себя на том, что, бормоча, прижимается спиной к дубу, где Том-под-землей когда-то отбивался от стаи волков пылающей

веткой. Или вдруг оказывалось, что он легкими шагами несется по чужому следу, словно сам превратился в дикую тварь, в волка.

Это было и бесконечно упоительно, и мерзко — как мастурбация и то, что следует за ней.

Позже Дороти думала, что с Томом могло бы все получиться по-другому, если бы не разительное несовпадение в их восприятии времени. Все началось, когда она вернулась из Мюнхена. Ей было семнадцать, ему девятнадцать, они были неразлучны, она ходила за ним, как оруженосец, как сказочный зверек-помощник, по полям и лесам. Но она не рассказала ему про Ансельма Штерна и лишь между делом упомянула Вольфганга и Леона — чудесных новых знакомых. Тому простительно было бы решить, что Дороти влюбилась в кого-то из этих немцев. Но он даже не подумал ни о чем подобном: любовь как таковая его пугала. Он просто почувствовал себя лишним. Он, как дикий зверь, наматывал круги вокруг частокола или лесного дома, пытаясь пролезть внутрь, ища дыру или щель, но безуспешно.

Ощущение, что Дороти отдалилась, для обоих еще усиливалось искусственным — то есть ничего общего не имеющим с погодой или природой — расписанием, установленным то ли ею самой,

то ли другими людьми. Родители и учителя не особенно помогали. Это Лесли Скиннер сообщил Дороти, какие именно обязательства она взяла на себя и сколько трудов ей предстоит. Лесли питал к ней отеческую привязанность и однажды бессознательно погладил по голове.

Он сказал, что сначала ей нужно будет сдать единые экзамены. Латынь, английский, математику, общие основы науки и один экзамен по выбору из следующего списка: греческий, французский, санскрит, арабский, основы механики, основы химии, основные принципы звука, тепла и света, основные принципы магнетизма и электричества, основы ботаники.

После успешной сдачи единых экзаменов ей нужно будет сдать предварительные научные экзамены по химии, физике и общей биологии.

Чтобы получить степень бакалавра медицины, она должна выполнить следующие требования:

1. Сдать единые экзамены не более чем за пять лет до того.

2. Сдать предварительные научные экзамены не более чем за четыре года до того.

3. Изучать медицину в течение пяти лет после сдачи единых экзаменов или в течение четырех лет после сдачи предварительных научных эк-

заменов; не менее одного года из этих четырех она должна проучиться в учебном заведении из одобренного списка.

4. Сдать два экзамена по медицине: один промежуточный и один окончательный на степень бакалавра медицины.

Для допуска к окончательному экзамену на степень бакалавра медицины она должна будет: посещать лекции, присутствовать при двадцати родах, прошедших в присутствии врача, два года практиковаться в хирургии и два года в общей медицине, в том числе изучить заразные заболевания и лунатизм.

Ей нужно будет специализироваться в общей медицине, хирургии или акушерстве и хорошо знать вакцинацию. Если она желает получить степень бакалавра хирургии и стать хирургом, она также должна будет пройти курс оперативной хирургии и практиковаться в операциях на мертвых телах.

Лондонская женская школа медицины в 1902 году получила королевский патент и стала колледжем в составе Лондонского университета. Путь Дороти был открыт. Нелегкий путь.

Дороти сидела среди темной полированной мебели в гостиной Лесли и Этты и считала на

пальцах. Она получит звание хирурга не раньше 1910 года. Девушке, которой в 1902 году было восемнадцать лет, а в 1910-м должно было исполниться двадцать шесть, казалось, что она собирается вырвать из жизни огромный кусок, всю свою юность. Дороти сидела совершенно неподвижно, слушала цокот копыт и стук колес на Гоуэр-стрит и думала о Дороти Уэллвуд. Действительно ли она хочет все это изучать? Люди женятся и выходят замуж в двадцать один — двадцать два года. Они проживают страсти и драмы, которых Дороти не может себе позволить. Она поглядела на свои пальцы, сплетенные на коленях, и задумалась: насколько интересно, в конце концов, устройство костей и плоти, насколько интересен рост ребенка из семени? Действительно ли изучать это ей интереснее, чем переживать самой?

— Ты что-то задумалась, — сказал Лесли Скиннер.

— Восемь лет — это так долго. Огромный кусок моей жизни… чьей угодно жизни. Особенно для женщины.

— Есть и более простые способы помогать людям.

— Дело не в помощи. Я хочу *знать*.

— Редкое качество для молодой женщины.

— Почему женщинам не положено *знать!*

— Обычно считается, что они хотят чувствовать, заботиться о других…

— Вы меня отговариваете?

— Я долго преподавал и знаю, когда отговаривать бесполезно. Пускай даже среди моих учеников было не очень много женщин. Но я должен сказать, что женщины, которых я учил, прошли суровый отбор — те, у кого не хватает силы воли и целеустремленности, отсеиваются сами. Решать тебе. Но я помогу — хотел бы помочь, — если ты чувствуешь, что должна идти дальше.

Ничто не бывает окончательным, подумала практичная Дороти и сделала окончательный выбор.

Для большинства молодых женщин ход времени означал, что им надо искать мужа или что кто-то должен искать их руки. В 1902 году Гризельде, как и Дороти, было восемнадцать лет, Флоренции Кейн — девятнадцать, Филлис — шестнадцать, Гедде — четырнадцать, Имогене Фладд — двадцать три, а Помоне двадцать. Из всех девушек только одна, Флоренция, была «влюблена» — и притом в Джеральда, любовника ее

брата, что было весьма неудачным положением дел для всех троих. Филип Уоррен подозревал, что Помона влюблена в него. Она ходила за ним хвостом и раза два начинала фразы со слов «Когда мы поженимся…», а Филип делал вид, что не слышит. Ему не нравилось, что она его трогает, хотя она и была красива — по-детски. Возможно, она была, как выражались в Берслеме, «простая на голову», но Филип не исключал, что она притворяется. Ему неприятно было, что приходится о ней думать. Лучше бы о Помоне думала Элси; но Элси нужно было думать об Энн, об уборке, о чтении книг по программе. Элси просто не любила Помону, хотя и была с ней идеально вежлива. Но вежливость в сочетании с неприязнью разит наповал. Помона старалась не замечать этого, но и не делала попыток сблизиться с Элси.

Филлис думала не столько о любви, сколько о подготовке к замужеству. Как многие дети неустойчивых, зыбких богемных семей, она рисовала себе в романтических грезах обыкновенную семью, живущую удобно и по расписанию, уютно предсказуемую. Филлис грезила не о мужских телах или даже непорочных поцелуях, а об одеялах, покрывалах и скатертях. Она мало с кем общалась — разве что с Виолеттой, которая поощ-

ряла ее надежды на респектабельный домашний уют, — и некому было подсказать Филлис, что в ее расчетах не хватает чего-то существенного. Она единственная изо всех детей Уэллвудов играла в детстве в куклы; а теперь она воображала себе младенцев — чистеньких, кротких, улыбающихся, тянущих к ней пухлые ручонки, светленьких, темненьких, мальчиков и девочек. Она создаст для них мир, в котором не будет крика, неуверенности, опасности. В лесных походах Филлис заведовала кастрюлями и готовила на всех восхитительные рагу. В 1907 году ей исполнился двадцать один год, и ни один молодой человек ни в одном походе не пытался ее обнять, не ходил за ней хвостом и тем более не предлагал пожениться. Филлис решила, что она водит неправильные знакомства, но не знала, где найти правильные. Она была зажата, как в бутерброде, между двумя чересчур инициативными сестрами. Виолетта сказала, что правильный молодой человек рано или поздно объявится. Но самой Виолетте неоткуда было взять молодых людей, чтобы познакомить их с Филлис. Та старалась не паниковать и верить Виолетте.

Гедде в 1902 году было тринадцать лет. Она злилась, что родилась девчонкой. Она решила,

что ей от рождения суждено терпеть несправедливость и гнет и что она непременно восстанет. В 1903 году миссис Панкхерст с дочерьми основала Социально-политический союз женщин, организацию суфражисток. Олив, как и прочие преуспевающие женщины ее поколения, не участвовала в агитации за допуск женщин к выборам. Она не особенно задумывалась над этим вопросом, но соглашалась, что это будет хорошо, что лучше женщинам иметь право голоса, чем не иметь. Флоренция Кейн ходила на митинги Национального союза организаций женского суфражизма и слушала речи Миллисент Гарретт-Фосетт. Но именно Гедда между 1903 и 1907 годом все больше и больше думала о суфражизме, борьбе, действии, восстании. Она с живым интересом следила за кампаниями воинствующих суфражисток, которые разбивали стекла и подкладывали бомбы, попадали в тюрьмы, иногда устраивали голодовки и подвергались насильственному кормлению (1909). Порой она грубила матери и сестрам. Все остальное время дулась и предавалась мрачным мыслям. Она будет Действовать. Вначале было Дело.

У кого в те ранние годы весь распорядок жизни был направлен на поиски жениха, так это у

Гризельды. За то, что родители отпустили ее с Дороти в Мюнхен, она обещала матери, что позволит себя вывозить на балы и званые вечера, когда в Лондоне начнется сезон. И выполнила свое обещание. Для нее 1902 год ознаменовался посещениями портных и парикмахеров, балами, танцами, приемами в загородных домах, чаепитиями, списками кавалеров в книжечках с хорошенькими обложечками, подвешенных к поясу на золотых и серебряных нитях. Два или три человека, восхищенные ее бледной элегантной красотой, сделали ей предложение, но она спокойно отвергла их, сказав, что «совершенно не знает» этих молодых людей и не мыслит возможности провести остаток жизни рядом с ними. Многие другие молодые люди чувствовали ее отдаленность, нехоженое ледяное поле внутри — и танцевали с ней, потому что она прекрасно танцевала, а потом предлагали руку и сердце другим девушкам — открытым, веселым. Гризельда с кротким отчаянием попросила Дороти тоже ходить на эти балы, ведь Гризельда ездила с ней в Мюнхен. Дороти, осознавая мрачную реальность неумолимых сроков, которые сама на себя навлекла, отказалась. Она сказала, что у нее нет ни времени, ни денег. Она не стала

любить Гризельду меньше, но вынуждена была считаться с расписанием. Еще Дороти напомнила Гризельде, что та собиралась сдать экзамены и учиться. Гризельда сказала, что, может быть, так и поступит. Посмотрим. И еще сказала, что она не такая умная, как Дороти, хотя обе знали, что это неправда.

Джулиан Кейн учился в Кингз-колледже в Кембридже, где обсуждал «высший» и «низший» виды однополой любви с Джеральдом и другими. В 1901 году он был «эмбрионом» «апостолов», его приглашали на завтраки и ужины, знакомились с ним, чтобы понять, нет ли у него интересных или забавных идей. В 1902 году он прошел обряд «рождения» на знаменитом коврике у камина, принял ритуальный ломтик поджаренного хлеба с анчоусами и стал полноправным членом тайного общества «Conversazione», или «апостолом». Он прочитал остроумный доклад, хорошо принятый слушателями, о разнообразном использовании музеев человеческими существами — от ученых и художников до торговцев, полицейских и мальчишек-хулиганов. Апостолы, слегка издеваясь над немецкой философией, называли себя «миром реальности», а вся остальная вселенная была для них лишь видимостью; люди, не вошедшие в

круг избранных апостолов, считались недостойными внимания «наблюдаемыми явлениями». Нечто подобное, но с большей помпой, происходило в богемном Швабинге: анархист Эрих Мюзам заявил, что Швабинг безграничен, ибо в нем нет ничего нормального, а там, где нет нормы, измерение невозможно. Члены замкнутого швабингского кружка. *Kosmische Rundschau,*[86] называли себя *Enorme* — великанами, или находящимися вне норм; те, кто не относился к *Enorme,* именовались *Belanglosen* — несущественными, не имеющими значения. *Kosmiker* склонялись к мистическим взглядам на природу и расу и часто наряжались как древние греки и римляне, вплетая в волосы виноградные лозы. Они ставили пьесы и костюмированные живые картины, как и всеобщий любимец «апостол» Руперт Брук, сыгравший Глашатая в постановке «Эвменид» Эсхила в 1906 году. Он был прекрасен в сапогах, поножах, шлеме, военной тунике и юбке — столь короткой, что он не мог, не нарушая приличий, сесть за стол на пирушке, состоявшейся после спектакля в доме Дарвинов на Силвер-стрит.

Джулиан запросто болтал с Бруком и блумсбе-

---

[86] Примечания: 86
Космическое обозрение *(нем.).*

рийцами, но не был для них своим. Он цинично взирал на их высокую духовность и еще более цинично — на их цинизм. Он хотел чего-нибудь хотеть, но не знал, что это будет и найдет ли он это. Он знал, что это — не Джеральд, хоть и любил его. Он сформулировал про себя, что начало любовной связи уже предвещает ее конец. Время не стоит на месте. Если бы Джеральд мог полюбить Флоренцию, как Артур Генри Халлам, возлюбленный Теннисона времен их «апостольской» юности, очевидно, полюбил Эмили, сестру Теннисона, — тогда можно было бы надеяться на какое-то будущее, в котором Джулиан-дядюшка станет качать на коленях племянников, как мечталось Теннисону. Иногда Джулиан думал: если бы ему вдруг сообщили, что назавтра он должен умереть, он не стал бы возражать. Это не имело бы никакого значения. В такие дни он шел в музей Фицуильяма и просил показать ему акварели Сэмюэла Палмера. Они светились далеким светом неземной или слишком земной земли.

Чарльз-Карл решил не отдаваться анархии немедленно, а сначала поучиться, и тоже отправился в Кембридж, на год позже Джулиана и тоже в Кингз-колледж. Апостолы за ним не наблюдали, не избрали его, и он даже не подозревал об их су-

ществовании. Он принимал участие в завтраках и дискуссиях, организуемых тогдашними серьезными студентами для рабочих, и обнаружил, что заикается и теряется. На летние каникулы он отправился в пеший поход с Иоахимом, и они случайно прошли мимо новой клиники на Monte Verita, вокруг которой раскинулся лагерь — обиталище святых, безумцев, эстетов, преступников и сластолюбцев. Он дружелюбно танцевал в общем кругу, держась за руки с *Mädchens* и менадами, приветствовал солнце, обсуждал грядущее царство полной свободы и возвращался в Кембридж. У него обнаружились способности к экономике. В 1905 году, окончив университет, он отправился в Германию навестить старых друзей. Британское правительство создало Королевскую комиссию по изучению бедности (и назначило туда Беатрису Уэбб). Карл решил, что принесет больше пользы, изучая бедняков, чем якшаясь с ними, и записался на магистерскую программу в Лондонскую школу экономики.

Герант Фладд был влюблен и делал деньги. Влюблен он был во Флоренцию Кейн, которая, когда он признался ей в любви, только загадочно и печально улыбнулась и продолжала вести себя как ни в чем не бывало. Он решил, что должен

срочно узнать о сексе, и стал посещать тех, кто его продавал. Он совокуплялся с публичными женщинами, думая о Флоренции, обещал себе, что это больше не повторится, и повторял все снова. Бэзил Уэллвуд время от времени обнаруживал, что обращается с «Джерри» как с сыном, о котором мечтал: с сыном, который интересуется самой абстрактной вещью на свете — деньгами, а также кораблями, караван-сараями, клетями, спускающимися в шахту, медленными баржами, которые перемещают всевозможные вещи — кокосы, ковры, сахарный тростник, бусы, золотые слитки, колеса со спицами, электрические лампы, апельсины, яблоки, вино и мед — и превращают их в монеты и валюту, акции, охотничьи выезды, рыбалку, званые вечера и гольф.

Бэзил спрашивал Джерри, что он «сделал бы» в той или иной ситуации — выпуск консольных акций, биржевая паника из-за «кафрского цирка», — и одалживал ему небольшие суммы, как хозяин из притчи о талантах: скажем, пять гиней; и Джерри их удваивал. В конце мая 1902 года стало ясно, что война в Южной Африке подходит к концу. Рынок кафрских акций замер в ожидании. Джерри ловко обернулся с акциями некой шахты под названием «Гедульд» — обыкновенной ямы,

ничего общего не имеющей с респектабельной компанией «Горнодобывающее товарищество Гедульд». Он купил их и успел продать до того, как пузырь лопнул. Газета «Файненшл ньюз» пыталась приуменьшить число смертей в концлагерях — допустим, в апреле умерло всего 298 человек из 112 733 заключенных, это 2,6 на тысячу, то есть примерно 32 человека на тысячу в год. «В иных английских фабричных городах примерно такая же смертность». Джерри завел себе соломенную шляпу и коллекцию крахмальных воротничков. Он слегка презирал людей вроде Джулиана, Тома, собственных родителей — тех, кто не подозревает о сложной, тонкой красоте золота и серебра, подлинных вещей. Но, кроме того, ему было одиноко, и когда его летом приглашали в походы, в палатки у реки под деревьями, он приходил, сбрасывал костюм и городские ботинки и купался голым вместе со всеми.

Для поколения отцов, матерей и тетушек время шло опять-таки по-другому. Хамфри Уэллвуд был рад, когда война кончилась — он благородно стоял за буров, но это была очень неудобная позиция. Он писал статьи о скандалах с мнимыми шахтами, в том числе о «Гедульде», высмеивая равно и жуликов, и доверчивых простачков. По-

степенно его обуяли навязчивые мысли о том, как должен воспринимать время Альфред Дрейфус — ведь ход времени должен был оказаться самым ужасным из всего, что Дрейфусу пришлось пережить во время чудовищно растянутой, жестокой, несправедливой казни. Дрейфуса арестовали и осудили за преступление, совершенное не им, в 1894 году. Его шпагу публично сломали, и пять лет он томился в чудовищных условиях на Чертовом острове. Настоящий шпион, которого в 1898 году оправдали, покончил с собой, и в 1899 году дело Дрейфуса открыли для пересмотра. Приговор был отменен кассационным судом — Дрейфуса по-прежнему водили в суд два конвоира, ведь он был преступником, — а потом его заново осудили и приговорили к десяти годам тюремного заключения. Хамфри стоял в толпе и видел его — изможденного, прямого, серую оболочку с потухшими глазами. (В 1906 году Дрейфуса признают невиновным и призовут обратно на военную службу.) Дрейфус не шел у Хамфри из головы. Вырванные годы, вечность бессмысленного ужаса в чудовищном месте — как тянулось это время, о чем думал Дрейфус? Ползло ли оно, или обманчиво казалось вечностью, или обжигало болью несправедливости и одиночества? Хамфри

писал об этом. Он написал статью, в которой заявил, что долг каждого человека — ежедневно воображать себе эту словно бесконечную, нереальную реальность порабощения. С возрастом Хамфри писал все лучше.

Он надеялся, что неудобная потребность в новых женщинах ослабнет по мере того, как слабеет его тело. Ровесницы его уже не привлекали — стало быть, и он уже непривлекателен? И все же он притягивал женщин. Он все время это проверял — на лекторшах из летних школ, на моложавых хозяйках книжных лавок, на фабианках, социалистках; он возбуждал их, а оттого и сам возбуждался. Время от времени он посещал Мэриан Оукшотт, играл с ее Робином и с маленькой Энн, а потом хватал за талию хозяйку дома и принимался говорить комплименты ее статной фигуре и живому уму. Ее Робин был точной копией другого Робина — из «Жабьей просеки». Хамфри думал, что это всем заметно, но никто ничего не говорил. Он знал, что Мэриан его уже не любит. Но иногда все же умудрялся затащить ее в постель, пользуясь потребностью Мэриан, мучительной для нее самой, в определенных вещах, к которым он ее когда-то приучил.

— Я тебя ненавижу, — говорила она порой,

сжимая его в объятиях, а он, не сбиваясь с темпа, бодро отвечал:

— Ненависть лучше равнодушия. Мы живы, и на том спасибо.

И она отвечала сухим смешком.

Хамфри сам испугался своего нападения на Дороти. Он на самом деле любил ее. Всегда любил и всегда знал, что она не его дочь. Причем любил он в ней не повторение Олив: Дороти была не мрачно-страстной, а упрямо-практичной, независимой и оттого каким-то образом мудрой. Хамфри мучился расколом, причиной которого стал. (Он облегчил свои мучения, соблазнив студентку Лондонской школы экономики после митинга, посвященного правам женщин.) Когда Дороти вернулась домой, он наблюдал за ней. Она говорила с ним на людях сухо, деловито, в целом как всегда. Он задавался вопросом: станет ли она когда-нибудь говорить с ним наедине. И вот однажды она пришла к нему в кабинет — было лето 1902 года, она уже сдала часть вступительных экзаменов, а остальные наметила на конец года. Репетиторы собирались устроить лагерь для учебы и отдыха в Нью-Форест — возле романтического коттеджа на лесной поляне, у реки. Дороти сказала, что едет, а еще будут Том, и Гризельда, и

Чарльз, и еще Джулиан с Флоренцией, Герант и, может быть, сестры Фладд.

— И еще мой отец приедет, он остановится у Августа Штейнинга, и его сыновья приедут вместе с ним, и мы решили, что и их пригласим в лагерь. Вольфганга и Леона то есть. Будет весело.

Хамфри не осмелился ни о чем спросить. Лишь неловко пробормотал:

— Хорошо, хорошо.

Потом, стараясь говорить небрежно, добавил:

— Сколько они знают?

— Столько, сколько нужно. Мы с ними не говорим об этом. Но они мне нравятся. Очень. И я им нравлюсь.

— Это хорошо. Ну что, без обид?

Дороти заколебалась. Оба вспомнили настойчиво шарящие руки и кровь. Он хотел умоляюще сказать, что одна минута безумия не перевешивает любви длиной в целую жизнь — во всяком случае, в целую жизнь Дороти. Он смотрел в пол. Дороти рассудительно произнесла:

— Нет, не без обид. Но ничего. Ты мой отец, это факт.

Это была и уступка, и предупреждение.

— Я по правде тебя люблю, — сказал Хамфри, вступая на запретную территорию. И Дороти

смогла ему ответить — небрежно, практично, с видимой легкостью:

— Я тебя тоже. И всегда любила.

Хамфри кратко обнял ее и поцеловал в макушку, как в детстве. И она поцеловала его в край бороды, как в детстве, легко-легко.

Все эти годы Проспер Кейн был занят новым зданием — медленно растущим в облаках пыли, опасным, огражденным сетью строительных лесов, закутанным, загадочным. Под лесами росли купола, шпили и центральная башня с венцом. Внутри здания царили раздоры между теми, кого заботила в первую очередь красота экспонатов, и теми, кто хотел использовать их для обучения прикладному художественному мастерству. В Европе в это время появилась мода на реконструкцию комнат и интерьеров — с резными панелями на стенах, с каменными колоннами, со стрельчатыми окнами, — в которых кровати, столы, стулья, ковры и керамика располагались так, как, по мнению сотрудников музея, задумали их создатели. В Мюнхене построили новый Баварский национальный музей: его фасад демонстрировал всевозможные архитектурные периоды и стили, а внутренние помещения, их полы, потолки и колонны были специально

сделаны так, чтобы в наиболее выгодном свете показать коллекцию церковной мебели или обстановку будуара. Фотографии этого великолепия были опубликованы в 1901 году, и прусский император выразил свое одобрение и восторг.

Просперу Кейну не удалось спасти странную и удивительную мебель, которую купил один из членов жюри Всемирной выставки в Париже и подарил Музею. Мебель сослали в Бетнал-Грин, а над Музеем Южного Кенсингтона любители логики и порядка насмехались, обзывая его «патологическим музеем болезненного дизайна». В 1904 году майор Кейн поехал вместе с директором Музея сэром Каспером Пэрдоном Кларком и с Артуром Скиннером, будущим преемником Кларка, на открытие «Музея кайзера Фридриха» в Берлине. Кроме того, они посетили *Kunstgewerbemuseum*,[87] а Кейн заехал еще и в Мюнхен и был впечатлен экспозицией тамошнего музея. В 1901 году они ездили также в Париж, на открытие Musée des Arts Décoratifs[88] в Лувре, и видели, что в экспозиции музея «размеренность и упорядоченность, способствующая

[87] Примечания: 87
Музей прикладного искусства *(нем.).*

[88] Примечания: 88
Музея декоративно-прикладных искусств *(фр.).*

изучению», сочетается с «достаточным разнообразием, дающим ощущение жизни: так, гобелен можно увидеть там, где ему должно быть, — над кроватью, сундуком или скамьей, а не в длинном ряду таких же между более ранним и более поздним образцами». Именно к этому стремился Проспер Кейн. Но ему было не суждено достичь желаемого. Судьбу Музея предстояло решить Роберту Моранту, чиновнику из министерства просвещения, который работал домашним учителем при королевской фамилии в Сиаме, потом учил бедняков в Тойнби-холле, а потом взялся за Музей Южного Кенсингтона. Морант считал, что долг музейных кураторов — создать порядок, способствующий учебе: ложки с ложками, балясины с балясинами, тарелки рядами, ковры один за другим. Он попросту уволил Скиннера, который умер год и три месяца спустя, в 1911 году, в возрасте пятидесяти лет, от разбитого сердца. Проспер Кейн восхищался Скиннером и разделял его взгляды. Он остался на своей должности, но чувствовал себя отстраненным от нового порядка. Все это было еще впереди. Первые семь лет нового века майор Кейн строил планы, графики, проекты. Музей пожрал его жизнь, но Кейн был этим счастлив.

Дети и радовали, и беспокоили его. Джулиан, кажется, выбрал карьеру ученого — за неимением занятия, к которому его влекло бы. Флоренция, в детстве столь прямая и практичная, повзрослела и стала, как говорил про себя отец, «лунной девой». Кейна раздражала способность дочери цепляться за безнадежную — он бы сказал даже, нереальную — страсть к человеку, истинная суть которого была ей неизвестна. Кейн раздумывал, не поговорить ли с дочерью, но очень стеснялся разговоров о сердечных делах. Она все равно не станет его слушать. Да и что он может сказать, не нарушая приличий? Он полагал — вынужденно, — что Джулиан перерастет эти отношения, которые в глазах военного были нормальной фазой страстной мужской дружбы. Но другой… этот Джеральд… майор сердцем чуял, что для Джеральда это не фаза. Но юной девушке такого не скажешь. Он подумал, не взять ли в посредницы Имогену Фладд, но и к ней обратиться с таким делом было бы непристойно.

Об Имогене майор тоже беспокоился. В 1902 году ей было двадцать три года, и она совершенствовалась в искусстве серебряных дел мастера. Он любил смотреть, как она работает.

Уильям Ричард Летаби, новый преподаватель

дизайна, и Генри Уилсон, специалист по серебру и ювелирному делу, только что прибывший из гильдии прикладных художников, ввели новый порядок работы. Златокузнецы сидели за французскими ювелирными столами, сделанными из бука, с полукруглыми вырезами: столы приобретали форму цветка. Под вырезами висели полости из овчины — чтобы не упустить ни одной пылинки драгоценного металла. У каждого ювелира была своя паяльная лампа, и высокая Имогена с косами, уложенными кольцом на затылке, терпеливо склонялась над столом, направляя острый язык синего пламени, вытягивая длинные серебряные проволоки для филиграни, отбивая все более тонкие пластинки серебра. Она работала с мягкими камнями — бирюзой, опалом. У нее был тончайший лобзик, ясеневый лук с железной струной, для распила опалов — их нужно было пилить очень, очень медленно и точно. Проспер Кейн любил глядеть на ее безмятежное сосредоточенное лицо. Она сидела в фартуке цвета индиго, закрывающем все тело, и подсовывала длинные ноги под овечью полость. Раньше Проспер считал Имогену невыразительной и туповатой, но теперь понял, что она носит маску, под которой прячется совершенно дру-

гое существо — яростное, точное, решительное, способное создавать красоту. Кейна удивляло, что студенты мужского пола не замечают этих качеств. Студенты почти не обращали внимания на Имогену. Другие студентки были веселыми и живыми или мрачными и страстными. Имогена Фладд была — и ее учителя это признавали — художницей, преданной своему искусству. Но Проспер Кейн считал, что, кроме искусства, у нее должна быть еще и жизнь. Безмятежность Имогены была неестественной.

Помона вроде бы хотела пойти в Королевский колледж, по стопам сестры. Она приехала в Лондон, растерянная и розовая, и держала экзамены. И провалилась. Ни репутация отца, ни впечатляющие достижения сестры, ни протекция Кейна не компенсировали ее бездарности. Экзаменаторы сказали, что ее работы — детские, поверхностные. Когда Помона узнала об их решении, она вроде бы скорей обрадовалась, чем огорчилась, и уехала обратно в Лидд. Зато Имогена вышла вечером к ужину с красными глазами. Но ничего не сказала.

33

Лагерь в Нью-Форесте состоялся мирным летом 1902 года, когда война в Южной Африке уже кончилась. Коттедж из старого, крошащегося красного кирпича стоял на лесной поляне — в нем было две спальни, кухня и гостиная. Стекла в окнах были неровные и даже не очень прозрачные. Сад зарос наполовину одичавшими тенелюбивыми растениями — наперстянкой и мятой, сладко пахнущим подмаренником и незабудками. Неухоженный газон переходил в супесчаный склон, сбегающий к месту купания — глубокой заводи в реке, наполовину залитой солнечным светом, наполовину скрытой загадочной зеленой тенью ветвей. Кто-то построил шаткие деревянные мостки, нависшие над водой. С них можно было нырять и удить рыбу. Нырять можно было и с лесистого берега на теневой стороне (там было глубже) — разбежаться, давя ногами щавель и дрёмы, выгнуться дугой и взмыть в воздух.

Иоахим Зюскинд и Тоби Юлгрив поселились в спальнях и распаковали ящики, расставив книги на импровизированных полках из досок и кирпичей. Иоахим и Тоби приехали раньше — на

поезде до Эшерста, а оттуда взяли двуколку — и привезли все тяжелые вещи, палатки, котелки, кастрюли и банки с вареньем. Том был уже на месте. Он прошел пешком через Даунс и выскочил из-за деревьев, чтобы помочь с разгрузкой. В другой двуколке приехали Дороти, Гризельда и Филлис. Гедде сказали, что она еще маленькая, хотя она, двенадцатилетняя, уже считала себя большой. Она впала в ярость — эти припадки уже стали слегка беспокоить ее родителей — и нарочно разбила блюдо работы Филипа Уоррена. Шестнадцатилетняя Филлис собиралась готовить. Она привезла с собой фартук. Приехала и Флоренция Кейн, взяв двуколку на станции. Флоренцию пригласил Джулиан — он сам собирался приехать на следующий день из Кембриджа, вместе с Чарльзом. А Проспер Кейн попросил их позвать и Имогену. Флоренция заколебалась — ведь приглашали только ее. Обратились с этим вопросом к Джулиану, а тот спросил Тоби, который ответил: «Почему бы нет?» Так что Имогена тоже приехала.

Том, Иоахим и Тоби поставили палатки. Их было четыре — две для мальчиков и две для девочек. Палатки поставили, растянули и прибили колышками. Девушки набрали охапки папо-

ротника, чтобы набросать на пол под спальные мешки. Джулиан с Чарльзом должны были на следующий день прийти со станции пешком и надеялись встретиться с Джерри, который собирался ехать тем же поездом. Флоренция в письме к Джулиану как бы между делом написала, чтобы он привез Джеральда — наверняка Джеральду в лагере понравится. Джулиан этим летом уже побывал с Джеральдом на природе — в «апостольском» лагере для учебы и отдыха в Тироле. Там до изнеможения спорили об истине, дружбе, моральном долге, идеале красоты, рабочем классе и других, более игривых вещах. Порой у Джулиана мелькала мысль, что получение удовольствия — страшно утомительное занятие.

Дороти и Гризельда взяли бидончики и собрались идти через лес на ферму за молоком. Имогена попросилась с ними. Как-то так всегда получалось, что ей приходилось просить — по собственной инициативе ее никогда не приглашали. Флоренция осталась в лагере — ей нечем было заняться, кроме как наблюдать за Филлис, которая лущила горошек и варила мармелад. Флоренция вслушивалась. Она ждала появления Джулиана, Джерри, Чарльза-Карла и Джеральда, словно ее жизнь замерла или замедлилась до их

прибытия.

Любовь — фантазийная, неразделенная любовь — искажает время, придает ему чудовищные формы. Неровные стекла уродовали Тома и Тоби, укорачивали и утолщали, растягивали, как резину. Джеральд, воображаемый Флоренцией, был четок, лучист, имел идеальную форму. По нескольку раз за минуту она представляла себе, как он легко шагает по лесу, пересекает лужайку перед домом и робко, радостно улыбается, видя, что Флоренция его ждет. От этого призрака у нее выступали мурашки. Она пыталась притянуть его в лагерь усилием воли.

— Вот они! — крикнула Филлис и выбежала из дома, не сняв фартука. Они действительно пришли — сначала Герант, потом Чарльз-Карл, за ними лениво плелся Джулиан. Джеральда не было. Флоренция тут же поняла: она всегда знала, что он не приедет. Скорее всего, Джулиан его даже не позвал, зная, что Джеральд сочтет их компанию детской по сравнению со своими элегантными друзьями. А если она всегда знала, что он не приедет, чего она тогда тут навоображала? Ее обожгло стыдом. Она сердито отвернулась, когда Герант зашагал в ее сторону («Как щенок», — сердито подумала она) и сказал,

что ужасно рад ее видеть.

В тот же день явились немцы — Вольфганг и Леон — в зеленых шляпах, с посохами. Они пришли пешком из коттеджа «Орешек» с заплечными мешками. Они пели дуэтом — песни *Wandervogel*, песни из «Зимнего пути» и «Кольца нибелунга». Они, подобно Имогене, были чужаками, потому что их детство прошло не здесь и не так. Девушки стеснялись их, но Вольфганг и Леон спели им, и все присоединились к хору.

Потом все говорили, что нужно запомнить эти дни, чтобы никогда не забывать, что значит быть молодым и живым. Солнце светило им. Воздух был золотой и синий, а под деревьями — темно-темно-зеленый и благоуханный. Как-то они прошли много миль за один день, растянувшись длинной цепочкой из целеустремленно, бесцельно шагающих тел, а весь следующий день сидели в лагере, пели по-немецки и по-английски, читали вслух друг другу и друг с другом, читали про себя, лежа в траве, или под луной и звездами. Они купались голыми в холодной воде, и днем, и ночью — девочки под прикрытием ограждения из желтых флагов, мальчики — ныряя с высокого берега. Они замечали тела друг друга с каким-то неотчетливым любопытством, думая и зная, что

на это еще будет довольно времени, что время бесконечно и растяжимо. Они смеялись над пятнами, полосами и шевронами загара, зебриными полосами там, где кожа загорела неровно под манжетами и воротниками рубашек. Все смотрели на Тома. Он скакал, метался и плясал какой-то дикий танец среди завес водяных брызг, поднимая со дна муть и водоросли, обвешавшись водяным крессом, как дикарь перьями. Он был весь ровного коричневато-золотого цвета, словно обжарился на солнце со всех сторон. Волосы выгорели, а тело уподобилось позолоченным ветвям. Дороти подумала: он, должно быть, часами загорал — в древесном доме или еще где. Все засмеялись над Томом, и он рассмеялся в ответ, а потом снова бросился в воду — он бегал, ходил, прыгал, нырял, был в вечном движении.

Они читали пьесы по ролям — мильтоновского «Комоса», где Гризельде досталась роль Леди, Джулиану — Комоса, а Джерри — Духа-хранителя; «Сон в летнюю ночь», где Вольфганг играл Оберона, Флоренция — Титанию, Имогена — Ипполиту, а Чарльз, Гризельда, Дороти и Герант — перепутанных любовников. Тому досталась роль Пэка. Тоби Юлгрив читал им сэра Филипа Сидни и Мэлори, Иоахим Зюскинд и Штерны — стихи

Шиллера и Гете, Джулиан — «Сад» Марвелла, а Том — Теннисона. Джулиан вел ученые беседы с Тоби о Филипе Сидни. Сидни написал текст, отрывок из которого Джулиан считал своим любимым — во всяком случае, в этом году. «Природа никогда не украсит землю столь богато, как это сделали поэты, ее реки не будут красивее, деревья плодоноснее, запах цветов нежнее, ей не сделать нашу безмерно любимую землю еще прекраснее. Ее мир — это медь, которую поэты превращают в золото».[89] Джулиан сказал, что ищет тему для диссертации на случай, если решит искать должности младшего преподавателя в Кингз-колледже, и уверен, что из этой цитаты можно что-то выжать. «Английская пастораль в поэзии и живописи…» Пастораль — это всегда в ином месте, в ином времени. Даже зеленая заводь и долгие прогулки по холмам не станут пасторалью, пока не уйдут в прошлое. И все же солнце светило им, а листья, вода и трава сияли его отражениями.

А еще память умеет заволакивать гадости и ужасы, превращая их в позолоченные узоры. Джулиана укусил в ягодицу слепень, и место укуса распухло, горело и чесалось. Филлис сожгла

---

[89] Примечания: 89
Филип Сидни. Защита поэзии. Перевод Л. Володарской.

яблочный пирог — все хвалили карамельный вкус, но пооставляли куски на тарелках, уж очень они обуглились. В другой раз кто-то не прожарил колбаски как следует. Мудрая Дороти обгорела на солнце, хоть и ходила все время в шляпе. Лицо побагровело, опухло и блестело вокруг глаз. У лощеной Гризельды началась сенная лихорадка. Во рту был вкус жести и грязной воды, из хорошенького носика непрестанно текло, горло распухло так, что она не могла дышать, небольшой запас носовых платков быстро иссякал — они промокали и начинали дурно пахнуть, и их приходилось стирать, перестирывать и прижимать камнями, чтобы они высохли на ярком солнце. Чарльз-Карл сорвал ноготь и залил кровью свою лучшую рубашку. У Филлис вылезли прыщи. Только Флоренция и немцы остались невредимы, сохранили гладкость кожи и постепенно загорали.

После непрожаренных колбасок всю компанию прохватил понос, а это может быть неудобно, если люди спят рядами в палатках и на всех только одна уборная — выгребная яма при коттедже. После этого компания два дня вела себя очень тихо и лишь кротко шутила о том, что было совсем не смешно. Но их тела быстро оправились. Они были молоды.

Двумя героями этого лагеря были Вольфганг Штерн и Том. Они подружились. Леон и Чарльз-Карл вели долгие беседы об утопии с Иоахимом Зюскиндом, но Вольфганг очаровал всех, и мужчин, и женщин. Предусмотрительная Дороти отвела Вольфганга в сторону и без обиняков сказала ему:

— Том ничего не знает.

— Нет? — переспросил Вольфганг.

— Он не поймет, — сказала Дороти, оправдываясь. — Он изменится. Я этого не хочу.

— Однако ты, Schwesterchen,[90] распоряжаешься братьями, как тебе удобно.

— Вечно ты надо мной смеешься. А ведь на самом деле все понимаешь.

— Я буду молчаливый, как ночь, и… как это по-английски? Не хитрый, хитрый я знаю. *Taktvoll.*

— Тактичный.

Дороти с некоторой опаской следила, как Вольфганг старается обаять Тома. Он ходил с Томом на прогулки и обменивался с ним названиями трав — *Rittersporn,* шпорник; в обоих именах была «шпора». Вольфганг и девушек старался обаять — отвешивал тщательно продуманные

---

[90] Примечания: 90
Сестричка *(нем.).*

небрежные комплименты Имогене, Гризельде, Флоренции и даже Филлис, приносил им мелкие подарки — камушки, букетики. Джулиан, ровесник Вольфганга, завидовал его непринужденности. Вольфгангу удавалось сидеть на заборе, разделяющем юность и взрослость, невинность и опыт, и непринужденно кататься на калитке туда-сюда. Смуглая, острая, сторожкая улыбка одновременно лучилась юношеской дурью и хитро прятала намек на сексуальность.

— Что тебе во мне больше всего нравится? — спросил он у Гризельды, с которой общался на дикой смеси английского с немецким.

— О, это просто. Твое имя.

— Имя? Но ведь я его просто так получил. Имя — это не я.

— Если на то пошло, то вот эти свои длинные ноги, это лицо ты тоже просто так получил, — сказала Гризельда, останавливая взгляд на означенных прелестях. — Ты просто не чувствуешь, как звучит «Вольфганг» по-английски. Жутко романтично. Волчий шаг. Волчья побежка. У нас нет имен, которые означали бы опасных животных.

— А я опасен?

— Еще бы!

Но дальше этого они не заходили, и почти такие же разговоры он вел и с Флоренцией, и с Имогеной.

Дождавшись самого конца лагеря, они устроили, подначивая друг друга, совместное купание нагишом. Вольфганг сказал, что это ритуал для долговечности дружбы — нечто вроде языческого крещения полным погружением. Они и Тоби с Иоахимом позвали, но те не захотели. Джулиан знал: это потому, что их тела уже далеки от совершенства. Молодые люди робко вышли из палаток, взялись за руки и затанцевали на траве — белая, золотая Гризельда с высокими средневековыми грудями, плотная Дороти, Имогена, гибкая, как ива — она все время пыталась прикрыться, но не могла, потому что Флоренция, мерцающая, как фарфор, и пухленькая Филлис держали ее за руки. Они поводили хоровод, распевая «Зеленые рукава» — потому что эту песню знали все, — а потом цепочка лопнула, и они, набравшись решимости, хохоча, исподтишка косясь друг на друга, побежали, некоторые — все еще держась за руки, в воду. Они повизгивали, когда вода доходила до паха, смеялись, когда она закрывала волосы, и принимались гоняться друг за другом, плавать, как рыбы или утки. Рука Вольфганга сомкнулась

на груди Гризельды и разжалась. Герант умудрился поймать Флоренцию, но она вывернулась, как угорь или рейнская дева. Том вынырнул из воды, сделал сальто, нырнул обратно в занавес водяной пыли, снова вынырнул и снова нырнул.

Джулиан сидел на мостках и смотрел. Член его вяло висел меж бедер. Какие же мы дураки, думал Джулиан. У нас даже в голове не укладывается, что мы постареем, а ведь мы будем стареть, год за годом, и вся эта красивая — даже более чем красивая — плоть усохнет и испортится так или иначе. Он оперся подбородком на руки, и тут Том подплыл к нему под водой, схватил за щиколотки, стянул с мостков и, дико хохоча, измазал с ног до головы грязью.

Время циклично. Время линейно. Время телесно — со временем груди меняют форму, линия рта ожесточается, волосы утрачивают блеск. Времени можно давать имена — годы, месяцы. В 1903 году они попытались повторить лагерь и его невинные радости — в тех же палатках, в том же саду, у той же глубокой заводи. Дороти сражалась с предварительными научными экзаменами. Том, которому вот-вот должен был исполниться двадцать один год, опозорился на экзаменах еще хуже, чем в прошлый раз, и знал это, хотя

его преподаватели и родные не знали, так как оценки еще не были объявлены. Ему постоянно приходилось уклоняться от вопросов: в какой университет он собирается и когда. Поэтому к его беззаботности добавилась неловкая уклончивость, которая, впрочем, пока лишь добавляла ему шарма. Флоренция размышляла о том, идти ли ей учиться, чему именно и где, а пока читала и мечтала в слегка обвиняющем тоне — настолько, насколько такими занятиями вообще можно кого-то в чем-то обвинить. Джеральд все реже приходил в Музей, но все же приходил время от времени, любезно и непринужденно беседовал с Флоренцией на интеллектуальные темы — ровно настолько, чтобы продлить ее мучения. Джулиан сдал заключительные экзамены по классической филологии и тоже ждал результатов.

Всех участников охватил какой-то упадок духа. Может, лагерь и поднял бы им настроение, но все время шел дождь — как выяснилось впоследствии, лето выдалось рекордно дождливым. Они лежали в палатках ночь за ночью, слушая стук капель, трепыхание ветвей, шипение мокрых листьев и хлюпанье грязи под полом палатки и вокруг колышков. Они дулись. Том предложил устроить бой в грязи, но остальные отреагиро-

вали без энтузиазма. Все было сырое и противно липло к телу. Как-то ночью поднялся ветер, сорвал растяжки, и палатки повалились на траву. Обитатели палаток, промокшие до нитки, выползли наружу. Преподаватели попытались разжечь огонь в очаге, в коттедже, но спиральные струи дождя залетали в трубу, огонь трещал, захлебывался и гас. Они мрачно поплелись наружу через заднюю дверь, горбясь под мокрыми одеялами. Кто-то проскакал мимо них в обратном направлении, резвясь и выкидывая коленца. Это был Том, едва различимый меж канатами хлещущего дождя. Он промчался по мосткам, нырнул в воду и снова вынырнул, отфыркиваясь, как тритон, с лицом, облепленным волосами.

— Идите сюда! — крикнул он. Дождь покрывал рябью воду вокруг него, а мокрый ветер яростно хлестал по воде бичом, образуя горные хребты и венцы.

— Ну же! — крикнул Том еще раз, но никто не пришел, и хотя он некоторое время бодро плескался, всем — включая самого Тома — было неловко, унизительно. Назавтра они разъехались по домам.

В 1903 году английский король с большой помпой нанес дружественный визит в Париж, чтобы

заложить основы *Entente Cordiale.*[91] В Германии социал-демократы победили на выборах и вели принципиальную дискуссию — можно ли надеть бриджи для официального визита к кайзеру Вильгельму, который считал их шайкой предателей. В 1903 году в Фабианское общество вступил Герберт Уэллс, намереваясь хорошенько его перетрясти. Какой-то сумасшедший проник в Английский банк и несколько раз выстрелил в секретаря, Кеннета Грэма. Грэм ушел из банка в 1908 году: по-видимому, руководство банка сочло, что он больше интересуется литературой и лодочными забавами, чем экономикой страны. В Манчестере Эммелина Панкхерст основала Социально-политический союз женщин. Она, как сказал редактор газеты «Лейбор лидер» ее дочери Сильвии, «более не была милой и кроткой». Пэтти Дейс интересовалась Союзом женщин, но не вступила в него. В Лондоне проходил фестиваль музыки Рихарда Штрауса; приехал Ансельм Штерн с сыновьями, и вместе с Карлом, Дороти и Гризельдой ходили на представления. Гризельда была в восторге от музыки. Дороти — нет.

Герберт Метли опубликовал «Мистера Вудхауса

---

[91] Примечания: 91
Сердечное согласие *(фр.).*

и дикарку». Пронизанный тайной и телесностью роман «с настроением» повествовал об обреченной страсти одинокого поэта («по имени я родня Вудхусу, лешему, „зеленому человеку“») и земной, даже отчасти грязной, девушки, дитяти природы, обитательницы Ромнейского болота. Роман пользовался успехом у читателей и благосклонностью критиков, но недолго: полиция и цензоры налетели на книжные магазины и сожгли весь тираж. Феба Метли сказала Мэриан Оукшотт:

— Я знаю, я должна сердиться на них, и цензура — это неправильно, особенно если речь идет о серьезных литературных трудах… но, признаюсь, я рада, что люди не читают роман и не задают мне вопросов. А эта Дикарка, по-моему, не похожа ни на кого — у нее нет реального прототипа, живого или мертвого, кроме внутреннего тремоло сверхчувствительных струн Гербертовой души… но я не завидую тому, кто хоть на миг подумает, что этот образ списан с *нее.*

— Стоит прочитать? — спросила Мэриан.

— Я дам тебе книгу. В оберточной бумаге, в газете. Держи ее где-нибудь в ящике под бельем. И, видимо, не стоит читать ее в постели. Я так думаю.

В конце года Дороти сдала все предваритель-

ные научные экзамены, кроме физики, которую ей предстояло пересдавать. Гризельда сдала все и поступила. Джулиан получил свою степень бакалавра первого класса — он был не первым и не последним среди обладателей степеней первого класса, но где-то посредине, как и подобает джентльмену. Карл сдал первую часть математического трайпоса. Том снова провалился. Филип работал над новой серебристо-голубой глазурью.

34

Покинув Пэрчейз-хауз, Герант (он же Джерри) Фладд решил, что отныне отряхнет его прах со своих ног (он намеренно употребил эту расхожую цитату). В голове крутились унизительные, отвратительные образы. Дыры в длинных грязных ковровых дорожках, устилающих коридоры. Большие, пустые глаза матери. Карикатурно девичьи ужимки Помоны. Полупроваренная рыба (до появления Элси) и водянистая овсянка. Беспорядок — мастерская словно пыталась вторгнуться в жилое пространство, выползая в него сохнущими комьями глины и мазками ангоба. Геранту нужно было выбраться отсюда, и он выбрался. Теперь, слегка успокоившись и зажив собственной жизнью, он начал думать, что и на нем лежит определенный долг.

Это чувство было неотделимо от потребности посещать Кейнов, что было несложно, так как его сестра по-прежнему жила у них. Но вскоре он по-настоящему озаботился будущим Имогены, хотя раньше лишь делал вид, что оно его интересует. Имогена была красива — удлиненным силуэтом, старомодной красотой. Ее медленная речь и

жесты были не заученны, а естественны. По-видимому, у нее был талант. Ей стоило помочь. А если Герант по-умному поможет Имогене, он поможет и тем, заброшенным, несчастным, оставшимся на Болотах. Возможно, Бенедикт Фладд был гений, но он был также полной противоположностью хорошего бизнесмена и тем более не умел продавать свой товар. Он не хотел расставаться ни с одним из своих творений. И он мог превратить Филипа Уоррена в свое подобие. Когда Проспер вернулся из Берлина, Герант явился к Кейнам. Он сказал, что, по его мнению, нужно организовать магазин где-нибудь в Лондоне, чтобы выставлять и продавать работы Имогены — и горшечников из Пэрчейз-хауза, и, может быть, еще каких-нибудь художников из тех, кто учился с Имогеной в Королевском колледже. Где-нибудь в Холборне или Клеркенуэлле. При магазине можно сделать еще и мастерскую — посадить туда Имогену и, может быть, какого-нибудь горшечника, чтобы публика могла на них поглазеть, задать вопросы и получить ответы. Герант сказал, что он поговорил с Бэзилом Уэллвудом и Катариной, и они готовы вложить деньги в этот прожект. А сам он может помочь с управлением.

Имогена сказала, что давно уже подумывала

уехать из дома в Южном Кенсингтоне и поселиться отдельно. Майор Кейн выразил надежду, что она не уедет — Флоренции полезно ее общество, и, конечно, они оба будут счастливы, если Имогена останется у них, по крайней мере, пока эта замечательная идея не будет воплощена в жизнь и магазин не заработает в полную силу. Герант поглядел на Флоренцию, чтобы узнать, довольна ли она. Ему показалось, что у нее на лице отразилось неудовольствие. В последнее время та светская выдержка, вечная улыбка, спокойствие, за которые он любил Флоренцию, куда-то подевались. Но Герант упрямо продолжал ее любить. Он думал о ней, когда лежал с женщинами, а теперь, глядя на нее, вспомнил об этом и покраснел.

— Что ты скажешь? — спросил он.

Она сказала, что это прекрасная идея, и выразила сожаление, что у нее в отличие от Имогены нет никаких талантов.

Галерею устроили на улочке в Клеркенуэлле, где уже работали и выставлялись другие прикладные художники. В галерее была витрина и несколько застекленных шкафов и полок (сделанных студентами-мебельщиками) в элегантном современном стиле Движения искусств и ремесел. Прилавок, тоже из светлого дерева,

больше напоминал длинный стол в главном зале средневекового замка. За прилавком была ниша, где помещался рабочий стол Имогены с паяльной лампой и кожаными полостями, а рядом с ним — гончарный круг. Сюда время от времени приходили разные студентки из колледжа и «точили» горшки. Герант приводил молодых людей из Сити. Приехал и сам Бэзил Уэллвуд и купил большие вазы работы Бенедикта Фладда, привезенные Герантом из Лидда. Долго спорили, как назвать магазин. Герант придумал название «Печь и тигель», но Флоренция сказала, что это напоминает завод. Имогена, которая в это время работала над серебряными шкатулочками в форме грецкого ореха, сказала:

— Может быть, «Серебряный орешек»?

И все согласились. Они сделали странное дерево из бронзовой и серебряной проволоки, футов пяти высотой, и поставили в большую жардиньерку, созданную Фладдом и Филипом в Пэрчейз-хаузе, — ее глазурь переливалась оттенками от бледно-зеленой морской волны до глубокой индиговой сини, а вокруг обвивался нарисованный гарцующий дракон о четырнадцати ногах, сжимающий зубами собственный чешуйчатый хвост. На деревце Имогена развеси-

ла небольшие золотые и серебряные предметы, сделанные ею и другими златокузнецами. С верхней ветки свисали серебряный орешек и золотая груша — гладкие, сияющие.

Герант любил все обустраивать. Он считал летний художественный лагерь 1904 года в основном своей заслугой. Одна идея потянула за собой другую. Он подумал, что если вокруг Пэрчейз-хауза устроить лагерь, куда могли бы приезжать люди и творить разные вещи, а другие люди могли бы приезжать и учиться, — тогда можно будет заменить ковры, обновить мебель, и дом, где сейчас нет ничего, кроме летаргических женщин и отставших навсегда часов, наполнится трудом и голосами. Лагерь рождался у Геранта в голове: палатки в саду, для мужчин и женщин… классные комнаты в пустых стойлах, живопись, ткачество, Имогена за столом в седельной, окруженная жадно внимающими учениками, курсы гончарного дела для всех уровней, от основ до вершин мастерства… Геранту представилась мастерская в прежней молочной и отец в мастерской. Бенедикт Фладд был человеком настроения. Порой это настроение бывало злобным, чаще мрачным, иногда маниакально приподнятым. Герант решил, что если подойти к отцу в хорошую минуту

— то есть в маниакальной фазе, — его можно будет уговорить. Но неизвестно, какое настроение у него будет к открытию лагеря. Герант пал духом. Он пошел к Просперу Кейну, который сказал, что, может быть, лучше устроить лагерь где-то еще — надо спросить у Фрэнка Моллета, Доббина и мисс Дейс, они могут что-нибудь придумать, — но недалеко от Пэрчейз-хауза, чтобы Фладд мог читать лекции о своей работе, проводить демонстрации… и Имогена тоже. Помоне пойдет на пользу, если вокруг нее что-нибудь будет происходить; надо и ей подыскать работу в лагере.

В конце концов им — с подачи Дейс, Моллета и Доббина — помог Герберт Метли. Хозяин фермы по соседству только что умер, и вдова была счастлива сдать ветшающие службы будущему лагерю под помещения для занятий. Она обещала поставлять молоко, хлеб, яблоки и сидр. На лугах вокруг фермы много места для палаток; правда, нет реки, но при ферме есть пруд, да и пляжи Димчерча и Хайта в досягаемости. Метли вызвался прочесть несколько лекций по писательскому мастерству. Кто-то еще предложил учить также резчиков по дереву и пейзажистов. Герант с Проспером Кейном отправились в Пэрчейз-хауз, где пообедали испеченным Элси пирогом с ба-

раниной, исподтишка разглядывая Фладда. Они спросили, не согласится ли он на время лагеря отпускать Филипа, чтобы тот помогал с занятиями по гончарному делу. А может быть, он даже предоставит свою печь для обжига любительской керамики? Фладд ответил, что Филип завален работой и что лично он не собирается подвергать опасности свою печь. Но не взбеленился. Герант по опыту всей своей недолгой жизни умел определять степень гнева отца. Мышцы вокруг губ были расслаблены. Герант перевел взгляд с отца на Проспера Кейна. Он подумал: «Я не люблю своего отца. Я никогда не любил своего отца. Если бы у меня был другой отец! Такой, как Кейн, — он бережет людей, такой, как Бэзил Уэллвуд, — он понимает, что я умен и честолюбив». Бенедикт Фладд любил дочерей — странной любовью. Но редко вспоминал, что у него есть еще и сын.

— Имогена приедет, — сказал Герант. — Она будет вести занятия по ювелирному делу. Ты бы как-нибудь наведался в Лондон, зашел в «Серебряный орешек». Мы продали два твоих кувшина-Януса. Торговля идет хорошо.

Фладд делал сосуды о двух лицах — благодушные и спокойные с одной стороны, охваченные яростью, горем или болью с другой. Они были из

темной красноватой глины, волосы и бороды раскрашены черным. Герант не любил эти сосуды, но ценителям они, кажется, нравились.

— Имогена не приезжает. Она нас покинула.

— Летом она приедет надолго, из-за лагеря. Мне очень хочется, чтобы и ты к нам присоединился. Все захотят посмотреть на тебя и твою работу. Может быть, ты даже сможешь поработать вместе с Имогеной… что-то сделать…

Филип сказал, что готов поучить новичков, как перебивать глину, центровать горшки и так далее. Но что им на самом деле нужно, так это лекция Бенедикта Фладда обо всей истории работы с глиной, о Палисси и майолике, о фарфоре и ангобе…

— Я подумаю. Если выдастся время…

— И, может быть, участники лагеря смогут прийти… не каждый день приходить, а прийти раз или два, посмотреть, как ты работаешь… — произнес Герант.

— Нечего тут слоняться кому попало, портить вещи и совать нос куда не следует.

— Имогена и Филип за ними присмотрят.

Фладд не сказал ни да, ни нет; на такую удачу они и не надеялись.

Лето приближалось. Герант работал с другими

организаторами — Пэтти Дейс, Фрэнком Моллетом, Доббином и Мэриан Оукшотт, которая предложила обучить обитателей лагеря полезным для здоровья физическим упражнениям, а еще — поставить какую-нибудь пьесу. Курсы театрального дела. Эта идея тоже расцвела пышным цветом. Геранта отправили поговорить со Штейнингом, который сказал, что у него сейчас живет мастер-кукольник; его и его сына можно уговорить на проведение занятий по кукольному театру и марионеткам. А сам Штейнинг готов стать режиссером — он давно хотел поставить гибридный спектакль, с марионетками и живыми актерами.

Так замысел день за днем обретал плоть. Фабианцы и теософы, англикане и гильдии мастеровых вешали у себя объявления о лагере и предлагали помощь — с молотками и зубилами, чайниками и пирогами, сценой и мастерскими, полезной гимнастикой и уроками движения. Участники прошлогодних лагерей как-то растерялись: куда подевалась былая интимность, спонтанность, язычество, поклонение солнцу? Но Герант убедительно сказал, что все это — не *вместо* дикого леса, а *помимо* него; они смогут творить прекрасное и в то же время наслаждать-

ся природой. Он принялся планировать день за днем этого, пока призрачного, мира. Они доведут лагерь до кульминации — главного дня с премьерой постановки, лекцией Фладда, ночным обжигом сосудов в бутылочной печи (дрова будут таскать все участники лагеря) и полночным пиром.

Имогена согласилась на все эти планы, построенные ради нее, но сама не предлагала ничего, ни по курсам, ни по организации. Флоренция Кейн сказала, что совершенно не способна ни к какому рукоделию, но остановится в гостинице и будет время от времени проведывать участников. Нет, спасибо, прыгать в гимнастическом костюме ей тоже не хочется. Герант ненадолго расстроился — ему так хотелось, чтобы она играла в лагере какую-то роль, хоть он и сам не знал, какую. Он сказал, что Имогена будет разочарована.

— Не думаю, — ответила Флоренция. — Честно, не думаю.

За несколько дней до прибытия участников лагеря, летним вечером, Проспер Кейн взял кеб и отправился в Клеркенуэлл, чтобы забрать Имогену с инструментами. Лето выдалось очень жаркое. Ранний вечерний свет, хоть и полный

пылинок и летающего мусора, золотил серые стены. Проспер остановился на тротуаре возле «Серебряного орешка» и заглянул внутрь. Дерево светилось вечными плодами. На полках блестели драгоценные металлы и тончайшие глазури. Эмалевые украшения и нити бус свисали с керамических ветвей миниатюрных древовидных подставок, стоявших по концам длинного стола. Между деревьями-подставками виднелась бледная масса рыжеватых волос, на столе распростерлись плечи, обтянутые серой рубашкой вроде квакерской. Проспер, опоздавший из-за толкотни на улицах, подумал, что Имогена заждалась и уснула. Он с удовольствием глядел на расслабленность ее обычно столь зажатого тела. Он подумал (в последний раз, как оказалось), что поступил правильно, взяв Имогену к себе в дом, компаньонкой для Флоренции, растущей без матери.

Он вошел в магазин. Хорошенький латунный колокольчик над дверью звякнул, Имогена вздрогнула. Но не подняла головы. Проспер подошел к столу и коснулся ее плеча. Он извинился за опоздание и спросил, не нужна ли ей помощь в сборах.

Она подняла к нему лицо. Это было, прямо ска-

зать, лицо бесноватой, опухшее, с неподвижным взглядом, покрытое алыми пятнами. Глаза были мокрые, и лицо мокрое, и даже воротник блузы отсырел. Имогена с тяжело вздымающейся грудью перевела дух и попыталась извиниться.

— Дорогая… — сказал Проспер. Он отошел, подтянул к столу единственный оставшийся стул и сел рядом с Имогеной. Что случилось? Что ее так расстроило?

— Я не могу… — сказала она. — Не могу…

И зарыдала. Проспер предложил ей собственный, идеально сложенный носовой платок.

— Чего ты не можешь? — спросил он.

— Не могу туда. Не могу туда вернуться.

Она умолкла и снова зарыдала, а потом начала объяснять.

— Я не могу спать в том доме. Не могу, не могу, не могу.

Проспер Кейн не стал спрашивать, почему. Он не хотел знать ответ на этот вопрос и решил, что для нее будет лучше — не давать этого ответа. Он сказал:

— Значит, не будешь. Мы придумаем что-нибудь другое.

Имогена принялась бормотать отчаянные мокрые признания о Геранте… о том, что она предала

Помону… и о грязи, грязи на коврах, грязи в кухне. Она возбужденно замахала руками, и майор Кейн поймал их — мокрые и горячие — и удержал в ладонях.

— Может быть, ты поселишься с другими девушками в палатках? Или в гостинице, вместе со мной и Флоренцией?

— Вы не знаете…

— Мне и не нужно знать. Ты член моей семьи. Я о тебе забочусь. И дальше буду заботиться.

— Не нужно, незачем. Нет необходимости…

— Необходимость есть, это совершенно ясно, раз ты в таком состоянии. Может, мы скажем, что ты больна и вовсе не можешь работать в летней школе? Уедем куда-нибудь, отдохнем.

— Не надо. Хватит мне глупить.

— Ты скоро будешь независимой. У тебя есть талант, ты же знаешь. Ты сможешь зарабатывать себе на жизнь и, я надеюсь, найдешь человека, которого полюбишь, у тебя будет свой дом, безопасное пристанище.

Это вызвало новый приступ слез, но уже тихих. Потом Имогена сказала:

— Мне нужно уехать, немедленно. Но не в тот дом. *Я не знаю, что мне делать.*

— Я надеюсь, что ты мне позволишь заботиться

о тебе, пока ты не найдешь, — он повторился, — человека, которого полюбишь, который будет о тебе заботиться…

— Я уже люблю, — сказала Имогена. Глаза у нее были закрыты. Последовала бесконечно малая пауза, пока Имогена принимала решение: — Я люблю вас.

Еще одна пауза.

— Поэтому я должна уехать.

Они посидели неподвижно, бок о бок. Потом Имогена протянула руки, бросилась со своего стула к Кейну, прижалась лицом к его лицу, придавила его тело своим тяжелым телом.

Он автоматически обнял ее, чтобы сохранить равновесие. Так долго… так долго без женщины, хотя его домик был полон женщин. Он поцеловал ее волосы. Он держал ее в объятиях и старался быть твердым — оказалось, что ему это удается в обоих смыслах.

— Это невозможно, — очень бережно сказал он. — Тому есть множество причин. В этом мире — невозможно. Мы должны забыть об этом.

— Я знаю. Поэтому я должна уехать. А вместо этого все, кажется, сговорились притащить меня обратно в тот дом…

Проспер исполнился яростной решимости — не

допустить, чтобы она вернулась в тот дом. Он сказал:

— Я обо всем позабочусь. Вытри глаза, причешись, и поедем домой.

Он не знал, что делать. Но полагал, что, как всегда, что-нибудь придумает.

В ту ночь он никак не мог уснуть. Он смотрел на себя в зеркало. Элегантно подстриженные усы цвета соболиного меха с серебром, лицо, изборожденное морщинами, твердый взгляд. Ему еще нет пятидесяти, но это ненадолго. И вдруг молодая женщина — притом красивая — падает к нему в объятия и признается в любви. Он погладил усы и встал по стойке «смирно». Скорее всего, Имогена права, ей нужно уехать, но кто же о ней позаботится, если не он? Он сделал ее счастливой, когда она была несчастна и растеряна. Он ей не отец. У нее есть отец, и она его боится. У Кейна хватало ума понять (сказал он сам себе), что она любит его, потому что боится отца. Это путаница, неразбериха. У майора всегда хорошо получалось разрубать запутанные узлы и устранять неразбериху — в армии, потом в Музее. Но не свои узлы, не свою собственную неразбериху. Майор устал от самокопания и пошел в постель — он спал на койке армейского образца. Кто не рискует, тот

не пьет шампанского, сказал он себе, засыпая, но сам не знал, к чему это он. Он решил, что не сможет посоветоваться об этом с дочерью, как советовался с ней обо всем остальном. Черт бы побрал эту самоуверенную скотину — Джеральда Матьессена.

Холодные обливания, сказал он себе. Обливания чистой, холодной водой.

Ему приснился один из тех кошмаров, в которых вещи не совпадают по размеру. Он, как часто наяву, наблюдал за переноской музейной мебели, закутанной от пыли в холст, похожий на саван, и обмотанной веревками. Большая команда грузчиков, похожих на жуков, тащила какой-то предмет — сначала в одну сторону, потом в другую. Они пытались втащить его через дверь в подземный запасник, но предмет был слишком большой и не пролезал.

— Осторожней, идиоты, — сказал Проспер во сне, — поцарапаете. Попробуйте как-нибудь по-другому.

И тут он вместе с грузчиками (все они были мальчики) оказался на узкой лестнице. Теперь грузчики пытались обогнуть угол с тем же предметом, а он не пролезал. Они тащили его вниз; он свесился через перила.

— Вы что, не видите, что не лезет? — спросил Кейн.

— А чо делать, надо ж тащить, — сказал один из мужчин или мальчиков голосом туповатого капрала, которого Кейн когда-то спас от смертельной ошибки при работе со взрывателем. Кейн перехватил запястье мальчишки, и тот хотел его ударить, но передумал. Во сне Проспер был рад видеть Симмса. Он сказал:

— Ну подумай головой, Симмс, эта штука туда не пролезет, она слишком большая.

— Вы приказали тащить, сэр, — сказал Симмс и налег со всей силы; обвязки лопнули, холстина свалилась и полетела, хлопая, в лестничный пролет.

Предмет оказался огромной кроватью черного дерева с искуснейшей резьбой. Достойной султана.

— И всего гарема, — сказал Проспер во сне, а люди-жуки принялись с размаху таранить кроватью стену. Проспер понял, что это стена в его собственном доме: обитая жуи, и все такое. Лестница начала рушиться под тяжестью.

— Вы так весь дом разнесете, — сказал Проспер Симмсу и — возможно, к счастью — проснулся.

35

Присутствие отца и сына Штернов в коттедже «Орешек» должно было бы взволновать Олив Уэллвуд и отчасти взволновало. Когда она думала об этом (а она старалась не думать), ей начинало казаться, что все невидимое у нее в усадьбе сдвинулось со своих невидимых мест. Невидимое было всегда — спрятанное за невидимыми толстыми фетровыми занавесями, запертое на замок в тяжелых невидимых сундуках. Она сама вешала эти занавеси, сама запирала сундуки, заботясь о том, чтобы познаваемое было отделено от неизвестного, в первую очередь — в умах ее детей. А теперь она знала, что невидимые серые коты выползли из мешков, пляшут и шипят на лестничных площадках, что занавеси кто-то потряс, поднял, заглянул за них любопытными глазами, и ее комнаты наполнились видимой и невидимой пылью и странными запахами. Эти метафоры понравились Олив, и она тут же задумала сказку, в которой кроткие и невинные обитатели дома вдруг осознают, что темный, невидимый, опасный дом стоит на той же земле, что и их собственный, и эти дома переплетаются,

проникают друг в друга. Как мысли, от которых невозможно избавиться, начинают жить своей жизнью, воплощаются в осязаемые предметы, становятся предметом торговли.

Олив прекрасно знала, что Дороти поехала в Мюнхен, чтобы увидеть Штерна. Олив знала, что и Хамфри знал, и полагала, хотя он ей не говорил, что он обсуждал это с Дороти. Олив ждала, чтобы Хамфри или Дороти — или Виолетта, которой Хамфри мог открыться, — заговорили с ней об этом, но они молчали. Дороти продолжала вести себя нормально — хотя ничего нормального в создавшемся положении не было и не могло быть. Олив думала, что Дороти стала неприятной, неуступчивой, много и в обвиняющем тоне говорила о своей учебе на врача — во всяком случае, Олив так воспринимала ее тон. Хамфри умасливал дочь.

Олив полагала, что Том знает не больше ее самой. Он совершенно невинно подружился с непризнанными немецкими братьями. Да, Тому было не по себе, но лишь оттого, что он чувствовал: люди думают, что он сам должен кем-то быть или стараться кем-то стать.

Олив придумала образ для себя, параллельный образу, который она использовала для Дороти.

Олив видела Дороти как дом без окон, без дверей, в густом лесу. К этому дому выходит заблудший путник в поисках укрытия. Он ходит вокруг дома, но глухие стены не выпускают ни света, ни звука, и войти невозможно.

Иногда Олив ставила кирпичную башню посреди пустыни, по которой нужно было идти много дней. Башня была окружена — фантазия Олив лихорадочно работала — иссохшими трупами тех, кто надеялся найти в ней убежище и дополз до нее уже измученный голодом и жаждой.

В той же пустыне, напротив башни, стояло здание из прочного фарфора, когда-то имевшее форму вместительного гардероба, а ныне ставшее панцирем, в котором было заключено живое существо — или само себя заключило; возможно, панцирь образовался из высохших выделений этого существа; панцирь всех цветов радуги, с гребнями и оборками, как раковина брюхоногого моллюска или чудовищного краба-отшельника.

Были вещи — и их было очень много, — которых Олив не хотела знать; сама мысль о том, чтобы их узнать, ее пугала.

Фарфор был легкий, легче воздуха. Ветер носил его по зыбучим пескам. Фарфор был расписан глазами, но невидящими, как глаза на хвосте

павлина или на крыльях бабочек.

Если она перестанет прясть, все это сооружение затонет.

Другой частью проблемы был Ансельм Штерн. В его первый приезд Олив любезно приняла его как знакомого, и он ей подыграл. В каком-то смысле он и был всего лишь знакомым. Они встретились в масках, среди музыки, в нереальном мире, где все дозволено, в мире, который казался реальнее реального мира, — с Олив всегда такое бывало, и в «Жабьей просеке», и в Мюнхене, да и везде, если не считать северного шахтерского поселка. Но теперь и Штерн обзавелся лакированной поверхностью, как лица его марионеток — с единственным застывшим выражением, которому игра света и теней придавала оттенки значений. Олив видела, как он смотрит на Дороти… скорей, скорей, придумай сказку о человеке, который не знал, что у него есть ребенок… которого украла ведьма… узнают ли они друг друга, если им никто не расскажет, или встретятся на улице и разойдутся неузнанными? Сказка вышла хорошая, но Олив видела, как эти двое тайно улыбаются друг другу, и была глубоко несчастна. Она придумала сказку о кукольнике, для которого все люди обла-

дали ниточками и тростями, так что он мог ими управлять. Эта сказка тоже вышла хорошая, но ее главная мысль была несправедлива. Эти двое счастливы, черт бы их побрал. И они не собираются делиться счастьем с Олив.

Она поняла, что все основные действующие лица намерены сохранять такое положение дел; это принесло ей и своего рода облегчение, и боль.

Она удивилась, когда Август Штейнинг позвал ее в соавторы спектакля, который они намеревались поставить в лагере искусств и ремесел. Штейнинг задумал пьесу о волшебстве, в которой будут играть и люди-актеры, и марионетки — кроме того, марионетки тоже предполагались двух видов, одни в рост человека (их должны были двигать люди, одетые в темное), другие — небольшие, сверкающие, выступающие на собственной сцене. Штейнинг думал использовать одну из сказок Олив, например «Кустарник», в которой мальчик человеческого рода уходит к маленькому народцу — его-то и могут изображать марионетки.

Миссис Уэллвуд сидела и смотрела на свою чашку; она взглянула на Ансельма Штерна, чтобы понять, что он думает, но он с недвижным, непроницаемым, словно вырезанным из дере-

ва, лицом смотрел в окно. Штейнинг нравился Олив. С ним она чувствовала себя в безопасности — он восхищался ее работой, тут не могло быть никакой типично человеческой путаницы в отношениях, никаких осложнений.

— Мистер Штерн? — спросила она, стараясь говорить легко и непринужденно.

— Я думаю, что эта идея Августа очень хорошая идея. Мы можем создать новое искусство. Искусство двух миров.

— Я буду рада в этом участвовать, — искренне сказала она, но прозвучало это фальшиво, потому что она уже была в двух мирах.

Август Штейнинг, очень по-английски и по-светски, налил всем чаю.

Ставить пьесу — как и любое представление — в летнем лагере удобно тем, что можно выбирать из огромного количества актеров, костюмеров и рабочих сцены, причем совершенно бесплатно. Наоборот, они сами платят. Так сказал Штейнинг, обращаясь к Олив. Они — Олив, Штерн и Вольфганг — сидели за обеденным столом в коттедже «Орешек» и разрабатывали план. Сначала Штейнинг хотел взять сказку об украденном ребенке, или, может быть, о женщине, которую феи крадут, чтобы она служила у них кормили-

цей. Феи уносят ее внутрь волшебного холма, и ее надо спасать. Это значит, объяснил он, что мы сможем «заглядывать внутрь холма», если театр марионеток оформить как замкнутый, отгороженный занавесом мирок посреди театра с актерами-людьми. Ансельм сказал, что можно использовать одну из версий универсального сюжета о Золушке — «Ослиная шкура», «Пестрая шкурка», — в которых принцесса сбегает от отца и находит принца, но его тут же похищает ведьма, уносит на край земли и погружает в волшебный сон. Штерн сказал, что его всегда особенно привлекали эти сказки с упорной и находчивой героиней, которая в поисках обходит всю землю, спрашивая совета у солнца, луны, звезд, ветров. Вольфганг сказал, что ему интересно будет сделать маски и кукол в натуральную величину. У него появилась идея — заполнить часть аудитории большими куклами и пугалами, которые будут в зрительном зале с самого начала, — сперва они будут сидеть неподвижно, а потом вдруг, пугая зрителей, вольются в сюжет. Может быть, начнут осаждать крепость. А может быть, их вызовет девушка в накидке из разных мехов.

Олив сказала:

— У меня что-то крутится в голове. Поиск настоящего дома в волшебном мире. Поиск волшебного дома в реальном мире. Два мира, скрытые один в другом.

— Волшебник страны Оз, — сказал Штейнинг.

— Хамфри утверждает, что это аллегория биметаллизма и золотого стандарта — дорога, вымощенная золотыми кирпичами, и серебряные башмачки.

— Там есть маленький волшебник в большой машине. Мы сможем использовать марионеток или других кукол, — сказал Штерн.

— Крепость — как Темная Башня в «Сэр Роланд дошел до Темной Башни»,[92] — сказала Олив. — Глыба без единого лучика света.

— С помощью освещения можно сделать очень много, — сказал Штейнинг. — Даже в амбаре, без правильных прожекторов.

— Эти осколки сказок — словно стеклышки в калейдоскопе, — сказал Штерн. — Их можно переставлять без конца, придавать им различную форму.

---

[92] Примечания: 92

Аллюзия на поэму Роберта Браунинга, написанную в 1855 г. и существующую в нескольких русских переводах: «Роланд до замка черного дошел» (В. Давиденковой), «Чайльд Роланд дошел до Темной Башни» (Н. Эристави), «Чайлд Роланд к Темной Башне пришел» (К. Егоровой).

Пьеса вышла странная. Она выросла, как овощ, из семечек-сказок, из метафор, живущих в голове у Олив. Самые первые дни лагеря ушли на стройку и перестройку. Мэриан Оукшотт взяла на себя командование армией костюмеров, которые принесли старую одежду и отрезы новой ткани, и кроили, и шили, и украшали. Вольфганг устроил мастерскую для изготовления марионеток в человеческий рост и масок. Он привлек к этой работе бесконечно изобретательного Тома. Мастерская располагалась в старом амбаре, где по-прежнему лежали тюки соломы, и Том принялся мастерить соломенного человека. Тот оказался не благодушным, как Страшила в «Стране Оз», но пустоглазым, разбухшим, угрожающим. У него была огромная голова с черными дырами глаз и ртом, неровно обшитым веревкой. Голова болталась и крутилась на тюке, изображавшем тело (больше натуральной величины), с разбухшими, как при водянке, ногами (тоже крутящимися) и коротенькими бесполезными ручками, скорее — палочками, торчащими из плеч. Вольфганг сказал, что в этом создании заключается чудовищный ужас, и оно должно быть одним из врагов, которых герои встречают по пути. Я буду им двигать, сказал Том. Потом оно

может сгореть.

— Да, ему следовало бы сгореть, — сказал Штейнинг, любуясь чучелом, — но мы не можем рисковать с огнем, в амбаре, полном детей и кукол.

— *Blasebalg*, — сказал Ансельм Штерн. — Я не знаю, как это по-английски.

— Мехи, — отозвался Штейнинг. — Ну конечно. Солома на ветру. Небольшой вихрь — и ничего не останется.

— А я буду человеко-волком, — сказал Вольфганг. — Кто-то принес меховую шубу и лису с некоторыми лапами, и я собирался их использовать для «Пестрой шкурки», но я сделаю себе проволочного зверя, с жарким красным языком и, как вы это говорите, *zuckender Schwantz* и огромными раздирающими ногтями.

— Хлещущим хвостом. Когтями, — подсказал Штейнинг.

— *Ja*,[93] когтями. И я буду убит мечом.

— У нашей героини нет меча. Она девушка, а не женщина.

— Почему?

— Потому что эту роль обещали моей сестре

---

[93] Примечания: 93
Да *(нем.)*.

Гедде и еще потому, что моя сестра Дороти не желает играть.

— Холодное железо, — сказал Штейнинг. — Те, кто выходит на бой с Добрым народцем, или феечками, должны вооружиться холодным железом. Она берет с собой кухонный нож.

— Не хотел бы я противостоять Гедде, когда у нее в руках кухонный нож, — заметил Том.

Олив решила, что последним противником должен быть железный человек, человек-машина. Доспехи, сказал Штейнинг. Том вспомнил черного всадника в «Гарете и Линетте». Он начал читать вслух, а Олив подхватила:

> *Верхом на вороном, как ночь, коне,*
>
> *В доспехах, полночи черней, а на груди белели ребра Смерти,*
>
> *И шлем венчал лишенный плоти череп,*
>
> *Оскаленный в усмешке…*[94]

Вольфгангу понравилось. Шлем-череп, скелет-панцирь. Ага, сказал Том, но развязка неожиданна. Под черепом — цветущий юноша. Со свежим, ясным лицом. Ничего зловещего. Олив сказала, что его может сыграть Робин. А Флориан — укра-

---

[94] Примечания: 94

Альфред Теннисон. Гарет и Линетта. Перевод Н. Конова.

денного эльфами ребенка. Вольфганг сказал, что Леон может двигать фигурой Смерти. Он не умеет делать куклы, зато хорошо ими управляет.

Геранту нравилось планировать, искать подходящих исполнителей для работы. В своей городской ипостаси он настолько же умело советовался и находил компромиссы, насколько диким, неуклюжим мальчишкой был дома, на Болотах. В пабе возле Олд-Ромни он познакомился с квартирмейстером из Лиддского гарнизона и договорился, что одолжит у него несколько палаток и котлов для варки еды. Все были поражены. Герант составил расписание работы лагеря и режим дня. После завтрака — гимнастические упражнения и уроки танцев. Экскурсии по церквям. Курсы вышивки, ювелирного дела, керамики, театрального декораторства, сценического мастерства. В конце дня, перед ужином, обычно лекция.

Одну из первых лекций должен был читать Бенедикт Фладд — чтобы все желающие стать гончарами могли научиться основам. Он должен был выступать в десятинном амбаре, а Филип — сидеть за гончарным кругом на платформе рядом с ним и показывать зрителям перебивание глины, фриттование, вытягивание, наращивание,

центрование, ритм гончарного круга. Чуть позже они вернутся и покажут роспись и глазуровку. А под конец лагеря осмотрят изготовленные горшки, выберут те, что годятся для обжига, и затопят огромную бутылочную печь, для которой участники лагеря уже собирали дрова. Гораздо позже, во время не особенно содержательной беседы с Вольфгангом, Герата посетила дикая идея: разобрать башню фей — кстати, странно похожую на бутылочную печь или печь для сушки хмеля, — пронести ее по проселочным дорогам и добавить в кучу дров, предназначенных для обжига. Вольфганг сказал, что созданная им армия — обвисшие и негнущиеся пугала, мягкие куклы в виде улыбающихся нарумяненных женщин и мужчин в соломенных шляпах и блейзерах — может вскочить, разрушить башню, выбежать наружу и помчаться по траве. «Просто потрясающе вышло бы, — сказал Вольфганг, — если покидать в печь самих Puppen. Представьте себе изумление публики. Но я не знаю, хватит ли у меня духу сжечь столько труда».

— Сожги неудачные, — сказал Герант. — Неудачные работы всегда найдутся.

Проспер Кейн, Флоренция и Имогена остановились в гостинице «Русалка» в Рае. Герант приехал,

чтобы отвезти их на лекцию Бенедикта Фладда. Герант, как и вся остальная семья, предполагал, что после этого Имогена отправится к родным в Пэрчейз-хауз. За завтраком Имогена сказала низким, задушенным голосом:

— Вы ведь понимаете. Я не вернусь туда.

— Мы понимаем. Ты нужна Флоренции. Я объясню.

Когда Имогена ушла за шляпой, Флоренция сказала:

— Зря ты сказал, что мне нужна Имогена. Не нужна. Может быть, наоборот, это я ей нужна.

— Она не хочет возвращаться домой.

— Я знаю. Ты все делаешь, как она хочет. Когда она приехала, не было речи о том, что это навсегда.

— Ох, Флоренция. — Он слегка растерянно посмотрел на суровую, непреклонную дочь. — Это не навсегда. Она будет зарабатывать себе на жизнь и поселится отдельно.

— Я уверена, что мать хочет с ней повидаться, — сказала Флоренция, хотя ни в чем таком не была уверена. И с жаром добавила: — Я хочу снова в Италию, во Флоренцию. Я не хочу торчать все лето в этом убогом Данджененессе, где совершенно нечего делать.

Проспер Кейн хотел обнять дочь, рожденную во Флоренции, но тут вернулась Имогена со шляпой — очень красивой, с огромными полями, покрытой безыскусно искусными цветами из перышек.

Когда Кейны прибыли в десятинный амбар, он был уже почти полон. В одном конце амбара возвели помост, на котором стояла кафедра, а рядом гончарный круг и стол с чашами, кувшинами, моделями — совершенными, сверкающими искусным узором, и бледными, матовыми, с необожженной глазурью; и несколько кривых, уродливых, слипшихся вместе сосудов — жертв неудачного обжига.

Бенедикт Фладд и Филип вышли вместе. Зрители деликатно похлопали. Филип был одет в чистую одежду подмастерья — льняной халат, копна волос приглажена. Фладд был в чем-то среднем между халатом и мантией, полночно-синего цвета, с золотыми лампасами, в потеках глины и даже с отпечатком призрачной ладони. Окладистая викторианская борода также несла на себе глину. Фладд был в круглых очочках, придававших ему вид эксцентричного ученого. Он постоял неподвижно, глядя на зрителей — словно проверяя что-то, прежде чем начать.

Его семья сидела в ряд, в полном составе: Серафита в струящихся вышитых одеждах, Помона в невинном муслине, Элси в круглой блестящей черной шляпе из соломки, чистенькая Флоренция в коричневом льняном наряде, Проспер Кейн в летнем костюме, Имогена под сенью цветочков. Фладд кивнул им и заговорил:

— Горшечников, как могильщиков, метит глина. Мы работаем с холодной плотью Земли, очищаем ее перебиванием и смешиванием, формуем пальцами и движениями ног, а затем подвергаем опасностям в печи. Мы берем то, из чего сделаны сами, и придаем ему форму, которую наш мозг находит у нас же в черепе — не забывая, что глина есть земля и принимает только формы, свойственные ее природе. Я надеюсь показать вам, что эти формы бесконечно разнообразней фантазий большинства людей — хоть и не бесконечны, ибо и Земля не бесконечна. Мы химики — мы должны знать металлы и руды, температуры и вяжущие присадки, веса и меры. Мы художники — мы должны быть способны на точность и на размашистые росчерки, на работу с кистью и резцом. Мы подобны алхимикам древности — мы используем огонь, дым, тигли, золото, серебро, даже кровь и кости, чтобы созда-

вать сосуды — наши симулякры, наши фантазии, они же вместилища для повседневных нужд, еды и питья. Они могут быть прекрасными, несмотря на свою обыкновенность, и элегантными, несмотря на простоту…

Он продолжал. Все слушали. Он приказывал ассистенту демонстрировать тайны ремесла, и Филип молча, ловко извлекал комья глины из ванн и контейнеров, делал блоки без пузырьков воздуха или вздымающиеся кольца, а к концу лекции сотворил целую чашу, которая колебалась меж его крепкими пальцами, борясь с силой земного притяжения.

Слушатели хлопали от души. Подали чай с сэндвичами, и Фладд принялся пробираться к семье. Проспер Кейн сказал ему, что лекция была земной и огненной. Фладд принял комплимент. Мелкими шажками, бочком он пододвинулся к месту, где стояла Имогена, беседуя с Элси и неловко притворяясь, что полностью поглощена этой беседой.

— Ты пришла, — сказал он. — Ты вернулась к нам. Мы — соработники, собратья по ремеслу. Милая.

Он обнял ее. Имогена застыла. Когда он ее отпустил, она отряхнула платье, словно на него

попали крошки глины. Она сказала:

— Ты прекрасно говорил. Как всегда.

Фладд суетился и улыбался. Зрители окружили его толпой и осыпали похвалами. Филип на помосте укладывал наглядные пособия в ящики. Герант стал ему помогать. Он сказал:

— Все прошло хорошо.

Филип нахмурился.

— Он на взводе. Когда он так полон собой, за этим всегда следует реакция. Ты же знаешь. Я беспокоюсь. Он так рассчитывал на…

— На что?

— На то, что она вернется. Но это ненадолго. И тогда…

Все ушли, остались только Фладды. Бенедикт обратился к Имогене:

— Идем же. Все готово, Элси обо всем позаботилась.

— Я останусь… с Флоренцией, — прошептала Имогена.

— И Флоренцию бери с собой. Идем.

— Я возвращаюсь в гостиницу.

Отец схватил ее за руку. Он давил и крушил запястье.

— Ты идешь домой. Я здесь только потому, что ты согласилась вернуться домой.

Он обжигал, пронзал ее взглядом.

Флоренция сделала несколько маленьких шажков назад, отделяясь от группы.

Имогена едва слышно произнесла:

— Не могу, ты же знаешь.

Проспер сказал:

— Бенедикт, ты делаешь ей больно. Отпусти ее. Пусть она вернется в «Русалку», и мы все обсудим.

Бенедикт набросился на Кейна:

— Это все ты виноват. Ты ее соблазнил. Ты не пускаешь ее ко мне…

— Думай, что говоришь, — посоветовал Проспер. — Хорошенько думай.

Бенедикт ударил. Не кулаком, а открытой ладонью, очень сильно, по щеке, оставив след — словно со щеки содрана кожа — и испачкав глиной кончик уса.

От второго удара Проспер увернулся.

Имогена затряслась.

Проспер очень вежливо сказал Серафите:

— Вы должны понимать, мадам, что ваша дочь — взрослая женщина и сама решает, где ей спать. Я отведу ее в гостиницу, и там она останется, пока мы все не успокоимся.

— Филипа… — произнесла Серафита. — Позо-

вите Филипа…

Кейн подхватил своих девушек и удалился. Имогену пришлось поддерживать. Флоренция шла следом, топая каблучками. Герант, рассерженный (а в темных глубинах души, в существовании которых не желал себе признаться, и обеспокоенный) таким неудачным финалом хорошо спланированного им дня, вернулся к Филипу и помог ему погрузить Бенедикта, хватающего ртом воздух, в двуколку.

Семейство Кейнов пользовалось собственной отдельной комнатой для завтрака. На следующее утро Имогена не вышла к завтраку. Флоренция и Проспер ели молча. Потом он сказал:

— Может быть, мы этим летом все-таки поедем в Италию, чуть позже.

— Забудь про Италию, — мрачно ответила Флоренция, жуя поджаренный хлеб. — Что ты намерен делать?

— Делать?

— Насчет Имогены.

Проспер очень долго не отвечал. Флоренция заметила:

— Они совершенно невозможные люди. Причем все.

— Может быть, ты хочешь покататься сегодня

утром?

Флоренция сказала, что собирается пойти погулять с Гризельдой Уэллвуд, которая сейчас тоже в Рае. Добавила, что отца наверняка ждут в лагере. И вышла.

Через некоторое время в дверях показалась Имогена — в дорожном платье, с чемоданчиком. Проспер попросил ее присесть, выпить чаю, съесть хотя бы поджаренного хлеба. Она тяжело села. Проспер налил ей чаю. Воцарилась тишина.

— Куда ты собралась?

— Я думала — к Геранту. Он должен мне помочь. Он мой брат, кто, как не он, мне поможет.

— Он очень молод, работает долгие часы на нелегкой работе, снимает комнату в пансионе. Будет гораздо лучше, если ты останешься здесь, и мы вместе подумаем о том, как нам разумнее всего поступить.

Имогена маленькими глотками пила чай. Обычно спокойное лицо было напряжено, и Проспер решил, что это придает ему необычную, дикую красоту.

— Вы многого не знаете, — сказала она.

— Мир полон вещей, которых я не знаю и никогда не узнаю. Но я знаю достаточно, чтобы

командовать на войне, достаточно для управления отделом Музея, для закупки золотых и серебряных вещей. Я не слишком хорошо знаю молодых девушек. Да, к общению с молодыми девушками я не очень подготовлен. Зато я прекрасно умею не задавать вопросов о делах, которые меня не касаются. Есть болезненные вещи, о которых лучше и не узнавать. Я знаю людей, которые заставили себя признаться в том или в этом, или яростно воспротестовать против чего-либо, а потом до самой смерти об этом жалели.

Он посмотрел на ее чемоданчик.

— В детстве, — сказал он, — я собирал чемодан и строил планы побега. Иногда мне довольно было собрать чемодан. Иногда я отправлялся в путь, и меня возвращали обратно. Один раз я ушел на целую ночь, и по возвращении меня сначала жестоко избили, а потом принялись обнимать и целовать.

— Я не ребенок и знаю, что должна уйти.

— Надеюсь, ты примешь мою помощь.

— Вы не должны обо мне заботиться. Теперь я это понимаю. По множеству причин.

— Дорогая, — сказал Кейн, выпрямившись и напрягая спину, — я не забыл, не мог забыть того, что ты сказала мне в Клеркенуэлле.

— Я не хотела…

— В самом деле? Но это помогло мне осознать свои чувства. Для меня будет высшим счастьем назвать тебя своей женой. Я получу право заботиться о тебе. Я намного старше тебя. Я это знаю. И ты знаешь. Но я верю, что где-то, где времени уже нет, мы видим друг друга как равные, лицом к лицу. Я не хочу отпускать тебя. Может быть, и должен, но не хочу. И не отпущу.

Он посмотрел на нее почти сердито.

Она посмотрела на него. Взгляд больших глаз был тверд. Она сказала:

— Я люблю тебя. В самом деле люблю. Может быть, все остальное неважно?

Он подумал о строгой Флоренции, о ярости Фладда. Есть вещи, с которыми придется считаться. Но он — стратег, он придумает стратегию. Он сказал:

— Иди ко мне…

Она встала и подошла к нему. Он обнял ее и поцеловал в лоб, в шею, потом в губы, осторожно, а потом уже безо всякой осторожности и понял, что она действительно его любит.

Он сказал:

— Мы ничего не скажем Флоренции, пока не продумаем все как следует. И Джулиану, конечно,

тоже. Это будет непросто, но, я думаю, возможно. Что я сделаю, так это — с твоего позволения — поеду в Пэрчейз-хауз… нет, милая, без тебя… и очень формально попрошу у твоего отца твоей руки. Все остальное мы спланируем спокойно и тщательно. Как ты себя чувствуешь — ты сможешь сегодня вести занятия по ювелирному делу? Я могу завезти тебя туда по дороге.

В Пэрчейз-хаузе дверь открыла Элси. Она показала через двор — на студию, бывшую молочную. Она открыла рот, чтобы поделиться чем-то, и снова закрыла.

— Он там. Я видела, как он входил, — по собственной инициативе сообщила она.

— Спасибо, — сказал Кейн и пошел через двор. Фладд стоял у высокого стола и лепил очередной двуликий кувшин. Он добавлял сердитых морщин на сердитую сторону. Другая сторона пока была гладким овалом.

— Кто там?

— Это я, дружище.

— А, ты.

Фладду ничего не оставалось как повернуться к гостю. Кейн мысленно прикинул разницу в возрасте. Фладд старше его, но не более чем на десять лет. Кейну еще не было пятидесяти. Он

решил, что Фладду еще нет шестидесяти, хотя тот, седой и отяжелевший, выглядел старше.

— Я пришел просить тебя кое о чем.

— Ты уже достаточно навредил.

— Не думаю, что я кому-либо навредил. Я согласен, что дело приняло неожиданный оборот. Я пришел просить у тебя твою дочь. Она согласилась стать моей женой.

— *Женой…*

— Я старше ее, но она готова пренебречь этой разницей. Она сказала, чтобы я попросил твоего благословения.

— Я его не дам.

— Стой. Погоди. Она меня любит. И я ее люблю. Мне кажется, у нас есть некий шанс на счастье. Нам спокойно друг с другом. Я буду заботиться, чтобы ей было удобно, помогу ей развивать талант, который она унаследовала от тебя…

— Что ты с ней сделал?

— Ничего. Она была мне как дочь, жила вместе с моей дочерью. И лишь недавно ситуация изменилась… получила, так сказать, развитие…

— Ради бога, перестань издавать разумные звуки. Я не даю позволения. И это — мое последнее слово.

— Она совершеннолетняя и не нуждается в

твоем позволении. Но я умоляю, подумай о ней, хоть минуту… Для нее это шанс на счастье… Я сам уверял себя, что…

— Она была счастлива здесь.

— Боюсь, что нет, Бенедикт. Боюсь, что нет. Но это — новое начало.

— Войте, — вдруг сказал Бенедикт. — Войте, войте, войте.

Лишь через несколько секунд до Кейна дошло, что этот невозможный человек цитирует слова короля Лира — сцену, когда тот выходит с трупом дочери на руках.

36

Важные лекции проводились по выходным, чтобы могли приехать слушатели, не живущие в лагере, и даже лондонцы. В первые выходные, в субботу, ближе к вечеру, Хамфри Уэллвуд читал лекцию на тему «Люди и статистика: как улучшить положение бедняков». В воскресенье выступал Герберт Метли. Его тема была «Покидая райский сад: позор стыда». Мисс Дейс переспросила, точно ли он уверен в теме лекции. «Да», — отрезал он.

Проспер с Имогеной были счастливы и неспокойны. Они слишком много улыбались, Флоренция наблюдала за ними, а они наблюдали за наблюдающей за ними Флоренцией. Они тайно соприкасались руками в дверях, а когда были точно уверены, что они одни, Имогена бросалась к Кейну в объятия. Он не ждал, что его сильная, почти отеческая привязанность перерастет в слепое физическое влечение, но это случилось, и Кейн чувствовал в себе новые силы, он словно сам обновился. Что до Имогены, то ее легкая сутулость, тихий покорный голос, медленные движения — роднившие ее с матерью — смени-

лись быстротой, живостью. Проспер знал, что должен рассказать Флоренции, но тайна доставляла ему высшее наслаждение.

Положение осложнилось прибытием Джулиана и Джеральда — они шли пешим походом и решили зайти в Лидд, послушать лекцию Хамфри. Джеральд как раз выбирал — то ли заняться философией морали, то ли уйти в политику, если только удастся найти партию, отвечающую его высоким требованиям. У Джулиана появилась тема диссертации — английская пасторальная поэзия и живопись. Он хотел писать о ярких, прозрачных видениях Сэмюэла Палмера и о ксилографиях Кэлверта. Джеральд писал о Любви, Дружбе и Добре — когда не был занят разговорами допоздна, плаваньем в Кэме, велосипедными походами по равнинам или горными в Альпах. Его интересовали фабианские, социалистические взгляды Хамфри на человеческую природу. Молодые люди явились в «Русалку» к обеду, и их проводили в семейную гостиную, где сидела Флоренция и что-то писала.

— Вы могли бы и предупредить, что приедете, — сказала она, пожирая глазами красоту Джеральда, прикрытую обвисшими полями полотняной шляпы.

— Мы и сами не знали. Потом увидели афишу этой лекции и решили, что заедем к вам пообедать, а потом все вместе пойдем послушаем. Где папа?

— На ювелирных курсах.

— Он придет обедать?

— Он не сказал.

Джулиан посмотрел на Флоренцию, которая смотрела на Джеральда. Он сказал:

— Ну что ж, тогда мы можем с тобой пообедать и немножко тебя развеселить, так? — Она явно нуждалась в том, чтобы ее кто-нибудь развеселил. Он добавил: — А ты не помогаешь на ювелирных курсах?

— Я не умею. И не хочу.

Джеральд подошел к окну и стал разглядывать пейзаж. Джулиан спросил:

— Что-то случилось?

— Сам увидишь, — мрачно пообещала Флоренция.

Придя на лекцию, они оказались в одном ряду со старыми друзьями. Джулиан сел с краю, за ним Флоренция, а по другую сторону от нее Джеральд. За ним — Герант, а за ним — та молодая женщина из Пэрчейз-хауза, Элси Уоррен, нарядно одетая и с суровым видом. Рядом с ней сидел Чарльз-Карл

Уэллвуд, который еще не знал, что делать после окончания Кембриджа — поступить в Лондонскую школу экономики или уехать в Германию, стать анархистом, социалистом или каким-нибудь рабочим. Дороти и Гризельда на лекцию не пришли. Они отправились в сенной сарай, где мастерили марионеток и больших кукол. Гризельда хотела попрактиковаться в немецком. Дороти смотрела, как Ансельм нашивает крохотный костюмчик на стройное шелковое тельце. Вольфганг и Том уже сотворили целый полк вялых, мертвенно-неподвижных пугал, мужчин и женщин, убранных сеном и цветами, тянущих негнущиеся руки, сделанные из вешалок и мотыг.

Хамфри не то выкатился, не то выскочил на сцену. Волосы и борода пылали темным огнем. Его жена с видом королевы сидела в первом ряду, а Мэриан Оукшотт, с задумчивым видом, — где-то в последних.

Он заговорил о парадоксе статистических исследований и индивидуальных человеческих судеб. Он сказал, что христианская религия, сформировавшая наше мировоззрение, утверждает: в глазах Бога каждая человеческая душа ценна и уникальна. Христос заповедал богачу продать

свое имение и раздать бедным. Христос также сказал, что бедных мы всегда имеем при себе. Он говорил, что где узник в темнице, больной, нищий, там и Он среди них. Он велел своим последователям творить добро.

И действительно, много добра сделали, много пользы принесли те, кто шел к голодающим и нищим, кто писал отчеты о переполненных комнатах в антисанитарных зданиях, о кроватях, на которых теснятся рядом мертвые и умирающие, о болезнях работников потогонных фабрик и фабрик по производству фосфорных спичек. Хамфри зачитал вслух душераздирающую историю рабочего, который добросовестно трудился, но повредил спину, после чего мгновенно скатился в нищету и умер.

Хамфри сказал, что по сравнению с отдельными свидетельствами и чувствами конкретных людей сводные цифры статистики кажутся сухими. На самом деле они будят не только воображение, но и разум, и волю к действию. Статистика — наука о людях. По мнению Хамфри, статистика началась с Дюркгейма, заметившего, что число самоубийств в Париже не меняется из года в год. Все люди разные, и каждый, не в силах более влачить бремя жизни, сам принимает мрачное

решение. Причины разные — нищета, потерянная любовь, неудача в делах, унижение, болезнь. Но общее число не меняется.

Что же до нищеты, то статистические показатели трогают воображение так, как отдельным случаям не суждено. Герой статистики — Чарльз Бут. Он опросил всех — регистраторов, инспекторов, следящих за школьной посещаемостью, сотрудников школьных попечительских советов, счетчиков переписи населения — и с 1892 года выпустил семнадцать томов отчетов о природе и распространении бедности в Лондоне. Он нанес все данные на карту, раскрашивая улицу за улицей в соответствии с ними, и пришел к выводу, что миллион людей, свыше 30 процентов населения Лондона, не имеет средств, необходимых для существования. Это число вскрывает несправедливость общества так, как никогда не смогут истории отдельных людей. Без него никогда не произошли бы изменения в конституции и законах — не была бы введена пенсия для стариков вместо чудовищных, унизительных условий работного дома, не был бы принят закон о минимальной оплате и максимальной продолжительности рабочего дня, не появилась бы централизованная система помощи безра-

ботным вместо отдельных благотворительных порывов богачей.

Чарльз-Карл слушал и сомневался. Он давно вращался в кругу людей, которые считали, что лишь восстание униженных может изменить чудовищную систему. Все беспокоились о бедняках. Друзья его родителей искренне считали, что недостойных бедняков следует изолировать в концентрационных лагерях и исправлять, перевоспитывать, или даже — в случае идиотов и лунатиков — безболезненно усыплять. Его колледж в Кембридже иногда устраивал обеды для рабочих — среди них были нахальные грубияны, юноши, бросающие косые взгляды из-под длинных ресниц, самоучки, социалисты и несостоявшиеся поэты. У Карла не возникало желания поближе познакомиться с кем-либо из этих тщательно отобранных особей. Он не знал, о чем с ними разговаривать. Он не говорил на их языке, хоть и умел общаться с небольшими группами пылких немецких анархистов. Он подумал, что стоит, наверное, обсудить с Хамфри поступление в Лондонскую школу экономики. Великолепие статистики покорило его.

Джеральд все время бросал Джулиану реплики

через голову Флоренции, словно ее тут и не было. Один раз он сказал, сардонически ухмыльнувшись:

— «Делать желаешь добро — его делай в мельчайших деталях».[95]

Джулиан ответил, растягивая слова:

— Вы неконкретны, любезный. Что вы имеете в виду под мельчайшими деталями — конкретных людей или мельчайшие изменения в статистике?

— Вообще-то Блейк был сумасшедший, — прокомментировала Флоренция, но оба притворились, что не слышат. Возможно, это было не слишком умное замечание.

По окончании лекции трое кембриджцев из Кингз-колледжа сошлись вместе: легко понимая друг друга, они стали разбирать лекцию, ее слабые и сильные места. Личные отношения — корень всех добродетелей, без них нельзя, сказал Джеральд. Нельзя безнаказанно всю жизнь заниматься сведением других людей к цифрам. Флоренция сказала, что не все мы — монады, но никто не ответил. Чарльз-Карл сказал, что общество существует, что оно не просто масса

---

[95] Примечания: 95

Уильям Блейк. Из поэмы «Иерусалим, эманация гиганта Альбиона» (1820).

отдельных личностей. Классы существуют. И мужчины и женщины, строго сказала Флоренция. «Да, конечно», — вежливо отозвался Джулиан. Подошедший Герант сказал, что новые агитационные группы женщин очень интересны. Джеральд перевел разговор обратно на дружбу.

Джулиану было неловко: даже не потому, что Джеральд хамил его сестре, но потому, что Джулиан разлюбил его и не был готов это признать именно из-за незыблемой веры «апостолов» в высшую ценность дружбы. Джулиан больше не хотел целоваться с Джеральдом, и даже трогать его не хотел, а Джеральда, как это часто бывает, все сильней тянуло целовать, обнимать, крепко держать отдаляющегося друга. Джулиан уже начал думать, что умник Джеральд — глуп, но не хотел в этом признаваться самому себе; это была неудобная истина — так уютен был их кружок, так удобны прогулки вдвоем, так прекрасны Кембридж и пейзажи Англии.

Герант обогнул беседующих и подошел к Флоренции. Он сказал:

— Мне бы хотелось, чтобы ты убедила Имогену вернуться домой на несколько дней.

— Мне бы тоже хотелось, — отрезала Флоренция.

Герант сказал Флоренции, что она сегодня очень красива. Сосредоточенную хмурость ее лица сменила слабая улыбка, и Герант приободрился. С теоретиками из Кингз-колледжа ему было не по себе. Кроме того, он отчасти презирал их за то, что они «не знают жизни», считая, что он знает ее лучше. Он спросил, как Флоренции понравилось выступление Хамфри, и она ответила, что он не предложил ничего конкретного и что страх среднего класса перед грязными и отчаявшимися ордами в клоаках городов кажется ей абсурдным.

В этот не слишком удачный момент подошла Элси Уоррен. Она кивнула Флоренции и не очень настойчиво спросила Геранта, не видал ли он своего отца. Герант сказал, что нет.

— Его нет дома. Во всяком случае, мне так кажется. Он не выходит к столу. Правда, с ним такое часто бывает.

— Он, наверно, приходит в себя после лекции, — сказал Герант. — Стоит ему побывать в обществе, и он на несколько дней превращается в отшельника.

— Вот и я то же подумала, — сказала Элси. — Ваша мама не беспокоится.

— Он нам понадобится в конце лагеря, когда

будет обжиг.

— Я думаю, он придет. Он захочет руководить обжигом.

Герант рывком отвернулся от Элси и попросил у Флоренции разрешения проводить ее обратно в Рай. Он ожидал отказа, но она согласилась. Частично для того, чтобы утвердить свою независимость от Джулиана и Джеральда, частично потому, что Герант мог сказать что-нибудь полезное про Имогену. Но еще и потому, что чувства Геранта к ней — его упорство и терпение — успокаивали. Он был тоже из мужского мира, как и кембриджцы, но в его мужском мире женщины нравились мужчинам, мужчины интересовались женщинами.

— Мне надо с тобой поговорить, — сказала она. — Что-то происходит… что-то странное.

— Я всегда с удовольствием. О чем угодно.

— Я не знаю даже, как начать…

— Не стесняйся, — сказал Герант.

— С папой что-то не так, — произнесла Флоренция.

Они пошли прочь по направлению к Раю.

Чарльза-Карла оставили наедине с Элси Уоррен.

— Вы меня не узнаете, да? — сказала она. — Я

не на месте. Вы видели меня в Пэрчейз-хаузе, я подавала на стол и убирала тарелки. Нас, так сказать, друг другу не представили.

Карл не мог определить по выговору, откуда она — она говорила не как местные, — но ясно было, что она из низов. Он поглядел на нее. Видимо, она одета в свое лучшее, подумал он. На ней была бледно-серая блузка с высоким воротом и тугими манжетами и пышная темно-серая хлопковая юбка. Тонкую талию подчеркивал ярко-красный пояс, а на голове была соломенная шляпка с ярко-красной лентой и броским букетиком искусственных цветов — анемонов: красных, синих, фиолетовых. Карл не знал, что ей сказать и как вообще с ней говорить. Он также чувствовал, что она это видит и что ее такое положение забавляет. Он не ожидал, что окажется смешным.

— Так что, понравился вам доклад? — спросила она.

— Да, было чрезвычайно интересно. Я как раз пытаюсь решить, следует ли мне изучать эти темы — статистику, бедность — в Лондонской школе экономики.

— А если нет?

— Что значит «а если нет»?

— Если вы решите этого не делать, то чем зай-

метесь?

Он не мог ответить «стану примерным анархистом и буду подстрекать народ к революции». Он покраснел.

— Может быть, поеду в Германию.

— В самом деле? Очень приятно, когда у человека есть такой выбор. Вот бы мне так.

Он посмотрел на нее, и она ответила пристальным взглядом. Они *увидели* друг друга. Она продолжала:

— Но как я есть женщина и из бедняков, мне особо выбирать не приходится. Я делаю что должна.

Чарльз-Карл хотел выразить ей свои соболезнования, но не смог.

— Надо полагать, вам нечасто приходится с нами разговаривать, вы нас изучаете больше оптом. Опасные массы. Нас надо помещать в лагеря и направлять на выполнение разных проектов.

— Вы несправедливы, — выговорил Чарльз-Карл. — Вы надо мной издеваетесь.

— Хотя бы это мы еще можем… если смеем.

— Мисс Уоррен, — сказал Чарльз-Карл, — я попросил бы вас не говорить со мной так, как будто вы — группа, класс или комитет. Я хочу говорить с вами как с человеком.

— А сможете?

— Почему же нет?

— По тысяче причин. Во-первых, я бедна, во-вторых — не респектабельна. Я — Падшая Женщина. У меня есть дочь. Вы не захотите разговаривать со мной как с человеком, мистер Уэллвуд.

Эта новость его не отпугнула, а привела в восторг. У Фанни цу Ревентлов, мюнхенской богини, было прелестное дитя, отец которого оставался неизвестным. В Швабинге говорили, что желание должно быть свободным, и Чарльз-Карл слушал и соглашался — теоретически, и желал — абстрактно. Он не мог… во всяком случае, сейчас не мог… рассказывать о Фанни цу Ревентлов этой грозной особе с тонкой талией в красном поясе.

— Мисс Уоррен, вы со всеми так разговариваете?

— Нет. Не со всеми. Только с доброхотами вроде вас.

— Я бы хотел… — произнес Чарльз-Карл. Он понял, что хотел бы расстегнуть красный пояс и пару пуговиц, отшлепать эту особу, а потом поцеловать ее. Он был поражен. Кроме того, он был счастлив тем, что оказался способен на такую спонтанную реакцию.

— Чего бы вы хотели? — спросила Элси таким

тоном, что он почти поверил в ее способность читать мысли.

— Я бы хотел узнать вас поближе. Я бы хотел, чтобы вы разговаривали со мной не как с представителем класса, чтобы вы позволили мне говорить с *вами.* Я хотел бы попросить разрешения проводить вас домой, если вы собираетесь домой.

— Да, собираюсь. Можете меня проводить. На самом деле я должна искать мистера Фладда, но раз он не хочет, чтоб его нашли, так его не найдут. Он скрытный.

Они зашагали бок о бок. В движении им стало проще друг с другом. Он спросил:

— Мисс Уоррен, как вы думаете, мужчина и женщина могут быть друзьями?

— Зовите меня Элси. Вы же зовете Филипа Филипом.

— Карл.

— А я думала, Чарльз. Карл — это в честь Карла Маркса?

— Вы много знаете.

— У меня есть друзья… женщины… они меня учат. Я сама надеюсь стать учительницей. Я не собираюсь до конца жизни быть уборщицей и судомойкой. А что до вашего вопроса — да, муж-

чина и женщина могут быть друзьями. Но им придется нелегко, потому что никто не поверит, что они всего лишь друзья. А кроме того, есть еще одна проблема — мужчины и женщины, они разного пола. Не смейтесь. Это действительно проблема.

— Я знаю. Но я думаю…

— Что вы думаете?

— Я думаю, если они друзья, то все остальное между ними — что бы это ни было — тоже станет лучше.

Они шли дальше. Он сказал:

— Вы будете смеяться, если я скажу, что в доме на Портман-сквер, и в частной школе, и в университете, можно чувствовать себя в ловушке — не лучше, чем в кухне.

— Да, я буду смеяться. Животики надорву. Буду слушать и слушать, и смеяться без умолку.

— Я еще никогда ни с кем так не разговаривал.

— Я вас многому научу, мистер Бедный Богач. Может быть, я даже представлю вас своей умненькой дочке.

Она заглянула ему в лицо — проверить, не зашла ли слишком далеко, не отпугнула ли его.

— Я буду рад, — ответил Чарльз-Карл.

Герберт Метли доверительно склонился через

кафедру к публике. Он сообщил ей, что он — трудящийся. Он трудится на земле — на своем клочке земли в здешнем графстве, в «саду Англии», а кроме того, за столом, описывая жизнь в этом «саду». Но полиция в сапожищах и шлемах отобрала плоды его трудов и швырнула в огненную печь, где они и погибли. Ему сказали, что его книга постыдна. Но на самом деле стыдиться должны люди в шлемах и люди в судейских мантиях.

Метли был жилистый, загорелый. Алый шелковый шейный платок прикрывал выпуклое адамово яблоко. У Метли была привычка, свойственная всем хорошим ораторам, — блуждать взором по аудитории, выискивая слушающие или скучающие лица. Он увидел в первых рядах Гризельду и Дороти с Томом и двумя немцами. В дальнем ряду, сбоку, сидели Джулиан и Джеральд. Флоренции с ними не было. Она сидела с Герантом — ближе к первому ряду, в середине. За ними расположились в ряд женщины постарше, благоразумные, собранные — Мэриан, Феба, Пэтти Дейс. Элси Уоррен тоже сидела в задних рядах. Чарльз-Карл увидел рядом с ней свободное место и занял его. Она сидела очень прямо, сложив руки на груди. Пришла опоздавшая Филлис и уселась прямо за Леоном. Фрэнк Моллет и Артур Доббин

тоже присутствовали. Метли кивнул им, прежде чем обрушиться на священников.

Он спросил, откуда взялось само понятие стыда. Наши предки в первозданном саду его не знали, хотя мы иногда заставляем себя стыдиться за них, к нашему стыду. Нам говорят, что стыд возник, когда невинные мужчина и женщина узнали, что они наги, и устыдились. Но почему это произошло? Тому причиной — коварство змия, который заставил их съесть запретный плод, сообщив, что в нем кроется познание добра и зла. «Таким образом, — произнес Метли, намекая, что добро и зло кроются в особых частях тела, которые познавшим стыд людям с тех пор приходится закрывать. Но почему это так и так ли это? Разве добро и зло не кроются в гораздо большей — бесконечно большей — степени в жестокости, в стремлении унизить других, в эгоизме, в злоупотреблении властью, в воровстве… — я мог бы продолжать до конца лекции, завершил фразу Метли. Добро и зло не в человеческой плоти, которой мы должны возрадоваться, которой мы не должны — ни мужчины, ни женщины — стыдиться. В этом лагере молодые люди каждый день выполняют на гимнастических занятиях прекрасные, сложные и восхитительные телодвижения». Он улыбнулся,

представив себе эти телодвижения.

Джеральд со скабрезной серьезностью, принятой у «апостолов», шепнул Джулиану:

— По-моему, он источает своего рода мускус. Из подмышек. Видишь, у него хорошо разработанные подмышки.

— Ш-ш-ш, — ответил Джулиан.

Лектор принялся дальше развивать метафору сада. Он перешел на Блейка и его «Сад любви», в котором построили храм:

Я увидел затворы его,
«Ты не должен!» — прочел на вратах.
И взглянул я на Сад Любви,
Что всегда утопал в цветах.

Но вместо душистых цветов
Мне предстали надгробья, ограды
И священники в черном, вязавшие терном
Желанья мои и отрады.[96]

Он долго говорил о том, что уродующая стыдливость общества — историческое последствие веков целибатного священства. Он взглянул на

---

[96] Примечания: 96
Уильям Блейк. Из стихотворения «Сад любви». Перевод В. Потаповой.

Фрэнка Моллета, который ответил безмятежным взглядом.

В результате пострадал жанр романа. В Англии романы пишутся для чтения вслух у семейного очага, в доме женатого священника или диакона, и предназначаются для слуха его серьезной жены. Во Франции женщин и детей окормляют священники, а романы пишутся для отдельной — часто сладострастной — мужской аудитории.

Роман не может правдиво описывать большую часть мира.

А должен бы. Честные романы нам гораздо нужней морализаторских трактатов.

Его собственный роман, «Мистер Вудхаус и дикарка», повествовал о современном лесном жителе, Вудхусе, любившем женщину, как мужчинам положено любить женщин.

Мистер Метли сказал, что верит в языческое единство природы. Мы все — одна жизнь, которая началась задолго до всяких садов и священников в черном. Наши чувства за миллионы лет эволюционировали тончайшим образом — от колыхания слизи в болоте до медленных холоднокровных рептилий в тропических джунглях, до существ, карабкавшихся по деревьям, что ныне обратились в уголь. Он сказал, что человечество

может, совершив титаническое усилие, заново открыть сильную, первобытную радость жизни. Нужно вернуться к корням вещей. Он процитировал Марвелла:

Любовь свою, как семечко, посеяв,
Я терпеливо был бы ждать готов
Ростка, ствола, цветенья и плодов.[97]

— Это неподражаемо, — сказал Джеральд. — Он что, нарочно?

— Думаю, да. Замолчи наконец.

Элси все это время сидела, крепко обхватив себя руками. Рот был плотно сжат. Чарльзу-Карлу хотелось отлепить ее пальцы от тела, помочь ей расслабиться, но он знал, что этого делать нельзя.

Взгляд Герберта Метли блуждал по запрокинутым лицам зрителей, как шмель по клумбе. У него был дар, который молодые люди еще не развили в себе. Он мог отличить женщин, которые, как он формулировал это про себя, *хотели:* потенциальных Дикарок. Смуглое лицо Дороти глядело на него осуждающе, и ему стало не по

---

[97] Примечания: 97

Эндрю Марвелл. Из стихотворения «К стыдливой возлюбленной». Перевод Г. Кружкова.

себе. Гризельда, светлая и безмятежная, обдумывала его аргументы — в ней была искорка жизни, и лицо ее было прекрасно, но в нем не было *хотения.* Филлис была хорошенькая, аккуратненькая, еще не развившаяся. На Элси он не стал смотреть, хоть и приметил красный пояс. Одна девушка возбудилась, часто дышала, ерзала на стуле, оглядывалась, словно что-то ища. Это была Флоренция Кейн. Метли сделал мысленную пометку.

Когда он закончил речь, кое-кто быстро вышел. Другие слушатели подошли поговорить. Фрэнк Моллет заметил:

— Вы мало сказали об удивительной живучести самого понятия «стыд». Если оно столь прочно, значит, оно зачем-то очень нужно человеку.

— Хорошо подмечено.

— Кроме того, Марвелл говорил:

Бродил по травам и цветам.
Блаженно одинок, Адам.[98]

— Да, действительно. Есть время для взаимной любви и время для уединения. Я сам уединяюсь и храню целомудрие, когда предаюсь творчеству.

---

[98] Примечания: 98

Эндрю Марвелл. Из стихотворения «Сад». Цитируется в переводе Г. Кружкова, с изменениями.

Краем глаза он увидел, что Флоренция ушла с Герантом.

Ничего, будет еще другой раз. Или другая женщина.

Флоренция и Герант шли по тропе вдоль Военного канала. По глади воды скользили стрекозы. Болотные курочки плыли, деловито работая лапками. Водяная крыса выскользнула из норки и поспешно скрылась. Солнце клонилось к закату, но светило еще ярко. Послышались нагоняющие торопливые шаги. Герант сердито обернулся. Это был Фрэнк Моллет.

— Я вас не задержу, извините, я только хотел спросить…

Он поравнялся с ними.

— Да? — сказал Герант.

— Вы давно последний раз беседовали со своим батюшкой?

— Наверное, несколько дней назад. Я его не видел со дня его лекции на прошлой неделе. Он после таких вещей обычно прячется. Я сейчас провожу мисс Кейн в Рай и вернусь в Пэрчейз-хауз.

Воцарилось молчание. Герант спросил:

— А вы его не видели?

— Тоже не видел уже несколько дней.

Фрэнк прошел вместе с ними несколько шагов вдоль канала и, кажется, принял какое-то решение.

— Неважно, неважно. Когда увидите его, передайте, что я о нем справлялся.

Он повернул обратно. Герант сказал Флоренции:

— Его что-то гложет. Мой отец умеет выбивать людей из колеи.

— Я знаю.

Последовала долгая пауза. Они шли дальше в дружелюбном молчании, приноровившись к шагу друг друга. Герант сказал, не глядя на Флоренцию:

— Наверное, я идиот и вылезаю совершенно не вовремя. Ну, когда мы вот так идем себе рядом… Ты можешь пока ничего не отвечать… Но — ты выйдешь за меня замуж? Погоди. Я желал этого много лет, ты наверняка знаешь. У меня пока почти ничего нет… но я уверен, что будет. Я делаю хорошую карьеру в Сити, и мистер Уэллвуд относится ко мне как к сыну. Я откладываю деньги. И еще, я люблю тебя. Правда, люблю. Не говори пока ничего. Я знаю, что мы не сможем пожениться еще как минимум год или два. Я не могу тебя связывать. Может быть, это лишь несбыточная

мечта. Но я никогда… никогда не встречал такую девушку, как ты. Я думаю о тебе… ты не знаешь, как много я о тебе думаю.

— Ну, теперь-то можно сказать?

— Если ты думаешь, что есть хоть малая вероятность… я спрошу тебя еще раз… потом… если ты…

— Можно я скажу? Я собиралась сказать… да. Да, я выйду за тебя замуж. Вот.

Они остановились и взглянули друг другу в лицо. Герант спросил:

— Надеюсь, это не потому, что ты просто устала от меня отбиваться?

— Я же сказала «да». Я знаю, чего хочу.

— Я хочу, чтобы ты была счастлива. В последнее время у тебя несчастный вид. Я хочу… больше всего на свете… чтобы у тебя было все, что ты хочешь. Конечно, неплохо было бы, если бы это был я.

— Я была несчастлива, это правда. И я по правде думаю, что вместе мы сможем стать счастливей, — она едва заметно улыбнулась. — Или хотя бы попробовать. Успокойся, все хорошо.

Он очень бережно обнял ее. Она словно окаменела. Это было досадно, но он уже умел ждать.

— Я могу поговорить с твоим отцом?

Она странно рассмеялась.

— Да, непременно поговори, обязательно. И тогда мы начнем строить планы.

Дороти Уэллвуд вышла из дому одна, чтобы пройтись по болотам. Она зубрила анатомию, дозубрилась до дикой головной боли и сказала себе, что прогулка пойдет ей на пользу. В последнее время ей не хватало силы воли. Она хотела побыть со своим немецким отцом и немецкими братьями, которые сейчас в амбаре мастерили сложные вещи и смеялись. Ей почему-то было обидно, что Гризельда может смеяться вместе с ними, болтать по-немецки, предлагать разные удачные идеи для декораций кукольной постановки, а она, Дороти, не может. Она, конечно, и не хотела — где-то в глубине души она была пуританкой, отвергавшей всяческие воображаемые миры. Это пуританство сидело в ней прочно, и она пока не ставила его под вопрос. Нервы и сухожилия, вены и артерии были и реальней, и загадочней проволочных шарниров и болтающихся бечевок. Дороти знала, что Гризельда вовсе не пытается украсть ее новую семью — напротив, она обижается, когда Дороти на долгие часы уходит с головой в учебу: не только потому, что Дороти ее бросает, но еще и потому, что она

сама еще не нашла своего призвания. Дороти все ускоряла шаг, перебирая в уме суставы собственного тела. Вдруг она обнаружила, что пришла к Пэрчейз-хаузу и стоит в самом начале усаженной деревьями разбитой аллеи, ведущей к дому.

Внезапно она подумала, что неплохо было бы повидаться с Филипом. И пошла по аллее. Она не хотела видеть ни Серафиту, ни Помону, ни даже Элси. Поэтому она аккуратно и тихо обошла дом, вошла в конюшенный двор и направилась прямо к двери студии-молочной. Тут она запоздало сообразила, что может столкнуться с чудовищем — Бенедиктом Фладдом. Она заглянула внутрь через пыльное окно. Там, спиной к ней, стоял Филип в синем халате. Фладда видно не было. Она постучала в верхнюю половину двери. Филип открыл и широко улыбнулся при виде Дороти.

— Я как раз собирался сказать: «Пошли вон, я занят». А потом увидел, что это ты. Заходи.

— Я пошла прогуляться, чтобы подумать, и вдруг оказалась тут. И решила зайти посмотреть, как ты живешь.

— Я рисовал водоросли. И всякую живность в них, и текущую сквозь них воду. Рыбы-иглы, каракатицы и все такое.

— Покажи.

Он принес альбом, и они сели бок о бок — смотреть рисунки. В альбоме были удивительные изображения ламинарий — наполовину выброшенных на мель, наполовину плавающих, с воздушными карманами, едва поднимающимися над поверхностью воды.

— Сначала я смотрю, как это выглядит. Смотрю и смотрю, и вижу все возможные формы, когда водоросль по-всякому движется при разном освещении. А потом — гораздо позже — уже рисую правильные узоры. — Он нахмурился. — Так можно понять, что случайное — мелкая зыбь, водовороты на поверхности — и что постоянное, что повторяется.

— Это странно похоже на «Анатомию» Грея. Мне все время приходится рисовать вены, мускулы, сухожилия, суставы. Я могу тебе нарисовать, что двигается у тебя в руке, на разных уровнях, когда ты рисуешь. Как сокращаются мускулы, и как они действуют на другие мускулы. Как бежит кровь, словно прилив, по венам и артериям. Из кровообращения получились бы невероятно красивые узоры. Как течения в воде или пряди водорослей. Только я не умею так хорошо рисовать, как ты. Мне приходится, чтобы сдавать все эти экзамены, и я стараюсь. Стараюсь, но у меня

ничего не выходит.

— Покажи, — сказал Филип, подталкивая к ней альбом и протягивая мелок. Дороти засмеялась. Она примерно обрисовала кисть руки со стороны ладони: сильные, тянущие параллельные ленты мускулов, сплетение сухожильного влагалища — словно подвязки крест-накрест — на кончике пальца. Потом нарисовала всю руку и закрасила черным основные нервы — как реки с притоками. Филип следовал за ее рисунком, трогая собственную кисть, предплечье, прослеживая напряжение и расслабление, приток и отлив.

— Иногда я думаю, что мне никогда с этим не совладать, — сказала Дороти. — Наружные кожные нервы. Дельтовидные мышцы. Порой хочется от всего этого освободиться.

— Не взаправду, — ответил Филип. — Ты уже попалась. У тебя нет выбора.

Он отобрал у нее карандаш и нарисовал более элегантную версию сплетения мускулов.

— Как и у меня. У меня не было выбора, сколько я себя помню.

— И приходится чем-то поступаться, — продолжала Дороти. — Вот сейчас — такими вещами, как постановка, лагерь. Вечеринки. И это еще не все. Если женщина хочет стать врачом, у нее не

остается времени на другое, что положено делать женщинам. Даже на то, чтоб выйти замуж.

— Да, — ответил Филип. — Я то же самое понял. Это как монахи и монахини.

— Покажи свои работы. Мне нравится на них смотреть.

Филип принес несколько горшков, по окружности которых плыли водоросли — темно-зеленые на сине-зеленом фоне, цвета морской волны, со вспышками рыжевато-желтого цвета. Еще он показал ей разные вариации созданий, карабкающихся по ветвям, — навеянных отчасти Глостерским канделябром, а отчасти резвящимися гротескными тварями со жьенских имитаций майолики. Дороти была рада, что выдуманные ползучие и карабкающиеся твари закреплены в холодной глине, удерживаются глазурью, приплавлены к месту огнем.

Филип спросил:

— Хочешь сделать горшок? Я преподаю в лагере — у людей настолько разные способности, просто удивительно — и мне кажется, что ты, если попрактикуешься, сможешь выточить хороший горшок. У тебя хорошие, сильные, крепкие руки. Надо думать, с хорошими нервами, сухожилиями и как там, бишь, эти штуки в пальцах.

Так что Дороти села за гончарный круг, а Филип встал рядом и привел его в движение, и отцентровал для нее глину. Он показал Дороти, как чувствовать структуру глины, как выбрать правильную скорость, как удерживать стенку, которая поднимается меж пальцев, как холодное, мокрое живое существо. Два или три сосуда зашатались и обрушились, но вдруг Дороти ощутила легкость, поймала ритм, на гончарном круге поднялся пузатый горшок, расширился, сузился, и Филип снял его с круга.

— Я же говорил, — сказал он. — У тебя хорошие руки. Тут приходится смотреть кончиками пальцев. А иногда я думаю, что всем телом. Ритм и все такое. И умом.

Дороти подумала о том, что ей предстоит. Вытягивать из других женщин скрюченных, покрытых кровью младенцев, помогать им делать первый вдох, перерезать пуповины. Взрезать человеческое тело скальпелем. Единственным среди ее знакомых, кто понимал радости и ужасы работы, был Филип. Они не волновали друг друга. Они друг друга даже не знали толком. Но кое-что, кое о чем они понимали одинаково. Дороти стало легче оттого, что она сюда пришла. Она не собиралась навешать Филипа, но оказалось, что

именно в этом была ее цель.

Гризельда и Флоренция оказались в гостинице «Русалка» одни, без родных. Так что за чаем, над блюдом лепешек им пришлось разговаривать друг с другом. Гризельда заговорила об интересных аспектах лагерной постановки, или спектакля, — о том, как в ней проявляются и выражаются самые разные, неожиданные таланты и так по-новому сочетаются. Но голос ее звучал как-то задумчиво и чуть-чуть недовольно. Флоренция почти все время молчала, пока Гризельда не иссякла. Флоренция сердито вонзала зубы в сэндвичи, и вид у нее был слегка неодобрительный.

— Теперь все прекрасно умеют играть, — заметила она. — Как дети.

— О, я думаю, это больше, чем игра. Они артисты, художники — мистер Штейнинг, моя тетя, герр Штерн и его сын Вольфганг.

— Для них это, может, и серьезно, а для большинства людей в лагере — игра. Физические упражнения, артистичные аппликации из цветной бумаги, маскарадные костюмы и прочее. Поневоле задумаешься, куда подевалась реальная жизнь.

— Верно, — сказала Гризельда. — Тут я соглас-

на. Мой брат очень беспокоится о бедных. Он собирается пойти в Лондонскую школу экономики изучать статистику. Его всегда волновало, что реально и что нет. Он не хочет вести ту жизнь, которую спланировал для него отец.

— А что они планируют для тебя? — спросила Флоренция. — Для тебя как женщины?

— О, они надеются, что я буду ездить на балы и сделаю хорошую партию. Я ездила на балы, и все эти завидные женихи наводили на меня дикую тоску, и теперь я вообще не знаю, что делать. Тебе будущее не кажется ужасно длинным? Для женщин оно вообще другое. В нем высится эта огромная гора — замужество: кружева на фату и все такое, как говорила миссис Элтон…[99] А что потом? Выбирать выкройки и меню, приказывать слугам и беспокоиться, что они не смогут или не захотят выполнить приказ. Что я хочу сказать… нельзя планировать свою жизнь, не решив сначала этого, а решать это абстрактно — очень тяжело.

— Как ты думаешь… если женщина вышла замуж, у нее может быть какое-нибудь другое будущее, кроме вот этого, про что ты сейчас го-

---

[99] Примечания: 99

«И белого атласа в обрез, и кружева на фату — жалкое зрелище!..» (*Дж. Остин.* Эмма. Перевод М. Кан.)

ворила?

— Я хочу *думать.* Не меньше, чем Чарльз. Но никого не волнует, о чем я хочу думать… и всех волнует, о чем хочет думать он, даже независимо от того, согласны они с его мыслями или нет.

— Я тоже хочу думать, — медленно произнесла Флоренция. — Я хочу жить своей собственной жизнью, какую выберу. Я хочу быть кем-то, а не чьей-то женой. Но я почти ничего не знаю о человеке, которым хочу быть.

— И я не знаю. Вот Дороти знает. У нее призвание. У нее все будущее распланировано — экзамены по основам науки, по медицине, по хирургии, работа в больнице. Мне кажется, это похоже на железный корсет, но ей, кажется, именно это и нужно. Мне кажется, она готова совсем отказаться от замужества и всякого такого. Я не знаю, смогу ли я так же. Мне кажется, это неестественно. Но *не думать* тоже, кажется, неестественно.

— Некоторым женщинам удается совмещать.

Флоренция только что согласилась выйти замуж за Геранта Фладда. Она остро ощущала, что нельзя рассказывать об этом Гризельде. Как только помолвка выйдет на свет божий, она станет фактом совсем другого рода.

— Не многим.

Флоренция сказала:

— Помнишь, мы как-то были в «Жабьей просеке» на празднике Летней ночи, и там все — кто нашего возраста — должны были сказать, кем они хотят быть? И мы с тобой обе тогда сказали, что хотим в университет. В Ньюнэм-колледж или что-нибудь вроде. Я все думала об этом. А ты что думаешь?

— Я думаю много чего, и одно противоречит другому. Я думаю, что если я не буду *думать*, то сойду с ума. А потом я думаю про все эти колледжи, полные женщин, — я воображаю, как они там вяжут, составляют цветочные композиции и пьют какао. И тогда я думаю: это все равно что уйти в монастырь, а монастырь для меня — это жуткий кошмар. Мне кажется, это нездорово. А потом мне кажется, что это на самом деле, в глубине души, восхитительно. Что-то совсем новое. Делать что-то такое, что женщинам всегда было нельзя, чего от них не ожидали. И что совершенно естественно для братьев. Вот для Джулиана и Чарльза. Нужно быть совсем новым человеком…

— Но это не то же самое, что Дороти и ее учеба на доктора.

— Что такое доктор — это всем понятно. Я гово-

рила с Тоби Юлгривом. Я собираюсь потрудиться как следует и постараюсь туда попасть. Чтобы узнать, кто я.

— Я начала готовиться к вступительным экзаменам, а потом бросила, — сказала Флоренция. — И зря. Может, мистер Юлгрив возьмет и меня тоже? Я знаю, мой отец ужасно обрадуется…

— Это будет замечательно, — искренне сказала Гризельда.

Флоренция разрывалась на части. Она обещала Геранту — а теперь собиралась дать обязательство многолетней учебы. Она не думала, что в Ньюнэм-колледж пускают замужних студенток. Ей хотелось досадить отцу — яростно, по-детски, по-женски, — и она инстинктивно, не думая, чувствовала, что помолвка — именно то, что нужно.

И все же ей, как и Гризельде, хотелось мыслить. И она не исключала, что в будущем ей придется выбирать между мышлением — и сексом.

Спектакль «Замок фей» менялся и развивался не только во время работы над постановкой. Он продолжал меняться и все то время, когда шел в десятинном амбаре, на протяжении десяти дней. Август Штейнинг отвечал и за декорации, и за постановку. В конце амбара стояли два замка, один за другим. Тот, что поменьше, был сверка-

ющий, позолоченный — дворец-шкатулочка. В нем пировали и колдовали марионетки. За ним, в тени, поднималась странная темная башня в форме бутылочной печи или хмелесушильни — построенная из деревянных ящиков и раскрашенная под замшелый камень, — без окон, без дверей, так что ни выглянуть наружу, ни войти внутрь. Сюжет пьесы был и прост, и в то же время сложен. Он начинался с игры двух детей на лесной поляне.

Поляна располагалась посреди амбара. Деревьями были дети, закутанные в зеленую и коричневую крашеную марлю, с ветвями в руках. На поляне резвились Гедда, уже четырнадцатилетняя, и десятилетний Робин Уэллвуд с огненной, как у отца, шевелюрой. Девочка уснула, положив голову на бугорок. Отряд, состоявший из крохотных гоблинов с жесткими усиками и длинными хвостами, топающих гномов в сапогах и с бородами, властных короля и королевы эльфов, надвинулся на парочку детей и поманил Мальчика аппетитными пирожными и прозрачными бокалами сияющей жидкости. Мальчик откусил, отхлебнул и зрелищно упал в объятия похитителей. Они пронесли его застывшее тело вдоль всего амбара и утащили за золотой дворец. Свет

упал на волшебное белое полотно, которое поднялось (стараниями Филлис и Помоны), и на нем появились летящие тени крохотных тварей, еще во много раз уменьшенных; они закружились, как рой ос или стая скворцов, и спикировали в тайный замок.

Девочка проснулась и была безутешна. Она размахивала руками и выла. На поляну втанцевала избушка на двенадцати босых ногах, качнулась и застыла. Из нее, опираясь на палку, вышла хромая старушка и стала просить Девочку о помощи — собрать яблоки, натаскать воды из колодца, подставить старушке плечо при ходьбе. Старушка цеплялась за Девочку и была очень тяжелая. Гедда шаталась от боли. Затем старушка превратилась в серьезное и прекрасное златокудрое дитя, которое объяснило Гедде, как найти украденного Мальчика.

— Иди вдаль, через гору, через солнце и луну, в страну звезд. Не говори ни слова. Помогай всем, кто просит о помощи. Холодное железо поможет тебе срывать маски с врагов и побеждать их.

Она вручила Гедде большой, слегка заржавевший кухонный нож и скрылась в избушке, которая прошлепала вон из амбара.

Гедда отправилась в путь. Она шла и шла.

Штейнинг ловко работал с освещением, создавая иллюзию, что Гедда пробивается сквозь метель, идет, шатаясь, по знойной пустыне, пробирается меж сверкающими колоннами льда. Она встретила и победила соломенного человека, человека-волка (в сосновом лесу) и чудовищного, покрытого броней человека-скелета, который оказался цветущим мальчиком; это был другой Робин, Оукшотт, сверхъестественно похожий на Робина Уэллвуда; он-то и рассказал ей, как проникнуть в неприступную крепость.

Гедда зашла за золотой дворец, запела флейта. Появилась кукольная Гедда, сначала тенью на экране, а потом — посреди пирующих в замке. Она мотала головой, так что волосы метались из стороны в сторону, резкими движениями рук отказывалась от еды и питья и потрясала ножом, отчего нападавшие на нее твари громко шипели и исчезали, превращаясь в безжизненные кучки тряпок, сплетения рук и ног. Кукольная Гедда наклонилась над спящей куклой-Мальчиком и взяла его за руку.

Щели меж камнями темной башни, стоящей за золотым дворцом-шкатулкой, засветились, один камень вывалился наружу, и из башни вышла Девочка: в одной руке она держала нож, а другой

вела за руку Мальчика.

Большие куклы Тома сидели среди зрителей. На последнем представлении они встали и пошли, переваливаясь, катясь или прыгая, через весь амбар к темной башне. Две куклы (Вольфганг и Леон, для верности) унесли золотой замок, а остальные напали на темную башню и разобрали ее по камушку под восторженный хохот зрителей (некоторые дети, правда, уронили слезу). Том умолял, чтобы ему позволили воспроизводить хаос разрушения каждую ночь. Он сказал, что готов каждый раз отстраивать башню собственными руками — так весело ее разрушать. Но Штейнинг ответил, что рисковать нельзя, поэтому башню разрушат только один раз, в самом конце. Так что когда время пришло, разрушение было необузданным и полным. Разлетались куски, комья докатывались до зрителей. Это было и жутко, и комично. Все ужасно устали.

37

Кульминацией лагеря стал обжиг. Всю первую половину срока горшечники — любители и профессионалы — сооружали сосуды, предметы, статуэтки; некоторые отправились на предварительный бисквитный обжиг, а потом вернулись к авторам для декорирования различными способами. Когда лагерь был еще в стадии проекта, Герант выпросил у отца разрешение провести обжиг в большой бутылочной печи, стоявшей на поле рядом с Пэрчейз-хаузом. Печь топилась дровами. Обжиг продлится примерно сорок восемь часов, и еще день или около того печь будет остывать. В конце второго дня состоится праздник для всех, кто работал, лепил горшки, собирал дрова, и вообще для всех обитателей лагеря. Бенедикт — в приступе эйфории, сподвигшей его на публичную лекцию, — согласился прочитать еще одну, по обжигу и работе с печью. Но он пропал, и читать лекцию пришлось Филипу — все равно на деле в основном он занимался загрузкой печи и разведением огня. Он знал, где в печи более жаркие места, а где сквозит, где огонь ярится сильнее всего, а где чуть прохладнее и жар ров-

нее. Когда речь идет о печи такого размера, да еще нерегулярно используемой, обычно обжигают сырец (бисквит) одновременно с глазурованными изделиями, которым нужен более сильный жар глазурной печи. Филип хорошо продумал загрузку печи, опираясь на собственный опыт. Он сделал для горшков капсели и расставил их правильными штабелями, или сводами, чтобы языки пламени могли свободно пробегать между ними. Капсели стояли на слоях кварцевого песка и были прикрыты огнеупорными кирпичами и плитками. Более хрупкие изделия стояли внутри капселей на глиняных подставках. Края капселей прикрывала размятая глина. Пирометрические конусы — глиняные конусы, изменявшие цвет при определенной температуре — раскладывались у смотровых окошек, чтобы можно было следить за ними во время обжига. У Филипа, как у любого мастера, были свои приемы — новая форма подставки, определенные интервалы подкормки огня в трех топочных отверстиях.

Вышел краткий спор — не отложить ли обжиг из-за отсутствия Бенедикта. Но слишком много людей с нетерпением ждало обжига. Герант — и Филип в какой-то степени тоже — надеялись, что Фладд объявится вовремя, эффектно, как

театральный персонаж, чтобы поднести факел к загруженным в печь дровам. Три дня Филип сидел за складным столом в конюшенном дворе и отбирал горшки для обжига. Пузырик воздуха, слишком мокрая глина, неровность корпуса означали, что горшок может взорваться, просесть или просто развалиться во время обжига и погубить всех своих соседей, а в худшем случае и всю печь, всю колоссальную работу. Юных дам отсылали прочь с отвергнутыми вазами, скособоченными блюдами. В отсутствие Фладда Филипу помогала Элси. Она же помогала ему расставлять, как кусочки головоломки, горшки в капселях и капсели в печи. Она не отвечала за снабжение и за приготовление еды для пикника — этим занимались Пэтти Дейс и Мэриан Оукшотт. В выходные, на которые был намечен обжиг, пришли помочь Дороти Уэллвуд, Чарльз-Карл и Гризельда.

В день обжига Кейн заказал обед в гостинице «Русалка». Он пригласил Фладдов и свою семью. Он даже запретил Джулиану приводить Джеральда, который по-прежнему болтался по лагерю и ходил на долгие прогулки вдоль побережья. Джулиан решил, что отец щадит чувства Флоренции. Обед проходил в гостиной, где солнечные лучи струились сквозь свинцовые переплеты тюдо-

ровских окон, сияя на белой камчатной скатерти и массивном серебре. По столу были расставлены бутоньерки из белых и красных роз. Зацокали копыта: это приехала по узкой булыжной улочке двуколка с Серафитой и Помоной в вышитых нарядных платьях.

Стол накрыли в расчете на появление Бенедикта. Проспер сидел во главе, между Имогеной и Серафитой. Между Серафитой и Помоной сидел Джулиан, а за Помоной — Герант и Флоренция. Имогену и Флоренцию разделяло пустое место.

Они ели снетков и омара на гриле, морской укроп и морковь-виши, а на десерт им принесли «королеву пудингов» на фарфоровом блюде. Они болтали о лагере, и все хвалили Геранта за его организаторские способности, чудо с палатками, изобретательность в составлении распорядка мероприятий. Джулиан сказал, что становится немного не по себе при виде человека, который живет в произведениях искусства, а не только смотрит на них в музеях. Серафита вступила в разговор (что было большой редкостью) и мечтательно произнесла, что жизнь была бы гораздо лучше, если бы вся она была пронизана искусством. Флоренция заметила: забавно, что от искусства можно образовать как слово «ис-

кусный», так и слово «искусственный». Серафита устремила взор в собственную тарелку и с некоторым трудом пронзила вилкой декоративную креветку.

Когда все поели, Проспер велел принести шампанское. Всем раздали бокалы. Проспер поднялся.

— В заключение успешной совместной работы, обеспечившей такой успех лагерю — месту встречи искусств, ремесел, преподавания, практики и критики, — я предлагаю выпить за Геранта Фладда, который породил такие замечательные идеи и воплотил их в жизнь.

Все выпили. Проспер не сел, хотя Герант пошевелился, чтобы встать и ответить.

— Мне жаль, что здесь нет моего старого друга Бенедикта. Тем не менее я прошу вас выпить за счастье Имогены, которая оказала мне честь, согласившись стать моей женой. Я уже попросил ее руки у Бенедикта, и полагаю, что он даст свое согласие.

От этой новости все оцепенели. Первой выпила сама Имогена — возможно, чтобы укрепиться духом. Она сидела совершенно белая. Серафита сделала большой глоток шампанского и пробормотала не то: «О боже», не то «Ну что же».

Джулиан поднял бокал.

— Конечно, мы все за вас рады. Желаем вам здоровья и счастья! — неловко произнес он и густо покраснел. Имогена кивнула в ответ — кажется, у нее не было слов. Встала Флоренция.

— Так получилось, что мы не успели попросить разрешения у моего отца, но я хочу сказать, что я тоже обручена. Я приняла предложение Геранта. Я сама об этом говорю, потому что просила его никому не рассказывать. Но теперь, я думаю, вы все должны об этом знать. Отношения всех, кто сидит за этим столом, вдруг ужасно запутались.

Она издала резкий смешок. И продолжала, мрачно сверля отца глазами поверх белой скатерти и столового серебра:

— Так что Имогена станет мне одновременно сестрой и матерью. Как в древнегреческих мифах. Или в Ветхом Завете — все эти штуки, которые Библия запрещает.

Помона поставила бокал, и он треснул. На пальцах выступила кровь — совсем чуть-чуть, но попало на камчатное полотно. Прибежал официант с серебряной щеткой и совочком и засуетился вокруг, сметая осколки. Практичный Герант миролюбиво заговорил:

— Такая внезапность, конечно, удивляет. Но

большинство из вас знает, что мои чувства к Флоренции не внезапны. Вы не могли не видеть, что я любил ее много лет, и мальчиком, и мужчиной. Мы собирались держать помолвку в секрете. Я пока не могу содержать жену и хозяйство, а я намерен делать это как следует. Я не могу передать, каким счастьем для меня было ее согласие.

Он помолчал.

— Обручение Имогены неожиданно — во всяком случае, для меня. Но я знаю, сколько хорошего привнес в ее жизнь майор Кейн. Он уже сделал ее счастливой. — Он поднял бокал. — Я желаю им всех благ.

Он с неловкой грацией поклонился Просперу, Имогене и снова сел.

Проспер встал и повернулся к дочери, которая еще не села. Лицо ее было воинственно, глаза сверкали. С самого рождения дочери он любил ее больше всего на свете, и его отчасти разгневало, что он не заметил в ней никаких признаков влюбленности — ни мягкости, ни душевного подъема. Он чувствовал, что его переполняет энергия. Он — военный человек в запутанной ситуации, из которой должен вытащить всех, без потерь. Он перевел взгляд с дочери на любимую женщину, которая глядела в стол. Проспер любил

Имогену. Он ее хотел. Это подпитывало его силой. Он любил и Флоренцию; он выяснит, что для нее лучше всего — возможно, это Герант, а возможно, и нет — и, поскольку любит дочь, найдет для нее способ получить желаемое. Пока Проспер стоял, ему пришло в голову, что следует жениться на Имогене как можно скорее, потому что ее теперешнее положение ненормально. Это привело его в восторг. Он поднял бокал за Флоренцию, жестом показав, что пьет и за Геранта.

— Я желаю вам обоим всякого счастья. Нам нужно многое обсудить и обдумать. А теперь, если никто не возражает, мы последуем плану и отправимся к месту обжига. Может быть, мой старый друг Бенедикт уже там.

Он чуть ли не силком вытащил всех из гостиной и погрузил в двуколки и пролетки, которые должны были отвезти их в Пэрчейз-хауз.

Солнце клонилось к закату. Над необозримым плоским простором Ромнейских болот алое небо кипело ослепительным светом. Красный свет падал на соленую траву, и странная огненная влага танцевала на грифельно-темной влаге канав и прудов, мимо которых они ехали. Они миновали поле для гольфа, где на фоне алого шара виднелись силуэты игроков, черные и плоские

— замахивались клюшкой или тащили тележку. Стайки ржанок парили в небе, рассыпались, вновь собирались и снова парили. Редкие полоски облаков — фиолетовые, сиреневые, фиалковые — переливались в закатном свете. На всем лежал металлический отсвет, подобный люстру. Даже кремовое руно тучных овец покрылось сияющей розоватой патиной.

Насколько Филип мог судить, обжиг шел гладко. Филип равномерно подкладывал дрова, стараясь, чтобы пламя было ровным и не сильно дымило. Он подглядывал в разные смотровые окошки за ревущей алой гекатомбой, вихрями и россыпями пламени, ослепительного в центре, более тусклого по краям. В добровольных помощниках-кочегарах недостатка не было, но приходилось смотреть, что они закладывают в печь. Посуда, обожженная неровно или на грязном топливе, может покрыться солями серы, стать тусклой, пятнистой, некрасивой. Серные пары возникают от недостатка кислорода. Или от избытка. Лучшие дрова Филип приберегал на самый конец. Ему охотно помогал Том Уэллвуд, который притащил кучу ящиков, некогда составлявших Темную башню, и теперь совал их в топочные отверстия. Том притащил и свою

армию кукол-пугал — «мы можем сжечь их под конец, чтобы их поглотила огненная пучина», сказал он. Филип проверил, нет ли в куклах чего-нибудь такого, от чего в пламени появятся вредные примеси или оно будет гореть неровно. Пришла и Дороти — в выходные она не училась — с Гризельдой и немцами, которые тоже помогали таскать дрова. Все вспоминали историю Палисси, которому пришлось побросать в печь собственную мебель, чтобы завершить пробный обжиг и испытание новой белой глазури. Солнце опустилось ниже, и небо потемнело. Тепло и свет пели и плясали в печной трубе.

Моллет сидел с Доббином — они пили эль и жевали домашний хлеб с крошащимся сыром. Подошел парень в рыбацких сапогах и тяжелой куртке и потянул Фрэнка за рукав. Фрэнк послушал, помотал головой, словно пытаясь прочистить мозги, встал и принялся оглядывать собравшихся. В свете углей, у кострища, на котором сейчас пекли картошку, сидела Серафита. У нее явно туманилось в голове — как обычно. Фрэнк продолжал оглядываться и увидел Проспера Кейна, склонившегося над Имогеной Фладд. Фрэнк подошел к ним — не спеша, улыбаясь попадающимся на пути прихожанам.

— Майор Кейн. Можно вас на два слова?

Они отошли на край сборища, в темноту.

— Я только что получил весточку от Баркера Туми. Он рыбак, удит в Данджененссе. Он поймал ботинок. Похоже, тот недолго пробыл в воде. Баркер думает, что это ботинок мистера Фладда. Он считает, что кто-нибудь должен посмотреть.

— Что вы хотите сказать, мистер Моллет?

— Я обеспокоен отсутствием — уже довольно длительным — мистера Фладда.

— Его родные и друзья, по-видимому, не слишком обеспокоены.

— Это верно. Он действительно часто уходит из дома, не сказав ни слова, иногда на несколько недель.

— И вы считаете, у вас есть основания полагать, что нынешний случай чем-то отличается?

— Майор Кейн, я не католик. Я англиканин либерального толка. В нашей Церкви не принята исповедь. Она не является одним из признаваемых таинств. Но люди рассказывают мне всякое. И рассчитывают на мое молчание. Я считаю своим долгом выслушать человека. И сохранить услышанное в тайне.

— Зачем вы мне все это говорите?

— Я боюсь, что Бенедикт Фладд мертв. Я боюсь,

что он вошел в море — там, в Данджененссе, где глубоко и сильные течения.

— И у вас есть на то конкретные причины?

— Он пришел ко мне… сразу после своей лекции в лагере. Сказал, что собирается покончить с собой. Я должен добавить: он и до того неоднократно выражал такие намерения.

— Вы хотите сказать, что он исповедовался вам в…

— У него была привычка открывать мне… хорошо, что не слишком часто… разные вещи о себе, о своей прошлой жизни… о своей жизни… Майор Кейн, я мало сведущ в мирских делах. Я полагаю, что с профессиональной точки зрения ничто человеческое меня удивлять не должно. Я знаю, что мне не следовало бы об этом рассказывать. Я должен был бы хранить молчание. Но он рассказывал мне все это… рассказывал мне… не затем, чтобы я мог предложить ему прощение Церкви… но чтобы меня ранить. Я даже не знаю, правда ли то, что он рассказывал. Я только знаю, что мне было вредно даже слушать его рассказы. И что он именно на это и рассчитывал. Простите меня. Я не в себе. Я действительно думаю, что он мертв. Но все, что у нас есть, — один ботинок.

— Я собираюсь жениться на Имогене, дочери

Бенедикта, — сказал Проспер Кейн. — Так что для меня это, можно сказать, семейное дело.

Лицо Фрэнка задергалось, как будто он вот-вот расплачется.

— Я знаю Фладда много лет, — продолжал Кейн. — Меня уже не удивить никакими его речами или поступками. Вы хороший человек, великодушный, вы выполнили свой долг — в том числе и тем, что известили меня. Пойдемте поговорим с этим рыбаком.

Они шли пешком в последнем свете быстро сгущающихся сумерек. Прошли мимо гарнизона в Лидде, через болото Денге, затем — по голым, покрытым галькой берегам Данджженесса, обогнули Ямные озера, где птицы как раз устраивались на ночь на островках. Эта каменистая земля с переменчивой линией берега поддерживала жизнь хутора из проконопаченных деревянных домиков — по большей части черных, как сажа. Кое-где перед домиками лежали на берегу лодки, некоторые — с любопытным набором лебедок и блоков. В окошках уже засветились лампы. Фрэнк и сам взял с собой фонарь «летучая мышь», но пока в нем не было необходимости. Они дошли до маяка, окрашенного черными и белыми полосами. Яркий луч зеркального керосинового прожекто-

ра обшаривал темноту. Фрэнк сказал, что Баркер Туми не может уйти от удочек; потому он послал Мика. Они с хрустом прошли по бледной, светлее неба, гальке к высокому галечному берегу, на котором сидели рыбаки — черные, как у игроков в гольф, силуэты вырисовывались на небе; рядом с табуретками в ожидании полной темноты стояли фонари. И Кейн, и Моллет были в хорошей форме и легко взбежали на гряду, окунувшись в морской воздух, полный соли и шороха надвигающегося прилива, который бросал на берег волну за волной и всасывал обратно, перемалывая и неустанно перемешивая камни. Леска дрожала на фоне сливочных языков набегающего прибоя, натягивалась, капая соленой влагой.

— Вот Баркер, — сказал Моллет.

Они вгляделись, чтобы понять, что он тянет на берег: не человеческое тело и не рукотворная вещь, но живая рыба гневно выгибалась и билась на крючке. Баркер Туми перехватил рыбу рукой и умело прикончил, свернув хребет.

— Мистер Моллет, — сказал он. — Добрый вечер.

Он был обветренный и промасленный, чем отчасти напоминал тот самый ботинок, который он тут же вытащил из-под мешочков с наживкой.

Баркер был в промасленной зюйдвестке и куртке с поднятым воротом.

— Я, надо думать, видал его о прошлой неделе кой на ком, — сказал он. И перевернул ботинок. С него капала вода. Шнурки были все еще завязаны. Поношенный ботинок когда-то был дорогим. Язык болтался.

— Думаю, да, — сказал Моллет.

Кейн взял ботинок и повертел его в руках.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Помоги нам Господь, у него глина в пистонах и под языком. И его не чистили как следует — он весь потрескался. Я думаю, мы знаем, чей это ботинок. Мистер Туми, вы больше ничего не находили?

— Нет, и, скорей всего, не найду. Тут поток ужасно сильный. Утянет все что хошь — человека — в глубину и прочь от берега, и по-быстрому вокруг Несса. И искать без толку, все одно не угадаешь, где.

— Если это всплыло, то, может быть, и что-нибудь другое всплывет, — сказал Проспер. — Попросите, пожалуйста, своих друзей приглядываться.

Он взял мокрый ботинок, вознаградил рыбака, и они с Фрэнком отправились обратно в Пэрчейз-хауз. Небо над Ла-Маншем все темнело. Цвет пены

на волнах, бьющихся о берег, не поддавался описанию — знаешь, что она белая, но это призрак белого, сам свет с просеянным в него серебром и темная тяга засасывающей воды.

— Прямо стоит перед глазами, — сказал Фрэнк. — Он вот так взял и вошел в воду. Он знал, что она с ним сделает, как подхватит.

Они шли обратно мимо рыбацких хижин. Остановились, пока Фрэнк зажигал лампу. На иссиня-черном небе появились бледные звезды. Внезапный луч фонаря осветил что-то вроде бельевой веревки: оно тянулось от стрехи одной из хижин к топу мачты, с которой свисал узкий вымпел с крестом святого Георгия.

— Что это? — произнес Проспер.

«Это» было истерзанное, мятое, измочаленное. Мокрая, вся в пятнах тряпка оказалась халатом-мантией, в которой Бенедикт Фладд выходил читать лекцию. Обломки кораблекрушения, возвращенные морем.

— Мистер Моллет, — сказал Кейн, пока они медленно шли в Пэрчейз-хауз, неся сверток в коричневой бумаге. — Мистер Моллет… возможно, это преждевременно… хотя, я думаю, мы оба знаем, что это не так. Если мой старый друг покончил с собой, то, может быть, тело

еще найдется. Он выбрал самое удачное место для полного и окончательного исчезновения. Неопределенность будет страшным мучением для его жены и дочерей. Очень страшным. Теперь я тоже поведаю вам свои личные скорби. Я хочу жениться на мисс Фладд как можно скорее — то, что случилось, одновременно усилило мое желание и затруднило его исполнение. Я не знаю, какой срок траура приличен, если тело не найдено. Но я знаю, что родным Фладда будет гораздо легче, если у меня появится законное право о них заботиться. Мистер Моллет, я хочу, чтобы вы нас обвенчали. Тихо, но не тайно. С цветами в церкви, с достойным угощением. Как вы думаете — когда это можно будет сделать?

— Если… если ничего не выбросит на берег… если он вдруг не появится на дорожке, ведущей к дому… может быть, через месяц?

Они ускорили шаг.

— И последняя просьба. Мистер Моллет, вы согласитесь никому ничего не говорить, пока не остынет печь и не закончится праздник? Ведь у нас все равно ничего нет, кроме сомнений, подозрений, неопределенности. Подождав, мы, возможно, дождемся определенности. А если и не дождемся, сама неопределенность станет…

более определенной… более прочной, если вы понимаете, о чем я.

— Да, действительно, — сказал Фрэнк Моллет. — Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы… взяли бремя на себя.

— Я знал Бенедикта, упокой Господь его душу, много лет. Он был гений. Все, что он делал, он делал с избытком. Я не удивлен, что он пытался вас напугать. Вы вели себя весьма достойно.

38

Проспер Кейн умел добиваться своего. Его обвенчали с Имогеной Фладд в церкви Святой Эдбурги во вторник, 27 декабря 1904 года. Венчал Фрэнк Моллет. О Фладде так и не было вестей, только рыбаки выловили второй ботинок — через много недель после первого. Так что семья была не то чтобы в трауре, но и не то чтобы не в трауре. Народу в церкви собралось мало — обитатели Пэрчейз-хауза, включая Филипа и Элси, Джулиан и Флоренция. Еще пришли Доббин, Мэриан Оукшотт и мисс Дейс. Было ужасно холодно. Камни церкви были словно глыбы льда, а трава на кладбище покрылась коркой инея. Фрэнк надел под стихарь две шерстяные фуфайки. Все женщины решили проблему траура, надев туалеты скромных серых и фиолетовых тонов. Флоренция была в элегантном грогроновом пальто грифельного цвета поверх платья цвета синего крокуса; шляпка — тюль строгих цветов, крокусного и серого, в тон. Флоренция не была подружкой невесты. Единственной подружкой была Помона в темно-сером бархатном платье, расшитом фиалками. Такие же фиалки выстроились вдоль

полей шляпы. Серафита куталась в отороченный перышками плащ из какой-то сложной, толстой гобеленовой ткани, фиолетово-серо-серебряной, с отделкой из крашеного лебяжьего пуха и страусовых перьев.

Невесту «отдавал» Герант. Мисс Дейс выбила из пианино пару аккордов, Имогена Фладд отложила глиняную грелку, которую сжимала в объятиях, взяла сноп оранжерейных лилий и пошла к алтарю. Она была в мерцающем серебристом бархатном платье, очень простом, с высоким белым меховым воротником и большими белыми меховыми манжетами. Флоренция сверлила Имогену взглядом, пока та шла навстречу майору Кейну. Флоренция думала об Имогене злобными словами. Хитрая. Втерлась в доверие. «Я человек маленький, ничтожный».[100] Она думала, что на лице Имогены отразится притворная скромность или злобное торжество, но она была справедлива и вынужденно признала, что видит лишь чистое счастье с примесью страха. Флоренция уже, с некоторой горечью, признала, что Проспер любит Имогену. Теперь она признала также, что Имогена любит Проспера. Имогена была похожа

[100] Примечания: 100

Слова интригана Урии Гипа из романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд». Перевод А. Кривцовой, Е. Ланна.

на белую восковую свечу, освещенную золотым пламенем.

После церемонии Фрэнк пригласил всех к себе, усадил перед пылающим камином и обнес горячими напитками и хересом. Его экономка принесла чайники с кипятком и подлила дамам в керамические грелки для рук. Все закутались в пледы и поехали обратно в гостиницу «Русалка» в Рае, где Проспер заказал свадебный завтрак. В гостинице тоже пылал камин. Близился вечер, и красноватые отблески огня мерцали на бледных лицах, оживляя серые шелка и атласы. Еда была обильна — камбала с креветками, копченая запеченная корейка барана с соляных болот, элегантные пудинги и торт в сахарной глазури, который жених разрезал своей саблей на аккуратные кусочки. Герант произнес небольшую, но приличную случаю речь и добавил, что они с Флоренцией надеются — как только это станет возможным — еще более укрепить тесные отношения между семьями. Проспер ответил кратко и тепло и поднял бокал за отсутствующего Бенедикта. Я хотел бы, чтобы мой старый друг был здесь и мог разделить наше счастье, сказал он. Он также выразил желание, чтобы его старый друг вернулся из своих странствий, как возвращался и

раньше. Но пока его нет — и, если понадобится, на более долгий срок, — он, Проспер, как новый член семьи, собирается частично взять на себя часть повседневных забот о мастерской и доме. Ветер свистел, образуя маленькие смерчи на булыжной мостовой. Пламя в очаге закручивалось вихрями, приковывая взгляд Филипа. Серафита встала и произнесла неожиданно сильным голосом, что хотела бы выразить свою личную благодарность майору Кейну, в котором обрела второго сына — и сказать, каким утешением стала для нее свадьба дочери в это нелегкое время. Флоренция могла бы посмотреть на Геранта, который не сводил с нее глаз, но вместо этого все разглядывала Имогену. Отсветы огня играли на складках ее платья и рисовали румянец на бледном, экстатичном, никогда не розовеющем лице. «Я никогда не буду так счастлива», — подумала Флоренция. Она не могла… от одной мысли ее начинало тошнить… не могла думать о том, как ее отец обнимает Имогену — наедине, в спальне с черными балками. Все горело синим пламенем. Победительно и отчаянно.

Филип Уоррен подумывал о памятнике Бенедикту Фладду. Герант и Проспер обсуждали с ним будущее гончарной мастерской Пэрчейз-хауза,

продажи товара через «Серебряный орешек». Бутылочная печь медленно остывала после обжига, и Филип чувствовал, как его надежды и ожидания тают. Он в одиночку дождался разгрузки капселей. И сам не торопясь выгрузил их из печи. Обжиг почти полностью удался. Отдельные мелкие ученические работы потрескались, и одна из чаш с водорослями работы самого Филипа, к которой он был особенно привязан, разлетелась на куски. Но все остальное сокровище сверкало и блестело. Помона неслышно подкралась сбоку и попросила разрешения помочь — вытащить и расставить сосуды. Он почувствовал, не обдумывая, что ее напускная детскость как будто ослабела. Даже волосы были убраны в прическу.

— Филип, как ты думаешь, его больше нет?

— Не знаю. Ему и раньше случалось уходить.

— Я чувствую, что его нет в живых. Мне кажется, я бы чувствовала, внутри себя, если бы он был жив.

— Я знаю, о чем ты. Я тоже такое чувствую. Он как-то исчез.

Она продолжала выстраивать в ряд кривоватые любительские кубки. Она сказала:

— Теперь все будет по-другому.

Филип как раз начал распаковывать сосуды

самого Фладда (возможно, его последние). Они остывали под пальцами. Двуликая кружка злобно ухмыльнулась. Элегантный дракон распростер золотые крылья на чернильном небе.

— Ты, может быть, теперь захочешь учиться, — сказал Филип Помоне.

— Я неспособная, — ответила она.

Филип задумал памятник в виде шарообразного горшка — большого, простого. Со слоями, подобно круглой земле — из недр бьет пламя, над пламенем — слой угля, в котором просматриваются очертания окаменелостей, над углем разлилась морская темная синева, а над морем — чернильно-черное небо, с луной, и следы белой пены, одновременно исступленной и стилизованной, в ней должно быть что-то японское. Горшок словно стоял у Филипа перед глазами. Но его чудовищно трудно будет сделать — сплавить вместе все эти глазури, и еще трудная красная глазурь, которая должна быть и кровавой, и огненной. Филип рисовал ящериц, стрекоз и улиток, скрюченных в непроглядно-черном угле. Иногда он думал, что нужна полная луна, а иногда — что узенький серп, едва процарапанный.

Филип решил — он не привык анализировать чувства других людей, — что смерть мужа при-

несла Серафите облегчение и свободу. Серафита стала запросто ходить в гости к соседям, пить чай с Фебой Метли, которая была добра к ней. Насчет Помоны Филип не был так уверен. Она казалась и более нормальной, и какой-то оглушенной.

Как-то ночью, в самый глухой час, он проснулся и услышал шаги в коридоре. Он с досадой подумал, что сейчас повернется ручка двери, но шаги прошли мимо. Торопливые, ровные. Филип хотел снова уснуть, но понял, что нельзя. Он накинул куртку и вышел во двор. Он услышал, как Помона отпирает дверь кухни. И выходит. Филип вообразил, что она хочет броситься в Военный канал. Но она вошла в мастерскую, которую Филип уже привык в мыслях называть своей. Светила полная луна. Филип встал под окном и услышал скрежет, царапанье. Его охватил ужас: что, если она собирается побить все сосуды? Он подкрался к двери и заглянул в мастерскую. Помона стояла в другом конце ее, отпирая запретный чулан. Филип понятия не имел, что она знает об этом чулане и тем более знает, где спрятан ключ.

Она вышла с белой вазой в форме обнаженной девушки. Она шла как во сне, механическими шагами, но Филип уже не был уверен, что она действительно спит. Он последовал за ней на

безопасном расстоянии — оба были босы — в сад. Она поплыла дальше, к яблоням. Присела под яблоней и вытащила из-под корней острую лопату.

— Я знаю, что ты здесь, — сказала она. — Не говори ничего. Просто помоги.

Он вышел из тени. Помона протянула ему творение отца: прекрасное, экстатическое лицо с вьющимися волосами, рот приоткрыт, а внизу — искуснейшим образом сделанная вульва, широко раздвинутые пушистые своды, изящные округлые губки. Помона сказала:

— Я не могу их разбить. Но могу спрятать. Под деревьями.

— Хочешь, я их сам закопаю.

— Они не твои. Я должна сама. По одной… по одной… И когда они все будут… — под-землей… тогда…

Филип обнаружил, что гладит пальцами холодный горшок, потому что не хочет предлагать Помоне фальшивое сочувствие. Он встал рядом с ней на колени, взял лопату и принялся копать. Помона вытащила кусок старой простыни, завернула вазу и сунула, без нежности и без злости, в яму. Филип протянул руку, чтобы помочь девушке встать, и тут же испугался, что она бросится к нему в объятия. Но она отстранилась.

39

В день свадьбы Проспера Кейна состоялась премьера «Питера Пэна, или Мальчика, который не хотел взрослеть» — в Театре герцога Йоркского на Сент-Мартинс-лейн. Премьера запоздала: она была намечена на 22 декабря, но задержалась из-за поломки какой-то сложной машины для особых эффектов. Машины должны были уменьшать «живую фею» до крохотных размеров с помощью огромной линзы. Орел должен был пикировать с небес на пирата Сми, хватать его за штаны и проносить над всем зрительным залом. В последний момент рухнул подъемник, увлекая с собой опоры декораций. Многое из того, что нам так хорошо знакомо — Русалочья лагуна, подземный дом, — еще не существовало. И наоборот, в первой постановке были сцены, которые потом убрали. Все это держалось под непроницаемым покровом тайны. Заново собранные в зале зрители — взрослые зрители, на вечернем представлении — понятия не имели, что им предстоит увидеть. Занавес поднялся, и они увидели уютную детскую: на кроватках мягкие одеяла, на стенах под потолком восхитительный бордюр — слоны, жи-

рафы, львы, тигры, кенгуру. Большая черно-белая собака просыпается от боя часов и встает, чтобы откинуть одеяла и наполнить ванну.

И Штейнинг, и Олив знали Джеймса Барри и потому оказались на премьере. Их компания заполнила целый ряд: Олив, Хамфри, Виолетта, Том, Дороти, Филлис, Гедда, Гризельда. На сцене пылал огонь в бутафорском камине. Трое детей, два мальчика и девочка (во всех трех ролях были молодые женщины), прыгали в пижамах, играя во взрослых. Они извлекали младенцев, как кроликов из шляпы, явно понятия не имея, откуда берутся дети. Зрители благодушно смеялись. Родители — в вечерних нарядах, как и сидящие в зале зрители — поспорили из-за собаки, которую звали Нана: мистер Дарлинг обманом заставил ее выпить противное лекарство и посадил на цепь. Ночник погас. Мальчик (еще одна женщина, Нина Бусико) с радостным криком влетел в окно, не забранное решеткой, в поисках своей тени.

На Олив театр всегда действовал одинаково — ее тянуло к столу, прямо сейчас, немедленно: начать писать, попасть в другой мир, который Барри удачно окрестил «Нетинебудет». Не домовитая собака и не очаровательные детишки привлекли ее внимание. А оторванная тень

Питера, которую родители Дарлинги расправили и встряхнули, а потом скатали и убрали в ящик. Тень была темная, не совсем прозрачная, она легко парила в воздухе — осязаемая театральная иллюзия. Когда Венди пришила тень на место и Питер Пэн затанцевал, и тень стала обычной тенью, отбрасываемой огнями рампы и прожекторами, падающей на стены и жестикулирующей, Олив была потрясена.

Удивительная сказка разворачивалась дальше. Дети летали. Пират с сальными кудрями размахивал зловещим крюком. Потерянные мальчишки демонстрировали полное неведение того, что такое матери, отцы, дома, поцелуи. Мальчики бесстрашно вонзали кинжалы в пиратов. Последовала захватывающая сцена, когда фея — живой мелькающий огонек — умирала в стакане с лекарством, и, чтобы ее оживить, зрители, верящие в фей, должны были похлопать в ладоши. Музыкантам в оркестровой яме был дан приказ хлопать, если в зале никто не станет аплодировать. Но — сначала робко, потом громогласно, потом в едином порыве, взрослые зрители захлопали в ладоши, утверждая свою веру в фей. Олив посмотрела вдоль ряда — кто хлопает. Штейнинг — да: вяло, из вежливости.

Дороти и Гризельда — сподвигнутые чем-то средним между энтузиазмом и хорошими манерами. Филлис — чистосердечно, с горящими глазами. Хамфри — иронически. Виолетта — сердито. Сама Олив — отчасти раздраженная, отчасти тронутая. Гедда — изо всех сил.

А Том — нет. А ведь Олив побилась бы об заклад, что Том будет хлопать громче всех.

В предпоследней сцене Венди испытывала Прекрасных матерей. В Детскую набилась толпа модно одетых женщин: они получали право на одного из потерянных мальчиков, если правильно вели себя при виде разбитой коленки или раскрасневшегося лица, или нежно и не слишком громко целовали давно потерянного сына. Венди царственно отвергла кое-кого из разодетых дам. Штейнинг под прикрытием ладони обратился к Олив:

— Это надо будет убрать.

Олив едва заметно улыбнулась и кивнула.

— Это частично пантомима, частично пьеса, — сказал Штейнинг. — Первична пьеса, а не пантомима.

— Ш-ш-ш, — шикнула на них модно одетая дама, сидевшая впереди — она не хотела пропустить ни слова из парада Прекрасных матерей.

Когда отгремела буря аплодисментов и зал заполнился ровным гулом — это зрители оживленно обсуждали спектакль, — Олив спросила Тома:

— Тебе понравилось?

— Нет, — ответил Том, корчась словно в агонии.

— Почему же?

Он что-то пробурчал, и Олив разобрала только слово «картонные». Потом произнес:

— Он же ничего не знает про мальчиков и выдумывать не умеет.

Штейнинг уточнил:

— Ты говоришь, что это пьеса для взрослых, которые не хотят взрослеть?

— Я? — переспросил Том. — Это вранье на вранье сидит и враньем погоняет. Всякому видно, что эти мальчишки на самом деле — девчонки.

Он ерзал и ежился в выходном костюме.

— Это совсем не похоже на «Алису в Стране чудес». То — настоящее Другое место. А это — веревочки, проводочки и маски.

— У тебя пуританская душа, — сказал Штейнинг. — Все, что ты говоришь, правда, но вот увидишь: этой пьесе суждена долгая жизнь, и люди охотно будут отказываться на время от

недоверия.[101]

В морозный вечер Хамфри и Олив отправились к Штейнингу в коттедж «Орешек» встречать Новый, 1905 год. Комнату освещали свечи. В камине пылали дрова. Разжечь камин оказалось нелегко, в комнате висел дым, и вся она пропахла дымом. Штейнинг подал гостям утешительную зимнюю еду — зимний гороховый суп с ветчиной, жареного фазана, фаршированного говяжьей вырезкой, брюссельскую капусту и каштаны, глазированные соусом из марсалы. Единственным гостем, кроме Уэллвудов, был Тоби Юлгрив.

Они говорили про «Питера Пэна». Тоби посмотрел пьесу и был в полном восторге. Это совершенно новое слово в театре. Тоби предположил, что юным Уэллвудам пьеса понравилась. Особенно Тому.

— Тому она страшно не понравилась, — печально сказала Олив. — Вопреки моим ожиданиям. Он всегда любил сказки — больше, чем остальные. Но эта его, кажется, разозлила. Он сказал, что это выдумка на выдумке, что она картонная. Ему не понравилось, что мальчиков играют женщины.

---

[101] Примечания: 101

Обыгрывается термин «the willing suspension of disbelief» («добровольный отказ от недоверия»), введенный английским поэтом-романтиком С. Т. Кольриджем в его книге «Литературная биография» (1817).

— Он никак не хотел отказаться от недоверия, — подхватил Штейнинг. — Это было странно, почти пугающе.

Тоби спросил, сколько Тому сейчас лет. Олив ответила, что, кажется, двадцать два. Тоби сказал, что постоянные провалы Тома на экзаменах, приступы нездоровья, мешающие держать экзамены, просто поражают, ведь Том далеко не глуп. Хамфри предложил придумать что-нибудь другое. Ведь не может же Том всю жизнь болтаться без дела. Дороти всего двадцать лет, а она уже сдала и единые экзамены, и предварительные научные экзамены, и начала учиться на врача. Она жила у Скиннеров на Гоуэр-стрит. Филлис оказалась дочерью-домоседкой. Хамфри даже не знал, что делает Том целыми днями. Большую часть дня его, как правило, не было дома. Олив неуверенно сказала: он иногда выражает намерение стать писателем. Хамфри сердито спросил, видела ли она хоть строчку, написанную Томом. Нет, ответила она. Не видела. Он пишет для себя.

— Но нельзя же зарабатывать писательством на жизнь, если пишешь для себя, — сказал Хамфри. Тоби назвал Тома скитальцем. Он имел в виду, что представляет себе Тома обитателем лесов и холмов, персонажем книг Хадсона и Джеффериса.

Штейнинг сухо заметил, что, может быть, Том так невзлюбил «Питера Пэна», потому что кое-кого узнал. Нет, негодующе возразила Олив, разумеется, нет; просто пьеса ему не понравилась.

Штейнинг сказал, что, кажется, в летнем лагере Тому нравилось помогать с кукольной постановкой. Он сделал несколько неплохих кукол. Может быть, его призвание — театр?

Олив смотрела в пламя свечи и сквозь него — на длинное, бледное, с правильными чертами, лицо Штейнинга, на которое снизу ложились темные тени. Большую часть жизни Тома Олив считала, что совершенно точно знает — ощущает телом, словно связанная с сыном мириадами паутинок, — где он, что он чувствует, в чем нуждается. Он был частью ее; часть ее бегала по лесам вместе с ним; подоткнув вокруг него одеяльце, она *чувствовала* его сон. Или ей так казалось. В последнее время она ловила себя на том, что употребляет в отношении к Тому, и тут же быстро отбрасывает, слово «загрубевший». Он щетинился. Он дулся. Он на все с ходу возражал. Он, кажется, перестал читать ее желания, как делал всю жизнь. Олив думала, что будет рада, если он найдет себе какое-нибудь занятие и перестанет… она едва не сказала вслух «рыскать по кустам».

Штейнинг сказал, что «Питер Пэн» вновь пробудил в нем желание написать совершенно другую пьесу с волшебством. «Питер Пэн» был весь понарошку, как играют дети — клоунада, как выразился Штейнинг. «Питер Пэн» вырос из английской пантомимы, которая вся — молчаливый сговор между актерами, режиссером и публикой. Штейнинг помолчал секунду и решил отдать спектаклю должное:

— Конечно, нельзя отрицать, что он поражает человека в сердце и завладевает его умом. На самом деле. Причем такими путями, которых странный человечек, написавший эту пьесу, даже представить себе не мог. Он сочетает милую невинность с совершенно сверхъестественными, пугающими прозрениями насчет мамочек и папочек… а эти образы папочки в собачьей конуре и злобного пирата Крюка? Ведь надо было додуматься — отдать обе роли одному и тому же актеру! Это работа гения, но гения извращенного, с умом искривленным, как штопор.

Он продолжал:

— Я хочу поставить пьесу с волшебством, которая будет ближе к *Gesamtkunstwerk* Вагнера, чем к пантомиме. В лагере на Болоте Денге мы сделали первый шаг к такой постановке. Что нам теперь

нужно, так это вариации — именно вариации — старых знакомых сказок, вкрученных нам в душу. Темный чертог под холмом, гость, танец болотных огоньков. Да, мы можем использовать театральную машинерию — не для того, чтобы у нас летали сладенькие хорошенькие девочко-мальчики в пижамках, но чтобы над сценой парили «белые дамы», чтобы летучие мыши и ящеры-драконы карабкались по скалам и ветвям. Я умею работать с освещением — и тенями — как никто другой в этой стране. В Германии есть кукольники, которые масками и марионетками способны зачаровать зрителей-детей и выбить из колеи зрителей-взрослых.

— Если вы планируете *Gesamtkunstwerk,* то вам понадобятся и певцы? — спросил Хамфри.

— Это не будет опера. Но в ней будет неземная музыка. Я вижу потайные флейты, скрытые барабаны и тамбурины. И рыдающие голоса, звенящие на ветру.

Он добавил:

— Дорогая Олив, я полагаюсь на вас: напишите мне такую сказку.

— Это будет нелегко…

— Но вы справитесь.

— У меня есть идея…

— Да?

— Но мне нужно подумать. Честное слово, я буду об этом думать.

В кенсингтонском доме воцарилось новое, бьющее в глаза счастье. Оно наводило на Флоренцию уныние, которому она изо всех сил старалась не поддаваться. Флоренция с Имогеной смотрели, как тащат вверх по узкой лестнице новую двуспальную кровать. Кровать была очень нарядная, с херувимами на изголовье — совсем не тот катафалк, что приснился Просперу. Флоренция засмущалась, глядя на кровать, хоть и постаралась не показать этого. Проспер и его молодая жена не могли друг от друга оторваться — хоть и старались сдерживаться, когда Флоренция была поблизости. Флоренции это действовало на нервы — она была *de trop* в родном доме, и не по своей вине. Имогена как-то попыталась с ней поговорить:

— Я понимаю, тебе очень странно видеть… теперь, когда я…

— Конечно, странно, — отрезала Флоренция. — Но это неважно. Не надо об этом говорить.

— Но я…

— Просто будьте счастливы. Я вижу, что вы счастливы.

— Я…
— Я же сказала — не надо.

Она и с Герантом, своим женихом, тоже не хотела об этом говорить. Герант часто приходил к ним — ему приходилось бегать по всяким делам между Пэрчейз-хаузом, хозяин которого так и не вернулся, «Серебряным орешком» и Музеем. В ноябре 1904 года Герант умудрился стать членом Фондовой биржи — до того, как правила приема ужесточили. В канун Нового, 1905 года он явился на ужин к Кейнам. Его встретила Флоренция.

— Я тебе кое-что принес, — сказал он. И протянул ей коробочку в вишневой бумаге, с серебряным бантом. Внутри было красивое кольцо с незабудками из аметистов и лунных камней в плетеных серебряных листьях работы Генри Уилсона, учителя Имогены.

— Серебро мое собственное, — сказал Герант. — Я купил его на складе, в Сити. И камни тоже купил, у знакомого, который занимается шахтами. Надеюсь, ты будешь его носить. Надеюсь, размер подойдет. Я спросил у Имогены.

Флоренция была поражена. Кольцо очень красивое. Она не ожидала такого от Геранта. Хотя и совершенно непонятно, почему. Она выжала из себя:

— Но помолвка не объявлена…

— Тебе не нравится кольцо?

— Как оно может не нравиться? Оно прекрасно. Только…

— Я буду счастлив, если ты станешь носить его на другой руке.

Флоренция сказала:

— Я решила идти учиться в Кембридж, в Ньюнэм-колледж. Я уже подала заявление.

Это была неправда.

— Я рад, — ответил Герант. — Я думаю… я думаю, что тебе там будет хорошо. Какое-то время. Я считаю, что женщины должны учиться и работать. Я могу приезжать в колледж и выводить тебя погулять.

Флоренция подумала, что он хороший человек, а она им беззастенчиво пользуется. Она была проницательна и понимала, что женщины склонны пренебрежительно относиться к мужчинам, которым при желании могут сделать больно. Она подумала: «Если бы я относилась к Геранту, как Имогена к папе, я бы бросилась ему на шею и зарыдала». Она медленно надела красивое кольцо на правую руку. Размер подошел идеально. Герант галантно и бережно взял эту руку и поцеловал. Потом поцеловал гладкую щечку

Флоренции. В голове у него пронеслось лихорадочное видение — сплетенные ноги и ягодицы на измятой постели мисс Луизы, которой он совсем недавно нанес визит, хоть и понимал, что этого делать не следует. Возможно ли, что Флоренция когда-нибудь станет вести себя так же? Он подумал: между тем, что люди думают, и тем, что они делают, зияет огромная дымящаяся пропасть, и это очень странно. Он решил удержать руку Флоренции, но тут вошли Проспер и Имогена. Они сами держались за руки, а у подножия лестницы еще и поцеловались на ходу.

— О, какое прекрасное кольцо! — воскликнула Имогена.

Флоренции захотелось кого-нибудь убить, но она сама не знала, кого.

В 1905 году Дороти стала ходить на практические занятия в Лондонскую женскую школу медицины. Студентки начали сопровождать врачей при обходах и препарировать трупы. Другие девушки были приветливы, но Дороти держалась замкнуто и не завела близких подруг. По вечерам она возвращалась в дом Скиннеров и занималась, а по выходным навещала Гризельду или Флоренцию. В сентябре того же года и Гризельда, и Флоренция стали первокурсницами Ньюнэм-

колледжа в Кембридже, и Дороти тосковала вдвое сильнее: потому что Гризельда и Флоренция так подружились, и потому что обеих теперь не было в Лондоне. Гризельда собиралась изучать языки, а Флоренция выбрала историю.

Осенью Дороти ощутила необычный для нее упадок духа. Анатомия ей нравилась, а вот терпение, страдания и краткие мгновения блаженства пациенток гинекологического отделения выбивали из колеи. В Женской больнице старались обустроить пациенток поудобнее: красивые занавески, букеты в глиняных вазах, яркие покрывала. Тела пациенток использовались по назначению. Тело Дороти — нет. Его закрывала длинная юбка — студентки, как и больничные сиделки, обязаны были носить юбки с собранным на тесемку подолом, чтобы лодыжки не открывались, даже когда хозяйка юбки склоняется над пациентом. Поверх длинной юбки надевался просторный халат. Волосы заплетались в косу и укладывались тугими кольцами на макушке или на затылке.

Совершенно внезапно и комично Дороти влюбилась. В демонстратора, доктора Барти, во время урока-вскрытия. Доктор показывал человеческое сердце и как его следует извлекать из полости, в

которой оно лежит и больше не бьется. В помещении пахло — разило — формальдегидом. Комната вентилировалась через небольшое отверстие в торцевой стене, под которым горел газ, чтобы вытягивать нагретый воздух. Больница располагалась в переделанном жилом доме — тесное помещение было забито женщинами, двадцатью живыми и одной мертвой, мягкой, как кожаный мешок. Доктор Барти попросил Дороти сделать надрезы для извлечения органа — крестообразный надрез перикарда, а потом, скальпелем побольше, перерезать шесть кровеносных сосудов, входящих в сердце, и два выходящих. Доктор Барти — крепкий моложавый мужчина в застегнутом зеленом халате и хирургической шапочке — похвалил точность работы Дороти. Он попросил ее вынуть сердце и поместить на поднос, чтобы другая студентка могла продолжить работу. Дороти обхватила сердце ладонями и потянула. Она взглянула на бородатого, сурово улыбающегося доктора Барти и *увидела* его. Время остановилось, будто Дороти уже целую вечность стояла с сердцем другой женщины в руках. Она увидела каждый волосок в черных бровях доктора, восхитительные серо-зеленые переливы его радужек, открытые темные тоннели зрачков.

Точеные губы в нитях пышной бороды, рыжевато-черной, слегка вьющейся. Зубы у доктора были белые и ровные. Видимо, Дороти разглядывала его неделями — как рассматривала все эти неодушевленные пальцы рук и ног, плюсны и предплюсневые кости, которые он ей показывал.

Такая беспомощность взбесила ее. Она втянула полную грудь загаженного воздуха и без сознания свалилась на пол. Мертвое сердце влажно шмякнулось рядом.

В обмороках ничего необычного не было. Правда, Дороти никогда раньше не падала в обморок. Ее вынесли наружу, стали обмахивать, умело поднесли ко рту стакан с водой. Она смотрела на доктора Барти, который был к ней добр. Он был одним из тех докторов, которые всячески старались проявлять доброту к женщинам и поощрять их. Говорили, что доктор Барти проявляет особый интерес к стройной мисс Литгоу, которая работала лучше Дороти и держалась сурово.

Дороти вернулась на Гоуэр-стрит и кое-как, словно ее силы иссякли, втащила себя наверх по узкой лестнице. Эта любовь была ей совершенно ни к чему. У нее была цель в жизни; страсть к доктору Барти или обмороки в его присутствии эту цель не приближали. Дороти подумала, что

все девицы глядели на доктора как-то слюняво, а теперь и она сама этим заразилась, как бациллами.

Она зарыдала. И не могла остановиться. Через некоторое время к ней постучал Лесли Скиннер. (Этта ушла на митинг.) Лесли спросил:

— Дороти, тебе нехорошо?

— Да, наверное. Извините. — Она снова зарыдала.

Лесли вошел и сел рядом с ней. Он сказал, что давно уже подозревал: она слишком усердно занимается. Она себя загоняет. Ей нужно отдохнуть. Может быть, отпроситься на пару недель и уехать домой, в деревню, подальше от вонючего лондонского воздуха. Дороти сотрясалась в рыданиях. Скиннер погладил ее по плечу. Она закрыла глаза, и в голове возникло лицо доктора Барти, полное жизни, загадочно улыбающееся. Лесли Скиннер прочитал вслух отрывок из статьи Элизабет Гаррет-Андерсон в *Encyclopaedia Medica.*[102] Дороти считала Андерсон, пожалуй, величайшей из всех женщин, когда-либо живших на земле. Она так упорно, так терпеливо, так аккуратно, так успешно боролась за право стать врачом,

---

[102] Примечания: 102
Медицинской энциклопедии *(лат.).*

женщиной-врачом, когда женщин-врачей не существовало в природе. Женская больница была ее созданием. К тому же Андерсон была замужем, но Дороти считала, что лишь немногие женщины могут быть одновременно врачами и женами.

«У здорового человека нервной силы достает для всех налагаемых на нее требований. Мы работаем и утомляемся, потом спим, едим — и вот мы уже как будто новые существа, готовые к работе следующего дня. Но через несколько месяцев непрерывной работы мы утомляемся иным образом: ночного отдыха и еженедельного выходного уже недостаточно. Нам нужна перемена обстановки — и полный отдых. Они помогают восстановить силы, и к нам возвращается готовность наслаждаться работой».

Скиннеры повели Дороти к своему врачу, и он сказал то же самое. Он не считал, что учеба не по силам мисс Уэллвуд или же превыше ее способностей. Но он счел, что ей необходимо отдохнуть. Ей следует отправиться за город, читать, гулять и ждать, пока к ней вернутся силы. Нервы Дороти дребезжали, как старое пианино, у нее раскалывалась голова. Дороти не хотела ехать в «Жабью просеку» — она считала, что это своего рода капитуляция. Но все равно поехала.

Виолетту Гримуит отрядили привезти Дороти домой. Виолетта, ни о чем не спрашивая, помогла Дороти уложить вещи. Сидя в дребезжащем вагоне поезда, идущего от Чаринг-Кросс на юг, прочь от городского дыма, Дороти закрыла глаза, чтобы с ней не заговаривали, и попыталась думать о любви с научной точки зрения. Это — заболевание нервной системы. Оно чем-то связано с аурой, которая, как говорят, предшествует эпилептическим припадкам. Это заболевание человек не сам навлекает на себя. Оно подобно удару по голове. От него можно оправиться.

Оно было чудовищно унизительно.

Это — то же самое, что половое влечение? Дороти была уверена, что никакого полового влечения не ощущает. Бывает ли оно почти абстрактным? Дороти совсем не хотелось хватать доктора Барти за разные места или чтобы он ее хватал.

Он вторгся в ее душу, завоевал ее.

Доктор Андерсон была права: усталость проделывает с людьми странные штуки.

«Жабья просека» уже не была детским царством. Гедду, которой исполнилось пятнадцать, и тринадцатилетнего Флориана отправили в Бедейлз, где они учились огородничеству, плаванию, физике, химии и самостоятельному

мышлению. Робин и Гарри (одному было одиннадцать, другому девять) в будни учились и жили в подготовительной школе в Танбридж-Уэллсе, а на выходные приезжали домой. Том и Филлис оказались не похожи на других детей: они так и не вылетели из гнезда. Филлис втянулась в заведенный Виолеттой уклад хозяйствования. Она пекла торты к фабианским пикникам и вязала кружевные воротнички для благотворительных распродаж. Ей уже исполнилось девятнадцать, она была хорошенькая, но ей недоставало живости. Тому было двадцать три. Он отпустил длинные волосы, одевался в потрепанное и бесформенное. Дороти на миг спрятала лицо у него на плече, и он был рад ее видеть. От него пахло конской сбруей, мехом и колючими кустами с ноткой дикого чеснока. Он сказал, что теперь можно вместе ходить гулять — в лесах как раз начали распускаться листья.

Хамфри дома не было, а Олив писала. Дети умели распознавать ритм ее писательства. На ранних стадиях сказку можно было отодвинуть, отложить в сторону, разбавить визитами гостей и поездками. Потом наступали периоды интенсивной работы, во время которых Олив забывала поесть и засиживалась далеко за полночь. Том

сказал Дороти, что рад ее видеть, потому что Олив «провалилась» — это было их старое детское словечко, обозначавшее, что мать с головой ушла в работу. Том не спросил Дороти, как она себя чувствует и почему приехала домой. Она подумала, что даже прошлым летом он, может быть, еще спросил бы.

Олив тоже ничего не спросила. Она поцеловала старшую дочь и неопределенно сказала: как хорошо, что Дороти смогла выбраться за город, Лесли Скиннер сказал, это именно то, что ей нужно. И добавила:

— Боюсь, я не смогу тебя развлекать, я с головой ушла в очень сложную пьесу, и она как будто ежедневно меняется.

Через пару дней после приезда Дороти Олив вышла к обеду и сказала, что им нужно «пошептаться». Дороти не хотелось ни о чем говорить, но она чувствовала, что это правильно: мать должна была предложить ей разговор.

Оказалось, что разговор касался Тома. Не попробует ли Дороти выведать его жизненные планы? Он начал зарабатывать какую-то мелочь: был загонщиком на охоте, чистил стойла, помогал собирать урожай, сажал живые изгороди. Но Олив не знала, чего он *хочет.* А Дороти знает?

Дороти хотела доктора Барти, хотя, к счастью, меж ними легло расстояние, и от этого смуглое лицо доктора стало более абстрактным, схематичным. Дороти не собиралась рассказывать матери про доктора Барти. Она сказала намеренно ровным голосом:

— Может быть, он именно этого и хочет. Заниматься ерундой.

И спросила, как женщина женщину, с ехидством, какого в себе и не подозревала:

— Он действует тебе на нервы?

— Я за него беспокоюсь, — с достоинством ответила Олив. — Мне хотелось бы, чтобы у него была цель в жизни.

— Понятно, — все тем же ровным голосом ответила Дороти. Кажется, они исчерпали предложенную тему.

Дороти пошла в лес, к древесному дому, вместе с Томом. Том широко шагал по тропинкам — так быстро, что Дороти за ним едва успевала. Он показывал ей разные вещи, как в детстве, — норы барсуков, гнездо ястреба, стайку грибов, которые, как принято считать, вообще не растут в Британии. Волшебные поганки, сказал Том с совершенно непонятной иронией.

Они дошли до древесного дома. Он был по-

прежнему удивительно хорошо замаскирован ветками и охапками папоротника. Том ухаживал за домом — в одиночку, надо полагать. Он впустил Дороти, развел огонь в печурке и торжественно заварил чай из ежевичных листьев собственной сушки. Он сказал:

— Я часто и сплю тут.

На куче сухого папоротника лежал спальный мешок.

— Мне нравятся звуки. Деревья. Звери и птицы. Скрип. Ветер, он налетает и улетает. Знаешь, иногда я просыпаюсь, и мне кажется, что меня нет.

— Страшно?

— Нет. Мне нравится. Хотел бы я уметь растворяться в живых изгородях, как всякие твари, которых не заметишь, пока они не двигаются. Лесные завирушки. Ночные бабочки. Я хотел бы иметь такую окраску — пеструю, в крапинках, как у ночных бабочек. Я пытался о них писать, но, по-моему, ничего хорошего не выходит.

— Можно почитать?

— Нет.

— А я упала в обморок, — сказала Дороти. — Я приехала, потому что упала в обморок. На занятии по анатомии. С сердцем в руках.

— Не надо. Меня тошнит. Теперь с тобой все

в порядке.

Это был не вопрос, а утверждение.

Дороти глотнула настоя из листьев. Она спросила:

— Том, ты когда-нибудь был влюблен?

Он сморщил лоб. Дороти подумала, что у него светлые и невинные брови. Чего же не хватает под этим лбом?

Он ответил:

— Однажды я был влюблен — примерно месяц. Я любил лису.

Он заметил явное удивление Дороти и добавил:

— Да, настоящую лису. Молодую, очень грациозную, с мягкой рыжей шкуркой, густым хвостом и сливочно-белой грудью. Она знала, что я за ней ежедневно наблюдаю. Она плясала передо мной, выделывала всякие грациозные штуки, то так изогнется, то этак. Лисы, они как будто умеют улыбаться. Мне казалось, что я — она, а она — это я. Что думала она, я не знаю. Потом у нее родились лисята, и она перестала приходить. Я плохо рассказываю. Это была любовь, не что иное, как любовь.

Воцарилось молчание. Дороти просто не могла рассказать про доктора Барти. Том сказал:

— Я читал сказку про ходячие деревья. Иногда я тут лежу, и мне кажется, что деревья надвигаются на древесный дом, поглощают его…

Дороти вдруг поняла, что он ее страшно раздражает.

— Я думаю, нам пора домой.

— Но мы только пришли.

— Я уже достаточно тут побыла. Я хочу домой.

Она плохо спала. Ночами она разгуливала по дому при лунном свете — свеча ей была не нужна, — ища, чего бы пожевать или чего бы почитать. Как-то ночью она услышала чужие шаги, шорох юбки, скольжение шлепанцев. Она застыла в темном углу, вжавшись в тени.

Это Олив, в домашнем халате в цветочек, плавно скользила к шкафу, где хранились семейные сказки. Она несла большую книгу, исписанную от руки; открыла шкаф и положила книгу на место. И ушла, не заметив Дороти.

Дороти мало интересовалась «своей» сказкой про ежиков-оборотней и волшебный народец, живущий в корнях деревьев. Она впервые задалась вопросом: пишет ли мать до сих пор для кого-то из детей? Дороти открыла шкаф со сказками. Там появились книги Робина и Гарри. Книга Флориана уже сильно разбухла. Только что при-

несенная матерью книга принадлежала Тому: его сказка уже расползлась на несколько книг, заняла целую полку, потеснив прочих детей. Дороти поколебалась и взяла книгу, помеченную «Дороти» — с феями и лесными жителями на обложке. Дороти не могла себе представить, каково это — быть писателем, сочинять истории. Она полагала, что ее собственная сказка давным-давно заглохла.

Она перевернула страницы и стала читать последнюю:

И вот Пегги отправилась в путешествие. Она повидала множество странных и удивительных вещей, заснеженные вершины гор и согретые солнцем южные луга. Она встречала интересных незнакомцев и каталась на блестящих, дымящих поездах. Ложась спать, она вспоминала другой, тайный мир в корнях Дерева, его обитателей, их странную речь — шипение и бурчание, писк и шепот. Она думала о незнакомцах, которых выручила, когда они запутались в колючих кустах или были ранены холодным железом: о Сером дитяти и Буром мальчике, об их пронзительных, нечеловеческих глазах. Они ей тоже помогали. Находили потерянное. Пели ей. Когда она думала о них, они истончались, бледнели, рассеивались

клочками тумана. Но они были с ней, и она знала, что они всегда с ней.

Когда Пегги наконец вернулась домой, на ней была длинная юбка с подолом, собранным на тесемку. Пегги пошла к Дереву; юбка волочилась по траве, сбивая росу. Дерево стало заметно старше, приросло трещинами и сучками. Пегги встала на колени и заглянула в дупло. Там лежал нетронутый слой пыли, неслыханное дело: раньше деловитые зверьки с метлами мгновенно вымели бы ее. Пегги перевернула кучу листьев в дупле, где всегда лежала ежиная шкурка-плащик: от прикосновения шкурка растягивалась, чтобы ее можно было надеть. Шкурка была на месте. Заскорузлая и пыльная. Пегги наклонилась, подняла шкурку и увидела, что это не ее ежиный плащик. Точнее, и он, и не он. Это был ежик, настоящий ежик, давно умерший и высохший, так что от него осталась только шкурка. На носу ежика засохли капельки крови, а блестящие глазки были закрыты веками.

И больше ничего.

Пегги пошла обратно по тропинке в длинной, тяжелой юбке, холодный ветер бесцельно шарил в ветвях деревьев, свет рассеивался просто так и ничего особенного не освещал, и птицы не пели.

Дороти отбросила книгу, словно ужаленная. Психология не была ее сильной стороной: она изо всех сил старалась быть практичной. Ей не хотелось думать о чувствах, спрятанных за этим финалом. В мозгу всплыл незваным гостем призрак доктора Барти. Дороти заплакала. Ей было стыдно. Она поспешила обратно к себе в спальню, легла и продолжала рыдать. Здесь у нее ничего не осталось.

Сама Дороти об этом так и не узнала, но ее спасла Виолетта, которая послала весточку в «Повилику» на случай, если Гризельда вдруг окажется там. Гризельда была там. На следующий день Дороти увидела, что Гризельда, одетая для деревни — в твидовый костюм, — едет на велосипеде к дому. Дороти медленно пошла — бежать ей не хотелось — навстречу. Они поцеловались.

— Ты выглядишь ужасно. Я услыхала, что ты тут, и приехала. Ты больна?

— Я упала в обморок. На анатомии. Я держала в руке сердце, уронила его и упала в обморок. Мне было ужасно стыдно.

— Ты перетрудилась. Я так и знала, что до этого дойдет.

— Меня послали сюда отдыхать.

— И как, действует?

— Нет. Не действует.

Они вошли в дом, и Дороти заварила чаю на две кружки. Гризельда спросила, не хочет ли Дороти погостить у нее в Кембридже.

— Гризель, а тебе там нравится?

— Там все немножко ненастоящее, но в каком-то смысле лучше настоящего. Учеба мне по правде нравится. Мне нравится *думать*, понимаешь… не о себе, а о чем-нибудь другом.

И вот Дороти собрала вещи, села на поезд вместе с Гризельдой и поехала в Кембридж. Ей отвели гостевую комнату в Сиджуик-холле.

Ньюнэм-колледж был суров, прекрасен и удобен. Здания из красного кирпича напоминали Голландию, то есть что-то уютное, домашнее. В колледже был прекрасный большой сад, с плодовыми деревьями, и летом юные дамы качались там в гамаках, читая Овидия или Джона Стюарта Милля. И хоккейное поле, где они, скрытые от внешнего мира (нельзя же, чтобы кто-нибудь увидел их ноги в укороченных юбках), играли энергично и с воодушевлением. И площадка для игры в крокет. Университет допускал женщин «в порядке исключения»: женские колледжи не являлись частью университета, и женщины, хоть и сдавали с мужчинами одни и те же экзамены,

не получали степеней бакалавра. Это были свободные женщины, желающие профессионально заниматься умственным трудом. Кое-кто в университете был активно против их присутствия. Эта оппозиция никогда не затухала и время от времени перерастала в яростную полемику или даже беспорядки. Согласно общему мнению, женщины представляли собой искушение и опасность для нравов (часто шатких) молодых людей, которые, в отличие от женщин, находились в университете по праву.

Наставники и преподаватели отвечали на противодействие сугубой осторожностью. Молодые дамы не могли ходить по территории университета без сопровождения. Они не имели права пригласить в гости мужчину, если он не приходился им отцом, братом или дядей. Некоторые мужчины-лекторы допускали студенток на свои лекции — всегда в сопровождении дуэньи, — а некоторые нет. Флоренция Кейн была единственной женщиной, посещавшей серию лекций в Тринити-колледже по истории экономики, и потому одна из сотрудниц Ньюнэма должна была сопровождать ее на лекции на велосипеде. Женщины чувствовали себя одновременно робкими и опасными, решительными и связанными по

рукам и ногам. Такое положение и бесило их, и, по временам, казалось ужасно комичным.

В истории человечества известны сообщества женщин — от монахинь, принимавших обет целомудрия и иногда молчания, до неимущих женщин, которых бесчеловечный Закон о бедняках отделял от мужчин. Но женщины, собравшиеся в Ньюнэме, были другие. Они добились исполнения желания — и даже потребности — упражнять свой ум, постигать природу вещей, от математических форм до валют и принципов работы банков, от греческой драмы до истории Европы. Поколение, чья молодость выпала на первое десятилетие XX века, было не таким суровым и устремленным в одну цель, как первопроходицы семидесятых и восьмидесятых годов предыдущего века. Женщины этого поколения зачастую работали не так тяжело, были чуть легкомысленней и иногда менее отчетливо представляли себе конечную цель своих действий.

И, как заметила Вирджиния Вулф в книге, действие которой начинается на лекции в том самом колледже, эти девушки испытывали симпатию друг к другу. Они завязывали дружбу. В основе этой дружбы лежало нечто иное, не похоть и покупки, не наряды и спаривание. По крайней

мере, в большинстве случаев. Часто.

В колледже существовали свои странные обычаи, к которым приобщилась и Дороти. Женщины жили в удобных комнатах, совмещавших функции спальни и гостиной. Комнаты отапливались каминами, в которых горел уголь. Камины зачастую оказывались с характером, и стоило немалого труда уговорить огонь разгореться. Еще в колледже были горничные: они приносили утром и вечером горячую воду и мыли посуду и фаянс. Ботинки чистил специальный человек, он забирал и возвращал их. Кровати тоже кто-то застилал, и кто-то таскал уголь для каминов. В самом начале колледж получил пожертвование, специальный фонд, из которого следовало платить жалованье камеристкам — по одной на каждые пять юных дам. Но камеристки оказались не нужны, и на эти деньги каждая студентка теперь получала по вечерам полпинты стерилизованного молока. Отсюда пошел обычай приглашать друзей на какао — зачастую эти пиршества происходили поздно ночью. Приглашения на какао вызывали беспокойство, зависть, блаженство и множество других эмоций. Еще в колледже существовал интересный обычай «предложений». «Она сделала ей предложение»

означало, что одна молодая дама формально предложила другой отныне обращаться друг к другу не «мисс Симмондс» и «мисс Бейкер», но «Сесиль» и «Элис». Гризельда получила множество таких предложений; Флоренция, которую побаивались, — меньше. Гризельда терпеть не могла *Schwärmerei*, как она это называла, и привлекала его в большом количестве своей бледной, сосредоточенной красотой. В первый вечер после прибытия Дороти Гризельда сказала ей, что среди студенток есть и неукротимые, независимые личности, и вечные школьницы; так и оказалось.

Дороти, привыкшую к вечной гонке студенческой жизни, обилию лабораторных работ и лекций-демонстраций, удивляло, насколько студентки вроде Гризельды и Флоренции были предоставлены самим себе. Флоренция, по-видимому, почти самостоятельно выбирала литературу для изучения и училась тоже самостоятельно; у нее был тьютор, который в лучшем случае кое-как комментировал ее сочинения. Гризельда изучала языки, и ей приходилось полегче. Она повела Дороти на лекцию Джейн Харрисон, преподавательницы античности: страстная, эксцентричная Харрисон была общественной фи-

гурой, известной за пределами колледжа и даже за пределами Кембриджа. Лекции она читала в летящих черных одеяниях, сверху прикрытых яркой изумрудной столой, которой она взмахивала, подчеркивая свою мысль, — почти как Лои Фуллер, которую напоминала и эффектным использованием картин волшебного фонаря с фотографиями, и рисунками с греческих статуй и ваз. Лекция была о призраках, привидениях и леших. В ней упоминались сирены, феи, ворующие детей, ангелы смерти, женщины на птичьих ногах, пожирающие мужчин, горгоны, убивающие взглядом. Лекция странно подействовала на Дороти: ей захотелось вернуться к учебе — в частности, потому, что лекторша напомнила ей мать. Гризельда сказала, что кое-кто из женщин влюблен в мисс Харрисон и старается сесть рядом с ней в обеденном зале. Говорили, что мисс Харрисон — отличный тьютор для тех студенток, которых она сочтет достойными своего внимания.

Они гуляли вдоль реки и катались на лодке — Гризельда, Флоренция и Дороти. Они обсуждали форму, которую должна была принять их жизнь. Гризельда сказала, что ей почти хочется провести остаток жизни в колледже — в основном потому, что здесь ее жизнь принадлежит только ей, и

она может делать что хочет, то есть думать о том же, что и мисс Харрисон, только в немецком варианте. Гризельда хотела изучать отношения между волшебными сказками и религиями, исследовать всевозможные вариации, повторения определенных сюжетов — скажем, «Золушки».

— И за это ты готова всю жизнь питаться бараньими ногами, обугленными снаружи и кровавыми внутри, и водянистым компотом из чернослива? — мрачно сказала Флоренция, которая сидела на корме, пропуская воду сквозь пальцы.

— Я не хочу вести дом и командовать прислугой; самой заказывать бараньи ноги и компоты, неважно какие — подгорелые и водянистые или нет. Мне будет тесно.

— А здесь тебе не тесно? Ты готова провести всю жизнь среди серьезных женщин и робких девушек, в искусственном мирке без мужчин?

— Тебе-то не о чем беспокоиться, — сказала Гризельда. — Ты помолвлена.

Про себя Гризельда удивлялась тому, как явно Флоренция умеет забывать о своей помолвке. Флоренция сказала, что с помолвкой тоже не все просто. Лодка плыла, воцарилось молчание.

— Правду сказать, — заговорила Флоренция, —

такие женщины, как мы — такие, какими мы стали, — неспособны жить ни без мужчин, ни с ними в мире, каким он был раньше. А если мы изменимся, а они — нет, то нам не дождаться от них помощи. Мы будем несчастными уродами, как Виола в «Двенадцатой ночи», как гарпии и горгоны мисс Харрисон. Ты не думаешь, что игнорировать половой инстинкт может быть опасно? Не боишься, что через двадцать лет изучения «Золушки» начнешь тосковать по детям, которых так и не родила?

— Вполне возможно, — сказала Гризельда, поднимая капающее весло и держа его на весу, чтобы повернуть лодку. — Но через двадцать лет беременностей, лихорадок, родов, сидения в четырех стенах — очень возможно, что я начну тосковать по «Золушке».

— Дороти, ты все молчишь. Ты допускаешь, что влюбишься и выйдешь замуж?

Дороти мысленно пересмотрела хранящийся у нее в душе образ доктора Барти. За то время, что она провела в Ньюнэме, доктор стал значительно менее материален. А именно — утратил пол. Осталась только улыбка, словно от Чеширского кота. Дороти стремительно пригнулась — лодка скользнула под плакучую иву, и сверху посыпа-

лись листья.

— Думаю, лучше всего предполагать, что нет, — ответила она. — Но никогда заранее не знаешь. Как вы думаете, право голоса поможет?

— Если женщин допустят на выборы, это уберет унизительное различие между ними и мужчинами — одно из многих. И тогда, может быть… в каком-то новом мире… женщины и мужчины смогут разговаривать друг с другом. Как люди. А сейчас вся эта агитация только делает женщин еще больше… женщинами, а мужчин — более сердитыми, более мужчинами. Конечно, женщины должны иметь право голоса. Но я не уверена, что право голоса как-то повлияет на то, что меня пугает. — Гризельда помолчала. — А вот если я напишу по-настоящему хорошую книгу, это может помочь. Или если ты изобретешь новую хирургическую операцию или откроешь новое лекарство.

— Ага, — мрачно заметила Флоренция. — Женщина обязательно должна добиться сверхъестественных успехов. Она не может ничего делать просто так, оттого что у нее есть на это право. Она обязана получить оценки выше старшего рэнглера, и все же не имеет права на степень бакалавра.

Гризельда зацепила воду веслом, подняв красивый веер брызг, лодка развернулась, и девушки поспешили домой — к чаю, глазированным булочкам и кексам. Дороти вдруг потянуло в Лондон, в лаборатории.

В 1906 году состоялись всеобщие выборы. Либералы одержали блестящую победу: было выбрано пятьдесят три кандидата от лейбористской партии, из которых двадцать девять открыто провозглашали себя социалистами. Произошел яростный и таинственный для непосвященных спор о природе палаты лордов. Джон Бернс, рабочий, вошел в сформированное правительство. Свирепый, задиристый Ллойд Джордж стал министром финансов. Герберт Джордж Уэллс, тоже свирепый и задиристый, вступил в Фабианское общество и прочел доклад о грехах фабианцев. Потомственные фабианцы — дети фабианцев, также вступившие в общество, — образовали «фабианскую детскую». Они были носителями передовых взглядов — молодые мужчины-идеалисты и решительные молодые женщины. Были учреждены фабианские летние лагеря — с лекциями, дискуссиями, вольными упражнениями. Дороти и Гризельда иногда посещали встречи «детской». Чарльз-Карл уехал в Германию, а из

Мюнхена переместился в Аскону, где полюбовался на необузданных юных немок, танцующих голыми, поучаствовал в спорах о вегетарианстве и понял, что анархия невозможна. В том году террористы бросили бомбу в испанского короля и его невесту-англичанку в день их свадьбы. Погибло двадцать человек. Чарльза-Карла одинаково отталкивали ненависть и отчаяние, нужные для такого поступка, и напрасная потеря человеческих жизней. В январе 1905 года, в Кровавое воскресенье, русские войска расстреляли рабочих, пришедших подать прошение царю, а в феврале великого князя Сергея Александровича, известного своей жестокостью, убил молодой революционер, бросив бомбу в его экипаж. Чарльз-Карл наконец принял решение и записался в Лондонскую школу экономики, чтобы изучать причины и структуру бедности под руководством Грэма Уоллеса и Джона Аткинсона Гобсона. Он знал, что не способен на убийство, и пришел к убеждению, что убийства — неподходящий способ. Поэтому он тоже вступил в ряды фабианцев и стал ездить в их лагеря.

Джулиан решил продолжать учебу и сейчас пытался сформулировать тему диссертации об английской пасторали в литературе и искусстве.

Он тоже ходил к фабианцам в компании мужчин помоложе, вроде Руперта Брука и Джеймса Стрейчи.

Неукротимый Уэллс опубликовал чрезвычайно странный роман «В дни кометы». Действие романа происходило в очень близком будущем. Магнитное поле пролетавшей мимо кометы полностью изменяло сексуальную природу людей, и род человеческий вдруг терял всякую разборчивость в половых связях, но не испытывал никакого чувства вины и сохранял здравый рассудок. Детей новое человечество готово было воспитывать в общественных яслях и школах за счет государства. Однако самые любимые читателями книги по-прежнему писались для детей. Эдит Несбит опубликовала «Детей железной дороги». Отец детей, героев романа, несправедливо сидел в тюрьме и был как-то связан с российскими революционерами. Еще Несбит опубликовала «Историю амулета» — первую книгу, в которой дети с помощью амулета, найденного в лавке старьевщика, попадали в далекое прошлое. Далекое прошлое и английская земля ожили, обрели плоть и вошли в кровь читателей «Сказок старой Англии» — книги Киплинга, полной волшебства, словно исходящего из-под холмов, из страны

фей.

Хамфри был рад окончательной реабилитации Альфреда Дрейфуса, в которой была некая печальная ирония. Дрейфус, бледный до прозрачности, двигающийся как-то механически, занял свой прежний пост капитана французской армии.

Олив писала. Она писала пьесу в соавторстве со Штейнингом. Они пробовали то один сюжет, то другой, эльфов, подменышей, Гриммов и леди Уайльд. И как-то раз Олив совершила налет на застекленный шкаф и унесла в коттедж «Орешек» книги с бесконечными странствиями-под-землей. Она нерешительно сказала, что эта сказка, конечно, очень длинная, ужасно длинная, но в ней есть кое-что… Штейнинг сам увидит…

Он загорелся энтузиазмом. Это было то, что надо. Шахты, тени, путешествие, сказочные существа, добрая королева и злая, группа бродячих волшебных созданий, гаторн… Олив словно учитывала его сценические возможности, его работу с освещением, когда писала все это. А Штерн и Вольфганг будут незаменимы для специальных эффектов, для создания этого мира. Весь 1906 год они писали, обсуждали и переписывали заново.

В конце этого года Том отправился в лес и обнаружил, что лесник срубил древесный дом. Это

были общественные леса, а лесника Том считал своим другом. Но вот лежит древесный дом, изрубленный и сложенный в поленницу, — даже тех ветвей, что скрывали и поддерживали дом, лесник не пощадил. Все, что было внутри, — печурка, рукописи Тома, какие бы ни были, детская коллекция косточек и шкурок кроликов и птиц, собранная когда-то Дороти, — все исчезло. И спальный мешок Тома, и кружка, и ножи. Его деревянная табуретка, порубленная на куски, лежала рядом с поленницей.

У Тома было очень мало убеждений, и те простые. Одно из них заключалось в том, что нельзя привязываться к вещам. Другие твари ведь к ним не привязываются. Том привык носить одну и ту же одежду, пока она не снашивалась окончательно, — хотя Виолетта время от времени отбирала у него одежду силой, стирала и возвращала ему. Том понял, что эти вещи, разрубленные на куски, — не вещи, а часть его самого. Или были его частью.

Поделиться было не с кем. Том подумал, не съездить ли в Лондон, чтобы рассказать Дороти, но потом подумал: а что толку? Он не знал, приходила ли она к древесному дому хоть раз после рассказа о лисе; Том жалел, что рассказал тогда

— словно предал не то лису, не то себя.

Он очень долго стоял не двигаясь, словно у могилы, переводя взгляд со светлых досок на бурый папоротник, с папоротника на замшелые ветви.

На солнце набежала тень, и похолодало. Том повернулся и побрел в лес.

40

В феврале 1907 года Гедде Уэллвуд стукнуло семнадцать. Она окончила Бедейлз с приличными, но не блестящими оценками и снова оказалась дома, в «Жабьей просеке». Она не знала, куда себя деть, а Хамфри и Олив были слишком заняты и ничем ей не помогали. Хамфри с головой — и с наслаждением — ушел в интриги Фабианского общества, приведенного к кризису амбициозными стремлениями Уэллса. Кроме того, Хамфри влюбился в телефон — один аппарат только что поставили в штаб-квартире фабианцев, и Хамфри серьезно подумывал об установке частной линии в «Жабьей просеке». Женщины составляли уже четверть фабианцев, и Хамфри посоветовал Гедде ходить на встречи «детской», члены которой были настроены радикальней и анархичней родительской группы. Олив в это время писала с небывалой силой, сотрудничая со Штейнингом и Штернами. Она неопределенно предположила, что Гедда подаст документы в Ньюнэм или Лондонскую школу экономики. Гедда нахмурилась и сказала, что имеет право сперва подумать. Виолетта заявила, что пока Гедда думает, она может

делать что-нибудь полезное по хозяйству, как Филлис. Гедда надела пальто и шляпу и сказала, что едет в Лондон повидаться с друзьями.

Этими друзьями были работницы, которые боролись за предоставление женщинам права голоса. Гедда обнаружила Социально-политический союз женщин и стала ходить в его новую штаб-квартиру в Клементс-Инн, в районе Стрэнда, помогать — писать письма, делать плакаты, собирать пожертвования. Олив, хоть и была фабианкой, но, как и многие ее преуспевающие современницы, не интересовалась суфражизмом. Хотя и не делала таких глупостей, как Беатриса Уэбб, поддержавшая петиции против права голоса для женщин, составляемые миссис Хамфри Уорд и другими дамами. Дороти. Гризельда и Флоренция хотели, чтобы женщины имели право учиться или работать, если захотят. Но девушки не считали, что право голоса мгновенно откроет им двери к интеллектуальной и финансовой свободе. Гедду назвали в честь ибсеновской героини, чья необузданная жизнь была принесена в жертву отсутствию смысла. Гедда была способна на негодование и, как впоследствии узнала она сама и окружающие, на ярость. Женщины-агитаторы знали, кто они; и знали, что важно в человече-

ской жизни. Для Гедды это решило дело.

В 1906 году, когда стало известно, что в королевской речи не будет ничего о правах женщин, Социально-политический союз женщин организовал походы на парламент. Сотня женщин ворвалась в здание палаты общин и стала силой — ударами зонтиков и ботинок — прорываться на заседание. Полиция отбила атаку не церемонясь и утащила растрепанных демонстранток, усыпав мостовую шляпными булавками, шпильками и чепцами. Десять женщин были арестованы и отказались платить штраф. Их посадили в тюрьму. Когда они вышли, другие женщины устроили праздник в их честь. Гедда была счастлива. Наконец-то что-то *важное,* борьба, правое дело, возможность стать стремительной стрелой, нацеленной в одну точку.

Сперва она только помогала в штаб-квартире. Девятого февраля 1907 года мирный Национальный союз организаций женского суфражизма устроил массовое шествие от парламента женщин к зданию английского парламента. Собралась толпа женщин из сорока суфражистских обществ, многие приехали с севера и из срединных графств. Среди них было много светских дам в ландо и автомобилях. Они были одеты в черное

и несли плакаты.

Погода была ужасная. Пронзительный холодный ветер закручивал потоки воды и хлестал в лицо. Юбки женщин — богатых и бедных — промокли и тащились по земле. Щеки и носы, исхлестанные дождем со снегом, горели. Грязь парковой земли, сточных канав, навозная каша на дорогах словно засасывала идущих. Но они продолжали идти — тысячами. Против них бросили конную полицию. Полицейские теснили женщин на пешеходных дорожках, толкали и швыряли под копыта и колеса. Женщины шли.

Гедда чувствовала себя как в походе, когда погода портится. Сперва опускаешь голову и пытаешься сохранить отдельные сухие местечки внутри отсыревшей одежды. Потом, когда одежда из сырой становится мокрой, а пальцы рук и ног коченеют, тогда поднимаешь голову и *глотаешь* непогоду, пробуя на вкус резкость ветра и воды. Это был «грязевой поход». Гедда была молода, сильна и бесстрашна. Ее толкнул полицейский. Она лягнула его острым каблуком ботинка. Он поскользнулся в грязи. На Гедде была кровь.

Гедда научилась выступать перед толпой. Она была на митинге в Саттоне, где кто-то выпустил в толпу мешок живых крыс. В женщин швыряли

всякой гадостью, тухлыми яйцами, выдували на ораторов кайенский перец из кузнечных мехов. Противники были неумолимы, изобретательны, сильнее многих женщин. Они умели выбивать стулья из-под ораторов. На собраниях мужчина мог схватить порядочную женщину за грудь, дыша пивным перегаром прямо в лицо, делая вид, что она сама напросилась.

Гедда боялась. Этот страх ее отчасти возбуждал. Он подтверждал, что она жива, что у жизни есть смысл, а раньше Гедда в этом сомневалась. Но страх был осязаем и усиливался по мере того, как Гедда начала понимать — и видеть своими глазами, — насколько реальна опасность: ее могли ранить или еще того хуже. Она сама зашивала порванные платья: не хотела, чтобы Виолетта задавала лишние вопросы. Она не говорила родным, куда ходит. Они думали, что она клеит марки на конверты или собирает пожертвования.

Разговоры все кипели. Частые демонстрации и другие выступления вращались вокруг условий жизни женщин и бедняков. В 1907 году в Кембридже студент Тринити-колледжа Бен Килинг, идеалист, воскресил кембриджское отделение юных фабианцев. Примечательно, что

оно стало первым обществом при университете, куда допускали и мужчин, и женщин. Килинг, социалист, пригласил выступить Кейра Харди — профсоюзного деятеля, феминиста. Килинг ловко отвлек воющую толпу университетских громил — игроков в регби, — подсунув им двух поддельных Харди в окладистых бородах и красных галстуках. В комнате у Килинга висел плакат, на котором пролетарии всех стран наступали, сжав кулаки. Подпись гласила: «Вперед, заре навстречу!» Казначеем общества стала женщина из Ньюнэм-колледжа, Кей Кокс; студентки и преподавательницы Ньюнэма не только приходили на собрания послушать, но и сами красноречиво выступали. Амбер Ривз, дочь Уильяма Пембера Ривза, вскоре ставшего директором Лондонской школы экономики, произнесла грозную речь, провозгласив относительность морали и выразив солидарность с российскими бомбистами и экспроприаторами — грабителями банков. Она была уверена в себе, красива и очень умна.

Приезжал выступать и Грэхем Уоллес, представитель старой гвардии фабианцев. Он вышел из общества из-за разницы во взглядах на свободную торговлю и поддержал — хотя и с оглядкой — попытки Уэллса перетряхнуть и реформиро-

вать общество. Чарльз-Карл учился у Грэхема в Лондонской школе экономики, и Грэхем взял его с собой в Кембридж. Уоллес говорил об иррациональности человеческой природы в политике — о стадном инстинкте, о бурлении подсознания в толпах и группах. Зигмунд Фрейд, исследователь глубин подсознания, был еще мало известен в Кембридже. Книга «Толкование сновидений», в которой утверждалось, что все мальчики мечтают убить отца и жениться на матери, вышла в Германии в 1900 году, но еще не разошелся даже первый тираж — 600 экземпляров. Чарльз-Карл знал об этой книге благодаря знакомству с шальным анархистом-психиатром Отто Гроссом, который проповедовал Пана и Эроса вакханкам из Мюнхена на склонах горы Истины возле Асконы. Общество исследования психики, объединявшее серьезных психологов и ярых спиритуалистов, также обратило внимание на *Traumdeutung*,[103] сочтя работу Фрейда со снами новым способом исследования души — может быть, даже Общей Души, к которой должен быть доступ у всего человечества. Иррациональное бурлило, всплывало и там, наверху, встречалось

---

[103] Примечания: 103
Толкование сновидений *(нем.)*.

с рациональным, которое цеплялось за него — с радостью, с опаской или, как в Кембридже, блистая остроумием.

В летнем семестре юные фабианцы Кембриджа решили пригласить Герберта Метли прочитать им лекцию. Они хотели, чтобы он поговорил об отношениях между полами. Уэллс в это время пытался вернуть себе респектабельность после «Современной утопии» и романа «В дни кометы» и отрицал, что когда-либо защищал «нечто ужасное, называемое свободной любовью… нечто вроде утопической свободы сладострастия… абсолютную противоположность регулируемой рождаемости, к которой стремятся социалисты». Метли писал колонки в журналы под псевдонимом «Вудхус» — о необходимости нового язычества, «естественного» поведения, «спонтанности» и «надлежащего уважения к жизненной силе». Он писал рассказы о женщинах — жрицах Геи, постигших древнюю богиню Хтон. (Он консультировался в письмах с Джейн Харрисон.)

Метли выступил перед юными кембриджскими фабианцами с докладом «Об условностях литературного романа». Такая тема звучала достаточно невинно, не привлекая внимания цензоров и критиков. Лекция состоялась в аудитории для ли-

тературных чтений на Тринити-стрит. Пришел послушать Джулиан Кейн, а с ним и некоторые другие «апостолы» — в том числе красавец Руперт Брук из Королевского колледжа, страстный фабианец. В зале Джулиан обнаружил свою сестру в элегантном синем платье и Гризельду Уэллвуд в серебристо-сером, а также других ньюнэмских студенток. Был тут и Чарльз-Карл, который приехал навестить сестру и поработать для нее «дуэньей» — последнее разрешалось ему как старшему брату, уже окончившему университет. После лекции их всех пригласили на ужин, к Бруку домой, для неформального обсуждения. Книги Метли уже и раньше страдали от цензуры: ему приходилось вести себя на публике осмотрительно.

Он очень остроумно говорил о том, как условности романа отражают условности отношений в обществе. Роман обязательно должен кончаться свадьбой — и это до сих пор так, хотя великие романисты уже открыли, что жизнь и любовь, особенно любовь, продолжаются и после свадьбы и не ограничиваются узами брака. Метли говорил о том, что умные молодые читатели романов, постепенно набираясь жизненного опыта, начинают понимать: реальный мир не совсем

соответствует романным описаниям и устоявшимся в обществе убеждениям. С одной стороны, юные дамы, находящиеся в зале, наверное, не очень верят, что само их существование, их присутствие стало бы нестерпимой провокацией для находящихся в том же зале юных джентльменов, если бы не дуэньи? С другой стороны, эти юные джентльмены, наверное, не совсем склонны превращать этих юных дам в идолов, богинь, видения совершенства? Они пришли побеседовать с ними пристойным и надлежащим образом. Они все — взрослые люди и сами распоряжаются своей жизнью.

А потом он — исподволь, пугающе — сменил курс. «У меня перед вами некоторое преимущество — несколько лишних лет опыта, наблюдений, не более того», — сказал он и заявил: взрослея, слушатели непременно начнут осознавать, воспринимать, наблюдать множество явлений — тончайших оттенков чувств, странных общественных феноменов, зачатков отношений, проблем, которые вовсе не встречаются в романах. Тут следует упомянуть и о половом влечении, ибо умолчать о нем было бы нечестно. Герои романов вынуждены вкладывать рвущиеся из глубин чувства — которые

в романах, и, может быть, в жизни тоже, они вынуждены подавлять, — в почтительные, целомудренные поцелуи. Читатели поневоле учились читать шифры, намеки — если героиня снимала перчатку, а тем более чулок, это означало нечто гораздо большее. Метли признался, что его всегда удивляло прозвище дам-ученых, умных женщин — «синий чулок». Ведь само по себе это выражение прекрасно и загадочно и наводит людей именно на те мысли, от которых призвано отвлечь, — мысли о человеческом теле во всей его силе и красоте.

Он уже упомянул, что не может не говорить о половом влечении. Но нельзя сказать, что это — единственное или самое сильное чувство. Это было бы неправдой. Женщины в романах бывают святыми, грешницами, женами, матерями. Иногда — актрисами. Но никогда — политиками, финансистами, врачами или адвокатами, хотя могут быть художницами, из тех, что, по выражению Джордж Элиот, «не пошли дальше расписывания вееров».[104] И все же современные женщины ощущают, что в них живут, тянутся к свету угнетенные врачи и адвокаты, банкиры и

[104] Примечания: 104
Дж. Элиот. Миддлмарч. Перевод И. Гуровой, Е. Коротковой.

профессора, политики и философы. Изобильная подземная жизнь *приближается к поверхности,* вслепую нашаривая выход через прожилки и туннели, словно корни, движущиеся подобно животным. И даже если эта энергия вырывается на поверхность, пробивая себе путь из-под кожи, на нее тут же набрасываются пожилые мегеры, подобные Герцогине и Червонной Королеве, — и молотят по ним молотками, и сковывают железными обручами, по выражению Блейка, или, если воспользоваться другой метафорой, отвечают, как шут королю Лиру, воскликнувшему: «О, к сердцу подкатило! Вниз спускайся!»:

— Крикни ему, дяденька, как кухарка кричала живым угрям, когда клала их в пирог: она стукала их по голове и приговаривала: «Спокойней, негодники, спокойней!»[105]

Затем Метли заявил, что подавление естественных чувств в конечном итоге калечит и тело, и разум. А романисты, подавляя эти чувства и не допуская их в роман, калечат роман, придают ему инфантильность, превращают добрый вымысел в плохое вранье.

---

[105] Примечания: 105

У. Шекспир. Король Лир. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Комнаты Руперта Брука, отделанные кожей в продуманно-потрепанном стиле, были гораздо шикарней комнатушек ньюнэмских студенток. На ужине присутствовало несколько «апостолов» и несколько фабианцев, в том числе — ньюнэмские дамы. Они стоя потягивали шерри и робко обсуждали лекцию.

Джулиан думал о том, что Руперт Брук — самый красивый мужчина Кембриджа. Все его черты были дивно соразмерны друг с другом: лоб, подбородок, губы; плечи, талия, длинные ноги. Кожа у Руперта была млечно-белая, а глаза с длинными ресницами — небольшие, серо-голубые. Он носил длинные волосы, разделенные на прямой пробор, и вечно откидывал их назад. Волосы были ярко-золотистые, с оттенком лисьей рыжины. Брук редко смотрел собеседникам в глаза. Голос у него был не такой красивый, как лицо, — слишком высокий, не звучный, чуть писклявый. В Кингз-колледже все, один за другим, влюблялись в Руперта, а он как будто не замечал. Джулиан подумал, что Брука выбрали в «апостолы» из-за его сходства с греческой статуей — «апостолы» просто его вожделели; в общество порой принимали людей, интересных смазливой внешностью, но отнюдь не интеллектом. Джулиана не влекло к

Руперту. Руперт как будто чересчур старался, был слишком дружелюбен со всеми подряд.

Но присутствие Руперта сподвигло Джулиана критически взглянуть на сообщество «апостолов». Серьезные «апостолы» были некрасивы: костлявы, неуклюжи, а самое главное — бледны. Словно твари, выползающие из-под камней, подумал он. Какие-то застиранные. Джулиану вспомнилась метафора из сегодняшней речи — бледные корни, шарящие в темноте, и он посмотрел на длинные пальцы Стрейчи, словно лишенные нервов, на тощие шеи и сутулые плечи своих однокашников. Они были звездами в своем маленьком мирке, но за его пределами робели. Джулиан порой, приступами, думал о том, что с него хватит всей этой серьезности и похабства. Он наполовину итальянец. Ему нужно красное вино и выдержанный сыр, а не тосты, намазанные медом.

Он искренне сказал сестре, что присутствие ньюнэмских дам делает ужин намного интересней. Флоренция спросила, что он думает о лекции, и он ответил, что Метли — мастер смешивать метафоры.

— Но ведь он прав, — сказала Флоренция.

Она перешла в другой конец комнаты, где до-

прашивали писателя, и громко воскликнула: по ее мнению, он выразил именно то, что давно следовало выразить.

Метли протянул ей обе руки. Худые, крепкие, загорелые руки ухватили Флоренцию одним вежливым движением.

— Огромное вам спасибо, — сказал он. И добавил: — А я вас помню. Вы были на моей лекции в Пакета и *слушали.* Лектор всегда рад видеть лицо, на котором читается истинное понимание. Сегодня это случилось во второй раз.

Он не уточнил, что понимающее лицо гораздо более ценно, если оно молодое, женское и красивое. Но в его взгляде это читалось. Флоренция покраснела, а потом опять побледнела. Она что-то спросила про какой-то из его романов.

Когда подали ужин, оказалось, что Джулиан сидит рядом с Гризельдой Уэллвуд. Он обнаружил, что она, подобно ему самому, обдумывает возможность посвятить жизнь науке.

— Что же ты хочешь изучать? — спросил он.

— Я ведь наполовину немка. Я хотела бы изучать немецкие волшебные сказки. Их уже до меня изучали — как образцы древнегерман-

ских верований, жизнь *Volk*,[106] возвращение к арийским источникам и все такое. Но меня не это интересует. Меня интересует как раз то, чем сказки отличаются от мифов. Почему существует столько разных версий — буквально сотни — одной и той же сказки, например, про Золушку или «Пеструю шкурку», и они одновременно похожи и различны. Они живут по определенным правилам, и я хотела бы узнать эти правила.

Джулиан заинтересовался. Он спросил, что это за правила.

— Они кажутся мне разноцветной мозаикой, в которой отдельные маленькие кусочки все складываются вместе. Почему мачеха всегда говорит, что героиня родила чудовище? И почему король приказывает отрубить ей руки и повесить ей же на шею, посадить ее в лодку и оттолкнуть от берега? И почему отрубленные руки всегда чудом прирастают обратно?

Джулиан делано вздрогнул. Он сказал, что эти сказки очень кровожадные, и те, кто считает, что нельзя давать их детям, совершенно правы.

— Это другой вопрос, который я тоже хочу изучать. Мне кажется, что настоящие сказки не

---

[106] Примечания: 106
Народа *(нем.)*.

пугают. Ты как бы принимаешь их правила. Они работают в огороженном мире — не в настоящем, а в мире, где ничто никогда не меняется. Ведьм наказывают, девчонки-гусятницы становятся принцессами, потерянное возвращается.

— Не знаю. Когда я был маленький, меня страшно пугали глаза, насаженные на колючки, и мертвецы на кольях вокруг стеклянной горы, и то, что ведьму посадили в бочку, утыканную гвоздями.

— Я могу предположить, что это был в каком-то смысле радостный испуг. А вот сказки Андерсена действительно делают читателю больно. Когда Русалочка ходит по ножам и лишается языка.

— Значит, ты собираешься остаться в Ньюнэме и исследовать магические леса и замки, забытый мир над кружевом валов?[107]

— Я никак не могу решиться. Иногда я думаю, что женский колледж — хуже башни, в которой заточили Рапунцель, и даже хуже пряничного домика. Я боюсь развоплотиться. Ты понимаешь, о чем я? Думаю, для мужчин это немного по-другому.

— Может быть, и нет. Я пишу диссертацию об

---

[107] Примечания: 107

«И та же песнь не раз / Таинственные окна растворяла / В забытый мир над кружевом валов» (*Дж. Китс.* Ода соловью. Перевод И. Дьяконова).

английской пасторали — я хотел сравнить поэтов и художников. Взглянуть на мир спенсеровской «Королевы фей» и работ художников — последователей Уильяма Блейка. Ты знаешь Сэмюэла Палмера?

— К сожалению, нет.

— Он рисует волшебные копны сена, сквозь которые льется золотой свет. Английские поля. Манящие. Прекрасные. Невинные. Ты наполовину немка, а я наполовину итальянец, и мне иногда кажется, что этот колледж — лишь апофеоз частной школы: он похож на торт, покрытый глазурью, а мы сидим в нем как… как…

У него в голове возник образ заколдованных крыс и мышей, но он сам не понял, почему, и не стал об этом говорить. Он сказал:

— … как морские свинки.

— Морские свинки?! Боже мой, почему? — рассмеялась Гризельда.

— Не знаю. Нет, знаю. В удобной клетке.

Они улыбнулись друг другу. У Гризельды было тонкое, гибкое тело. Лицо — бледное, и ресницы тоже, и тонкие золотистые волосы, так скромно убранные в узел. Но она не была белесой, как шарящие-под-землей корни-апостолы, она была бледной не потому, что жила во тьме. У нее была

тонкая талия. Джулиан подумал, что она гораздо красивее розового, сливочного, хорошенького Брука. Он вдруг вспомнил, что они с Гризельдой купались голыми в лесном лагере несколько лет назад — и он тогда не обратил внимания, потому что смотрел только на Тома.

— В музее Фицуильяма работает один старик, у него есть коллекция Сэмюэла Палмера. И Эдварда Кэлверта. Мне хочется их тебе показать. Приходите с Флоренцией, тогда все будет очень пристойно.

— Ужасно странно, что приходится соблюдать пристойность, хотя мы так давно друг друга знаем. Очень глупо.

В палящем июне, через несколько недель после доклада Метли, Чарльз-Карл погрузил велосипед в поезд на вокзале Чаринг-Кросс, вылез в Рае и поехал через Ромнейское болото, мимо Ист-Галдфорда, Манипенни и Брумхилл-Левел, лавируя между плотинами и сточными канавами, видя, как над головой кружатся ржанки, слыша крики гусей и плеск играющей рыбы. Он проехал вдоль водоотводного канала Джурис Гат к Пигуэллу, обогнул Мидрипские пруды и армейские стрелковые полигоны в Лидде. Наконец он подъехал к домику, стоящему на отшибе,

в саду, продуваемом всеми ветрами, но полном цветов. Перед домиком висела нарисованная доска: «Коттедж „Бёрдзкитчен-корнер“». Домик был старый, кирпичный, с верандой, перед которой стояла скамейка. Газон — небольшой, неровный, с подсыхающей травой. На газоне маленькая девочка играла с разномастными глиняными чашками, тарелками, блюдцами. Вокруг нее расселись куклы и игрушечные звери. У девочки были длинные тонкие каштановые волосы и аккуратное личико.

— Если не будешь шалить, — говорила она тряпочному барсуку, — получишь два кусочка.

Девочка разлила по чашкам воду из чайника и разложила по тарелкам головки одуванчиков.

— Хотя ты все равно всегда шалишь, — добавила она, подняла голову и увидела Чарльза-Карла.

— Привет, Энн, — сказал он.

Она встала, повернулась и убежала в дом. И снова вышла уже в сопровождении Элси, вытирающей о фартук испачканные в муке пальцы.

— Я так просто, проезжал мимо, — сказал Чарльз, робко улыбаясь.

— Здесь не так часто люди проезжают, особенно оттого, что эта дорога никуда толком не ведет.

— А мне она понравилась. Вот я взял да и по-

ехал по ней.

— Сядь, — приказала Энн. — И я дам тебе чаю с пирогом.

— Можно? — спросил он у Элси.

— Думаю, да, — ответила она.

Так что он сел на скамью, и ему вручили чашку синего люстра с чистой водой и розовую тарелку с двумя одуванчиками и маргариткой.

— Красивые чашки и тарелки, — сказал Чарльз-Карл.

— Это Филип для нее делает. Хотя нет — ту тарелку, что вы держите, я сама сделала много лет назад.

Они помолчали. Карл полез в свой заплечный мешок, вытащил перевязанный ленточкой сверток в блестящей зеленой бумаге и вручил его Энн. Она содрала бумагу. Это оказалась книжка детских стихов с красивыми картинками. Энн прижала ее к груди и сказала Чарльзу-Карлу:

— Я вообще умею читать, совсем-совсем сама.

— Правда, умеет, — подтвердила Элси. — Я ее научила.

И добавила:

— Можете остаться на ужин, если хотите. У нас есть треска, хватит на троих, картошка и соус из петрушки.

— С удовольствием.

Так что они пошли в дом, уселись за стол и продолжали мирно беседовать — как с Энн, так и о ней.

— А миссис Оукшотт в отлучке?

— Она уехала на лекцию в Хайт. А Робин убежал играть с приятелем. Так что мы тут наслаждались мирным одиночеством, пока не появились вы.

Элси к этому времени стала помощницей учительницы в школе Пакси. За это ей кое-что платили, и она делила домик с Мэриан Оукшотт. Чарльз-Карл, похвалив сочную треску и свежий соус, спросил, интересна ли работа — сбылись ли ожидания Элси.

— Интересная, да, — ответила Элси. — Мне нравится быть нужной, и приятно смотреть, как радуются малыши, когда начинают читать. Но мне этого мало. Не знаю, будет ли мне когда-нибудь довольно.

— Мне ужасно нравится смотреть, когда у вас такое лицо, как будто сердитое. Это было первое, что я в вас заметил — такое конструктивное недовольство.

— Ну, я думаю, это вряд ли поменяется.

— Не знаю…

Элси резко встала и принялась мыть посуду.

Чарльз-Карл взял полотенце и стал вытирать тарелки. Энн убрела прочь, свалилась на диван и заснула. Взрослые вышли и сели на скамью у веранды, глядя на заросли камышей и полосы гальки. Карл сказал:

— Вы единственный человек в целом мире, с которым мне совсем спокойно. Хотя вы такая колючая и ничем не довольная.

— Мне с вами тоже нравится. Но это ни к чему не ведет. Дальше пути нет. Эта дорога идет к полосе гальки и там просто кончается.

— Мне бы хотелось видеть вас гораздо чаще… быть с вами. Ваше общество мне полезно.

— Мое общество не полезно никому, кроме Энн. Ну и малышей в школе, надо полагать. Видите ли, мистер… Карл, я сделала ошибку, но не собираюсь ее повторять.

— Все будет совсем не так, как тогда.

— Вы ведь не знаете, как было «тогда». Как я сама себе постелила, так мне теперь и лежать. У меня есть хорошие друзья. А мы с вами — как на чаепитии понарошку, с водой и одуванчиками. Мы с вами из двух разных миров, и они вместе не сходятся.

— Я в это не верю.

— А я думаю, что верите. Вы ведь даже не смо-

жете привести меня домой, в свое высокородное семейство — не сможете, не обманывайте себя. Мы с вами вместе каши не сварим.

Вместо ответа Чарльз-Карл обхватил ее руками и яростно сжал в объятиях. Он и сам этого не ожидал. Их головы сблизились. Он сказал:

— Я хочу тебя. Ты мне нужна. Мне нужна ты.

У нее в глазах стояли слезы. Он их вытер. Он поцеловал ее; оба дрожали; поцелуй был осторожный, а не жадный.

— Мне нельзя с тобой. Я должна быть респектабельной.

— О, любовь моя, я знаю. Я знаю.

Они отпрянули друг от друга, потому что из домика вышла Энн. Чарльз-Карл сказал, что ему пора. Он спросил:

— Можно, я буду приезжать?

— Я же не могу запретить тебе проезжать мимо… по дороге, которая никуда не ведет…

— Я вернусь. Скоро.

— Энн, скажи спасибо мистеру Уэллвуду за книжку.

Он уехал.

41

В начале пасхального семестра Герберт Метли снова приехал в Кембридж. Ньюнэмское литературное общество пригласило его провести беседу в неформальной обстановке, за чайным столом в Норт-холле. Метли говорил о переменах, которые должны произойти, уже происходят в жизни женщин по мере того, как торжествует политика разума. Он сказал, что женщины имеют право на удовлетворение всех своих нужд, но не упомянул ни о свободной любви, ни о предложенных мистером Уэллсом государственных детских. Флоренции казалось, что он говорит специально для нее, откликается на ее интерес и держится подальше от того, что ее не интересует. Она вспомнила теплое пожатие его худой руки в Королевском колледже. Она смотрела на его лицо и тело. Он некрасивый, это несомненно. Шея напряженная, слишком мускулистая вокруг адамова яблока. Рот слишком большой, но не вялый, а очень подвижный. Брови танцевали на лице, пока Метли переходил от приятных тем к неприятным. Он по-мальчишески откидывал волосы с лица, но был мужчиной, а не мальчи-

ком. Флоренция снова вспомнила хватку его рук. После беседы женщины кинулись к писателю с вопросами. Флоренция спросила, думает ли он, что брак со временем отомрет, и Метли ответил, что нет: по-видимому, людям, как и лебедям и некоторым морским птицам, нужно долговременное гнездо и долговременный партнер. Но у других созданий — другие привычки. Оглядывая столпившихся вокруг студенток, он думал, что идею одежды-тюрьмы — неуклюжих шляп и тренов, невозможной обуви, калечащей ступни, как в Китае, — можно победить. Сегодняшние молодые женщины катаются на велосипедах — чуть раньше это было бы немыслимо. Перед уходом он пожал всем руки. Руку Флоренции он держал в своей слишком долго. Его пальцы играли ее пальцами.

Вернувшись к себе в комнату, Флоренция забегала из угла в угол, неутоленная, неудовлетворенная. Она выглянула в сад и увидела двух женщин, играющих в бадминтон на фоне серого неба — летающий хрупкий волан показался ей символом бесцельности ее существования. Ньюнэм во многом напоминал тюрьму. Флоренция была готова расплакаться.

Он постучал в дверь. Она открыла. И захлебну-

лась удивлением.

— Все в порядке, — сказал он. — Я сказал, что я друг семьи, нечто вроде дядюшки, и кое-что потерял, очень нужную вещь — и вот я нашел тебя. Впусти меня и закрой дверь.

Она впустила его и закрыла дверь.

Он сказал:

— Это за тобой я вернулся, тебя потерял и нашел. Я уверен, ты чувствуешь то же самое.

Она не двигалась, только издала какой-то звук — не то всплакнула, не то ахнула.

Он обнял ее и поцеловал — нежно, легко. Тронул грудь под блузкой — сначала нежно, потом смелее. Стал гладить бедро, и она невольно откликнулась, прижимаясь к нему. Вместо его тела она чувствовала только плащ с пуговицами. Он отстранился, расстегнул пуговицы, сбросил плащ. Сказал:

— Вот теперь ты почувствуешь, чего я хочу.

Флоренция молчала. Если бы она заговорила, то лишь для того, чтобы запротестовать, а протестовать она не собиралась.

— Пуговицы, — сказал Герберт Метли, — это скучно и вместе завлекательно.

Он расстегнул несколько пуговиц на блузке Флоренции. Вжался лицом в корсет под блузкой.

Усы кололись. У Флоренции зачесалась кожа. Он не снял с Флоренции юбку, но шарил руками по телу сквозь нее. Тело Флоренции вышло из-под власти разума. Оно подалось навстречу Метли и прильнуло к нему.

И тут он сказал:

— Мне нужно идти. Помни: это — хорошо, это — правильно, это — твое право. И пока меня не будет, красавица моя, не изменяй этому убеждению. Я тебе напишу. Я придумаю, где нам можно встретиться, и тогда…

Он ушел, а она стояла, расстегнутая, неудовлетворенная, каждый нерв был раскален, наэлектризован, а она даже не умела вообразить то, чего ее заставили яростно жаждать. Она застегнулась и подумала: «Это опасно, я дальше не пойду, не буду отвечать на его письмо». Но токи неизведанного желания пробегали по телу — вопреки разуму.

И когда пришло письмо — остроумное, искушающее, настойчивое, — Флоренция ответила. Был солнечный день, середина мая. Флоренции хотелось иметь собственную жизнь. Поэтому она отправилась обедать с Гербертом Метли втайне, без сопровождения, в ресторан «Chez Tante Sophie» с очень сильно занавешенной вит-

риной, где-то в переулках Сохо. На Флоренции было хорошенькое зеленое платье и легкомысленная шляпка с длинными лентами. В ресторане они ели снетков, бресскую пулярку и блинчики «сюзетт» и выпили немало белого бургундского. Они говорили о литературе и женском вопросе, об агитации за предоставление женщинам права голоса. Метли сказал, что роман о подлинно свободной женщине, которая не является товаром и сама решает, как ей жить, еще будет написан. Флоренции это было отчасти неприятно — такой бунт казался старомодным по сравнению с идеями некоторых ньюнэмских женщин, трезво смотревших на реальные трудности. Но Флоренция решила пуститься во все тяжкие, поэтому улыбалась не переставая и даже — нехарактерно для нее — по-девичьи взвизгнула от восторга, когда официант поджег облитые коньяком блинчики и они вспыхнули синим пламенем.

Оказалось, что кофе и коньяк они собираются пить в заказанном Метли небольшом отдельном кабинете. «Это будет приключение», — таинственно сказал он, следуя за Флоренцией вверх по узкой винтовой лестнице.

В отдельном кабинете оказался диван, низкие кофейные столики, шелковое покрывало в

восточном стиле, расшитое узором из перьев, и свечи в красивых фарфоровых подсвечниках. Окон во внешний мир в кабинете не было. Пахло духами. Будь у Флоренции выбор, она бы не захотела проводить время в такой комнате, но ей нужно было многое узнать и сделать. Она вытащила булавку, сняла шляпку и отложила ее в сторону; она приняла из рук Метли большой бокал коньяку; она трепетала. Метли принялся гладить ее, как гладят нервную кобылу. Он сам выпил большой бокал коньяку. Он шутил насчет приключений с пуговицами, совлекая с себя, а потом с Флоренции различные одежды. Флоренция хотела знать, но еще не знала, что это значит. Герберт Метли, загорелый, костлявый, нервозный, все трогал и трогал ее, и говорил ей на ухо — не о любви, но о желании, о потребности, о *праве.* Он умел делать такое, чего Флоренция раньше и вообразить не могла, — приводил в возбужденный трепет места, которые до того были безмолвны или, самое большее, испытывали смутное неудобство. Она выпила еще коньяку и подумала: «Он играет на мне, как на музыкальном инструменте». Эта мысль ее укрепила. Музыкант, или фокусник, снял с себя и с нее еще несколько деталей одежды. Флоренция шепнула,

что кто-нибудь может войти, но Метли уверенно сказал, что они в безопасности, он обо всем позаботился, все устроил как надо. Флоренция выпила еще коньяку. Узел волос распустился. Она была в корсаже и нижней юбке, и ее тело трепетало от мириадов отпечатков его пальцев.

— Вот это место, — сказал Метли.

Он все гладил и гладил, не снимая с нее панталон. Флоренция уже чувствовала под панталонами словно бы незаткнутый фонтан или неотвратимо поднимающийся гейзер. Увидев это, Метли снял с нее панталоны и сказал:

— Я должен войти. Впусти меня.

Флоренция лежала, откинув голову на подушки, а комната шла кругом, как мельничное колесо. Метли гораздо лучше владел ее телом, чем она сама. Она почувствовала, как он вталкивает собственное тело в ее потайное место, а потом вламывается — со страшной силой, как отбойный молоток в пласт угля. Он разорвал ее, и она содрогнулась в конвульсиях, и закричала, а он испустил низкий стон, словно сдулся, и все вокруг было мокро от смешавшихся крови и семени.

— Черт, — сказал Герберт Метли. — У тебя там все туго. Ты была девушкой.

— А вы что думали? — едва выговорила она.

— Я не думал, — ответил он, утратив самоуверенность. — Погляди, что мы натворили. Надо будет предложить им денег за эту штуку… за покрывало. Ну, я думаю, у них такие вещи время от времени случаются. Интересно, сколько они потребуют?

— У меня в сумочке есть деньги, — сдавленно сказала Флоренция.

Ей показалось, что ее сейчас стошнит, из-за коньяка, а ей отчаянно не хотелось, чтобы ее тошнило, — она хотела сохранить контроль хотя бы над одним из концов своего тела. Она хотела домой. Она сглотнула. Попробовала встать и снова упала на диван. Метли отодвинул занавеску, за которой обнаружился таз для умывания и кувшин с водой. Метли принялся вытирать покрывало мокрым носовым платком, но это ничего не дало. Флоренция кое-как встала, дотащилась до умывальника и обтерла свою покрасневшую плоть. Они с Метли неловко оделись, отвернувшись друг от друга, — Флоренция надела все, кроме безвозвратно погубленных панталон. Их она скатала и засунула в умывальный кувшин. Застегнула платье и пришпилила на место шляпу.

Она стояла в дверях ресторана, чтобы не ви-

деть, как Метли торгуется из-за испорченного покрывала. Она думала, что умрет от стыда, стоя вот так у всех на виду. Метли явно не знал, как теперь держаться с владельцами ресторана, куда он так уверенно ее привел. Он выглядел глупо, и она решила, что никогда ему этого не простит. Она заметила, что его, похоже, заставили заплатить слишком много, и ему от этого не по себе.

Выйдя на улицу, он подозвал кеб и был вынужден спросить, хватит ли у Флоренции денег доехать домой.

— Да, я же сказала, — презрительно ответила Флоренция, борясь с тошнотой.

Он должен был вызваться проводить ее, дабы убедиться, что с ней будет все благополучно; она знала, что с ней далеко не все благополучно, но уже понимала, что больше никогда в жизни не желает его видеть и слышать.

Она в полуобмороке доехала до Музея. Вошла в домик и поднялась по лестнице. Имогена, сидевшая в гостиной, слегка удивилась, увидев Флоренцию дома посреди семестра. Та объяснила, что ей вдруг непреодолимо захотелось уехать из Кембриджа на пару дней. Ей нездоровится. Она сейчас пойдет к себе и ляжет. Имогена опять склонилась над книгой, а Флоренция кое-как

поднялась наверх. На следующий день она вернулась в Ньюнэм и стала учиться с удвоенным прилежанием.

Вернувшись домой на летние каникулы, она обнаружила, что Имогена отложила ювелирное дело и принялась за вышивку — розовые бутоны и голубые незабудки по тонкой шерстяной вуали. Некоторое время Флоренция молча наблюдала за ней. У Имогены был мечтательный вид, и она стала как-то пухлей обычного — благодушная прерафаэлитская мадонна…

— Что это ты вышиваешь?

— Покрывало.

— Такое маленькое.

— Оно для маленькой кроватки. У меня будет ребенок.

Имогена решительно втыкала и вытягивала иглу, не поднимая головы.

— Поздравляю, — машинально ответила Флоренция. — Когда ждать счастливого события?

— В конце года. Может, даже под Рождество. Под Рождество тяжело рождаться.

— Как странно, — сказала Флоренция.

— Да, правда ведь? Я очень странно себя чувствую. Все как в тумане, и тошнит.

Флоренции не хотелось об этом знать. До нее как

раз дошло, что ребенок будет ее единокровным братом или сестрой. Сама идея не укладывалась у нее в голове.

— Пожалуйста… — сказала Имогена, но не закончила фразу.

Флоренция заявила, что они с Гризельдой договорились вернуться в Кембридж — вот прямо сейчас, и устроить себе во время длинных каникул дополнительный семестр, чтобы приналечь на учебу. Имогена еще ниже склонила голову над неустанно движущимися пальцами.

Просперу Кейну не давал покоя Музей, где по-прежнему шли бои за принцип устройства и расположения всей коллекции. Артура Скиннера, директора Музея, преследовали гражданские чиновники — по мнению Кейна, преследовали жестоко и несправедливо. Флоренция нашла Кейна в служебном кабинете, где он работал над составлением приказа. Кейн поднял голову, недовольно хмурясь.

— Мне сказали, что тебя можно поздравить, — сказала Флоренция.

— О да. Это очень… — он не нашел слова.

— Ты мог бы мне сказать.

— Я решил, пусть лучше Имогена. Как женщина женщине.

— Мой отец — ты, — ответила Флоренция. — А не она.

— Милая, ну пожалуйста, не ершись. Порадуйся за нас.

— Постараюсь. Я завтра уезжаю обратно в Кембридж.

— У вас же длинные каникулы?

— Да. Но я хочу учиться. Нам разрешили остаться в колледже на несколько недель и учиться. Гризельда тоже приедет.

Потом этот разговор не шел у Кейна из головы. Надо было обратить на него внимание. Черт бы побрал этого Роберта Моранта, и его затюканных сотрудников, и убогость воображения, и манеру лезть не в свое дело. Кейн и себя проклинал. Ему было нелегко представить себе нерожденное дитя. А теперь он потерпел крах, не сумев представить себе дитя взрослое.

В Кембридже Флоренция не сказала ничего никому, даже Гризельде. Учиться ей было трудно. Она представляла себе младенца — пухлого, улыбающегося — и ощущала отвращение, смешанное почему-то со стыдом.

Она стискивала зубы и училась. Она сказала Гризельде — сохраняя каменное лицо — о положении Имогены, и та радостно откликнулась:

— Замечательно!

И покраснела в наступившем тяжелом молчании.

Флоренцию все время тошнило. Она училась, борясь с волнами тошноты, которые принимала как наказание за «ту гадость». Она читала о битвах и дипломатии, а желудок подпрыгивал и сжимался. Однажды Гризельда вошла к ней в комнату и увидела, как ее рвет в таз для умывания.

— Флоренция, скажи мне, что с тобой. По-моему, тебе нужно сходить к доктору.

— Я не могу.

— Ведь это у тебя не вчера началось.

Флоренция села на кровать. Ее еще слегка тошнило. Красивое лицо побелело и покрылось серебристыми капельками пота.

— Мне кажется, я… я…

Гризельда сама подставила недостающее слово. Она сказала:

— Мы напишем Геранту. Он должен знать. Он все устроит…

— Это был не Герант. Это было только один раз, и совершенно ужасно. И от этого мне захотелось жить тихой монашеской жизнью в Ньюнэме, беседуя только с книгами. А вместо этого, если

мы не ошиблись, меня выгонят отсюда, из Кембриджа…

— Нужно, чтобы тебя кто-нибудь осмотрел. Сходи к доктору.

— К кому? Не к здешнему, в колледже. И не к папиному полковому врачу. Лучше б я умерла.

— Дороти, — нашлась Гризельда. — Я знаю, она уже сдала все акушерство. Она тебя осмотрит. Может быть, она знает, как сделать, чтобы тебя не тошнило. Может быть, она…

Может быть, она знает, как убрать эту беременность, подумали обе, но вслух ничего не сказали. Как от нее избавиться. Они написали Дороти, что им срочно нужен ее совет, отправили письмо и пошли ужинать — две гладко причесанные головки с блестящими узлами волос на затылке, одна темная, другая серебристо-золотистая. Они присоединились к оживленной дискуссии о работе для женщин, и о том, к какой работе женщин не следует допускать, и нужны ли тут вообще ограничения.

Дороти приехала в гости. Пока письмо шло к ней, и потом, пока ее ответ шел в Кембридж, то, что жило у Флоренции внутри, росло, клетки делились в темноте и выстраивались в ряды.

Дороти приехала, и ей отвели гостевую комнату. Поздно ночью, когда уснули даже самые страстные любительницы какао, три молодые женщины собрались в хорошенькой комнатке Флоренции, где покрывало и занавески украшал узор «Лилии и гранаты». Отсветы камина и ламп мерцали на венецианском стекле, которое коллекционировала Флоренция, советуясь с отцом. Они любили вместе ходить по магазинам, сравнивать вазы и блюда, проверять умение отличить на глаз ценную вещь. Флоренция сидела на краю кровати, сцепив руки на коленях. Она молчала. Дороти взглянула на Гризельду, которая, запинаясь, произнесла:

— Флоренция думает, что она беременна. Мы хотели… чтобы ты ей сказала… правда это или нет.

Дороти уже сдала акушерское дело. Она ощупывала других женщин, чтобы поставить диагноз. Она видела, как изможденное тело наконец выталкивает мертвого ребенка. Она держала на руках вопящего новорожденного и заглядывала ему в глаза — ее лицо было первым, что он увидел в своей жизни. Мысль о том, чтобы совать пальцы в элегантную Флоренцию Кейн, шла вразрез со всяческим этикетом.

— Ты ведь знаешь, как это определить, да? — спросила Гризельда.

— Знаю. Я просто немного стесняюсь.

— Мы все стесняемся, — сказала Флоренция. — Но поскольку сейчас уже не до стеснения, мне кажется, нам надо об этом забыть. Кроме тебя, я никому не могу довериться.

Дороти набрала воздуху в грудь.

— Ясно. Сначала вопросы. А Гризельда пусть достанет кипяченой воды, если можно, и хорошо бы у вас нашелся какой-нибудь антисептик, чтобы я могла простерилизовать руки… Флоренция, как давно у тебя последний раз были месячные?

— Сразу после Пасхи… Я точно не помню. Давно…

— Ясно.

Дороти спросила о тошноте. О сне. О весе. Она попросила Флоренцию лечь на спину, на хорошенькое покрывало, подложив полотенце, и ощупала ее живот уверенными, твердыми и нежными кончиками пальцев — снаружи и изнутри. Флоренция дрожала. Она сказала:

— У меня немножко идет кровь. Но только… как сказать… по краям.

— Тебя порвали, — заметила Дороти, которая впервые видела дефлорацию. Флоренция, при-

знавая авторитет Дороти, сказала:

— Это было только один раз… правда, только один. И это была такая… гадость… мне не пришло в голову, что я могу…

— По-моему, ты уже прошла раннюю стадию, когда возможен выкидыш. Думаю, сомнений нет. Ты должна сказать Геранту.

— Это был не Герант. Я не хочу об этом говорить.

Гризельда и Дороти переглянулись надлежащей Флоренцией. Обе подумали, что Герант, несмотря ни на что… он ведь любит Флоренцию… Им стало не по себе. Флоренция поправила одежду и встала. Она мрачно сказала:

— Мне придется отсюда уехать. Причем, думаю, немедленно. Ты говоришь, что никак нельзя… от этого… избавиться?

Дороти поколебалась и сказала — что-то среднее между испуганной подружкой и спокойным врачом:

— Все, что можно сделать в таком положении, чудовищно опасно. Думаю, тебе придется идти до конца. И тогда решишь, что делать…

— Мне придется рассказать папе. Я ужасно боюсь того, что может случиться. Пожалуй, мне пора уже собирать вещи.

— Нет, не надо, не надо! — воскликнула Гризельда. — Я потом соберу вместе с горничными, когда ты будешь знать, куда… Я буду рада тебе помочь. Я сейчас сделаю нам всем какао. С пастеризованным молоком и сахаром — это успокоит твой желудок.

Они уютно уселись рядом и подбросили в камин угля и собранных Флоренцией дров.

— У меня всегда было какое-то двойственное впечатление от этого места, — сказала Флоренция. — Мне казалось, что это твердыня безысходной невинности — а весь опыт находится во внешнем мире, и он весь такой соблазнительный, блестящий. А теперь я бы все отдала, лишь бы остаться здесь и научиться ясно мыслить. Понятно, что сейчас я этого не умею. Я пошла на поводу у своих чувств, а они оказались плохими, и хуже того — *глупыми.* Так что ангел захлопнет врата и помашет мне на прощанье огненным мечом. Наверное, в женском колледже должна быть ангельша, а не ангел. Гризельда, я хочу попросить тебя об огромном одолжении.

— Проси, — сказала Гризельда.

— Ты не съездишь со мной к папе? Я боюсь, что кто-нибудь — или папа, или я — скажет что-нибудь непоправимое или сделает какую-нибудь

глупость… что-нибудь безумное…

— Ты уверена? — спросила Гризельда.

— Кажется, да. В любом случае, может быть, ты доедешь со мной до Лондона, а там посмотрим, как я буду себя чувствовать.

Две молодые женщины стояли в кабинете Проспера Кейна среди поддельных Палисси, у поддельного «Благовещения» Лоренцо Лотто. Проспер, сидевший за столом, назвал их появление приятным сюрпризом. Он не знал, что их привело, но видел, что ничего приятного в этом не будет. Наверное, Флоренция влезла в долги. Он пригласил девушек сесть. Комната была маленькая — Просперу пришлось оставаться за столом, и в этой позе он был похож на судью.

Флоренция сказала:

— Я попросила Гризельду тоже приехать, потому что мне нужно… нужно, чтобы этот разговор был… оставался в рамках… мне нужно, чтобы ты мог думать.

— Похоже, это что-то страшное, — отозвался Проспер, стараясь, чтобы голос звучал небрежно.

— Да, — сказала Флоренция. — Боюсь, что я беременна.

Лицо Проспера застыло, словно обратившись в маску. Флоренция никогда не видела отца та-

ким — а вот его солдаты видели раз или два. Он спросил:

— Ты уверена?

— Да.

— Ты ходила к доктору?

— Не совсем. Я не решилась. Я попросила Дороти. Она уже сдала все экзамены… в этой области…

— Ну что ж, — сказал Кейн. — Он должен на тебе жениться. Прямо сейчас, немедленно. Если он беспокоится из-за денег, я помогу.

— Это не Герант, — сказала Флоренция. И мрачно добавила: — Я должна вернуть ему кольцо. Давно должна была. Я чувствую… чувствую…

— Тогда… кто?

Он был солдатом. Он умел убивать и хотел убить. Флоренция увидела еще одно неведомое ей ранее лицо отца. Ее собственное лицо застыло маской — чем-то похожей на отцовскую.

— Я не хочу, чтобы ты знал. Это был один-единственный раз. Я не хочу… чтобы этот… *человек*… знал. Я сделала большую глупость.

Она вздрогнула. Ей показалось, что отец, который в жизни не поднимал на нее руки, сейчас ударит. Видно было, как он принял решение не бить. Гризельда, наблюдавшая за обоими, по-

думала, что их застывшие лица — как маски в греческой трагедии. Проспер не то вздохнул, не то ахнул.

— Мне нужно подумать. Дайте мне подумать.

Мысли неслись у него в голове, как затравленные звери в темном лесу. Он не оставит Флоренцию в беде. Дочь была его самым любимым существом, приносящим самую большую радость его жизни. Это напомнило ему об Имогене и будущем ребенке. Он знал, не формулируя словами, что этот нежеланный ребенок появился в каком-то смысле из-за того желанного, ожидаемого ребенка. Поэтому Кейн не мог и думать о том, чтобы… да, чтобы убить — этого ребенка, внука или будущего внука его обожаемой Джулии. Он подумал: «Я должен взять ее к себе и переносить — и она… они тоже должны будут переносить — бесчестье и много худшие вещи». Он подумал об этом и сказал — почти прошептал:

— Я должен оставить Музей и поселиться в провинции, где-нибудь в глуши, где мы сможем все…

— Ни в коем случае, — сказала Флоренция. — Я этого не вынесу. Я лучше умру.

И добавила:

— Надо устроить так, чтобы я уехала на время…

до тех пор, пока… и найти кого-нибудь, кто заберет… заберет…

Она не могла произнести «ребенка». Проспер крутил в голове невообразимые факты. Как теперь будет его дочь жить под одной крышей с его молодой женой и новорожденным ребенком? Он не хотел, чтобы Флоренция отдала ребенка — это ведь его, Проспера, плоть и кровь, они не заслуживают того, чтобы их извергли во тьму. Он не знал, что делать. Лицо стало другой маской — растерянного старика.

Гризельда сказала:

— Может быть, Флоренции стоит уехать за границу — скажем, в Италию — под видом молодой вдовы, в какой-нибудь санаторий… и там дождаться родов… а потом уже решать, что делать? Сейчас слишком трудно решать. Но, по-моему, ясно, что ей нужно уехать. Люди все время уезжают в санатории — Фрэнсис Дарвин пробыла там два года, когда у нее был нервный срыв после смерти матери. Мой брат вечно ездит в Аскону, там целая колония художников и философов, они верят в свободную любовь и не будут задавать вопросов. Там есть новая клиника. Это очень красивое место. Горы, Лаго-Маджоре, итальянские фермы. Там Флоренции будет спокойно.

Проспер и Флоренция сидели молча, неподвижно, словно очень устали. Флоренция произнесла:

— Прости меня, пожалуйста. У меня нет слов, чтобы сказать, как я сожалею…

Именно этот момент выбрала Имогена, чтобы постучать в дверь и войти. Стан под свободным платьем уже заметно раздался. Она увидела убитые лица, и ее улыбка погасла.

— Простите. Я уйду.

— Нет, — сказала Флоренция. — Не уходи. Ты все равно узнаешь, так что можешь и остаться. У меня будет ребенок. Мы обсуждаем мой отъезд из Англии.

Имогена побелела. Она прижала руку к животу, словно защищая его, открыла рот, закрыла и зарыдала — совершенно беззвучно: огромные тяжелые слезы катились по лицу и падали на воротник.

— Дорогая, — Проспер вскочил.

— Это я во всем виновата, — произнесла Имогена — не театрально, а спокойно, словно изрекая неопровержимую истину.

— Нет, — сказала Флоренция. — Это я сделала глупость, и я должна быть наказана. Я, а не ты. И еще… я должна сказать… в последнее время я с тобой обходилась не очень вежливо. Даже грубо.

Я знаю. И я прошу за это прошения. Но ты не можешь нести ответственность за мои действия. За них отвечаю я. Я уеду за границу.

Имогена продолжала рыдать. Флоренция смотрела каменным взглядом.

Гризельда сказала Просперу:

— Я могу спросить своего брата о той клинике. Он говорит, что это место — рай земной.

— Я не могу тут оставаться, — сказала Флоренция. — Никак. Немедленно, я должна уехать немедленно.

Гризельда сказала, что Флоренция может поехать с ней, если майор Кейн согласится. Проспер стоял — все еще за столом — словно олень, загнанный тремя нимфами-охотницами. Наконец он вышел из-за стола, взял носовой платок и вытер мокрое лицо жены. Затем повернулся к дочери:

— Ты позволишь мне… поехать с тобой? Тебе понадобится…

От ее ответа зависело очень многое. Она тихо всхлипнула, но не заплакала — только чуть-чуть расслабила зажатые мышцы.

— Спасибо. Это мне очень поможет.

Проспер сказал Гризельде, что очень благодарен ей за присутствие. Она сказала, что поедет в Кембридж и позаботится о том, чтобы все вещи

Флоренции собрали, уложили как следует и отослали обратно в Музей. И о стекле позаботится. Флоренции она пообещала:

— Я стану приезжать в гости на каникулы. Тебе будет не так одиноко.

— А что мне делать, если Чарльз приедет… и увидит…

— Ну, он тебя не осудит. Он ведь бывший анархист. И мы можем ему сказать, чтобы он молчал, а это он очень хорошо умеет, он всю жизнь этим занимался — скрывал разные вещи…

Отец и дочь путешествовали не торопясь и почти все время молчали. Они пересекли Европу и оказались у южных отрогов Альп, у города Локарно и деревни Аскона. Проспер был растерян и утратил свою всегдашнюю точность и компетентность. Как-то ночью в парижской гостинице Флоренции послышались — а может, и почудились — рыдания за стеной. Майор Кейн навел справки о клинике на горе Истины и выяснил, что клиника новая, с очень суровым режимом — больные принимают грязевые и солнечные ванны, пьют воду, соблюдают строгую вегетарианскую диету: ни яиц, ни молока, ни соли. Идея солнечных ванн Просперу понравилась — как командир, он всегда следил, чтобы его солдаты

в любую погоду упражнялись на улице. Но ему казалось, что женщина, ожидающая ребенка, не должна лишать себя молока и питательных говяжьих бульонов. В Локарно Флоренция стала синьорой Коломбино — по девичьей фамилии матери. Они сняли домик на склоне горы, с видом на луг; наняли слугу с пони и повозкой и проинтервьюировали вереницу молодых женщин на должность экономки-компаньонки. Флоренция с отцом согласились, что лучше всех — крепкая, улыбчивая девушка по имени Амалия Фонтана. Проспер посетил новую клинику и нашел доктора, согласного заняться молодой англичанкой, потерявшей мужа, о котором не следовало упоминать. Я попал во второсортный роман, сказал себе Проспер в припадке мрачной веселости и добавил, что второсортные романы родятся из повседневных настоящих трагедий. Дочь отвечала односложно, на все соглашалась и ступала тяжело, хотя беременность еще не была заметна. Проспер пытался ее утешать, но, что бы он ни говорил, это звучало упреком.

— Я хотел, чтобы у тебя было все, — сказал он как-то. — Я хотел, чтобы ты пошла в университет и была свободна.

— А вместо этого видишь, что получилось, —

ответила Флоренция с мрачной улыбочкой, но тут же бросилась отцу на шею. — Никто не мог бы заботиться обо мне лучше, чем ты. Мы все были очень счастливы.

Но и эти слова любви, идущие от самого сердца, горчили: каждый по-своему понимал, что появление Имогены разорвало круг, с силой разметав концы. И вот настало время Просперу уезжать — именно к Имогене и ее неродившемуся ребенку. Проспер сказал:

— Я скоро вернусь. Я буду писать. На каникулы, кажется, Гризельда собиралась приехать. Пиши мне обо всем…

— Я хочу сказать, что это я во всем виновата, а не ты, — сказала Флоренция. Проспер устало посмотрел на нее.

— Отчасти и ты, конечно. Но я уделял тебе слишком мало внимания.

— Я буду все время читать и составлю план диссертации, — заверила Флоренция, которая привезла с собой несколько ящиков книг по истории.

В первый вечер в Асконе они ужинали поздно, при свечах. Проспер посмотрел через стол на дочь и протянул ей коробочку.

— Я всегда собирался тебе это отдать, — сказал

он. — Это обручальное кольцо твоей матери. Тебе ведь нужно будет носить кольцо.

Кольцо было узкое, золотое, тонкой работы, украшенное двумя сцепленными руками. Флоренция примерила его: оно оказалось ей впору.

— Ты на нее очень похожа, — сказал отец. — Здесь, в Италии, ты выглядишь итальянкой.

Он начал что-то говорить, искренне и неловко, о том, что это кольцо хранит владельца и приносит удачу. А потом вспомнил, как умерла Джулия, и готов был проглотить свои слова. Флоренция повернула кольцо, и оно засияло в мягком свете.

— Я буду его беречь, — сказала она. — Папа, ты так добр ко мне, а я была такая плохая и непослушная.

Но читать она не стала. Ее охватила летаргия беременности, и она просиживала на террасе, глядя на гору и почти ничего не делая. Мимо проходили люди. Солидные итальянские крестьяне в черных одеждах гнали стада коз и овец. Странные природопоклонники — бородатые, улыбающиеся, в очках, с ореховой кожей и голыми щиколотками, торчащими из домодельных сандалий под подолами хламид, в которых было что-то библейское. Женщины в вышитых платьях, с цветами в волосах. Бродячие музыканты с

лютнями. Торопливые, деловитые священники. Толстые кюре. Флоренция почти не разбирала акцента Амалии и наконец поняла, что молодая женщина выучила несколько итальянских слов сверх своего родного диалекта и может говорить простые, необходимые вещи, но не поддерживать разговор.

Флоренция ходила в клинику — сначала ездила на двуколке с пони, потом стала ходить пешком — и там целыми днями очищала организм овощными соками и водой, принимала солнечные ванны, лежа в льняной рубахе на длинном диванчике с филенчатой спинкой. У доктора были добрые руки. Он сказал ей, что она должна воздержаться от употребления любой животной пищи. Он понял положение Флоренции и, как она подумала, осудил ее. Флоренция пала духом, ибо как ей было не пасть духом? Но тут явился неожиданный спаситель.

Некоторые люди в клинике были на особом положении — не врачи, не пациенты и не слуги; они, по-видимому, работали здесь в обмен на психиатрическую и медицинскую помощь. Врач спросил Флоренцию, не думает ли она, что психиатрия ей поможет, и Флоренция отказалась — с силой, которой в себе не ощущала. Ее само-

стоятельность была под ужасной угрозой — из-за Метли, из-за растущего в ней существа, из-за ее зависимого положения. Флоренция не хотела ни с кем разговаривать и не хотела, чтобы с ней разговаривали. Она дочь солдата. Она старалась держать спину. Она чувствовала, что растворяется, превращается в желе, но не хотела, чтобы кто-либо это видел.

У одного из помощников в клинике была огромная копна спутанных золотых волос, как у льва или одуванчика, относительно аккуратная борода, которую он время от времени подстригал, и кроткое, голубоглазое, слегка отсутствующее лицо. Он ходил в чем-то вроде белого больничного халата и в сандалиях. Он поправлял подушки под спиной у Флоренции и клал их именно так, как надо. Он замечал, когда ее начинало тошнить, и замечал, когда ее желудок успокаивался, и приносил ей овощной суп, который явно выиграл бы от добавления масла и соли, но все же был съедобен.

— На этой неделе не так тошнит, — как-то раз объявил помощник по-английски. — Теперь будет легче.

В другой раз он сказал ей:

— Вам одиноко.

Если бы он спросил, она бы отрицала. Но это была констатация факта.

— Вам нужен хлеб, — сказал он. — Вы голодны.

Он всегда оказывался прав. Он представился Габриэлем Гольдвассером. Он оказался австрийцем.

— Я учился на психоаналитика, — сказал он.

— А теперь?

— А теперь я прихожу в себя после обучения на психоаналитика.

Они подружились. Очень осторожно, вежливо подружились.

— Здесь вам должны оказывать почести, — сказал он ей. — Солнцепоклонники там, в деревне, хотят вернуться к древнему матриархату. Долой бородатых отцов, которые суть корень всех зол.

— Мне здесь не место, — сказала Флоренция. — Моя мать была итальянка, но она умерла, когда я родилась.

Она замолчала, думая о смерти в родах. Габриэль Гольдвассер ответил на ее невысказанную мысль.

— Здешние врачи — хорошие, — сказал он. — Это хорошая клиника. Вы в хороших руках. Где же ваше место?

— В Музее.

— Вы молоды, не стары.

— Нет, я имею в виду — в буквальном смысле. Я выросла в Музее. Мой отец работает там хранителем. Он все знает про золото и серебро.

— Алхимик. Так вы вернетесь туда?

— Не знаю, — ответила Флоренция и запнулась. Стратегические планы ее отца не простирались дальше рождения ребенка.

— Не знаю, — повторила она, отвернулась и заплакала. — Наверное, мне туда нельзя.

Габриэль Гольдвассер смотрел вдаль. Флоренция лежала, спрятав лицо в подушку. Он бережно коснулся ее плеча легкой рукой и ничего не сказал.

Однажды они беседовали про изучение истории, и Флоренция спросила, что он имел в виду, сказав, что выздоравливает после учения на психоаналитика. Он заколебался.

— Вы должны понимать. Мне не следует думать и говорить о себе.

— Вы что-то ужасное сделали? — спросила Флоренция как бы небрежно, но с предчувствием чего-то подлинно ужасного.

— Я ничего не сделал, в том моя беда. — Он кротко улыбнулся. — Мои родители были… и есть… психоаналитики. В Вене. Они послали меня в Бур-

гхёльцли, в Швейцарию, к герру доктору Юнгу. Они считали, что психоанализ — неотъемлемая часть жизни. Я там отрабатывал свое лечение, так же, как здесь. Я рассказывал свои сны доктору Юнгу, а также доктору Отто Гроссу, который рассказывал свои сны доктору Юнгу и взамен выслушивал его сны. Вы должны понимать, что они двое были как борющиеся ангелы.

Он помолчал.

— Мне снились неправильные сны.

— В каком смысле неправильные?

— Мне кажется, они были… робкие — есть такое слово?

— Да, это хорошее слово.

— Тихие, как у коровы, которой снится трава, или у белки, которой снятся орехи. Но доктора сочли мои сны неудовлетворительными. И, выслушивая мои глупые сны, они их мало-помалу изменили. Мне снилось, что я спускаюсь вниз по каменным туннелям в потайные пещеры, полные львов, драконов и змей. Мне снились семисвечники… семисвечники были и в робких снах, я еврей, и свечи для меня символ семейного ужина — но моя семья во снах обратилась в чудовищ-людоедов и окаменелых женщин, в угоду этим двум.

— Вы меня смешите, но это вовсе не смешно.

— Никто не имеет права диктовать другому человеку его внутреннюю жизнь — расставлять мебель в чужом черепе. Они сделали меня кем-то другим. Адептом… вы говорите «адептом»? — хорошо… новой древней религии. Нам всем снились одинаковые сны, потому что именно такие сны приводили в восторг герра Юнга и герра Гросса. Они изобрели меня заново, понимаете?

— Да, понимаю.

— Они превратили меня в… в неприятную скульптуру или картину. Я был заперт в этих искусственных снах и не мог выбраться наружу. А потом все же выбрался. Должен признаться… только не смейтесь, фрау Коломбино… именно сон показал мне выход.

— Что же вам приснилось?

Флоренция перевернула тело вместе с обременяющим его грузом на бок и устремила все внимание на собеседника.

— Мне снилось, что я в мастерской художника, полной света. Меня окружают холсты с совершенными картинами. Но все они очень бледные. Белые по белому, с минимальным количеством теней, в ярком свете. Огромные полотна, чашка с блюдцем и серебряной ложечкой на бесконечном

белом крахмальном полотне со складками. Или белые цветы в белой вазе на белом фоне — на подоконнике белого окна с белыми занавесками…

— Как будто вы умерли и попали в рай.

— Вы так думаете? Я решил по-другому. Я проанализировал этот сон сам. И он сказал мне — словно приказал: думай о поверхностях. Заботься о поверхности. Не копай вглубь.

— И вы так и сделали? И у вас получилось?

— Это можно сделать. Вся эта белая краска была поверхностью — видимой пленкой, нанесенной на поверхность. Я вышел наружу и увидел озеро. Я смотрел, как играет свет на поверхности. Что-то сказало мне: если ты хорошо видишь поверхность, ты в правильном отношении с миром, в котором она существует.

— Но у озера есть глубины. У дерева есть внутренность. И у земли.

— Да, мы можем об этом знать. Но я знаю, что должен жить, оставаясь на поверхности. Как те мухи, что гуляют по воде. Как цветок, нарисованный на тарелке.

— Так вы прервали курс анализа?

— Все говорили, что это очень опасно, но я настаивал. Потом с доктором Гроссом вышел скандал, а герр Юнг был слишком занят, и родите-

ли послали меня сюда, чтобы я пришел в чувство — и я думаю, что я с этим справился вполне удовлетворительно.

Он засмеялся, и Флоренция засмеялась вместе с ним.

— Вам бы следовало основать школу живописи, — сказала она. — Или философии.

— Я думаю даже, школу усердного созерцания. Мне хотелось бы стать буддистом. Я рисую, но не умею нарисовать поверхности, которые вижу. Жить на поверхности нелегко, фрау Коломбино.

Флоренция вдруг подумала, что для нее и существа, растущего внутри, ее собственные поверхности вовсе не являются истиной. Она отвернулась и зарыдала. Он сказал:

— Я не хотел вас расстраивать. Напротив.

— Я все время расстраиваюсь. Это ужасно надоедает.

— Вы по натуре не… поверхностный человек. Но в качестве упражнения это полезно. Посмотрите, как ветер играет на поверхности лужайки и как все поверхности травинок поворачиваются на свету…

Это было нелепо, и все же при взгляде на лужайку Флоренцию охватило нечто среднее между облегчением и ощущением чуда. Она смотрела

на сок в стеклянном стакане и думала о том, как его поверхность словно висит между стенками — овальной красновато-золотой монетой. Флоренция глядела, как играет солнце на волосах и бороде Габриэля Гольдвассера. Она ощущала в нем некую незавершенность, непринадлежность к реальному миру и потому говорила с ним — в нем не было угрозы. Теперь она поняла, насколько продуманна его безобидность.

В другой раз она сказала ему:

— Я бы не смогла жить как вы.

— Думаю, что не смогли бы, да, это так, — спокойно ответил он.

Как-то солнечным днем, несколько недель спустя, он сказал:

— Простите, но мне кажется, что у меня есть поверхностный ответ на поверхностную часть вашей проблемы.

— Моей проблемы?

— Я думаю, что вы — беременная незамужняя женщина, которая не может вернуться с ребенком на родину, чтобы не навлечь позора… на себя и на своего досточтимого алхимического отца.

— Это правда. Если я расскажу вам всю эту дурацкую, безумную историю, вы будете меня презирать. Я почти решила отдать… ребенка…

даже не глядя на него. Сразу. Но об этом тяжело думать.

— Этим вы повредите себе. И ребенку. У него нет отца?

Лицо Флоренции, которое в последнее время было серьезным и отчасти пустым, вдруг исказилось от слез и ярости, но она тут же овладела собой.

— Его отец мне противен. Это чувство слабее, чем ненависть, — обычная неприязнь. Вы понимаете? Я сделала очень глупую ошибку. Это ужасно, вся эта история ужасна.

— Но ваш отец вас любит.

— У него молодая жена… моя ровесница. Она ждет ребенка. Они очень счастливы. Или были счастливы, пока я не оступилась. Я разрушила и их счастье, и свое собственное.

— Эти дети родятся и будут жить своей жизнью. Их жизни не разрушены. Но человеческие дети беспомощны. О них надо заботиться, пока они не встанут на ноги. Я говорю банальные вещи. Но такие, о которых вы позабыли.

Флоренция молчала. Габриэль сказал:

— Мне кажется, ваше положение было бы лучше, если бы вы были замужем?

— Я не могу выйти замуж. Мне и с этим теперь

надо смириться. Никто не захочет… — Она добавила: — Я была помолвлена. Я отослала кольцо назад.

Молчание Гольдвассера провоцировало на откровенность.

— Я его не любила. Я всегда это знала. Я и его счастье тоже погубила.

— Только если он сам это позволит. Фрау Коломбино, вы вовсе не богиня судьбы, а всего лишь молодая женщина, совершившая одну-две ошибки. Если бы вы были замужем, вы могли бы вернуться с ребенком к себе в Музей…

— Я не знаю, хочу ли вернуться…

— Или построить жизнь где-нибудь еще. Я хотел бы предложить себя… предложить вам себя как подходящего австрийского мужа.

— Но вы…

— Я знаю, это очень странно. Я предлагаю себя, потому что живу на поверхности. Я не захочу жениться так, как женятся люди — по… страсти или по… социальным соображениям. Я больше всего хочу по-прежнему жить легко, на поверхности. Но я буду рад дать вам… свое имя как прикрытие.

Тут с Флоренцией произошло нечто ужасное. Ей явилось видение: Габриэль Гольдвассер, по-

добный своему тезке-архангелу, шествует по водам Лаго-Маджоре, рассыпая свет с солнечных волос. Она поняла, что ей не следует выходить за него замуж — не потому, что он ее не любит, но потому, что она может полюбить его. А он был со странностями, с секретами, в которые не хотел заглядывать.

— А что бы вы стали делать, — спросила она, повинуясь опасному порыву, — если бы я вышла за вас замуж, а потом полюбила вас?

— Не думаю, что так случится, — ответил он. — Вы слишком умны. Вы знаете, что мы с вами любим друг друга… необычной? необычной любовью, и это все. Это вполне достаточная причина для брака. Я нуждаюсь в том, чтобы вам помочь.

Флоренция зарыдала. Габриэль погладил ее по голове. Ребенок во чреве растопырил лягушачьи пальчики и ножки-палочки, сунул крохотный большой палец в незаконченный призрачный рот и принялся сосать.

Кейн снова приехал в Аскону, и дочь открыла ему план Габриэля.

— Я буду фрау Гольдвассер. Тогда я смогу вернуться домой.

— А что же это даст герру Гольдвассеру? Ему нужны деньги?

— Нет, нет, ему ничего не нужно, именно поэтому я ему доверяю. Он говорит, что ему нужно жить на поверхности. Понимаешь, папа, он как монах, как Дон Кихот.

— Дон Кихот был кем угодно, только не монахом.

— Не сбивай меня. Ты всегда так. Я знаю, что это звучит безумием, но мне кажется, что это возможный выход. Что, по-твоему, будет с ребенком дальше? Я не могу вечно валяться тут на шезлонгах, попивая соки.

— Я думал, что ты захочешь его отдать. Флоренция, только не сердись, не сердись. Я всегда думал, что решение за тобой. Но я думал, что ты решишь именно так.

— Папа, я не смогла бы отдать ребенка, приехать домой и смотреть, как вы с Имогеной нянчите своего. Нет, не смогла бы. А теперь… теперь я могу думать о том, как жить дальше…

Проспер Кейн познакомился с Габриэлем Гольдвассером, и тот ему понравился. Да иначе и быть не могло, хотя военный был подтянут и прям, а австриец — косматый и похож на медведя. Проспер гордился умением читать чужие характеры. Перед ним был честный человек, предлагавший решение мучительной проблемы. Фрау Гольд-

вассер и ее ребенок могли вернуться в Южный Кенсингтон, и Проспер мог о них заботиться. Он занялся организацией. Венчание не могло состояться в католической деревне; Проспер нашел швейцарскую протестантскую церковь в альпийской долине и снял комнаты в гостинице «Белая роза». Свадьбу получилось даже в какой-то степени отпраздновать. В это время у Флоренции гостила Гризельда в компании Чарльза-Карла, Зюскинда и братьев Штерн. Из всех них только Гризельда знала тайну Флоренции: остальные думали, что она лечится от нервного истощения, вызванного чрезмерно усердной учебой в Кембридже. Флоренция была в кремовом льняном костюме — жакет и юбка, — розовой шелковой блузке и льняной шляпе со строгой лентой цвета румянца. Жених был неузнаваем в старомодном фраке и сложно завязанном сером шелковом галстухе. Шафером стал Иоахим, а подружкой невесты — Гризельда. В последний момент оказалось, что нет кольца. Флоренция отдала кольцо матери Габриэлю, а тот Иоахиму, который сделал комплимент элегантности кольца. Невозмутимый пастор обвенчал их. Проспер вручил дочь Габриэлю, который снова надел ей на палец кольцо и поцеловал ее. Гризельда расплакалась. Все

приятной компанией пообедали в «Белой розе». Гризельда говорила с Гольдвассером по-немецки. Его описания клиники и психиатров смешили ее, но отчасти и пугали. Что делает Флоренция? Что происходит?

Флоренция сказала, что ничего не происходит. Габриэль решил ей помочь. Теперь она респектабельная замужняя дама.

Гризельда много чего могла бы сказать в ответ, но промолчала. Флоренция расслабилась и улыбалась; а ведь она не расслаблялась и ни разу не улыбнулась с тех пор, как Дороти ее осмотрела. Гризельде хотелось бы знать, что на самом деле чувствует Габриэль Гольдвассер. Может, он тайно влюблен во Флоренцию? Он, кажется, был мягок и дружелюбен. Всегда готов помочь. Улыбчив. Вольфганг Штерн сказал, что больные часто влюбляются в своих сиделок. Но сиделки все же обычно женщины.

42

В октябре 1908 года галерея Ледбеттер на Сент-Джеймс-стрит в районе Пикадилли устроила выставку керамики Филипа Уоррена. Филип трудился, как Вулкан, все лето; одна за другой идеи всплывали у него в голове и обретали форму под пальцами. Обжиги шли чередой и оказывались успешными. Имогена и Проспер приезжали в гости, заходили в мастерскую, некогда принадлежавшую Бенедикту Фладду, и смотрели на работы Филипа. Имогена сказала, что им нужно пространство побольше «Серебряного орешка», а Проспер сказал, что Филип, кажется, сравнялся мастерством со своим учителем. В следующий раз Проспер привез Маркуса Ледбеттера, владельца галереи, и тот сказал, что люди должны видеть эти работы.

На открытие пригласили всех. В число «всех» вошли воюющие фракции из Музея Виктории и Альберта, обитатели «Жабьей просеки» и Пэрчейз-хауза, Уэллвуды с Портман-сквер, Штейнинг, чета Скиннер и Элси. Филип сказал Имогене, что Элси наверняка постесняется прийти, но они обязаны ее пригласить, иначе

это будет неправильно. Он пригласил и дам из Винчелси и Данджженесса. Элси сшила себе платье из остатков темно-синего грогрона и приделала кружевной воротничок, найденный в лавке в Рае. Кружево было старинное, затейливое, на вид раз в двадцать дороже того, что Элси за него заплатила. Она прикрепила новую розу из синего шелка на простую шляпу и выглядела элегантно. Когда она вошла в галерею, задрапированную белым шелком, обставленную черными лаковыми полками и витринами, Филип не сразу узнал сестру и счел ее необычно интересной дамой. Придя в себя, он собирался было сказать ей об этом, но оказалось, что она уже беседует с Чарльзом-Карлом Уэллвудом. Они смеялись. Герант Фладд суетился вокруг матери, хрупкой на вид, но прекрасной. Гризельда и Имогена смотрели на него с любопытством и жалостью, желая узнать, как он справился с тем, что его так загадочно и внезапно отвергли. Герант был очень элегантно одет и пил много шампанского. Должно быть, он преуспевал в Сити.

Даже Дороти Уэллвуд пришла. Ее мать, красивая, в темно-красном бархатном платье, сказала ей:

— Вон Том, опять прячется по углам. Пожалуй-

ста, пойди к нему и заставь его разговаривать с людьми. Раньше он был такой обаятельный.

Дороти хотела ответить резкостью, но потом решила, что на самом деле хочет поговорить с братом. У него был очаровательно растерянный вид. Том глотал шампанское, словно лимонад.

— Том, пойдем посмотрим на горшки. Это ведь все твоя заслуга. Если бы ты не нашел Филипа, когда он прятался в Музее, ничего этого не было бы.

Том сказал, что, по его мнению, Филип так или иначе нашел бы путь. Филип знал, чего хочет.

Они пошли по залу, разглядывая керамику.

Горшки стояли группами. В самом центре — чаши, вазы, высокие бутылочные формы с абстрактными глазурованными рисунками; многие у донышка были тускло-красные, как расплавленная лава, потом взрывались черно-той цвета сажи, а сверху бушевало что-то вроде тонкой полоски моря, тускло-синего, со стилизо-ванными белыми гребнями пены, взмывающими и опадающими. Другие сосуды были покрыты тончайшими, сложными узорами, которые нес-лись, карабкались, бросались врассыпную, как силы, что гонят стеклянистые завитки бушующе-го моря. Зеленые, серые, серебряные тона — как

иглы воздуха, пронизывающего темные глубины. Дороти хотела что-то сказать Тому, но, повернувшись, обнаружила, что он исчез, а стоящий рядом человек оказался Филипом.

— Эти — для Фладда, — сказал Филип. — В память о нем. Некоторые формы — его.

— Да, — ответила Дороти.

— А вон те — мои собственные.

Вторая группа сосудов была покрыта серебряными и золотыми глазурями или люстром, пронизанным золотом и серебром. На них сплетались, образуя сетку, карабкающиеся и ползущие получеловеческие фигуры — не мелкие демоны Глостерского канделябра и не крохотные сатиры жьенской майолики, но деловитые существа: иные — ярко-синие, с лягушачьими пальчиками, иные — черные, иные — сливочно-белые, встряхивающие белой гривой. Дороти в жизни не видела ничего похожего.

— Горшки неподвижны, — заметил Филип.

— На твоих горшках все в вечном движении.

— Я заставляю все стоять неподвижно. Все вещи, которые от природы не могут не двигаться. Морскую воду. Подземных тварей. Чтобы понять, как это работает, нужно взять горшок в руки.

Он протянул руки и взял с подставки круглый

золотой кувшин, покрытый серебряными и угольно-черными бесенятами.

— Вот. Держи.

— Я боюсь уронить.

— Ерунда. У тебя хорошие руки. Забыла?

Дороти стояла и держала горшок, вмещая в ладонях прохладную легковесную глиняную оболочку. Взяв сосуд в руки, Дороти немедленно ощутила его трехмерность. Она поняла: когда измеряешь сосуд кожей, а не глазами, он воспринимается совершенно по-другому. Вес горшка — и пустота, воздух внутри его — были его частью. Дороти закрыла глаза, чтобы понять, как это меняет форму горшка. Кто-то сказал:

— Сэр, мадам, извините, поставьте на место, трогать экспонаты не разрешается.

Какой-то человечек дергал Филипа за рукав.

— Я имею право трогать, если захочу, — сказал Филип. — Они мои. Я сам их сделал.

— Прошу вас, сэр. Поставьте назад. Мадам, прошу вас.

Светлые волосы человечка прилипли к потной красной голове. Он умолял:

— Понимаете, все хотят брать их в руки, эти сосуды просто сами напрашиваются, и стоит вам начать…

Филип засмеялся.

— Дороти, поставь назад. Он прав. — И, уже служителю: — Эта дама учится на хирурга. У нее твердая рука.

— Да, сэр. Но тем не менее…

Дороти вернула горшок на подставку.

— Мы можем пойти где-нибудь поужинать, — сказал Чарльз-Карл, обращаясь к Элси.

— А как я потом вернусь?

— Куда?

— Мы с Филипом остановились в гостинице в Кенсингтоне.

— Я отвезу тебя обратно.

— Я не могу. Ты должен понимать. Я должна ужинать с Филипом и… со всеми остальными.

— Я могу напроситься на приглашение, — сказал Чарльз-Карл. — И тогда мы сможем…

— Все это без толку, и ты это прекрасно знаешь.

Но он напросился на приглашение и умудрился сесть рядом с ней, обоих бросало в жар, оба чувствовали себя слишком живыми и отчаивались.

Джулиан был влюблен в Гризельду. Он понял это совсем недавно. Ему нравилось молчать об этом, держать это в тайне даже от любимой

— чтобы не было похоже на кипящие сплетни и бесконечные пересуды мужского кружка в Кингз-колледже. Еще Джулиан молчал оттого, что, судя по всем признакам, эта любовь не была взаимной. Гризельде было приятно его общество, потому что он много знал и понимал ее слова, которые поставили бы в тупик большинство людей. Но ей было с ним *слишком* уютно. Не было остроты осознания происходящего. Он говорил с ней о работах Филипа.

— Это бурные сосуды. Кипящие. Буря в чашечке воды, в вазе. И по всем сосудам носятся твари… как черви в сыре. Величественные сосуды, на которых бушуют шторма.

— Ты очень точно формулируешь. Ты такой умный!

— Я предпочел бы сам творить что-нибудь, а не рождать точные формулировки для чужих творений. Я помню, как поймал Филипа — грязного оборвыша, который прятался в саркофаге, в подвале. А я только хотел выгнать его оттуда, куда посторонним вход воспрещен.

Гризельда засмеялась.

— А теперь Музей купил вон ту большую вазу с потопом и тот высокий кувшин с карабкающимися тварями.

— Это хороший сюжет.
— Да, из грязи в князи.
— Ну… во всяком случае — в художники…

Дороти приехала в «Жабью просеку» на выходные. Она встала рано и наткнулась на Тома, который ел хлеб с маслом.
— Пойдем прогуляемся, — сказала она. — Погода хорошая.
— Если хочешь, — Том кивнул.
— Можно пойти к древесному дому.
— Если хочешь.

Они шли под пологом леса, под листьями, желтыми и желтеющими, уже слишком безжизненными для зеленых, но еще недостаточно хрусткими и яркими для желтых и красных. То и дело сверху падал очередной листок, присаживался ненадолго на ветку, планировал дальше, бесцельно кружась, и наконец ложился в слой лиственного перегноя. Дороти пыталась говорить с Томом. Не о своей работе, потому что уже давно поняла, что ее работой он подчеркнуто не интересуется. Она говорила о керамике, о школьных экзаменах Гедды, о том, что у Виолетты в последнее время болят лодыжки, и что Дороти об этом не знала, а это может быть гораздо серьезней,

чем все думают. Том почти все время молчал. Он показывал ей фазанов и один раз показал кролика. В лесу пахло тлением — победительным, заложенным в самую суть вещей. Тропа свернула и вышла к месту, где когда-то прятался их тайный древесный дом.

— Его нет, — сказала Дороти. Аккуратная поленница из кусков дома стояла на прежнем месте.

— Да, — сказал Том.

На миг Дороти решила, что брат сделал это сам в припадке безумия или отчаяния.

Он сказал:

— Это лесник. Он не имел права, это общинная земля, а не часть его вырубок.

— Ты мне не сказал.

— Я думал, тебе будет неинтересно, — кротко и ядовито ответил Том. — Не по правде интересно. Не очень.

— Это же древесный дом. Все наше детство.

— Да, — сказал Том.

— Прости меня, — сказала Дороти, словно это она изрубила на куски стены дома.

— Ты не виновата, — ответил Том. — Случилось то, что случилось. Куда теперь пойдем?

Когда Дороти уже собиралась ехать в двуколке обратно на станцию, Олив позвала дочь к себе

в кабинет.

— Хорошо бы ты приезжала почаще. Я беспокоюсь за Тома.

Кабинет изменился. Он был забит разнообразными куклами, фигурами из папье-маше, макетами декораций, с книжных полок торчали марионетки с веревочками. Работа Ансельма Штерна, подумала Дороти, слегка обиженная, что ее настоящие родители сотрудничают у нее за спиной. Она спросила:

— Что, по-твоему, с ним не так?

— Не знаю. Он все встречает в штыки. Я не могу до него достучаться.

— Может быть, ты и не пытаешься, — сказала Дороти и тут же об этом пожалела. Олив на миг уронила голову в руки. И сказала с вялым раздражением:

— Ты-то уж точно не пытаешься. Тебя и дома-то не бывает. Я знаю, ты намерена спасать людей и творить чудеса, но у тебя нет времени, чтобы хоть замечать своих родных или относиться к ним по-доброму.

Дороти взяла марионетку — маленькую, серую, похожую на крысу, в золотом ошейнике, с пришитыми рубиновыми бусинками глаз. И услышала свой голос:

— А как ты думаешь, у кого я этому научилась? Погляди на себя. Том явно болен, а ты набила всю комнату этими куклами…

— Я пишу пьесу. Со Штейнингом. Мы сняли театр «Элизий» на следующий год. Это будет совершенно новая постановка, ничего подобного еще ни у кого не было.

— Я от души желаю успеха твоей постановке. Честное слово. Но, по-моему, Том болен. И его мать — ты, а не я.

— Да, но он тебя любит, он тебе доверяет, вы всегда были так близки.

Дороти стиснула зубы и начала перебирать в уме список всех маленьких косточек человеческого скелета — одну за другой. Работа. Работа — самое важное. А работа Олив была безнадежно заражена игрой.

— Кто-то должен заставить Тома повзрослеть, — сказала Дороти.

— Он уже взрослый, — возразила Олив, а потом уже другим, несчастным голосом добавила: — Я знаю, я знаю…

— Мне пора. А то я опоздаю на поезд.

— Возвращайся поскорее.

— Если получится, — сказала Дороти.

43

Олив снилось, что театр имеет форму черепа. Он нависал над ней на туманной, копотной улице, непорочно-белый и улыбающийся. В такой форме не было ничего удивительного. Олив каким-то образом вплыла внутрь через щель меж зубами и оказалась под куполом, где порхали яркие создания — птицы и воздушные акробаты, ангелы и демоны, феи и жужжащие насекомые. Она должна была с ними что-то сделать. Рассортировать, переловить, дирижировать ими. Они сгрудились в воздухе вокруг ее головы, как игральные карты в «Алисе», как рой ос или пчел. Она не могла ни дышать, ни видеть и проснулась. Она записала этот сон. Она записала: «Я поняла, что всегда представляла себе театр как пространство под черепом. Книгу может держать живой человек в поезде, за столом, в саду. Театр нечто нереальное, там все внутри». Требовательность Штейнинга внушала благоговение, а иногда приводила в отчаяние. Он построил скелет постановки и прилаживал к нему детали. Каждая сцена должна была завершаться занавесом, сюжету требовались развитие, кульминация и развязка.

— Ваша сказка — словно нескончаемый червь, — сказал он Олив. — Нам нужно порубить ее на сегменты и перестроить. Посмотреть, какие сценические механизмы у нас есть, и приспособить их к делу. И еще нам нужна музыка.

Штерн сказал, что им нужно что-нибудь вроде Рихарда Штрауса. Нет, нет, воскликнул Штейнинг, что-нибудь английское, напоминающее о феях, — нечто среднее между «Зелеными рукавами» и «Кольцом нибелунга». Он знает одного молодого музыканта, который собирает английские народные песни. Тот поймет, что нужно.

Пьеса начиналась со сцены, в которой мальчик без тени встречает королеву эльфов, также лишенную тени. Нужно было очень сложное освещение. Они спорили, следует ли показать, как крыса ворует тень, и решили оставить крысу для более позднего столкновения. Штейнинг назвал мальчика Томасом — аллюзия на Верного Томаса; он не принц из волшебной сказки и вообще не принц, сказал Штейнинг, и Олив согласилась. Мальчик будет идти вброд через кровавую реку — это можно сделать красным прожектором, — а королева даст ему серебряную ветвь яблони: и талисман, и неиссякаемый источник пищи, как это часто бывает в кельтских

мифах. Еще она даст ему угольный шар, который защитит его в час нужды. «Жаль, — сказал Штейнинг, — что мы не можем показать, как папоротники и плауны угольного шара снова оживают, по волшебству». Он нарисовал задник сцены, каким его видел, — рисовал углем и размазывал угольную пыль, чтобы показать эффекты. На заднике были серые и черные слои, уступы, идущие под углом вниз. Он обсуждал со Штерном, нельзя ли сделать так, чтобы по уступам танцевали одушевленные существа, крохотный народец. Штерн предложил поставить за сценой кукловода, который прекрасно сможет управлять многими существами. Они будут появляться и исчезать. Штейнинг рисовал углем папоротники и стрекоз — серых на сером. Олив сказала, что растения в угольном пласте действительно иногда возвращаются к жизни — или к смерти, выдыхая газы замедленного разложения. «Вечный ужас шахтеров — удушливый газ, который убивает внезапно». «Да, *Dampf*,[108] — сказал Ансельм. — Я знаю». — «И еще, — продолжала Олив, — угарный газ. Говорят, он пахнет цветами — фиалками. На самом деле это моноксид углерода. А третий,

[108] Примечания: 108
Испарения *(нем.)*.

самый ужасный, — гремучий газ, тоже продукт разложения древних растений, он просачивается сквозь скалы или, шипя, выходит из трещин».

Она замолчала, вспоминая страшное.

Штейнинг начал рисовать. Демон, состоящий из цветов, другой — из перекрученных канатов, третий — огненный, с короной из языков пламени на пылающей гриве.

— Я могу такие сделать, — сказал Вольфганг.

— Есть еще выжигальщик, — сказала Олив. — Это шахтер в мокрой белой льняной одежде, он носит свечу на длинном шесте, чтобы выжигать гремучий газ.

— Это похоже на балет, — сказал Вольфганг.

— Марионетки в рост человека, — подхватил Август. — И живой человек, танцор в мокрой белой рубахе… все равно, мне хотелось бы сделать так, чтобы цветы оживали.

— Нам нужна героиня, — сказал Штейнинг. — В начале у нас есть хорошая королева эльфов, а в конце — королева теней. Нам нужна главная женская роль.

Он обдумал краткое изложение сказки, которое Олив для него подготовила.

— У вас есть этот очень удачный персонаж — сильф, которого освобождают от паутины, а

потом он ничего особенного не делает. Я думаю, что это должна быть она, и мы размотаем ее гораздо раньше, почти сразу после того, как Том спускается в шахту. И тогда она сможет пойти с ним, в составе отряда. Мне нравится гаторн. Мне кажется, он что-то вроде подземного Пэка, «Добрый Малый»? Проказит, но помогает. И еще мне нравится тот белый саламандр, которого сделали Ансельм и Вольфганг — пусть он бегает по уступам и скрывается в туннелях. Но нам нужна главная женская роль. Молодая женщина. Вы можете ее написать?

— Это сильф, — сказала Олив. — Один из четырех Парацельсовых элементалей: сильфы — создания воздуха, гномы — земли, ундины — воды, саламандры — огня.

— Белый саламандр может светиться, когда опасность близко, — сказал Вольфганг.

— Сильф будет бояться глубин, — у Олив заработало воображение. — Ей нужно будет возвращаться на воздух.

— Великолепно. Поработайте над ней. Придумайте ей какие-нибудь занятия. Пускай она ссорится с Томасом. Пускай теряет сознание от подземного воздуха.

Устроить развязку было уже несложно. Олив

так и не дописала до конца сказку Тома, которая была задумана бесконечной. Финалом пьесы оказалась встреча с королевой теней, которая плела свою сложнейшую паутину в самой глубокой шахте. Они долго, с удовольствием спорили, должна ли ее играть та же актриса, и решили, что нет. У нее будет свита из летучих мышей, усатых острозубых гномов и крыс. Еще они хорошенько поспорили о том, следует ли этим гномам быть актерами или марионетками, и решили, что нужны и те, и другие. Появится тень Тома. Она будет под чарами королевы теней и откажется подняться на вольный воздух, чтобы воссоединиться с Томом. Олив пожаловалась, что она, как рассказчик, не видит выхода из этого тупика, потому что тени, конечно же, гораздо приятней свободно бегать по темным ходам. Ага, сказал Август, но тут-то и появится Сильф. Она расскажет тени о жизни наверху, о ярких красках, о траве и деревьях.

— Нужна магия, — сказал Штерн. — Для финала. Нельзя закончить пьесу спором.

— Вот тут-то нам и пригодятся угольные шары и цветы. Господа Штерн, вы можете сделать мне черный клубок корней и листьев, который потом расплетется и взорвется удивительными шелко-

выми цветами и нитями? И еще… — увлекшись, продолжал Штейнинг, — и угольный шар, и серебряная ветвь должны светиться, свет должен воссиять во тьме.

Вольфганг сказал, что в «Питере Пэне» хотели использовать для феи в пузырьке большое увеличительное стекло, и ничего не вышло. В «Питере Пэне» хотели уменьшить живую актрису. А он хочет увеличить угольный шар. Это гораздо проще.

— При свете… — сказал Август, — при свете лицо темной королевы должно принять противный серо-зеленый цвет.

Тень не давала Олив покоя. Наконец она придумала. Тень может заключить уговор, как Персефона, чтобы ей разрешили возвращаться-под-землю, когда на земле лежит снег. Она будет путешествовать среди корней, сказал Штерн. У мифов есть привычка обходить полный круг и возвращаться. А сильф будет навещать тень-подземлей, среди черных алмазов и рудных жил.

Август уже рисовал сильфа — тонкую, изящную фигурку с белыми волосами, стоящими дыбом, словно их раздувает ветром.

Так они изобретали этот мир в течение многих месяцев. Но, в отличие от других сказок Олив, эта должна была обрести плоть. Нужны были кулисы

и задники, костюмы и туфли, прожектора, люки, подъемники, ветродуи и тайники, где спрячутся кукловоды. Август нашел средства, Олив уговорила Бэзила и Катарину Уэллвуд вложить деньги в постановку. Настал день, когда все они сели в бархатные красные кресла в зрительном зале «Элизия» и стали прослушивать актеров и актрис, пробующихся на роли эльфийских королев, крыс, гаторнов, сильфа и Тома.

И только тут Олив поняла, что Штейнинг собирается выпустить в роли Тома женщину.

Олив в те дни ходила словно пьяная от счастья и напряжения совместной работы. Ремесло писателя сопряжено с одиночеством, даже если пишет домохозяйка, урывая минуты от домашней работы, на краю обеденного стола. Олив прошла невообразимо долгий путь от шахты «Голдторп» в йоркширском угольном краю до этого дворца с золотом и красным бархатом, до смеющихся и серьезных товарищей, с которыми теперь работала. Она любила их всех и яростно сражалась с ними, когда они вели нить повествования не туда или брали порождения Олив и меняли их неприемлемым образом. Ибо она жила с этими тенями, в этом одиночестве, и любила и ненавидела их, и смотрела, как они идут своим путем и

творят что хотят, ничем не скованные.

Олив не была настоящим драматургом. Она поняла это на прослушиваниях. Истинный драматург создает героев, в которых могут вселиться актеры. А сказочник создает призраки людей у себя в голове — автономными, завершенными.

Самое худшее на прослушиваниях — после первоначального шока, вызванного тем, что Тома будет играть женщина — была плохая актерская игра и неправильные интерпретации. Сюсюкающие барышни со сладкими голосками, у которых порывистый сильф становился слащавым. Гаторны, неуклюжие и глупые, играющие ради зрительских смешков и собственного самолюбия. Королевы теней, похожие на светских дам-декламаторш. Слишком крысиные крысы, чего в принципе трудно достичь. Была и противоположная проблема — хорошие актеры, искажавшие *ее* создания: эльфийскую королеву, студенца (голос, привязанный к желеобразной змее, плюс освещение).

Но хуже всего были женщины в роли Тома. Олив пыталась ругаться со Штейнингом. Он же пробует на роль Гаторна молодых мужчин, так почему не на роль Тома?

В пантомиме существуют определенные тра-

диции, заявил Август Штейнинг. Олив воззвала к немцам. Они уклончиво сказали, что их постановка должна соответствовать многим традициям, от вагнеровской оперы до театра марионеток. В ней были элементы балета и элементы *commedia dell'arte.* У того, кто играет главную роль, должен быть красивый, ясный голос — не ломающийся и не детски писклявый.

Олив была из тех женщин, что придумывают персонажей и создания мужского пола. Отряд путешественников-под-землей: Том, Гаторн, саламандр, студенец — все мужского пола, как и гневная оторванная тень Тома.

Штейнинг сказал, что женщине лучше удастся тот элемент маски, *übermarionette,* которого он хочет добиться.

Олив не могла позволить себе ссору со Штейнингом.

Для прослушиваний они использовали сцену встречи Тома с Гаторном. Вереница разномастных пэкообразных мальчиков говорила то с женщинами, похожими на мальчиков, то с примадоннами. Олив, живущая словами, ориентировалась по словам. Она решила, что «Люси Фонтейн», наверное, сойдет, а «Глэдис Карпентер» окажется слишком толстой. Имя «Сильвия

Саймон» внушало некоторые надежды, а «Дейзи Бремнер» и «Глория Гейхарт» звучали слишком по-девичьи или вообще нереально.

Все женщины были в юбках. У Люси Фонтейн оказался приятный чистый голос, а также заметная грудь и бедра. Олив закрыла глаза и стала слушать:

— Я потерялся, и боюсь, что не выйду отсюда живым. Я не знаю, куда иду, и тем более не знаю, как туда попасть. У меня есть этот огонек и плохая карта.

Вступали Гаторны:

— Тут не так уж плохо. Я здесь живу. В темноте хорошо, если ее понимаешь. Она полна неожиданных сокровищ.

Мальчики-женщины отвечали:

— Кто ты такой? Как ты тут живешь?

— В темноте можно видеть, когда глаза привыкнут. Некоторые твари светятся сами. Вот погоди, увидишь студенца.

— Я видел, как в отдалении что-то светилось и какие-то существа проносились мимо.

— Эта шахта полна духов. Одни — добрые или, во всяком случае, не злые. Другие — непростые. Третьи — просто злобные.

— Я не просил… посылать меня на поиски. Я

хотел лишь порезвиться в полях.

На этом Штейнинг обычно кричал: «Довольно!» Олив пыталась сидеть с закрытыми глазами и только слушать голоса. Она многое узнала. Ее герой боялся сильнее и был менее храбр, чем большинство героев. У Глории Гейхарт, которая оказалась худой, был звучный голос, уверенное сопрано. Люси Фонтейн уловила точное сочетание мрачности, легкой веселости и дружелюбия. *«Zu viel Brust»,*[109] — сказал Штерн. Дейзи Бремнер очень хотела играть, но была совсем не похожа на мальчика, Глория Гейхарт слишком переигрывала, Сильвия Саймон робела и была некрасива, но, кажется, знала, что делает. Глэдис Карпентер оказалась высокой и худой, с коротко остриженными белыми волосами. У нее было костлявое лицо. Ей повезло: ей достался лучший Гаторн, намного превосходивший всех остальных, — мальчик по имени Майлз Мартин, с огромным ртом, умевшим изобразить множество улыбок и ухмылок, с хрипловатым голосом, копной кудрявых волос и большими глазами. Он придумал себе особую манеру двигаться — скрючившись и прыгая, — но когда Глэдис говорила, он ее слушал, и она

---

[109] Примечания: 109
Слишком большая грудь *(нем.).*

обращалась именно к нему. Олив снова закрыла глаза. Голос был бесполый, серебряный. Храбрый, но полный страха перед темнотой. Она открыла глаза. Эта девушка с прямой спиной умудрилась заползти в шкуру придуманного ею мальчика.

— …боюсь, что не выйду отсюда живым.

Деловито, с достоинством, с отчаянием.

— Эта подойдет, — сказал Август. — Единственная, кто не переигрывает.

Они стали репетировать. Штерны работали над марионетками, куклами, саламандром, студенцом, угольным шаром. Штейнинг рисовал и перерисовывал декорации. Он репетировал с актерами в масках — Удушливым Газом, Угарным Газом, Гремучим Газом, Выжигальщиком в белой рубахе и со свечой на шесте. Он репетировал с летучими мышами, крысами, тенями и пауками. В пьесу добавлялись новые сцены, чтобы оживить действие. Сильфа — девятнадцатилетнюю девушку по имени Дорис Эмонд, выглядевшую на четырнадцать, — заматывали паутиной и снова разматывали. Материал паутины заменили на другой, чуть блестящий, в котором лучше играл свет. Поворотник, поднимавшийся над сценой, вдруг сломался и с лязгом остановился, перекосившись. Его починили. От

некоторых марионеток — слишком маленьких или недостаточно эффектных — пришлось отказаться. Вольфганг Штерн делал и переделывал угольный шар. Занавес расписали черными папоротниками, черными стрекозами и черными чудовищными сороконожками. Напечатали программки. Постановка была готова. Штейнинг назвал ее «Том-под-землей». Олив не сказала Тому, что они адаптировали его сказку и взяли для героя его имя. Пока Олив работала над пьесой, она не думала про Тома. Имена героев приходят к писателям сами, и не позволяют себя менять, и оказываются фактами природы, как минералы, как растения. Они просто есть. Но теперь, когда настала пора сказать Тому о постановке, Олив подумала, что лишь другой писатель поймет вот это — про имена. А может быть, Тому, наоборот, будет приятно увидеть свое имя на афише, в самой середине.

Штейнинг разослал приглашения на премьеру. Элегантно отпечатанные, с серебряной ветвью и угольным шаром. «Олив Уэллвуд, Август Штейнинг и управление театра „Элизий“ приглашают вас на спектакль „Том-под-землей“, новый вид театральной драмы».

Том открыл свою программу за завтраком.

Олив наблюдала за ним. Он прочитал ее вслух Виолетте, Флориану, Гедде, Гарри и Робину — у них у всех были точно такие же конверты. Хамфри снова уехал в Манчестер, но обещал вернуться к премьере. Олив знала, что ей следует что-нибудь сказать — давно уже следовало бы что-нибудь сказать.

— Так, значит, героя пьесы зовут Том, — произнесла Виолетта. — Как это мило, Том.

— Да, — отозвался Том, — очень мило.

Он говорил безо всякого выражения, монотонным голосом, чем-то похожим — подумала Олив с упавшим сердцем — на голос Глэдис Карпентер. Том сказал:

— Меня не спросили. И не предупредили.

— Зато получился сюрприз! — воскликнула Виолетта.

— Кучу людей зовут Том, — заявила Гедда. — Это очень распространенное имя.

— А про что эта пьеса? — спросил Робин.

— Это тоже будет сюрприз! — воскликнула Виолетта.

44

Премьера состоялась в первый день Нового, 1909 года.

Хамфри и Олив сидели в ложе мистера Розенталя, импресарио, с его женой Зельдой, театральным рыцарем сэром Лоренсом Портеусом и несколькими либеральными политиками. Штерны трудились за кулисами — командовали, расставляли больших кукол, марионеток, студенца и саламандра, управляли ими. Штейнинг сидел в ложе с Уэллвудами и нервничал больше обычного. Ему казалось, что никто, кроме него, не справится с освещением — с потоками крови, Удушливым Газом, Гремучим Газом, ярким светом, внезапно вырывающимся из угольного шара. Штейнинг сидел рядом с Олив. Один раз он схватил ее за серебряный рукав, а потом невнятно извинился.

Виолетта и дети Уэллвудов сидели в другой ложе. Дороти не пришла. Том был не в вечернем костюме, но по крайней мере отмылся, надел чистую рубашку и пристойную куртку. Справа от него сидела Филлис в золотисто-карамельном

платье работы Виолетты, а слева — Гедда в шелковом платье цвета морской волны, с кружевным воротничком. Виолетта сидела с другого бока Филлис. Она была в черном платье с лиловой отделкой, с камеей у ворота. Она отодвинула красивый позолоченный стул назад, в глубину, в тень.

Младшие мальчики — Флориан, Робин и Гарри, которым было уже шестнадцать, четырнадцать и тринадцать лет, — вымытые и приглаженные, сидели рядком позади Виолетты.

Том опер подбородок о красный бархат барьера и уставился наружу. Ложа располагалась высоко под сводом потолка, окрашенным в сочный цвет полуночного неба и усаженным звездами. По своду плыли позолоченные ангелы с серебряными трубами. Огромная люстра, водопад хрустальных капель, хранила и рассыпала ослепительный свет. Том смотрел вниз, в пустоту, парадоксально тесную от горгулий, подпирающих ложи, и мечтательных херувимов над занавесом, прикрывающим сцену — еще более глубокую пустоту.

Гедда сказала:

— Когда смотришь, всегда хочется прыгнуть вниз, правда?

— Не говори глупостей, — отбрила ее Виолетта.

Гедда не сдавалась:

— Оно как будто тянет — туда, вниз.

— У меня из-за тебя голова закружилась, — улыбаясь, сказала Филлис. Том еще ниже опустил голову, пристраивая ее в гнездышко из рук.

Пришли музыканты; они бродили туда-сюда, пересаживались с места на место, слышалось нестройное царапанье и визг настраиваемых инструментов. Потом они заиграли. В музыке словно танцевали легкие ноги, ветер закручивал вихрем опавшие листья, в голосах кларнетов и фаготов слышалось что-то темное, затягивающее. Занавес с летучими мышами и пауками поднялся и открыл сад, залитый солнцем и обнесенный стеной; искусственное солнце освещало сад ярким и ровным светом, а по саду под музыку флейт и барабанов танцевала крыса в рост человека, держа в зубах, острых и сверкающих, обвисшую дымно-серую паутину; крыса развернула паутину передними лапами, и стало видно, что это подобие человеческого силуэта, ровно-пепельно-серое, безжизненное. Крыса вновь скатала свою ношу и сбежала из сада, перепрыгнув через стену.

В сад вошел мальчик без тени. Он сел на ска-

мью и сыграл на флейте. Он запел балладу. Он был женщиной. Тому стало противно. Женщина в куртке и чулках, со стройными ногами. У нее были коротко стриженные золотисто-серебряные волосы. Красные губы и лакированные ногти. Она двигала бедрами, как мальчик, но это были женские бедра. Пришел другой мальчик — уже настоящий, — и они стали играть, болтать, и второй мальчик сказал: «Посмотри на мою тень», и отбросил тень через весь газон. И Том — это существо звали Том — обнаружило, что оно одно и тени не отбрасывает.

Сюжет катился дальше. Том и узнавал, и не узнавал его. По коже ползли мурашки. Появилась королева эльфов — тоже без тени — и стала говорить с Томом. Сцена переменилась. Теперь это была голая вересковая пустошь с трещиной, изображавшей дверь в скале, которая на самом деле была задником сцены. Красный свет струился из-за кулис, изображая кровь. Оркестр принялся издавать кровавые звуки. Том вспомнил Лои Фуллер в Париже. Он стиснул зубы и никак не хотел отказываться от недоверия. Женщина-Том шла по колени в кровавом свете и театрально шаталась.

Том уронил голову в руки. Филлис укоризненно

постучала его по плечу.

— Ну-ка смотри, — прошипела она. — Я ведь смотрю.

Том что-то пробормотал в ответ. Темная пещера поглотила женщину-Тома. Картон, подумал Том, и картины из волшебного фонаря, и дым, нагнетаемый мехами. Том не думал об этом именно такими словами, но знал, что сейчас проходит нечто вроде испытания, экзамена. Он не должен, ни на миг не должен *поверить*. Испытание заключалось в том, чтобы не поддаться внешнему обману, блеску, иллюзии. Том-существо нашло во тьме нечто вроде сталагмита, белую колонну, что-то невнятно шептавшую под приглушенный, в ритме сердечного стука, бой барабанов оркестра. Мальчик-женщина и человек, изображавший Гаторна, нашли в колонне трещину и потянули. Сцена заполнилась клубящимися белыми шарфами. Завизжали флейты и пикколо. Сильф выпорхнула из оболочки, белей белого, с яркими белыми волосами. Она колюче затанцевала. Лицо у нее было такое же белое, как и волосы. Том снова уронил голову на руки, и Филлис снова постучала его по плечу.

— Том, сядь как следует, — сказала Виолетта. Том пожал плечами и сел. Виолетта в последнее

время будто застыла в вечном неодобрении, а то и в чем похуже. Она говорила с Томом так, словно он был не своего теперешнего возраста, а на десять лет моложе.

Действие кончилось, все яростно захлопали, зажужжали голоса. Гедда сказала:

— У этой пьесы удивительно насыщенная атмосфера. И марионетки такие ловкие. Пьеса очень зловещая, правда, Том?

Том извинился, вышел и побрел в направлении туалетов. Он постоял в очереди среди безымянных существ мужского пола, вошел в кабинку и помочился в белый фарфор, стараясь не думать — на это он себя уже хорошо выдрессировал.

Он вернулся в ложу. Он одновременно «не-думал» и «не-верил». Несомненно, у него что-то украли, но в свете этих прожекторов, на фоне этого задника украденное было чем-то искусственным, банальным, о чем не стоило жалеть.

Наступила развязка. Из угольного шара хлынул свет и шелковые папоротники пестрых, прозрачных, зеленых и золотых тонов.

Аудитория взорвалась вслед за шаром криками одобрения и аплодисментами.

— Том, что же ты не хлопаешь? — спросила Филлис, грациозно хлопая.

Том захлопал, лишь бы она отвязалась. Им видна была ложа, где сидела Олив. Зрители аплодировали и показывали на нее. Она вместе со Штейнингом подошла к самому краю ложи и склонила голову в ответ на приветственные крики и аплодисменты.

«Мы все заперты в этих ящиках, — подумал Том, — и нам не выйти».

Он знал, что о матери думать запрещено. Он был заперт в ящике и ничего не мог поделать.

— Мне нужно выйти, — сказал Том. — Воздуху. Нужно подышать.

Он отпихнул золотой стул, нашарил дверь в алой пасти ложи-ловушки и вывалился наружу.

Поэтому, когда Олив пришла в сопровождении Хамфри, чтобы дети ее поздравили и поцеловали, Тома в ложе не оказалось. Успех оглушил Олив; у нее все время расплетались волосы, и ей приходилось снова и снова укладывать их в узел. Она не заглядывала в шкаф в дальнем углу своего сознания, куда заперла беспокойство о Томе Уэллвуде и Томе-под-землей. Все образуется. В жизни всегда все образуется.

— Надеюсь, ты счастлива, — сказала Виолетта, и Олив оглядела всех детей, всех перецеловала, а потом небрежно спросила у сестры:

— А где Том?

— Он сказал, что выйдет подышать.

— Тут правда очень жарко, — сказала Олив. — Надеюсь, ему понравился спектакль.

— Всем понравился, — сказала Виолетта. — Как он может не понравиться?

Олив вручили большой букет красных роз, лилий и стефанотиса в серебряной подставке, такого размера, что его приходилось держать в охапке, а от этого ей стало еще труднее управляться с волосами. Она была в черной жесткой шелковой юбке, расшитой золотыми цветами, и серебряной блузке со сборчатым воротничком. Хамфри подарил ей двойную нить янтарных бус. Это был подарок на премьеру. В некоторых бусинах застыли насекомые: златоглазка, миллион лет назад увязшая в смоле; в твердом прозрачном шарике виднелись следы, которые она оставила, пытаясь вырваться на свободу. Хамфри сказал:

— Мне показалось, это очень подходит. Угольный шар я не мог тебе подарить.

Олив поцеловала мужа.

— Хамф, я тебя люблю, — сказала она. — Мы так далеко ушли от «Сна в летнюю ночь» в Хэкни.

— Далеко ушли, но ничего не изменилось, — сказал Хамфри и поцеловал ее снова.

Люди приходили, чтобы выразить Олив свой восторг. Джеймс Барри сказал, что он тронут; Бернард Шоу — что она умудрилась доставить удовольствие толпе умными вещами, а это нелегко; Герберт Уэллс назвал пьесу аллегорией, и Олив нахмурилась. Пришли и фабианцы, и Уэллвуды с Портман-сквер, хоть и без Гризельды и Чарльза — те должны были приехать с компанией из Кембриджа на следующие выходные. Проспера Кейна не было: у его жены подходил срок, и, как говорили, ей нездоровилось.

— Где Том? — спросила Олив.

— Он все время задремывал, — ответила Гедда.

— Не то чтобы задремывал, — уточнила Филлис. — Просто ронял голову на руки.

— Где он?

— Ты же знаешь, он не любит толпу, — сказала Виолетта. — Он объявится.

Они устроили праздник. Пили шампанское, громко смеялись. Люди спрашивали Штейнинга и Штернов, как им это удалось, и те отвечали, что возродили старое немецкое искусство. Люди снова и снова обнимали Олив, Штейнинга, Штернов. Бусы Олив перепутались с цветами, волосы снова распустились. Хамфри назвал ее Белой королевой, отобрал цветы и нашел театрального

гримера, чтобы тот снова причесал Олив и вплел ей в волосы красную розу. Штейнинг критиковал осветителя, говоря, что некоторые прожекторы включались не вовремя. Олив спросила:

— Тома кто-нибудь видел?

Никто не видел. Виолетта повторила, что он не любит толкучки и объявится.

Том надел пальто и выскользнул из театра в толпе восторженных зрителей, выливавшейся на ярко освещенный Стрэнд. Том пошел. Он прошел по Стрэнду, по Уайтхоллу, дошел до здания парламента и Вестминстерского моста. Пошел по мосту, остановился на миг, подпер голову руками и прищурясь, поглядел на реку: она как раз поворачивала на отлив, мимо неслась стремительная, сверкающая, черная вода. Том вспомнил сказанные в театре слова Гедды о том, что всегда так и тянет — вниз, прочь. Он стоял и глядел на черную поверхность. Он не знал, сколько времени прошло. Потом двинулся дальше, перешел реку по мосту и свернул на юг. Он шел по залитым светом и по едва освещенным улицам. Время от времени мимо со стоном проносились электрические трамваи, полные желтого света, но Тому не пришло в голову сесть в один из них. Ему было все равно, куда идти. Важно было дви-

гаться, не останавливаться, работать телом, а не умом. Он беспорядочно блуждал по южному Лондону. Потом оказалось, что он идет по Клэпем-коммон, среди едва освещенных мрачных прудов и черных деревьев. Когда выходишь из Лондона, это становится ясно по отсутствию сажи на стволах деревьев. Лондон — это тварь, которая спешит расти и спешит разлагаться; ряды домов и таунхаусов встают и рушатся. Скелеты кранов рисовались на небе, подсвеченные уличными фонарями; на дороге стояли хибары рабочих, копавших канавы для электрических кабелей и канализации. Воздух, заполнявший легкие Тома, стал каким-то мерзким. Том продолжал идти и дошел до деревни Далич, живописной, но стиснутой щупальцами города. Том пошел в сторону Пенджа, огибая Кройдон. У него не было определенных планов. Он хотел убраться подальше от грязи, шума, толпы и дойти до Северного Даунса, где, по крайней мере, мог ориентироваться. Он пока думал, что направляется в «Жабью просеку», домой. Куда же еще? Он шел быстро, большими, ровными шагами. «Я специалист по не-думанию», — думал он про себя.

Олив и Хамфри сидели за завтраком в Лондоне и читали рецензии. Они захлебывались востор-

гом. «Таймс» указала, что «Том-под-землей», как и «Питер Пэн», использует старые театральные формы — пантомиму, балет — новыми способами. «Питер Пэн» был спектаклем для детей, скрывающим в себе глубину, открывающим скрытые истины о детстве и материнстве. «Том-под-землей» был спектаклем для взрослых, хоть и принял форму древних волшебных сказок, «Страны под холмом», в сочетании с вагнеровскими образами черных гномов и персонажами современной угледобычи. Постановка сочетала магию «Питера Пэна» с чем-то темным, германским, с яркой, насыщенной чернотой и безумием мира кукол и марионеток. Критик даже процитировал эссе фон Клейста о превосходстве марионеток и их чистых жестов. Что-то в этом роде и чувствовали вчера вечером околдованные зрители.

— Ты героиня, — сказал Хамфри и поцеловал жену.

— Я все пытаюсь понять, куда делся Том.

— Он вечно куда-то уходит сам по себе. Он не любит толпу. Он всплывет.

— Да, я тоже так думаю.

Они сели на поезд и вернулись в «Жабью просеку».

На рассвете Том достиг края города. Он увидел звезды и край лондонской дымовой траурной завесы, и вышел из-под нее, и увидел, как восходит солнце над Северным Даунсом, и пошел вверх. Он знал пути, которыми гуртовщики гнали стада, и заросшие, брошенные дороги Даунса и Уилда. Он остановился у колоды, из которой поили лошадей, набрал воды в ладони и напился. Вода была очень холодная. Год только начался, но снега еще не было, и земля не размокла. Том вышел на дорогу, ведущую домой. Он дойдет туда за день или около того. В лавке деревни Барсучий Холм он купил краюху хлеба.

Приехала журналистка из журнала «Леди», чтобы взять интервью у Олив. Журналистка описала «Жабью просеку» в лучах зимнего солнца:

> «Она живет в доме, идеальном для писателя: одновременно чарующем и очень реальном. Мне показалось, что в названии „Жабья просека“ есть что-то ведьминское, но хозяйка меня тут же просветила. Оказалось, что название „Жабья просека“ происходит от жаб и старого кентского слова, означающего „лужайка“. И никаких ведьм! Это прекрасный,

приятный дом, с яркими, необычными горшками и плошками, с современной мебелью ручной работы, которая, однако, выглядит так, словно ей сотни лет. Здесь есть красивый газон — подходящее место для детских игр, — а рядом с ним вполне таинственный лес. У миссис Уэллвуд семеро детей — от школьников до молодых мужчин и женщин. Все они имели честь и удовольствие стать первыми слушателями завораживающих сказок миссис Уэллвуд! В доме на каждом шагу видны следы их присутствия — биты и мячики, модели и учебники; конечно же, этих детей не изгоняли в детскую, и никто не требовал, чтобы их было видно, но не слышно.

Мы поговорили о восхитительных плодах фантазии миссис Уэллвуд — Сильфе и Гаторне — и о чудесной актерской игре мисс Бреттл и мастера Торнтона в этих ролях. Понравилось ли миссис Уэллвуд решать нелегкую задачу — работать с неживыми актерами: куклами в человеческий рост и крохотными марионетками? Она с энтузиазмом отозвалась о нова-

торском освещении мистера Штейнинга, о талантах семьи Штерн из Мюнхена».

Журналистке не хотелось покидать очаровательный домик. Виолетта напоила ее кофе, а Хамфри отвез на станцию.

— Ви, как ты думаешь, где Том?

— Ходит где-нибудь. Как всегда.

— Эта женщина хотела с ним поговорить.

— Наверняка его потому и нету. Он, конечно, не от мира сего, но понимает, что именно сейчас лучше залечь на дно.

Том сделал неожиданный привал. Он наткнулся на сарай на краю вырубки, среди полей, покрытых стерней, вошел и увидел дрова и тюки соломы. Он распростерся на соломе и стал слушать мышиный шорох и карканье грачей в лесу.

Он уснул без снов, а когда проснулся, не сразу понял, где он и почему. На него мрачно смотрел человек с серо-белой пышной бородой, в приплюснутой шляпе.

— Извините, — сказал Том. Собственный голос показался ему странным. — Я ничего плохого не сделал.

— А я вроде и не говорил, что сделал.

— Я сейчас пойду.

— Куда это?

Они вышли на склон холма и поглядели на горизонт.

— Вон туда, я думаю. Мне надо в «Жабью просеку».

— Вон туда. Угу. Иди по тропке мимо того леска и возьми вправо, и при удаче выйдешь на дорогу. Ты голодный?

— Есть немного, — ответил Том. Он и хотел изнурить себя, и теперь был рад тому, что мысли замедлились, а голод казался не частью его существа, но чем-то отдельным. Старик дал ему желто-красное сочное яблоко, и Том вонзил в него зубы. Затем старик предложил ему отломанный кусок лепешки с начинкой — в основном из овощей: брюква, морковка, лук.

Они вышли на тропу в ярком солнечном свете, и Том снова пустился в путь по меловым дорогам и короткой траве холмов вверх, к горизонту.

Легче всего было попасть домой, выйдя на большак, который огибал Биггин-хилл и шел на юг к Уэстерхэму. Том стоял на гребне и озирался; холодный ветер играл его волосами.

Он повернул налево, а не направо, к Дауну, и продолжал путь на восток, в сердце Северного Даунса.

Он намеренно себя изнурял. Тело было чем-то таким, за чем он наблюдал, шагая, растягивая и сокращая мышцы.

Он думал: «А что до головы, у меня там особо много никогда и не было, правда».

Полный нереального мира, он думал: может, осталась еще миля. Какая-то тварь попыталась материализоваться у него в голове: мальчик-женщина с шапкой золотых волос, с красивыми ногами в черных чулках, в какой-то невероятной робингудовской куртке с элегантным широким кожаным поясом с серебряной пряжкой. Том сопротивлялся. Он представил себе эту тварь кровоточащей, покрытой кровью. Он попытался вовсе отключить воображение.

Ему это удалось; он сосредоточился на своих твердо шагающих ногах и оттого начал спотыкаться.

Он увидел в небе ястреба и пережил миг счастья. Он не спрашивал себя, куда идет. Это было неважно. Он шел не домой. Даунс был пуст, и Том был пуст. Им владела энергия. Он даже подумывал перейти на бег.

Олив написала Дороти письмо. Она уговорила Флориана отвезти его на велосипеде на станцию, чтобы дошло побыстрее.

Не видала ли ты случайно Тома? Он вышел из театра после спектакля — было шумно, а он не любит толпы. Вполне естественно, что ему захотелось ускользнуть, но прошло уже три дня, а он не объявился. Я помню, давно, когда он пропал, ты нашла его в каком-то вашем тайнике в лесу. Как ты думаешь, может быть, он опять там? Когда ты сможешь приехать домой? Мы так волновались и радовались из-за пьесы, но теперь я беспокоюсь за Тома. Надеюсь, твоя работа идет хорошо.

Она остановилась и пожевала перо.

Я давно должна была сказать и не сказала, как я восхищаюсь твоим упорством и трудолюбием. Ты говоришь, что унаследовала эти качества от меня. Мне хотелось бы в это верить.

Она еще посидела. Выглянула в окно, на безлюдный газон.

Она хотела объяснить, почему так беспокоится за Тома. Дороти была единственной, кто знал Тома. Но Олив не могла признаться дочери, что не открыла Тому всю правду о пьесе. Увидев назва-

ние пьесы на программках, а потом на афишах, он кивнул, и лицо его словно закрылось; но он вполне спокойно пошел на премьеру.

Он поступил так, как всегда поступал с трудностями: убедил себя, что, если о них не говорить, они исчезнут. Олив знала его, он был ее любимым сыном. Это *она* назвала Тома-под-землей Томом.

Это была просто сказка.

Не просто.

Дороти ответила.

> Том не может быть в древесном доме. Я точно знаю, что не может, потому что он водил меня на то место и показал мне: лесник спилил древесный дом и сложил в поленницу. С виду Том был этим не очень расстроен, но по его виду никогда не скажешь.
>
> Я еще не видела постановку. Мы получили билеты, что ты прислала, и я собиралась пойти на выходных с Гризельдой, и Джулианом Кейном, и одной приятельницей-медичкой. Но, может быть, мне вместо этого лучше приехать домой? Как ты думаешь?

Олив ответила: «Пожалуйста, приезжай домой. От Тома до сих пор никаких вестей. Виолетта говорит, что это буря в стакане воды, но она всегда так говорит».

Она запечатала письмо и написала несколько ответов на письма друзей и зрителей об оригинальности постановки «Том-под-землей».

Том поднялся на высоты Северного Даунса. Он шел не останавливаясь. Он обнаружил, что пересекает какую-то дорогу — видимо, лондонскую, — перешел ее, не глядя ни направо, ни налево, и увидел телегу, которая тащилась на юг, и фырчащий, скрежещущий автомобиль, едущий на север с пассажирами, замотанными плотными шарфами и вуалями. Том дошел до перекрестка с выцветшим указателем с едва различимыми буквами. Указатель гласил, что дорога называется «Напрасный труд» и по ней можно дойти до деревни, которая тоже называется «Напрасный труд». Тому понравилось название, он отправился в ту сторону и дошел до деревни, которую и деревней-то трудно было назвать. Из-за этого он слегка отклонился на юг, а потом снова повернул на восток и обнаружил, что вышел на Путь паломников — старую дорогу, по которой некогда шли паломники в Кентер-

бери, к могиле убиенного Фомы Бекета. Это ему тоже понравилось. Он свернул на северо-восток и пошел по Пути через Даунс до Чаринг-хилла и Клирмаунта. Оттуда Путь паломников шел по южному краю Фриттенфилдских лесов. Том, дойдя до конца леса, повернул на юго-запад, следуя указателю, на котором было написано «Ферма Диггера». Оттуда он пошел к Хотфилд-коммон и Хотфилдским болотам. Так он оказался на железнодорожной ветке, соединяющей Севеноукс и Мейдстоун. Том слез по откосу и постоял на путях меж двумя сверкающими рельсами. Он услышал, что с севера приближается поезд. И подумал, что можно просто остаться на путях, и пусть. Потом обнаружил, что стоит по другую сторону путей, и стал ждать паровоза, струи пара, огненного дыма, деловитого лязга поршней. Том вспомнил рассказы о кончине Степняка. Тот смог.

Том пошел дальше, через Уилд, на юго-запад. Хотфилд — общинный луг и болота. Через реку Большой Стаур — он пересек ее в месте под названием «Рипперова переправа». Уилд был покрыт непроходимой тяжелой глиной и все теми же древними дубовыми лесами вперемежку с рощами узловатых ясеней и терновника. За эти годы Том исходил его, наверное, почти

весь. Пожалуй, единственное, что он сделал в своей жизни, — исходил этот древний кусок Англии. Путь паломников и болота напомнили ему о Бэньяне и трясине отчаяния. Маленьким мальчиком Том перечитывал эту книгу снова и снова, наверное, каждые две недели, проживая каждый шаг пути на небеса и не понимая ни слова из христианских доктрин. Ходить по этой земле было все равно что жить в английских сказках. Том читал «Сказки Старой Англии» — эту книгу Киплинг сам прислал в подарок его матери с письмом, полным восхищения. Том читал о бегстве из Димчерча — о том, как все эльфы и феи, народец холмов, ринулись в полночное море, покидая страну, которая больше в них не верила.[110] Он знал — такие вещи он старался знать, — что название «Пэрчейз-хауз» не имеет отношения к религии, к искуплению грехов:[111] «пэрчейз» — старое английское слово, означающее место встречи пэрчей, маленьких Пэков. А может быть, подумал Том, и то, и другое

---

[110] Примечания: 110

«Бегство из Димчерча» — глава «Сказок Старой Англии» Р. Киплинга.

[111] Примечания: 111

Purchase *(англ.)* — покупка. Здесь аллюзия на слова апостола Павла «Вы куплены дорогою ценою» (Первое послание к Коринфянам, 7:23) о том, что Христос своей смертью искупил, т. е. выкупил собой, грехи человечества.

верно — английский язык на это способен. Он сближает разные вещи. Том решил, что идет в паломничество — по почве Англии, мелу Англии, английским древним лесам.

Он не спрашивал себя, куда именно идет. Смотрел на указатели и сворачивал в ту сторону, если название деревни ему нравилось. У него в голове появились очертания сказки. Всего лишь костяк сюжета — путник, идущий по Англии. Странно было лишь то, что Том видел эту сказку (он всегда именно *видел* сказки мысленным взором) исключительно в оттенках белого цвета — белизны, сливок, серебра; выбеленная, выцветшая, белесая сказка, цвета остовов водорослей, а может, и людских остовов, и звериных.

Хоуд-вуд, Бетерсден, Гончарный Горн, Дальний Квартал, Средний Квартал, Аркадия, Баглсден, Ферма детей, Ферма «Тук-Тук», Вишневый сад, Девичий лес, Лес Большой цапли — и вдруг Том оказался на краю прямого протока, в котором узнал Королевский военный канал, построенный некогда для дополнительной зашиты Англии на случай вторжения Наполеона. Значит, это уже край Уоллендского болота. Канал шел с востока на запад, меж крутых берегов. Тут жили стрекозы и жирные длиннотелые лягушки. Том пошел

вдоль канала на восток, пересек его и свернул на юг по дороге, ведущей к ферме «Грушевое дерево», мимо Ньючарда, к Руклендсу, Блэкменстоуну, мимо Святой-Марии-в-полях, и дальше, к Олд-Ханичайлду. Теперь Том оказался на собственно болотах, крест-накрест изрезанных канавами. К юго-востоку от Ханичайлда он пересек Новый сточный канал. Он прошел между Старым Ромни и Новым Ромни, по земле, которую упорно несло сюда море, — люди сделали ее пригодной для овец, выкопав каналы. Гэлдсотт, Кемпс-Хилл, Бёрдзкитчен. Том обогнул Лидд и военный лагерь со стрельбищами и мишенями, раскинутый на мрачных, усыпанных галькой равнинах. Том выбрался из Лидда — по болоту Денге, мимо деревни под названием «Стена-из-валунов». Земля в этих местах морщилась огромными плоскими складками и гребнями, усыпанными галькой, с полосами серо-зеленого лишайника, цепляющегося за камень с подветренной стороны. Том прошел по каменистой полосе Денгейского болота, меж черными деревянными хибарами, ржавой рыболовной машинерией, рыбацкими лодками, лежащими на суше килем кверху. Он прошел мимо Куста-на-полдороге и Ямных озер, где плавали и кричали морские птицы. Он пошел

дальше, на мыс, к Данджженессу, мимо того места, где железная дорога — одноколейка — вдруг кончалась в полосе гальки рядом с хижиной береговой охраны.

Когда идешь по гальке, приходится думать. Каждый раз, как ставишь ногу, галька, твердая и непокорная, врезается в подошву. Галька предательски скользит — перед тобой, по бокам, ты кланяешься и выпрямляешься, клонишься вперед, против ветра, который на берегу обычно свирепствует, сдувает волосы со лба назад, врывается в спирально закрученные каналы ушей, нащупывая мозг. Тому нравилась галька. Галька была осколками огромных валунов с утесов на краю Англии, валунов из мягкого мела и твердого кремня; ее сгладила вода, которая швыряла камни и терла друг о друга. Все голыши одинаковые, но нету двух в точности одинаковых, подумал Том, и ему понравилось: камушки как люди, неисчислимые, как… как звезды, или как песок, и откуда взялось это сравнение? Неважно. Кругом все было твердое, жесткое, и это утешало. Он пошел дальше, вскарабкался на высокую гряду, сложенную из той же гальки, услышал и увидел море. Тут Англия кончалась. Он дошел до конца Англии.

День клонился к вечеру. Том сел, все еще в надетых для театра ботинках и пальто — уже запыленных и измазанных глиной. В голове у Тома белоснежный паломник сел на сливочно-белую гряду гальки.

«Что теперь?» — спросил Том у паломника, хотя и так знал ответ.

Он посидит, пока не зайдет солнце.

Он стал разглядывать гальку. Один голыш — расколотый, с мраморным блеском на сколе. Другой — бледный, почти идеальный шар. Третий с дырочкой: такие камешки — волшебные, или когда-то были волшебными, и через дырку виднелся невидимый мир. Голыш был кривой, неровно-серого цвета с пятнами ржавчины и бледными пролысинами там, где еще не стерся мел. Внутри дырка была пористая, как пчелиные соты, и тоже меловая. Том подобрал этот камушек и поглядел через дырку на море.

Море у Данджeнесса бурное. Галечное дно уходит уступами все вниз и вниз, и воды Ла-Манша налетают на берег со свистом, завихряясь, вскидывая фонтанчики в коронах из тонкой водяной пыли, а потом отскакивают и всасываются обратно через щели меж гремящей галькой. Вода шумит, ветер шумит, камни шумят. Том сидел

в этом шуме и смотрел на волны — как раз шел прилив. Волны, как и галька, были все одинаковые, но ни одна не похожа на другую.

Под волнами идет течение, подобное вихрю — оно всасывает и тянет вокруг мыса и прочь от берега, в Ла-Манш.

Том смотрел, как садится солнце в Ла-Манш над полоской земли, ведущей к мысу Бичи-Хэд.

Звезды действительно оказались неисчислимы — как песок, как галька.

Том изо всех сил старался себя изнурить и перестать думать, но ему это не совсем удалось. Не полностью.

Он сделал следующий шаг. Ботинки и пальто повергли его в тупое, животное недоумение. Они все испортят. Будут тянуть назад. Он снял их и поставил ботинки на пальто. Он не знал — может быть, прилив поднимется и заберет их. Если и так, то пусть.

Он снова пошел. Спустился по гальке и, не останавливаясь, вошел в волны и хлещущий ветер, в летящую пену и сплетение канатов, тянущих вниз. Так, в одних носках, он все шел по гальке, когда поскользнулся и волна швырнула его в течение. Он не противился.

45

В «Жабью просеку» приехали и Дороти, и Гризельда. Дороти сказала подруге, что Олив беспокоится за Тома. Она рассказала про древесный дом, судьба которого необъяснимым образом вызвала и у Дороти беспокойство за Тома. Гризельда сказала, что Вольфганг после представления пригласил их за сцену и показал сложные механизмы, управляющие куклами и марионетками. Ничего, в другой раз, добавила она. Дороти уже не в первый раз показалось, что Гризельда знает про Вольфганга и его дела больше самой Дороти, хотя именно Дороти он приходился братом. Наполовину братом, как Том.

В «Жабьей просеке» Олив мерила шагами прихожую — взад-вперед, подобно челноку в станке. Тихо, сказал Хамфри, глядя в окно. Виолетта подала девушкам чай. Весь дом был на ногах и глядел из окон: Гедда — мечась по всему дому, Виолетта — на кухне, Филлис и младшие мальчики — в детской. Гризельда упавшим голосом рассказала Олив о восторге, с которым зрители принимали пьесу.

Олив спросила:

— Что ты говорила про древесный дом?

— Когда я была тут в прошлый раз, я сказала: «Пойдем к древесному дому». Том не сказал мне, что его срубили. Взял и привел меня туда. Я подумала… я подумала, что это недобро с его стороны. — Она помолчала. — Но похоже на него.

— Очень похоже, — сказала Олив.

— На дорожке автомобиль, — сказала Гедда. — Там водитель, еще один мужчина и женщина в такой вуали. Они выходят. Похоже, это Дева Мэриан.

Гедда привыкла так называть миссис Оукшотт еще в детстве, когда подслушивала взрослых. Возможно, она не обмолвилась бы, если бы не так беспокоилась. Хамфри полоснул ее мрачным взглядом.

Автомобиль принадлежал Бэзилу Уэллвуду. Пассажир-мужчина снял очки-консервы и кожаную куртку и оказался Чарльзом-Карлом. Они вошли в дом и молча остановились. Мэриан Оукшотт произнесла:

— Я думала… хотела… поговорить с вами наедине.

Она обращалась к Хамфри. Олив сказала:

— Мы все здесь… Мы все здесь из-за… Вы може-

те говорить со всеми.

Виолетта забрала у Мэриан и Чарльза-Карла автомобильные куртки. Гризельда посмотрела на брата, удивленно нахмурясь.

— Я заехал в гости, — объяснил он, — и тут… Миссис Оукшотт хочет вам что-то сказать.

— Пожалуйста, зайдите, присядьте, — сказала Виолетта.

— Мэриан, расскажи, пожалуйста, — попросил Хамфри.

Мэриан Оукшотт сказала, что на гальке на мысу Данджинесс нашли легкое пальто — городское — и пару башмаков. Меток с именем на них не было. Они не побывали в воде. На пальто был ярлык портного из Севеноукса. В карманах нашли тринадцать желудей, конский каштан и полдюжины камушков с галечного пляжа. И программку «Тома-под-землей». Сложенную во много раз, до крошечного прямоугольника. Все эти вещи остались у береговой охраны. И нужно добавить, что Энн, дочь Элси Уоррен, видела из окна прохожего в такой одежде. Энн сказала, что это был высокий, худой, светловолосый молодой человек, который шел, это ее точные слова, «слишком быстро». Может быть, это ничего не значит. Мы все помним Бенедикта Фладда, сказа-

ла Мэриан. И добавила:

— Я никогда себе не прощу, если окажется, что я встревожила вас понапрасну.

— Боюсь, на это надежды мало, — ответил Хамфри.

— Я думаю, нам всем следует присесть, — заявила Виолетта.

Дороти взяла Олив — неловко, за предплечье — и повела в гостиную. Они сделали вид, что пьют чай, как ни в чем не бывало — с пирогом, водруженным на тарелку работы Филипа Уоррена.

Хамфри сказал, что поедет обратно в Дандженесс вместе с Мэриан и Чарльзом-Карлом, если тот не возражает.

Олив сказала, что она тоже поедет.

— Только не в этот путь, — отозвался Хамфри.

— Я не могу тут сидеть, — сказала Олив.

— Придется, — сказал он. — Придется.

На этот раз вышло не так, как с Фладдом. Через два дня тело запуталось в рыболовных сетях у Димчерча. Хамфри, который тогда опознал пальто и ботинки и вернулся в «Жабью просеку», поехал опознавать и это. Олив пыталась заявить, что поедет с ним, и кротко согласилась, когда Хамфри велел ей оставаться дома. Он вернулся весь белый и постаревший.

— Невозможно узнать, — сказал он Дороти. — Не как… не как человека.

— Я знаю, — ответила Дороти, которая изучала мертвецов, но только чужих.

Дороти осталась в «Жабьей просеке». Было расследование, затем похороны на кладбище при церкви Святой Эдбурги. Службу вел Фрэнк Моллет. Подавленная Олив цеплялась за Дороти. Потом был утешительный горячий чай в доме викария и некое подобие светской беседы. Артур Доббин открыл рот, чтобы поздравить Олив с успехом пьесы, но споткнулся об имя героя и не стал его произносить. Олив пронзила Доббина мрачным взглядом. Артур понял: она совершенно точно знает, о чем он сейчас подумал. Вместо этого он сказал, что на кладбище при церкви погода меняется каждые пять минут, и бедная женщина, как он ее про себя называл, перестала сверлить его взглядом и кратко улыбнулась. С начала и до конца она ни слова не сказала про Тома.

В «Жабьей просеке» Олив продолжала цепляться за Дороти.

— Ты единственная, кто *знает,* — сказала она.

Дороти не уехала. Дня два или три Олив жила как обычно. Отвечала на письма. Благодарила

людей за добрые пожелания. Смотрела в окно на зимний сад, на заснеженные кочки пампасной травы.

Потом Филлис нашла мать лежащей без чувств у подножия лестницы. Олив отнесли наверх и уложили в кровать. Еще два дня она лежала камнем, потом попробовала встать и упала. Ее уложили обратно в большую кровать, где она когда-то сидела с Томом и сочиняла сказки про страну на одеяле.

Олив разрешила себе на миг подумать о нем. И вдруг комнату заполонили все Томы, когда-либо существовавшие, — белокурый младенец, дитя, делающее первый нерешительный шаг, маленький мальчик, цепляющийся за юбку матери, щурящийся в сумерках запойный читатель, прыщавый подросток, молодой человек, который куда-то идет, только что шел или вот сейчас опять пойдет. Они все одинаково были здесь, потому что никого из них уже нигде не было.

Она вспомнила сказку, которую рассказывала самой себе, — про молодую женщину, несущую сверток со смертями Пита и Пити, неустанно шагающую с запечатанным свертком сквозь непогоду по бесконечной равнине. Для *этого* в свертке места не было.

Она представила себе лес мальчиков-ровесников, вечно присутствующих, заполонивших ее комнату, и прежняя Олив машинально подумала, что в этом есть сюжет для сказки.

И поняла, что сюжета нет. Сказок больше не будет, театрально произнесла она про себя, неуверенная, то ли это очередная сказка, то ли действительно конец всего.

На ее страшный вой прибежала Дороти. Она дала матери успокоительное, оставленное врачом. Поправила подушки.

— Ты меня не бросишь? Не уедешь теперь? Ты у меня одна осталась.

Дороти беспомощно дернула плечом и закрылась в теле, как в крепости. Она сдавленно сказала:

— Я не могу остаться. Меня ждет работа. Ты же знаешь.

Молчание.

— И это неправда, что я у тебя одна. У тебя есть папа, и тетя Виолетта, и Филлис — она много добрей меня, и Гедда, она тоже готова помогать. Они все тебя любят. Я тоже тебя люблю, но ты же знаешь, что у меня работа.

Долгое молчание. Затем Олив сказала:

— Будешь уходить, задерни занавески.

Дороти задернула занавески. Она поцеловала мать, но та не ответила. Дороти вышла и закрыла дверь. Олив лежала в темноте, окруженная лесом присносущных мальчиков. Они ее, кажется, не то чтобы видели — это была ее единственная надежда. Она попыталась вспомнить женщину, несущую сверток… Она попросила отдать ей тот камушек с дыркой и положила его под подушку.

46

Люди умирали, но люди и рождались. Премьера «Тома-под-землей» состоялась 1 января 1909 года. Тома Уэллвуда похоронили три недели спустя. В тот же день у Имогены Кейн начались схватки. Роды были долгие и трудные. Прибыли сиделки и доктор-акушер. День прошел в боли. Доктора принесли хлороформ, и Имогена кратко дернулась под маской. В потоке крови, который не сразу удалось остановить, в мир щипцами вытащили бледную девочку. Очень маленькую, пугающе неподвижную. Повивальная бабка обтерла ее, шлепнула и потрясла, и в конце концов девочка мяукнула и задышала. Имогена лежала в луже крови, алебастрово-белая. Проспера вызвали из-за того, что доктор чего-то опасался, не называя опасности вслух. Кейн, видавший кровь на поле битвы, сам побелел, сглотнул, сделал глубокий вдох и взял жену за руку. Ее пальцы дрогнули.

Мать и дитя лежали на нейтральной полосе между жизнью и смертью. В голове Имогены множились тени жадных, угрожающих тварей. Ей показали крохотную дочь, запеленутую в шаль, и она улыбнулась, но у нее недостало сил

взять ребенка. Разметанные волосы промокли от пота. Сиделка поила ее водой с ложечки.

Девочку решили назвать Корделией.

Имогена была еще в опасности, а Просперу уже пора было выезжать в Аскону, поддержать заблудшую дочь. Он не мог покинуть жену. Он попросил съездить в Италию Джулиана, который был дома, поскольку работал сейчас в Британском музее. Проспер был справедливый человек в запутанной с моральной точки зрения ситуации. Джулиан издали посмотрел на новую сестру и решил, что в отношении младенцев и родов от него толку никакого. Он писал эссе о малоизвестном художнике Сэмюэле Палмере, рисовавшем золотые, английские, райские пейзажи с яблонями, овцами и спелыми хлебами под урожайной луной. Очень далеко от всяких неаппетитных биологических деталей и медицинских запахов. Он сказал, что, конечно же, поедет. Впервые в жизни он похлопал отца по плечу.

— Не беспокойся. Конечно, ты нужен здесь. А я в Асконе могу сделать почти все то же самое, что и ты бы сделал.

Приехав в Аскону, он увидел Флоренцию с огромным животом, излучающую какое-то неожиданное благодушие. Он сказал:

— Я не могу тебя поцеловать, не дотянусь.

Они засмеялись. На склоне горы было солнечно даже в феврале. Они сели рядом, укрывшись от холода на веранде, Джулиан принялся описывать состояние Имогены, понял, что это нетактично, и умолк. Флоренция улыбнулась.

— Не трясись надо мной. Разговаривай со мной как со взрослой. Здесь все со мной сюсюкают, кроме Габриэля.

— Я чего-то не понимаю с этим Габриэлем.

— Он хороший человек. Странный, правда.

Джулиан решил, что «странный» означает «склонный к мужской любви», но когда Габриэль пришел к ним на обед, Джулиан ничего такого не заметил. Габриэль был и по-монашески не от мира сего, и внимателен к другим людям. «Он подозрительно хороший», — подумал было Джулиан, но не смог задержаться на этой мысли, пока они говорили о социализме, психоанализе, литературе. Они со знанием дела обсуждали «Гейнриха фон Офтердингена», когда Флоренция издала низкий стон. Потом ахнула. Габриэль слетел с кресла.

— Началось? Дай-ка.

Осторожно, не поднимая платья, он прощупал мускулы, по которым пробегали волны сокраще-

ний. Джулиан был тронут, но в то же время ему стало противно. Он хотел бы оказаться подальше отсюда и еще хотел бы, чтобы его сестре — любимой сестре — не было больно.

Она снова ахнула и закричала.

— Мистер Джулиан, — сказал Габриэль. — Через два дома отсюда есть двуколка. Постучите в дверь и попросите хозяина подъехать сюда.

— Быстрей, — добавила Флоренция, красная от натуги.

— Не беспокойся, — сказал Габриэль. — Первый ребенок — это всегда надолго. Попробуй ходить взад-вперед — может быть, так будет легче. Ты собрала вещи?

Оказалось, что нет. Вызвали Амалию, которая сложила в мешочек ночную рубашку и туалетные принадлежности. Флоренция ходила взад-вперед. В перерыве между схватками она спросила:

— Габриэль, откуда ты знаешь, что нужно делать?

— Я — ученый доктор. Учился в хорошей больнице. У меня хватило ума наблюдать за… повитухами, правильно? Я все это уже и раньше видел.

Флоренция сдавленно вскрикнула.

— Надеюсь, он не прямо сейчас родится.

— Если роды окажутся медленные, ты еще захочешь, чтобы поскорее.

Вернулся Джулиан с двуколкой. Все трое уселись позади кучера. Лошадь двинулась под гору, напрягая мышцы. Мышцы Флоренции продолжали собственный, целенаправленный, невольный танец.

Роды не были медленными. Ребенок не родился ни в повозке, ни в кресле на колесах в больничном коридоре. Он — точнее, она явилась в мир меньше чем через час, на пике боли, с громким, победоносным воплем. Джулиана при этом не было, но был Габриэль. Еще была сиделка, чьи замечания он переводил с комментариями.

— Она говорит, что у тебя хорошие мускулы.

— Я… никогда… не думала… про эти… мускулы.

Флоренция непрестанно боялась, что «ребенок», когда родится, будет похож на Герберта Метли и она его возненавидит. Сиделка обмыла ребенка, и Габриэль передал его матери.

— Это дочь, — сказал он и стал ждать, обрадуется ли Флоренция. У ребенка была густая шевелюра — темная, как итальянские волосы Флоренции и Джулиана. И большие темные глаза, которые дитя, кажется, сразу уставило на Флоренцию. И характер. Вот она, еще не оправилась от встряски

— явления в мир, а уже упирается лбом, чего-то требуя. Много лет спустя, обдумывая былое, Флоренция признается себе, что увидела в ребенке тот же избыток первозданной энергии, который когда-то привлек ее в мужчине. И теперь в дочери тоже привлек. Она, торжествуя, взяла дочь на руки и поцеловала в волосы. Вошел Джулиан.

— Познакомься: Джулия Пердита Гольдвассер, — сказала Флоренция, хохоча с нотками истерики в голосе. Джулиан галантно нагнулся и поцеловал крохотную новую ручку, вцепившуюся в шаль.

— Не знаю, что бы я без тебя делала, — сказала Флоренция Габриэлю. — Во всех смыслах.

— Это была судьба, — ответил Гольдвассер.

Позже он сказал Джулиану за стаканом яблочного сока:

— Она не боялась. Женщины обычно боятся. Или начинают бояться.

— Ей повезло?

— О да. Она будет думать, что это ее заслуга, но по большей части это удача. *Salut!*

— *Salut!*

В июне 1909 года король Эдуард VII открыл новые здания Музея Виктории и Альберта, построенные по проекту сэра Астона Уэбба. Открыл

золотым ключом, стальной стержень которого был украшен золотой насечкой. По словам критиков, длинные белые здания, постепенно возникшие из-под брезентовых одеяний и зарослей строительных лесов, были ритмичны и прекрасны, их сравнивали с симфониями и хоралами. На открытие собралась блистательная толпа придворных и почетных гостей. Тут были Уэббы, Альма-Тадема, Бэлфур, Черчилль и премьер-министр Герберт Асквит. Были и рабочие, строившие здание, — в элегантных костюмах, котелках или цилиндрах; по личной просьбе монарха они зачитали Обращение собственного сочинения. Хор из Королевского музыкального колледжа, примостившийся высоко на арке, под аккомпанемент полкового оркестра ирландских гвардейцев спел пронзительную песнь Доуленда «Проснись, любимая». Присутствовал и Проспер Кейн в щеголеватом мундире.

Его, как многих коллег и гостей праздника, разочаровала однообразная белизна и давящая суровость внутренних стен нового здания. Клод Филлипс, хранитель коллекции Уоллеса, написал в газете «Дейли телеграф», что его «подавила обширность, холодность, нагота» новых залов. Внутри здание по-прежнему напоминало склад

или казенную больницу. До этого Проспер Кейн присутствовал на открытом собрании, где тогдашнего директора, Артура Бэнкса Скиннера, грубо и неожиданно понизили в должности и объявили о назначении нового директора, Сесила Харкурта Смита. Скиннер был эстет. Новый режим оказался царством распорядка и утилитарности. Сэр Роберт Морант, государственный чиновник, курировавший Музей, был неудачливый кандидат в священники и бывший наставник королевских детей в Сиаме. Музейные экспонаты были рассортированы по материалу: стекло со стеклом, сталь со сталью, ткань с тканью, подобное с подобным, чтобы художники-прикладники могли изучать развитие своего ремесла, а историки — следить за изменениями во времени. Клод Филлипс написал, что из Музея ушла душа, исчезла красота. Газеты брюзжали, сравнивая Музей с полетом фантазии, воплотившимся в залах немецких музеев — в Берлине и Мюнхене. Проспер соглашался с ними. Его расстраивало тихое горе униженного Скиннера. Тот отстранялся от работы, невольно и не отдавая себе в том отчета.

Кейну пришлось переехать. Теперь он жил в Челси, в хорошеньком домике в стиле Движения

искусств и ремесел, где было больше места — но не для антикварной коллекции, а для сиделок, детских комнат и голосистых младенцев. Фрау Гольдвассер вернулась с энергичной Джулией на руках и обнаружила, что ей отвели просторную спальню с роскошными французскими обоями и хорошенькими электрическими светильниками. Проспер и Имогена все обсудили и решили, что для двух младенцев хватит одной детской и одной няньки. Детская была замечательно украшена стараниями дам из Школы искусств Глазго. Вдоль стен шел фриз из летучих эфемерных созданий, а белые столики и стулья были выполнены в суровом, но прекрасном стиле модерн.

Корделии было шесть месяцев, а Джулии пять. В этом возрасте дети уже умеют сидеть, но не обращают особого внимания на других детей. У них были нянька и кормилица. Флоренция поначалу кормила ребенка грудью. У Имогены молока не было.

Флоренция, глядя на свою смешливую девочку, заметила то, что могла бы заметить раньше, если бы ей было не все равно: Имогена ее боится. Корделия была крохотная, настороженная малютка, она даже за погремушкой тянулась словно с опаской. Джулия агукала и скакала, а по временам

у нее случались краткие приступы неистовой ярости. Флоренция ловила себя на том, что подталкивает Корделию к играм и непринужденно разговаривает с Имогеной. Кейн сухо улыбался в усы.

Флоренция, конечно, не могла вернуться в Ньюнэм-колледж. Она повидалась с Лесли Скиннером и начала посещать лекции и семинары по истории в Юниверсити-колледже. Дороти по-прежнему жила у Скиннеров. Флоренция обнаружила, что Дороти уже доктор медицины и имеет право работать врачом. Но Дороти продолжала учиться: она хотела стать хирургом. Она работала в Женской больнице. Летом она пригласила на свою выпускную церемонию Флоренцию и Гризельду, которая после окончания курса осталась дальше учиться в Кембридже. Дороти сказала, что ее мать болеет и не сможет приехать. Оказалось, действительно так. В мантии и шапочке Дороти выглядела ужасно серьезно. Гризельда и Флоренция были в легкомысленных платьях и жизнерадостных шляпках.

Олив теперь большую часть времени проводила в кровати, зачастую в темноте. Она не писала. Она истощала мужнины запасы виски. Седеющие волосы, приобретающие глянцевый, металли-

ческий оттенок, разметывались по подушке. Хамфри сидел с женой, раздергивал занавеси, говорил ей, что у нее еще шесть детей, которым она нужна. Олив кратко отвечала, что они ее пугают. Однажды, после изрядной дозы виски, она сказала:

— Когда знаешь, что можешь убить ребенка…

— Не говори глупостей. Ты никого не убивала.

Олив вжалась в подушки.

— Ты не знаешь.

— Ну расскажи мне…

На самом деле Хамфри вовсе не желал этого знать. Она сказала:

— На самом деле ты вовсе не желаешь этого знать.

Осенью 1909 года приехал Штейнинг на новом автомобиле повидаться с Олив. Олив обычно слегка оживала на время его приезда, садилась за чайный стол, озиралась, словно не узнавая комнату. Она слушала отчет Штейнинга о нескончаемом успехе «Тома-под-землей», а когда он просил разрешения изменить сюжет или заменить одного актера другим, говорила: «Делайте как знаете».

Вошла Виолетта с пирожными, ахнула и упала — лицом в завитки крема, на раннеданде-

несское блюдо Филипа Уоррена, расписанное зонтиками сныти. Блюдо разбилось. Штейнинг попытался поднять Виолетту, но она не двигалась и не дышала. Скептическое лицо с острыми чертами побагровело и перекосилось. Она была совсем мертвая. Ее перевернули и вытерли. Служанку послали за доктором. Олив сказала:

— Бедная Ви. Хотя, должна сказать, это неплохой способ уйти, когда придет час. Но я понятия не имела, что ее час пришел. Она не жаловалась. Правда, скорее всего, я бы в любом случае не услышала.

В этом тоже не было сюжета.

После похорон Хамфри позвал Филлис к себе в кабинет и отдал ей коробочку, в которой лежали немногие украшения Виолетты — гагатовые бусы, камея, колечко с полированным флюоритом. Колечко Филлис надела. Хамфри молча смотрел на нее. Он не знал, что сказать.

— Можешь не говорить. Я все знаю. Она была моя настоящая мать. Гедда подслушала. Она любит выискивать всякое. Я вот не люблю. Меня никто не спросил.

— Прости, — сказал Хамфри.

— Да, я думаю, тебе следует просить прощения, — сказала Филлис. — Но все равно уже

поздно. Теперь я могу смотреть за домом.

Хорошенькое личико было как у фарфоровой куклы. Она добавила:

— Хорошо бы ты уволил Альму и взял другую кухарку. Альма меня не любит и не слушается.

И еще:

— Когда она была жива, никто не спрашивал ее, что она чувствует. Даже я не спрашивала, потому что знала то, что мне не сказали.

Хамфри почти сварливо ответил:

— Я спрашивал. Может, я и виноват, но я… хотя бы… о ней заботился.

— Да. Ну что ж. Все равно уже поздно. Для всего поздно.

Альму уволили, ее место заняла Тилли, по достоинству ценившая тонкости системы хозяйствования, которой придерживалась Филлис.

Олив вернулась к себе в спальню.

Хамфри уехал в Манчестер.

Жизнь — для живых — продолжалась. Сильно выцветшая, обескровленная, неподвижная там, где раньше царило движение.

Филлис ходила за матерью. Она могла бы сказать, что знает о неприязненном отношении матери, но молчала. Олив нельзя было уволить. Но можно было вынудить у нее благодарность за

ненужную ей доброту. Филлис не сдавалась.

47

В феврале 1910 года в Ковент-Гарден поставили «Электру» Рихарда Штрауса. Это драматическая история обреченных царских семейств, с бушующими кровавыми страстями, матереубийством и местью. Электра взяла в мужья ненависть, «с запавшими глазами, с ядовитым дыханием». Английские критики разделились на два лагеря. «Таймс» назвала оперу «непревзойденной среди прочих опер по омерзительности сюжета и текста». Бернард Шоу усмотрел в этом антинемецкую истерику. Он заявил, что «Электра» — «высочайшее достижение в высшем из искусств». «Зачастую, когда меня просили произнести обвинительную речь против глупцов и торгашей, пытающихся втянуть нас в войну с Германией, моя речь состояла из одного слова: „Бетховен“. Теперь я с равным успехом могу сказать: „Штраус“».

Англичане читали романы о вторжении в Англию, и агрессорами были немцы, люди в стальных шлемах, вонзающие железные зубы в круглую землю. А еще был легендарный Уильям Ле Кё, чьи книги, разделенные на серии,

лорд Нортклифф публиковал с продолжением в каждом выпуске «Дейли мейл». Это позволило во много раз увеличить тираж газеты. Лорд Нортклифф начал с романа «Великая война 1897 года в Англии», впервые вышедшего в 1894 году. Тогда, в девятнадцатом веке, агрессорами были французы; они осадили Лондон, и Англия с помощью Германии отразила нападение.

В 1906 году Ле Кё написал «Вторжение 1910 года»: в этом будущем уже немцы топтали землю «зеленой Англии родной». Точки высадки немцев и их сражений с англичанами лорд Нортклифф перед публикацией заменял названиями мест, где у «Дейли мейл» было больше всего читателей, чтобы они, удобно устроившись в креслах, ощутили пикантный страх узнавания. Среди бесчисленных трудов Ле Кё был и роман «Шпионы кайзера», опубликованный в 1909 году, — якобы документальная книга, описывающая проникновение немецких шпионов в ряды англичан и новые страшные виды оружия. «Тайна бесшумной субмарины». «Тайна нашей новой пушки». «Германский заговор против Англии». «Секрет британского аэроплана». Планы врагов срывал некий «патриот до мозга костей», адвокат, любитель трубочного табака и знаток хорошей мебели.

Чересчур аффектированные иллюстрации изображали, например, «казнь фон Бейлштейна», который стоял с завязанными глазами на площади перед Уайт-холлом, напротив расстрельной команды: гвардейцев в высоких медвежьих шапках, священника в белом стихаре и двух мрачных английских полисменов.

Сам кайзер сидел у себя в кабинете на табуретке в форме кавалерийского седла и писал письма родственникам — дяде Эдварду, кузену Николасу в Россию; он предлагал и заключал разнообразные договоры против многочисленных и разнообразных врагов. В сентябре 1908 года он, по согласованию с полковником Стюартом-Уортли, опубликовал в «Дейли телеграф» статью об англо-германских отношениях. Немецкие дипломаты пригладили его пассажи о непопулярности Англии в Германии.

В статье Вильгельм писал, что его «огромные запасы терпения подходят к концу… Вы, англичане, безумны — безумны, как мартовские зайцы… Я твердо намерен добиваться мира». Далее Вильгельм утверждал, что посылал своей покойной бабушке советы по ведению Англо-бурской войны. Статья заканчивалась словами:

«Германия — молодая, растущая империя. Она ведет и стремительно расширяет торговлю со всем миром, и немецкие патриоты с полным правом отказываются установить какие-либо границы для этой торговли. Германии нужен мощный флот, чтобы защитить эту коммерцию и свои многообразные интересы даже в самых дальних морях».

Статья никому не понравилась. Английская пресса отнеслась к ней «скептически, критически, обидчиво». Японцев расстроили резкие замечания относительно флотов в дальних океанах. Немцев поведение императора вывело из себя: случился политический кризис, на церемонии награждения графа Цеппелина орденом Черного орла за воздушный корабль кайзер произнес путаную речь, и кое-кто даже требовал его отречения. Кайзер уехал на охоту, надев желтые кожаные сапоги с золотыми шпорами и орден, который сам же придумал, — нечто среднее между крестом иоаннитов и крестом тевтонских рыцарей. Кайзер поехал с Максом Фюрстенбергом отстреливать лис и убил 84 из 134 убитых в тот день животных. Вечером он был великолепен: под коленом — орден Подвязки, поперек груди — лента ордена Черного орла,

на шее — испанское Золотое руно. Он подписал письмо о морских состязаниях между Англией и Германией, адресованное Первому лорду Адмиралтейства, «от человека, с гордостью носящего форму британского адмирала, каковое звание было пожаловано ему покойной Королевой, да благословит Господь ее память».

В мае 1910 года дядя кайзера, Эдуард Сластолюбец, почил в бозе. Он лежал при всем параде в Вестминстерском дворце, и Вильгельм в очередной роскошной форме, сняв шлем с пышным плюмажем, стоял у гроба и держал за руку своего кузена Георга. Потом кайзер вернулся в Виндзор, старый семейный дом, «где я играл ребенком, резвился юнцом, а позднее, уже мужчиной и правителем, наслаждался гостеприимством Ее покойного Величества, Великой Королевы». Англичане, видя его на улицах, разражались приветственными криками. Он вернулся домой и произнес в Кенигсберге речь о божественном праве.

«Я вижу себя орудием Господним. Не заботясь о переменчивых взглядах и злобе дня, я иду Своим путем, то есть к единственной и неделимой цели благосостояния и мирного развития Нашего Отечества».

Той зимой он украсил шляпу, которую надевал на охоту вместе с высокими блестящими желтыми сапогами и золотыми шпорами, тушками настоящих мертвых птиц.

В августе 1910 года Гризельда Уэллвуд работала в Ньюнэме как студент-исследователь. Джулиан Кейн тоже — его работа о пасторалях все разрасталась, что было приятно, но неконструктивно: теперь в ней были латинские, греческие, немецкие, итальянские пасторали, могли прибавиться и норвежские, но она по-прежнему была беспорядочной и не обрела формы. Джулиан подрабатывал, присматривая за студентами, еще не окончившими курс. Студентам он нравился. Гризельда не преподавала, но ходила на лекции Джейн Харрисон. Гризельда упорно работала над народными сказками, начиная с Гриммов. В своих темах она и Джулиан находили много общего, повторяющихся мотивов: смерти и скорби, весны и зрелости; пожирания плоти, наказания, искупления; торжества красоты и добродетели. И Гризельде, и Джулиану кембриджская погода — холодный ветер, задувающий из степей, роскошное лето с лодками, ивами, идеальными газонами и майскими балами — по временам казалась заклятием, волшебной паутиной, из

которой нужно было вырваться, чтобы коснуться реальности, ощутить ее вкус.

Они часто виделись: иногда ходили на одни и те же лекции, а потом вместе пили кофе. Посещали собрания кембриджских фабианцев. Обсуждали свои настроения. Джулиан порой самоуничижительно бормотал, что хочет пойти в армию или перебраться в Сити и делать деньги. Гризельда смеялась над ним и говорила, что он воображает себя героем сказки: рыцарем на распутье или крестьянином, которому велели выбрать одну из трех шкатулок — золотую, серебряную или свинцовую. Джулиан продолжал изучать Эндрю Марвелла, который писал так мало и так хорошо. Он совершенствовал свое знание латыни. Обсуждать альтернативные жизни Гризельды и сказку, в которой она, возможно, находилась, было гораздо труднее. Никак нельзя было — во всяком случае, мужчине, молодому человеку нельзя было взять и спросить ее, не собирается ли она остаться безбрачной и посвятить свою жизнь науке. Мужчине и женщине тяжело быть друзьями без задней мысли или призрачной надежды на физическую близость. Джулиан и Гризельда хотели быть друзьями. Это был почти вопрос принципа. Но все равно Джулиан был в

нее влюблен. Умом она не уступала ни одному ученому из Кингз-колледжа, хотя Джулиан думал, что сама она этого не знает. Он был влюблен в ее ум, идущий по следу через лабиринты. Любовь, помимо всего прочего, — это отклик на чужую энергию, а ум Гризельды был остр и энергичен.

Джулиан хотел ее и физически. Она стала настолько красивой, что почти перестала быть привлекательной. Спокойное, чистое лицо было словно высечено из камня — и это легко могло показаться холодностью. Палевые косы были уложены такими идеальными кольцами, что нарушать их порядок не хотелось — хотелось лишь восхищаться издали. Джулиан специально наблюдал за Гризельдой, но не заметил в ней ни единой искорки сексуальности. Ему удалось выйти на эту тему, заговорив о сезоне, который Гризельда провела в Лондоне как дебютантка. Она оживилась. Она сказала, что это было ужасно. «Разглядывают друг друга, разбиваются на парочки. Как скот на рынке. Ужасно. Я терпеть не могу светскую болтовню, а они все только это и умеют. А шумят-то как! Они гогочут, как ослы, эти аристократы, о своих мелких удовольствиях и гротескных церемониях. Гогочут и взвизгивают. И еще приходится наряжаться, наводить красоту,

вставлять перья в прическу. Меня отвергали, я отвергала. В обоих случаях — без колебаний».

Джулиан спрашивал себя, не предпочитает ли она женщин. Он решил, что это возможно. Женщины в Ньюнэме завязывали страстную дружбу, флиртовали; он слыхал, что они делают друг другу предложения. Она дружила с Флоренцией, попавшей в странную историю: Джулиана не посвятили в подробности, и он не понимал, что случилось. Еще Гризельда дружила со своей кузиной Дороти, которая только что сдала экзамены на хирурга, а это занятие Джулиан считал исключительно мужским — ножи, ланцеты, приказы.

И тут Гризельда сказала:

— Я на самом деле не собиралась в монастырь. Не намерена была всю жизнь провести среди вязания, сплетен… мелочной ревности. Жаль, что я — не ты.

— Мне не жаль. Мне нравится с тобой разговаривать.

И снова молчание — этот разговор оборвался, как и другие.

Театральное общество Марло возродило некогда успешную постановку «Доктора Фауста» Кристофера Марло, и Джулиан пригласил Гризельду. Большинство зрителей составляли гостившие в

Кембридже немецкие студенты, готовые увидеть в сюжете то, что увидел в нем Гете. Были каникулы, поэтому от студенток не требовали строго, чтобы они выходили только в сопровождении дуэньи: более того — некоторые роли в пьесе играли женщины; правда, надо сказать, что эти роли были эпизодические и без слов. Студентам Кингз-колледжа не пришлось переодеваться в женское платье, чтобы выступить в роли королевы или соблазнительницы. Женщин играли женщины из «фабианской детской». Брюнхильде (Брюн) Оливье, дочери сэра Сиднея Оливье, основателя Фабианского общества, губернатора Ямайки, досталась роль Елены Троянской, «красой, что в путь суда подвигла»,[112] с напудренными золотом волосами, в платье с большим вырезом. Фрэнсис Корнфорд, студент-классик, играл Фауста, Жак Равера (будущий муж Гвен Дарвин) — Мефистофеля, а другие фабианки — Смертные грехи. Руперт Брук исполнял роль хора, был потрясающе прекрасен и произносил строфы несколько писклявo.

Гризельда спросила, нельзя ли достать еще

[112] Примечания: 112

«Так вот краса, что в путь суда подвигла / И Трои башни гордые сожгла! / Елена! Дай бессмертье поцелуем!» (*Кр. Марло.* Трагическая история доктора Фауста. Перевод Е. Бируковой).

один билет. В Кембридже сейчас гостит один ее знакомый — собственно, Джулиан его знает, это Вольфганг Штерн из Мюнхена. Штерны приехали в Англию, чтобы кое-что поменять в куклах и марионетках «Тома-под-землей», который должен был снова пойти осенью. Джулиан достал билет, и Вольфганг, несколько напоминающий Мефистофеля острой черной бородкой и угловатыми бровями, пришел на спектакль. Места были в середине, в нескольких рядах от сцены. Позади них немцы комментировали по-немецки, думая, что их не понимают. Вольфганг обернулся и велел им замолчать. Те засмеялись и послушались. Гризельда безмятежно сидела меж Джулианом и Вольфгангом. За ними расположились какие-то очередные Дарвины, Джейн Харрисон и ее очаровательная студентка Хоуп Мирлис. Харрисон, должно быть, пришла посмотреть на игру Корнфорда, с которым ежедневно переписывалась и гоняла по Кембриджу на велосипеде. После спектакля была вечеринка — в доме Дарвинов на Силвер-стрит, но наших трех героев не пригласили. Джулиан повел своих спутников в ресторан у моста Магдалины. Ресторан был французский, с веселенькой обстановкой и скатертями в клеточку.

Вольфганг Штерн довольно агрессивно сказал, что голоса у актеров, по его мнению, хорошие, но никто из этих англичан не умеет двигаться. Они стояли, клонясь, как тающие свечи. Они жестикулировали *вежливо*, хотя требовалось нечто абсолютно иное. Гризельда сказала, что он несправедлив. Мефистофель двигался совершенно по-змеиному. Это потому что он француз, ответил Вольфганг. Англичанам следовало бы… ограничиться?.. *tableaux vivants. Charades.*[113] У Вольфганга был ужасно сердитый вид.

Гризельда, чтобы его умилостивить, сказала, что хотела задать ему вопрос по работе, которую сейчас пишет — о разнице между двумя гриммовскими версиями «Золушки»: собственно «Золушке» и «Пестрой шкурке». Гризельда сказала, что ей ужасно нравится слово Allerleirauh:[114] разнообразные, грубые меха. Золушку преследовала злая мачеха, а Пестрая шкурка умно отделалась от кровосмесительных посягательств отца и от кухарки, которая швырялась в нее башмаками. И еще Гризельду почему-то трогало то, что Пестрая шкурка, спрятав свои платья

[113] Примечания: 113
Живыми картинами. Шарадами *(фр.).*

[114] Примечания: 114
Разные виды меха *(нем.);* также название сказки братьев Гримм.

— золотое, серебряное и звездное — под плащом из шкур, стала пушистым созданием, животным, существом среднего рода, не объектом желания.

— Пока она сама того хотела, — заметил Вольфганг. — А потом засияла, как солнце и луна…

— Англичане и французы подсластили «Золушку»…

Джулиан ощутил электрический ток. Искры, разряды проскакивали между этими двумя. Их руки лежали слишком близко друг к другу. Гризельда смотрела на немца слишком пристально либо вообще не смотрела.

«И что же это значит?» — спросил себя Джулиан и не мог найти ответа.

Они с Вольфгангом проводили Гризельду обратно в колледж, где ее, взрослую женщину, запирали в нелепо ранний час. Она стояла на ступеньках, улыбаясь обоим.

— Какой прекрасный вышел день, — сказала она. И добавила: — Цивилизованный.

Джулиан знал, что в ее устах это одна из высших похвал.

Он пригласил новоявленного соперника в паб и взял ему бренди. Немец был колюч — человек, вырванный из привычного окружения, в котором ему легко и просто. Джулиан говорил о разном

— о театрах, Гете, Марло — и на третьем стакане бренди сказал:

— Давайте выпьем за Гризельду. *Die schöne* Гризельду.

— *Die schöne* Гризельду. Вы не говорите по-немецки.

— Не говорю, только учусь. Мне для работы нужно читать по-немецки.

— Она как статуя в сказке. Или марионетка. Ничего не чувствует.

— Не думаю, — осторожно возразил Джулиан. Он не знал, хочет ли поделиться своим открытием с этим робко-язвительным юношей, который, кажется, не смог дойти до того же самостоятельно.

— Какой смысл приезжать сюда и видаться с ней, — продолжал Вольфганг. — Она улыбается и ничего не замечает. Очаровательная английская леди. Такая принцесса. Каждый волосок ее прически — под контролем. Ничто никогда ее не волновало. Может быть, ничто, никто не может ее взволновать. Простите. Это все бренди.

Воцарилось долгое молчание. Вольфганг добавил:

— Извините. Может быть, вы… вы сами…

— О нет. Ничего такого.

Снова молчание. Черт возьми, надо поступить

по-честному. Кроме того, это добавит сюжету интереса.

— Я заметил… — произнес Джулиан и замолчал, подыскивая слова.

— Вы заметили, что я… несчастен.

— Нет-нет, собственно говоря, я не о том. Я заметил *ее.* Как она смотрит на вас.

— Смотрит?

— Я никогда не видел, чтобы она хоть на кого-нибудь так смотрела.

— Смотрела?

— Я вас умоляю. Она вами интересуется. И больше никем. Вот что я заметил.

— О.

Вольфганг овладел собой и улыбнулся. Улыбка вышла несколько демонической, горестной — просто у него была такая форма лица. Он сказал:

— Я идиот. Значит, все еще хуже. Понимаете… она — сказочная принцесса. У нее в банке лежат горы золота, слитков, и она должна выйти замуж за такого же человека или найти осла, который срет золотом. Извините. А я делаю кукол. Гоняю по сцене игрушечных человечков.

— Но ведь вас можно назвать художником.

— Назвать-то можно, но никто не услышит. В меня будут бросать сапогами и выгонят вон.

— Не понимаю, почему вы так легко сдаетесь, — сказал Джулиан. И добавил, с подлинным ядом в голосе: — Мне кажется, это не совсем честно по отношению к ней…

— Напротив, — сказал Вольфганг. — Именно это и честно.

В сентябре 1910 года Второй, или Рабочий, интернационал устроил съезд в Копенгагене. Иоахим Зюскинд и Карл Уэллвуд поехали туда вместе и участвовали в антивоенных заседаниях. Социализм был международным движением, он пересекал границы, он был братством мужчин и женщин. Зюскинд поддерживал связь с «Gruppe Tat»[115] Эриха Мюзама и Иоганна Нола — типично мюнхенской смесью писателей, рабочих и революционеров. Леон Штерн страстно увлекался всем этим. Как и Генрих Манн, Карл Вольфскель и Эрнст Фрик. В Копенгагене обсуждали, нельзя ли объявить всеобщую, международную забастовку, акт протеста для предотвращения войны. Резолюцию предложили британец Кейр Харди, который только что вернулся в английский парламент в еще более сильном большинстве, и француз Эдуар Вайян. Они порекомендовали «союзным

[115] Примечания: 115
Группа «Действие» *(нем.).*

партиям и организациям трудящихся обдумать желательность и возможность общей забастовки, особенно в отраслях, производящих материалы для военной промышленности, в качестве одного из методов предотвращения войны, а следующему конгрессу принять решение по конкретным действиям».

Харди поддержали бельгиец Вандервельде и харизматический лидер Жан Жорес. Однако воспротивились социалисты из Германии: они окопались в немецком правительстве, их союзы владели крупными средствами, капиталовложениями и не хотели ими рисковать. Как часто бывает на больших сборищах, от которых требуют конкретных спланированных действий, конгресс вынес еще одну резолюцию, осуждающую милитаризм: «Организации трудящихся в странах — членах II Интернационала должны будут рассмотреть возможность общей забастовки, если возникнет необходимость предотвратить высочайшее преступление — войну». «Если… рассмотреть возможность…» — передразнил Зюскинд, который в душе оставался анархистом. Кейр Харди написал своей любовнице Сильвии Панкхерст:

Милая, разве ты не обещала мне больше ничего не воображать. Ничего не было, дорогая, просто на машинке, кажется, писать легче.

Я на конгрессе каждый день, с 9 утра до 9 вечера. Сегодня устроили увеселительную поездку на яхте, но я не поехал и вместо этого пишу тебе. Вуаля!.. Я принял приглашение выступить в Швеции на двух митингах на следующей неделе, а оттуда поеду на демонстрацию во Франкфурт-на-Майне…

Что будет потом — пока неясно. Я буду слать тебе открытки из разных мест, но писем не жди, милая… Я прекрасно себя чувствую и наслаждаюсь работой. С любовью и охапками поцелуев,

твой К.

Непонятно было, кому должны хранить верность рабочие в случае войны — своим товарищам или своей стране. Однако ясно было, что всемирная забастовка требует планирования и организации, хотя многим была близка идея спонтанного выступления.

Чарльз-Карл Уэллвуд энергично работал в Лон-

донской школе экономики. Он ходил на лекции Грэхема Уоллеса, отца-основателя Фабианского общества, который, будучи убежденным агностиком, вышел из общества, когда оно поддержало идею государственных ассигнований на религиозные школы. В своей книге «Человеческая природа в политике» Уоллес анализировал психологию политики. Он писал, что современные люди произошли от жителей палеолита и унаследовали множество инстинктов и склонностей, помогавших предкам выживать. Философы, изучающие политику, считают людей рациональными созданиями. Но они не исследовали структуру порывов. Уоллес рассмотрел природу дружбы, эмоциональные реакции людей на личности монархов и кандидатов на политические посты, формирование групп, толп и стад. Студентов, подобных Карлу, он знакомил с сочинениями Уилфреда Троттера, посвященными «Стадным инстинктам в военное и мирное время». Карл приучился думать, что люди действуют под влиянием иррациональных импульсов и что группы, толпы и стада ведут себя не так, как отдельные личности. Сам он был отдельной личностью, несмотря на то что подписал «фабианский кодекс», несмотря на свои социали-

стические взгляды. Он хотел помочь страдающим массам, но при встрече не знал, о чем с ними говорить, в особенности — если они были в толпе или группе.

Тем не менее он взялся читать лекции для только что сформированного Национального комитета по борьбе за отмену законов о бедноте. Комитет, дитя Беатрисы Уэбб, располагался между штаб-квартирой фабианцев и Лондонской школой экономики, совсем рядом со Стрэндом. Списки сотрудников этих трех организаций заметно перекрывались — ведь у всех трех были одни и те же задачи. Эти люди надеялись быть реалистичнее социалистов. Беатриса Уэбб говорила, что устремления социалистов хороши как долгосрочная цель, но уже сейчас нужно что-то делать с «миллионами неимущих, которые составляют неприятное и совершенно необязательное приложение к индивидуалистическому обществу».

Индивидуалистическая политика была непроста. Митинги, конференции, летние школы, группы по изучению того и сего, листовки. Шестнадцать тысяч членов, отделения повсеместно. Комитет насчитывал одиннадцать служащих на жалованье и четыреста приглашаемых лекторов.

Среди них, вместе с Чарльзом-Карлом, оказался Руперт Брук. Он путешествовал в живописном фургоне от Нью-Фореста до Корфа и обратно. Они с приятелем читали увлекательные лекции на деревенских общинных лугах и прямо на улицах. Беатриса Уэбб намеревалась «быстро, но почти незаметно переменить самую *сущность* общества». Люди и человеческая природа повергали Руперта Брука в экстаз.

> «Я внезапно ощущаю невероятную ценность и важность любого встречного и почти всего, что вижу… то есть, когда я в таком настроении. Я брожу по округе — вчера я даже в Бирмингеме этим занимался! — сижу в поездах и вижу неотъемлемое величие и красоту любого человека. Я могу часами любоваться чумазым немолодым ремесленником, сидящим напротив меня в вагоне, я люблю каждую грязную, капризную складку на его слабом подбородке, каждую пуговицу на нечистом, покрытом пятнами жилете. Я знаю, что их умы совершенно не развиты. Но я так зачарован самим фактом их существования, что у меня не хватает

времени об этом думать».

В 1910 году фабианцы тоже устроили летний лагерь на две недели для тех, кто трудился над агитационной кампанией. Лагеря располагались на северном побережье Уэльса. В числе их агитаторов были персонажи из «фабианской детской», представители среднего класса победнее, пожилые дамы, учителя, политики. За ними съехались фабианцы из разных университетов. Университетские фабианцы были настроены возвышенно, а кембриджцы вели себя крайне легкомысленно и даже пошло. Руперт докладывал Литтону Стрейчи о полуночной возне и буйных выходках. Беатриса Уэбб жаловалась, что они устраивают «шумные, дикие увеселения» и «склонны по окончании лагеря становиться еще более надменными критиканами, чем были… Они не соглашаются ехать в лагерь, пока не узнают, кто еще там будет, по словам Руперта Брука… не хотят учиться и думают, что и так уже все знают… эгоизм университетских юнцов не знает границ».

Джулиан и Гризельда в этот лагерь не поехали. Чарльз-Карл отправился в лагерь для агитаторов. Женщины там ходили в гимнастических

рубашках. Мужчины — во фланелевых штанах или бриджах и толстых носках. Все носили обувь на удобной плоской подошве, делали гимнастику и плавали. Чарльзу-Карлу удалось убедить Элси Уоррен оставить дочь с Мэриан и тоже приехать в лагерь. Элси в это время читала и думала с такой скоростью и яростью, что посрамила бы небольшие экскурсы Руперта Брука в елизаветинскую поэзию. Словно от этого ее жизнь зависит, заметил Чарльз. «Зависит», — ответила Элси. Она читала Мэтью Арнольда и Джордж Элиот, «Современную утопию» и «Вести ниоткуда», стихи Морриса и Эдуарда Карпентера. Она писала в тетрадь, что ей понравилось и что не понравилось, но Чарльзу-Карлу эти записи не показывала.

Считалось, что в фабианских лагерях вопросы пола не возникают. Там царила дружба, общая цель, здоровый дух в здоровом теле. Элси задавала вопросы и ставила под вопрос полученные ответы. По прибытии в лагерь она говорила с ярко выраженным акцентом срединных графств. На самом деле она умела почти полностью убирать акцент, так что по говору невозможно было определить, откуда она. Чарльз-Карл с радостью учителя наблюдал, как Элси ввязывается в споры и заводит друзей. Между ним и Элси стоял вопрос

пола. Он знал, что «нравится» Элси. У них были свои, только им двоим понятные шутки. Им было легко друг с другом. Слишком легко, думал Чарльз-Карл. Многое зависело от погоды. В один из более солнечных дней они пошли гулять вдвоем и присели на кочку, обглоданную овцами.

— Я бы хотел тебя поцеловать, — сказал Чарльз-Карл.

— А потом что? — спросила Элси, не придвигаясь и не отодвигаясь, полулежа рядом с ним и разглядывая землю.

— Ну а потом видно будет.

— Что именно? — не уступала Элси.

— Я никогда не сделаю тебе больно, для меня это было бы хуже всего на свете.

— А для меня хуже всего на свете — потерять независимость.

— Ты можешь подарить мне независимый поцелуй.

— Могу? Вряд ли. Одно влечет за собой другое.

— Но ты же не будешь утверждать, что тебя раньше никто никуда не влек, — отважился Чарльз-Карл. — Ты все об этом уже знаешь. А я нет.

Элси нахмурилась.

— Ты не встречал настоящую змею в человече-

ском обличье. Думаю, что нет. Змею, чарующую птичек, змею с холодными глазами и железной волей.

— У меня тоже есть воля. Но я не хочу делать тебе больно…

— Ты и многого другого тоже не хочешь. А я еще не хочу потерять твою дружбу. Она для меня очень много значит.

Чарльз потянулся к ней и взял ее за руку. Она позволила. Он приблизил лицо к ее лицу, и она закрыла глаза. А потом сжала губы и отвернулась.

В конце лагеря Чарльз-Карл и Элси уехали на день раньше, пропустив лекцию Герберта Метли на тему «Искусство и свобода для общества и личности». Элси сказала, что не хочет его слушать, и Чарльз-Карл поддержал ее:

— Мы можем выйти из поезда где-нибудь по пути и полюбоваться природой.

Он замер в ожидании.

— Ладно, — сказала Элси.

Так они оказались в живописной харчевне в Оксфордшире. Сад за домом убегал вниз, к ручью. В саду росли розы, гвоздики и незабудки. Чарльз сказал:

— Элси, ты — миссис Уэллвуд.

— Нет, и не буду. Но один раз ты можешь так

сказать. Только один раз. Я все продумала. Я тебе должна.

— Должна! — повторил Чарльз. — Да чтоб тебя. Я хочу, чтобы ты была счастлива.

— Я никогда не буду счастлива. Я лишилась места и не нашла другого. Но здесь мы можем поиграть в другую жизнь, если хочешь. Я же сказала, что согласна.

В спальне, куда их провели, он хотел поцеловать ее, потом подумал, что не станет, и открыл окно на лужайку, чтобы слышать журчание ручейка. В окно полетела мошкара. Он снова закрыл его. Элси с негнущейся прямой спиной расчесала волосы и снова уложила в прическу, стоя спиной к Чарльзу-Карлу. Но она видела его в зеркало, видела беспокойство у него на лице и мрачно ухмыльнулась ему, вонзая в узел волос последнюю шпильку. Он улыбнулся в ответ — зеркальной Элси.

Они спустились вниз к ужину — гуськом, по узким ступенькам лестницы, покрытой истертым ковром. В столовой были красивые обои и занавески в цветочек. Элси держалась прямо, как линейка, и стискивала руки на коленях. Она выбрала грибной суп, запеченную баранью ногу с зеленым горошком и пирог со сливами. Чарльз-

Карл взял то же самое. Он сказал:

— Этот Метли — болван.

— Он пишет не про настоящую жизнь, это уж точно. — Элси глядела в тарелку. — Но, правда, убеждать он умеет.

И добавила:

— Миссис Метли, она мне очень помогала, вместе с миссис Оукшотт и мисс Дейс. А ведь они могли бы отнестись ко мне холодно, свысока. Они меня спасли на самом деле.

— Сейчас многое меняется, — заметил Чарльз-Карл. Он хотел сказать что-нибудь теплое, утешительное о ее былом несчастье, но ничего не придумал. Он знал, что она это поняла. Принесли суп и хлеб на тарелочках, расписанных летящими аистами, взлетающими аистами и камышами. Карл спросил, нет ли вина, ему принесли небогатую винную карту, и он заказал бутылку белого бургундского. Элси сказала:

— Минтон. Эти аисты. Моя мамка… мама… таких рисовала. У нас была пара таких тарелок. Второго сорта. Она их не очень любила. Говорила, что это японский стиль и что аисты — к долголетию. А в Англии они — к детям, она так говорила, а детей у нее и так уже было слишком много.

Элси помолчала.

— Она умерла от свинцовых белил. Мамка… мама была художница, была бы художница, если бы у нее была такая возможность. Филип это унаследовал от нее. Она умерла от свинцовых белил и оттого, что у нее было слишком много детей. Мы когда-то сочинили дурацкую песню.

— Ну? — спросил Чарльз-Карл.

— Семь человек на постель мертвеца, — как-то скомканно выговорила Элси. — Мы с Филипом сочинили. Нам некуда было положить брата… когда он умер… так что пришлось его оставить на кровати, а мы все кашляли, тоже чуть концы не отдали.

И добавила:

— Извини.

— За что? Я хочу, чтобы ты со мной говорила. Рассказывала мне.

— Мои рассказы не подходят для такого распрекрасного обеда на красивых тарелках. Ты мне помогал, так же как миссис Метли и миссис Оукшотт. Я тебе благодарна.

— Ты это говоришь, — не остался в долгу Чарльз-Карл, — чтобы подчеркнуть классовые различия между тобой и мной. Которые нам следует забыть.

— В этом супе настоящие сливки. Ровно столь-

ко, сколько надо. Это ведь тоже искусство. Нет, мы с тобой не можем забыть об этих различиях.

У Карла не шла из головы картина: семь (очень грязных) человек втиснуты в одну кровать и кашляют, и один из них мертвый. Элси аккуратно орудовала суповой ложкой. Он смотрел на лицо с сильными чертами, замкнутое, сдержанное, но живое, пытливое. Чужое — частью из-за классовых различий, частью из-за того, что пережила она и никогда не переживал он. Он сказал:

— Я тебя обожаю, когда ты такая сердитая и решительно расправляешь плечи.

Суровое лицо дрогнуло.

— Не надо, а то я сейчас заплачу. И ты будешь меня стесняться. Ты должен был бы меня стесняться.

Воцарилось молчание. Баранина была подана и съедена под разговоры о лекциях в летней школе; Элси сказала, что Шоу может говорить с любым акцентом, а потом его убрать. Она заговорила о Шекспире. О Розалинде и Виоле, которые прикидывались мужчинами, принимались действовать сами, окрыленные надеждой.

— Откуда он это знает? — спросила она у Чарльза-Карла. — Ни один другой мужчина так не пишет о женщинах, он словно знает их изнутри,

если можно так выразиться.

А еще леди Макбет, как она вдруг говорит, что кормила младенца грудью. Единственный раз говорит. Совсем не схоже… не похоже, что у нее был ребенок, и она говорит про него только один раз, только чтобы сказать, что оторвала его от груди. Это ужасно. И он так и задумал.

Они разобрали Корделию, Гонерилью и Регану и получили удовольствие от беседы. К пирогу со сливами принесли вкуснейший заварной крем.

— Снова сливки, — сказала Элси. — Крем хороший, густой. Это от сливок и яиц, а не только от крахмала.

Они поднялись в спальню. Чарльз-Карл сказал, что мошкара ужасно противная. Элси начала раздеваться — деловито, отыскивая вешалки, выравнивая туфли под кроватью, словно в комнате, кроме нее, никого не было. Она повесила юбку и блузку и, оставшись в одной нижней юбке, пошла чистить зубы, все так же деловито. Ему страшно нравились ее мускулы, которые напрягались, когда она склонялась расшнуровать ботинок или тянулась повесить юбку. Элси чистила зубы яростно. Потом сказала:

— Ну что ты стоишь.

Тогда он тоже начал раздеваться — ботинки,

шерстяные носки, бриджи, куртка. Ступни у него были длинные и белые. У них был какой-то неиспользованный вид. Карл тоже почистил зубы. Потом ни с того ни с сего причесался, и Элси расхохоталась. Так что он подошел к ней и начал слегка дрожащими пальцами расшнуровывать ей корсаж. Элси накрыла его руки своими и помогла ему. От руки к руке бил электрический ток. Она перешагнула через юбку и корсаж и осталась в панталонах.

— Открытки для ценителей, особый жанр, — сказала Элси Уоррен.

Груди у нее были точеные — как у богини, подумал он, — а соски коричневые, словно каштаны.

Она повернулась, наклонилась, приподняла покрывало и скользнула в кровать. Покрывало было белое, хлопчатобумажное, расшитое белыми розами и бутонами.

Чарльз-Карл снял полезную для здоровья майку и егеревские кальсоны. «Это случается со всеми, но у всех по-разному», — подумал он. Он не был пьян, но чувствовал себя немного пьяным.

Он залез в кровать к Элси и не знал, что делать — в частности, потому, что не знал, чего она хочет. Она, лежа рядом, стянула панталоны и придвинулась поближе. Она гладила его, а он

хватал ее за разные места, и она извивалась и хохотала, и взяла его, и направила — вот *сюда,* вот *так.* И взяла его руку и направила ее вниз, меж завитками его и ее волос там, внизу, а потом он, или оно, или они поняли, что надо делать, и нашли нужный ритм, и Карл, задыхаясь, спросил: «Ну, теперь ты счастлива?», и она ответила: «Да. Еще, еще. О да».

Завтрак был и радостным, и печальным. Между ними уже существовало что-то такое, что они не обсуждали, о чем не говорили и намеренно не думали. Карл не думал ни о том, что хотел бы видеть это красивое лицо за завтраком всю оставшуюся жизнь, ни о том, что хотел бы каждую ночь засыпать, положив руку на эту точеную грудь или меж стройных, сильных ног. Но он все-таки сказал, что можно найти гостиницу еще на одну ночь, а Элси возразила:

— Я не могу так надолго бросать Энн, я ей нужна.

Оплатив счет и идя по дорожке к кебу, Карл смутно думал о том, что теперь никогда не женится, потому что не в силах представить, как можно хотеть другую женщину. Он принял решения, которые… все перепутали и осложнили… для всех.

22 июня 1911 года, самым длинным и жарким летом в истории Англии, король Георг V короновался в Вестминстерском аббатстве. Король собственноручно снял показания термометра у себя в теплице — 98 градусов по Фаренгейту.[116] Неоязычники ныряли голыми в прохладные гранчестерские пруды под нависшими ветвями, прятались, хихикая, в кустах и разглядывали проходящие лодки, полные туристов и университетских преподавателей. Кайзер с семейством прибыл на коронацию на своей яхте «Гогенцоллерн». Королева Мария была в шляпе с кремовыми розами и изящными перьями. В июле кайзер послал новую канонерку «Пантера» в Агадир, и французы с англичанами обвинили его во вмешательстве в колониальные дела Франции.

Уэббы, движущая сила Фабианского общества, решили удалиться от жары, веселья и суеты и отправились в Канаду — в турне, которое должно было продлиться год. У Национального комитета поубавилось работы. Отчасти потому, что по всей стране бедняки, рабочие, семьи рабочих кипели недовольством, решимостью и даже яростью. Случались забастовки: шахтеров

---

[116] Примечания: 116
Примерно 37 градусов по Цельсию.

и железнодорожников, йоркширских ткачей-шерстяников, ланкаширских прядильщиков; забастовки, организованные союзом операторов разрыхлительно-очистительных и кардочесальных машин. Тем жарким летом волна протеста началась с забастовок моряков и пожарных в Пуле и Халле, за два дня до коронации. К морякам и пожарным присоединились докеры. Шли переговоры, достигались соглашения, рабочих пугали введением войск, рабочие выдвигали новые требования. В августе забастовали транспортники, их поддержали матросы лихтеров, грузчики, возчики, матросы буксиров, крановщики, бункеровщики, матросы барж. Лондонский порт замер. Овощи гнили, масло в бочонках прогоркало. Без электричества морозильники кораблей-рефрижераторов выключались, и тухло мороженое мясо из Аргентины, Новой Зеландии, США. Замаячила угроза голода. Тут женщины Бермондси под водительством Мэри Макартур вдруг бросили работу и выбежали на улицу с криками и песнями. Это случилось само собой; у женщин не было определенного повода; просто они вдруг поняли, что их жизнь невыносима, а мир, в котором они живут, — неприемлем и несправедлив.

Комментаторы событий видели в этом броже-

нии людского гнева и силы проявление стихий, подобное лесному пожару или урагану, или, как деликатно выразился Рамсей Макдональд, бурление весенних соков.

«Все трудящиеся отозвались на призыв к забастовке столь же охотно, инстинктивно, как отзывается природа на зов весны. Люди словно оказались во власти некоего заклятия». Писатель-консерватор Фабиан Уэр, описывая новый синдикализм социалистов и членов профсоюзов, завезенный из Франции, подразумевающий стремление к революции, назвал его «торжеством инстинкта над разумом».

Бен Тиллет, неутомимый харизматический лидер рабочих, писал:

«Война классов — самая жестокая из войн и самая безжалостная. Капитализм есть капитализм, как тигр есть тигр, оба дики и безжалостны к слабым».

Чарльз-Карл читал труды Уилфреда Троттера о стадном инстинкте человека и наблюдал за марширующими голодными, озлобленными людьми и их голодными семьями с беспокойством и ощущением человеческого бессилия. Троттера интересовали группы, «агрессивная стайность волков и собак, защитная стадность

овец и быков, а также отличные от них обоих, более сложные социальные структуры муравьев и пчел, которые можно назвать социализированной стадностью».

Но Троттер верил — и Чарльз-Карл его понимал, — что люди создали социальную структуру, которая больше не подчиняется напрямую сдержкам и противовесам эволюции. Человек создал описывающие мир верования и мифы, а также мораль и стал относиться ко всему этому как к вещам, а не как к словам и мыслям.

Мы видим, что современный человек вместо того, чтобы честно и мужественно признать свое состояние, послушно внимать своей биологической истории, преисполниться решимости устранить любые препятствия к безопасности и постоянству своего будущего, что единственно только и позволит добиться безопасности и счастья человеческого рода, подменяет все это слепым доверием к своей судьбе, незамутненной верой в то, что вселенная питает к его моральному кодексу какое-то особое уважение, и не менее прочным убеждением, что его традиции, законы и учреждения непременно основаны на незыблемых законах бытия. Но так как он живет в мире, где за пределами человеческого общества

слабость не прощается никому и где плодам воображения, как бы прекрасны они ни были, никогда не стать фактами, легко представить себе, сколь высока вероятность, что человек в конце концов окажется одной из ошибок Природы, и она небрежно смахнет его с рабочего стола, освобождая место для очередного плода своего неистощимого терпения и любопытства.

Чарльз-Карл постепенно разуверялся в индивидуалистическом обществе, которое пропагандировала Беатриса Уэбб. Он обнаружил, что с легкостью — с опасной легкостью — способен ненавидеть целиком класс, к которому сам принадлежит. Карл представлял себе чау-чау и борзых, породистых до вырождения, кохинхинских кур, которые уже и ходить толком не могут, с противными, ворчливыми голосами. Коронацию он видел, по Троттеру, как бесполезный карнавал пустых выдумок, человечка в дурацкой шляпе, окруженного подхалимами, едва способными передвигаться из-за неудобных одежд, в здании, построенном для несуществующего человекоподобного божества. Верить в Империю как в истину означало присоединиться ко лжи, называющей факт эволюции — зубы, когти, низкопоклонство, триумфализм — торжественным

и поэтичным именем.

А в Ист-Энде толпы маршировали как единое существо, встряхиваясь всем огромным телом, чтобы сбросить с себя лень, покорность, неведение собственной силы, что держали их в рабстве.

Но Карлу не было места в толпе. Плясать он не умел, маршировать не мог — или мог, но не чувствовал единящей общей цели, — и понимал, что даже отмена законов о бедноте не отменит доводов Троттера.

17 августа Герберт Генри Асквит, премьер-министр, встретился с представителями профсоюзов железнодорожников. Он предложил создать королевскую комиссию для расследования их жалоб. Он говорил с высоты своей должности. Либо рабочие согласятся ждать нескорого решения королевской комиссии, либо их противники будут вынуждены применить силу. Рабочие ушли совещаться, потом вернулись. Они наотрез отказались как ждать решения королевской комиссии, так и приступить к работе. Асквит вышел из комнаты, и многие слышали, как он явственно пробормотал: «Ну что ж, в таком случае ваша кровь падет на вас самих». Уинстон Черчилль отрядил войска — занять позиции на

случай протеста шахтеров. Напряжение и кипящее негодование все нарастали.

Осенью 1911 года вагнеровский цикл «Кольцо нибелунга» был целиком поставлен в Ковент-Гарден. У блумсберийцев были билеты, и у «фабианской детской» тоже; Руперт Брук, Джеймс Стрейчи и прекрасные дочери сэра Сиднея Оливье обменяли свои места и оказались вместе в партере. В Нифльхейме черные эльфы выстукивали молотками яростные ритмы, одноглазый Вотан и хитрец Логе, бог огня, спускались в подземный мир и обманом забирали у тамошнего царя золотое кольцо власти и шлем-невидимку. Огонь вздымался и мерцал вокруг валькирии Брюнхильды, спящей на скале, и Брюнхильда-Оливье аплодировала. Вотан калечил Иггдрасиль, мировое древо, чтобы создать законы и договоры, творя собственный, слишком человеческий, миропорядок, медленно разлагающийся в собственной косности, в узости восприятия добра и зла. Люди в спектакле были растленные, заблуждающиеся либо жертвы, но Рейн и музыка — и языки пламени тоже — искрились и пели.

Гризельда пошла на Вагнера с Джулианом, Чарльзом-Карлом, Вольфгангом и Флоренцией. Гризельде была интересна вагнеровская (как она

считала — оригинальная) версия мифов «Эдды» и «Песни о Нибелунгах». Гризельда сказала Джулиану, что в фольклоре ничего нет про Вотана, рубящего Иггдрасиль и желающего поджечь весь мир и Валгаллу. Это собственное изобретение Вагнера, его вклад в сюжет. Джулиан сказал, что от этого пения чувствует себя бессильным. Чарльз-Карл, который по-прежнему интересовался группами и инстинктами, назвал толпу своеобразным животным, совершенно непохожим на отдельного читателя. Если произведение талантливо, то зрители, слушатели сливаются в единое существо. Подобное дракону, подхватила Гризельда. Дракона можно убаюкать музыкой. Джулиан сказал, что недовольная зрительская масса — тоже существо, ее роднит общее чувство, она себя накручивает.

— Тихо, — шикнул Вольфганг, — слушайте, музыка снова начинается.

И наводящие ужас звуки повисли в воздухе гипнотическими нитями, отвечая самим себе, усиливаясь, сплетаясь воедино.

Марго Асквит, жена премьер-министра, в 1906 году писала у себя в дневнике:

Ни одна из моих подруг ничего не зна-

ет о политике и не интересуется ею. Их влекут личные отношения, престиж, возможность влияния на состав правительства. Женщины на самом деле ч…вски глупы, у них есть только инстинкты, которые, в конце концов, есть и у животных. У женщин нет чувства соразмерности, нет рассудка, очень слабое чувство юмора, никакого понятия о чести или истине, или же о пропорциях, а есть лишь слепые силы личных привязанностей и все животные инстинкты в их более героических проявлениях…

Марго презирала и боялась агитаторш-суфражисток, которые плевали в нее на банкете у лорда-мэра, а в 1908 году забросали камнями окна квартиры на Даунинг-стрит, заставив Марго бояться за маленького сына.

«Меня чуть не вырвало от страха, что он проснется и закричит. Зачем мою жизнь омрачают эти бесполезные, злобные, жестокие женщины? Они говорят, что мужчины заработали бы менее суровое обхождение. Какая ложь! Мужчин пороли бы кнутами на каждом углу».

Марго незыблемо верила в свое женское вли-

яние и интуицию. В конце 1910 года, во время выборов, она обратилась к Ллойд Джорджу. Это было глупое письмо, поразительным образом не сознающее собственной глупости.

> Я уверена, что Вы столь же щедры, сколь и импульсивны. Я собираюсь обратиться к Вам с политическим воззванием. Я называю его политическим, а не личным, чтобы Вы знали: если Вы не ответите, я весьма опечалюсь, но не обижусь. Прошу Вас: когда Вы обращаетесь к толпе, не будите в ней низких, отвратительных чувств, стремления к насилию; это вредит тем участникам собраний, которые сражаются в нынешней избирательной кампании из благороднейшего желания видеть лишь честную игру; мужчинам, не обуреваемым желанием проломить кому-либо голову; беспристрастным, способным жалеть и исцелять своих ближних, будь то лорды или подметальщики. Я полагаю, что именно эта хладнокровная классовая ненависть, проявляемая в последние годы на совещаниях в палате лордов, заставила Вас сказать, что лорды

выдержанны, как сыр, и так же воняют, и т. д. и т. п.

Возможно, положение было бы не столь серьезно, если бы Ваши речи лишь задевали лордов и отвращали их; но, помимо короля и знати, эти речи ранят и оскорбляют даже довольно бедных людей, разного рода либералов — из-за этих речей мы теряем голоса избирателей…

Ллойд Джордж ответил с убийственно холодной иронией:

…Несмотря на жесточайшую простуду, я дал согласие до окончания выборов выступить примерно на дюжине митингов. Если Вы можете передать партийным заправилам свою неколебимую уверенность в том, что мои речи вредят общему делу, Вы окажете партии услугу и в то же время совершенно осчастливите меня…

В ноябре 1911 года Ллойд Джордж коварно объявил, что он торпедировал готовящийся «Билль о примирении», который должен был предоставить право голоса ограниченному количеству женщин. Вместо этого, сказал Ллойд Джордж,

будет принят закон о реформе суфражизма в защиту мужского достоинства. Женщины — как воинственные суфражетки, так и спокойные, разумные суфражистки — были вне себя.

В феврале Эммелина Панкхерст констатировала: «Разбитое окно — самый веский довод в политике». Женщины все более хитроумно и ядовито разрушали былое спокойствие повседневной жизни страны. Лозунг «Голоса — женщинам» выжигали на зеленой траве полей для гольфа и писали алой масляной краской на пресс-папье самого премьер-министра. Респектабельные дамы в черном, в респектабельных черных шляпах извлекали из удобных, вместительных, респектабельных сумочек молотки и булыжники и шли по главным торговым улицам больших городов, методично разбивая одну зеркальную витрину за другой. Мисс Кристабель Панкхерст в различных меняющих облик одеяниях — в розовой соломенной шляпке, синих солнечных очках — уходила от сотни преследующих ее сыщиков под вечный припев «чертова неуловимая Кристабель». В конце концов она скрылась в Париж, откуда руководила все более дерзкими акциями протеста и где ходила в парк прогуливать маленькую хорошенькую собачку. Ее мать, как это с ней часто

бывало, в это время страдала в застенках.

В марте г-н Асквит, искусный оратор, выступил в парламенте с речью о парализовавшей страну забастовке шахтеров. Он взывал к шахтерам и к членам парламента. В конце концов он, не в силах более продолжать, разрыдался.

В том же месяце Марго Асквит решила тайно вмешаться в ход дел. Она послала письмо лидеру лейбористов, приглашенному на обед, и предложила ему тайную встречу. Это было очень женское послание.

> Главный вопрос, который я хотела бы задать человеку с Вашими способностями, с Вашим умением чувствовать, с Вашим (возможно, крайне тяжелым) жизненным опытом: чего Вы хотите?
>
> Я, конечно, не имею в виду Ваши личные желания, ибо я уверена, что Вы столь же честны, как и я, и беспристрастны. Нет, я задаю этот вопрос на гораздо более высоком уровне.
>
> Хотите ли Вы, чтобы все люди были одинаково обеспечены материально? Думаете ли Вы, что, если все люди будут одинаково преуспевать материально, их

умственные способности также сравняются?

Думаете ли Вы, что, если попытаетесь или даже сможете сравнять банковские счета всех людей, эти люди станут также равны в глазах Бога и Человека?

Я социалистка, но, возможно, мое понимание этого слова отлично от Вашего… Я хотела бы лучше понять людей, которые добиваются желаемого ценой огромных страданий других.

Я пока что никого не осуждаю, ибо не до конца понимаю. Мне безразлично, каково кредо человека — но оно должно быть основано на Любви, даже к своим врагам, а придерживаться такого кредо непросто.

Вы много страдали в жизни, и я полагаю, что Вы не желаете страданий другим людям, и именно потому стали социалистом. Это и моя точка зрения, но я всего лишь женщина. Я не хочу, чтобы мой муж страдал из-за своего стремления быть честным, справедливым и добрым к обеим сторонам этого трагического конфликта.

И далее в том же духе. Уильям Троттер опознал бы в этом письме претворение человеческих моральных построений в осязаемые вещи, каковыми они не являются. Миссис Асквит не получила ответа. Забастовки продолжались.

И протесты суфражисток — тоже. На Парламент-стрит арестовали мисс Эмили Дэвисон с полосой ткани, пропитанной парафином: она подожгла ее и засовывала в почтовый ящик. Когда премьер-министр с родственниками и Друзьями возвращался после отдыха в Шотландии, на вокзале Чаринг-Кросс его атаковала толпа вопящих суфражисток. Компания не осталась в долгу: Вайолет Асквит «имела удовольствие размозжить пальцы одной из этих шлюх». Именно Вайолет, орудуя клюшкой для гольфа, отогнала группу женщин, пытавшихся раздеть премьер-министра догола на поле для гольфа «Лоссимаут». Асквит в письме сравнил себя со святым Павлом в Эфесе, сражающимся с чудовищами — горгонами, гидрами, химерами. «Кажется, об этом есть где-то у Милтона».

В апреле того же года Сити пронизали невидимые линии беспроводного радио. Везде висели плакаты, объявляющие, что новый, непобедимый чудо-корабль «Титаник» столкнулся с айсбергом

посреди океана. Корабль посылал на сушу радиограммы, они становились все реже и путаней и наконец совсем прекратились. Пронесся слух, что пассажиров спасли, а корабль привели на буксире в Галифакс. Обнадеженные обитатели Сити легли спать, а утром проснулись и узнали о катастрофе. Среди утонувших был У. Т. Стед, журналист-боец, который когда-то, в незапамятные времена, купил девочку в сексуальные рабыни и таким образом вскрыл целую сеть насилия и торговли женщинами.

Уэббы вернулись из путешествия и принялись осваивать изменившийся мир. Национальный комитет по борьбе за отмену законов о бедноте был распущен, и его сменило Новое фабианское бюро исследований. Фабианцы сблизились с Независимой партией лейбористов и принялись проводить кампанию за установление минимальной оплаты труда в стране. Идея облегчения страданий бедняков постепенно перерастала в идеал синдикалистов — восстание.

Люди находились в странном состоянии ума. Руперт Брук повез Кей Кокс в Мюнхен и там потерял с ней гетеросексуальную невинность, которая, как он считал, вела его к нервному срыву. Они вернулись: Кей — беременная, на грани

нервного истощения, а Руперт — на грани безумия. Безумие он лечил снадобьем, призванным подавлять сексуальное желание, и постельным режимом в сочетании с «откормом» — он ел бараньи отбивные, говядину, хлеб, картофель. Он писал друзьям безумные письма, пропитанные тошнотворным антисемитизмом, и поведал Вирджинии Вулф, которая также была на грани нервного срыва и которую также лечили «откормом», историю хора в Регби, где:

> …двое четырнадцатилетних мальчиков составили план действий во время хоральной службы. В конце службы они вышли через боковую дверь и стали наблюдать за входящими в церковь детьми. Они выбрали десятилетнего мальчика, чья внешность понравилась им более других. Они ждали в уединении до окончания «детской службы». Когда жертва вышла, они набросились на нее, схватили за обе руки и увели в ризницу. Там, пока шла «Служба только для мужчин», они сняли с мальчика одежду, обнажив его до пояса снизу, и по очереди изнасиловали. Мальчик кричал, но его крики тонули

> в реве органа, изрыгающего гимны, подобающие «только для мужчин». Потом мальчика отпустили. С тех пор он лежит в постели с разрывом внутренних органов. Виновных арестовали и заключили в тюрьму — видимо, для малолетних преступников. Мальчик, возможно, выживет.

Тон этого письма совсем не похож на беззаботную болтовню о мужеложестве, обычную для блумсберийской группы или «апостолов». К тому же письмо было адресовано женщине, находившейся в состоянии временного помешательства. Своим друзьям-неоязычникам Брук слал диатрибы против грязной похотливости Литтона-Стрейчи, чем-то напоминающие о страхе Д. Г. Лоуренса перед теми же людьми — он представлял их себе черными тараканами, выползающими из щелей. Брук почти наверняка знал, что его творения вовсе не остроумны. Но кем же в таком случае он себя считал и чем виделись ему эти письма?

Марго Асквит принадлежала к модному обществу, которое прозвали «Душами» — они ловко плели слова, хорошо играли в теннис и катались

на велосипедах. Марго и ее компания старались вести себя смело и необычно, вызывающе, «естественно». Дети «Душ», в том числе пасынок и падчерица Марго — Рэймонд и Вайолет Асквит — составляли так называемый «растленный кружок». Рэймонд был королем этого кружка, члены которого увлекались «хлоралами» и опиумом, богохульством и черным юмором. Как говорила леди Диана Мэннерс, «мы гордились тем, что нас не пугают слова, не шокирует употребление спиртного, что мы не стыдимся декадентства и азартных игр». Рэймонд называл Диану «орхидеей среди лютиков, черным тюльпаном на грядке огурцов, волчьей ягодой в малиннике». Они пародировали «живые картины» своих родителей-«Душ» (эта иерархия странно отдавала тайным делением людей на классы, характерным для кембриджских «апостолов» и мюнхенских «космиков», выделявших «эмбрионов» и «крестных отцов», «ангелов», «великанов» и «несущественных»). У кружка была особенная игра, которая называлась «Весть». Она заключалась в том, чтобы представить в комедийном ключе, как матери сообщают о смерти ее ребенка.

В ноябре 1912 года в Сити разразился великий «серебряный скандал», заполонивший все газеты.

«Саймон Монтэгю и компания» тайно скупали серебро для индийского правительства, как часть валютного запаса. Сыпались обвинения в коррупции, развешивались ярлыки антисемитов. Джон Мейнард Кейнс, веривший в постепенное упразднение золотого стандарта и в материальный валютный резерв, в июне 1913 года выпустил книгу «Индийская валюта и финансы». В ноябре того же года произошел кризис. «Великая спекуляция серебром потерпела крах, и Индийский банк драгоценных металлов лопнул. Какая трагедия!» — писал сэр Чарльз Аддис, сыгравший значительную роль в создании синдиката торговцев благородными металлами, которому в декабре удалось предотвратить катастрофу.

Герант Фладд все активней участвовал в работе банка «Вильдфогель и Квик» с валютой и драгоценными металлами. Он купил книгу Кейнса и внимательно прочел. Бэзил Уэллвуд пригласил Геранта на ужин в ресторан «Рулз», где заказал креветочный паштет, оленину, стилтонский сыр и силлабаб. Бэзил так и не понял, что, собственно, произошло с помолвкой Геранта и Флоренции, ныне миссис Гольдвассер. Но он заметил перемену в Геранте — новую мрачную решимость в работе, неулыбчивую серьезность. Под конец

ужина Бэзил сказал:

— Я восхищаюсь решимостью, с которой ты работал последний год или два. На твою долю выпали испытания, но ты справился.

Герант согласился. Он заметил, что некоторые вещи нельзя поправить, но можно отложить в сторону и не думать о них, хоть это порой и тяжело.

Бэзил сказал, что Герант стал ему, во многих смыслах, еще одним сыном. Его родной сын даже не притворяется, что ему интересны битвы и повседневная жизнь Сити. В этом смысле Бэзил считает Геранта своим духовным наследником — духовным наследником материальных вещей. Бэзил хочет поспособствовать карьере Геранта — сделать так, чтобы тот продвинулся как можно дальше и как можно быстрее. Бэзила весьма впечатлила работа Геранта, связанная с индийским серебряным кризисом. Не хочет ли Герант поехать в Индию на следующий год, чтобы хорошенько ознакомиться с тамошней работой их банка?

Они подняли бокалы. В зале пахло вином, хлебом и подливой, свет был насыщенный, приглушенный.

Герант не ответил.

— Я подумал, что перемена обстановки… — сказал Бэзил. — Долгое путешествие на океанском лайнере. Со множеством красавиц, исполненных надежд, на борту, — рискнул добавить он.

Герант читал Киплинга. Он подумал о загадке Индии, о джунглях, о свете, о красках, о тварях. О сложных сделках с серебром. О расстоянии. Он понял, что ему нужно расстояние. Его воображение тронула идея прекрасных молодых женщин, плывущих по темным водам океана, в свете звезд, на поиски мужей. Такое путешествие может освободить человека… изменить, обновить его.

— Да, сэр, я бы этого хотел, — сказал он. — Вы всегда были ко мне очень добры.

Бэзил ответил:

— День твоего прихода в банк был счастливым и для меня. Ты слишком молод, чтобы одна неудача сбила тебя с Дороги. У тебя вся жизнь впереди. Перед тобой — весь мир.

Герант положил на одну чашу весов свою боль, а на другую — зов океана и далекую загадочную страну. В нем забродили новые силы.

— Я знаю, — сказал он. — Вы правы. Спасибо.

49

В день дерби, 4 июня 1913 года, Герберт Джонс по прозвищу Бриллиант, в жокейском костюме королевских цветов, скакал на Анмере, коне короля. Джонс был национальным героем. Ему аплодировали огромные толпы. Эмили Уилдинг Дэвисон в твидовом костюме, блузке с воротником-стойкой и неприметной шляпке стояла у ограды скакового поля в Тэттенхэм-корнер, где заворачивали кони, разноцветно мелькая на фоне неба. В рукаве у Дэвисон был триколор суфражисток — фиолетовый, белый и зеленый, и еще один такой же флаг обернут вокруг талии. Когда послышался тяжкий топот копыт и показался Анмер, возглавляющий скачку, Дэвисон шагнула вперед прямо под копыта и схватила коня под уздцы. Жокей, лошадь, кричащая женщина — все повалились на траву, оросив ее кровью. Джонс-Бриллиант упал и не поднялся — он получил сотрясение мозга и повредил плечо. Эту сцену засняли на кинопленку. На ней можно увидеть помятую Дэвисон со сбившимися юбками, которую, словно поломанную куклу, волокут полицейские. У нее была разбита голова. Голову

замотали газетами. Дэвисон отвезли в эпсомскую больницу, где соратницы задрапировали ее кровать, словно катафалк, фиолетово-бело-зелеными флагами. Дэвисон умерла четыре дня спустя.

Упавшая лошадь поднялась и поскакала прочь. Король Георг записал в дневнике: «Бедняга Герберт Джонс и Анмер покатились кувырком. Я был ужасно разочарован».

Королева Мария послала Джонсу телеграмму, выразив сочувствие по поводу «прискорбного происшествия, вызванного чудовищным поступком жестокой, безумной женщины».

Много лет спустя Джонс говорил, что ему «мерещится лицо той женщины». После этого случая он больше не выигрывал скачек.

Социально-политический союз женщин устроил Эмили Дэвисон торжественные похороны. В них участвовали десять духовых оркестров и шесть тысяч женщин-демонстранток. Они несли фиолетовые шелковые знамена с вышитыми словами Жанны Д'Арк: «Сражайтесь, и Господь дарует победу». Суфражистки раздобыли флаг Дэвисон, запятнанный травой, грязью и кровью, и он стал реликвией. Несколько человек (как мужчины, так и женщины) кидались в гроб кирпичами. Гедда Уэллвуд, которая накануне до

поздней ночи вышивала и подрубала знамена, тоже шла в колонне, обращая к преследователям бледное презрительное лицо. Ноги двигались в такт, музыка сплачивала женщин, превращая их в единое существо, идущее к цели.

Группа держала Гедду. Ей было очень странно, что создания, которым положено быть робкими, кроткими, домовитыми, любвеобильными, столь изобретательны в таких мятежных, опасных делах. Гедда с детства была мятежницей. Она вечно стояла в стороне от любых групп — от семьи Уэллвуд, от девочек в школе, от фабианцев. Она подрывала устои, выискивала неудобные истины. И не могла найти себе цели. А потом нашла ее — в сообществе мятежников, в армии, бьющейся за правое дело, в программе разрушения. Гедде нравилось маршировать — бедро к бедру, юбка к юбке, плечо к плечу с женщинами, подчинившими собственные потребности и движения великому делу. Жизнь в группе и притягивала, и беспокоила Гедду, которая от природы боялась закрытых пространств. Временами Гедде казалось, что ряды сейчас сомкнутся и раздавят ее, как Красная и Белая королевы и летающие присяжные-карты в «Алисе».

Армии нужны не только мученики, но и

командиры. Здоровье Эммелины Панкхерст пошатнулось от голодовок и насильственных кормежек. Когда газеты, освещая нарастающую волну насильственного протеста, назвали Эммелину злобной старухой, она парировала: «В наши намерения не входит, чтобы вы были довольны». Однако армией, как это ни парадоксально, все чаще командовала хорошенькая Кристабель, хозяйка хорошенькой собачки, из хорошенькой парижской квартирки, объясняя это тем, что полководец-стратег должен быть в безопасности и на свободе. Как и многие другие самодержцы, она ссорилась с людьми: с Петик-Лоренсами, Фредериком и Эммелиной, которые жертвовали деньги на борьбу за права женщин, руководили этой борьбой и страдали за нее; со своей сестрой Сильвией, которая жила среди бедноты в Ист-Энде и не отступала от своих социалистических принципов, пока Кристабель водила дружбу с богачами, тори, кликами влиятельных и знаменитых людей. Она издавала декреты. В 1912 году, в день взятия Бастилии и день рождения Эммелины, Сильвия устроила зрелищное шествие в Гайд-парке: шляпки, знамена, флажки, все украшенные алыми драконами и белой каймой. Шествие имело огромный успех.

Кристабель телеграфировала из Парижа. Она приказала Сильвии сжечь Ноттингемский замок.

Сильвия отказалась. Она не верила в поджоги, в уничтожение шедевров искусства.

Но нашлись те, кто верил.

Они посылали друг другу шифрованные телеграммы. «Пух, перья, воск, смола, фиалки, маки, пудра». Они покупали и прятали канистры с парафином и бензином. Они всыпали кайенский перец и вливали расплавленный свинец в почтовые ящики. Пришел 1914 год, и они стали еще смелей и неудержимей. За первые семь месяцев 1914 года было подожжено 107 зданий. Суфражистки жгли шотландские замки, а потом принялись за культуру собственно Англии. В 1913 году они порвали ценные картины в Манчестере и разбили оранжерею с орхидеями в ботаническом саду Кью-Гарденс. Они взорвали новый дом Ллойд Джорджа в Уолтон-он-зе-хилл. Они резали телефонные провода и совали камни в железнодорожные стрелки, чтобы поезда сходили с рельсов. Они проявляли все меньше уважения к культурным ценностям: поджигали старинные церкви, портили средневековые библии. Они сожгли библиотеку Карнеги в Бирмингеме. Они, как

до них анархисты, взорвали бомбу в Вестминстерском аббатстве и затопили водой большой орган в августейшем Альберт-Холле. Самих суфражисток избивали, запугивали, полиция и толпа срывали с них одежду. Им выкручивали груди, вырывали волосы. Суфражистки прерывали речи короля и премьер-министра решительными тирадами и собственным гимном на мотив «Марсельезы». Мэри Ричардсон методично подготовилась к уничтожению нелюбимой ею картины Веласкеса — элегантной, очень плотской Венеры, созерцающей себя в зеркало. Ричардсон дождалась, пока следящие за ней сыщики уйдут обедать (один из них просто прикрыл глаза газетой) и бросилась на застекленную картину с топором. Первый удар пробил стекло. Сыщик вопросительно взглянул на световой люк в потолке. Смотритель поскользнулся на полированном полу. Мэри нанесла еще четыре удара. Наконец ее повязали с помощью немецких туристов, обезвредивших ее меткими бросками «бедекеров» в затылок. Ее водворили в Холлоуэйскую тюрьму, приговорив к насильственному кормлению.

Эти истории передавались из уст в уста — потрясенным шепотом, со зловещим смехом. Жертвенный поступок Эмили Дэвисон, очевид-

но, призывал к действию всех женщин. Гедде в голову закралась идея «сделать что-нибудь». Мало было шить, маршировать, сыпать перец и лить клей в почтовые ящики респектабельных домов, рассыпать гвозди по полам учреждений. Требовался поступок.

Беда была в том, что она боялась. Сначала беда была в том, что она не могла придумать, что бы такое совершить, но однажды при обсуждении жизни Эмили Дэвисон действие само собой оформилось у Гедды в голове — в прямом смысле этого слова золотое, сверкающее во тьме.

Эмили Дэвисон, чьи речи были слишком длинны и отклонялись от темы, чье присутствие раздражало или выбивало из колеи, была причислена к сонму святых. Однажды у нее возникла остроумная идея — спрятаться в палате общин, провести там ночь, а утром, в день переписи, выскочить и объявить палату общин местом своего проживания. Добрый уборщик обнаружил Эмили в чулане, напоил чаем с тостами и отправил восвояси, туда, где она в самом деле жила. Но Эмили нашла другие способы гарантированно попасть в тюрьму. В тюрьме она, словно акробатка, прыгала с балкона — на верную смерть, если бы не проволочная сетка. Эмили отнесли наверх,

но она снова прыгнула. И снова уже на железную лестницу.

Ходили рассказы о мучительном пребывании в клетках, о насильственных кормлениях — по сути, пытках: меж зубов, ломая их, вставляли деревянный кляп или железные зажимы и всовывали ужасную трубку, а охранники в это время держали сопротивляющуюся женщину за уши, за груди, за волосы, за руки и за ноги. Трубка, которую совали в извивающуюся жертву, могла попасть не туда — войти в легкое, разорвать кишку; все это было известно, эти рассказы передавались из уст в уста: героические истории женщин, которые в начале заключения выглядели на сорок лет, а когда выходили — уже на семьдесят. Сильвия Панкхерст отказалась от еды и питья. Ее поливали водой из шланга и кормили через омерзительную трубку. Она ходила. День и ночь, день и ночь. Гедде рассказывали, что глаза Сильвии полностью заплыли кровью. Ноги разбухли, как тумбы. Гедда видела во сне истощенное красноглазое существо, шагающее без остановки, и просыпалась в холодном поту.

Поняв, что нужно делать, Гедда также поняла, что сделать это должна именно она, потому что эта идея родилась у нее. Идея возникла из

слышанной в детстве были о мальчике, который прятался в подвале Южно-Кенсингтонского Музея. Про это рассказывал и Том, и сам Филип. Упоминался также грузовой въезд, ведущий в подвалы Музея, и гипсовые слепки-стражи, и гробницы. Там можно спрятаться, а когда все затихнет — выйти с камнями, разбить витрины с холодным золотом и серебром, и металлы тоже разбить, превратить в пыль и обломки.

У Гедды не было настоящих друзей. Придется все делать самой.

На самом деле не обязательно было ничего разбивать.

Но тяга была непреодолима.

Настал май 1914 года. У нее были острые камни. Она вместе с другими женщинами из Социально-политического союза ходила на пикники для сбора камней. Но из ненависти к прежней жизни, которая теперь должна была кончиться, и к сонному, удобному, негодному, расшатанному укладу «Жабьей просеки» Гедда намеренно забрала излома коллекцию камней — и редких, и собранных на бесконечных галечных пляжах Данджинесса, кремней и мела с Уилда (в том числе пару оббитых топоров каменного века), обломок пемзы от извержения Этны (слишком

легкий, отскакивает при ударе, таким ничего не разбить), грубый кусок от белых скал Дувра. Эти камни хранились в большой керамической чаше работы Филипа Уоррена, стоящей вместо вазы с фруктами в кабинете Олив. Среди них — положенный туда вроде бы походя, чтобы затеряться среди других, — был и дырявый данженесский камень из кармана пальто, найденного на берегу. Гедда взяла его сознательно, понимая, что это причинит боль матери, и смутно осознавая желание Тома… отомстить Олив, избежать Олив, освободиться от Олив, сделать так, чтобы о нем больше не писали? Олив была скорее за суфражизм, чем против — в духе фабианских посиделок на газонах и у каминов; но не одобряла актов насилия. Гедда решила, что возьмет камень с дыркой и швырнет его в золотую чашу.

Несколько дней Гедда больше ничего не делала. Она боялась. Она не знала, насколько боялись другие суфражистки. Зубы у нее болели от страха, и ей приснилось, что они все выпали и застряли в тарелке с овсянкой, словно кровавые камушки. Гедда ждала знака. Она поняла, что знак подан, когда прочитала, что Сильвия Панкхерст в тюрьме нарисовала иллюстрацию к стихам:

Вставай! Свой камень в чашу тьмы Рассвет

Уже метнул — и звезд на небе нет.[117]

Гедде было нехорошо. Выдыхая, она ощущала запах собственного дыхания. Она мрачно причесалась, собрала сумку вроде тех, какие носят художники, и пустилась в путь.

Вход в Музей оказался точно таким, как описывал Филип. Туда было так же легко попасть, как и раньше, до появления завораживающих изгибов и стерильных пространств, созданных Уэббом. Гедда проскользнула внутрь за двумя мужчинами, полностью занятыми ящиком — тяжелым, неповоротливым, набитым соломой. Черным призраком Гедда прошла белый лес гипсовых слепков. Двинулась дальше, мимо оградок гробниц, мимо латунных решеток, и вдруг наткнулась на русский склеп, где когда-то спал Филипп: на пустом постаменте, под сенью голубок и аканфа. Здесь Гедда остановилась и провела ревизию своих припасов — полной сумки камней и пакета с булочками. Когда Филип прятался в подвале, тут не было электричества. Сейчас, при меркнущем в круглых оконцах свете дня, Гедда видела

---

[117] Примечания: 117

Эдвард Фитцджеральд. Рубайат Омара Хайяма. Перевод О. Румера.

выключатели и провода. Она сидела в сумерках, потом в темноте, ожидая, пока глаза привыкнут. Волосы она скрыла под темным платком. Она поискала лестницу с железными перилами, но не нашла. Она ждала. Расползались ночь и тишина. Гедда осторожно включила свет и спряталась за гробницу. Ничто не шелохнулось. Лампочка под зеленым абажуром осветила выложенные белым кафелем готические своды. Гедда потерялась в лабиринте; ей нужна была нить. Гедда вылезла из укрытия и, согнувшись, скрючившись, побежала по коридорам. Вот каменная лестница. Гедда поднялась наверх. Тут она поняла, что поступила как идиотка. Дверь в галерею была закрыта. Филип тогда нашел и оставил себе ключ. Она даже не подумала о ключе. Она словно Алиса, которая никогда не попадет в сад и обречена вечно подглядывать в замочную скважину.

Поступок требовал, чтобы Гедда его свершила. Потому она огляделась в поисках ответа, который должен был найтись. И он нашелся. На стене туннеля у подножия лестницы висела доска с массой ключей и отверток самой разной длины на просмоленных бечевках и разлохмаченных веревочках. Меток на ключах не было. Гедда попробовала один, другой и поняла, что нужен ключ

потолще и подлиннее. Она поискала и нашла такой. Дверь с тяжким скрежетом отворилась.

И вот они, витрины с золотом и серебром, сверкают перед Геддой в лунном свете. Она подошла поближе. Вот реликварий, вот Глостерский канделябр. Хранителей сокровищ поблизости не было.

Если удастся разбить стекло не слишком громко, она успеет серьезно попортить что-нибудь. Она вспотела. Ей было холодно. Она сняла пальто, завернула в него большой острый кремень и осторожно размахнулась. Стекло выдержало. Гедда, исполнясь ненависти, ударила со всей силы. Стеклянный гроб раскололся, стены пали. Удар был приглушенный, но осколки зазвенели на кафельном полу.

Она взяла один из данденесских камней и ударила по небольшому потиру. Тот поцарапался, но не погнулся. Гедда по-прежнему была одна в высоком зале. Она швырнула на пол филигранную ложечку для причастия — вышло тихо из-за бархатного ковра, приглушившего звук. Гедда обратила все внимание на канделябр.

Вот он перед ней — неповторимый, загадочный, энергичное сплетение драконов, бесенят, листьев, шлемоносных воинов. Ужасно странное

ощущение. Она вспомнила, как Том в древесном доме читал вслух Теннисона. Канделябр был подобен вратам, ведущим в Камелот.

> *…переплетенья*
>
> *Ветвей, драконов и эмблем эльфийских*
>
> *Пришли в движенье, бурно закружились; обратясь к Гарету,*
>
> *Вскричали слуги: «Принц, врата живые!»*[118]

И Гедда действительно узрела в канделябре метаморфозы, карабканье, мельканье. Надо его уничтожить. Вместо этого она глупо швырнула в него дырчатый камень Тома. Камень отскочил от зверя, которого разил кинжалом гном. Гедда упала на колени, и тут с топотом и скрипом вбежали охранники и не слишком бережно подняли ее на ноги.

Ее заперли в полицейском участке, а потом судили. Она знала, что от нее разит страхом, и потому на скамье подсудимых стояла прямо, хотя дрожь сотрясала ее сверху донизу и снизу доверху, словно в родах. Несколько женщин из Социально-политического союза пришли ее поддержать,

---

[118] Примечания: 118
Альфред Теннисон. Гарет и Линетта. Перевод Н. Конова.

и то, что они ожидали от нее бесстрашия, было частью пытки. Гедда не попросила о встрече с родными. Ее приговорили к году тюремного заключения за повреждение казенного имущества и отправили в Холлоуэйскую тюрьму.

В камере была Библия и книга под названием «Домашняя жизнь христианской семьи». Это ненадолго развеселило Гедду. Ей позволили принять горячую ванну, которая ей была очень нужна, и выдали поношенную, не по размеру одежду, которая тоже была очень нужна, так как ее собственная пропиталась потом испуганного тела.

Она знала, что должна отказаться от еды. Но не знала, хватит ли у нее мужества отказаться от питья. Она стала ходить. Взад-вперед, взад-вперед. Стены смыкались и давили ее. Она рыдала и продолжала ходить. Она решила отказаться от питья, невнятно думая, что от этого умрет, чего ей, кажется, и хотелось. Она ходила. Ходила. Падала и снова вставала на ноги.

Ей, как всем голодающим, принесли поднос с баночкой говядины в желе марки «Брэнд Эссенс», яблоком, свежим хлебом и маслом, стаканом молока. Гедда ни к чему не притронулась. Она

ходила.

Принесли трубки, кляпы, жидкость с комками (немецкий «санатоген»), Гедда не боролась — ее била слишком сильная дрожь, но после кормления ее немедленно стошнило на надзирательницу. Гедду отшлепали, как ребенка, — наказали за неопрятность.

Однажды — это было хуже всего — Гедда начала думать о баночке говядины в желе. Говядина была непреложным фактом, словно бы уже свершившимся. Она должна съесть это желе. Не должна. Должна. Она ходила. Взад-вперед. Остановилась и взяла ложку.

Вкус на обложенном языке был невыносимо ярок. Ложку за ложкой Гедда заглотала все, что было в баночке. Вошла женщина и сказала — в ее голосе Гедде почудилось презрение:

— Вот это тебе пойдет на пользу, наконец-то ты сделала хоть что-то разумное.

Гедда рыдала, ее рвало, ее снова шлепали. Теперь она знала, что опозорилась и что нельзя было нарушать голодовку. Она ходила, в нее вливали отвратительное пойло, она извергала его и снова ходила. Если держать воронку выше или ниже, чем надо, кормление причиняет боль и вызывает удушье, поскольку еда попадает в не

предназначенные для нее места.

Гедду выпустили в июле по «Акту кошки и мышки» для поправки здоровья, чтобы затем посадить снова, уже без опасности для жизни.

Гедду встречала группа женщин. Несколько суфражисток, которые знали все о том, как мыть, выхаживать и медленно откармливать выздоравливающих мучениц. И сестра. Доктор Дороти Уэллвуд старалась не показывать своего ужаса при виде потрескавшихся губ, налитых кровью глаз и острых костей, едва ли не протыкающих кожу.

— Ты себя чуть не убила, — сказала Дороти. — Мы должны привести тебя в порядок.

Гедда что-то бормотала о мясном желе.

— Ты хочешь мясного желе? — спросила Дороти.

Гедда зарыдала. И сказала, что Дороти не поймет.

— Я все испортила.

— Испортила бы, если бы умерла. А уж я позабочусь, чтобы этого не случилось.

IV
Свинцовый век

50

В мае 1914 года Дягилев привез на триумфальный сезон в театр «Друри-лейн» русский балет на музыку Рихарда Штрауса. Они давали «Ивана Грозного» и «Иосифа» Штрауса. Руперт Брук пошел смотреть; и все блумсберийцы тоже; и Ансельм Штерн с сыновьями и Штейнингом. Последнее представление, 25 июля, было двойное: показали разом «Иосифа» и «Петрушку», балет, который кончается трагической смертью живой куклы. В тот вечер австрийский посол не принял ответа сербов на свой ультиматум и отбыл домой. Штерны тоже отправились домой. «Лучше проявить осторожность, — сказал Ансельм. — Назревает конфликт».

31 июля Германия послала ультиматум России, объявила *Kriegsgefahr,* угрозу войны, и начала мобилизацию мужчин. Социалисты всего мира сплотились вокруг Жана Жореса, который все еще надеялся на всемирное антивоенное восстание трудящихся. В тот вечер Жорес ужинал в «Кафе Круассан» на Монмартре, и молодой человек, до того следивший за ним весь день, застрелил его из пистолета. Жорес умер через пять минут. 1

августа, в день, когда стало известно о его смерти, была мобилизована французская армия.

Лондонский Сити, обеспокоенный возможными последствиями для рынка золота, послал делегацию к Ллойд Джорджу с сообщением, что «финансовые и торговые круги лондонского Сити всецело против участия Британии в войне». Никто не ожидал войны. Никто не был к ней готов. Финансисты верили: в мире действуют финансовые и экономические силы, и он устроен таким образом, что политические силы подчинены экономическим структурам, нацеленным на процветание и рост. Ллойд Джордж заметил: «Испуганные финансисты — зрелище отнюдь не героическое. Однако будем снисходительны к людям, которые были миллионерами с кредитом прочнее земного шара, опоясанного их владениями, и вдруг обнаружили, что их будущее разнесено на куски бомбой, брошенной наугад безрассудной рукой». Журнал «Экономист» советовал сохранять строгий нейтралитет. Ссоры на континенте «должны заботить нас не более, чем конфликт Аргентины и Бразилии или Китая и Японии».

Саки, автор стольких рассказов о диких и безответственных детях, попирающих респектабель-

ность в английских садах, лесах и свинарниках, написал «Когда пришел Вильгельм» — мрачно-сатирическую повесть о том, как английское общество успешно приспосабливается к правлению Гогенцоллерна. Кульминацией сюжета был запланированный парад бойскаутов: они должны были пройти церемониальным маршем мимо немецкого императора и памятника его бабушке перед Букингемским дворцом. Император ждал. Ждал. Но марширующих детей под реющими флагами все не было видно. Английским мальчикам была небезразлична честь Англии. Непослушных детей не так просто подчинить.

Генерал-полковник фон Мольтке был начальником генштаба действующей армии Германской империи. Мольтке пытался отказаться от этой должности: ему было шестьдесят шесть лет; он думал, что совсем не похож на своего дядю, великого полководца: слишком осторожен, склонен к рефлексии, слишком щепетилен и в целом не способен быстро принимать решения, от которых зависят миллионы жизней и судьба его страны. Но кайзер не прислушался к его желаниям. Фон Мольтке пойдет по стопам дяди. Он будет руководить разработкой плана Шлиффена, согласно которому немецкая армия должна была войти в

Люксембург и Бельгию, захватить их железные дороги, чтобы атаковать с севера и окружить Париж с запада. Мольтке делал что должно, перемещая войска и поезда.

1 августа 1914 года его внезапно вызвали в берлинский Городской дворец на совещание с кайзером, министрами и генералами. Те торжествовали. Кайзер приказал подать шампанского. Мольтке сообщили: сэр Эдвард Грей обещал немецкому послу в Лондоне, что Великобритания гарантирует неучастие Франции в войне, если Германия пообещает не нападать на Францию. Кайзер в полном восторге, с облегчением сказал фон Мольтке, что теперь им придется воевать только с Россией. Можно выдвигать армии на восток.

Фон Мольтке попытался объяснить, что миллион человек, одиннадцать тысяч поездов, тонны боеприпасов, пушек, провианта уже в пути и движутся на запад; передовые отряды уже достигли Люксембурга; за ними идут полки. Кайзер выругал Мольтке и с детской обидой сказал, что его дядя, великий полководец, дал бы иной ответ. Фон Мольтке «может ведь воспользоваться какой-нибудь другой железной дорогой».

Мольтке был унижен. Он писал, что у него в

душе что-то сломалось от осознания всего невежества и легкомыслия своего повелителя, его детской неспособности реалистически смотреть на мир. «Я так и не оправился от этого происшествия, — писал он. — Я так и не стал прежним».

Время было упущено; кайзер отменил приказы; отчаявшийся фон Мольтке сидел у себя в кабинете и отказывался подписывать новые. Потом, в одиннадцать часов вечера, Мольтке вызвали в личные апартаменты кайзера, где глава государства сидел полуодетый, прикрыв плащом иссохшую руку. Он протянул фон Мольтке телеграмму от Георга V. Немецкий посол ошибся. Британия не гарантировала нейтралитета Франции.

— Теперь можете делать что хотите, — сказал кайзер своему военачальнику.

И армии двинулись.

51

Кое-кто сразу записался добровольцем. Джулиан поступил в отцовский полк и был отправлен в Саффолк, в учебный лагерь для офицеров. Он хорошо управлялся с пушками и неплохо ездил верхом. Светило солнце. Джулиан познакомился с другим кембриджцем. Джулиана переполняла ярость, потому что враги грозили предмету его изучения — английской пасторали, полям и лесам, диким тварям, коровам, овцам, в какой-то степени пастухам, сбору урожая. Говорили, что все кончится к Рождеству. Джулиан был настроен иронически: он верил в долг, но не в славу, и считал, что должен идти не колеблясь до обещанного конца. Подчиненные ему нравились: он должен был их любить по долгу службы и действительно любил. Когда их что-то беспокоило, он это замечал, а когда у них что-то получалось хорошо, он говорил им об этом. В 1915 году он отплыл во Францию.

Герант вернулся в Лидд и стал учиться на артиллериста в лагере, стоявшем на такой знакомой гальке. Герант записался рядовым, но потом стал

капралом артиллерии. Колечко, некогда подаренное Флоренции, он носил в кармане. Он думал: когда все это кончится, все станет другим, в том числе и он. Океанский круиз под звездным небом растаял, как дым. В первые дни войны Герант, как и Джулиан, словно бы видел все окружающее яснее именно потому, что оно было поставлено под вопрос. Во взводе он обзавелся дружками-собутыльниками; с одним, Сэмми Тиллом, сыном рыботорговца, они еще мальчишками вместе бегали на Ромнейском болоте. В 1915 году Герант пересек Ла-Манш и отправился на северо-запад, в сторону Бельгии.

Флориан и Робин Уэллвуды и Робин Оукшотт поступили в Королевский Сассекский полк. Флориана вскоре услали во Францию. Оба Робина попали в один взвод. Они сидели среди снаряжения в обшей палатке. В детстве они всегда все делали вместе, или почти вместе, в разных художественных лагерях. Они были одинаково рыжие и одинаково улыбались. Слишком хорошее воспитание мешало им выяснить, не братья ли они.

Робин Уэллвуд думал, что Робина Оукшотта заденет и оскорбит предположение, что никакого отца по фамилии Оукшотт не бывало на свете. Ро-

бин Оукшотт думал, что смутит Робина Уэллвуда своими претензиями на родство, которое никем никогда не упоминалось. Обоим было неприятно думать о роли Хамфри Уэллвуда в их появлении на свет. Даже при обычном раскладе люди не любят думать о том, чем занимались их родители в постели. Но Робины держались вместе, все делали одинаково и привыкли полагаться друг на друга.

Вольфганг Штерн был уже на фронте, в составе Шестой немецкой армии под командованием принца Рупрехта Баварского. Он оказался на левом фланге «Шлиффенского котла», намеренно отступавшем в сторону Германии, чтобы выманить французскую армию подальше от Парижа. Французы носили военную форму старого образца — и зимой, и летом: красные штаны, длинная шинель, мундир из тонкого сукна, фланелевая рубашка, длинные кальсоны. И неудобные сапоги-бродкэны, прозванные «испанскими сапожк***а***ми» по средневековому орудию пыток. Солдат нес винтовку, выкладку весом шестьдесят шесть фунтов, и сверх того — предписанную уставом связку дерева на растопку.

Французские офицеры верили в атаку, атаку и еще раз атаку. Они считали, что в 1870 году

проиграли из-за нехватки твердости и *élan.* Они неумолимо надвигались под бара банный бой и звуки рожков, выставив перед собой примкнутые длинные штыки. Французы были очень храбры, и немецкие пулеметчики, в числе которых был Вольфганг, косили их как траву. Вольфганг в сером мундире и фуражке ощущал себя чуждым самому себе. Но ведь он всегда был актером. Сейчас он играл умелого пулеметчика. Его хорошо кормили, его командиры были компетентны. Война не затянется. Все идет по плану.

Чарльз-Карл, бывший анархист, социалист, исследователь стадного поведения в военное и мирное время, обнаружил, что его интуитивное восприятие «акций»-убийств, совершаемых анархистами, — ощущение, что сам он неспособен убить человека, — было верным. Он пришел к отцу и сообщил, что идет на фронт. Бэзил Уэллвуд сказал, что очень рад, и что ему очень жаль, конечно, и что он окажет любую посильную помощь. Чарльз-Карл уточнил, что идет не в армию: он поступает в квакерскую организацию под названием «Англо-бельгийское подразделение скорой помощи». Она отправляла на фронт санитаров с носилками и кареты скорой помощи для доставки раненых в санитарные поезда, от-

возившие их домой. Он стал объяснять:

— Папа, это не потому, что я трус. И я должен что-то делать на фронте. А эти санитары помогают всем, без различия…

Бэзил ответил на невысказанное:

— Друзья твоей матери начали отклонять ее приглашения. И сами не ходят к ней с визитами. Многие.

— Если бы я стал солдатом-патриотом, это немного поправило бы дело. Но я не могу, понимаешь?

— Стараюсь понять. Смелости тебе не занимать. Будем считать, что я тебя благословил.

Чарльз-Карл вручил отцу конверт с надписью: «Вскрыть в случае моей смерти».

— Это не театральный жест, а просто здравый смысл. Только пообещай не открывать, пока…

— Хорошо. Надеюсь, что скоро ты сам его у меня заберешь. Думаю, война не затянется. Береги себя.

Дороти тоже сумела попасть в совсем новое подразделение — Женский госпитальный корпус. Его создали две изобретательные женщины, два врача, — Луиза Гарретт-Андерсон и Флора Мюррей. В отличие от шотландских женщин-врачей, которым велели «идти домой», Андерсон и Мюррей

сразу сообразили, что в военном министерстве им попросту укажут на дверь. Обе женщины были суфражистками и по опыту знали, как неприятно общаться с министерством внутренних дел и как медленно там работают. Поэтому они отправились во французское посольство и французский Красный Крест, где предложили свои услуги и медицинские припасы, за которые собирались платить их сподвижники. Деньги поступали от суфражисток и женских колледжей. Для докторов, медсестер, санитарок и заведующих создали новую форму — зеленовато-серую, с укороченной юбкой и аккуратной длинной свободной рубашкой, застегнутой до горла на пуговицы. К этому прилагались пальто и небольшие матерчатые шляпки с вуалями. Общий вид был элегантный и деловой. Женщины уже знали, что должны все делать тщательнее и компетентнее мужчин, соблюдая гораздо более строгую дисциплину. В сентябре 1914 года они отправились с вокзала Виктория через Дьепп в Париж, полный раненых. «Чрезмерно возбудимая дама из британского Красного Креста объяснила, что в Париже все очень плохо, — писала Флора Мюррей. — Бюрократические проволочки ужасны… Все предварительные договоренности нарушают-

ся. Свирепствует сепсис. Город забит немецкими солдатами с ампутированными конечностями, и их на следующий день после ампутации отправляют в Гавр!!!»

Гризельда Уэллвуд тоже была здесь. Ньюнэмский колледж поддерживал женщин-врачей. Она прошла краткие курсы для медсестер-добровольц в Кембридже и отправилась с Женским корпусом в качестве офицера по связям, так как свободно знала французский и немецкий и могла помочь общению с пациентами и властями. Сиделки, почти не знающие французского, спрашивали раненых: *«Monsieur, avec-vous de pain in l'estomac»*. Гризельда помогала и пациентам, и сиделкам.

В парижском отеле «Кларидж», выделенном для этой пели французами, устроили госпиталь. Из комнат вынесли мебель, оборудовали палаты и операционную, установили все нужное для стерилизации инструментов. Пошел поток раненых — французов, англичан, немцев. Их надо было выхаживать, оперировать, не пускать к ним (этим занимались суровые сестры) стайки любопытных нарядных дамочек, желающих «навестить раненых». А еще раненые умирали. В подвале устроили тихий морг. Хирурги Женского корпуса раньше оперировали почти исключи-

тельно женщин. Но они быстро учились.

Дороти освоила ампутации. Гризельда оказалась особенно полезной под Рождество, для организации вечеринок и развлечений. Мужчины подняли британский флаг с надписью: «Флаг свободы». Суфражистки были недовольны. Мужчины это поняли и поменяли надпись. «Свободу» заменили «Англией», а врачам сообщили, что мужчины «все как один за право голоса для женщин».

Они ставили пьесы. Раненые, контуженые, перевязанные, дрожащие от слабости, они ставили пьесы. И комедии, и не комедии. Пьеса «Дезертир» точно воспроизводила военный трибунал над дезертиром — с садистом-фельдфебелем, суетливым, дерганым лейтенантом, безжалостным судьей-адвокатом. Обвиняемый был героем. Он храбро умирал на сцене перед расстрельной командой.

Раненые аплодировали с кроватей и из инвалидных колясок. Дороти коснулась руки Гризельды.

— Тебе нехорошо? У тебя какой-то странный вид.

— Это все из-за казни. Я боюсь казней. Они его расстреляли так деловито. И при этом… сочув-

ствовали ему.

Дороти мрачно и тихо сказала, что если события пьесы, а также рассказы очевидцев, правдивы, то большая часть солдат просто вынуждена будет дезертировать.

— Говорили, что все кончится к Рождеству. И ничего не кончилось. Они не знают, как это кончится и когда. Я так рада, что ты тут.

— Как ты думаешь, почему они поставили именно эту пьесу? — спросила Гризельда. — Может быть, им становится легче смотреть в лицо реальности, когда они разыгрывают ее на сцене? Или от этого ужас как-то уменьшается? Это чудовищно.

— Мы не можем позволить себе думать о том, что чудовищно. Когда снимаешь временную повязку, то, что под ней, — чудовищно, и ничего нельзя сделать. Они по большей части знают, но не всегда. Знаешь, Гризель, я уже просто не тот человек, что в прошлом году. Той уже нет на свете.

— Хорошо, что мы с женщинами. Они так устремлены на то, чтобы… чтобы идеально справиться… что не сдаются. Большинство женщин большую часть времени.

— Война только началась, — сказала Дороти.

52

Филип Уоррен был по-прежнему в Пэрчейз-хаузе. Садовник и работник ушли на фронт, поэтому дорожка заросла сорняками, а в саду буйствовала трава. Серафита сидела в полутьме, в полусознании, и ждала конца дня, ненадолго оживая лишь ранним вечером, когда на горизонте уже маячила тихая гавань сна. Помона удивила обоих — отправилась в Рай и вызвалась стать сестрой милосердия. Она работала в хайтском госпитале — меняла повязки, выносила судна, оправляла простыни, и это у нее получалось хорошо. Она выучилась утешать умирающих, отвечать на их слова, их бессвязный бред, страх, ярость, призывание матерей — серьезно, бережно и уважительно, и это, как правило, помогало. Она, как во сне, скользила по палатам, но там, где она проходила, на время становилось чище и здоровее. Придя на день домой и лежа в физическом изнеможении посреди запущенного сада, она сказала Филипу, что впервые в жизни чувствует себя полезной, что в ней нуждаются.

— Это все невероятно отвратительно, и когда это делаешь, то чувствуешь… наверное, так

чувствовали себя монахини, когда специально делали всякие ужасные вещи. Я теперь хорошо знаю, какие мускулы надо использовать при поднятии тяжестей.

Она помолчала.

— Знаешь, Филип… Этот дом… моя ненормальная семья… теперь я проснулась, и для меня все это как сон. Нет, как два сна. Один полон прекрасных вещей — сосудов, картин, гобеленов, вышивок, цветов, яблок из сада… ну, ты знаешь… а в другом — нескончаемая скука, напрасно потраченная жизнь и все… все, чего вообще не должно быть, но это единственное, что вообще происходит… Я знаю, что ты знаешь. Я больше не буду тебя просить, чтобы ты на мне женился. Я проснулась.

Филип подумал, что, может быть, найдется какой-нибудь раненый, который ее полюбит. За то, что она поправляет ему постель и обмывает его тело от нечистот.

Филип решил пойти добровольцем не из-за Помоны. Он думал об этом. Он смотрел на свои работы, на рисунки, на приглушенно поблескивающие сосуды. Со временем он нашел множество тайников, где Фладд прятал рецепты глазурей, — в стенах дома, между страницами книг, в

мемуарах Палисси, в «Современных художниках» Раскина. Филип смешивал составы, пробовал их, менял, подлаживал. Это была долгая и неторопливая работа, она требовала терпения и по временам приводила в отчаяние, но Филип владел неким знанием, владел ремеслом. Он чего-то возжелал всей душой и достиг желаемого. В мире не так много людей, которые могли бы сказать о себе то же самое.

Ему тридцать пять лет. Он не восторженный мальчишка. Людям его класса свойственна осторожность. Он знал, что с большой вероятностью погибнет, и все горшки погибнут вместе с ним.

Он решил, что идет на фронт, потому что мир изменился, и в новом мире его работа невозможна. Он должен разделить это с другими, разобраться с войной и покончить с ней. Судя по всему, у него не было выбора — он уже стал частью чего-то большего. Хотя даже после всех своих размышлений и поисков не знал, почему. Это было так, вот и все.

Он пошел повидаться с Элси и Энн.

— Я так и знала, что ты решишь, — сказала Элси.

— Навещай иногда миссис Фладд, хорошо?

— Она все равно не знает, кто дома, а кто нет.

Но уж ладно.

Филипа признали годным. Он отправился в учебный лагерь в Лидде, а осенью 1915 года — в Бельгию, на поля сражений.

Осенью 1915 года два Робина сидели в окопах того, что превратилось в неподвижную линию фронта вокруг Ипрского выступа. Ипр лежал в руинах: дома горели, древняя «Палата суконщиков» была разрушена. Армия перестала тратить силы на титанические попытки наступления и обжилась в окопах и землянках. Летали снаряды, шрапнели и фугасы оставляли воронки и ежеминутно меняли рельеф местности. Боевые действия заключались в основном в набегах на вражеские окопы. С этих вылазок многие не возвращались. Они крались по ничьей земле, пулеметчики засекали их и срезали очередями. По ночам на ничью землю выходили санитары с носилками, в том числе Чарльз-Карл. Они искали живых среди сладкой вони мертвых, спотыкаясь об оторванные руки, ноги, головы и кровавые кишки. Живые часто умоляли прекратить их мучения; Чарльз-Карл впервые в жизни задумался о возможности убить человека и однажды, когда на него еле слышно кричала голова без лица, действительно выстрелил.

Робинам хорошо удавались вылазки, и еще они попали к хорошему командиру, которому доверяли. Они сидели в дверях землянки и ели «маконочи» — тушенку с овощами. Оба чесались: у обоих были вши; у всех были вши. Пахло старыми разорвавшимися снарядами, смертью, немытыми телами и сладким смертоносным газом — британским газом, который относило назад, на британские окопы, когда менялся ветер. Робины вскрывали письма из дому — от Мэриан Оукшотт, и от Филлис, и от Хамфри, который передавал новейшие сплетни про Ллойд Джорджа и привет Робину Оукшотту, если он все еще поблизости. Робин Оукшотт небрежно сказал:

— Он часто бывал у нас в Пакета. Они с мамой без конца смеялись.

— Он хороший человек… в своем роде, — отозвался Робин Уэллвуд.

Помолчал и добавил как бы между делом:

— Только бабник.

— Я думаю, он был… то есть… он мой отец, — сказал Робин Оукшотт.

— Я тоже так думаю.

Они взглянули друг на друга с облегчением и замешательством. Робин Уэллвуд встал и пошел в землянку за сигаретами. Раздался звенящий

вой, и в окопе взорвался снаряд. Осколок снес Робину Оукшотту почти всю голову. Робин Уэллвуд посмотрел, и его стошнило. Прибежали люди — с носилками, с одеялом, чтобы закрыть что можно, с ведрами и швабрами, чтобы очистить окоп. Робин Уэллвуд сидел и трясся. И никак не мог перестать.

У него развился постоянный тремор — тряслась правая сторона лица, шея, плечо. Когда он чистил ружье, у него тряслась рука. Командир хотел отослать его в тыл, на поправку. Робин резко, чужим голосом из сдавленного горла ответил, что с ним все в порядке, спасибо.

Через два дня он встал — в новенькой жестяной каске, которую, как большинство солдат, носил заломленной под странным углом, на затылок, наподобие нимба. Он пал жертвой немецкого снайпера, притаившегося за пнем расщепленного дерева. Не первый и не последний.

Несколько позже в главном штабе решили, что братья не должны служить вместе. И односельчане тоже.

И снова Мэриан Оукшотт — на этот раз поездом и пролеткой — явилась к Олив Уэллвуд. Олив приготовила чай. Чай для выживших, у которых не очень-то хорошо получалось выживать. Обе

женщины думали, но ни одна не сказала вслух, что горе ощущается совсем по-иному, когда делишь его не только друг с другом, но с матерями всей Британии. Мэриан Оукшотт с телеграммой в руке пришла к Фрэнку Моллету.

— Англичане не воют, — сказала она ему.

— Может быть, и зря, — ответил Фрэнк.

И тогда Мэриан Оукшотт закричала во весь голос:

— Мой сын, мой сын, мой сын!!! — и эхо отдалось по церкви. Потом она вернулась в образ доброй учительницы, только спину держала чересчур прямо. Она приехала к Олив, но надеялась повидать Хамфри. Тот сидел, запершись, у себя в кабинете. Олив сказала:

— В моем письме написано, что его убило сразу.

— И в моем. Они всегда так пишут.

И действительно, письма оказались одинаковыми, с одинаковыми выражениями восхищения мальчиком, привязанности к нему, скорби и сожаления о его смерти.

— Иди поговори с ним, — сказала Олив.

Мэриан постояла перед дверью кабинета. Изнутри доносились рыдания. Мэриан подергала дверь, но та оказалась заперта.

В 1915 году Гарри Уэллвуду исполнилось двадцать лет. Узнав о смерти Робина, он сказал, что должен идти в армию. Олив, которая не плакала по Тому, не плакала по Робину, вдруг неистово зарыдала. Она повторяла два слова: «Нет» и «Почему?». Снова и снова. Гарри, кроткий книжный мальчик, утративший разговорчивость после смерти Тома, сказал, что все идут на фронт, и он чувствует себя просто ужасно оттого, что сидит дома. Хамфри, который уже оправился — настолько, чтобы снова писать статьи о достойном и недостойном поведении в военное время, — привел сыну кое-какую статистику. У британской армии такие потери, что, скорее всего, в армию начнут призывать — вероятно, в начале 1916 года. Тогда Гарри все равно придется пойти. Так что он может и подождать.

— Ты нужен матери, — сказал Хамфри, глядя на мокрое, покрытое пятнами лицо Олив. Гарри не ответил: «Я нужен своей стране», хотя плакаты с Китченером висели повсюду. Он ответил:

— Люди на меня смотрят. Люди, потерявшие сыновей. Это неправильно, что я сижу тут в тепле и уюте.

Хамфри почти злобно сказал, что война не решит ни одной из политических проблем Европы,

и тысячи, десятки тысяч уже отдали свои жизни совершенно напрасно. Гарри ответил:

— Ни в деревне, ни в городке уже нет мужчин моего возраста. Я должен идти.

— Отдельных личностей не существует. Есть только стада и стаи. Нужно мужество, чтобы не бежать вместе со стадом.

— У меня нету столько мужества, — холодно улыбнулся Гарри.

Он отправился в армию. В 1916 году его вместе с молодыми призывниками и пожилыми резервистами отправили в составе Третьей британской армии на холмы, в леса и живописные деревни Соммы. Там было спокойно. Их прозвали «армией без убитых». Гарри совершенствовал свой французский, а однажды, в Альбере, забирая провиант, наткнулся на Джулиана Кейна, который сидел в окопах напротив Тьепваля. Гарри сообщил о смерти двух Робинов — «их убило на месте, сначала одного, потом — через два дня — другого». Джулиан благодушно улыбнулся.

— Будь начеку, юный Хэл, — сказал он.

Он не сказал, хотя об этом все знали, что армия накапливает силы для важного наступления. Армия строила железные дороги и ходы сообщения, с хорошими укреплениями стен и настилами для

ходьбы. Солдаты учились передавать сообщения с помощью полевого телефона и сигналов. Они занимались гимнастикой, чтобы стать крепкими и здоровыми. Они выскочат из траншей, пересекут ничью землю и захватят немцев врасплох, отгонят их назад. И тогда опять начнется нормальная война, с марширующими армиями, атаками, обманными маневрами, подвигами. Так думали генералы.

Джулиан пристрастился писать стихи. Не от отчаяния и — пока — не от гнева, как дикари. Не о славном часе, не о покрывших себя славой мертвых, не о высоком призвании, не о рыцарской доблести, рожках и волынках. А о названиях окопов: эти названия сами по себе были поэзией.

Батальон Гарри был частью Третьего корпуса, который приготовился к атаке сразу после полуночи 1 июля. Британская армия шумно и усиленно обстреливала немецкие позиции у деревень Овийер и Ла Буассель. План состоял в том, чтобы прорвать немецкую оборону, и тогда через прорыв хлынет кавалерия. Пулеметчики Третьего корпуса сомневались, удастся ли им перерезать проволочные заграждения. Они не могли резать проволоку на расстоянии, и у них было недостаточно боеприпасов, чтобы с

гарантией перерезать проволоку вблизи. Тем не менее перед атакой артиллерия оставила в покое заграждения и переключилась на более удаленные силы немцев: это было частью плана по расчистке пути для кавалерии. Несмотря на это, бригады двигались вперед. Между двумя деревнями лежала долина Маш — ничья земля. Она была широкая. Восемьдесят ярдов ширины. Немцы обнаружили подкоп, который должен был похоронить их солдат в землянках и помешать им отбить атаку, и захватили саперов.

Гарри ждал. Он стоял рядом со старым капралом по фамилии Кроу. Гарри думал приступами, а между приступами сохранял онемелое спокойствие, словно окружающее не было реальным. Он не думал ни о короле, ни о британском флаге, хотя на миг ему вспомнился Северный Даунс. Гарри думал: «Я молод и полон жизни». У него стучали зубы. Капрал Кроу похлопал Гарри по плечу, что ему совсем не понравилось, и сказал, что всех трясет, без исключения. Даже самым храбрецам, сказал он, случалось наложить в штаны. Эта неприятная мысль, не приходившая ранее в голову Гарри, добавила ему треволнений. «Я молод и полон жизни. У меня есть ружье и нож, я должен драться». Капрал Кроу протянул ему

флягу, в которой оказался ром, и велел глотнуть. Гарри не любил рома. От рома у него расстраивался желудок. Но все же он выпил, и все вокруг как-то потеряло четкость, закружилась голова, его чуть не стошнило.

Им приказали наступать. Немцы метко осыпали их снарядами. Сотни людей погибали за собственной линией фронта или тащились назад, к перевязочным станциям. Гарри вылез из траншеи целым, и капрал Кроу — тоже. Они пошли вперед, к черным пням на горизонте, остаткам леса. Было шумно. Не только из-за свиста и взрывов, пуль и снарядов, но из-за криков. Гарри и Кроу спотыкались о мертвых и раненых, о тела и куски тел, и в конце концов им пришлось ползти — так искорежена и перемешана была земля и вдавленная в нее плоть. Скоро Гарри что-то ударило, его мундир увлажнился, а затем намок от крови. Гарри попытался ползти дальше и не смог, и другие люди проползали мимо и растягивались в грязи. У него шла кровь. Он лежал неподвижно. Он знал — абстрактно, — что раны в живот очень тяжелы. У него кружилась голова. Он пожалел, что выпил рому. Ему хотелось умереть поскорее. Но смерть не шла. Люди ползли мимо, а некоторые переползали прямо через него, он терял

сознание и снова приходил в себя. Он понял, что люди больше не ползут, и заметил, что наступила ночь, если только эта темнота — не смерть. Это была не смерть. Но когда пришли люди с носилками, он был уже мертв, так что они забрали его именной медальон и обшарили кровавые карманы в поисках писем и фотографий. Они нашли фотографию Олив, сделанную когда-то для публикации. Олив глядела кротко и мудро. Санитары оставили его и ушли.

Капрал Кроу добрался до немецких проволочных заграждений, которые оказались целы. Он запутался в проволоке, его пристрелили, он повис, как зверь на виселице лесника, и умирал очень долго. В этой атаке было убито и ранено три тысячи человек.

Второй Мидллсекский батальон потерял убитыми и ранеными 92,5 % состава. Всего в этот первый день было убито и ранено сорок тысяч человек. Генерал Хейг заметил, что «с учетом количества задействованных сил это не может считаться большими потерями».

Уэллвуды в «Жабьей просеке» получили еще одну телеграмму.

— Плохие новости, — сказал Хамфри.

— Можно подумать, я ждала чего-то другого, —

ответила Олив.

Она села в кресло и уставилась перед собой.

— Дорогая? — окликнул ее Хамфри. Она молча смотрела перед собой. Через некоторое время она услышала, как Хамфри плачет в кабинете: странно, по-детски поскуливая, словно пытаясь скрыть, что плачет. Она тяжело встала, пошла к нему и стала гладить его, плачущего, по голове, которую он уронил на стол.

— Это как нож. Он режет мир, как сыр. Или как тушу у мясника, это сравнение лучше. Хамф, я тебя люблю, что бы это ни значило. Если это хоть как-то поможет. Может, и нет. Вообще мало что помогает.

— Я тебя тоже люблю. Если это хоть как-то поможет.

Трагедия стала настолько всеобщей, что было невежливо упоминать о своей или горевать открыто. У Олив появилась бесполезная мысль, что ей следовало бы защитить сыновей, что она думала о Томе и забыла про других мальчиков, и потому потеряла их.

В июле 1916 года Джулиан Кейн воевал у Тьепваля и Тьепвальского леса. До войны это был живописный лес. Но для атак он совершенно не годился — солдаты дичали, сходили с ума и

терялись в лесу. Поблизости располагался красивый дворец, уже разрушенный артобстрелом, и окопы, стенки которых были укреплены специально встроенными туда трупами. Джулиан был отброшен взрывом снаряда и потерял сознание — потерял рассудок, решил он, придя в себя и обнаружив, что лежит рядом с полевой каретой скорой помощи и не может вспомнить, кто он и как сюда попал. У него была неглубокая рана на черепе, а в теле кое-где застряли осколки шрапнели.

— Кто я? — спросил он, когда его пришли перевязывать. Санитар пошарил по его карманам и сообщил, что он — лейтенант Джулиан Кейн.

Почему-то Джулиан с полной ясностью вспомнил Лес из «Алисы в Зазеркалье», где ни у чего не было имен — ни у деревьев, ни у тварей, ни у самой Алисы. Он лежал, плавая в морфине, и думал об именах. Когда хоронили убитых, их имена писали на временных столбиках, от которых, из-за бесконечной стрельбы, часто оставались одни ошметки. И имена их живут в роды.[119] Одурманенному сознанию представилась вереница имен — они, словно крысы, носились по

[119] Примечания: 119

Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова (одна из неканонических книг Ветхого Завета), 44:13.

полю битвы, ища тела, к которым когда-то были прикреплены. Словно долина костей пророка Езекииля. Раньше он думал, что имя живет само по себе, но люди, встреченные в окопах, были не настолько реальны, чтобы у них была именованная жизнь — жизнь, которая простиралась бы в прошлое и в будущее, в миропорядке, который когда-то считался нормальным. Люди и их имена были необязательны: Джулиан понял, что заучивал их имена с какой-то тупой печалью: столько их уже не нужно, их нет смысла помнить, потому что некого ими звать — не вызовешь тех, кто распластан и рассеян в истоптанной трясине, бывшей когда-то зелеными полями и лесами. Можно только писать стихи об исчезающих именах. Он не хотел писать о красоте, скорби или высокой решимости. Он собирался — если не сойдет с ума и если его не убьют — попробовать написать мрачный стишок-другой об именах окопов и полей битвы. Какой-то книгочей, припомнив «Алису», присвоил окопам имена из сказок: окоп Моржа, окоп Шорьков, Пыряющий окоп, Глущоба, Твидлдам и Твидлди. Где-то был «Картинный лес» — а это еще откуда? Джулиану попадались «окоп Питера Пэна», «роща Крюка» и «коттедж Венди». Это были творения какого-то

другого шутника, но Джулиан мог и их вплести в свои «кошачьи колыбельки», эфемерные слова в мире, где ничто не сохраняет форму после взрыва. Строишь себе нору из наваленных трупов и называешь ее «Тупиковым окопом», «Прорвой мертвеца», «Незаконченным окопом», «Не окопом», «Дырой» или «Цикутой». Пришел санитар и сказал, что Джулиана повезут в полевой госпиталь. Он что-то пытается сказать? Имена, ответил Джулиан. Имена. Имена сползают с вещей. Больше не держатся.

Ему дали морфина. Проваливаясь, он задавался вопросом: а есть ли морфиновый окоп?

Так много, так много всего, что когда-то было его жизнью, он не хотел больше именовать и вообще помнить. Бодрствуя, он заталкивал все это поглубже. Но во сне оно поднималось, как приливная волна мертвой и умирающей плоти, и начинало его душить.

В полевом госпитале Джулиан время от времени думал об английском языке. Он думал о солдатских песнях — мрачных и торжествующих. Мы здесь раз мы здесь раз мы здесь.

Подальше от Ипра быть бы сейчас,
Где снайпер хитрый не целит в нас.

В окопе сыро.
Сводит живот,
Знать, нам мортира
Отбой пропоет.
Был у меня товарищ,
Он был мне родней, чем брат.
Мы с ним под барабаны,
Маршировали в ад.[120]

Поэзия, думал Джулиан, — это вещество, которое выжимается из людей смертью, близостью смерти, страхом смерти, чужими смертями.

Он начал составлять список слов, более недействительных. Слава. Честь. Наследие. Радость.

Он расспрашивал других про названия окопов. И слышал в ответ: «Крысиная аллея», «Дань», «Дохлая корова». «Дохлый пес», «Дохлый гунн», «Падаль», «Фабрика черепов», «Райская роща», «Окоп Иуды», «Окоп Искариота». Было также множество религиозных названий: «Павел», «Тарс», «Лука», «Чудо». Многие окопы назывались по лондонским улицам и театрам, а еще больше — в честь женщин: «Окоп кокетки», «Девка», «Корсет». Джулиан записывал названия в книжку

[120] Примечания: 120
Перевод Е. Калявиной.

и уже начал нанизывать их в строку, но у него все время болела голова. Названия окопов сами складывались в пародии на детские песенки.

Пруха, непруха,
Пули над ухом
Как сержант под мухой
Жужжит шрапнель под брюхом…[121]

Это никуда не годилось. Но сама идея была перспективной. Руперт Брук погиб — умер год назад в Греции от воспаления на губе. Он писал о чаепитии в гранчестерской столовой, о меде или чем-то таком, немыслимом сейчас, а еще о том, что война стала освобождением от недожизни, от ее грязных и унылых песен, и люди бросаются в бой, «как пловцы ныряют в чистую воду».[122] Этих детей, думал Джулиан, кто-то околдовал и заморочил, словно некий гаммельнский крысолов сыграл на дудочке, и все они послушно бросились за ним под-землю. Немцы потопили «Лузитанию», и Чарльз Фроман, импресарио, поставивший «Питера Пэна», утонул, не теряя

---

[121] Примечания: 121
Перевод Е. Калявиной.

[122] Примечания: 122
Цитаты из сонета Руперта Брука «Мир» («Peace», 1914).

храброго достоинства и, видимо, повторяя про себя бессмертную строку, благоразумно вырезанную из постановок военного времени: «Умереть — это ужасно большое приключение».

Оказалось, что слова о грязи, холоде, мокром снеге, вшах и крысах близки подлинному духу английского языка. Надо будет использовать «черт», «говно» и прочие словечки, любимые мальчиками в школах и вытесненные из сознания в невообразимой теперь светской жизни респектабельной Англии. «Черви» — хорошее слово. Кто-то предложил название: «Воронка шестерки».

Джулиан оправился и вернулся к себе в часть. Они пошли занимать отбитый у немцев Швабский редут. Здесь были глубокие немецкие землянки, мощные укрепления: «Швабский редут», «Лейпциг», «Барахло» и «Козел» *(Feste Staufen* и *Feste Zollern),* «Чудотворение» *(Wundtwerk)* — вот о чем следовало бы писать стихи. Джулиан спустился-под-землю и нашел подземную дверку в стене. Она вела в темные коридоры, набитые ящиками боеприпасов и снаряжения, а за ними оказался проход в две вертикальные шахты с воротами и ведрами. Дна было не видно: шахты словно уходили в бесконечность. Джулиан шел

между штабелями ящиков с бомбами и тушенкой, с черными и золотыми шлемами, с кожаными масками респираторов; все это на миг напомнило ему хранилища в подвале Южно-Кенсингтонского Музея с их порядком и беспорядком.

Он дошел до просторного подземного помещения, где кучами лежали толстые серые шинели; их затхлый запах был частью всепроникающего запаха этих окопов. Вдоль стен выстроились зеркала в позолоченных рамах. Их, должно быть, вынесли из дворца, ныне лежавшего в руинах. Еще в этой комнате были книги — в вертикально поставленных ящиках вместо шкафов. Джулиан взял «Сказки братьев Гримм» для Гризельды: ей понравится рассказ о том, как он нашел эту книгу в подземном зале, полном зеркал. Тут он увидел, что в углу тихо стоит человек — худой, мрачный, средних лет, со шрамом на лице и усталыми глазами. Джулиан поднял руку в приветствии; другой тоже поднял руку, и Джулиан понял, что не узнал самого себя. Он заметил другой выход из помещения, приоткрыл дверь и обнаружил, что проход забит телом совершенно мертвого и разлагающегося немца. Джулиан отступил и вернулся наверх.

Через несколько дней его послали ночью с от-

рядом атаковать немецкую огневую точку. Они залегли в воронке под равномерное уханье бомб, и Джулиан почувствовал, как треснула кость ноги. Он попытался встать и не смог. Солдаты перетащили его, хромающего и падающего, в другую воронку, а потом обратно к своим.

На этот раз у него оказалось «тыловое» ранение, то есть такое, с которым отправляли в тыл. Его перевезли санитарным транспортом в Англию вместе с ходячими ранеными Ступни были раздроблены, но он не почувствовал этого сразу из-за треснувшей большеберцовой кости. В конце концов британские хирурги не смогли спасти одну ступню и отняли ее. Месяцы спустя Джулиан прихромал к дому в Челси, где к двери подбежали две маленькие девочки и чуть не сбили его с ног. Он сильно расстроился, когда Имогена и Флоренция отчаянно зарыдали. В доме восхитительно пахло — поджаренным хлебом, поджаренным кофе, лилиями в вазе, лавандой и, как понял Джулиан, наклонясь поцеловать сводную сестру и племянницу, чистыми волосами и вымытым телом.

Ему снилось, что его засыпало заживо в окопе, и он не может освободиться от неуклонно нарастающей тяжести земли. Ему снилось все, что он запрятал подальше и запретил себе вспоминать.

Флоренция подавала ему горячие тарталетки с абрикосами и китайский чай, пахнущий жасмином и своим собственным бледным, загадочным, чистым запахом, в китайских фарфоровых чашечках. Домашние сажали Джулиана в кресло и подставляли скамеечку под больную ногу, и в глазах у них все время стояли слезы.

Из всех ясноглазых мальчиков «Жабьей просеки» домой вернулся только Флориан. Филлис приготовила его любимую еду — колбаски с пряностями, картофельное пюре и «королеву пудингов». Олив твердила себе, что должна его любить, упорно и сильно, потому что он вернулся, а ее сыновья — нет. Она подумала, что стоит перед фактом: возвращение сына, который не был ее сыном, может обозлить ее. Но она решительно задвинула эту мысль подальше. Она пропустила стаканчик виски до прибытия пролетки со станции.

Флориан шел сам. Выглядел он ужасно. Он был истощен и сильно хромал; кожа собралась складками, покрылась пятнами и шрамами. Одно веко обвисло. Золотые кудри, сбритые во время призыва, отросли неравномерно, клоками, а отросшие выглядели ненатуральными, каким-то эрзацем. Хуже всего была тяжелая, болезненная, громкая

одышка от британского отравляющего газа, отнесенного ветром назад на британские окопы.

Филлис и Олив через силу поцеловали его. Он чуть заметно дернулся. Хамфри положил руку ему на плечо и сказал:

— Идем, сын, ты дома.

Флориану оказалось не о чем говорить с домашними. Он часами просиживал у окна, глядя в сад. Филлис изо всех сил старалась его любить. Они оба — дети Виолетты, оба молча злились на то, что ее смерть прошла так незаметно, была поглощена скорбью по Тому, так же как ее жизнь была поглощена жизнью Олив. Но ни Флориан, ни Филлис не любили разговоров о таких вещах. Ни он, ни она никогда не говорили о чувствах. Филлис один раз попыталась, неловко, запинаясь, не зная, как лучше сказать — «Виолетта» или «мама», и Флориан продемонстрировал чувства — взрыв мрачной ярости. Филлис приносила ему небольшие дары — пирожные, сладости, и он их жадно пожирал.

Днем он только сидел. Ночью он ходил. Тяжелый стук хромой ноги и зловещее ровное одышливое сипение слышалось на лестницах и в коридорах.

Как-то ночью Олив проснулась, когда он прохо-

дил мимо ее двери, и ощутила чистую ненависть. Жить с ним было все равно что с чудовищем, подменышем, демоном Потом она возненавидела себя еще сильнее, чем его. Потом отправилась за виски, стараясь не столкнуться с фронтовиком — несложная задача, потому что было слышно, где он бродит.

Они заметили, что он вырезает объявления из газет. Однажды он сказал, что ему предложили должность помощника учителя в школе Бедейлз, и он согласился. С мрачной, печальной ухмылкой он сказал, что умеет ставить палатки, разводить костры и всякое такое.

Домашние сказали, что он будет приезжать домой повидаться, на каникулы, и он ответил: «Да, наверно».

Филлис подумала: почему бы ей самой не уехать? И решила, что, может быть, уедет. Может быть.

Из «Поэмы призыва» и других стихотворений Джулиана Кейна
ЛЕС

1

Ты в Зазеркалье, Алиса, нравится тебе здесь?

Мир поделен на квадраты — шахматная доска,

Встречный сидит с кальяном: живая спесь.

Странно услышать советы от червяка.

Логику режут на части, что твой пирог,

Розы и яйца спорят до хрипоты:

«Сколько, скажи-ка, у этой солонки ног?» —

Окорок оскорблен, что к нему на «ты».

В небе высоком плывут и плывут облака,

Спят королевы, как выводок робких

птах,

Спят короли, их мечтаний несет река.

Видят серьезных устриц на берегах,

Лесом поросших, где лета горят костры,

Никто не стреляет, и звери всегда добры.

Прыгай, Алиса, прыгай в другой квадрат —

Заросли и канавы участки разъединят.

Прыгай, Алиса, прыгай, чего стоять:

Действовать легче, гораздо легче —

Чем просто ждать.

Кошки и мышки, мушки и пушки — вот наша жизнь,

Верным вассалам время пришло воевать.

Главное, помнить — если в нору летишь —

Надо отвлечься, отвлечься: думать и рассуждать.

Как по-английски ты рассудительна и холодна:

Слово твое усмиряет тревоги и исцеляет боль:

Видишь, Алиса, видишь: стоит стена Верных вассалов.

Воинственных мальчиков — перед тобой.

2

Глупые воины не умирают,

Глупые воины в пекло шагают:

Рухнули, Встали. И вновь упадут:

Спать с наступлением темноты.

Красные розы на белых идут:

Правила в схватках они блюдут.

Если успешно закончится бой,

Джема и чаю получит любой —

От Провидения дар благой —

Получим и я, и ты.

Да, Провиденье добро к дуракам,

Лес же ко всем жесток:

Коль заблудился, ни тут, ни там

Тебе не найти дорог:

Небо чернеет от воронья,
Ветер деревья гнет.
Буря приходит, грозой гремя,
Воет, кричит, ревет.
Красное с черным сплавит огонь.
Красное с черным. Ненависть. Боль.

3

Я видел лес, смешенье всех стихий:
В огонь горячий превратился воздух,
Земля текла расплавленным потоком,
Деревья, словно спички, загорались.
Огонь не иссякал.
Ни взора и ни слуха
Он не щадил.
Людей смешали с грязью.
Они и были грязью, пылью, прахом:
Все обратилось в прах, все истекало кровью
Под жалкими обрубками деревьев.
Живой не мог стоять — и по колено
Тонул в крови своих погибших братьев.

Мы шли по мертвым лицам.
Падали бессильно
Поверх уже упавших. Все смешалось:
Плоть, дерево, металл жестокий.
Утрачена опора, смысл жизни:
Ни света нет, ни дня, ни горизонта —
Все поглотила серость.
Кровь на сером Лице товарища.
На серо-бурых листьях.
В другом лесу
Идет Алиса с молодым оленем.
Их не зовут никак:
Ни девушка, ни зверь, ни что живое.
Растения растут.
Летают твари.
Трепещут крылья.
Все без изменений.
Здесь хорошо. Здесь безразлично. Тихо.
Здесь царствует блаженное безделье,
Которое разрушил Змей коварный
В саду Эдемском, где Адам
Именовал всех тварей сущих, а затем…

Затем вкусил Греха и устыдился.
В Тьепвале между временем и местом
Шум страшный превратился в тишину,
Боль страшная — в забвенье. Мне была
Дарована немыслимая милость —
Не зная, знать. Ни как меня зовут,
Ни имена всех тварей в этой тьме.
Я безразлично пялился на пни.
Обрубки дерева, металла, щепок, плоти —
Слились в одно. Сосед хрипит в крови.
Он умер. Смерть со мною рядом ходит.

ПЕРЕКЛИЧКА

1

Смотри — они стоят невинны и чисты.
Прислушайся к печальной перекличке.
Лугг, Холм, Лесс, Йорк, Девон,

Твид, Северн, Тайн и Уэллс.
Здесь
Здесь
Молчанье…
…Выбыл

Отмыты дочиста и пахнут влагой, мелом,
и чуточку чернилами на пальцах.
И ваксы тоже — слабый отголосок.
Все встали кучно, словно облака
Над небом Англии, что далеко отсюда.
Там, далеко, они плывут, как рыбы,
плывут по грязным, закопченным окнам.
Плывут… плывут… плывут… Концу навстречу.
Уотерс… Уэллвуд…
Скрип стульев. Перьев визг. Они сидят.
Царапают эссе об Азенкуре.

Но злые лорды, что творят закон
Из тайных слов, имен и ухищрений,
Зовут на перекличку тоже.

Кто ты?! Что ты такое? Говори,

А то еще сильней получишь. Ну?

Червяк? Опарыш? Эти были раньше.

Вонючка? Отпущения козел? Слизняк ничтожный?

Жаба? Мусор? Кто ты?

Молчишь? Не выучил? Сейчас получишь, педик.

Ты — ноль. Ничто. Запомни, если сможешь. Ты трус.

Смазливый трус. Ублюдок. Педик.

Давай, спускай штаны, пригнись, и дальше — терпи,

пока тебя охаживаю розгой.

За мною повторяй: «Я ноль. Я ноль без палки. Я — пустота!

Я — тварь, других ничтожней».

Не дергайся, не хлюпай носом. Будь мужчиной.

Над полем Франции звучит сигнал к атаке.

Все, чисто выбриты и в чистом, салютуют —

Как будто бы они на этом поле в крикет

должны сразиться или в регби.

2

Постройтесь в ряд. И будьте все внимание.

Услышав имя — откликайтесь тут же.

Все это — мои люди. Мои парни. Были.

Вот Флетчер — человек-душа и смелый Билли Ганн,

и длинноногий Найт, отважный рыцарь,

и кучерявый Смит.

О где вы, смельчаки, что ринулись отважно

В пучину боя. Где вы, где вы нынче?

Вы имена на мраморной доске

В часовне школьной,

На именных пластинах гравировка.

Два цвета: красный и зеленый.

Кровь с плотью на траве.

Кровь, что смешалась

С чужою кровью и впиталась в землю, пропав навечно.

Имена

Составлены из букв, а буквы образуют строки в письмах

И в телеграммах, что приносят ужас

Тем, кто остался ждать. И не дождался.

Стучаться бесполезно. Дверь закрыта.

Ее открыть нет сил.

Но все-таки придется. С болью.

Я помню все: всю радость первой встречи

С юнцами пылкими и умными мужами.

Я помню имена уже ушедших.

Имен парней, что присылают на замену

Погибшим — не запоминаю. Бесполезно.

Вот улыбаются они. Вот хмурят брови.

Не помню их имен — и слава богу.

Они уходят без числа, без края. И без имен —

В гремящий ад. Навечно.

Новых надо

Безжалостной рукой послать на гибель...

...Смотри — они стоят, невинны и чисты...

ОКОПЫ

1

По лугу летнему ползет колонна, как змея,

И под колесами ее все глубже колея.

О, как колеса тяжелы, как башмаки грубы,

Спасенья нету для травы от этакой судьбы.

И от копыт все глубже шрам, от конских от копыт,

Трава глядит на этот срам, с улыбкою

глядит.

Ей снятся рощицы, сады и Райский в том числе —

Где не змеятся никогда траншеи по земле.

Где фрукты и цветы растут и птицы в небесах

Поют от радости, поют, где им неведом страх.

Ей снятся древние леса, ей снятся имена —

Их человек придумал сам в иные времена.

Буассель, Обеспин, Тьепваль,

Умерли все, кто вас называл,

А их дети, должно быть, любили леса,

Различали в лесу разных птиц голоса,

Знали в лесу каждую тварь —

Издавна, издавна, встарь.

2

Мы копаем траншеи, копаем траншеи,

Ковыряемся в глине и дерн ворошим,

Мы копаем, рисуем, планируем — смеем
Смертоносные планы поведать живым.

Мы копаем траншеи, копаем и роем,
Мы — кроты в башмаках, мы разумны вполне,
Мы укрытия строим себе перед боем —
Это грубые шрамы на нашей земле.

Мы копаем траншеи, копаем траншеи,
Ничего, кроме этого, мы не умеем,
Мы траншеям, не детям даем имена.
Будь же проклята, проклята эта война.

Мы копаем траншеи, копаем, копаем,
Мы — поэты-убийцы. И мы это знаем:
Наши жизни поделены и сочтены.
Мы назвать хоть траншею, но все же должны.

Мы копаем и роем, копаем, копаем.
Имена — от Адама, наследие рая.
Рай для нас — это дом, наш потерян-

ный дом.
Потому имена мы траншеям даем.

Урожай погиб, воду загрязнили,
Тут вот — «Оксфорд-стрит»,
Там вот — «Пикадилли»,
«Регент-стрит», «Оксфорд-стрит»,
На зубах песок скрипит,
«Бонд-стрит», «Тотхил-Филдс» —
Глянь-ка в яму, глянь-ка вниз.
Это «Тауэра мост» —
Эх, непрост окоп, непрост!
Это Кентские места —
Укрепленье — красота!
«Дувр», «Танбридж», «Танбридж-Велл» —
Первый занял — будешь цел.

3

«Траншея зла», «Холодный Дом».
Страшно остаться в ней или в нем.
И даже самый простецкий гроб
Уютнее будет, чем «Мрачный окоп».

Вспомнил «Алису» — и вот те на!
Придумал новые имена:
Окоп Моржа, окоп Шорьков —
«Картинный лес» почти готов!

А вот Пыряющий окоп —
Копаем мы вблизи Глущоб,
Где «Твиддлди» и «Твиддлдам»
Объятья раскрывают нам.

Вот затесался «Питер Пэн»
Среди окопов «Прах и Тлен»,
Среди «Гнилья», среди «Костей» —
Надежда для живых людей.

«Аллея Смерти», «Черепа»,
И рядом — «Смертника тропа»,
«Помойка», «Кладбище» и «Слизь» —
В укрытие! Поторопись!

В честь женщин, грязи, разных мест
Окопы мы зовем окрест.
В честь крыс, что объедают плоть,
В честь сада, что создал Господь.

4

Когда мы, милостию Бога,
Костьми усеем все дороги
И наши души легким шагом
Пройдут по «Серному оврагу»
И вступят в «Райский сад»,
Мы позабудем про названья,
И всяк из нас свои страданья
Закончить будет рад.

53

Бэзилу и Катарине Уэллвуд в эту войну пришлось тяжко. В стране бушевали антинемецкие настроения. Друзья и знакомые Катарины перестали ходить к ней и не приглашали ее на вечера, где все дружно скатывали бинты или вязали для фронта. Стало известно, что их сын не пошел в армию по идейным соображениям, и это тоже бросало на родителей тень. Деревенские соседи были так же агрессивны, как и городские. Уэллвуды беспокоились и за Чарльза, и за Гризельду. Бэзил, кроме того, беспокоился за Геранта Фладда, своего приемного сына из Сити. Герант был где-то там, где стреляли большие пушки. Иногда он писал. С Соммы — довольно бодро, по мере того, как его пушки тащились дальше по фландрской грязи, — все мрачнее. В феврале 1917 года генерал Людендорф приказал немецкой армии отступить на «линию Зигфрида». До Британии дошли слухи о его операции «Альберих», названной в честь нибелунга, который отрекался от любви, сжимая в руках краденое рейнское золото. Операция «Альберих» заключалась в том, чтобы выжечь землю, изрубить и сжечь все, что можно, отра-

вить колодцы, забить скот и птицу, не оставив ничего наступающим французам или британцам. Встречная женщина плюнула в Катарину на улице. Слуги потребовали расчета. Катарина, и без того худая, похудела еще сильнее.

Пришло письмо. С красным крестом, адресованное в квакерском стиле, без церемоний, «Бэзилу и Катарине Уэллвуд». В письме говорилось: организованное Друзьями подразделение скорой помощи с великим прискорбием сообщает, что их друг, Чарльз Уэллвуд, пропал без вести и считается погибшим. Его храбрость была образцовой. Он ходил в такие точки на поле битвы, куда многие санитары боялись заходить. Он притаскивал раненых — и англичан, и немцев, перевязывал и утешал их с истинной добротой. Он казался неутомимым. Сотрудники и спасенные им раненые очень уважали его и будут остро ощущать его отсутствие.

— Он только пропал, — слабо и устало произнесла Катарина. — Может быть, он еще вернется.

— По-моему, тот, кто писал это письмо, так не думал, — сказал Бэзил. И добавил: — У нас осталось письмо… которое он нам дал, чтобы вскрыть… если он… погибнет.

— Но, может быть, он жив.

— Ты хочешь оставить письмо так?

— Нет. Нет. Я думаю, правильно будет его открыть.

Им было страшно вскрывать конверт. Вряд ли там будут просто уверения в любви к родителям. Это не похоже на Чарльза-Карла: он и без того знал, что родители знают, что он их любит. Письмо раскроет какую-то тайну, которую, может быть, они вовсе не хотят знать.

Дорогие мама и папа!

Если вы это читаете, значит, меня уже нет на свете. Надеюсь, я успел спасти несколько чужих жизней, прежде чем лишиться своей. Вы знаете, что я все время думал о вас, с большой любовью и уважением — не в последнюю очередь за то, что вы позволили мне идти своим путем, жить такой жизнью, которую вы сами для меня не выбрали бы.

У меня была от вас одна тайна. Я женат. Вы незнакомы с моей женой. Ее зовут Элси, и она в конце концов согласилась за меня выйти только потому, что я уходил на фронт. Нас обвенчал Фрэнк Моллет в церкви Св. Эдбурги. Мы должны были

сказать вам об этом, поделиться с вами, но не успели.

Элси — сестра горшечника Филипа Уоррена. Она учится, чтобы стать учительницей, и, если бы я остался жив, я хотел бы, чтобы она могла учиться дальше и узнать больше.

Я с любовью и с замиранием сердца прошу вас отправиться к Элси и позаботиться о ней как о моей жене. Она очень независима — вы сами увидите. Заботиться о ней тяжело, я знаю это по опыту.

Она «не нашего класса». Но я всей душой верю, что это окажется неважно. Что важнее — она, скорее всего, не поверит, что вы готовы ее принять или признать. Но я верю в вас — в вас обоих. Она не знает вас так, как я. Вы благородны и щедры, и справедливы, и увидите истинную суть Элси, как вижу ее я.

Напоследок повторю, что я люблю вас. Я не хочу умирать, я надеюсь вернуться домой и сжечь это письмо непрочитанным.

Если это не суждено — пожалуйста, простите меня и позаботьтесь об Элси.

Ваш сын Чарльз-Карл

Прошла неделя, прежде чем они сели в «Даймлер» с престарелым шофером и пустились в путь, к домику на краю Данджинесса. Бэзил хотел заехать в дом священника и спросить у Фрэнка Моллета, что он думает об этой Элси. Катарина возразила, что это будет несправедливо, из чего Бэзил заключил, что она ждет от священника неблагоприятного отзыва. Они действительно проехали через Пакета, но священника не оказалось дома, а Доббин трудился где-то далеко на военных огородах. Так что Уэллвуды поехали дальше, в единственную английскую пустыню.

Когда они проезжали армейский лагерь на окраине Лидда, их остановил патруль. И действительно, с этого места были слышны артиллерийские залпы — солдаты упражнялись на полигоне среди гальки и растерзанных кустов. Патрульные сказали, что это военная территория, и потребовали ответа: по какому делу едут Уэллвуды? Они же слышат залпы. Лучше всего им повернуть назад.

Бэзил был не склонен болтать о своих делах. Он

сказал, что у него личное дело к даме, живущей в коттедже ближе к Данджженессу. Его высокомерие разозлило патрульного, и тот заявил, что нынче, чтоб разъезжать в этих местах, нужен пропуск. Бэзил сказал, что едет к учительнице, но патрульный возразил, что школу заняла армия, и все учителя уехали.

Катарина показала им письмо.

— Тут написано, что наш сын погиб. Мы обнаружили, что учительница — его жена. Мы должны с ней повидаться.

Акцент Катарины оказался еще более подозрительным, чем высокомерие Бэзила.

— Откуда мы знаем, что вы не шпионы? Вы говорите как немка.

— Я немка. Я прожила в Англии почти всю свою жизнь. Я считаю себя англичанкой, но это никого не интересует. Пожалуйста, пропустите нас, мы должны найти эту женщину. Наш сын пропал без вести во Фландрии. Его считают погибшим. Там сейчас очень плохо.

В беседу вмешался шофер с кентским выговором:

— Вы ж увидите, куда мы поедем. Можете приглядеть за нами. Увидите, как мы будем возвращаться. Тут некуда поехать, чтоб вы не

увидали, место голое.

Так что они поехали дальше. Катарина представила себе (и не ошиблась), как Чарльз-Карл едет по этой каменистой тропе на велосипеде. Они подъехали к домику.

У домика молодая женщина вешала белье.

Шофер открыл дверь, и Катарина в шляпке с вуалью и автомобильном пальто вышла из машины.

— Мы ищем мисс Элси Уоррен.

— Ну так вы ее нашли, — сказала Элси, прищепляя к веревке мокрое полотенце.

Катарина дрогнувшим голосом сказала:

— Можно нам войти? Присесть? Пожалуйста.

— Заходите, если надо.

Бэзил вылез из машины, поклонился и запахнулся в плащ. Элси подняла корзину с бельем, пристроив ее на бедро, и открыла дверь. Все вошли в дом. Элси предложила чаю, но Катарина подумала, что не сможет сидеть, распираемая новостями, и ждать, пока будет готов чай. Она попросила воды, и Элси принесла воду для всех.

— Мы получили письмо, — сказала Катарина. — В нем сообщается, что наш сын Чарльз пропал без вести. Там написано — мы можем считать, что он мертв.

Элси глотнула воды. Она словно окаменела.

— У нас было письмо от него, — продолжала Катарина. — На случай… на такой случай. Он просил найти вас.

— Это правда, — тонким, ровным голосом сказала Элси. — То, что он сказал. Мы поженились перед его уходом. Священник покажет вам приходскую книгу. Не беспокойтесь. Мне ничего не нужно. Я не буду вас беспокоить.

— Он нас об этом предупреждал. «Она очень независима. Заботиться о ней тяжело, я знаю это по опыту».

— Да, в этом он весь, — сказала Элси. Одинокая слеза скатилась у нее по щеке. — Я жила здесь с миссис Оукшотт. Робином и Энн. Робина убили во Франции. Как и Робина миссис Уэллвуд. Поэтому, когда школу закрыли, миссис Оукшотт пошла работать в госпиталь в Хоуве. Военные хотели забрать этот коттедж — под жилье для солдат, — но я должна была оставаться здесь и присматривать за Энн. Филип во Фландрии — это мой брат. Чарльз однажды приходил в отпуск — через некоторое время после того, как Робина убили. Он оставил немного денег. Мне нужно искать работу. Энн уже почти взрослая. Ей тоже придется пойти работать.

— Энн? — переспросила Катарина.

— О, нет. Даже не думайте. Энн шестнадцать лет. Она не… не ваша внучка.

— Так вы до этого были замужем? — спросил Бэзил Уэллвуд.

— Нет. Не была. Энн была… ошибкой. Он не рассказал вам об Энн.

— Нет, не рассказал.

— Когда мы венчались, Энн была подружкой невесты. Он очень любит Энн. Любил.

Они сидели и маленькими глотками пили воду, окутанные туманом подозрительности.

— Не волнуйтесь, — сказала Элси. — Мы с Энн вас беспокоить не будем.

Тут Катарина Уэллвуд удивила самое себя.

— Кроме вас и Энн, есть еще кое-кто. Верно ведь?

— Не пойму, как вы увидели. Еще ничего не заметно.

— Вы так держите руки… — объяснила Катарина. — Вы не должны скрывать от нас нашего внука.

Еще одна слеза скатилась по лицу Элси.

— Вы не имеете права у меня его отобрать. Это все, что у меня осталось… от него. Не имеете права.

— На что мы не имеем права? — спросил Бэзил, не такой проницательный, как его жена.

— Не имеете права отобрать моего ребенка и вырастить из него расфуфыренную даму или лощеного бездельника. Пожалуйста, уйдите отсюда, я не знаю, что мне делать.

— Вы очень несправедливы, что думаете о нас так плохо, — сказала Катарина Уэллвуд. — Чарльз-Карл просил позаботиться *о вас,* и именно это мы намерены сделать. Женщины в положении не должны работать на военных заводах, и мы… я хотела сказать «не позволим», но, конечно же, мы понимаем, что вы сама себе хозяйка. Но чего я хочу… больше всего на свете… это забрать вас и, конечно, Энн к нам в загородный дом. Чтобы вам было удобно. Карл написал нам… погодите, сейчас я прочитаю… «Она учится, чтобы стать учительницей, и, если бы я остался жив, я хотел бы, чтобы она могла учиться дальше и узнать больше».

Тут Элси заревела всерьез. Катарина сказала:

— Вы знаете… Элси, можно я буду называть вас Элси? — мы ведь его родители. Он наш сын… был нашим сыном. Мы не так уж не похожи. Пожалуйста, поезжайте с нами.

— Вы не понимаете. Ваши друзья будут пре-

зирать меня и смеяться над вами. Я не вашего класса и никогда не стану вашего класса, хоть как меня разоденьте.

— Я уже потеряла большинство друзей, они презирают меня и смеются надо мной, потому что я немка. Мы это переживем. Это и неважно, и ужасно. Вы — жена моего сына.

Бэзил странно хрюкнул. И сказал:

— Она права… гм… Элси. Она права. Мы будем счастливы, если вы поедете с нами. И очень несчастны… да, несчастны… если вы не поедете.

— Это будет неправильно.

— Хватит спорить, — сказал Бэзил.

Ему понравилось, что она спорила.

Вошла Энн — маленькая, худая, длинноногая, с лицом как болотный огонек. Глядя на нее, казалось, что ее можно сдуть одним дыханием или переломить пополам, как прутик. Она неуверенно улыбнулась.

— Это его папа и мама… Чарльза-Карла. Они зовут нас к себе.

Энн серьезно кивнула.

— Мы попробуем, Элси, — сказала Катарина. — А если вам будет плохо, мы придумаем что-нибудь другое.

54

Бельгийский пейзаж ровен и водянист: польдеры с хлебными и капустными полями, отвоеванные у Северного моря с помощью дамб. Дальше в глубь суши поля и дома покоятся на толстом слое глины. Там тоже есть вода — в прудах и рвах, в маленьких *bekes* (ручейках), в каналах. Здесь часто бывают паводки, потому что вода не может пройти через глину и уйти в землю. В 1914 году бельгийцы, после неожиданно яростного сопротивления наступающим немцам, отошли к побережью. Они открыли шлюзы и затопили землю, впустив в нее Северное море и создав непроходимые водные равнины между немцами и побережьем. Деревни вокруг песчаных холмистых гряд, которые армия могла использовать как высоты, были растерты в порошок артиллерийским огнем и втоптаны в глину колесами и копытами, ногами марширующих солдат и хромающих, скачущих на костылях, ползущих раненых. Летом 1917 года генерал Хейг приказал наступать. В начале осени, когда генералы согласились, что наступать следует через Пашендальскую гряду, шел дождь. Тучи обложили

небо, и разведка с воздуха была невозможна. Холодный дождь хлестал горизонтально над плоскими полями и превращал глину в жидкую грязь, углубляя ее слой, так что передвигаться можно было только по «рубчатой дороге» — дощатому настилу поверх глины. Солдаты лежали, скрючившись, в ямах, частично заполненных водой: она была чудовищно холодная и все время поднималась. Трупы и куски трупов разлагались в окопах и рядом с ними, и запах разложения царил повсюду. С ним часто смешивался запах горчичного газа, которым были густо пропитаны шинели солдат и который вдыхали доктора и медсестры, отчего страдали их глаза, легкие и желудки, а волосы приобретали горчично-желтый цвет. Мирные польдеры стали болотами зловонной, густой, засасывающей глины, истоптанной и смешанной с костями, кровью и клочками мяса.

Герант и его артиллерийский расчет тащили пушку по «рубчатой дороге» меж обломанных, растресканных, обугленных пней, по грязи, через вонючие лужи. Герант получал письма из невообразимой Англии. Имогена писала, что Помона объявила о своей помолвке с одним из раненых, капитаном Перси Армитеджем, потерявшим обе ноги и большую часть зрения в одном глазу. «Она,

кажется, искренне счастлива», — писала Имогена. Она приложила фотографию светленькой хорошенькой дочки, от которой, это бросалось в глаза, с неделикатной деликатностью отрезала изображение другого ребенка.

Герант не очень расстроился. Он плохо соображал среди грома пушек и разрывов снарядов, так как в последние сутки не спал вообще, а в предшествующие — только два часа. Солдаты — возможно, от усталости — не справились с мулом, который тащил свой конец пушечного лафета по доскам. Пушка опрокинулась. Герант оказался под ней и умер мгновенно — его вдавило в грязь. Никто не остановился, чтобы его выкопать. Был приказ — не останавливаться и не вытаскивать людей, упавших с дощатого настила.

По мере того как пейзаж все больше напоминал первородный хаос, люди становились отчаянней, дисциплинированней и изобретательней. По ночам колонны носильщиков доставляли на передовую боеприпасы, воду и горячую еду в теплоизолированных рюкзаках. Они напоминали Христиана из «Пути паломника», который с тяжелой ношей пробирался через Трясину отчаяния. Отряд мотоциклистов вез, балансируя, странный груз: плоские силуэты солдат в натуральную

величину, раскрашенные в Англии бывшими расписчицами фарфора. У солдат были вполне натуральные лица, усы, очки и каски. Это были марионетки. За ними тащились по грязи плоские бечевки, за которые тянули солдаты-кукловоды, спрятанные в окопах и воронках. Кукольные солдаты потягивались, поворачивались, вставали и падали. Они изображали «китайские атаки»: их размещали сотнями под прикрытием дымовой завесы, чтобы немцы, стреляя в них, выдали свои позиции. Один человек, сидя в воронке, мог управлять четырьмя или пятью такими «солдатами».

Женский госпиталь в отеле «Кларидж» в Париже закрыли в 1915 году; женщин ненадолго перевели в Вимере, а потом обратно в Лондон, где они успешно организовали госпиталь еще большего размера на Энделл-стрит. Но кареты скорой помощи и полевой лазарет остались на фронте — за их содержание платили женские колледжи, и работали в них женщины. Дороти и Гризельда решили остаться. Дороти считала: чем скорее и лучше обработана рана, тем больше шансов на выживание и на то, что раненый сохранит руку или ногу, ступню или другую часть тела. Гризельда по-прежнему беседовала с ранеными.

Как-то вечером женщины сидели в убежище и пили какао — насыщенный вкус густой жидкости воскрешал в памяти годы учебы, тишину библиотеки, розы в саду Ньюнэма не хуже, чем прустовские мадленки — детство в Камбрэ. Гризельда как бы между делом сказала, что пленные вон в той палатке — баварцы из армии принца Рупрехта. Она небрежно упомянула, что один из них, кажется, месяц назад видел Вольфганга Штерна живым и, насколько это возможно, невредимым.

— Ты им всем задаешь этот вопрос?

— Нет, — ответила Гризельда, — конечно, нет. Только тем, кто может что-нибудь знать.

— Я так и не разобралась, насколько тебе нравился Вольфганг.

— Это все уже так далеко. И все эти смерти. Я думаю, что… очень нравился. Иногда мне казалось, что он… О, какое это имеет значение, когда мы сидим в этой грязи и пытаемся его убить. — Она резко засмеялась. — Плохо быть наполовину немкой. Моей матери тяжело приходится. Она прислала мне какое-то странное письмо, когда Чарльз-Карл пропал — написала, что собирается ехать в Данджженесс искать его жену.

— Жену?!

— Да, она так написала. Не вдаваясь в подробности. Я и про него тоже спрашиваю, но безуспешно. Солдаты, как правило, не ненавидят друг друга. Ходячие раненые друг другу помогают. Как только становится ясно, что им больше не надо друг друга убивать. Все это — безумие. Безумие, грязь, зло и кровь. Я даже не знаю — может, лучше уже не надеяться насчет Карла. И Вольфганга.

Они уже собирались ложиться спать, когда показалась партия медленно и тяжело ступающих санитаров с ранеными на носилках. Ночи редко выдавались спокойными: длинные змеящиеся колонны людей и животных двигались в темноте, и в этой темноте на них падали снаряды, раня и убивая. На этот раз на носилках оказался человек, почти невидимый из-за глиняного футляра или саркофага, который быстро высыхал прямо на теле. Носильщики сказали, что он упал с настила. Снаряд разорвался совсем рядом, взметнул тучу земли и всего такого и повредил мостки. Этот человек нес на спине тяжелый груз, потерял равновесие из-за взрыва, свалился боком в грязь и ушел в нее с головой. Товарищи вытащили его. Был приказ не вытаскивать тех, кто свалился, потому что их, как правило, не удается спасти. И это задерживает всю колонну. Те, кто шел следом,

ругались и кричали: «Да бросьте вы этого говнюка», прошу прощения, мэм. Мы проходили мимо, возвращались с носилками, и раненый, которого мы несли, умер прямо по дороге. И мы его только сбросили, когда этого вытащили — повезло ему. Он потерял штаны — глина их засосала. Конечно, они хотели спасти его груз. Горячий паек. Этот дышит. Видно, контужен. Паек они спасли. Он весь в грязи и снаружи, и внутри, но, как мы надеялись, все еще там и все еще горячий. Заберите у нас этого, пожалуйста, нам нужно идти обратно.

Человека в глиняном футляре скатили с носилок на временную госпитальную койку. Дороти огляделась в поисках санитарок. Те все были заняты. Она нашла ведро и принялась счищать глину, которая поначалу отваливалась кровавыми кусками. Гризельда помогала. Лицо было как у голема; санитары проделали в нем дырки для дыхания и для глаз, но волосы засохли, как кирпич, брови стали глиняными гусеницами, губы — толстыми и коричневыми. Дороти отковыривала и вытирала. Гризельда заметила:

— Его ударило шрапнелью вот тут, где были брюки. Я сняла с него кальсоны — похоже, дело плохо.

Раненый вздрогнул. Дороти сказала:

— В спине тоже много шрапнели.

Она обмыла его быстро, но бережно, а потом еще раз, потому что слой глины был неистощим и словно возобновлялся.

Раненый произнес:

— Я всегда говорил, что у тебя хорошие руки.

Голос был невнятный, словно горло тоже забилось глиной. Дороти воскликнула:

— Филип?!

Он с трудом выговорил:

— Когда я свалился, то подумал: это хорошая смерть для горшечника — утонуть в море глины. Глины и крови.

— Не разговаривай.

— Я не думал, что меня вытащат. Был приказ не вытаскивать.

— Ты можешь пошевелить пальцами? — спросила Дороти. — Хорошо. А пальцами ног? Не очень хорошо. Поверни голову. Не слишком далеко. Хорошо. У тебя шрапнель в спине, и в ногах, и в ягодицах. Ее нужно вытащить, чтобы не загноилась. Тебе повезло: этот лазарет принадлежит Женскому госпиталю, и у нас есть «Бипп».

— «Бипп»?

— Это патентованная антисептическая паста. Ее накладывают на рану и оставляют на десять

дней или даже на двадцать один. Она запечатывает рану. Чтобы ничто не мешало заживать. Тебе понадобится много «Биппа». Некоторые военные врачи думают, что иглы и скальпели можно стерилизовать оливковым маслом. Но мы умнее.

Других срочных раненых не оказалось, так что Дороти сидела при свете лампы у покрытого глиной Филипа, аккуратно и точно извлекая шрапнель. Он сказал:

— Чувствительность возвращается. Раньше все тело было как не мое.

— Это хорошо, хотя ты, может быть, не согласишься. Я могу дать тебе морфину.

— Дороти…

Она пинцетом искала глубоко засевшие осколки у него в теле.

— Дороти, ты плачешь.

— Да, иногда плачу. Все это очень тяжело. Кто знал, что можно найти друга в глиняном пирожке.

— Я не могу смеяться, мне больно. Что ты делаешь?

— Один осколок засел глубоко — вот тут, между ног. Его придется вытаскивать с обезболиванием. Это подождет до завтра. Я сейчас вытащу все, что смогу, и наложу «Бипп». И дам тебе морфину, и

устрою тебя поудобнее. Я думаю, что у тебя еще и нога сломана. Тебе придется вернуться обратно в Англию.

Филип глубоко вздохнул. Дороти вколола морфий. Щедро положила «Бипп» на места, откуда извлекла осколки. Филип сказал:

— Мне до сих пор не верится, что это ты. Мне часто хотелось, чтобы ты была со мной. То есть не в грязи, а в воображении.

— Не в воображении. Во плоти.

55

Après la Guerre Finie[123]

Был май 1919 года. К дому на Портман-сквер подъехал кеб. Из него вылез человек — ходячий скелет, дешевая одежда болтается, как на вешалке. Он поколебался несколько секунд и позвонил в дверь. Открыла молодая горничная и посмотрела на него с сомнением. Он прошел мимо нее, как тень, и оказался в гостиной, откуда доносились голоса.

Он остановился в дверях. Горничная, не понимая, что происходит, встала позади него. Человек удивленно смотрел на происходящее в гостиной. Мужчина с лубком на забинтованной до бедра ноге лежал в шезлонге. Еще в гостиной была худая юная девушка в элегантной короткой юбке. И кормилица. И одетая со вкусом молодая женщина с модной короткой стрижкой — на низкой табуретке, спиной к вошедшему.

Бэзил и Катарина Уэллвуд сидели рядом на диване, любуясь младенцем, которого держала

---

[123] Примечания: 123
Когда кончилась война *(фр.)*.

молодая женщина. Все было совсем не так, как вошедший представлял себе. Он прокашлялся. И сказал, как говорили люди по всему миру:

— Вы что, не получили моего письма?

Катарина вскочила на ноги, как развернувшаяся пружина, и задрожала.

— Карл. Чарльз. Не может быть.

— Может, — ответил он.

Отец тоже встал. Его рыжие волосы почти поседели. Бэзил сказал:

— Тебе нужно присесть.

Катарина, шатаясь, подошла к сыну. Модно одетая молодая женщина встала, все еще держа младенца — яркого блондина с четкими, не пухлыми чертами лица. Карл сказал:

— Элси.

Катарина потянула его за руку.

— Садись, садись.

Она не могла сказать вслух, что ее сын похож на живого покойника. Элси, констатируя факт, произнесла:

— Похоже, тебе нелегко пришлось.

И заплакала. И сказала:

— Это Чарльз. Мы все решили назвать его Чарльзом, потому что думали…

Он сел на диван в окружении родных и попы-

тался сообразить, кто же раненый в шезлонге. То был, конечно, Филип Уоррен. Комната переменилась — не только из-за младенца и кормилицы, но и оттого, что по сторонам очага стояли две огромные золотые вазы работы Филипа, покрытые переплетенными, карабкающимися крохотными демонами.

— Я не могу встать, — сказал Филип. — Рад тебя видеть.

— Где тебя ранило?

— Пашендаль. Меня спасло — я так думаю — то, что Дороти вовремя пришла на помощь. Гризельда тоже была там. Они сейчас в Женском госпитале на Энделл-стрит. И Гедда тоже там. Санитаркой. Она спасла мне ногу. В смысле, Дороти.

Катарина сказала, что Чарльз, наверно, голоден. Она пошла заказывать кухарке говяжий бульон, мягкий хлеб и молочный пудинг.

— Элси и Энн… и маленький Чарльз… были для нас таким утешением, — сказал Бэзил. — Сам понимаешь. Мы о них позаботились, как ты просил.

Чарльз-Карл не мог сказать, что под «заботой» имел в виду, что Элси надо было поселить в отдельном удобном домике и давать ей денег. Бэзил

продолжал:

— Элси так помогала твоей матери. Ей нелегко пришлось. Не сравнить, конечно… — добавил он, все еще в ужасе от худобы и лысины сына. — Нужно позвонить в Женский госпиталь. Гризельда там санитарка. Она работает по многу часов в день, но вдруг сможет выбраться домой. Надо хотя бы сообщить ей…

Чарльз-Карл дрожащими пальцами погладил по головке своего сына. Сын блаженно улыбнулся. Чарльз-Карл не стал брать его на руки, боясь уронить. Элси наклонилась над Карлом, поцеловала его в голову, поцеловала его руку, лежащую на головке Чарльза-младшего. Она сказала:

— Твои родители были невероятно добры ко мне. И к Энн. Энн, поди сюда, поздравь… с возвращением…

Подошла Энн, посмотрела на Чарльза и спросила:

— Ты был в тюрьме?

— Да. Там не кормили. Даже у охранников почти не было еды. Все голодают.

Он не мог описать невыразимое. Он рассказал, что его обожгло взрывом, когда он нес на носилках с ничейной земли немецкого солдата. И солдата, и напарника Чарльза убило. А его самого

подобрали немецкие солдаты, баварцы, и позаботились о нем, потому что он говорил по-немецки. Он запнулся. Он не мог описать это чудовищное путешествие, смерти и трупы. Он сказал:

— В конце концов я оказался в Мюнхене. Там не было еды, и солдаты дезертировали, сначала по одному, а потом все вместе. Я дошел до пансиона Зюскинд. Там были Иоахим и его сестра. Они меня накормили. Нашли врача. Они…

Он был готов расплакаться.

— Теперь все будет хорошо, — сказала Энн.

Чарльз-Карл посмотрел на Филипа, который ответил мрачным взглядом.

— Нужно позвонить в Женский госпиталь, — вмешался Бэзил. — Сообщить Гризельде.

Гризельда регистрировала посетителей, которые пришли навестить раненых.

— Следующий, пожалуйста, — сказала она в сторону беспокойно переминающейся пугливой очереди, в основном женщин с букетами цветов и коробками пирожных. Но следующим оказался мужчина — высокий, темноволосый, худой, в широкополой шляпе, так низко надвинутой на глаза, что лицо оказалось полностью в тени.

— Ваше имя, пожалуйста. К кому вы?

— Думаю, что к тебе, — сказал посетитель. И

тихо добавил: — Я сбежал из больницы. Хотел повидаться с тобой и Дороти, пока меня не заперли обратно.

Гризельда заглянула под шляпу. Очередь женщин стояла неподвижно и нервничала.

— Меня держат во дворце Александры. У меня были инфлюэнца и плеврит, так что меня послали в Миллбэнкскую больницу. Война кончилась, но мы не можем отправиться домой, пока не подпишут мир. Эту одежду я украл. Друзья-пленные передали мне рассказ о Валькирии, которая бродит по полю сражения, зовя Вольфганга Штерна…

Гризельда онемела. Вольфганг сказал:

— Я могу посидеть, подождать тебя.

— Да, лучше присядь. Ты, кажется, едва стоишь.

— Да уж. Могу потерять сознание в любой момент. Тогда тебе придется положить меня к себе, а я…

Прибежала Дороти.

— Гризельда… только не волнуйся…

— Я знаю. Он здесь.

Дороти быстро огляделась.

— Он не здесь. Он на Портман-сквер.

Гризельда кивнула в направлении Вольфганга,

прикрытого шляпой.

— Вон он.

— Не понимаю, о чем ты. Твой брат на Портман-сквер. Он жив. Он был в Мюнхене. И добрался домой.

Гризельду трясло.

— А твой брат здесь, под этой шляпой. Он сбежал. Он был в больнице в Миллбэнке…

Вольфганг встал, задрожал и снова сел, слабо ухмыляясь.

— Найди кеб, — сказала Дороти. — Найди Гедду. Посадите его в кеб.

В госпитале хватало помощниц-энтузиасток из школ для благородных девиц. Двух серьезных девушек из Челтнемского женского колледжа отрядили по делам, и Дороти пошла осматривать своего немецкого брата, замаскированного шляпой. Она взяла его руку и замерила пульс.

— Слишком частый, — сказала она. — Тебе нужно лечь.

На Портман-сквер царило счастье — несмелое, с привкусом горечи. Два молодых старика рассказывали о поглотившем их хаосе — то немногое, о чем хватало сил рассказать. Английские газеты сперва с робкой радостью, потом с тревогой рапортовали о череде правительств, сменив-

шихся в Баварии с начала ноября 1918 года по 1 мая 1919-го. Монархию свергли толпы голодающих, отчаявшихся людей — мятежных солдат и матросов, радикально настроенных саксонцев с военных заводов Круппа, швабингской богемы и анархистов, тысяч разгневанных женщин, армии разъяренных фермеров под предводительством слепого вождя — Людвига Гандорфера. Их всех околдовал человек с дикими глазами и косматой бородой — социалист Курт Эйснер, который подстриг бороду и сформировал правительство, неспособное ни править, ни накормить народ. Чарльз-Карл никогда всерьез не верил, что своими глазами увидит анархистов у власти. В декабре Эрих Мюзам, чьи призывы к свободной любви и обобществлению имущества Карл когда-то слушал в «Кафе Стефани», повел четыреста анархистов на захват газетной редакции. В январе прошли выборы, на которых Эйснер получил меньше трех процентов голосов. В феврале, когда Эйснер шел в ландтаг, собираясь подать в отставку, его застрелил граф Антон Арко ауф Валлей, антисемит с еврейской кровью, а самого Антона застрелили охранники.

Анархисты пришли к власти. Их вел кроткий Густав Ландауэр, еврейский поэт, обильный

бородой и речами. «Швабингский совет» национализировал всё, закрыл все кафе, кроме «Кафе Стефани», и передал управление университетами в руки студентов. Они обыскивали дома в поисках провизии, но ничего не находили. Продуктов не хватало, а союзники перекрыли границы. Секретарь министерства иностранных дел, кроткий характером, писал настоятельные письма Ленину и папе римскому, жалуясь, что кто-то украл у него ключ от сортира.

В апреле ссыльное правительство попыталось устроить путч, и власть ненадолго захватил Баварский совет во главе с еще одним евреем, спартаковцем Евгением Левине. Правительство изгнанников, которое ранее надеялось получить Баварию обратно с помощью баварских войск, нехотя попросило помощи у федеральной германской армии. Они захватили Штарнберг и Дахау. Последовал «белый террор». С Ландауэром жестоко расправились. Левине казнили с соблюдением всех формальностей. Бойцы бригады Эрхардта, соединения добровольческой армии, носили на золотых шлемах примитивный сексуальный символ, часть герба «общества Туле», в котором проповедовались теории чистой и нечистой крови, — «древнюю спираль», крючковатый крест,

свастику. Они горланили песни во славу этого символа. В столице Баварии был восстановлен порядок.

Красные смело сражались, особенно на вокзале, где продержались один день и одну ночь.

Чарльз-Карл сдавленно спросил Вольфганга и Дороти, нет ли у них известий от семьи Штерн. Те сказали, что новостей из Мюнхена нет — поезда не ходят, письма остаются без ответа.

Тогда Чарльз-Карл открыл им, что Леона Штерна убили в боях за вокзал. Леон пал за свои убеждения. Вольфганг склонил голову. Воцарилось молчание.

Чарльз-Карл побывал и в «Саду зеркал фрау Холле». У Ансельма Штерна и Ангелы дела обстояли относительно благополучно, хотя сами они были худы и голодны. Они подумывали перебраться в Берлин, так как Мюнхен становится неподходящим местом для евреев.

Дороти ни разу не пришло в голову спросить, не еврей ли ее отец, а он не счел нужным ей сказать. Она медленно произнесла:

— Может быть, когда все кончится, они смогут приехать сюда.

Они будут ставить волшебные пьесы для но-

вого поколения детей. Ангела будет работать — в Лондоне, в Кенте, где-нибудь, где тихо. Эта перспектива казалась одновременно возможной и нереальной.

Они — выжившие — тихо собрались за обеденным столом и молча выпили в память Леона. Тени прошлого оживали в их памяти и незримо вставали в сумраке за спиной. У каждого в прошлом осталось что-то такое, о чем он не мог рассказать и не мог забыть. У каждого — что-то такое, что можно было пережить, лишь никогда не упоминая об этом. Но по ночам они просыпались от чудовищных снов, которые регулярно возвращались, каждый раз потрясая заново.

Катарина зажгла свечи, ради такого случая — поставленные в серебряные подсвечники.

Филип сидел в конце стола в инвалидной коляске, поддерживающей ногу. Рядом с ним — Дороти, напротив нее — Вольфганг. Чарльз-Карл сидел рядом с Элси, их руки соприкасались. Катарина смотрела, как ее дочь смотрит на Вольфганга Штерна. За время войны Гризельда стала сосредоточенной, деловитой, похожей на старую деву. Катарина почти смирилась с мыслью, что дочь замурует себя в колледже. Сейчас сосредоточенное лицо Гризельды словно рассыпалось на части, на

нем читался голод, какого Катарина никогда не видела. Катарина спросила Вольфганга по-немецки, обратившись к нему на «ты», не хочет ли он еще супа. Вольфганг улыбнулся, мрачное лицо слегка оживилось. Катарина подлила супу своему хрупкому, костлявому сыну и его жене, жадно и боязливо наблюдавшей за ним. Она подлила супу и Гедде, усталой, но почти довольной, — она весь день работала, принося людям пользу, — и Энн, которая в последнее время привязалась к Гедде. Она подлила супу и Дороти, а та поделилась с Филипом, который сказал, что суп восхитителен. Изящные клецки плавали под золотистой поверхностью, покрытой вуалью тонко рубленной петрушки, которая качалась и завихрялась водоворотиками. Пар поднимался вслед дыму свечей, и все лица казались мягче в дрожащем свете.

Благодарности

Этот роман многим обязан множеству людей, которые рассказывали и показывали мне разное, делились со мной знаниями. Люди всегда благодарят своих терпеливых супругов в самом конце, но я хочу поблагодарить своего мужа, Питера Даффи, в начале. Он показал мне Южную Англию, возил меня в самые неожиданные места, делился со мной своими глубокими познаниями о Первой мировой войне и своими книгами. Он выяснял факты о расстояниях, способах передвижения, зданиях и искал (и находил) у меня ошибки. Кроме того, он был терпелив.

Я многим обязана Мэриан Кэмпбелл: она показала мне серебро и золото в коллекциях Музея Виктории и Альберта и догадалась, что мне нужен будет Глостерский канделябр. Она также показала мне подвал Музея и хранящиеся там сокровища. Рейно Лифкес познакомил меня с отделом керамики, в том числе с работами Палисси и ранними майоликами. Сосуд в руках ощущается совершенно по-иному, чем сосуд за стеклом. Фиона Маккарти послала мне свой экземпляр

книги Энтони Бертона «Видение и случайность», посвященной истории Музея. Я поняла, что мне нужен собственный экземпляр этой книги, и купила его. Ее труды об Уильяме Моррисе также были мне чрезвычайно полезны. Я благодарна сэру Кристоферу Фрейлингу, который послал мне книги о Королевском колледже искусств и беседовал со мной об этом колледже.

Моя дочь, Антония Байетт, в бытность свою директором Женской библиотеки помогала мне с историей женского суфражизма и представила меня Энн Саммерс и Дженниан Геддес, которые щедро снабдили меня завораживающе интересной и чрезвычайно полезной информацией о женщинах в медицине в эпоху, к которой относится действие моего романа.

Эдмунд де Вааль пригласил меня к себе в студию и позволил погрузить руки в колеблющийся глиняный горшок. Он также снабжал меня книгами и рекомендациями по чтению других книг, и я ему чрезвычайно обязана. Мне также помогала Мэри Вондраух, чья книга по обливной керамике мало того что чрезвычайно интересная, была к тому же полна технических сведений и замечательных терминов.

Мой друг и переводчик Мелани Вальц, житель-

ница Мюнхена, показала мне город и сводила меня в Музей марионеток — и вообще много лет водила повсюду и делилась обширными познаниями об искусстве и жизни Германии и Баварии. Без нее эта книга не была бы написана. Я также благодарна профессору Мартину Миддеке, который сводил меня в Аугсбургский музей марионеток, Деборе Холмс и Ингрид Шрам, которые водили меня смотреть коллекцию Тешнера в Австрийском театральном музее Вены и Музей прикладных искусств в том же городе, где я многое и с огромным удовольствием почерпнула у доктора Райнальда Франца. И еще я хотела бы поблагодарить Дмитрия Псурцева и Виктора Ланчикова за помощь во всем, что связано с Россией.

Доктор Джиллиан Сазерленд поделилась со мной своими познаниями по истории женщин в Кембридже, в том числе историей Ньюнэм-колледжа, и опять-таки прислала мне книги. Я очень благодарна. Профессор Макс Сондерс помог мне с Россетти и анархистами. Его труды по этому периоду информативны и элегантны.

Я собрала слишком много книг и не смогу перечислить их все, но мне хотелось бы отметить удовольствие и пользу полученные мной от великого труда Дэвида Кайнастона по истории

Лондона. «Жизнь Грэма Р.» Линды К. Хьюз полна деталей, а сама профессор Хьюз великодушно отвечала на мои вопросы. Я также в долгу у прекрасной книги Питера Шассо «Крысиный переулок» — всеобъемлющего описания названий окопов на Западном фронте. Эндрю Рэмен из книжного магазина «Хейвуд-хилл» помогал мне в самом начале работы над романом, собирая для меня и рекомендуя мне книги о кукольном театре и разных других вещах. Я также читала и перечитывала жутковатую книгу Джонатана Гаторна-Харди о частных школах, которая мне очень помогла, что, несомненно, заметно.

Доминик Грегори ездил посмотреть на гостиницы в окрестностях Данджженесса и прислал мне камушек с дыркой.

Элисон Сэмюэл, мой издатель из «Чатто и Виндус», и Дженни Аглоу, мой редактор, которой посвящен роман, всячески поддерживали меня, изобретательно и с выдумкой. Патрик Хардагон обсуждал со мной запутанные повороты сюжета, выходя за пределы служебного долга. Луиза Деннис, мой канадский издатель («Деннис и Нопф», Канада), проявляла гостеприимство и энтузиазм. Дебора Роджерс, мой литературный агент, заботилась обо мне невообразимым чис-

лом способов, и я очень многим обязана ей и ее ассистентам Ханне Уэстлэнд и Мосену Шаху. Линдси Эндрюс была трудолюбива и помогала мне в роли персонального секретаря. И я всегда буду благодарна Джилл Марсден за терпеливую и безошибочную перепечатку и за спокойный интерес к этой книге.

И наконец, меня совершенно изумила прекрасная обложка, созданная Стивеном Паркером. Она именно такая, какая нужна этой книге; лучшей и пожелать нельзя.